

★

Шолом
Алейхем

И

Шолом
Алейхем





ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА
1971

ШОЛОМ- АЛЕЙХЕМ



**собрание
сочинений
В ШЕСТИ
ТОМАХ**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

**М. БАЖАН, М. БЕЛЕНЬКИЙ, Б. ПОЛЕВОЙ,
И. РАБИН, Г. РЕМЕННИК, Р. РУБИНА**

**ШОЛОМ-
АЛЕЙХЕМ**



**СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
ТОМ
ПЕРВЫЙ**

Перевод с еврейского

С(Евр)1
Ш78

Вступительная статья
М. Бажана

Иллюстрации художника
Г. Кравцова
Оформление художников
Ю. Владимирова
Ф. Терлецкого

7-3-3
подп. изд.

СЛОВО СВЕТЛОЙ ВЕРЫ В ЧЕЛОВЕКА

Он уже никогда не вернется, этот печальный и трогательный мирок Касриловок, Бойбериков, Егупцов, их милых обитателей — мальчиков Мотлов, чудаков Мендлов, молочников Тевье; он никогда не вернется — ведь столько невиданной силы гроз, и благодатных и лютых, пронеслось над ним за полстолетия с тех пор, как лучший знаток этого маленького мира навсегда закрыл свои печальные, свои веселые глаза. Этот мирок уже никогда не вернется, и все-таки он стоит у нас перед глазами, и дышит живым человеческим теплом, и плачет, и смеется, и шутит, и бормочет в тиши сумрачных синагог, и мечется в суетне шумных базаров, и мечтает всем сердцем, стремящимся к солнцу, и клянет устами, бескровными от недоедания, и вздымает во гневе руки, истосковавшиеся по работе.

Он никогда не вернется, и мы говорим об этом с радостью, когда видим, что новые проспекты пролегли там, где раньше вились горбатые переулки извечного гетто, что стены светлых домов поднялись над тленом жалких халуп, что доброй силой свободного социалистического труда налились руки Тевье, и Мотла, и Герш-Лейбы-механика, и золотоволосой Леи из Чуднова. Он уже никогда не вернется — и мы встаем и низко склоняем голову над страшным прахом Бабьего Яра, над пожарищами Касриловки, над братскими могилами уманских концлагерей, где кости старого ребе Йозефла лежат рядом с костями молодого солдата Ивана, где застреленная украинская женщина последним предсмертным движением прижала к себе маленькую Рохеле. Мы знаем, что там, на пустырях предместий, в оврагах возле кварталов гетто, в ямах оскверненных кладбищ для многих людей закончился жизненный путь, начало которого с таким вниманием нарисовал человек, несколько больше чем полвека тому назад навсегда закрывший свои печальные, свои веселые глаза.

Герои Шолом-Алейхема! Все неизмеримые противоречия эпохи, все ее гигантские конфликты, ее бешеные бури, ее разрушительные землетрясения, ее беспощадные битвы разъединили, разметали, разорвали их судьбы так, что они стали неузнаваемы, несравнимы, несопоставимы с тем миром, дыхание которого мы ощущаем, склоняясь над страницами книг Шолом-Алейхема. И все же они остались связаны с этим миром крепчайшими нитями родства и понимания. Бессмертная человечность наполняет их, и никакими расистскими пулями ее не убить, никаким антисемитским ревом не заглушить, никаким современным снобизмом формалистов и эгоцентриков не унизить. Великий человек говорит людям простые человеческие слова — вслушаемся же в них с любовью и трепетом! С уважением раскроем книги писателя, само имя которого вещает: «Мир вам!»

Это имя стоит в ряду прекрасных и дорогих для человечества имен Гоголя и Диккенса, Чехова и Мопассана, Лу Синя и Ивана Франко. Из того же драгоценного сплава любви и печали, радости и гнева, шуток и смеха отливали они образы своих героев. Несхожи между собой бедный франковский Мирон и убогий мальчик Мотл, но сколько общего в них, сколько того глубинно человеческого, что открывается взгляду только очень внимательного, очень преданного человечеству человека! Нельзя служить человечеству иначе, чем через свой народ. Мертвой абстракцией, голой фразой, позой глобтроттера становятся всяческие псевдогуманистические уверения, если они не заземлены, не связаны неразрывно с реальной жизнью народа, не опираются на как можно более полное понимание и глубинных и внешних процессов, явлений, тенденций народной жизни. Это знал Шолом-Алейхем. Он писал: «Чтобы стать народным писателем, нужно быть талантливым писателем, патриотом и другом людей, человеколюбом, нужно любить народ; бичуя и высмеивая, надо быть преданным народу, и в творчестве и в шутке оставаться ему верным с преданностью и любовью...»

Так любил свой народ Шолом-Алейхем. Преданно и любовно отображал он живым народным языком жизнь, людей, стремления и мечты своего народа. С презрением отвергал он издевательства и оскорбления, которые сыпались со стороны синагогальных мракобесов и напыщенных претендентов на аристократизм в адрес современного еврейского языка, так называемого «идиш». Талмудистские мудрецы пренебрегали им, называя его и вульгарным, и ограниченным, и диалектом, и мешаниной, и жаргоном. Прекрасным утверждением этого «жаргона» как богатого и красочного литературного

языка было уже творчество таких могучих предшественников Шолом-Алейхема, как его земляки — Менделе Мойхер-Сфорим и Абрам Гольдфаден. Языком, насущным как хлеб, является для еврейских трудящихся масс идиш, а древнееврейский язык (иврит) был лишь языком религиозного культа и книжным языком сионистски настроенных кругов буржуазной интеллигенции. Для еврейского писателя выбор языка был равен социальному выбору — для кого он пишет. Для широких демократических еврейских масс или для кружка привилегированных избранников? Ни для кого из великих основоположников новой еврейской литературы — Менделя Мойхер-Сфорима, Ицхок-Лейбуша Переца, Шолом-Алейхема — сомнения не было. Намеренно называя еврейский народный язык жаргоном, Шолом-Алейхем писал: «Жаргон — это моя страсть, моя вторая пассия, моя *idée fixe*. Я никому не продан, никто не может мне указывать, но власть моей любви к жаргону сильнее власти всякого пана и хозяина». Подчинившись этой священной власти, писатель и сам стал властителем языка, хозяином затаенных в нем духовных сокровищ, которые он вплоть до последних дней своей жизни так возвышенно призывал любить, ценить и изучать. В своей недописанной книге «С ярмарки» он говорил своим детям: «Научите, как любить наш народ и ценить сокровища... его духа, которые... рассеяны по всем глухим закоулкам необъятного мира».

Теплом такой любви напоено творчество Шолом-Алейхема. Ни в чем и нигде не изменил он той торжественной декларации прав и обязанностей писателя, которую провозгласил еще в начале своего литературного пути в книге «Суд над Шомером»: «Писатель, народный писатель, художник, поэт, настоящий поэт является для своего времени, для своей эпохи своего рода зеркалом, в котором отражаются лучи жизни, как в чистом источнике — лучи светлого солнца...

Между народом и писателем существует крепкий, вечный союз; поэтому каждый такой писатель является для своего народа и слугой, и жрецом, и пророком, поборником правды и справедливости; поэтому каждый народ любит такого слугу божьего, жреца, пророка, борца, который утешает народ в его горе, радуется его радостям и высказывает его идеи, мысли, думы, надежды и упования...»

Говоря о любви к народу, писатель никогда не подразумевал под этим преклонение перед всеми и всяческими социальными группами народа, он никогда не опускался до националистических лживых утверждений об «извечном и священном единстве» народа, о его бесклассовости, возникшей, мол, на основе религиозной сплоченности. Нет, писатель никогда не забывал о социальных противоречиях, которые господствуют и в национально угнетенном народе,

закаляют в передовых людях трудящихся масс революционную сознательность, а в привилегированных, буржуазных слоях порождают дух примиренчества, выключивания подачек и в конце концов приводят к предательству народных интересов. Шолом-Алейхем не был последовательным революционером. Но он был знаком с учением Маркса, он с симпатией и любовью живописал благородные фигуры революционной молодежи тогдашней России — молодежи еврейской, русской, украинской. Его рукою на страницы еврейской литературы были нанесены первые черты образа еврейского пролетария, еврейского революционного рабочего. Он ясно видел черту, разделившую еврейский народ на эксплуатируемые, обездоленные массы и на слои обеспеченной, паразитической верхушки — слои торговой и промышленной буржуазии, ее религиозных прислужников и прислуживающей ей интеллигенции. Всю свою любовь, понимание и сочувствие отдал он угнетенному, эксплуатируемому труженику, создавая такие яркие и полнокровные образы, как коренастый, полный жизненной силы молочник Тевье, милый чужак — портной Шимон-Эля, нищий богатырь Нахмен Веребовский, молодой революционер-марксист Миша Грузевич и бесчисленное множество других, грустных и веселых, вспльчивых и хмурых, мечтательных и непоседливых, мужественных и нежных. Здесь, в этом окружении, Шолом-Алейхем по-дружески шутит, раскатисто смеется, загорается гневом, украдкой вытирает набежавшую слезу, вместе со своими героями возмущается, мечтает, борется, стремится найти выход, ищет сочувствия и взаимопонимания.

Но как меняется этот добрый и веселый человек, попав в приемную важного дельца, в мрачное жилище ростовщика, в лавку лукавого спекулянта, в компанию сионистских продажных журналистов! Исчезает писатель-юморист, появляется беспощадный сатирик, с гневом и презрением рисуя отвратительные образы касриловского богача Мордхе-Носона, биржевого дельца Файфера, жулика Аркадия Швейцера, торговца живым товаром из Буэнос-Айреса или львовского мецената Левнуса.

Вот почему так набрасывалась (да и до сего времени рычит) свора мелких писак на великого писателя, обвиняя его в оскорблении народа, в неуважении к национальным традициям, в издевательствах над «заветом предков». До базарной ругани доходили националистические газетчики, проклиная и Шолом-Алейхему, и его сторонников. Некий «Еврейский народный листок» писал: «Почти вся «новая еврейская литература», за малыми исключениями, к сожалению, представляет собой дьявольский смех, какую-то вальпургиеву ночь всех бедных грешников, грешных душ, голых душонок, которые ни к чему путному не могли прибиться, кроме как насмешки над евреями и еврейством...»

Буржуазная националистическая критика всех народов являет одинаковые примеры бешеных наскоков на все действительно национальное и передовое. Разве не такими же словами украинские националистические деятели обзывали Ивана Франко, латышские реакционеры поносили Яна Райнса, все стадо российской монархической и либерально-буржуазной сволочи проклинали Максима Горького?

Шолом-Алейхем опирался на моральную поддержку не только своих многочисленных еврейских читателей, не только передовых кругов еврейской интеллигенции, но и интеллигенции русской, украинской, польской, которая устами своих самых выдающихся представителей засвидетельствовала признание высокого таланта еврейского писателя. Максим Горький, переписываясь и встречаясь с Шолом-Алейхемом, называл его дорогим братом, побратимом. Прочитав «Мальчика Мотла», Горький писал автору: «Искренне уважаемый собрат! Книгу Вашу получил, прочитал, смеялся и плакал. Чудесная книга! Перевод, мне кажется, сделан умело и с любовью к автору. Хотя местами чувствуется, что на русском языке трудно передать печальный и сердечный юмор оригинала. Я говорю — чувствуется.

Книга мне сильно нравится. Еще раз скажу — превосходная книга! Вся она искрится такой славной, добротной и мудрой любовью к народу, а это чувство так редко в наши дни». Такие же полные тепла и уважения слова адресовали Шолом-Алейхему А. Чехов, В. Короленко, Л. Толстой.

Еще при жизни писателя его слава и популярность шагнули далеко за пределы национальных читательских кругов.

2

Писатель понимал, как важно ему расширить горизонты творческих интересов, чтобы на основе национального опыта подняться к проблемам общечеловеческим, интернациональным. Он понимал гораздо больше — как важно для грядущих судеб еврейского народа сломать не только физические и географические стены всяческих проклятых гетто и черт оседлости, но и стены духовной изоляции от мира, — стены религиозного фанатизма, мессианской спеси, сионистской заносчивости, стремящейся отлучить широкие массы еврейства от мирового, возглавляемого пролетариатом освободительного движения, от передовых течений общечеловеческой мысли. Шолом-Алейхем прекрасно понимал это и горячо боролся за единство освободительных стремлений еврейского народа с освободительной борьбой всех народов Российской империи, ибо свободу своего

народа он видел только в свободе России. Недаром за три года до Великого Октября он пророчески говорил: «Будущее нашего народа только здесь, в стране, где мы живем. Минет тяжелый час, развеются темные тучи, небо станет ясным».

Да, печальные и веселые глаза Шолом-Алейхема видели истину, — они хотели ее видеть и видели. Пусть иногда не до конца, не до всей глубины, пусть иногда с просчетами, с недосмотрами. Однако этих глаз не могли обмануть никакие размалеванные фасады, никакие бенгальские огни ярких фраз и блестящих реклам не могли их ослепить. Дважды за свою жизнь Шолом-Алейхем приезжал в Америку, был вынужден немало лет прожить там, да и умер вдалеке от родины, в чужом ему Нью-Йорке. Он увидел правду хваленной «страны свободы», ложью о демократии пытающейся прикрыть свою гнусную и жестокую капиталистическую действительность, но ложь эта не может обмануть даже наивную и бедную еврейскую женщину — эмигрантку Броху, в уста которой писатель вкладывает недвусмысленную оценку американской действительности: «Столько бы болячек нашим врагам, да на хорошем месте, и столько добрых дел нам всем, сколько выдумок и лжи говорят за один день в Нью-Йорке». Не раз в своих произведениях — в таких шедеврах, как «Блуждающие звезды», «Мальчик Мотл», «Человек из Буэнос-Айреса», — рассказывает писатель читателю свою, продуманную и выстраданную, правду о стране наиболее развитого капитализма, которая многим и многим беднякам представлялась чуть ли не обетованной землей. В этой стране процветают циничные и бессовестные дельцы, такие, как «Человек из Буэнос-Айреса», торговец живым товаром, поставщик публичных домов, но честным простым людям, вот таким, как милый остроглазый мальчик Мотл, там счастья не найти.

Да не только о Мотле речь идет. Разве и умудренным долгим жизненным опытом, немало перенесшим и немало препятствий на своем пути одолевшим еврейским писателям удастся найти в «стране свободы» хотя бы призрак свободы? Шолом-Алейхем писал об Америке: «Мы, еврейские литераторы, порабощены там, в свободной стране, больше, чем все другие рабы капитализма».

Только со своей родиной, с угнетенной царизмом Россией, с уверенностью в ее славном будущем, в ее неминуемом революционном преобразовании связывает прозорливый писатель свои надежды на счастливое будущее и родного еврейского народа. Только в единении и братстве с русским народом, с его творческой, пробуждающейся революционной мощью, с его передовой, свободолюбивой и правдолюбивой культурой видит Шолом-Алейхем будущие пути и еврейских трудящихся, и прогрессивной еврейской культуры, которая не может прийти к развитию ни по узким, хитро закрученным

тропкам бундовской «культурно-национальной автономии», ни по темным дебрям сионистского изуверства. Шолом-Алейхем всегда и неизменно был борцом против националистического мракобесия.

3

Не раз подчеркивал он в статьях, высказываниях, письмах свою любовь, свою веру в русский народ, никогда не смешивал его с русским царизмом, ни в коем случае не переносил справедливой ненависти к кровавому режиму царской «тюрьмы народов» на простого русского человека, такого же угнетенного, как и еврейский, украинский, грузинский, латышский трудящийся. Язык русского народа Шолом-Алейхем называл для себя не только близким, но и родным: «Русский язык мне близок... Я достаточно потрудился, чтобы он стал моим родным языком». Еще в училище он настолько хорошо изучил русский язык, что зарабатывал на жизнь его преподаванием. Первые литературные опыты Шолом-Алейхема написаны на трех языках — еврейском, древнееврейском и русском. Еще в 1884 году напечатана была по-русски повесть «Мечтатели»; позже, в 1891 году, живя в Одессе, Шолом-Алейхем регулярно печатает в русской прессе свои фельетоны, очерки, рассказы, часто сам переводя их.

Русская передовая интеллигенция рано заметила и отметила талант, появившийся в еврейской литературе. Еще в 90-х годах на страницах «Нижегородского листка» появились переводы рассказов Шолом-Алейхема. А. М. Горький их читал и сказал о них: «Прекрасные вещи». Так заложено было начало многолетнему знакомству, исполненному внимания, взаимоуважения, любви между двумя великими писателями. Задумав в 1901 году издать сборник «Рассказы еврейских беллетристов», А. М. Горький в первую очередь привлекает Шолом-Алейхема. Шолом-Алейхем сам переводит для этого издания несколько своих очерков «В маленьком мире маленьких людей». В письме к одному из участников сборника он пишет: «Я постараюсь на днях сам перевести пару очерков и pošлю Вам для Максима Горького, то есть для сборника. С чувством понятного смущения я выступаю с ними перед такой художественной силой, как М. Горький». Когда в 1910 году начало выходить первое издание русских переводов произведений Шолом-Алейхема, то за каждым томом его следил Горький. Он жил тогда на Капри и оттуда, восхищенный напечатанными в первом томе рассказами («Мальчик Мотл», «Ножик» и другие), написал автору приведенное выше теплое письмо, где книга названа превосходной, искрящейся славной, добротной и мудрой любовью к народу, Шолом-

Алейхем отвечал благодарно и растроганно. С восхищением он писал о Горьком и в своих рассказах. Дочка Тевье — Хава (рассказ 1906 года — «Хава») — объясняет отцу: «Горький — это нынче чуть ли не первый человек в мире... Это знаменитый писатель, сочинитель, то есть он книги пишет, и к тому же редкий человек, чудесный, замечательный, честный, тоже из простонародья, нигде не учился, все самоучкой». Любовь к замечательному русскому писателю-буревестнику еще более укрепила личная встреча их. В 1905 году, году бурь и восстаний, году революционного подъема и контрреволюционного разгула, расстрелов рабочих демонстраций, подавлений крестьянских мятежей, еврейских погромов, — в этом тревожном и знаменательном году приезжает Шолом-Алейхем в Петербург и впервые встречается здесь с Горьким. Горький принял еврейского писателя, как пишет Шолом-Алейхем, «в высшей степени дружески, чисто по-товарищески». Их разговор вращался «около вопросов литературы как общей, так и еврейской». Конечно, это не был разговор людей, замкнутых в тесный круг чисто литературных интересов. Это был разговор двух передовых людей своих народов, связанных с действительностью всеми фибрами своего чуткого и могучего сердца. Такою же была и их переписка, длившаяся много лет. До последних дней своей жизни А. М. Горький хранил память о своем еврейском собрате. Он не мог не упомянуть о нем и в 1934 году, в докладе на Первом съезде советских писателей, назвав там Шолом-Алейхема «исключительно талантливым сатириком и юмористом».

Взаимоотношения Горького и Шолом-Алейхема были особенно теплыми и интересными. Переписка с А. Чеховым, В. Короленко, Л. Толстым не была обильна, но крепкие духовные связи Шолом-Алейхема с ними, знание их творчества и восхищение им проявилось и в его художественных произведениях, и в его многочисленных высказываниях. Когда в 1910 году после смерти Льва Толстого попросили Шолом-Алейхема написать об умершем гении, еврейский писатель ответил: «Ах, мой бог! Чтобы я писал о таком мифологическом титане литературы? Чтобы я писал о таком Самсоне — богатыре человечества?.. Я всю свою жизнь рвался к этому сияющему, светящему и греющему солнцу, которого называли «Толстой»... Я был пламенным приверженцем его необыкновенно великого художественного таланта». Может быть, по своей стилистической манере творчество Шолом-Алейхема и не несет прямых следов влияния Толстого, однако общее вдохновляющее значение человековедческого и человеколюбивого гения Толстого на рост таланта Шолом-Алейхема несомненно. Более прямое влияние можно проследить по линии творческих влияний А. Чехова. В своих художественных исканиях Шолом-Алейхем ставил себе целью «достичь чеховской ясности,

сжатости и скупости слова и фразы». Напрасными хлопотами часто бывают выскивания тех или иных влияний на творчество писателя. «Влиянология» — не самая плодотворная из наук. Однако тщетно будет стремление писателя достичь мастерства, совершенства выразительности и образности без изучения художественного опыта предшественников, близких ему по духу и стилю. Неповторимость таланта Шолом-Алейхема окрепла под влиянием творческого восприятия и любовного изучения опыта Н. Гоголя, Л. Толстого и М. Горького, А. Чехова и В. Короленко. И это было закономерно, естественно, понятно. Новая еврейская литература вся развивалась под влиянием передовой русской литературы. Реалистическая школа, начатая Пушкиным и Гоголем, утвержденная учением Белинского, Чернышевского, Салтыкова-Щедрина, была школой и для основоположников новой еврейской литературы — И. Аксенфельда, Менделе Мойхер-Сфорима, А. Гольдфадена, И. Липецкого. Тем более относится это к их продолжателям — Шолом-Алейхему, М. Винчевскому, И. Перецу. В неповторимом для всей мировой литературы правдолюбию и свободолюбию передовой русской литературы, отражавшей и вдохновлявшей могучий порыв к свободе не только русского, но и других угнетенных царизмом народов, находили и передовые еврейские писатели поддержку, опору и силу своим национально-освободительным стремлениям. Прогрессивная русская литература был подлинной помощью в деле развития новой еврейской литературы, как и литературы грузинской, армянской, латышской, украинской. Этого замечательного процесса в истории мировой литературы не могут исказить, не могут затушевать никакие унижения, никакие фальсификации ни еврейских, ни украинских, ни каких-либо других националистических историков и литературоведов. Вопреки свирепой угнетательской и разъединительной политике русского царизма, вопреки великодержавному шовинизму помещичьеско-буржуазных правящих кругов царской России, русский народ своим революционным делом, своим правдолюбивым словом, своей передовой культурой, трудом своих передовых деятелей крепил единство народов России в их освободительной борьбе. Этот могучий процесс единения ощущал, отражал в своем творчестве и Шолом-Алейхем.

Особенно тесными узами связан Шолом-Алейхем со своей родиной — с украинской землей. Именно Украина была родиной Гольдфадена, Шолом-Алейхема, Бергельсона, Ошера Шварцмана, Дер Нистора, Маркиша. В истории многовековой совместной жизни двух народов немало черных страниц жестоких национальных распрей, но было бы издевательством над исторической правдой сваливать вину за это на народы. Угнетателям было удобно долгие годы направлять бунтарский, хаотический протест угнетенных

украинских масс огульно против всего еврейского народа, а религиозным еврейским вожакам выгодно было держать покорное им общество в стенах синагогальных законов, в бесправии и слепой вере. Однако возведенные темными феодальными силами стены не раз взламывались и с той и с другой стороны. Молодые еврейские бунтари, бежавшие от произвола польских панов, приходили и на Запорожскую Сечь. Украинские крестьяне с топорами и вилами в руках защищали деревенские еврейские семьи от банд погромщиков и черносотенцев. Так было во время самой лютой волны погромов 1905—1906 годов в Константиновке, Балашевке, Дымине и во многих других селах Украины. Ответом передового украинского интеллигента на погромный рев русских и украинских шовинистов была гневная новелла М. Коцюбинского «Он идет». И как вторая половина диптиха раскрывается перед нами полный светлых надежд рассказ Шолом-Алейхема «Пасха в деревне» — о дружбе украинского и еврейского мальчишек Федыки и Файтла.

Лучшие люди обоих народов всегда ощущали это дружеское сплетение рук, эти плодотворные связи и материальные, и духовные, и языковые, и художественные. Выражением таких духовных связей является все творчество Шолом-Алейхема. Его нельзя отрывать от сокровищ, накопленных в народном и литературном творчестве еврейского народа, но и из источников русской и украинской литературы и фольклора Шолом-Алейхем охотно черпал краски, приемы, выражения, чтобы рисовать образы своих героев, живших в ежедневном непосредственном общении с украинским тружеником, таким богатым и юмором, и песнями, и метким словом, и животворной надеждой, и верной дружбой. Сколько украинских пословиц и поговорок вложил Шолом-Алейхем в уста своих героев! Чуть ли не на каждый случай жизни находит Тевье то еврейскую, то украинскую, то русскую поговорку. Юмор старого молочника обогащен и тонким, слегка грустным остроумием еврейского фольклора, и острой, красочной украинской шуткой, и насмешливой находчивостью русского присловья.

Шолом-Алейхем рассказывал брату: «Когда я писал мои стихи, я днем с огнем искал «Кобзаря», эту песнь песней Шевченко, и не мог найти. Я готов был отдать что угодно и сколько угодно. И лишь теперь я вижу, что не прогадал бы, если бы уплатил по самой высокой цене даже за одну его «Катерину».

Образ Катерины был особенно близок Шолом-Алейхему. Судьба обездоленной украинской женщины была очень похожа на судьбу тех несчастных еврейских женщин, которые не раз привлекали к себе внимание и сочувствие писателя (например, в новеллах «Человек родился», «Три вдовы», в «Тевье-молочнике»). Но среди женских образов Шолом-Алейхема лейтмотивом проходит образ еврей-

ской девушки, вышедшей замуж за юношу-революционера и разделившей с ним его тяжелый путь борца против социальной и национальной несправедливости. Пример тому — Фейгеле из новеллы «Три вдовы» и Голда, вторая дочь Тевье.

4

Еврейская молодежь искала выхода из замкнутого мирка Касриловок — еврейских местечек на Украине. Не очень многочисленную галерею образов революционной молодежи создал Шолом-Алейхем, но каждый такой образ нарисован не только с любовью, но и с уважением и благоговением перед тем героическим путем, который избрали эти молодые люди.

Шолом-Алейхем видел, что люди ищут и другой путь — возможности уехать из родных Касриловок в «страну свободы», в Америку. Совсем иначе относится писатель к таким искателям счастья. Неоднократно — и в чудесной повести про мальчика Мотла, и в «Записках коммивояжера», и в рассказе Берл-Айзика из Касриловки, и в романе «Блуждающие звезды» — писатель обращается к теме еврейской эмиграции, рисует крах легенд о «счастливой стране свободы» за океаном. Грустным выводом заканчивает свои рассказы об Америке разговорчивый Берл-Айзик: «Без денег, слышите ли, лучше не родиться — поганый мир...» Да, совсем не легендарный мир равенства и благополучия, а поганый мир корысти, конкуренции и пренебрежения к обездоленным — вот что такое Америка! Только проклятая доля, только поиски спасения от кровавых погромов, от жестокостей черты оседлости, от произвола царских жандармов и чиновников могут толкнуть бедного еврея на путешествие за океан. «В Америке не живут, в Америке спасаются», — сказал Шолом-Алейхем. В главах повести про Мотла и в романе «Блуждающие звезды» он ярко показал, какие чудовищные формы погони за деньгами приобретает там жизнь, каких исковерканных людишек, очумевших от этой погони, порождает она. Разве дельцы типа Кламера, Муравчика или Швалба достойны называться людьми?

Антигуманистическую, античеловеческую суть американского капитализма Шолом-Алейхем воспринял с таким же отвращением, каким проникнуты и американские очерки М. Горького, и новеллы Шервуда Андерсона, и повесть «Без языка» В. Короленко, и незавершенный роман Ф. Кафки «Америка». Даже перебравшись за океан, герои Шолом-Алейхема в большинстве случаев снова попадают в среду своих земляков — недаром один из заокеанских рассказов мальчика Мотла назван «Касриловка в Нью-Йорке».

Однако еще более выразительная картина классового раздела мира, ожесточенная классовая борьба, опыт рабочих стачек обогащают их сознание, и никогда они уже не повторят наивно-восторженных слов провинциального дельца-неудачника Менахем-Мендла о цене человека в Америке: «Люди там в большом почете: червонец — человек!» Даже мальчику Мотлу такая цена не показалась бы высокой.

Человек — вот центр творческих устремлений, усилий и открытий Шолом-Алейхема. Человек конца XIX — начала XX века, времени все более сильной капиталистической ломки патриархальных порядков стародавней еврейской общины, где неслыханная безысходность нищеты окружала массы ремесленников, мелких лавочников, кустарей, батраков, интеллигентов, составлявших мелкобуржуазное большинство местечкового общества, где уже начали формироваться первые кадры еврейского рабочего класса, где еврейская экономически окрепшая буржуазия, по ончившая с этапом просветительства, этапом «Гаскалы», с его прогрессивной для того времени борьбой против господства раввинов, вновь берет на вооружение националистическое учение, сионистские устремления, новые формы религиозного фанатизма.

Шолом-Алейхем не поддался искушению провозглашаемой буржуазными деятелями проповеди сионизма, не принял участия во внутренних разногласиях различных направлений мысли еврейской буржуазии. В рассказе «Касриловский прогресс» он дал острую сатирическую картину этих разногласий, осуждая как традиционалистов, так и «европеизаторов», представленных писателем в виде редакций двух газет — «Ермолка» и «Котелок», люто конкурирующих между собой. Это не значит, что Шолом-Алейхем критиковал сионистских идеологов с революционно последовательных позиций, хотя симпатии к носителям революционной и даже марксистской мысли он в своих произведениях неоднократно подчеркивал. Его общественная критика была критикой, исходящей из уст радикально настроенного интеллигента-демократа, не лишённого многих народнических надежд и таких иллюзий, как моральное перевоспитание эксплуататоров, всепрощенческий гуманизм. Это и отразилось на идейно-художественном звучании некоторых его произведений, внесло в них нотки сентиментальности и неглубокой романтизации. Подобные нотки особенно отчетливо звучат в его первых произведениях: в повести «Наташа» (1884) (позднее писатель переименовал повесть, назвав ее «Тайбеле»), романах «Степеню» (1888) и «Иоселе-соловей» (1889). Писатель мужал, расширялось и крепло его мировоззрение, совершенствовался его художественный вкус, росло его мастерство, и живая правда жизни во всей своей реальной и реалистической многозвучности отразилась в таких шедеврах

мировой литературы, как «Тевье-молочник», «Менахем-Мендл», «Мальчик Мотл», «С ярмарки».

Было бы неверно преувеличивать юмористический характер творчества Шолом-Алейхема. Его юмор сложен, носит противоречивый характер: незлобивая шутка быстро сменяется гневным ударом сатиры, за усмешкой часто скрыта человеческая трагедия; это, собственно, тот гоголевский смех, в котором таятся горькие слезы и резкие укоры действительности. Сам Шолом-Алейхем писал, что жизненное море слез, пройдя сквозь его творческую призму, превратилось в смех. Такой смех часто бывает больше похожим на гневный плач, на крик протеста. Писатель взволнованно, пристально смотрит на мир, эмоционально преображает каждое его явление, духовным взглядом пронизывает внутренний мир изображаемых людей и не скрывает, что выносит им свой приговор. Безразличным наблюдателем, равнодушным натуралистом его никак не назовешь. Полнокровный реалист, мастер великого искусства человековедения, которое живет только правдой, верой в человека, ненавистью ко всему античеловечному и истлевшему, выразитель не искусственного, а органичного, как жизнь и движение, оптимизма — таков великий еврейский писатель Шолом-Алейхем, таков его замечательный вклад в мировую сокровищницу реалистического искусства. С уважением и восхищением входит ныне в эту законно унаследованную, сокровищницу человек новой социалистической эпохи. Он наслаждается сокровищами, собранными здесь. Он воспринимает их, изучает их, учится на них. Он ощущает тихое тепло таких драгоценностей, как новеллы Шолом-Алейхема. В тонких и красочных формах этих новелл заключен неповторимый мир. Вам кажется, что он невелик? Но без него картина человеческого прошлого была бы неполной, из мозаики истории выпало бы несколько очень ценных смальт. Вот почему мы так бережем и для себя, и для грядущих поколений те образы, которые разглядел в жизни человек, чьи зоркие, печальные и веселые глаза угасли в далеком и чужом ему Нью-Йорке чуть больше, чем пятьдесят лет назад.

5

А впервые весеннее солнце озарило их на Украине, в маленьком, но древнем и славном городке Переяславе (теперь Переяслав-Хмельницкий) 2 марта 1859 года. В семье не очень богатого, но и не очень бедного лавочника Нохума Рабиновича родился сын, названный Шоломом — Соломоном. В Переяславе, а большей частью в другом полтавском городе — Воронкове — прошли его детские годы. Шолом-Алейхем рассказывает в своей автобиографии: «...В маленьком,

величиной с ноготок, местечке Воронкове, недалеко от города Переяслава, провел я свои лучшие золотые годы, прекрасные, глупые детские годы». Именно Воронков выступает потом так часто в произведениях Шолом-Алейхема под вымышленным названием Касриловки. Пышные легенды Агады, насмешливые рассказы еврейского народного юмора переплетались с украинскими сказками, былями, песнями, волнуя детское воображение, пробуждая пытливість и любознательность. Прочтите яркую автобиографическую повесть Шолом-Алейхема «С ярмарки». Выразительностью картины, оригинальностью типов, самобытностью своего звучания, в котором так своеобразно переплелись еврейские и украинские мотивы, повесть эта стоит в одном ряду с «Детством» и «Моими университетами» М. Горького, в одном ряду с рассказами И. Франко про карпатских детей.

Религиозная семья. Традиции, оберегаемые, хотя и не очень ревностно, отцом. Постепенное разорение. Униженное существование семьи владельца неприхотливого переяславского заезжего дома. Хедер — еврейская начальная религиозная школа, первые проявления богато одаренной, живой и неугомонной натуры. «С детства я отличался, — рассказывает Шолом-Алейхем, — богатым и пылким воображением... Схватывать живые черты всякого явления, любого человека было у меня почти манией». Первые товарищи — одаренные талантом, но не судьбой мальчики из еще более бедных еврейских семей. Музыкальные, непоседливые, болтливые, полуголодные и босоногие дети, запечатленные в памяти их остроглазого компаньона, а потом увековеченные в галерее чудесных детских образов — мальчик Мотл, Шоломка, Меер из Медведовки, Шмулик — всех не перечислить. В чистых детских образах, как в хрустальных криницах, отразил Шолом-Алейхем и тучи и зори эпохи. Всем своим существом, складом психики, направлением мыслей, порывами мечты дети Шолом-Алейхема связаны с социальными процессами, которые их окружают, которые расшатывают извечные основы касриловской жизни, выводят детей на другой, может быть, еще более трудный, но ведущий значительно дальше путь. Такие представители новой народническо-просветительской интеллигенции, как переяславский нотариус Арнольд, выведенный в шолом-алеихемовской биографии, подталкивают молодое поколение к выходу из замкнутости местечковой жизни.

Молодой Шолом Рабинович после окончания хедера идет учиться дальше — в русскую уездную школу. Он оканчивает ее в 1876 году и начинает самостоятельную жизнь. Покидает семью, уезжает в деревню, в село Софиевка — имение, арендованное богачом Лоевым. Там Шолом живет около трех лет как домашний учитель дочери Лоева Ольги. Молодой учитель и юная ученица не остаются равнодушными друг к другу. Старый Лоев, чванливый и своевольный,

грубо разрывает этот роман, выгоняет влюбленного учителя из имения. Но в 1883 году Шолом Рабинович все же женится на Ольге Лоевой, ставшей с тех пор его другом, помощником и спутником в нелегкой писательской жизни.

Именно в эти годы и совершил Шолом свои первые сознательные шаги на ниве еврейской литературы. Еще в четырнадцать лет он принялся за писание каких-то исторических и приключенческих романов. Он царапал их на языке иврит, подражая тогда нравившемуся ему, но на самом деле весьма посредственному автору староеврейских романов Мапу. Позднее, живя в Софиевке, Шолом много писал и на древнееврейском и на русском языках. Тут были и трагедии, и романы, и комедии. Единственной и увлеченной читательницей этих произведений была Ольга. Он посвятил ей и первую свою повесть — «Два камня», написанную живым еврейским языком — идиш и опубликованную в 1883 году. Повесть была построена на переживаниях самого автора, на перипетиях его романа с Ольгой. Ольга в повести названа Полей, учитель Рабинович — Рабовским, домашний тиран Лоев — Лихтиновым. Все герои гибнут. Трагичности — бездна. На самом деле в жизни учителя, а затем лубенского казенного раввина Рабиновича все сложилось лучше. В том же 1883 году он не только женится, но печатает и второе свое произведение — «Выборы», впервые подписав его псевдонимом Шолом-Алейхем (по-еврейски — «Мир вам»).

Появление Шолом-Алейхема знаменовало собой дальнейший этап в развитии новой еврейской прозы, основоположником которой был человек, уважительно именуемый Шолом-Алейхемом «моим дедушкой», — житомирский и одесский учитель, мудрый, жизнелюбивый и жизнестойкий Менделе Мойхер-Сфорим (псевдоним Шолома Абрамовича, родился в 1836 — умер в 1917 году).

Мастерство проникновенных, написанных четко и просто, то с сочувственной улыбкой, то с иронической насмешкой, то с сатирической издевкой, повестей Менделе стало школой для Шолом-Алейхема, он опирался на неизменную поддержку Менделе, прислушивался к его дружеским, иногда до резкости откровенным советам. Вкус Менделе Мойхер-Сфорима был строже; склонная иногда к многословию эмоциональность Шолом-Алейхема была ему чужда. Прочитав «Стемпеню», старый мастер откровенно написал «внуку»: «Просто наслаждение читать, как Вы описываете жизнь, — столько здесь остроумия, юмора. Но как только Вы начинаете играть в любовь — у Вас ничего не получается». Такая категоричность была чрезмерной даже в отношении первого этапа творчества Шолом-Алейхема, но в своей борьбе за реалистический характер тогдашней еврейской литературы Менделе был резок и непреклонен. Он заботился об остроте своего писательского оружия. Он был строг

и предпочитал по-щедрински гиперболизировать свои сатирические образы, нежели смягчать их украшательством и сентиментальностью. Шолом-Алейхем наследовал эту манеру Менделе, когда писал в 1883—1887 годах «На Бердичевской улице», (Зарисовки), «Перехваченные письма». В 1887 году были написаны и повесть «Сендер Бланк и его семейка», и новелла «Ножик», первые шедевры творчества Шолом-Алейхема. Повесть «Сендер Бланк» названа автором «Романом без романа». Нет в этой повести ничего ни романтического, ни романсового. Отвратительный мир капиталистической наживы, мир хищников и спекулянтов, паразитов и подхалимов, — остро сатирически рисует его Шолом-Алейхем. Хотя действие повести не выходит за рамки подлой и бессовестной семейки старого опытного хищника Сендера Бланка, однако значение повести, ее разоблачительная суть значительно шире. С первых же шагов своей литературной деятельности Шолом-Алейхем выступает как разоблачитель богатой паразитической верхушки современного ему еврейского общества. Не раз в дальнейшем свои гневные и презрительные удары он будет направлять в эту сторону, вызывая ненависть и озлобление со стороны «опор общества», буржуазных заправил, беспощадно борющихся, в союзе с сионистскими проповедниками и синагогальными мракобесами, за нерушимость своего господствующего положения. Одинаково злобны были нападки националистической прессы и на «дедушку» — Менделе, и на «внука» — Шолом-Алейхема. Один из таких писак — Лейбце Гершов — рычал на них со страниц «Еврейского народного листка»: «Наши сочинители видят только злых героев, добрые для них не существуют, все они — люди, достойные осмеяния, достойные ненависти, как пауки, а добрых и в помине нет. Так ведет себя «дедушка», и так вслед за ним поступает «внук».

Конечно, и Менделе Мойхер-Сфорим и Шолом-Алейхем великолепно владели острым оружием сатиры, умели со всей силой своего большого сердца ненавидеть, презирать, обличать и высмеивать. Однако не менее сильно они умели любить, ободрять, вступаться в защиту, бороться за права обездоленных, ограбленных, униженных.

С любовью и скорбью всматривался Шолом-Алейхем в тяжелую и печальную жизнь еврейского трудящегося народа и видел, как талантлив, неистребимо жизнелюбив, человечен этот трудовой народ, даже под жесточайшим гнетом — гнетом и социальным и национальным — не павший духом, не искавший своего человеческого лица, своего талантливого творческого естества. Процессам роста вышедших из народной гущи талантов, тяжелой истории их становления посвящены два романа Шолом-Алейхема — «Степеню» и «Иоселе-соловей». Первый повествует о талантливом скрипаче Степеню, о трагедии его жизни, вызванной мрачными и беспощадными религиозными запретами, обычаями, предписаниями.

Талант Стемпеню, как и прекрасные певческие способности Иоселе, недаром прозванного «соловьем», становятся предметом наживы и спекуляции для темных дельцов, стремящихся нажиться на способностях одаренных людей. Позднее, уже в 1909—1911 годах к этим двум романам примкнет третий — «Блуждающие звезды», трактующий ту же тему о трагической судьбе художника в условиях алчной капиталистической действительности. Романы «Стемпеню» и «Иоселе-соловей», так же как и роман «Сендер Бланк и его семья», вызвали резко противоположные оценки. Сатирические мотивы были сильны и в повестях об артистах. Положительные образы этих произведений несли на себе черты некоторой нарочитости, приукрашательства, мелодраматичности, а вот образы отрицательные были написаны более строго, точно и ярко, вызвав тем самым ярость со стороны идеологических «блюстителей порядка». Однако нападки на Шолом-Алейхема скорее привлекли к его книгам внимание широких читательских кругов, чем отпугнули их.

6

Шолом-Алейхем довольно быстро начал завоевывать популярность. Его деятельность, и писательская и общественная, все больше и больше влияла на процессы развития еврейской культуры. Получив от умершего тестя наследство, он без колебания отдал значительные средства на поддержку еврейской литературы. Он издал два тома литературных сборников «Еврейская народная библиотека» (1888—1889), где наряду с произведениями писателей старшего поколения — Менделе Мойхер-Сфорима, И. Линецкого — появились и произведения молодых — поэма И. Переца «Мониш», два романа самого Шолом-Алейхема — «Стемпеню» и «Иоселе-соловей».

Имя Шолом-Алейхема становилось известным все более широкому массам читателей. Поэтому внимание не только еврейской интеллигенции привлекло его гневное выступление против той псевдолитературы, которая начала в то время завоевывать неприятельного еврейского читателя, литературы бульварной, приключенческой, дешево романтической. Она была своеобразным видом наркотика. Она должна была приглушить горе, нищету и протест беднейших еврейских масс сказками о замаскированных графах, которые женятся на бедных еврейских девушках, баснями о наследствах и сокровищах, которые валяются в руки бедным женихам. Самым популярным штамповщиком романов такого сорта был некий Шомер. Его книги расходились огромными тиражами, вытесняя с полок книжных магазинов книги Менделе, Линецкого, Гольдфадена.

В своей книге «Суд над Шомером» (1888) Шолом-Алейхем нанес сокрушительный удар такой «литературе» и таким литературмахерам. «Из всех углов и гнезд посыпались тараканы и всякие жучки и так запаковали еврейскую литературу, что придется долго ее чистить и мыть», — писал он в этой брошюре.

Во имя высокоидеальной художественной литературы, которую мы теперь называем литературой критического реализма, гневно и убедительно выступил Шолом-Алейхем. Он верно назвал свою книгу «Обвинительным актом». Она и была неопровержимым обвинением против фальсификаторов литературы, играющих на худших вкусах читателей, заслоняющих от них правду жизни, отвлекающих от мыслей, пусть досадных, пусть горьких, но справедливых, от раздумий о существующем строе, о его властителях и избранниках, о его несправедливости и неизбежной обреченности.

Девяностые годы стали для Шолом-Алейхема годами нового творческого подъема, хотя в личной жизни ему пришлось пережить немало горестей и бед. Наследство тестя быстро съели неудачные попытки коммерческой деятельности, к которой Шолом-Алейхем по своей натуре и по своим жизненным интересам был совершенно неспособен. Щедро тратил он свои деньги на культурные начинания, на издание еврейских книг. Однако за эти годы, окончившиеся финансовым разорением, очень обогатился писатель духовно. Он смог увидеть жизнь с тех сторон, которые раньше ему не были доступны, в его сознание вошел новый социальный опыт, новые слои общества раскрылись перед ним. Писатель встретился с представителями крупной еврейской буржуазии, с их прислужниками и приспешниками, и они дали ему достаточно материала для создания образов тех предпринимателей, спекулянтов, биржевиков, спесивых богачей и жалких «торговцев воздухом», которые населили страницы книги об одном из таких неудачников-торгащей — Менахем-Менделе (цикл рассказов о нем был начат в Одессе в 1892 году) и другой книги — о человеке совсем иного склада — жизнерадостном, сильном, упорном, по-настоящему народном и земном труженике — молочнике Тевье (серия его монологов начала печататься в 1894, а закончена была в 1914 году). В эти же годы была написана и первая значительная пьеса Шолом-Алейхема — сатирическая комедия «Якнегоз» (1894). Разоблачение интриг и мошенничества биржевых спекулянтов было показано в пьесе так ярко и правдиво, что киевские крупные биржевики, прототипы многих образов пьесы, добились запрещения ее ставить. Разоблачительные мотивы в этой комедии звучат значительно сильнее, чем утверждение прогрессивных положительных сил тогдашнего общества, но уже в следующей пьесе — «Поздравляем» (1899) — тема новых социальных веяний, исканий, надежд, тема проникновения в народ социалистических

учений выступает более выразительно. В драматургию Шолом-Алейхема красочной и шумливой чредой врываются новые типы, невозможные раньше, в условиях почти средневекового застоя еврейского общества, — типы, рожденные укреплением буржуазных элементов; биржевики, спекулянты, бессовестные торговцы, алчные посредники, паразиты, паразитирующие на паразитах, — а с другой стороны, противостоящие им труженики, бедняки, интеллигенты, несущие трудовому народу слово надежды, слово отрицания мира наживы и спекуляции, мира капиталистического. Лучшая пьеса Шолом-Алейхема — и, заслуженно, наиболее известная — «Крупный выгрыш», написанная в 1915 году. Образ честного, скромного и доброго труженика, веселого портняжки Шимеле Сорокера окружен целым хором остро написанных персонажей этой пьесы, недаром названной автором «народным представителем». Таким народным представителем была она и в блестящем спектакле Московского государственного еврейского театра, где незабвенный Михоэлс играл роль Сорокера. Утверждением неизбывных, неисчерпаемых, неунывающих сил народа — простого народа, как его называл Шолом-Алейхем — является и образ Сорокера, и предшествующие ему, на протяжении многих лет создававшиеся и дорабатывавшиеся писателем, образы мальчика Мотла, неудачника Менахем-Мендла, могучего молочника Тевье, вошедшие в духовную сокровищницу человечества, как драгоценный и неповторимый взнос великого еврейского писателя. Ярко воплотив в себе черты эпохи, они свою эпоху переступили и заслуженно вошли в будущее, неся в себе бессмертное тепло и неистребимую силу человечности и жизнелюбия.

7

Веками бились обездоленные, нищие массы еврейского народа о стены национальной и религиозной замкнутости, которые возводили вокруг них и их собственные богачи и религиозные вожак, и феодальные или феодально-буржуазные властители, хозяйничавшие на землях, где поселились еврейские общины. Было ли это средневековое гетто или более современная «черта оседлости» — все равно слишком узким было поприще, на котором трудящийся еврей мог работать хотя бы ради своего нищенского существования. Ремесленничество, кустарный промысел, мелкая торговля, функции примитивного обслуживания потребностей населения — вот, собственно, и все области, в которых могла трудиться масса трудящихся евреев. Еврейского крестьянства не было, так как на землю евреев не пускали. Это разрешалось разве что богатым арендаторам, таким, как, например, тесть Шолом-Алейхема Лоев или часто упоминаемый

в произведениях писателя сахарозаводчик Бродский. Таких были единицы. Все они принадлежали к кучке самых богатых верховов еврейского общества. Кучка эта ревниво охраняла свое привилегированное положение, решительно устраняла всех конкурентов. Однако трещали средневековые стены. Капитализм наступал, ломал устаревшие границы. Казалось, открылись новые возможности для необеспеченных, полуголодных, занятых каким-либо случайным ремеслом или совсем безработных искателей счастья из всяческих Касриловок. Они бросились в крупные города, где начала расти промышленность. Но законы Российской империи разрешали проживать там лишь еврейским богачам и буржуазным интеллигентам. Все прочие ютились нелегально, прячась от полицейских облав, оседая в пригородных поселках, без постоянной работы, без какой-либо надежной перспективы.

Одни из таких искателей счастья надеялись, что на капиталистическом рынке и для них найдется хоть какое-нибудь место, что в биржевой горячке, у костра спекуляции и они хоть немного погрются. Вот так и кинулся привлеченный подобной мечтой бедняк Менахем-Мендл реализовать свои бессмысленные прожекты, нелепые планы. Шолом-Алейхем изобразил его во всей смехотворности поведения, во всей его в конце концов достойной жалости социальной обреченности. Нет, на пути, избранном Мендлом, трудящийся еврей не найдет своего счастья. Это понимает даже ограниченная, однако не лишенная здравого смысла жена Мендла Шейне-Шейндл, которая не устает корить и одновременно утешать своего бесталанного мужа, призывая его покориться судьбе, вернуться назад, в тихую касриловскую безнадежность и безысходность.

Шолом-Алейхем хорошо знает цену «здравого смысла» таких Шейне-Шейндл. Он видит иной, хотя и не очень счастливый, но все-таки лучший, более достойный путь. Это путь, каким идет молочник Тевье. Писатель недаром называл его самым любимым из всех созданных им литературных типов.

И в самом деле, Тевье — самый полнокровный, самый красочный и наиболее оптимистический в галерее типов, нарисованных печально-радостным талантом великого еврейского писателя. Тевье упорным трудом добыл себе место на земле. И этот земной, плодотворный труд укрепил его дух, не склоняющийся перед трудностями, несправедливостью и невзгодами. Тевье любит шутить. К его услугам двойная сокровищница юмора, ибо «хохмэ» он знает так же хорошо, как и украинскую «смівовину». Не чужд он и талмудистской начитанности, но, боже мой, как он ее переворачивает и перелицовывает! Он похож и на Кола Брюньона, и на довженковских дедов своей стойкостью, жизненной цепкостью, своим характером, таким землеробским, как ни у одного другого героя Шолом-Алейхема.

В его жизни предостаточно горя и невзгод, но, попробовав однажды поискать счастья на манер Менахем-Мендла, он никогда больше этой попытки не повторит. Шесть дочек есть у молочника, красивых, работящих, умных. Судьба каждой из них — это черта эпохи. Как бы ни запрещали религиозные мракобесы преступать национальные границы — девушке выходить замуж за нееврея, а юноше любить украинку или русскую, — никто уже не в силах помешать дочери Тевье Хаве полюбить украинского парня Федора, смело отстаивать свое право на эту любовь перед отцом. И отцу наедине с самим собою приходят в голову, как он говорит, «какие-то необыкновенные, удивительные мысли: «А что такое еврей и нееврей? И зачем бог создал евреев и неевреев? А уж если он создал и тех и других, то почему они должны быть так разобщены, почему должны ненавидеть друг друга?..»

Атмосфера эпохи насыщена новым, необычным. Грядет первая русская революция. Царизм пытается отвести от себя народный гнев, разжигая национальную вражду и антисемитизм, вкладывая нож в грязные лапы черносотенцев и погромщиков, благословляя их православным напутствием всяческих крушеванов. Шолом-Алейхем пережил страшный киевский погром 1905 года, но вопиющая несправедливость, национальная обиды, кровавое преступление темных сил не заслонили перед писателем-ясновидцем надежды, что сгинут проклятые раздоры, порожденные враждой и ненавистью, и судьбы Хавы и Федора будут такими же светлыми, как и судьба Голды — второй дочери молочника, которая тоже избрала для себя новый путь, озаренный огнем революции. Одним из бойцов революции был и Перчик — возлюбленный молодой Голды. Не очень-то боевитым выглядит этот узкогрудый, хилый сын еврейского бедняка, но несокрушима его революционная решительность, его сознательность. Голда идет за ним в ссылку, покидая семью, родину, отца. И когда отец спрашивает ее, что же, собственно, сделал ее возлюбленный, ради которого она даже от семьи отрекается, он слышит на всю жизнь запомнившийся ответ: «Он — человек, который меньше всего думает о себе. Вся его забота — о благе других, об общем благе, и главное, о рабочих, о трудовом народе!»

Так сложились судьбы двух дочерей Тевье. Как бы тяжелы они ни были, а все-таки они достойнее, светлее судьбы третьей дочери — Шпринцы, влюбившейся в богатенького Арончика, никчемного, откормленного, самовлюбленного паразита. Ничего, кроме унижения и горя, не принесла семье молочника эта любовь.

Правду классовых отношений Шолом-Алейхем больше ощущал, чем точно осознавал. Однако социальная отрешенность, всепрощенческая расплывчатость не могли бы дать писателю такой силы, такой жизненной правдивости, такой живучести, какую он вложил в

лучшие свои образы, среди которых особенно выделяется Тевье. Величайший в истории рубеж первой социалистической революции пролегал между временем, когда этот образ был создан, и нашим временем, а Тевье и до сих пор волнует, радует, завоевывает любовь многонационального советского читателя и зрителя. Самые крупные советские актеры стремились и стремятся на подмостках наших театров воплотить бессмертный образ бедного молочника. Прославленный еврейский актер Михоэлс и украинец М. Крушельницкий (и первому и второму творчески помогал в разработке роли великий украинский режиссер Лесь Курбас) создали — каждый по-своему, каждый неповторимо — такой образ Тевье, который по праву достоин войти в историю мирового актерского искусства.

Уже монологи Тевье дышат горячим дыханием первой русской революции. Шолом-Алейхем так никогда до конца и не понял ведущих сил революции — пролетариата и его рабочей партии, но много существенных черт бурной эпохи 1905—1906 годов отразил он в своих произведениях — стихах (его сатирическая песня «Спи, Алеша» стала народной), пьесах, новеллах, романах. Роман «Потоп», где главными действующими лицами являются революционеры: русские, украинцы, евреи — Березняк, Романенко, Башевич и другие, — весь пронизан напряжением революционных лет. Произведение это было написано в 1907 году в Америке, в непрерывных тяжелых мыслях писателя о родине, где шел разгул реакции, где в застенках «тюрьмы народов» томились, мучились, гибли тысячи и тысячи лучших людей всех народов России, придавленных кровавым сапогом царского карателя и жандарма. И все-таки, даже в этих условиях, писатель не поддавался отчаянию, не утратил веры в народ, в его победу и свободу. Революционерка Маша Башевич произносит слова, воплотившие в себе веру и самого писателя: «Потоп крови разольется по всей стране. Волны крови затопят грешную землю и смоят с нее всю грязь... А потом рассеются темные тучи, засияет солнце в лазурном небе и радостным светом озарится вся земля!»

Могучая вера в будущее жила в душе великого писателя. Во многих душах была она в те страшные годы упадка и реакции сломлена, испакошена, притоптана. Но сильные, преданные народу сердца ее не только оберегли, — они укрепились в ней, они понесли ее вперед.

Контрреволюция переходит в наступление. Волна кровавых репрессий, расстрелов, погромов. Десятки тысяч заполняют царские тюрьмы, идут в ссылку. Малодушные предают, клеветают на революцию. Начинается литературная пора «санинщины». Русский М. Арцыбашев, украинец Винниченко, поляк С. Пишишевский оправдывают ренегатство, проповедуют декадентщину, увлечение половыми

«проблемами», эгоистическую самовлюбленность. В еврейской литературе на этой новейшей основе вновь возрождается бульварщина типа прежних писаний Шомера, в свое время заклеянная Шолом-Алейхемом.

И писатель вновь поднимает свой гневный голос. Он неоднократно выступает против декадентщины, проникшей в еврейскую литературу: «Пора, право, произвести дезинфекцию в литературе, чтобы лицо не пылало от стыда из-за того, что мы дожили до пресловутого американского вкуса, из-за бульварщины, которую мы с таким трудом выкурили во время оно, двадцать лет назад».

Так он писал в 1909 году, уведомляя издателей о замысле нового романа — «Блуждающие звезды». Два года он создавал это свое самое большое произведение, ставшее как бы последней частью триптиха из жизни еврейской художественной интеллигенции: романа «Степению» — о музыканте, романа «Иоселе-соловей» — о певце и, наконец, романа «Блуждающие звезды» — об актере. И каждый из этих романов — о том, что в мире, где властвуют деньги, невозможно для художника со всей полнотой проявить свой талант, целиком отдать его народу, из недр которого художник вышел. Лейбл Рафалович, родившийся в нищем украинско-молдавском местечке Голенешти, хотя и стал знаменитым актером Лео Рафалеску, но счастья так и не достиг, окруженный жадными и бесчестными дельцами, которые спекулируют на его таланте ради чистогана, ради наживы.

Этот роман был написан после трехлетнего пребывания писателя в Америке, куда он, выехав из России в декабре 1905 года, попал лишь в октябре 1906 года. Как ни тяжело было на родине, где писатель пережил ужас киевского погрома, ни крохи «земли обетованной» не нашел он и в Америке. То, что он там увидел, почувствовал и пережил, легло в основу заключительных разделов романа, действие которых происходит в Нью-Йорке, где в последний раз встречаются Лео и Роза, два великих артиста, любящих друг друга, две блуждающие звезды, которым так и не суждено было соединиться. Автор символически избрал местом их печальной встречи зоологический сад, мир зверей. Людей там окружают звери, хотя и в виде более или менее респектабельных дельцов, меценатов, ценителей таланта.

Не менее острую картину капиталистических порядков нарисовал Шолом-Алейхем и во второй части своей знаменитой повести о мальчике Мотле, чей образ написан с такой же силой ощущения чистого, доброго, органично жизнерадостного народного характера, с какой был нарисован и старый молочник Тевье. От нищей Касриловки до исполинского, грядущего, ревушего, неусыпного Нью-Йорка простерся нелегкий путь сироты Мотла, путь, богатый пре-

ждевременным горьким жизненным опытом, омраченный угрозой погромов, издевательств и даже смерти. Но и в Америке, куда бросилась в поисках спасения семья Мотла, она не нашла счастья.

Повесть о Мотле, начатая еще в 1907 году (первая часть) и продолженная в 1916 году (вторая часть), так и осталась незаконченной.

Писатель тяжело болел. В 1908 году, вернувшись из Америки домой, он двинулся в путешествие по украинским, белорусским, польским городам, где жили значительные массы еврейского населения. Выступления Шолом-Алейхема перед читателями превращались в настоящие демонстрации народного уважения и любви к своему писателю. В Белоруссии, в Барановичах, он простудился и слег. Врачи констатировали вспышку туберкулеза легких.

Он был вынужден искать выздоровления под солнечным небом Италии. Туда, в итальянское местечко Нерви, со всех концов мира приходили к нему приветственные телеграммы, адреса и письма. Поклонники его литературного таланта поздравляли своего любимого писателя с двадцатипятилетием литературной деятельности, которое осенью 1908 года было отмечено широкой общественностью. Один приветственный адрес особенно запомнился. Он был из Киева. Шолом-Алейхем писал о нем: «Адрес растрогал меня до слез. Это ведь Киев, а Киев — это ведь мой город... Быть всюду на моем празднике немислимо, но то, что я не мог быть в Киеве, нагоняет на меня тоску!»

8

Долгие годы за границей. Италия, Германия, Швейцария. Но мысли — на родине, где разгул реакции. В Киеве в 1913 году начинается позорный процесс Бейлиса, обвиненного в ритуальном убийстве мальчика. Убила его еще в 1911 году шайка уголовных преступников. Мракобесы воспользовались этим убийством, чтобы начать дикую антисемитскую свистопляску. Весь мир был возмущен, особенно сознательные массы русского, украинского, польского народов. Лучшие люди русской литературы вслед за М. Горьким и В. Короленко подняли голос гневного протеста. Слова возмущения бросили в лицо черносотенной своре М. Коцюбинский, М. Заньковецкая, М. Садовский и другие деятели украинской культуры. Шолом-Алейхем напряженно следил за длительным ходом следствия и процесса. Царские холуи вынуждены были оправдать Бейлиса, но тщетны были старания вытравить из людской памяти это дело, заклеймившее несмываемым позором всю клику погромщиков.

Использував материалы процесса, Шолом-Алейхем написал роман «Кровавая шутка» (1912—1913). Несколько искусственное по-

строение сюжета, усложненная фабула все же не мешают уяснению основной идеи произведения: антисемитизм стремятся навязать русскому, украинскому и другим народам правящие круги царской России, самому же народу, его интеллигенции антисемитизм глубоко чужд и враждебен. Благородное интернациональное сознание писателя, непоколебимая вера в народ побудили его в ту пору разжигания национальной вражды выступить против националистической демагогии и провокации.

Никогда чувство преданности и любви к своей родине, к русской и украинской земле, где жили основные массы его родного народа, где развивалась его родная литература, где толпы читателей горячо изъявляли своему писателю глубокую благодарность и уважение, — никогда чувство этой любви не угасало в сердце Шолом-Алейхема. В дальних странствиях питало оно его думы и при первой возможности вновь тянуло домой, на Украину, в Россию. В 1914 году он вторично предпринимает путешествие по городам западных областей тогдашней империи, которым история в скором будущем готовит тяжкое испытание первой мировой войны.

Война застала Шолом-Алейхема на немецком курорте Альбек. С большими трудностями посчастливилось писателю выбраться оттуда. В конце 1914 года он добрался до Нью-Йорка.

Последние годы жизни, последние годы напряженной творческой деятельности. Писатель как бы предчувствует, что недолгий срок дан ему для окончания (он так и не успел их закончить) двух, пожалуй, самых любимых его книг — книги про нищего и доброго мальчика Мотла и книги про жизнерадостного, быстроглазого Шолома, то есть про самого себя, выведенного в автобиографической повести «С ярмарки». В процессе работы над этими книгами у него нашлось время написать и несколько драматических произведений (в том числе пьесу «Крупный выигрыш») и начать еще один роман — «Ошибка» (незаконченный, опубликованный в Советском Союзе в 1961 году).

Пишется нелегко. Мысли там, за океаном, где над родной землей полыхают пожары небывалых в истории битв. Писатель остро осуждает братоубийственную резню. «У кого есть время подумать: что я делаю, ради кого, зачем? Кому придет в голову: может быть, я иду против собственного брата?» — так горестно вопрошает писатель. Но сквозь кровавый туман войны ему видятся радостные дали. Он верит, что «мир накануне переустройства. Будет новый мир, открываются новые горизонты».

Озаренные этим видением, медленно гаснут зоркие, печальные и веселые глаза. Это случилось утром 13 мая 1916 года. Последним предсмертным желанием великого писателя было, чтоб его похоронили в родном Киеве.

Исторические обстоятельства помешали исполнить это желание. Тело его нашло свой вечный приют в чужой, нью-йоркской земле. Там он похоронен так, как просил в «Завещании»: «Пусть меня похоронят не среди аристократов, знатных людей или богачей, а именно среди простых людей, рабочих, вместе с подлинным народом, так, чтобы памятник, который потом поставят на моей могиле, украсил скромные надгробья вокруг меня, а скромные могилы украсили бы мой памятник так же, как простой и честный народ при моей жизни был украшением своего народного писателя».

На любовь, которую полной мерой отдал писатель народу, бедному, обездоленному, эксплуатируемому трудящемуся народу, ответил народ бессмертной, вечной любовью. Как гордость своей культуры, как прекрасный вклад в сокровищницу общечеловеческих духовных ценностей, бережет еврейский народ богатое наследие Шолом-Алейхема. Десять романов, двадцать пьес, сотни рассказов, много стихотворений, статей, фельетонов, несколько исследований оставил этот неутомимый труженик. Интерес к его творчеству, любовь к его живому, теплomu и душевному слову давно уже перешагнули национальные границы. На десятки языков мира переведены его произведения.

С вершин того великого мирового здания, которое возводят совместными усилиями на советской земле русские, украинцы, грузины, сыновья и дочери других братских народов, видны необозримые горизонты по-настоящему счастливого нового мира, открывавшегося когда-то писателю лишь в светлых мечтах, а ныне ставшие явью, действительностью, торжеством человека. Народы, знаменем которых является знамя революционного гуманизма, знамя коммунизма, высоко чтят и славят дела тех своих предшественников, которые в жестоких условиях социального и национального гнета жили, работали и боролись во имя человечества, его счастья, свободы, равенства, братства и мира. Этим уважением окружаем мы и того, кто своим собственным именем шлет нам слово привета, слово мира и надежды. Как мог бы он смеяться, шутить, утешаться и утешать, если бы не нес в своем сердце эту неисчерпаемую людскую надежду и не раздавал ее щедро и дружелюбно людям!

Микола Бажан

К МОЕЙ БИОГРАФИИ

(Написано в 1903 году моему самому близкому другу
И. Х. Равницкому)

Милый мой товарищ, дорогой друг Равницкий!

Вы просите, чтобы я Вам дал хоть какие-нибудь сведения из своей биографии? Боюсь—не лишнее ли это, моя биография. Не рано ли? Это во-первых. Во-вторых, я бы не прочь и сам написать историю своей жизни—даже целую книгу¹. В-третьих, я сильно занят, литературой, конечно. С тех пор как держу перо в руках, я никогда не работал так продуктивно, никогда не был так плодовит, как сейчас. Худо ли, хорошо ли, но пишется много. А Вы ведь знаете, что я способен писать даже на острие иголки или на лезвии меча! Одно плохо—время неудачное, за окном у нашего народа пасмурно, не хочется смеяться. А если и смеешься, то себе наперекор... Переписка с нашими великими людьми—евреями и неевреями отнимает у меня также уйму времени. Все же я урвал для Вас целый час (злодей)—и вот Вам некоторые сведения. Быть может, они пригодятся Вам в работе. И да поможет Вам бог!

Ваш преданный друг *Шолом-Алейхем*.

...В маленьком, величиной с ноготок, местечке Воронке, недалеко от города Переяслава (где я родился в 1859 году), провел я свои лучшие, золотые годы,

¹ Книгу эту я впоследствии и начал писать в Италии под названием «Биография Шолом-Алейхема, написанная им самим». (Прим. автора, 1913.)

прекрасные, глупые детские годы. В этой маленькой Воронке отец мой считался одним из первых людей, состоятельным человеком; он был старостой всех местных обществ—«реб * Нохум Вевиков»! А мы, дети реб Нохума Вевикова, были тоже не из последних! Каждую неделю на проводы субботы у нас собиралось чуть ли не все местечко; в праздники люди приходили к нам на трапезу; все новости поступали к нам и исходили от нас. Стаканчик вина каждый рад был выпить у нас, о раввине-чудотворце говорили у нас, о политике— у нас, все у нас. Детей в нашем доме воспитывали в строгости, держали в страхе божьем, отдавали к лучшему учителю—реб Зораху. И мы были по-настоящему благочестивы.

Я помню еще и теперь сладость слез, которые мы проливали, слушая нравоучения учителя. А нравоучения читал нам учитель реб Зорах каждый день, и мы во время молитвы били себя в грудь и каялись, потому что нашему благочестию сопутствовали и великие грехи: мы были лгунами, чревоугодниками, не слушали отца, пропускали слова в молитвах, таскали деньги из кружки для пожертвований (см. «Ножик»). А запретные желанья, греховные мысли! Один из наших товарищей, — звали его Эля, сын Кейли, — парень постарше, жених, рассказывал нам гадкие истории, вводил нас в искушение, развращал нас, превращал преждевременно во взрослых. А учитель читал нам нравоучения, и мы исходили слезами, усердно молились, не пропуская ни слова, плача, били себя в грудь и каялись в своих прегрешениях.

С детства я отличался богатым и пылким воображением. Дома представлялись мне городами, дворы — странами, деревья — людьми, девушки — принцессами, богатые молодые люди — принцами, травы — бесчисленными войсками, колючки и крапива — филистимлянами, эдомитянами и моавитянами *, и я шел на них войной (см. «Зелень к празднику»).

Схватывать живые черты всякого явления, любого человека было у меня почти манией. Сам того не желая, я изображал всех и каждого, начиная с нашего учителя реб Зораха и его жены, с товарищей по хедеру * и их родителей и кончая пьяницей Борух-Бером и кривоногим сторожем Ониской. За это передразнивание на меня градом сыпались оплеухи. В хедере я

прослыл шутом, комиком. Все смеялись до упаду, кроме меня. Дома мать заметила мои проделки и объявила им войну.

В умении подражать, в гримировке, в актерской игре не уступал мне только один товарищ, который к тому же прекрасно пел. Это был сын нашего раввина Меер, или иначе Меерл Медведев, впоследствии знаменитый певец Медведев. Великое искусство игры открылось ему еще тогда, когда он бегал босиком и самую расчудесную песню исполнял за грош или за полблока¹. Вдвоем с Медведевым мы представляли «Разбойников» — пьесу собственного сочинения. Медведев играл разбойника, а я — бедняка еврея. Остальные товарищи в качестве статистов изображали деревья в лесу. Я, бедняк, становился на колени и умолял разбойника: «Чего ты хочешь от меня? Я несчастный бедный сврей. Сжался над моей женой и детьми!» А он, разбойник, с кухонным ножом в руке распевал забавную песенку о том, что он должен во что бы то ни стало вырезать всех евреев.

Как бы мы ни были испорчены и дурно воспитаны, чувство милосердия ко всему живому было во мне так велико, что вид заезженной лошади причинял мне боль (см. «Мафусаил»), собака с перешибленной ногой вызвала у меня слезы (см. «Рябчик») и даже кошка, нечистая тварь, была мне мила и дорога. О больных, убогих детях и говорить не приходится (см. «Убогая»).

Страсть к писанию, как это ни странно, началась у меня с красивого почерка, который я перенял у учителя, реб Зораха. За красиво написанное задание отец давал нам по грошу (первый «гонорар»). Я сшил себе тетрадь и красивыми буквами вывел в ней («сочинил») целый трактат по Библии и древнееврейской грамматике. Отец пришел в восторг от моего «произведения» и долго носил его у себя в кармане, показывая каждому встречному и поперечному, как прекрасно пишет его сын (было мне тогда лет десять), как он сведущ в Библии и искушен в грамматике. Но наш сосед,

¹ Я помню такую его песенку:

Выхожу я на Виленскую улицу,
Слышу крик и шум,
Ох, ох,
Плач и вздох!..

реб Айзик, хасид* с козлиной бородкой, который молился писклявым, как у котенка, голосом, сказал: «Грамматика-шматика. Чепуха и ерунда!.. Главное для меня — почерк. У него ведь золотая рука!» («Первая критика»).

Тянуло меня всегда в мир мечтаний и грез, в мир песен (см. «Иоселе-соловей»), в мир музыки (см. «Степенью»). После своего религиозного совершеннолетия я пристрастился к скрипке и получил за это порядочную взбучку от отца («Скрипка»).

Обеднев, мои родители переехали из Воронки обратно в Переяслав. Там нам впервые сшили модные сюртуки с распором позади. Когда умерла мать (от холеры), отец отдал нас в уездную школу, и я выделялся среди других детей, отличался своим усердием. В пятнадцать лет я впервые прочитал книгу на русском языке. Это был «Робинзон Крузо». Не долго думая, я написал собственного «Робинзона» под названием «Еврейский Робинзон Крузо». Свое произведение я показал отцу, отец показал его постояльцам (у нас был заезжий дом), — и все пришли в восторг.

С той поры отец стал оберегать меня, как сокровище какое, освободил из-под опеки мачехи, не позволяя ей колотить меня, не давал мне нянчиться с маленькими детьми, не заставлял, как раньше, крошить изюм (у нас был винный погреб под названием «Южный берег»), запретил мне также чистить сапоги постояльцам, ставить самовар, быть у них на побегушках и выполнять всякие другие поручения, как случалось прежде.

В возрасте от семнадцати до двадцати одного года, пока я не принялся всерьез за учение, намереваясь сделаться казенным раввином*, я запоем читал, но еще больше писал. А писал я все в том же роде, что читал: стихи, поэмы, романы, драмы в огромном количестве и просто что в голову взбредет. Свои «произведения» я посылал во все существующие еврейские и русские редакции (я писал на древнееврейском и русском языках), и редакциям, благодарение богу, было чем топить печи... Только «Хамейлиц»* напечатал два-три моих «произведения» с примечанием редакции мелким шрифтом: «Слог твой хорош. Услаждай нас дальше своей речью». И я принялся писать статейки на древнееврейском языке пудами, целыми вагонами, но никого моя речь не «услаждала», уж не знаю почему!

В то время (1883) появилась еврейская газета, первая газета на разговорном еврейском языке («Фолксблат» — Александра Цедербаума) *, и так как русские издания отказывались печатать мои «романы» и «драмы», а статьи на древнееврейском языке тоже никого не услаждали, то я попытался забавы ради написать что-нибудь на разговорном языке, на языке Менделе Мойхер-Сфорима *, книга которого попала мне тогда на глаза. И, представьте себе, «Фолксблат» ухватила за меня, и редактор Цедербаум собственноручно написал мне письмо, в котором просил (понимаете — просил!), чтобы я писал еще. С того времени я стал помещать фельетоны в «Фолксблат», и чем больше я писал, тем чаще меня просили присылать свои фельетоны. К тому же сотрудником «Фолксבלата» в это время оказался Мордхе Спектор *. Он неустанно подогревал меня, чтобы я не переставал писать, что и делает по сегодняшний день. Мои писания, однако, в те времена были не более чем забава, пока не случилась история с «Ножиком», которая изменила характер моего творчества, как и мою жизнь.

В те дни меня занимала коммерция — деньги, биржа, ценные бумаги и тому подобные вещи, не имеющие никакого отношения к литературе. Я достиг тогда вершины своего благосостояния, обладал большими деньгами и, возможно, пошел бы по иному пути, по тому пути, который некоторые считают настоящим. Но случилось иначе. Приехав однажды в Киев по разным важным делам и устав за день, я лег спать, но уснуть не мог. Поднявшись, я присел к столу и написал, верней, излил душу в рассказе о своих детских годах, которому дал название «Ножик».

Написанное я отправил в редакцию и забыл о нем.

И вот однажды читаю «Восход» * и вижу литературный обзор за подписью «Критикус» (Дубнов) *, который среди всякой чепухи упоминает и о моем «Ножике». Со страшным сердцебиением прочитал я несколько теплых строк «Критикуса». Он хвалил мой «Ножик» и утверждал, что молодой автор обнаруживает талант и со временем подарит нашей бедной литературе на разговорном языке идиш хорошие произведения.

Исполненный благодарности, со слезами радости на глазах, я еще раз перечитал эти слова милого «Кри-

тикуса» и дал себе слово писать в этом роде еще и еще. И с той поры по сегодняшний день стоят перед моим взором эти теплые доброжелательные слова, и каждый раз, когда я пишу новую вещь, я себя спрашиваю: а что скажет на это «Критикус»? Я давно потерял свои деньги, но бодрость осталась при мне, и я крепко держу в руках перо. Должен ли я быть благодарен «Критикусу» или наоборот — решать не мне. Моя болезнь (сочинительство) так далеко зашла, что я принадлежу уже не самому себе, не своим домочадцам, а нашей литературе и той огромной семье, которая называется «народ».

РАССКАЗЫ

ВЫБОРЫ

В доме Файвла Щелка — борода к бороде — толпились евреи. Реб Файвл, человек в годах, обладатель выщипанной бородки, густых пейсов, широкого рта и остроконечной ермолки, стоял во главе стола (стоял — не сидел!). Прикрывая ладонью рот одному из гостей, чтобы тот его не перебивал, а другой рукой схватив за бороду еще одного гостя, он хрипло разглагольствовал:

— С какой стати! На что нам образованный казенный раввин? Чтоб он доносил на нас начальству? Да провались он совсем! Шесть лет хозяйничал — хватит! Лучше выберем нашего Ицика, он не большой барин, с ним можно не церемониться, будем сами себе господа, и шапки перед ним не надо ломать. Подумаешь, беда, если он и не так силен в книжках!..

— Э! — отозвался Иосиф Индюк, который имел обыкновение ничего не принимать на веру, — книги? Тоже мне важность! Грош им цена! Грамоту знает — и ладно...

— Все-таки, — возразил Файвл Звон, которому Файвл Щелк до сих пор не давал рта раскрыть, — все-таки, как хотите, а гораздо лучше, когда казенный раввин ученый человек. И перед православными не совестно. Конечно, прежнего казенного раввина образцом благочестия не назовешь, молиться он не особенно торопится, но вы только посмотрите, как он ратует за евреев! Бедняков защищает, талмудтору* открыл, больницу для бедных организовал, да всего и не перечесать...

— Ты никому не даешь слова сказать,— снова заткнул ему рот Файвл Щелк,— известно, какой он благодетель, этот безбожник, с его школами, с его партами! Старый богач реб Цодек уже давно говорил, что такой наглости испокон веку не видывали — чтоб еврейские дети шли из талмудторы парами, как маленькие христиане из мигнази! * Шутка ли — талмудтора! Недаром сказано: «Ничего нет важнее изучения торы...» * Двося-Ляя! Дай чего-нибудь перекусить и вина немножко поставь: как-никак, а сегодня вроде бы праздник, все-таки выборы!.. Тише, Фридл Вихрь идет — от него мы обязательно узнаем какие-нибудь новости. Фридл! Что слышно в городе?

Фридл Вихрь — маленький кругленький человечек, с маленькими ручками, с круглым оплывшим личиком и маленькими глазками, которые постоянно в движении. Он никогда не унывает и всегда спешит. Никаких определенных занятий у него нет, и чем он живет с женой и детьми, один бог знает.

— Город разделился на два лагеря, — торопился доложить Фридл Вихрь, — богачи хотят осчастливить Ицика-писца, горой за него стоят. Но все простые люди — портные, сапожники, балагулы, музыканты, мела-меды *, все городские бедняки говорят, что они за старого казенного раввина, и ни с места, просто землю роют; они говорят, что не променяют его даже на самого ребе *. Пока суд да дело, все погребки и все шинки битком набиты; Велвл Заика заказал у Песи-Шпринцы полсотни жареных гусачков, восемьдесят уток и десяток индюшек, а пекарь Рефоэл-Иона уже испек не одну тысячу коврижек — пользуются случаем. Да и рюмка вина у них тоже, наверно, найдется, но мне некогда, я должен бежать...

* * *

Дума. За тремя столами, покрытыми старой зеленой скатертью, согнувшись, сидят писцы, и пишут, скрипят перьями. Секретарь с высохшим лицом поместился за столом в углу, возле него стоит высокий тощий человек с острой бородкой, острым черепом, острым носом, острыми плечами и тычет в секретаря острым пальцем: вместе с секретарем он долбит содержание инструкции о порядке выбора раввина — это

Ицик-писец, Ицик-ябедник, Ицик-ходатай, ему приспичило стать казенным раввином города Темного. Зал заполняет серая публика, простой люд, который, выбиваясь из сил, собственными руками зарабатывает свой кусок хлеба... Люди жмутся друг к другу, точно овцы, а вдоль стен в креслах и на скамейках сидят почтенные осанистые господа с круглыми животиками и холеными бородами: это городские богачи, интеллигенция, сливки общества... Ждут появления городского головы. Говорят все разом, как в синагоге между предвечерней и вечерней молитвами. В неразберихе только и слышно: справа... слева... Ицик... Ицик... прежний... новый... Один из богачей, благообразный старик, подошел к простолюдинам и произнес такую речь:

— Братья! Я вижу, что вам подавай только прежнего казенного раввина, который строчит в газетах и ходит с непокрытой головой*. А его дети бегают в гимназию и пишут по субботам... Похоже, этот проходец снова вас обработал, но поверьте моему слову, если вы его выберете, будете потом раскаиваться. Вы должны знать свое место. Вы люди маленькие и обязаны почитать мнение тех, кто умнее вас. И что такого нашли вы в этом старом греховоднике, что вы так держитесь за него? Шесть лет уже глаза мозолит! Пора и честь знать...

— Не обессудьте, реб Цодек, но я вам вот что скажу,— вышел вперед седой как лунь мастеровой,— старый казенный раввин заслужил того, чтобы мы поддержали его. Какой бы он ни был, мы за его грехи перед богом не ответчики, а худого он пока никому не сделал, и если бы не он, наши дети до сих пор ходили бы неучами, а больных бедняков выбрасывали бы на улицу, как в прежние времена. Нет! Мы ему дали слово, и так тому и быть...

— Я вижу, он вам очки втирает,— не унимался реб Цодек,— я вам еще раз повторяю — как бы не пришлось вам потом раскаиваться... мне кажется, у меня заслуг перед вами больше, чем у этого нищего, который пришел сюда голый и босый, в одном котелке; я предоставил вам банк для займов, и касса моя вроде бы всегда открыта для каждого, и больших процентов я не требую, а коробочным сбором* я ведаю, благодарение богу, уже двенадцать лет!.. Кто вам помог привести в порядок синагогу? Кто для вас выстроил баню, не будь



рядом помянута? Кто вам привез из Брод кантора * с восемью певчими? Чьими заботами у вас в городе семь резников с тремя раввинами? Кто вас...

Но тут прибыл голова, и приступили к выборам. Люди перешептывались: «Слева... справа...» Образовалась толкучка, начали бросать шары. Первым баллотировался Ицик—он получил двадцать два белых шара и семьдесят восемь черных... Потом баллотировался прежний казенный раввин: он получил двадцать два

черных шара и семьдесят восемь белых... Реб Цодек пылал, как пламя... И вот уже люди столпились у выхода.

Пировали весь день и всю ночь до утра, а на следующий день Фридл Вихрь разнес по городу такую новость: реб Цодек надбавил на мясо три копейки коровочного сбора, а на баню повесил замок; у его нищих должников пристав описал все тряпье и некоторых посадил в острог.

Город Темный

ТАЙБЕЛЕ

Старинная сказка, но вечно
Останется новой она,
И лучше б на свет не родился
Тот, с кем она сбыться должна...

Генрих Гейне

I

В маленькой светлой комнатке у маленького открытого окошка с работой в руках сидела Тайбеле, молодая девушка лет восемнадцати. Очаровательное, ясное лицо ее сияло радостью. Темные лучистые глаза блестели, черные вьющиеся, коротко подстриженные волосы обрамляли пылавшие румянцем щеки, на губах играла счастливая улыбка. Она отложила работу, тряхнула головой, отбрасывая кудри, сложила на груди маленькие белые ручки и вскинула прекрасные черные глаза на молодого человека, который сидел напротив нее и читал письмо. Это был высокий красивый блондин лет двадцати, круглолицый, белокожий, синеглазый. Одет он был весьма элегантно, по-европейски, как водится среди наших полуаристократических отпрысков богачей. Тяжелая массивная золотая цепь и перстень с драгоценным камнем, а также свежее белое лицо и холеные белые руки показывали, что он рос у богатых родителей и знать не знал, как на свете добывается хлеб насущный. Это наверняка еврейский «финансовый принц» — один из тех, кто не верит сетованиям на трудное время и воображает, будто ему положено так жить, а другой — другой пусть себе живет, как



умеет... Но мы еще познакомимся довольно близко с нашим героем.

— Мориц! Что вы собираетесь ответить матери на это письмо?— внезапно спросила девушка.

Мориц покраснел и замялся. Он вскочил со стула и несколько раз прошелся по комнате. Затем подсел к девушке, взял за руку и осыпал поцелуями лицо. Потом сказал:

— С чего это вы сегодня допытываетесь, что я собираюсь ответить ей на это письмо? Да то же самое, что и на все ее письма...

Тайбеле призадумалась, тихонько высвободила руку и потупилась. Мориц наклонился и хотел заглянуть ей в глаза. Она обеими руками обвила его шею и покрыла поцелуями голову.

— Дорогой, дорогой Мориц, друг мой! Дорогой Мориц! Прости меня, я нехорошая. Накажи меня, я тебя не стою. Я думаю о тебе плохо... Когда ты уходишь и я не вижу тебя, исчезает вся твоя привлекательность. Ты кажешься мне мелким, жалким, низким, фальшивым, еще хуже, чем фальшивым, — слабым, слабым!!! Мориц! Я презираю людей слабых, бесхарактерных, презираю в сто раз больше, чем убийц. Убийца — отвратительный человек, но все же человек. А бесхарактерный для меня и вовсе не человек — просто муха, червяк...

Тайбеле выпустила Морица из своих объятий и молча смотрела на него. Морица озадачило ее поведение. Он видел, что она сегодня взволнована: то оживлена и весела, то вдруг молчалива и так грустна, что сердце разрывается при взгляде на ее побледневшее личико. Не к добру это...

— Тайбеле! Моя Тайбеле! Ты сегодня сама не своя. Скажи своему другу, что с тобой творится? Чем ты озабочена? Почему так печальны твои прекрасные глаза? Почему облако грусти вдруг омрачает твое прекрасное лицо? Мы, кажется, знакомы не со вчерашнего дня — скажи, что с тобой? Ты сомневаешься во мне? В твоём Морице? Ты знаешь, как я тебя люблю, зачем это повторять...

— Незачем это повторять... — эхом откликнулась Тайбеле, по-прежнему задумчивая.

— Ну, так как же? Что с тобой все-таки? Мы ведь скоро, ты знаешь, скоро будем счастливы... Вот пусть только приедет из Карлсбада моя мать, я тут же скажу ей обо всем. Она обрадуется, обнимет тебя, как родную дочь...

— Ах, Мориц, Мориц! Вы совсем ребенок. И вдобавок еще — своенравный ребенок! Внушаете себе бог знает какие глупости, не хотите взглянуть на обратную сторону медали... Вы ведь только что сами читали ее письмо! Неужели вам непонятно, зачем она беспрерывно твердит об этой семье Ноткиных и редкостных

достоинствах мадемуазель Ноткиной, которая, по словам вашей матери, чуть ли не влюбилась в ваш портрет?..

— Ну, кто ее слушает?— ответил Мориц, бегая из угла в угол.—Я не живу маминым умом, я не «маленький сынок»... Она не согласится? С чего бы? Почему ей не согласиться? Потому что у моей невесты нет денег? Чепуха! У меня самого хватит денег, я не нуждаюсь в деньгах! Знатное происхождение? К чему мне знатное происхождение? Она испугается всяких сплетниц: будут болтать, что Мориц, единственный сын Голды Зильберман, взял в жены никому не известную бедную девушку?

Кто с ними считается? Что я — ребенок? Я — мужчина! Могу за себя постоять! Я независим. Никто не смеет разбивать мое счастье, даже мать! Сейчас же иду домой и пишу ей письмо...

Чем красноречивее становился Мориц, тем сильнее распалялся. Видно было, что он говорил искренне, убежденно, от всей души. Но Тайбеле, тихонько подойдя к нему, коснулась его руки:

— Мориц, довольно! Не торопитесь так: не нужно телеграфировать в Карлсбад. Ваша мать скоро вернется домой. Тогда и поговорим с нею...

Мориц немного успокоился:

— Ну, я хоть письмо ей напишу о своем счастье...

— Мориц! Не нужно и этого! Она не поймет вашего счастья... Не сумеет его понять... Вот когда она придет и вы с ней сами поговорите, будет иначе... А сейчас ступайте домой: уже два часа. Сегодня не приходите, приходите завтра утром. Сегодня я весь день занята... До свиданья!

Мориц накинул пальто, отыскал шляпу, трость и собрался уходить. Подойдя к Тайбеле, он подал ей руку.

— Ты веришь мне? Дорогая!..

— Мориц! — отозвалась она, и глаза ее снова вспыхнули.—Мориц! Я верю тебе! Дорогой мой, дорогой Мориц! Прости мне мои глупые мысли... Я верю тебе, Мориц, ты — моя жизнь!

Мориц уже стоял в дверях. Тайбеле вернула его:

— Мориц! Я твоя... Ты для меня — все... Без тебя я — ничто, Мориц!.. Но, как только за тобой затворится дверь, мне начинает мерещиться, будто я никогда уже тебя не увижу... Что мне делать? Прости меня, милый. Твоя Тайбеле просто глупый ребенок, капризуля! Ха-ха-ха!

Мориц ушел в недоумении: его поразили ее слова, ее смех. Но он поразился бы еще больше, если бы вдруг вздумал вернуться: Тайбеле лежала на постели, обливаясь горячими слезами...

II

Мориц Зильберман когда-то, лет десять тому назад, звался «Меер», и его мать, Голда реб Меерс, и сейчас еще называет его «Меерл»... Когда цивилизация заглянула и к нашему брату, мы испугались ее и тут же взяли за нашу одежду и имена: атласный кафтан с круглой ермолкой сменили на кургузый фрак с цилиндром, а вчерашний Меер Берлс, Зорех Нафтолес и Калмен реб Велвелс превратились вдруг в Морица Борисовича, Захара Пантелеймоновича и Климентия Владимировича... Меерл, которого мы вынуждены именовать в соответствии с его желанием «Мориц», рос без отца у своей богатой матери Голды Зильберман. Его дед реб Меер был человеком весьма почтенным. В молодые годы простой арендатор, он очень полюбился пану, и тот произвел его в главные управляющие своего имения. Реб Меер сколотил кое-какой капиталец. Когда бездетный пан приказал долго жить, реб Меер сделался доверенным лицом у пани и вел ее дела до тех пор, пока не прибрал к рукам все имение. Пани он выплачивал пенсию... Реб Меер стал важной персоной, приобрел известность, начал бывать у ребе... На старости лет он часто приезжал в Н., чтобы вместе с приверженцами ребе пировать за его субботним столом, а «приятели» настолько прославили имя Меера, что он породнился с сестрой ребе, купив за сто тысяч рублей зятя — «цацку» для своей единственной дочери Голды, а потом с миром почил. Зять — «цацка» Мотеле и в самом деле был золотой человек, сокровище, бессребреник. Однако он оказался больным и, промаявшись несколько лет, умер, оставив Голду молодой вдовой двадцати трех лет с двухлетним ребенком на руках. Вторично выходить замуж Голда не пожелала (хоть так у нас поступают немногие), не хотела, чтобы ее сыночку пришлось зависеть от отчима...

Всю свою жизнь она посвятила Меерлу. Меерл ни в чем не знал отказа. До десяти лет для него держали

учителей, и он очень хорошо учился. Но Голде хотелось, чтобы ее сыночек постиг все премудрости на свете. Денег она не жалела. Она видела, как воспитывают детей другие богачи, и тоже пригласила к себе в дом француза и преподавателя по русскому и немецкому. Меерл обучался игре на фортепьяно, танцам, верховой езде и «этикету» (светским манерам) — как ходить, говорить, держать себя в обществе. Кроме того, Голде хотелось, чтобы Меерл был и благочестивым евреем. В день своего бармицве* он публично произнес великолепную проповедь, которая стоила уйму денег и над которой он, бедняжка, немало потрудился, хоть и сам мало что в ней разумел. Когда же он достиг самого ответственного места, где надлежало поднять большой палец, Липа Кнобель (так звали учителя Талмуда*) чуть не проглотил его, а у реб Гецеля, даена*, появилось такое выражение, точно у Коперника, когда того внезапно осенила идея, что Земля вертится. А Голда? Голда заливалась сладкими счастливыми слезами и три дня подряд чуть ли не каждый час посылала за Лифшей-толстухой, чтобы заговорить Меерла от дурного глаза...

Вот так он и рос, как у нас считается идеалом — «немножко туда, немножко сюда», ничем по-настоящему не интересуясь, скользая по поверхности разных наук, без идеалов, без глубины, без знаний, не прилагая усилий, не закрепляя основ... Все было рассчитано на внешний блеск, на то, чтоб обеспечить выгодную женитьбу. Сват обычно рекомендует такого жениха: «мудрец», «совершенство», «и богу, и людям». Молодой человек берет невесту с богатым приданым... Так проходит его юность, и только когда он взрослеет и начинает самостоятельную жизнь, становится очевидно, что за воспитание ему давалось...

Меерл получал подобное воспитание до семнадцати лет, пока обстоятельства не свели его с Фельдманом, тем самым Фельдманом, с которым мы сейчас познакомим наших читателей.

III

Михаил Фельдман был одним из тех, которые боролись за образование и, наперекор всему, сумели добиться его. Их была целая компания — молодых людей,

живших впроголодь и занимавшихся в синагоге на одном «факультете»: зубрили Талмуд, пекли картошку, воровали поминальные свечи, дрались с шамесом* и совершали массу других столь же важных дел... Это происходило в те времена, когда евреи вообще не слыхали ни о каких гимназиях — не говоря уж о зашудалых городишках, где сжигали книги Мапу* и Шульмана* и объявляли безбожником того, кто украдкой почитывал «Хамагид»*, «Хамейлиц», «Кол-мевасер»*. Фельдман где-то раздобыл «Теуда» и «Зрубовел»* и читал их товарищам до тех пор, пока Файвиш Длинный, который тоже учился в синагоге, не донес на них городскому богачу реб Нахману Фляску и в городе не разыгрался дикий скандал. Реб Нахман — очень верующий человек. Он был ростовщиком и заглатывал бедняков прямо со всеми костями. Описать у нищего пожитки за десять рублей долгу ему было нипочем, однако безбожия он не выносил. Все книги он велел сжечь, а «Эфес дамим»* сначала разорвал на мелкие кусочки и только потом собственноручно швырнул в печь. Молодых людей он разогнал. Некоторых отослали под присмотр к раввину, а Фельдману, главному зачинщику, довелось-таки узнать, «где черный перец растет». Его принудили развестись с женой и покинуть городок. Он поселился в Житомире и поступил там в духовную школу. Окончив ее, отправился в Петербург, в университет. Однако условия жизни и петербургский климат не позволили ему продолжать образование, и он переехал в Н., где разворачивается наша история. Там у него имелись друзья, довольно состоятельные люди, но он не пожелал воспользоваться их помощью и предпочел зарабатывать на жизнь уроками. Его здоровье, подорванное в Житомире за восемь лет голода и холода, в Н. улучшилось, но в Петербург врачи все-таки запретили ему возвращаться, пока он окончательно не поправится.

Так минуло три года... Фельдман давал уроки у графа В., который подчас одалживал деньги у Голды Зильберман. Граф очень расхваливал Голде своего учителя — еврея. Ей захотелось, чтобы Меерл тоже обучался у этого учителя, и она послала за ним экипаж. Но Фельдман ответил, что может пожаловать и пешком. Когда он пришел, Меерла не оказалось дома, Голда пригласила учителя сесть.

— Сколько вы возьмете у меня за уроки с моим сыном? — обратилась она к нему.

— Прежде чем ответить, я хочу увидеть вашего сына и познакомиться с ним.

— Как так? Вы не знаете моего сына?

Тут вошел Меерл, поцеловал матери руку и, смерив взглядом Фельдмана, едва удостоил его кивка. Фельдман сидел точно на раскаленных угольях.

— Меерл! Я хочу нанять тебе вот этого нового учителя! Он занимается с детьми нашего графа.

Меерл и не посмотрел на Фельдмана, а только спросил мать, договорилась ли она уже с учителем. Фельдман поднялся, подошел к Голде и сказал:

— Я заранее вас предупреждал, что не даю окончательного ответа, пока не знакомлюсь с учеником. Вашему сыну еще рано заниматься со мной. Он прежде должен поучиться вести себя с людьми.

Сказав это, Фельдман ушел из дома Зильберманов. Голда была ужасно возмущена и осыпала его проклятьями, а Меерл, затворившись в своем кабинете, принялся обдумывать слова Фельдмана: он впервые в жизни услышал от постороннего такое суждение о себе. Впервые в жизни он спросил себя: что же он, в сущности, за человек и кто такой этот дерзкий учитель?

После этого Меерл раза два встречал Фельдмана в саду и глаз не сводил с него, а тот даже и не глядел на юношу. Это еще больше задело Меерла, и он решил во что бы то ни стало завязать знакомство с учителем. Через несколько дней он с большой помпой в богатом экипаже подкатил к невзрачному, бедному домику Фельдмана и застал учителя за столом, настолько заваленным книгами и бумагами, что из-за них едва виднелись его высокий лоб, серые глаза, сухошавое, худое лицо. Когда Фельдман увидел гостя, на губах его показалась такая приветливая улыбка, что Меерл удивился. Он назвал себя. Фельдман вышел из-за стола и с той же приветливой улыбкой сказал:

— Ах, очень рад! Я помню вас, мне очень приятно иметь честь видеть вас в своей берлоге. Садитесь, прошу, садитесь... Тайбеле, поди-ка сюда!..

Сбоку отворилась маленькая белая дверца, и на пороге появилась тоненькая девочка лет пятнадцати, поглядела сначала на Фельдмана, потом на гостя и пошла к столу.

— Чай скоро будет? — спросил ее Фельдман.

— Сию минуту! — Тайбеле встряхнула пышными кудрями и убежала в соседнюю комнату.

Фельдман сел рядом с гостем и спросил, чем может быть полезен. Меерл без утайки поведал все, что накопилось у него на душе с тех пор, как они впервые встретились. Он чувствовал себя с Фельдманом непринужденно и рассказал, какую неприязнь к нему таил в сердце до нынешнего дня. Фельдман пошутил:

— Вы еще совсем дикарь, мой дорогой гость. Любопытно было бы поглядеть на шкуру, которую вы на себя напяливаете!..

Тайбеле тем временем внесла стаканы, самовар и заварила чай. Фельдман расспрашивал Меера, как он живет, доволен ли жизнью, чем интересуется, кто его учителя... Меер откровенно говорил о себе, и Фельдман слушал его все с той же приветливой улыбкой, иногда задавая вопросы. Тайбеле, разлив чай, уселась напротив гостя, задумчиво на него поглядывая. После чая Фельдман сказал:

— Если вам угодно поддерживать наше знакомство, прошу не сердиться на меня за то, что буду говорить с вами без обиняков. Вы привыкли, чтобы учителя, которые живут на деньги, получаемые от вас, льстили вам. Они внушили вам, что вы уже все знаете, все постигли, хотя в действительности вы еще ребенок. Ваша мать хочет сделать из вас еврейского «мудреца», то есть еврейского энциклопедиста с изрядным запасом русских, немецких, французских слов, но без подлинных знаний. Росли вы в большой роскоши и на своих воспитателей смотрели, как на няnek, как на слуг. Окружающие ломают перед вами шапку, каждый указывает на вас пальцем: «Вот идет молодой миллионер!» Воспитаны вы, как чванливый принц, по ложной аристократической системе и возомнили, будто все люди, которых вы видите, существуют на свете только для вас...

Хоть Морицу слова Фельдмана и были не по душе, но он невольно заслушался, а они текли так свободно и доброжелательно, что обидеться было невозможно. Фельдман не любил уснащать разговор высокопарными выражениями. Речь его была проста, но с редкостной проникновенностью доходила до самого сердца. Стоило ему только начать говорить, и хотелось слушать и слушать его бесконечно... Когда Мориц вышел от Фельд-

мана, он чувствовал в душе какой-то новый незнакомый свет и теплоту и домой явился таким веселым, оживленным, что Голда расцеловала его, а лакей все удивлялся, что молодой хозяин ходит по кабинету и поет... На-завтра Мориц снова отправился к Фельдману и с тех пор ежедневно возвращался оттуда с книгой. Часто его видели с Фельдманом в саду. Голда досадовала, что сын стал не в меру прилежен: ночи проводит за книгами, а дни — с бедным учителем... Как-то Мориц ки-нулся ей на шею:

— Мамочка! Мне хочется привести сюда Фельдмана! Вот ты сама увидишь, какой это человек...

Разумеется, Голда не увидела в Фельдмане ничего особенного, «никаких птичек», как она потом вырази-лась. Однако это ничуть не помешало Морицу целые дни проводить у Фельдмана. Фельдман же полюбил его за прилежность и мягкий, добрый характер. Мориц так привязался к своему наставнику, что всецело ему дове-рял и ничего не предпринимал, предварительно не посо-ветовавшись с ним.

Однажды Фельдман заболел. Мориц послал сказать матери, чтобы его не ждали, он останется ночевать у учителя. Он сидел у кровати, где лежал Михаил, и за-ботливо менял ему холодные компрессы на голове. Тай-беле тоже не отходила от больного.

Голда не смогла удержаться и часов в двенадцать ночи явилась посмотреть, что так поздно делает Мориц у учителя. Она увидела Морица и Тайбеле у постели Фельдмана, разметавшегося в сильном жару. Она во-шла с обычным для нее шумом. Они жестами попросили ее говорить тише. Она приблизилась к постели и накло-нилась над больным. Сердце у нее дрогнуло от состра-дания: он был изжелта-бледен, пожелтели, как у мерт-веца, и его худые руки, но на губах мерцала слабая улыбка. Голда окинула взглядом маленькую, аккуратно прибранную комнатку с бедной мебелью, детей (Мо-рица и Тайбеле), сидящих так серьезно около больного, подошла к Тайбеле, обняла девочку и поцеловала. Боль-ной повернулся, открыл глаза, увидел чужую женщину и несколько смутился. Мориц все понял, нагнулся к нему и пояснил, кто это.

— Может быть, послать за моим доктором? Он тут же приедет... — заботливо осведомилась Голда.

— Спасибо, — ответил ей Фельдман, — немножко я и сам доктор, а немножко полагаюсь на организм: он должен справиться с болезнью.

Перед уходом Голда снова подошла к Тайбеле и еще раз поцеловала ее. Глаза Морица и Тайбеле встретились. Оба покраснели... Когда Михаилу стало легче, они расстались: Мориц отправился домой, а Тайбеле — в свою комнату. Сердца их были переполнены неведомым чувством...

Придя домой, Мориц лег спать. Ему приснилось, что он — в постели, а Тайбеле склонилась над ним, касается его лица черными кудрями, ее прекрасные черные глаза смотрят на него так грустно, что хочется плакать...

Тайбеле тоже видела сон, но совсем другой: ей приснилось, что Мориц крепко обнимает ее своими мягкими белыми руками и они кружатся в танце в каком-то огромном зале. Она хочет дотянуться до его головы и поцеловать в прекрасный светлый лоб, но он вырывается и убегает далеко-далеко! И снова возвращается и обнимает ее, и снова вырывается и убегает...

IV

Кто же была Тайбеле?

Родилась она в бедной-пребедной семье. Отец ее был портной. Честный, но бедный. Лет с пяти Тайбеле пришлось наблюдать довольно выразительные картины... Ее мать, совсем молодая и очень красивая женщина лет двадцати четырех, вторая жена Иосла Кривобокого (таково было прозвище отца Тайбеле), не любила своего мужа и всячески сживала его со свету. Он день и ночь работал как ишак, а она жила «как бог в Одессе», пила и ела в свое удовольствие, ему же совала кусок хлеба да миску кулеша из фасоли. Его подмастерья тихомолком ублажали ее отнюдь не конфетами, и ближайшие соседи поговаривали... Мужа она величала «кривой пес» и на брань была отменная искусница... Однако Иосл ей не отвечал. Когда она входила в раж, он принимался напевать отрывки из «Кетер», «Галел», «Вейэсоу»*. Пел он очень печальным голосом. Высоко взлетала иголка, в огромных черных глазах сверкала слеза... Тайбеле любила слушать напевы отца. Его трудно было вывести из себя. Но девочке запомнилась сцена, однажды разыг-

равшаяся перед нею: были выборы в «цеховую управу», Иосл где-то задержался и пришел домой немного навеселе...

— Пьяница! — напала на него Ентл (так звали мать Тайбеле). — Пьяница еще вдобавок ко всему! Загубила я свои молодые годы!

Она долго проклинала его, а потом швырнула ему в голову решето с отрубями. У Иосла были черные вьющиеся волосы. С отрубями в волосах он стал похож на дьявола. Ентл расхохоталась, позвала подмастерьев, позвала Тайбеле и велела ей плюнуть отцу в лицо. Не успела Тайбеле подбежать к столу, а Иосл уже стоял с поднятыми кулаками. Его глаза налились кровью, лицо было страшно. Он готов был растерзать Ентл на куски, но Тайбеле с плачем кинулась ему под ноги. Иосл на минуту застыл... А потом схватился руками за пейсы и бороду и выдрал две горсти волос... Четверть часа спустя Ентл сидела в уголке, подперев голову двумя пальцами левой руки, и по-прежнему сыпала проклятьями, всхлипывающая Тайбеле лежала в постели, а над ее изголовьем склонился Иосл. Глаза его были налиты слезами...

Точно таким же помнит Тайбеле своего несчастного отца, когда мать была опасно больна, доживала на свете последние полчаса... Студеный зимний день. Иосл только что втащил две охапки дров и принялся растапливать печку. В его курчавую бороду и пейсы набился пух. Лицо осунулось, глаза покраснели. Иосл метался по комнате с наперстком на искривленном пальце и глотал слезы. Тайбеле сидела на печке и сверху смотрела, как он подошел к матери и нагнулся над нею. Ентл с усилием взмахнула рукой. Иосл немного отступил. Она несколько раз показала рукою вверх... Должно быть, хотела, чтобы перед смертью ей поднесли дочку. Иосл не понял ее. Ентл подняла руку, еще раз глянула наверх, повернулась... и все было кончено... Иосл недолго промаялся на свете: с горя начал попивать и спустя два года умер.

V

Тайбеле осталась одинока, словно камень. Ей было девять лет, и она скиталась по городу до тех пор, пока Песя-маклерша не определила ее к Циреле-парик-

махерше. Циреле была очень приличная женщина, разведенная, бездетная, и зарабатывала свой кусок хлеба не столько работой, сколько совсем другими делами... Наши читатели могут подумать, что Циреле занималась коммерцией или давала деньги под залог? Боже упаси! Циреле была дама весьма солидная. У нее в доме постоянно находилось несколько молодых девушек-сирот. Она их кормила-поила и прекрасно одевала. А когда им исполнялось лет пятнадцать — шестнадцать, начинала гулять с ними в саду и показывать публике... Циреле водила знакомство со многими молодыми людьми в городе, и с панами тоже. Наши читатели полагают, что Циреле — какая-нибудь разбитная бабенка? Ни в коем случае! Ее набожность, ее благословения новолуния, поминальные причитания были общеизвестны! И вдобавок она уверяла, что господь (да святится имя его!) должен еще воздать ей добром за те благодеяния, которые она оказывает бедным сиротам... Тайбеле четыре года провела у Циреле и вдоволь насмотрелась, что творилось с ее старшими подругами... Но избавим наших читателей от таких подробностей... Тайбеле исполнилось тринадцать лет, и хороша она была, как летний день. Циреле любовалась ею. Она с нее глаз не сводила, называла дочкой и наряжала, как принцессу. Тайбеле была совершенно терпеть не могла: комплиментов разных молодых людей, ежедневно собиравшихся у Циреле.

Кто эти молодые люди, которые проводят время у Циреле? И кто этот молодой человек, который живет во дворе в маленьком флигельке, каждый день уходит на несколько часов, в определенное время возвращается домой и иногда целую ночь просиживает над книгами? Почему он не ходит в гости к Циреле вместе с другими молодыми людьми? Надо спросить у Циреле. Циреле разъяснила — это какой-то неудачник, бедняк учитель. Фамилия его Фельдман. Такие молодые люди ей не по вкусу. Ей нравятся красивые, богатые, веселые, умные...

Фельдман заметил, что Тайбеле иногда ходит одна по двору. Он знал, кто такая Циреле и какого пошиба люди хаживают к ней... Однажды Фельдман поздно вернулся домой с уроков и застал Тайбеле у себя под окном. Пойманная врасплох, она слегка испугалась.

— Вы заглядывали ко мне в комнату?

— Да... Вы сегодня так задержались...

Несколько минут они молчали и только смотрели друг на друга. Наконец Фельдман спросил:

— Вы давно у Циреле?

— Вы знакомы с ней? — удивилась Тайбеле.

— Я слышал о ней.

— Почему вы никогда не заходите к нам, как другие молодые люди? — Тайбеле повернулась к дому Циреле и указала пальцем на ярко освещенные окна.

— Вам хочется, чтобы я тоже туда заходил? — усмехнулся Фельдман.

— Что? Нет! Я только спрашиваю, почему вы не заходите туда?

— Почему я не захожу? Порядочные люди не бывают у Циреле... — Фельдман спохватился. — Я очень занят, у меня нет времени...

Тайбеле чуть призадумалась:

— А почему же *те* не заняты? Почему у них есть время? Они что, не порядочные люди?..

Фельдман ответил не сразу.

— Им нечем заняться, они бездельники, пустые, никчемные люди, у них есть деньги, достающиеся им без труда, должны же они где-то убивать время, чтобы не сойти с ума от праздности.

— Я тоже так думала, — сказала Тайбеле и подошла к Фельдману поближе, — но Циреле говорит, что это самые замечательные молодые люди в городе, и расхваливает их без конца... Вот над вами она как раз насмеяется... Вы ей не нравитесь...

Они рассмеялись.

— Вы уже давно у нее? — опять спросил Фельдман.

— Уже четыре года.

— Вы довольны?

Тайбеле не ответила на его вопрос, она только потрянула черными кудрями, а ее огромные черные глаза были по-прежнему задумчивы.

— И долго вы собираетесь там оставаться? — снова обратился к ней Фельдман.

Тайбеле стояла в той же позе и тихо ответила ему:

— Я и сама давно думаю об этом, только ничего не могу придумать... Родителей у меня нет, друзей тоже; а как вспомню, что случилось с моей старшей подругой!.. Она недавно пришла к нам избитая, опухшая, голодная, как собака... Мы ее еле-еле узнали!.. Циреле не хотела ее принять обратно. Я просила Циреле, мы обе

плакали перед ней, а она не хочет и не хочет!.. Подруга мне шепнула, чтобы я ушла отсюда, иначе и со мной может случиться то же самое, что с ней... Она простилась со мной и так плакала...

Из прекрасных глаз Тайбеле вдруг брызнули слезы. Фельдман подошел к ней и взял за руку. Она вырвалась и убежала.

С того дня Фельдман не встречал Тайбеле недели две. Он предполагал, что она ушла от Циреле. Но каково же было его удивление, когда однажды, вернувшись домой, он обнаружил, что дверь его домика отперта, а за столом сидит Тайбеле и читает! Увидев его, она стремительно захлопнула книгу и вскочила, смутившись, точно маленький ребенок, который забрался в кладовку, где хранятся яблоки и груши, но неожиданно был застигнут матерью...

— Я ждала вас несколько часов, — оправдывалась Тайбеле, — а вы все не приходили... Тогда я взяла ключ (я заметила, где он у вас спрятан), и вошла к вам, и давно уже тут сижу. Просматривала пока ваши книги. Моя старшая подруга, про которую я вам рассказывала, научила меня читать по-русски. Прошу вас, не сердитесь на меня. Я пришла к вам спросить совета...

Фельдман стоял и думал об этой молодой несчастной девушке. Ее ясные глаза покраснели, как у человека, который плохо спал ночью, по нежному белому лицу было заметно, что у нее тяжело на душе. Фельдман подвинул ей стул и попросил сесть.

— Говорите, я готов помочь вам, как могу и чем могу.

Тайбеле села, оперлась головой на правую руку, а левой стала перелистывать книгу, которую только что отложила. Она опустила глаза с длинными ресницами, на ее маленьких румяных губах играла горькая улыбка.

— Я не могу больше оставаться у Циреле... Я...

— Разве вам нельзя уйти от нее? — перебил Фельдман. — Купила она вас, что ли? Скажите ей, что больше не хотите у нее жить, — и все тут.

Тайбеле подняла глаза на Фельдмана.

— Я ушла сегодня из дома Циреле, и ноги моей больше там не будет никогда в жизни!..

При этих словах у нее дрогнула верхняя губа, а в лице мелькнуло злое выражение.

Фельдман не сводил глаз с Тайбеле: она рассуждала, как взрослая, в ее словах не оставалось ничего детского. Он понял, что лучше не расспрашивать, и предложил ей на выбор несколько возможностей: если она хочет, он найдет ей место, где можно обучиться шитью, а хочет, сам будет ее учить читать и писать и, если заметит у нее соответствующие способности, станет учить всему необходимому, всему, что знает. Он дал ей понять, что все это вовсе не так трудно, как она воображает, необходимо только проявить достаточно терпения. Он сказал, что если она хочет, то может хоть с нынешнего дня оставаться у него во второй комнате, до тех пор, пока сама не научится трудиться, зарабатывать себе на жизнь и станет независима. Фельдман умел убеждать... Он привел ей в пример себя самого и рассказал, каким одиноким и несчастным был, когда его выгнали из родного города, и как ему пришлось напоследок идти к реб Нахмену Фляксу просить на расходы, и как реб Нахмен его принял: сперва часа на два отлучился куда-то, потом, вернувшись, ополоснул руки, возвел очи к небесам и с величайшим благочестием вознес хвалу создателю... Затем велел Фельдману подождать у дверей, а сам стал на молитву, которая тоже продлилась не меньше двух часов. После молитвы он читал «Зогар» *, выпил рюмочку и закусил парой яиц, хорошенько посолив их. После этого он рассчитывался с заплаканной вдовой. Кроме серебра, давно уже лежавшего у него в закладе за двадцать рублей, та принесла ему шелковое платье, которое справила дочери к свадьбе, и заложила за десять рублей. При этом она обязалась четырнадцать недель выплачивать по два рубля с четвертью еженедельно, как договорились, а в те недели, когда читают «Болок» *, должна еженедельно платить вдвойне, по четыре с полтиной, недели же все равно будут считаться одинарными... С десяти рублей он между тем вычел процент за «ту неделю», да еще пятьдесят копеек на «милостыню беднякам». Горемычная вдова удалилась страшно довольная, а реб Нахмен сел за стол откусать, а Фельдман все стоял у дверей и слушал, как реб Нахмен клял кухарку за то, что бабка получилась такая рыхлая, а куриная ножка оказалась несколько пережаренной... После этого он в голос читал благодарственную молитву, а когда дошел до «Возроди Иерусалим!», расплакался, как

малое дитя. После благодарственной молитвы жена поднесла ему две желтые груши и огненно-красный арбуз без косточек. Он все это съел и прилег отдохнуть часочка на два. А встав, вымыл руки, позвал Фельдмана и принялся вдалбливать ему нотацию о том, что преисподней со всеми муками мало для такого негодяя, который имеет наглость читать книжки Иче-Бера * в священном месте, и доказал на выразительных примерах, что подать милостыню такому мерзавцу — самый тяжкий грех, куда более тяжкий, чем убить человека. С этим он его и отпустил на все четыре стороны. Но когда удрученный Фельдман вышел из дома, реб Нахмен крикнул и мелким почерком вписал в «реестр доходов и расходов», что негодяю, да сгинет имя его, у которого обнаружили «Эфес дамим», выдано из кассы для бедняков пять рублей на дорожные расходы...

Фельдман рассказывал ей всю свою жизнь с тех дней и до того времени, когда перешел в пятый класс духовного училища. Не забыл упомянуть и об истории, которая произошла с ним в городе Болото. У него была рекомендация к городскому богачу реб Гершену Шпрингеру, и тот нанял его учителем к своему сыну Файтелю. Реб Гершен Шпрингер составил себе состояние из ничего: он сдал в аренду нескольким еврейским семьям мельницы, принадлежавшие графу. Семьи эти бедствуют еще и по сей день, а реб Гершен разбогател. Он проделывал всякие рискованные операции, был с хасидами — хасид, с аристократами — аристократ, был, что называется, пройдохой. Ладить он умел со всем светом, то есть умел обмишулить всех и каждого. Захотелось ему приобрести репутацию в обществе, так он отправил в дом призрения десять возов соломы, а его «собственный корреспондент» растрезвонил во всех газетах, что богач господин Гершен Шпрингер обеспечивает топливом всех бедняков города Болото. В том же городе другой богач, находясь на смертном одре, захотел во что бы то ни стало попасть в рай и завещал весь свой капитал на благотворительные нужды и содержание талмудторы. Опекуном, само собой разумеется, он назначил реб Гершена Шпрингера. Реб Гершен распорядился деньгами по собственному усмотрению, а отчет, сказал он, представит, бог даст, когда явится мессия, потому что сейчас у него и своих дел предостаточно.

Хоть сам реб Гершен и был неуч и едва-едва разбирал буквы в молитвеннике, но «образованных» не выносил и называл их «жуликами», а «образование» имевалось у него «кранцефолия»¹.

Старший сын реб Гершена Файтель должен был родиться на свет большим умником, но ангел дал ему слишком сильный щелчок под нос* — и он превратился в полудурка. Парню было восемнадцать лет, он толкался среди «образованных», а его учитель гемарь* иногда сочинял для газеты, издававшейся на древнееврейском языке, корреспонденцию, которую Файтель подписывал своим именем. Когда Фельдман поступил к нему учителем, он попытался было и с Фельдманом проделать такую же манипуляцию, но тот наотрез отказался. Файтель, разозлившись, стал оскорблять его, смешал с грязью. Фельдман своими худыми руками вцепился ему в горло, точно клещами, и вышвырнул в окно. За это пришлось Фельдману отсидеть две недели в полиции. Чуть живой, он еле выбрался из города Болото...

Тайбеле с большим интересом выслушала биографию Фельдмана, мастерски расцвеченную анекдотами и притчами. Фельдман стремился доказать, что человек может добиться чего угодно, и никакие неблагоприятные обстоятельства не в состоянии помешать ему быть честнейшим на земле, нужно только смотреть на жизнь открытыми глазами и руководствоваться собственным разумом, собственным чувством. Он обязан трудиться, чтобы стать самостоятельным, трудиться для себя и для всех людей.

Тайбеле тоже поведала Фельдману все, что успел подметить ее юный ум. Она засыпала его вопросами: почему то или это так, а не иначе? А поздним вечером, когда пора уже было отправляться спать, Фельдман ввел ее во вторую комнату и хотел уйти к себе, но она остановила его и подала руку со словами:

— Вы не такой, как те молодые люди?.. Вы и вправду порядочный человек?

¹ Мы искали слово «кранцефолия» во всех новейших и старинных словарях, но так и не нашли такого слова. Поэтому просим наших читателей заучить наизусть слово «кранцефолия», чтобы оно могло остаться на веки веков в памяти потомства. (Автор.)

Фельдман с улыбкой заглянул ей в глаза и не ответил ничего. Тайбеле, не выпуская его руки, спросила снова:

— Вы клянетесь мне своей жизнью?

— Я клянусь своей жизнью...

VI

Первое время Тайбеле смотрела на Фельдмана с сомнением: она не знала, доверять ли ему или нет. Фельдман это понимал, да и Тайбеле сама призналась ему в этом. Фельдман посоветовал ей положиться на время, которое все может изменить и выявить подлинную правду. Однако так продолжалось недолго: через полгода Тайбеле привязалась к нему, как сестра. Она сама все делала в доме: варила, убирала, стирала белье, выполняла всякую другую работу. К учению Тайбеле обнаружила такие способности, что Фельдман поражался. Он занимался с нею по несколько часов в день. В остальное время она читала книги. Фельдману она не давала передышки: ей все хотелось знать. Минул еще год. Случилось так, что Фельдмана пригласили к местному богачу и предложили давать уроки маленькой девочке лет десяти. Но Фельдман был очень занят и рекомендовал вместо себя Тайбеле. Она получила там урок за двадцать рублей в месяц и от радости чуть не кинулась Фельдману на шею:

— Ну, Михаил, сегодня я почти так же богата, как вы. И мне уже не страшно, если вы меня прогоните...

Они проболтали весь вечер... Тайбеле дурачилась, как ребенок, и Фельдман любовался ею, точно счастливый отец. Они говорили так долго, что договорились в конце концов до весьма серьезных вещей. Тайбеле перестала смеяться и задумчиво слушала Фельдмана, который в этот вечер излил перед ней все свои чувства. Тайбеле не совсем поняла его и попросила еще раз объяснить. Фельдман впервые за эти два года сознался, что любит ее больше всего на свете!.. Тайбеле зарделась, словно роза. Она подошла, взяла его руку в свои, склонилась над ним и долго целовала в глаза. Фельдман ощущал тепло ее маленьких нежных ручек, аромат волос, касавшихся его лица... Не обменявшись ни единым словом, они, как обычно, разошлись по своим комнатам.

Над кроватью Тайбеле висел портрет Фельдмана. Она сняла его, замкнула дверь и долго в него всматривалась:

— О дорогой Михаил, как ты великодушен!..

В эту ночь Тайбеле приснился сон: огромная бездонная яма. В воздухе летают крохотные человечки со змеиными лицами и гоняются друг за другом. Она увидела там и Циреле, которая, раскрыв объятия, с улыбкой на устах вертелась и кружилась во все стороны. Вокруг Циреле толпились еще более мелкие человечки. Среди них Тайбеле узнала молодых людей, бывавших у Циреле в гостях. Поодаль она заметила свою старшую подругу, которая рвала на себе одежду, рыдала, кричала безумным голосом. Она подняла глаза и увидела Фельдмана, такого большого и красивого, что сразу же забыла обо всех этих ничтожных человечках. Но его лицо было точно подернуто облаком, глаза смотрели на нее с мольбой и состраданием. Ей хотелось подняться чуть повыше, но она не могла, словно кто-то держал ее. Она чувствовала, что падает все ниже и ниже...

Когда Фельдман увидел Тайбеле на следующее утро, ему показалось, что у нее покраснели глаза, как будто она всю ночь проплакала. Он хотел спросить, что с нею, но ничего не спросил. С тех пор Тайбеле сделалась задумчивой, казалась озабоченной, и Фельдману не представлялось случая вернуться к прерванному разговору... Так пробежало еще полгода. Тайбеле уже исполнилось лет пятнадцать — шестнадцать, и она походила на расцветающий бутон.

Наши читатели, вероятно, помнят, как произошло первое знакомство Михаила Фельдмана с Морицем Зильберманом. На следующий день Фельдман представил его своей ученице Тайбеле Зоненшайн. Молодые люди виделись ежедневно, вместе учились, читали книги, частенько спорили из-за них, ходили на прогулки. Это длилось несколько месяцев. Потом Фельдман занемог, и его навестила Голда Зильберман. Он пролежал еще пять дней и выздоровел. Мориц и Тайбеле так обрадовались, что решили устроить Михаилу сюрприз. Стоял май месяц. Они накупили массу цветов и украсили его комнату. Когда Фельдман пришел, он был очень тронут, пожимал им руки, благодаря за заботу. Мориц и Тайбеле опять встретились глазами и словно бы покраснели.

Фельдман это заметил и несколько призадумался. Весь день он был неразговорчив и углублен в свои размышления. Тайбеле все беспокоилась, что с ним такое. Он ответил, что у него побаливает голова, и ушел к себе в комнату. Мориц еще ни одного слова не сказал Тайбеле о своих чувствах к ней. Однажды они вместе сидели за столом, ожидая Фельдмана, и молчали. Мориц начал было что-то говорить, но вскоре замялся и умолк... Пришел Фельдман, и они оживились. После урока Мориц собрался уходить, и, прощаясь с ним, Тайбеле почувствовала в руке клочок бумаги. Мориц ушел, а Тайбеле побледнела, сердце ее стучало, как молоток, руки дрожали. Она спрятала записочку в карман. Фельдман, заметивший, что Тайбеле отвечает невпопад, удивленно поглядел на нее. Лицо ее пылало огнем. Он приложил ей руку ко лбу: голова была горяча.

— Тайбеле! Что с тобою?

— Ничего, право же, ничего, — ответила Тайбеле, ушла к себе, вынула записку Морица и принялась читать:

«Сегодня в пять часов будьте в городском саду, под яблоней. Я должен сказать вам что-то очень важное».

Часа в четыре, когда Фельдман еще был на уроке, Тайбеле оделась, заперла квартиру и торопливо вышла. На улице она остановилась и схватилась за сердце, которое билось часто-часто... Когда она пришла в сад, то сразу же направилась к яблоне и присела на скамейку. Лучи солнца пробивались сквозь густые ветви деревьев, пел соловей. Тайбеле поглядела вверх и вдруг заметила, как среди листвы дерутся две птички. Их сражение настолько заинтересовало ее, что она не слышала, как подошел Мориц. А он остановился и смотрел, зачарованный: ее черные кудри перебирал ветерок, грудь поднималась и опускалась, из-под черной юбки выглядывала маленькая ножка в белом чулке... Мориц боялся дышать, чтобы не вспугнуть ее. Прошло еще минуты две. Мориц тихонько окликнул:

— Тайбеле!..

— Ах! Мориц?! — восторженно вскрикнула она и через мгновение уже стояла перед ним.

Как это случилось, они не помнили, но Мориц держал в объятиях Тайбеле и, точно в забытьи, шептал:

— Дорогая, дорогая Тайбеле! Я давно уже хотел тебе сказать, но боялся твоих черных сердитых глаз.

И он осыпал горячими поцелуями ее глаза, брови, кудри, руки... Тайбеле не пыталась вырваться. Она только спрашивала:

— Уже давно, дорогой Мориц? Скажи: давно, уже давно?..

VII

После этого Тайбеле три дня была очень озабочена. Она послала Морицу такую записочку:

«Мой дорогой! Подожди еще день и не ходи к нам: я не хочу, я не могу! Я сгораю от стыда оттого, что обманула нашего единственного друга Михаила и до сих пор еще не поделилась с ним своим счастьем. Сегодня-завтра я ему все расскажу. Подожди еще день, еще день, пока я не напишу, чтобы ты пришел к нам. Мне так хочется тебя видеть!!!»

В тот же вечер, часов в двенадцать, когда Фельдман уже собирался ложиться, Тайбеле постучалась к нему. Он очень удивился ее позднему визиту. Она села напротив него и заговорила:

— Михаил, мне нужно сейчас сказать вам одну важную вещь: мое сердце, которое до сих пор было свободно, недавно наполнилось новым чувством...

Фельдман широко открыл глаза, а Тайбеле продолжала ровно и четко:

— До сих пор я не знала, что любовь так сильна и не признает ни границ, ни стыда...

Фельдман слушал эти необычные слова и думал: «Она пришла раскрыть передо мной свое сердце и сказать, что любит меня так же, как я люблю ее, уже давно люблю...»

— Михаил, дорогой мой друг! Я должна рассказать вам все, что произошло со мной в последние дни... Я люблю Морица Зильбермана!..

Фельдман побелел, как стена, и сжал руки. Он хотел сказать хоть что-нибудь и не смог... Тайбеле видела все, но продолжала:

— Я знаю, это представляется вам дурным... Мориц не ровня мне: он принц... Но что же мне поделать с моим сердцем? Могу ли я приказать: «Замолчи, успокойся!»? Нет, я не виновата... Сильнее, чем я люблю его, невозможно любить!

— Дитя, дитя! — ответил ей Фельдман. — Ты напрасно оправдываешься: я давно предвидел, что скоро придет пора, когда твое сердце тоже заговорит... Правда, я не понимал, на кого устремлены твои глаза... (Тут Фельдман немного закашлялся.) Я не знал, что ты уже увидела человека, красивое лицо которого и весь облик достойны такой девушки, как ты...

Тайбеле не понравились эти слова. Она перебила его:

— Извините, Михаил, вы хотите упрекнуть меня, что я влюбилась в красивое лицо...

— Тайбеле! Мы знакомы не со вчерашнего дня! Пойми, и мне приятно, когда влюбленные молоды и красивы. Удовольствие любоваться такой чудесной парой, как ты с Морицем Зильберманом. Но ответь мне, Тайбеле, и не обижайся, что я вмешиваюсь в ваши дела: достаточно ли хорошо ты его знаешь? Говорили ли вы уже о будущем? Спрашивали себя, к чему все это приведет?

Тайбеле не ответила. Она сидела, опершись на руки, и не сводила глаз с Фельдмана, который, сильно волнуясь, ходил по комнате. Так прошло более получаса. За это время ни он, ни она не вымолвили ни слова. Наконец Фельдман подошел к ней, положил руки на ее плечи и тихо сказал

— Тайбеле! Ты ведь знаешь, ты дорога мне... Как сестра, как дочь... Доверься мне, я постараюсь быть полезным вам обоим. Об одном только прошу тебя: если избави бог, ваши надежды не сбудутся и тебе придется трудно — вспомни о своем самом преданном и верном друге, о Михаиле Фельдмане...

VIII

Величайшие писатели, поэты, психологи с незапамятных времен стремились передать на бумаге прекраснейшие мгновения любви, однако понять их может лишь тот, кто сам любил и был любим. Но не все счастливые влюбленные одинаково пьют редкостное вино: одному доступно это наслаждение всего лишь секунду, мгновение ока, другой смакует его всю жизнь. Мориц и Тайбеле купались в этой светлой, чистой влаге два года. Два года счастья! Два года подряд видеть каждый

день человека, самые сокровенные уголки души которого понимаешь по одному взгляду, одному движению, человека, который пробуждает наши самые возвышенные чувства и полностью может нас преобразить... Дорогие читатели! Вы представляете себе, что такое два года счастья?. За эти два года Мориц достиг многого: Фельдман подготовил его к поступлению в университет. Тайбеле училась еще лучше и предполагала на следующий год отправиться продолжать образование в тот же город, где будет Мориц. Какие великолепные воздушные замки строили влюбленные! Они не сомневались в своем счастье.

На первой странице нашей истории мы оставили Тайбеле в тот момент, когда она, заливаясь слезами, упала на постель. Нашим читателям хочется наконец узнать, по какой причине так плакала безмерно счастливая Тайбеле. Сейчас мы все объясним.

Голда Зильберман заболела. Врачи рекомендовали ей поехать в Карлсбад. Она хотела взять с собою и Морица, но тот ни за что не соглашался. Из Карлсбада Голда каждый день писала, что ей очень трудно одной в чужой стране, и если бы не семейство Ноткиных, с которым она познакомилась там, она давно бы вернулась домой. Исроэл Ноткин, еврей из России, очень богатый, прибыл в Карлсбад с семьей на весь сезон. Голда не уставала расхваливать эту семью, особенно дочь Исроэла, девушку лет двадцати, очень интересную, образованную, наделенную всеми достоинствами. Письма Голды пестрели комплиментами по адресу мадемуазель Ноткиной, у которой, кстати, имелось пятьдесят тысяч рублей приданого... Голда желала себе, чтобы господь послал ей такую невестку... Мориц подтрунивал над ее письмами и показывал их Тайбеле и Фельдману. Наконец он получил от матери письмо, в котором она вместе со всем семейством Ноткиных просила его приехать в Карлсбад. Из-за этого письма у Морица и Тайбеле и возникло объяснение, уже знакомое читателям по первой главе нашей истории. Когда Мориц ушел, вернулся Фельдман и застал Тайбеле в слезах. Он тут же понял: между влюбленными что-то произошло. Присев около Тайбеле, он ждал от нее объяснений.

— Михаил, вы хотите знать, почему я плачу? Поверьте, друг мой, я и сама не знаю, перед радостью ли

это или перед бедой?.. Здесь только что был Мориц... Ах, Михаил, если бы вы видели, слышали, как он говорил!.. Он хотел послать в Карлсбад телеграмму, чтобы мать приехала...

— Зачем это она ему понадобилась?—спросил Фельдман насмешливо.

Тайбеле от возмущения даже подскочила на кровати:

— Как это зачем она ему понадобилась?! Михаил, вы слишком строги к Морицу... Она ведь все-таки его мать! Должна же она знать, что делает ее единственный сын! Она — мать!

— Дитя мое! — ласково ответил ей Фельдман. — Ты сейчас взволнована и потому не можешь судить, кто из нас прав — я или ты...

Тайбеле вскипела:

— Я взволнована? Хорошо... Ну, так говорите вы, если вам все так уж понятно и ясно!..

Она опять залилась слезами. Фельдман ее уговаривал, утешал, словно малого ребенка. Он обнял ее и притянул к себе. Тайбеле всхлипывала все реже и через несколько минут совсем успокоилась. Она умылась, оделась, разговаривала, шутила и смеялась. Обвила голову веночком из роз, которые принес ей Мориц из собственного сада. Глаза ее сверкали, как бриллианты при свечах. Фельдман любовался ею. Он хотел что-то сказать, но вдруг отворилась дверь и появился Мориц. Он был одет по-дорожному... Тайбеле почувствовала, что у нее оборвалось сердце: она застыла на месте, бледная, как смерть, не в силах вымолвить ни слова. Мориц подошел к ней. Фельдман пригласил его сесть. Мориц торопливо сказал:

— Тайбеле, Михаил, будьте здоровы... Я еду в Карлсбад... Только что получил телеграмму: мама опасно больна. Меня вызывают туда... Я буду писать вам каждый день... Я скоро вернусь... Тайбеле! Я буду говорить с ней о нас... Будьте здоровы, дорогие мои...

Фельдман заметил, что Тайбеле едва держится на ногах. Он подошел к ней и тихо спросил:

— Тайбеле! Что с тобой?..

— Что? Со мной? Ничего!.. Ты уезжаешь?.. Вы уезжаете?.. — сказала Тайбеле и сделала веселое лицо.

— Ну, счастливого пути,—сказал Фельдман.—И не забывайте нас ни в беде, ни в радости.

Он отыскал шапку и ушел из дому, чтобы влюбленные могли попрощаться наедине. Когда Мориц остался с Тайбеле, он хотел обнять ее. Но она отстранила его.

— Мориц... не надо, не надо этого... Дорогой, завтра я тебя не увижу? И послезавтра тоже? А может быть, не увижу никогда?..

— Тайбеле! Что ты говоришь? Мы скоро, скоро увидимся...

— Мориц! Ты знаешь: я твоя, твоя, Мориц!..

— Ты моя, моя навеки! Тайбеле, я ни на минуту не забуду тебя!..

Он снова хотел обнять ее. Она слегка оттолкнула его.

— Нет, Мориц, не надо, не надо... Дай мне твою руку, вот так, и поклянись моим именем, слышишь, *моим* именем: что бы ни случилось с тобой, ты мне напишешь... Хорошо?

— Хорошо!..

Фельдман вернулся с веселым выражением лица.

— Ну, уже? Вдоволь наговорились, пташки-голубки? Да? Так позвольте же и мне немножко потолковать с вами. Тайбеле! Поставь-ка самовар, к поезду еще рано... А мы пока немного потолкуем о наших делах...

С этими словами он ввел Морица в свою комнату и заперся с ним.

— Ну, Мориц, будем откровенны. Вас вызывают в Карлсбад телеграммой, сообщают, что ваша мать больна? Это ложь! Вас вызывают к мадемуазель Ноткиной: вы — единственный сын, ваша мать богата, вы — весьма завидный жених... Деньги идут к деньгам...

— Михаил! Что вы говорите! Вы думаете, я тот же Мориц, каким был три года назад?

— А... Я понимаю, я понимаю! Но я знаю ваше мягкое сердце, ваш слабый характер... Слезы вашей матери действуют на вас... Мы далеко, и кто знает, что за штука эта мадемуазель Ноткина! Вы еще слишком молоды...

— За кого вы меня считаете? Я променяю Тайбеле на... Михаил! Вы обижаете меня... Вы знаете мои намерения...

— Мориц! Если вы считаете себя обиженным моими словами, я прошу у вас прощения... Но поймите, с кем вы разговариваете: вы разговариваете с одиноким человеком, которого злая судьба оторвала от семьи, от друзей, от знакомых, почти от всего нашего народа, и он вырвал бог весть из каких рук чужую одинокую

девочку, привязался к ней, и она привязалась к нему... Моя жизнь уже срослась с ее жизнью. Вас она любит беспредельно!.. Если с вами, избави бог, что-нибудь случится, вы убьете ее и меня вместе с ней... Знаете ли?.. Знаете ли? Я когда-то надеялся, что моя любовь к ней (к чему скрывать?), может быть, пробудит в ее душе то чувство, какое она сейчас питает к вам... Но я ошибался... Для меня ли это?! Я доволен и тем, что она до сих пор была так счастлива с вами. Ваш отъезд для нее ужасен... Не забывайте, Мориц, своей Тайбеле — она *ваша*, Мориц, *вы* ее избранник...

Мориц плакал, точно маленький ребенок. Сердце его разрывалось на части. Спазмы сжимали горло. Он схватил руки Фельдмана и порывисто поцеловал. У Фельдмана тоже навернулись слезы на глаза. Он пытался зажечь спички, а они все гасли... Наконец он закурил и сказал:

— Ну, довольно, довольно уже, Зильберман! Вытрите лицо и будьте мужчиной!

Чаепитие прошло довольно спокойно. Фельдман острил, рассказывал анекдоты. Все смеялись. Он опасался, как бы Тайбеле не потеряла самообладания перед самым отъездом Морица. Но, к величайшему его удивлению, когда Мориц поднялся, чтобы проститься, Тайбеле казалась очень веселой! Никогда еще смех ее не звенел так, как в эти минуты. Она даже как-то слишком много смеялась и болтала. Фельдман понимал, чего стоил ей этот смех. Сердце его сжалось от боли... Еще раз «до свиданья», еще раз... Вот и лошади поданы... Мориц сидит уже в экипаже... Кучер взмахнул длинным бичом. Лошади рванули экипаж, и он исчез в густой пыли улиц, ведущих к вокзалу. Только белый платочек виднелся наверху. Почтовый колокольчик еще звенел несколько мгновений, но все тише и тише, пока совсем не замер в дальней дали, где солнце закатилось, точно в воду упало... Тихо и пусто в доме Фельдмана. Тихо и пусто в сердце Тайбеле...

IX

Дорогие читатели! Мы не станем отправлять вас в Карлсбад смотреть, что делает там наш герой, Мориц Зильберман. Он впервые в своей жизни отправился в

путешествие. С каждой станции, с каждого вокзала шли от него к Тайбеле жаркие письма. Когда он пересек границу, перед ним открылся новый мир. Он обещал делиться всеми впечатлениями и держал свое слово. Но вдруг письма перестали приходить. Нам незачем рассказывать, какие страдания это причиняло бедной Тайбеле. Много, много передумала она! Фельдман боялся говорить с ней об этом: он видел, что она тает, как свеча. Так прошли два месяца, которые тянулись, как два года... Но однажды почтальон вручил ей большое письмо с карлсбадским штемпелем. Она сразу же узнала почерк Морица на конверте. Ее руки дрожали. Она едва могла вскрыть конверт. Четырежды принималась она читать письмо и не понимала ни слова... Вот что писал ей Мориц:

«Дорогая Тайбеле! Я не стою того, чтобы твои руки держали мое письмо, а твои прекрасные глаза смотрели на буквы, которые передают тебе эти слова не чернилами на бумаге, но моей кровью на моей коже... Добиваться твоего прощения было бы самым большим злодейством и самой большой низостью с моей стороны. Но я прошу тебя (в последний раз) выслушать твоего Морица, который был тебе так дорог когда-то!.. Знай же, милая Тайбеле, что Мориц погиб, что Мориц теперь несчастнейший человек на земле! Почему вы покинули меня одного среди пучины? Я обращаюсь к тебе и нашему дорогому Михаилу. Зачем отдали меня? Разве вы не знали, что плаванье в открытом море очень опасно для человека, не привыкшего к большим волнам? Вначале, когда я еще плавал у берега, мне было довольно любопытно наблюдать, как злые ветры колышут море. Но волны уносили меня все дальше и дальше... Временами я пытался оглянуться на тот кусок пути, что уже проплыл, но не мог отыскать глазами того, чего хотел: вы казались двумя светлыми точечками, двумя сияющими звездами на далеком темном небе, а потом исчезли и эти две точечки... Теперь я все вспоминаю и вспоминаю, и никак не могу вспомнить, где и когда я погиб... Помню только слезы матери, первое знакомство с семьей Ноткиных, с их дочерью, а после того их визиты к нам и мои визиты к ним, наши прогулки в роскошном саду, нашу поездку на пароходе, белокурые волосы Клары (так зовут их дочь), ее синие

глаза, высокую фигуру, сильный голос... Когда я пришел к ним во второй раз, меня попросили сыграть на пианино. Я начал играть мелодию Шуберга, а Клара запела. Резонанс в зале был замечательный, и полились такие мягкие, звенящие, теплые звуки... Такая редкостная гармония... Я поднял на нее глаза, она словно выросла на целый аршин и показалась мне прекрасной и чистой, как ангел. Сердце мое опалил огонь, вспыхнувший во мне. Я боялся приблизиться к ней... Такую пытку я терпел каждый день. Она терзала меня своим пением, и мне было сладостно терзаться, лишь бы еще и еще слышать ее голос... Видимо, она знала, что творится со мною, хотя я с ней об этом и не говорил. Однажды она была у нас. Моя мать вышла в сад, и мы остались одни. Я был задумчив и озабочен. Она спросила, что со мною. Я не хотел отвечать, она встала, запела... Это было какое-то наваждение! Фантазия унесла меня далеко! Клара показалась мне богиней, я упал перед ней на колени...

Не помню, когда и как я стоял с Кларой под венцом... Священнослужитель говорил проповедь, его слова долго звенели в моих ушах, мне все чудилось, он говорит мне: «Помни, что ты творишь!» Моя мать плакала от радости, а Клара спросила, отчего так бьется мое сердце... Тайбеле! Я несчастен: тебя я потерял, навеки утратил, себя продал чужой женщине... Она далека от меня, как небо от земли... Цель моя для меня теперь уже недостижима: ведь я больше не принадлежу себе. Я раб... Роль свою я уже сыграл, и довольно комично! Даже закоренелый грешник и тот может самоотречением и добрыми делами заслужить прощение, но такому червяку, как я, этого не дано! Тайбеле! Михаил! Забудьте обо мне, я не стою того, чтобы вы меня помнили. Будьте счастливы, счастливы вместе!..»

Х

Фельдмана не было дома, когда Тайбеле получила это письмо из Карлсбада. Прочитав письмо, она некоторое время сидела ошеломленная. Ее глаза померкли. Потом она встала, тряхнула кудрями и принялась ходить из угла в угол, прижав руки к груди. Вновь начали приобретать свой прежний блеск глаза, прояснилось лицо,

сильнее забилось сердце, мысли теснились в голове. Она отыскала листок почтовой бумаги. С полчаса писала. Потом этот листок вместе с письмом Морица сунула в конверт и оставила на столе. Открыла сундучок, вынула свои вещи и уложила в небольшой саквояж, спрятала туда же портрет Фельдмана, потом пересчитала деньги, заработанные уроками, — их накопилось сто двадцать рублей. Потом немного посидела, оглядывая дом, который столько лет был ей родным. Потом вошла в комнату Фельдмана, склонилась над его постелью и поцеловала подушку... Заперла квартиру, повесила ключ на условное место и с саквояжем в руке отправилась на почтовую станцию. Через полчаса она уже сидела в экипаже, который вез ее к вокзалу, а там мы потеряли ее в толпе пассажиров, ожидавших одесского поезда.

Вот письмо, которое Тайбеле написала Фельдману.

«Когда вы получите мое письмо, я буду уже в дороге. Прошу вас, не ищите меня... Я могла бы не убегать, могла бы попросту уехать: я свободна, и никто не может отнять у меня свободу! Но не хотелось мне видеть, как мой дорогой, великодушный, добрый Михаил будет провозжать свою глупую Тайбеле, которую совсем недавно подобрал на улице из грязи... Прочтите *его* письмо, и вы увидите, что другого выхода у меня нет. Лишить себя жизни — величайшая глупость. Так поступить может только человек, не понимающий, ради чего он живет на свете, или эгоист, который способен разозлиться и пустить себе пулю в лоб, если ему живется не так, как хочется. Я знаю, я — человек (женщина — все равно) и могу приносить пользу, дать миру что-нибудь и кроме любви. Я знаю, я причиню вам много боли своим бегством: я помню слова, которые вы мне сказали два года назад... Я знаю, что могла бы сделать навсегда счастливой вашу жизнь, а может быть (как знать?), и свою жизнь тоже... Но для этого я считаю вас слишком значительным человеком, а себя слишком мелкой, если могла обожествлять такое ничтожество, как Мориц Зильберман... Я не утверждаю, что не смогу сделаться достойной вас. Но я чувствую в себе силы добиться чего-нибудь важного, значительного, полезного для мира, — и я обязательно добьюсь, потому что хочу этого!.. Вы думаете, мое решение возникло внезапно? Нет, дорогой Михаил! С тех пор как *он* уехал от нас (вы

помните?), я чувствовала, что мое сердце разрывается и в нем становится так пусто... Все, что я передумала за последние два месяца, не в состоянии вам передать, и то, что я решила, — твердо, и так оно и будет — не иначе. Возможно, мы когда-нибудь увидимся при других обстоятельствах (кто знает?). Но сейчас я прошу вас, дорогой Михаил, не искать меня и не расспрашивать обо мне. Моя любовь дала мне хороший урок!.. Вас я буду помнить, как ангела, который извлек меня из грязи, вдохнул человеческую душу и даровал свободу... Прошу, не вспоминайте обо мне дурно... И самым большим подарком для меня будет, если вы не примете всего этого слишком близко к сердцу и не станете плакать над несчастьем вашей Тайбеле, которая верит в себя и надеется на себя... Нам нужно расстаться тихо, так же тихо, как мы встретились...»

* * *

Фельдман теперь в Х., в университете, на четвертом курсе. Недавно он приезжал в Киев и встретил на Крещатике богато одетого молодого человека под руку с высокой молодой женщиной. Они выходили из лучшей гостиницы — из «Гранд-отеля».

Это были Мориц Зильберман со своей женой Кларой.

— Михаил! — воскликнул Мориц, бросив свою даму.

Фельдман подошел, скользнул по нему взглядом... и не узнал...

— Михаил!.. Как вы поживаете? Уже пять лет!.. Где Тайбеле?..

— А-а-а!.. — сказал Фельдман. Он довольно любезно раскланялся с Морицем, взглянул на Клару и пошел своей дорогой.

Клара с гримасой спросила Морица по-французски:

— *Qui est ce mal-appris?*¹

Мориц ничего не ответил. Он с мрачным видом смотрел вслед Фельдману... Клара надулась и, когда они вернулись домой, устроила ему сцену.

Голда умерла и оставила Морицу солидный капитал. Он открыл торговую контору, там на вывеске значится: «Зильберман, Ноткин и компания». Счастлив ли он? На этот вопрос мы не беремся ответить.

¹ Кто этот невежа?

А Тайбеле? Мы просим наших читателей не тревожиться за нее: такие, как она, не пропадут на свете. Может статься, наши читатели вскоре вновь встретятся с нею. Но пока Тайбеле тихо сходит со сцены, так же тихо, как взошла на нее... Часто бывает, что одна из звезд сияет ярче и прекраснее других на небосводе. Она светит всегда одинаково ровно — и вечером, когда только восходит на небе, и на рассвете, перед тем, как скрыться...

ВЫСШИЙ И НИЗШИЙ

Часть первая

НАВЕРХУ

I

Дом Гавриела Розенфельда отметил 30 мая 18... года невероятным шумом и кутерьмой. В этот день Гавриел Самойлович не вышел из своего кабинета и у себя никого не пожелал принять. Пакет с письмами, принесенный с почты, лежал на столе нераспечатанный. Сам господин Розенфельд расхаживал по комнате, от одного окна к другому, и с нетерпением выглядывал на улицу; потом отходил к столу и заново с превеликим удовольствием перечитывал раскрытую телеграмму:

«Петербург, 28 мая 7 часов утра. Сегодня курьерским выезжаю. Саша».

Второй день во дворе Розенфельда стоит галдеж: пекут, варят, чистят, прибирают, моют, скребут — Саша едет! Кучер уже успел получить от хозяина хорошую нахлобучку — Саша едет! Кухонная челядь сбилась с ног — Саша едет! Дворовый сторож приплелся к Гавриелу Самойловичу с неосторожной просьбой — прибавить к его жалованью еще хотя бы пару рублишек, и был награжден таким крепким: «Дуррак!», что у него потемнело в глазах, — Саша едет! Раввин со старостой синагоги явились к богачу «по поводу миквы»* — так им было сказано «завтра придете», — Саша едет!

Весь городок всполошился:

— Сынок должен приехать. Студент... Богач занят... А во дворе у них что творится!.. Говорят, что сынок и в самом деле весьма образован... Он уже доктор!.. Профессор!.. Богач, наверно, закатит пышный обед... Будут раздавать деньги... Ах, кабы он уж приехал поскорей! Хоть бы взглянуть на него!..

Саша едет! Разгоряченная четверка серых лошадей, словно молния, пролетела по городку, и минуты две спустя вся округа знала, что «он уже прибыл». Кто-то заметил лишь промелькнувший экипаж; другому повезло увидеть «его самого»; третий рассказывал, что он вышагивает в кителе с золотыми погонами, будто гвардейский офицер; четвертый готов был поклясться, что собственными глазами видел на «нем» эполеты, большие, как у генерала.

Саша уже прибыл! Со слезами на глазах кухарка Хана-Тойба пересказывала, как «он» легко выпрыгнул из кареты, как звякнули шпоры на «его» сапожках, как хозяин, смахнув слезу, трогательно с «ним» расцеловался, как хозяйка заплакала в голос, как «он» обнял мать, как «он» ласково говорил...

Саша уже дома! На следующий день он выехал верхом на лошади и прогарцевал вдоль городка. Встречные раскланивались с ним, а кое-кто даже снял перед «ним» фуражку. Некоторым Саша ответил кивком головы, и они остались счастливы. В течение трех-четырех дней о нем прослышали почти все местечковые парни. Только и разговору было что о сыне богача. Во всех уголках говорили только о нем: о его приятной наружности, учености, о его знатности и богатстве! На какой бы улице он ни появился, люди выползали, как тараканы, из своих домишек, лавчонок, молелен, и каждый указывал пальцем: «Вон он едет!», «Вон он идет!»

II

А двадцать пять лет назад в городке Н., где происходила вышеописанная сцена, у Гавриела Розенфельда состоялся обряд обрезания, на котором присутствовало свыше трехсот человек, и где шадхен* Рефозл, выпив почти ведро вина, скончался. Старики все еще не забыли эту «пирушку»; вспоминая про Рефозла, — царство

ему небесное! — они рассказывали о винных парах, которые будто бы в нем вспыхнули, и о его лице, мгновенно почерневшем, как головешка.

Это событие и ознаменовало появление на свет нашего счастливчика Сашеньки (Александра). Гавриел уже тогда был богат, и так как жена его Ревекка несколько месяцев назад выздоровела, он устроил щедрый обед для бедного люда и положил в банк на имя сына сто тысяч рублей (на долгий срок). Ревекка, до того времени любившая только Гавриела, теперь всем сердцем привязалась к новорожденному. А Сашенька рос и подымался, как нежный майский цветок, согреваемый вешним солнцем и орошаемый дождем. Ради него дом пополнился людьми: кормилицами, няньками, боннами, лакеями, прачками. И у всех на устах было одно имя: «Саша!»

Из-за такого «маленького человечка» — столько шуму!

В тот день, когда Сашеньку отлучили от груди, Розенфельд устроил для бедняков обед; в тот день, когда он начал самостоятельно ходить, — снова обед; Сашенька уже произнес «па-па», «ма-ма» — опять угощение. А когда Сашенька переболел корью и оспой и, слава богу, выздоровел — бедняки, конечно, неплохо поужинали у богача. Очевидно, здесь и кроется причина, почему все говорили и беспокоились о сыне Розенфельда больше, чем о собственных детях. И чему удивляться, что бедняк, у которого каждый новорожденный становится лишним едоком в семье, тревожился за судьбу Сашеньки больше, чем за судьбу своего ребенка? Но если допустить, что на этом свете еще полно бедных семей с избытком едоков, то неужели среди них не найдется ни одного отца или ни одной матери, которые бы молились за барского сынка, хотя их собственное несчастное дитя лежит хворым в постели?..

Самое большое торжество состоялось в доме Розенфельда в тот день, когда Саше исполнилось двенадцать лет и он должен был уехать в город К. в гимназию. Тогда, помнится, даже устроили бал для помещиков. О Саше говорили теперь не только одни евреи. Учителя, дотянувшие его до гимназии, наперебой убеждали господина Розенфельда, что его сын необычайно даровит и обладает исключительными способностями и что из него-то уж толк выйдет. Насколько это правда, нам неизвестно: кто поверит, что учителя то же самое сказали не только Розенфельду, не только для того, чтобы поль-

стить богачу? Кто знает, о чем там «беседовал» Розенфельд с директором гимназии и с педагогами? И кто знает, получал бы Саша ежегодно «награду», если бы его отец не был Розенфельдом и не имел бы столько денег? Кто знает, был бы... Одним словом — Саша благополучно окончил гимназию, поступил в университет, с таким же успехом закончил и университет и, наконец, стал полковым врачом «в добрый час».

III

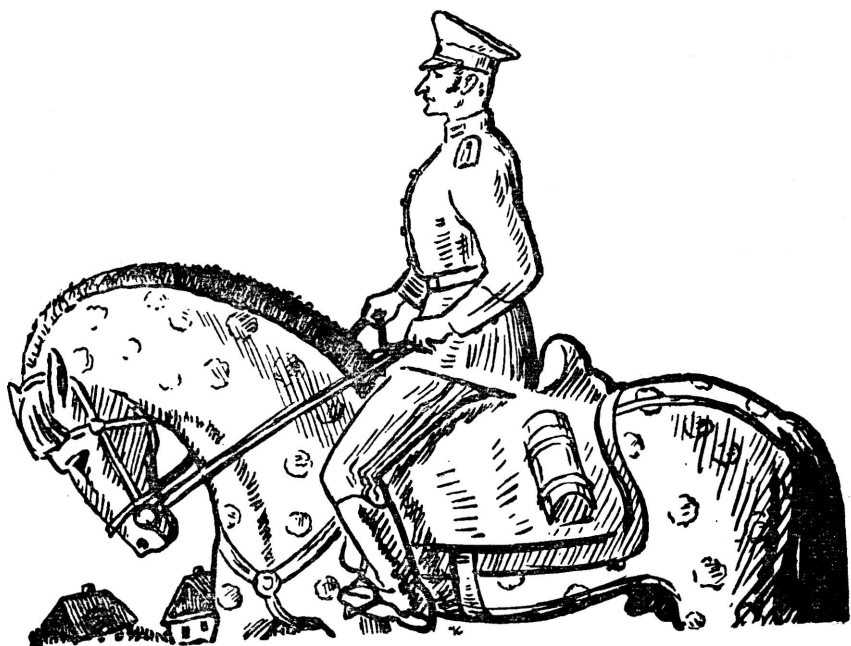
Есть еще на белом свете такие люди, которые любят восхвалять других и превозносить их до небес безо всяких на то оснований. Среди хасидов, к примеру, попадают еще и такие, которые не поклоняются ребе, не нуждаются в его благословении, да и сам ребе нужен им, как собаке пятая нога. И тем не менее они иногда такую небыль понесут — уши вянут. И ведь сами знают, что брешут, но тот, кто их выслушивает, только удивленно качает головой и не наберется духу сказать: «Все это вранье!»

Но к чему здесь сводится разговор?

К тому, что называется «везением».

Почти в каждом городке есть «большие» врачи и «маленькие». Но остановите первого встречного и спросите, почему он считает этого — «большим», а того — «маленьким», то наверняка услышите такой ответ: «Этот доктор знаменитый врач, а тот — так себе врач!..» Если же незнакомец добавит, что «большой» доктор помог недавно такому-то и такому-то больному, то он вам тут же расскажет целую историю, да еще и нафантазирует, будто бы больной и в самом деле находился в «крайне тяжелом состоянии». Вы не промедлите передать об этом другому, а тот уж обязательно расскажет следующему, что больной был на волосок от смерти — а до последующего дойдет, что больной совсем было отдал богу душу, но доктор воскресил его из мертвых. И так, благодаря молве, растут «большие» доктора. К тому же «большой» — должен выезжать к больному с шиком, восседать в экипаже, как монарх, уметь привередничать, заставлять себя долго упрашивать.

Александр Розенфельд был, конечно, «большим» доктором, потому что не всякий был в состоянии



приглашать его, да и не каждый мог удостоиться чести поговорить с ним.

В полку, где служил Александр, у него быстро росли чины, а в банке — проценты. И слыл он «большим» не только в своем городке, но и за его пределами.

Надо сказать, что у высшей аристократии принято лечиться ради моды, точно так же как и одеваться по моде. Модные врачи, как и модные портные, модные сапожники, модные лавочники, пользуются успехом у высокопоставленных светских дам. Даже лекарства тоже стали делиться: на «модные» и «не модные», о чем весьма точно осведомлены все провизоры и аптекари...

Розенфельд был и «большим» доктором и «модным»! К тридцати годам он вышел в отставку с несколькими орденами на груди и, женившись на дочери банкира, взял большое приданое.

Отец его, Гавриел Самойлович, умер, когда Александру было сорок лет, и оставил сыну приличное наследство. Чем больше денег получал доктор Розенфельд, тем популярней становился он среди жителей городка. Вскоре имя его приобрело такую известность, что

к нему стали ездить отовсюду, большей частью больные господа со здоровыми рублями. И пошла о нем гулять молва, и тут-то лишь начали о нем рассказывать разные чудеса и складывать небылицы, как о «праведном еврее» в старые времена...

Розенфельд был «большим», «модным», «богатым» и ко всему «знаменитым» доктором!

На двери он повесил табличку: «Бедных принимаю бесплатно с 7 до 8», — поэтому каждое утро можно было видеть у его двери толпу бедняков, которые уже не один раз приходили к «добросердечному» доктору и уходили ни с чем «до следующего завтра».

Розенфельд был «большой», «модный», «богатый», «знаменитый», а также и «добрый» доктор!

* * *

Много лет спустя...

Огромный светлый зал полон гостей: пожилые господа, молодежь, дамы, кавалеры. Танцуют, пьют, веселятся. За большим роялем — молоденькая барышня; она играет, а подле нее сидит молодой человек, подпевая ей в тон. В другой комнате за зелеными ломберными столиками — мужчины, среди них есть и офицеры. Идет оживленная игра в «клеин-шас». Один из мужчин, полный, красивый и жизнерадостный человек, во фраке, с лентой «Станислава», держит на коленях двух малышей, внучат, которые с обеих сторон треплют его за бороду. Из зала доносится шум и веселый смех — жизнь кипит! Это дом доктора Александра Гавриловича Розенфельда.

А в честь чего у него сегодня такой прием?

У младшей дочери Марии — именины.

Конец первой части

Часть вторая

ВНИЗУ

I

В тот же день 30 мая 18... года, когда Гавриел Самойлович с нетерпением ожидал приезда Александра, в том же самом городке Н. поздним вечером шагал по

улице неизвестный человек с узелком за спиной и расспрашивал: «Где тут живет Фейга-вдова, Фейга-сервировщица?» Но никто, оказывается, не знал, где она проживает, хотя имя ее было известно в округе даже малому ребенку. «Мне кажется, где-то неподалеку от кладбища», — подсказала ему какая-то женщина. И путник направился по указанной ему дороге за город. Прохожие уже встречались здесь редко, и только собаки сопровождали его лаем от одного двора до другого, пока он наконец не увидел кладбище с двумя-тремя землянками, в окнах которых еще теплился свет. Он подошел к одному из домиков и постучал в оконце. В дверях показалась молодая женщина и спросила: «Вам кого?»

— Не здесь ли живет Фейга-сервировщица?

— Нет, — ответила женщина, — в третьем домике с другой стороны... Ой, холера меня возьми! Гром на мою голову!.. Вы случайно не сын ли ее?..

— Да, вы угадали.

— Ах, бес меня попутал!.. Что же я это стою? Побегу, порадую вашу маму добрым известием... я побегу...

Час спустя Фейга уже сидела со своим сыном Ицхоком, смотрела, как он прихлебывает чай, и в ее глазах блестели две слезинки: она разглядывала его сухошавое со впалыми щеками лицо, его сутулые плечи и всматривалась в горящие темные глаза. Она замечала, что в волосах его кое-где проступает седина, а лоб прочерчен множеством морщинок...

— Ой, лихо мне, лихо! — горестно размышляла Фейга. — Парню всего-то двадцать пять лет, а он уже так стар...

II

Фейга овдовела рано — в тридцать лет. Муж ее, Хаим Бекерман, был переплетчиком. Вечно занятый, озабоченный, он трудился как вол, так что некогда было и на себя взглянуть, и все-таки жили они в большой нужде. Ицхок был у них одним-единственным сыном. Он не отличался особой красотой, и только глаза у него были какие-то необычные. Частенько его заставляли сидящим в глубокой, не по возрасту, задумчивости. Вначале Ицхок обнаружил исключительные способности, но к десяти годам неожиданно потерял к учению всякий интерес. Хаим взял сына из хедера, хотя Фейга была против

этого, и стал приучать его к работе. Тут Ицхок оказался и вовсе ленивым, за что нередко получал от отца крепкие тумачи, но и это ничуть не помогало. Бекерман уже склонен был думать, что сын его вырастет никудышным, не пригодным ни для какой работы. Хаим переплетал, большей частью — русские книги и сам умел немного читать по-русски. Он обучил Ицхока русскому языку и отдал его в «народную школу». На первом году Ицхок не проявил какого-либо желания к изучению школьных предметов. Но на второй год он уже заметно преуспевал. На третий — перешел в следующий класс с наградой, и в третьем классе он был первым учеником.

III

Хаим умер, и Фейга осталась вдвоем с сыном, как у разбитого корыта. Что она могла поделаться без единого гроша в кармане? Чем ей было заняться? Другое дело, мужчина — когда он остается без заработка, то перед ним раскрыты все двери: смыслит он в торговых делах — становится маклером, может чему-нибудь обучать — идет в меламеды, водит знакомство с миром — делается шадхеном. Но что предложить бедной женщине? Маклеров — достаточно и двух-трех в одном городке, шадхенов и без того полно (к тому же и для этого дела нужны деньги); есть еще несколько профессий, проклятых профессий для отчаявшихся женщин: ошипывать перья, вырбатывать чулки или быть мозолисткой в бане, — но на эти доходы долго не протянешь. Лучшее, что еще остается, — «сервировщицей»! Если богач справляет сыну или дочери свадьбу, приглашают сервировщицу, и она отрабатывает несколько дней, как арестант на каторге, за что, правда, получает пару добрых рублей и скромный подарочек от невесты. Кроме того, она приносит домой полный фартук печенья или кусков хлеба, оставшихся со свадьбы, — еврейские заработки!

Фейга своим умением варить рыбу славилась на весь городок, поэтому ее каждую пятницу приглашали к богачу Розенфельду готовить рыбные блюда — за что она получала четыре рубля в месяц.

За эти четыре рубля Фейга уже могла снять квартирку; ко всему, еще такого не было, чтобы в год не случалось десяти свадеб, семи обрядов обрезания, четырнадцати

«бармицве» и шести пирушек по разному поводу... Прикиньте, так вы увидите, что Фейга со своим сыном уже могла как-то существовать и даже иногда раскошиться нищему на подаяние. А Ицшок? Что выйдет из него? Какая от него будет польза? Пока что он слоняется по улицам, озорничает и растет бездельником.

Когда Саша Розенфельд перешел в седьмой класс гимназии, отец его созвал бедняков на обед, и Фейга была там первой сервировщицей. Ицшок давно мечтал посмотреть на Сашу-гимназиста, и Фейга взяла его с собою. В доме за столом уже сидели около двухсот человек и ели «Фейгину рыбу», а мальчик лет семнадцати стоял у двери. В течение всего вечера он неотрывно смотрел на Сашу. Когда Ревекка Розенфельд подошла к мальчику и спросила, почему он не садится к столу, он неожиданно повернулся, хлопнул дверью и убежал.

Этим строптивым мальчиком был Ицшок.

Вернувшись домой, Фейга застала его в слезах. Сердце ее защемило от жалости к своему единственному сыну, но, подавив в себе материнское чувство, Фейга начала бранить его за то, что он вел себя непристойно с богачкой и что она, Фейга-сервировщица, не смеет теперь там больше показаться, и потому может пострадать ее заработок. Весь поток излияний Фейга заключила такими словами: «Ладно, я прощаю тебе потерянные четыре рубля своего дохода! Провались ты вместе с ними. Но скажи мне, зачем тебе надо было грубить хозяйке и так разозлить ее сына — да ты и мизинца его не стоишь! Посмотри на себя, кто ты и кто он? Ты бездельник и голодранец, а его милостью пользуется целый город бедняков; ты лоботряс — а он скоро станет доктором, а может, — и губернатором!..»

Что тогда творилось в душе Ицшока и о чем он тогда думал?

Назавтра по городку пронесся слух, что сын Фейги-сервировщицы сбежал — и никто не знает куда!

IV

С тех пор прошло пять лет.

Кого интересовала судьба Фейги и ее сына?

Один только городской писарь, реб Файвиш, знал, что Ицшок находится в городе К. в гимназии и что он соби-

рается стать доктором. Реб Файвиш частенько отвечал на его письма. Он писал Иццоку, что его мать, Фейга, слава богу, жива-здорова и что она день и ночь просит всевышнего, покровителя бедных вдов, чтобы он не оставил своей милостью несчастную рабу свою и распростер крылья свои над ее головой и защитил единственного сына ее, заброшенного судьбой на чужбину, и чтобы дал ей в скором времени свидеться с ним — вовеки аминь! От своего же имени реб Файвиш приписывал к письму так называемый «кусочек назидания» с цитатами из Библии и напоминал Иццоку, что ведет он свой род от Авраама, Исаака и Иакова * и что является он представителем народа, у которого шестьсот тринадцать заветов *, и Тора, и Пророки; * в конце письма реб Файвиш обычно просил Иццока, чтоб тот был так добр и написал, что творится на белом свете, какие новости в большом городе К. и успешно ли идет война с турками *. Ицчок охотно исполнял его просьбу, и реб Файвишу было о чем поговорить потом в синагоге в сумеречные часы перерыва между вечерними молитвами.

Однажды Фейга получила от Иццока письмо, в котором он сообщал, что скоро придет к ней «погостить» на три месяца. Ожидание было для Фейги мучительным и долгим — она вся извелась, поминутно выглядывая, не едет ли ее сын. И реб Файвиш чуть ли не ежедневно наведывался, чтобы поприветствовать дорогого гостя «со счастливым приездом».

Но вот прошли три месяца слез и ожиданий, а Ицчок так и не приехал. Даже письма не написал. Может, с ним что-нибудь случилось? — Ничего подобного! Он и в самом деле поставил себе условие, что этим летом, сдав последний экзамен и поступив в университет, съездит наконец домой. Но условие-то он поставил, а денег на дорогу не сберег. Поэтому Ицчок ограничился тем, что передал матери привет через Сашу Розенфельда, с которым он сдружился за время совместной учебы в гимназии. Саша по приезде домой сначала позабыл об этом, а потом, вспомнив, рассказал матери, что Ицчок просил его передать привет Фейге-сервировщице. Ревекка ответила, что пошлет за ней, но потом подумала, что как-то не к лицу ее Сашеньке иметь дело с какой-то сервировщицей, — а между тем Фейга не знала, как ей расценить такой бессердечный поступок сына. Реб Файвиш склонялся больше к тому, что, наверно, с ним

в дороге случилось какое-нибудь несчастье: долго ли в теперешние-то времена?..

Пролетело еще четыре года — четыре горьких года для бедной матери, которая не видела своего единственного сына целых девять лет; четыре жестоких года для бедного студента, который в течение девяти лет боролся с голодом и холодом и, пройдя сквозь эти испытания, возвратился домой с дипломом доктора.

Мы уже видели его в доме Фейги-сервировщицы 30 мая 18... года.

Счастливая мать! Счастливый сын! Несчастливая мать! Несчастный сын!

Посмотрим, что следует дальше!

V

Тень огромного ветвистого дерева с густою кроной за-слонила от солнца маленькое деревце. Из-за шума и суеты вокруг «большого» врача Розенфельда никто и слышать не мог о «маленьком» докторе Бекермане.

Тоже мне доктор! Он ведь ходит пешком... Он не выписывает длинных и дорогих рецептов... Он лечит какими-то бабскими травами... И берет-то всего пятиалтынный... Бедняков и вовсе бесплатно... Иногда он и сам дает на лекарство из своего кармана. По часу просиживает у изголовья больного... Он такой простой. У него такое доброе сердце, такой мягкий характер, — на редкость душевный человек! Конечно же, он «маленький» доктор! К тому же мы помним его родословную. Отец-то его был переплетчиком, да таким бедняком, что беднее не сыщешь! А его мать — это ж Фейга-сервировщица. А сам-то он: уж такой бедняк, что не приведи господь! И поглядеть на него — тоже не ахти какой вид: ничто — «докторишка» — «маленький докторишка».

Что поделаешь? «Наверх» надо карабкаться по длинному шесту, но не всякий в состоянии взбираться.

Доктор Бекерман снял квартиру, чуть большую, чем была у них, и жил себе потихоньку вместе с матерью. Фейга оставила свой «сервировочный» заработок и ухаживала за сыном, который, кстати говоря, был не совсем здоров. Постоянные лишения и недоедание в студенческие годы отняли у него немало сил. Этому врачу самому нужен был врач!

Так прошло пять счастливых лет жизни у доктора Бекермана и его пожилой матери. Счастливых — хотя волосы на его голове становились все реже и реже, хотя нередко случалось и безденежье, но все это такие горести, о которых, повздыхав, постепенно забывают. А между тем Бекерманов ожидала большая радость. Какая радость? — Сватовство!

Шадхен реб Нафтоле не мог успокоиться, что Бекерман до тридцати лет засиделся «в парнях». Он часто приходил к Фейге и подолгу толковал с ней о женитьбе сына и наставлял ее, чтобы она «обрабатывала» его со своей стороны, а он уж как-нибудь постарается все уладить — со своей. В разговорах, пересудах незаметно прошло еще два года, и однажды реб Нафтоле явился к Фейге с радостной вестью: есть для жениха хорошая партия! Прекраснейшая невеста: двадцати трех лет, разведенная, но с сорока тысячами приданого! Фейга ответила, что она уже не раз пыталась убедить сына — ему давно пора жениться! — и что она передаст ему предложение реб Нафтоле. Ицшок вернулся в тот день довольно поздно, и мать нашла его таким веселым, с таким необычным блеском в глазах, что не могла удержаться от вопроса:

— Что с тобой, Ицшок? Ты, наверно, виделся с реб Нафтоле?

— Нет, мама!

— Что ж ты так весел, Ицшок?

— Я расскажу тебе новость!

— Новость? И я расскажу тебе новость!

— Ну, хорошо, рассказывай, мама!

— Нет, сынок, расскажи ты сначала.

— Нет, лучше ты мне поведай свою новость, а потом я поделюсь своей.

— Ладно!.. Был у меня сегодня реб Нафтоле. Он сказал, что нашел для тебя прекрасную невесту...

— Невесту?

— Да, двадцати трех лет, разведенная, но с сорока тысячами приданого!..

Ицшок расхохотался, даже закашлялся от смеха. Он объявил матери, что уже стал женихом и берет приданого куда меньше, чем сорок тысяч, но чувствует себя счастливым; и потому он так весел, что именно сегодня и узнал о своем счастье.

Девушка, которую полюбил доктор Бекерман, раньше была его пациенткой. Тяжелая болезнь приковала ее к постели, и он почти чудом вернул ее к жизни. Соня, так звали девушку, оказалась дочерью реб Файвиша, который славился своей откровенной бедностью больше, чем мастерством писаря. Но, видать, всевышний сжалился над ним и одарил его такими красивыми дочерьми, что ему еще, бывало, приплачивали за них. Самой красивой из всех была младшая, Соня. На нее тоже нашлось немало охотников, и реб Файвиш уже заранее шил себе кошель для выкупных денег. Внезапно Соня заболела, и сватовство приостановилось.

Может быть, имея чем оплатить богатый вызов, реб Файвиш пригласил бы и «большого» доктора Розенфельда, но так как карман его был пуст, то он написал «маленькому» доктору Бекерману велеречивое письмо с теми изречениями, которые мы приводим здесь в переводе с древнееврейского на идиш:

«Что есть человек на этом свете? — Не червь ли он, ползающий по земле? Весь мир со всеми семью небесами, со всеми морями и безднами в руках творца нашего, словно черепок в руках горшечника, или кусок стекла в руках стекольщика, а мы, люди, — плоть и кровь, барахтаемся, как пароход в безбрежном океане, и волны несут нас на своих крыльях, как орел, парящий в поднебесье; и подобны мы стелющейся траве, или тени, что мерно проходит над нами, или, может быть, сну мы подобны, сну, уходящему в небытие! И посему прошу я тебя, дорогой мой друг, уважаемый Ицхок Бекерман, чье имя известно во всех земных уголках: на западе и на востоке, на юге и на севере, перед чьим именем преклоняются все доктора, и ты, чей мизинец толще их чресел, и ты, изумляющий всех деяньями своими, будь настолько добр, потрудись навестить мою дочь Сонечку, дал бы ей бог здоровья! Не знаю, какая господня немилость излилась на нее: слегла моя бедняжка в постель и вот уже восемнадцать дней не ест и не пьет. И лежит она в страшной горячке, не узнает никого в лицо, и я боюсь, что приходит ей конец, не приведи господи! Спеши, доктор, и принеси ей, как на крыльях, исцеление, чтобы весь мир знал, что нет тебе равных и не будет до

пришествия мессии, когда народы начнут славить имя твое, и станешь ты праведником, и потому оградит тебя и ближних твоих всевышний от всех болезней, от всех мук и печалей на вечные, вечные времена — вовеки аминь!

От твоего любящего, который шлет тебе низкий поклон, и молится у ног твоих, и готов всегда служить тебе от чистого сердца —

Файвиш, сын Гедали Купервасер».

Получив письмо, Бекерман поспешил в дом писаря и нашел его дочь в опасном состоянии. Он принялся лечить ее всеми средствами и не покинул их семью, пока Соня не пришла в себя. Вскоре девушка начала выздоравливать. Через два месяца она встала с постели, а на третий — уже смогла ходить. Как реб Файвиш был благодарен доктору Бекерману, можно судить по тому объемистому «трактат-письму», которое он отписал ему на шести листах бумаги (с обеих сторон) и в котором излил весь свой запас мудрости и богословия. Туда вошли и главы из Псалтыря, и целые части из «Притчей Соломоновых» *, и «Когелет» *, и молитвы. Заканчивалось это послание следующими словами:

О, ты наш сад — а мы твои сторожа!

О, ты наше сердце — а мы ступни твои!

О, ты для нас все — а мы ничто!

VII

Соня выздоровела, а Ицхок заболел!..

Он полюбил Соню первой юношеской любовью!

Ицхок долго боролся с собой. Он считал, что не имеет права жениться: сам-то еще кое-как перебивается, а как же он будет кормить жену, а потом детей? Голова и сердце, рассудок и чувство несколько месяцев сопротивлялись друг другу, и все-таки сердце взяло верх... Сердце — оно, знать, сильнее!..

Когда Ицхок открыл Соне свои чувства и мысли, она со слезами упала к нему на грудь: она уже давно была влюблена в него, но боялась и думать об этом. Соня не забывала о том, что бедна, что никакого образования у нее нет — только что красива, да разве же одной красоты достаточно, без образования и без денег?

Ицхок обрисовал ей и тeneвую сторону своей жизни: мол, доктор он бедный, врачебная практика его скудна, да и в самом городке он мало почитаем. Но Соня ему ответила: «Ицхок! Мне нужен ты, и больше я ничего знать не хочу!»

* * *

Убогая комнатенка. Вся обстановка состоит из нескольких кроваток, столика и простых стульев. За столом, согнувшись в три погибели, сидит седоволосый мужчина — на вид ему не больше сорока. Напротив него — красивая женщина с бледным лицом, на руках у нее двое детишек. Поодаль очень старая, с потускневшими глазами женщина держит на коленях мальчика лет восьми, листающего какую-то книжонку.

Это семья доктора Бекермана.

— Самим можно было бы обойтись тем, что есть, — промолвила Соня. — Плохо только то, что вот эти самые...

— Но хуже всего вот это, — ответил Ицхок, указывая пальцем на мальчика с книжонкой в руках. — Его надо определить в школу, а учить его не на что!..

— Пусть он поступит так, как ты когда-то поступил, — отозвалась старая Фейга.

— Нет, мама! Пусть он уж растет в таких условиях и не знает лучшего, тогда он, может, и худшего никогда не познает...

VIII

Много лет спустя...

Ицхок лежит в постели. Смертельная война с жизнью наконец-то его доконала. Соня не плачет, но лицо ее бледнее полотна. Во второй комнатке лежит Фейга и в отчаянье рвет на себе волосы. Из ее подслеповатых глаз уже не катятся слезы. Подле умирающего отца сидит его сын Хаим. Ему семнадцать лет — он красив и здоров. Ицхок слабо поглаживает сына по длинным черным волосам.

Хаим уже закончил гимназию и поступил в университет. Но карьера доктора его не прельщает. Он мечтает стать юристом, и поговаривают, что он будет знаменитым адвокатом. Может стать!.. Однако сколько еще воды утечет до той прекрасной поры?..



Ицхок Бекерман скончался. Он оставил своей Соне большое «наследство». Этим «наследством» был Хаим. Окажется ли он счастливее своего отца? Этого мы знать не можем.

То, что было, — мы видели, а то, что еще будет, — увидим...

НА БЕРДИЧЕВСКОЙ УЛИЦЕ

(Зарисовки)

1. Улица

Бердичевская улица — самая большая улица в нашем городе. Начинается она около Крепости и тянется вплоть до Желтой молельни, до того самого места, где располагается базар, как раз напротив Лейбци, сына реб Арна, купившего домик у Фейги Беришевой за сорок пять рублей, хотя за него можно было смело дать и все шестьдесят, так как всего лишь восемь лет тому назад Бериш, мир его праху, перекрыл дом черепицей и подпер двумя новыми жердями. Одним словом, Бердичевская улица необычайно длинная, и, только измерив ее, можно получить истинное представление о ее величине. Но измерить нашу улицу невозможно, так как она пересечена горами и долинами, большими ямами и маленькими ямками. Да и дома тоже стоят как-то неровно, друг над другом, чуть ли не под одной крышей, без дворов, без садов, так что вся улица напоминает собою один огромный двор, настоящий, с позволения сказать, дворец!.. Вот почему мы все так близки друг другу, не чуждаемся, упаси боже, один другого и знаем всё, что делается у каждого из нас. Вы можете спросить на улице любого реббенка, и он вам подробно расскажет, где я живу, сколько плачу за квартиру, сколько зарабатываю в неделю, как мы теперь ладим с женой и какое приданое я намерен дать за моей дочерью! У нас на Бердичевской улице так уж заведено, что если господь бог посылает кому-нибудь радость, радуемся также и все мы, если же, не дай бог, кого-нибудь постигнет несчастье, то и все



мы, от мала до велика, тоже тут как тут! Когда красавица Переле — да минет всех евреев подобная беда! — удрала со своим грамотеем, мы не спали три ночи подряд и даже маковой росинки во рту не имели! Младенцы в колыбельках и те лишились тогда сна и покоя. Уж что и толковать, это был настоящий Судный день, да и только! Но подробнее об этом пойдет речь в третьей главе.

В нашем городе имеются и другие улицы, где живут евреи, но мы с ними мало общаемся. Мы имеем свою отдельную молельню, свою синагогу, свою, не будь

рядом помянута, баню, свою богадельню, своих резников и своих раввинов. И будьте уверены, мясо из-под ножа чужого резника мы есть не будем и разрешать вопросы религиозного ритуала у чужого раввина тоже не будем... Упомянув о раввине, я не могу не рассказать, что произошло у нас на Бердичевской улице из-за раввина. Потоки крови лились на улицах, земля и небо содрогались, стар и млад не знали ни сна, ни покоя, наши крики и вопли разносились из края в край! А случилось вот что.

И бысть муж во храме древнем — при Старой синагоге жил один прихожанин, и наречен *бысть Меерл* — и звали его Меерл. Отец его был синагогальным служкою и по крайней бедности своей не в состоянии был дать своему единственному сыну необходимые религиозные знания, поэтому тот постоянно околачивался в синагоге среди нас, молодых людей, и был у нас, можно сказать, на побегушках. А мы проходили с ним главу-другую из Ветхого завета с комментариями Раши *, а когда он подрос — и трактат-другой из Талмуда. Постепенно Меерл увлекся наукой и, благодаря своим способностям и необычайному рвению, прославился вскоре как глубокий знаток священных книг. Тогда ему нашли богатую невесту с приданым в триста целковых и, с божьей помощью, оженили. Несколько лет он, как водится, оставался на положении примака, денно и ночью сидя в синагоге за Талмудом, пока не умер реб Хаимл, да будет благословенна его память. Тогда мы созвали собрание и избрали нашего Меерла раввином Бердичевской улицы. С тех пор его прозвали реб Меерл Бердичевский.

Правил он нами в течение трех лет. Три года он решал, что нам можно есть и чего нельзя; три года он нас судил и рядил; три года мы следовали только его советам. Это был чрезвычайно умный, благочестивый и очень славный раввин.

Но вот однажды на Бердичевской улице появился книгоноша. Остановившись на время у раввина, он начал понемножку торговать своим товаром, продавал молитвенники, Библии, богословские сборники, своды религиозных законов, мезузы * и другие предметы религиозного культа, а также всякое чтиво, занимательные истории, «Чудеса Балшемтова» * и т. п. И никто даже мысли не допускал, что этот книгоноша, известный своим благочестием, держит у себя книжки Левинзона! Но господь бог, да святится имя его, в мудрости своей знает, как

править нашим мирком, и он уж позаботился, чтобы у этого книгоноши случайно вытряхнули парочку безбожных книжонок Левинзона и Лиlienблума! * Поднялся крик, шум, и нашему книгоноше ничего другого не осталось, как признаться, что у него в мешке хранится целый тюк таких книжек, и при этом он добавил, что кого такие книжки очень интересуют, тот пусть обратится к реб Меерлу Бердичевскому, и раввин уж расскажет, о чем идет там речь!..

Мое перо бессильно, мои уста беспомощны, моему языку не хватает слов, чтобы передать хоть бы тысячную долю того, что у нас тогда творилось!!! Меерла мы немедленно скинули с престола, что сразу же привело к расколу, к войне, длившейся многие годы, так как молодые прихожане с Бердичевской улицы взяли сторону реб Меерла и провозгласили его и раввином и даеном. Так возникли у нас две партии: *Бердичевская* и *Житомирская!*

Боже, сколько тогда доносов было, сколько богачей разорилось, сколько людей отдало богу душу из-за раздора, бушевавшего между бердичевцами и житомирцами!! Еще и сегодня можно увидеть на двери нашей старой синагоги кусок пергамента с огромной надписью на древнееврейском языке:

«Тот, кто разговаривает с житомирцем, подобен человеку, вкушающему средь бела дня свинину».

Нечто подобное вы можете также увидеть в нашей молельне, но в несколько иной формулировке:

«Тот, кто смотрит на бердичевца, должен потом совершить омовение, чтобы очиститься от скверны».

Теперь, любезный читатель, вы уже имеете некоторое представление о нашей Бердичевской улице, где я отобрал несколько типов, чтобы их представить вам. Верно ли я их изобразил или фальшиво, угодил ли я в цель или нет, хорошо ли я все передал или плохо, интересны ли эти типы читателю или нет — это мы увидим потом, но с первой главой покончено, и мой фельетон готов...

II. Банкрот

Как раз в канун тишебов *, когда евреи уже закрыли лавки и собрались в синагогу, по Бердичевской улице пронесся слух, что галантерейщик Йосл, «Йосл Цирелес»,

объявил себя банкротом! Галантерейщик Иосл обанкротился! Вы понимаете, что это значит? Нет, вам этого не понять! Для этого следует прежде всего знать, кто такой этот Иосл и что он, откуда он берет свое начало и чем он замечателен! Начнем с того, что Иосл — пусть это вас не шокирует, любезный читатель, — долгие годы был простым приказчиком в лавке реб Липы Глухого, умершего, если помните, во время первой холеры, да хранит нас бог (хоронили его, напоминаю вам, в субботу). Липа Глухой вырастил Иосла, обучил его, и тот вышел в люди, сколотил капиталец, солидный капиталец! — и сам стал у нас галантерейщиком... Потихоньку завел он свое собственное дело, ездил на ярмарки и начал уже пользоваться у нас на Бердичевской улице небольшим кредитом, рублей на триста — себе и вам, дорогой читатель, пожелал бы я такое!.. По натуре своей Иосл был человеком тихим, безобидным и довольно честным, можно сказать, простодушным... Тихо, мирно мог бы он прожить свой век, без тревожений и в почете, ибо, в самом деле, жил он в достатке, — дай боже всем евреям такую жизнь! — пользовался кредитом, доходы получал немалые, да и деньги кое-какие тоже были, небольшие, правда, — рублей восемьдесят, девяносто, а может, даже все сто! Чего ж еще не хватало ему? Но, как сказал Соломон Мудрый... Не помню точно, что именно он сказал, но, кажется, очень умную вещь... Короче говоря, его жену звали Циреле!.. Так вот, запомните, что вам говорит человек бывалый: раз женщину величают уменьшительным именем — Циреле, Миреле, Переле, Шереле, — значит, она ведьма, язва, змея, истязательница мужа, с поджатыми губками, как описывает свою героиню наш небезызвестный писатель М. Спектор в рассказе «Реб Трайтл». Думаю, вы и сами довольно ясно представляете себе, как бывшая служанка Циреле, когда ей улыбнулось счастье и она стала галантерейщицей, чуть ли не первой галантерейщицей на Бердичевской улице, изводила бедного Иосла своими претензиями и капризами: то ее пальто не такое парадное, как у толстухи Миреле, то ее место в синагоге не такое почетное, как у той же Миреле, и т. п. Она так долго терзала его, помыкала им, пока окончательно не внушила ему, как говорит М. Спектор, что она — жена, а он — только муж!.. Прошло немного времени, и его, конечно, стали звать уже не «Иосл», а «Иосл Цирелес», то есть

Иосл, муж Циреле!.. Иосл знал только одно: закупать и привозить товар и, наблюдая, как Циреле торгует, сообщать ей каждый раз цену того или другого предмета.

— Иосл, чтоб ты окошел, Иосл! Почему продавать эту пуговицу?

— Иосл, погибли на тебя нет, Иосл! Сколько стоят эти нитки?

— Иосл, чтоб тебя скрутило, Иосл! Сколько запросить за дюжину иголок?

Вести учет Иосл не умел, а Циреле в учете не нуждалась, считая его совершенно излишним: покупателей, слава богу, много, рубль все время оборачивается, полушкой больше, полушкой меньше — нечего бога гневить!.. Но, странное дело, чем больше они выручали, тем меньше оставалось и на полках и в кармане. Одним словом, их безбожно обирали, обворовывали без зазрения совести! Иосл ничего не подозревал, он, как человек честный, верил всем на слово, а Циреле хоть и заметила несколько раз, как богачка Эстер-Малка тайком засовывает ленты в свой рукав, но ей было не до этого — все ее помыслы были обращены к синагогальным старостихам, с которыми она вела нескончаемые споры из-за того, что они предоставили толстухе Миреле более почетное место, чем ей. Так вела Циреле свое дело, беззаботно, спокойно, до кануна тишебова, до того самого дня, с которого начинается мой рассказ...

Тишебов прошел, как обычно: мужчины оплакивали разрушение Иерусалимского храма, женщины — беднягу Титуса *, которого денно и ночью клевала железная птица, а озорники мальчишки, следуя обычаю, незаметно бросали в стариков цепкие колючки чертополоха. Вечером же, подкрепившись после поста и опрокинув по чарочке, люди наконец завели разговор о банкротстве Иоселе... В эту ночь никто глаз не сомкнул! Вся Бердичевская улица бодрствовала до самого утра, обсуждая это банкротство и гадая, что теперь будет с Иоселе и как все это отразится на галантерейщице Циреле.

Ночь пролетела, как сон, заря разлила свое сияние по ясному небу, солнце выплыло из своего укрытия и брызнуло снопом золотых лучей на Бердичевскую улицу, бурлившую с самого рассвета, как котел. Толпа мужчин, женщин, детей осадила дом галантерейщицы Циреле!.. Это собрались бледные, как смерть, кредиторы, мелкие ростовщики, несчастные вдовы со своими сиротами,

сыпавшие проклятиями на Циреле и Иосла, по милости которых они лишились своих жалких грошей! Трудно передать, что там творилось! Плач, крики, вопли, стенания неслись со всех сторон!.. И среди этих криков резко выделялся пронзительный голос Циреле: она тоже плакала, вопила, сыпала проклятиями... А что делал Иосл Цирелес? Он стоял с помертвелым лицом, опустив голову, и из глаз его катились горькие слезы... Один из кредиторов, какой-то дамский портняжка, вlepил ему несколько звонких пощечин, приправив их портняжским пожеланием: «Чтоб смерть пришла всех галантерейщиков!»

Но какой толк от всего этого шума? Кричи не кричи, — денег все равно нет!.. Надо действовать, надо с ним судиться, надо высудить у Иосла Цирелес деньги, которые он наградил, обездолив целую улицу, можно сказать, почти целый город!

Мы, жители Бердичевской улицы, имеем своего собственного адвоката, который пишет нам прошения даже к самому царю. Его прозвали «Мойше-Мендл Умница». Человек он уже немолодой, и о нем рассказывают, что лет тридцать тому назад, когда еще жил граф, Мойше-Мендл хотел отсудить у него лавки для нужд еврейской общины и проторчал ради этого в Петербурге лет шесть, пока старый граф, мир праху его, не послал за ним своего адъютанта, какого-то важного генерала с серебряной каретой, и когда Мойше-Мендл прибыл, имел с ним долгий разговор, после которого заявил всем генералам, что Мойше-Мендл «умница», и поцеловал его в лоб. С тех пор они помирились, лавки так и остались за графом по сей день, а Мойше-Мендла прозвали «Умницей»...

Давно уже не было у Мойше-Мендла такой горячки с прошениями, векселями, как теперь, после банкротства Иосла Цирелес! За одну неделю он написал свыше семидесяти прошений! Каждый день вызывали Иосла и Циреле в «гласный суд» и предъявляли им иск на новую сумму. Пристав раз восемь переписал их имущество, забрал всю имевшуюся у них медную утварь, праздничную одежду, продал за бесценок корову с теленком. Наконец их подвергли «закуции» (экзекуции): каждую субботу являлся здоровила с длинной палкой, выпивал субботнюю водку, выбрасывал из печи субботние яства, выливал помои посреди комнаты — одним словом, переворачивал в доме все вверх дном, напугав насмерть малышей в колыбельках... Но и это ни к чему не привело:

Иосл и Циреле упрямо твердили со слезами на глазах: «У нас нет ни гроша!»

Не помогли также никакие скандалы! Озорники не раз торжественно выпроваживали Иосла из синагоги с криками: «Ура! Банкрот!» А сколько проклятий, сколько побоев терпела на базаре бедная Циреле от своих бывших приятельниц, так любивших раньше частенько ходить к ней в гости, нажираться, напиваться у нее, да еще занимать деньги, никогда не возвращая их!..

— Вы посмотрите на нее, на эту банкротку! — кричали они теперь, тыча в нее пальцами. — Посмотрите, как нахально она разгуливает по базару с корзинкой и покупает всякого добра на наши кровные денежки!..

Возмущению, досаде жителей Бердичевской улицы не было границ, и они собрались у Мойше-Мендла Умницы, чтобы обсудить, какую месть уготовить этому мерзавцу Иослу Цирелес. Но Мойше-Мендл попросил собравшихся повременить до утра.

— Я должен просмотреть вот этот новый свод законов, — сказал Мойше-Мендл Умница, морща и потирая лоб.

На следующий день Мойше-Мендл заготовил письмо на имя губернатора и поручил посыльному обойти с этим письмом всех лавочников и всех кредиторов и собрать необходимые подписи. Содержанием письма никто не поинтересовался, и каждый давал свою подпись не читая. Зачем читать? Мойше-Мендл ведь знает, что он там написал... Мойше-Мендл сам знает, что и как писать!..

Письмо с подписями Мойше-Мендл передал кому следует, и часа в три того же дня полиция окружила дом Иосла; его заковали в кандалы, в железные кандалы, и торжественно повели через базар на позор и посмеяние...

Такого шума, такого гвалта, как в тот день, я на Бердичевской улице никогда еще не слышал! Меламеды распустили хедеры, лавочники закрыли свои лавки — и стар и млад сбегались на базар, чтобы посмотреть, как «его» ведут закованного в кандалы!..

— Видишь его, Менаше? Как тебе нравится наш Иосл? До чего докатился!

— Так ему и надо! Пусть не пользуется чужим добром!..

— Пусть не сосет еврейской крови!..

— Он шил себе шелковые сюртуки!..

— А Циреле щеголяла в сорокарублевом жемчужном ожерелье!..

— Почти каждую субботу его вызывали к чтению торы!.. *

— А Циреле сидела в синагоге на самом почетном месте у восточной стены!..

— Кровопийцы!

— Пьявки!

— Банкроты!

— Банкроты!

— Ура! Иосл Банкрот! Ура!!!

— Ша! Тише! Кто это бежит там?..

— Это она! Это она, Циреле, бежит! Циреле бежит!

Словно спасаясь от пожара, подбежала Циреле к чиновнику, который вел ее мужа в острог, и, с воплем бросившись к его ногам, обратилась к нему наполовину по-еврейски, наполовину по-польски:

— Ой, пани! Ваше величество! Дай мне, твоей покорной слуге, сказать несколько слов! У меня маленькие дети, пани! Я разорилась, пани, осталась без куска хлеба! Смилуйся, ваше величество, над твоей слугой, стоящей перед тобой на коленях и целующей твои стопы, или повесь меня, пани, утопи меня, жги и режь меня!.. Братья, братья, родненькие!— обратилась она к народу, поднявшись с земли и протягивая руки во все стороны. — Братья, братья, что вы от него хотите? За что вы губите живую душу? Что он вам сделал? Чем мой Иосл провинился? Это я во всем виновата, а не он! Берите меня, вяжите, бросайте в огонь, но его, невинного, отпустите! Нате вам, нате вам, нате вам! Нате вам мой жемчуг, мои платья, мою последнюю рубашку! Нате, нате, нате!..

Она сорвала с шеи нитку жемчуга и швырнула в толпу. Никто не притронулся к нему. Толпа заволновалась, зашумела. Женщины начали сморкаться, а мужчины — покашливать.

— В самом деле, что это за произвол! — крикнул кто-то.

— Где мы находимся? В Содоме *, что ли? — отозвался другой.

— Каменные сердца!

— Разбойники!

— Изверги!

— Содом! Содом! Содом!..

Два почтенных обывателя подошли к чиновнику и, пожимая плечами, размахивая руками, принялись что-то объяснять ему. Но он отвечал, мотая отрицательно головой:

— Нет, нет, не могу, не могу!

— Надо его «подмазать»! — крикнул какой-со смельчак.

Чиновник прекрасно понимал по-еврейски, но продолжал по-прежнему твердить:

— Не могу! Не могу! Это не от меня зависит! Я пошел не сам, меня послали, начальство меня послало! Не могу! Не могу!

— Начальство? В чем дело? Начальство его послало? Что это значит?

— На основании вашей бумаги! — ответил чиновник. — На основании поданной вами бумаги с тремястами подписей!

— Какая бумага? Что написано в этой бумаге? О чем там речь?

— Ваша бумага! Вы там пишете, что он банкрот, вор, что он торгует фальшивыми ассигнациями, занимался контрабандой, торговал без патента, давал ложные присяги, ругал царя и так дальше и так дальше!..

— Кто? Что? Где? Когда?

— Вранье! Неправда! Выдумки!

— Клевета! Клевета!

— Донос! Донос!

— Кто написал этот донос?

— Доносчики! Клеветники! Доносчики!

Мойше-Мендл Умница отошел в сторону, намереваясь ретироваться, но его заметили и велели остаться.

— Вы же сами, собственной рукой, подписали этот донос! — начал кричать Мойше-Мендл, пытаясь вывернуться.

— Кто подписал? Мы ничего не знаем! Ничего не знаем! Враки!

Тем временем чиновник крикнул: «Айда!», и беднягу Иосла повели дальше... Поднялся еще больший гвалт. Люди ринулись за ними, советуясь на ходу, как вызвать невинного Иосла «из плена». Решили поручить сборщику таксы * Рувну-Гершу шепнуть чиновнику кое-что на ухо... Дело в том, что Рувн-Герш пользовался

особым вниманием у начальства, к тому же он был весьма представительной особой, с красивой седой бородой, да еще обладал необычайным красноречием. Когда губернатор проезжал по нашей улице, Рувн-Герш подносил ему «хлеб с солью» на собственном серебряном подносе, а после отъезда губернатора он три дня и три ночи пьянствовал с «начальством». Одним словом, он был у нас главным заправилой, советником, представителем...

Подбежав к чиновнику, Рувн-Герш снял шапку, поклонился ему чуть ли не до самой земли и обратился к нему с такими словами:

— Мое шанованье, ваше благородие! Я естем сам пан сборщик таксы Рувн-Герш на Бердически улица и большой почет у тутешни начальство... И имеем большой часть низкопокорнише просить ваше превосходительство одпускать нашего Иоски Цирелес на свободу...

— Нет, нет! — ответил чиновник, но все же остановился.

Рувн-Герш стал против него и, подмигивая ему, начал делать какие-то движения руками и плечами. Чиновник смотрел на него с недоумением и, видно, не понимал, чего тот хочет. Тогда из толпы начали громко кричать Рувну-Гершу:

— Реб Рувн-Герш! Реб Рувн-Герш! Всуньте ему четвертной! Смажьте ему лапу! Он славный барин, он клюнет. Ничего! Ничего!

— Да, да! Надо дать, реб Рувн-Герш! Скажите барину!..

Реб Рувн-Герш вытащил что-то из внутреннего кармана и, мигнув чиновнику, сказал ему:

— Ваше благородие! Давать четвертной, ваше благородие!..

Чиновник заколебался, потом ответил:

— Нет! Нет! Нельзя...

— Ну-ну! Это хороший признак! Ничего! Ничего! Дома он возьмет! — крикнул кто-то из толпы.

— Конечно, конечно! — отозвался другой. — Смотрите, как он уставился своими буркалами в руку! Он, наверно, хочет два четвертных?..

— Надо ему дать! Надо ему дать!

— Давайте устроим складчину! Надо собрать немного денег!..

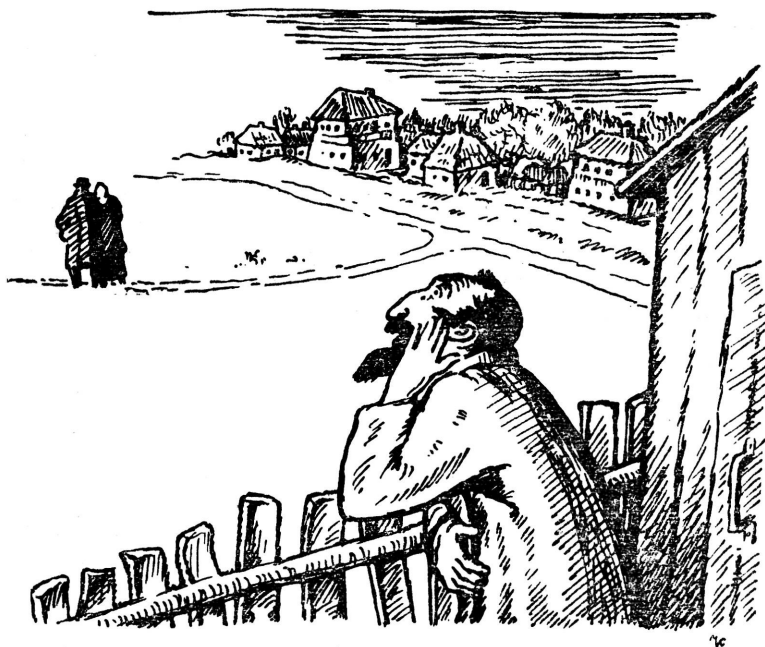
Два уважаемых молодых человека, из зажиточных примакон, ходили по домам с большим клетчатым платком, собирая деньги на «выкуп узника». К вечеру набралась солидная сумма, и Иосла Цирелес, с божьей помощью, вызволили из заключения. Невозможно описать ту радость, тот восторг, который охватил жителей Бердичевской улицы, когда они увидели Иосла в синагоге!.. По окончании вечерней молитвы прихожане окружили Иосла и пошли рассказывать разные чудесные истории из прошлого и настоящего, например историю о том, как когда-то вызволили из тюрьмы дубненского проповедника, да будет благословенна его память, и какое устроили по этому поводу торжество, как пили и т. п.

Главным героем во всей этой истории оказался, естественно, сборщик таксы реб Рувн-Герш. Засунув большие пальцы за кушак, он раз десять пересказал, как объяснился с чиновником и как он (Рувн-Герш) ругал его (чиновника) на чем свет стоит и т. д. и т. п. А мы, сорванцы, хедерники, стояли в сторонке и, затаив дыхание, смотрели на сборщика таксы Рувна-Герша с длинной бородой и на Иосла Цирелес, который был так растроган и так радовался своей свободе, что у нас на глазах выступили слезы умиления, и мы в эту ночь были поистине счастливы, безгранично счастливы!..

Вот так, дорогие читатели, расправились в те годы у нас на Бердичевской улице с галантерейщиком Иослом, с «Иослом Банкротом», за которым это прозвище уже осталось до конца его жизни!.. Мало того, его детей долгое время звали: Меер, Липа, Хаим или Лейбка «сын Иосла Банкрота»; даже дом, который успели дважды перестроить, тоже носил на себе печать банкротства Иосла Цирелес!..

III. Красавица Переле

Даже в свой последний час, прощаясь с жизнью, я не забуду того шума, гвалта, переполоха, который поднялся у нас на Бердичевской улице. Красавица Переле убежала... и с кем? — с учителем!.. И когда? — в ночь на субботу!.. В ночь на субботу, перед самым рассветом,



когда резник Арця, в своем ситцевом халатике (дело было летом), в белых, извините, исподниках и стоптанных шлепанцах, направлялся уже в микву... О чем думал резник Арця, когда он каждую субботу шагал с таким достоинством, направляясь в микву? Кто знает? Кто может знать, о чем думает, скажем, помещик, когда он утром выходит к своим полям и лесам с сознанием, что все это принадлежит ему, что все это существует только для него: захочет — оно и дальше существует, а захочет — и нет всего этого! Кто может равняться с резником Арцей в субботу утром, после сладкого субботнего сна, когда во рту еще сохранился чудесный вкус вчерашней горячей, ароматной рыбы, когда тело ласкает свежая снежно-белая рубашка, а в голове ясно и настроенное приподнятое? «Благословен ты, господи, что создал свой народ еврейский и подарил ему святую субботу, чтобы я, резник Арця, мог утром, совершив омовение в микве, служить тебе с чистой душой, как ты этого заслуживаешь, господи боже мой!.. Но что это? Кто там, за баней, ходит? Кажется, женщина какая-то! Это, на-

верно, курносая Параска с Бердичевской улицы, которая за рюмочку водки и кусок халы гасит у евреев субботние свечи, а зимой топит в субботу печку!.. * Ах, благословен ты, господи, что не оставляешь свой еврейский народ на произвол судьбы и посылаешь ему такую курносую Параску, которая обслуживает по субботам твоих евреев в изгнании, дабы они, упаси боже, не нарушили святой субботы!.. Но нет, это не Параска! Это, кажется, еврейская девушка! Ой, это ведь дочка Берла Баса, кантора Берла! Она иногда приносила курочку на зарез, — я ее знаю! А кто с ней рядом? Ах! какой-то барин! Не аптекарь ли наш? Это вовсе наш «новый учитель» с Бердичевской улицы! Что это значит? Дочка Берла Баса, и с учителем? И так рано? И в субботу? И где-то за баней? Что это значит?!!»

Но давайте оставим резника Арцю возле бани, растерянно перевязывающего шнурок от воротника рубахи и пожимающего в недоумении плечами, и расскажем лучше нашим читателям с самого начала и до конца всю историю о том, как дочка Берла Баса, красавица Переле, убежала в субботу на рассвете с «новым учителем»...

Берл Бас, будучи слепым на оба глаза, прославился как замечательный кантор, и слава о нем гремела не только у нас на Бердичевской улице, но, можно сказать, по всему миру. Так что послушать Берла Баса к нам приезжали чуть ли не со всех концов света. Каждый год он выступал с новым исполнением «Мусафа»*, которое постепенно передавалось с Бердичевской улицы на Житомирскую, с Житомирской на Глиняную, с Глиняной на Дровяную и т. д., пока не обходило весь город, потом — другой город, третий, четвертый, пятый, шестой, распространяясь таким образом по всему миру! Несмотря на такую славу, Берл Бас всю свою жизнь оставался страшным бедняком, так как он любил свое канторство, как настоящий артист, и весь его заработок уходил на содержание хора, имевшего в своем составе тринадцать, а иногда и все семнадцать парней, больших любителей покушать, с острыми зубами, хорошим аппетитом и здоровыми желудками. Из-за этих певцов канторша Тойбе-Бейля потеряла, бедняжка, свое здоровье, они ее рано загнали в могилу. Посудите сами: один человек должен денно и ночью обслуживать целый эскадрон вечно голодных обжор, жадно пожирающих все, что

имеется в доме: курицу, хлеб, лук, гусиный жир. Что ни положишь, мгновенно исчезает!.. Больше всего бедная Тойбе-Бейля терпела от Меера Губы: так прозвали старшего певца, у которого была огромная губа, весившая, наверно, не меньше трех фунтов и закрывавшая собою чуть ли не весь его нос. Я сейчас уже не помню, какой голос был у Меера Губы и какую роль он играл в оркестре (капелле) Берла Баса; помню только одно: когда Меер Губа открывал свой рот и по всей синагоге разносилось громоподобное: «Ами-инь!!!», стекла в окнах начинали дребезжать, а в ушах потом еще целых пятнадцать минут грохотало, словно где-то вблизи катали вальком белье; то же в субботу, во время заключительной молитвы, когда Берл Бас возглашал начало стиха: «Все хором...», а капелла подхватывала: «Все хором святость твою...», Меер Губа подымал тогда свою губу и так оглушительно ревел: «Все хором святость твою возведе-ели-ичива-ют!», что у всех волосы становились дыбом и синагога наполнялась гулом, который стоял потом в ушах целое воскресенье. Как сейчас, помню один случай, имевший место в Судный день во время заключительной молитвы. После целодневного поста все так ослабели, что еле двигали устами, и когда Берл Бас, совсем обессиленный, с позеленелым, страдальческим лицом, чуть слышно произнес: «Слушай, Израиль!», Меер Губа, тоже изрядно проголодавшийся, неожиданно трижды рявкнул: «Благословенно имя всевышнего во веки веков!» — таким страшным, все усиливающимся голосом, что бедный кантор упал у амвона без сознания, а в женской половине две женщины с испугу выкинули... Из-за этого самого Меера Губы с его страшным голосом и не менее страшным аппетитом Тойбе-Бейля получила чашотку и на сороковом году жизни сошла в могилу!..

Само собою разумеется, что Берл Бас остался вдовцом уже на всю жизнь. В самом деле, кому нужен слепой муж, да еще такой бедняк, который, кроме чудесного голоса, кроме «горла», прославившегося на весь мир (о его «горле» говорили, что там, очевидно, запрятана такая гармошка или свистулька, не иначе!), не имел даже рубахи на голом теле, так что перед каждым почти праздником два уважаемых молодых человека обходили с клетчатым платком прихожан, собирая для него пожертвование... После Тойбе-Бейли у него осталась дочка лет шестнадцати — семнадцати, девушка редкой кра-

соты, кровь с молоком. Ее черные глаза сияли, как алмазы, ее смолистые шелковые волосы спускались до колен двумя длинными пышными косами, а ее стройная фигурка была полна такого достоинства, словно это была не дочь кантора, а принцесса какая-нибудь, и люди, глядя на нее, только диву давались: откуда у Берла Баса такая дочь, у слепого рыжего Берла Баса, всем своим видом походившего на жалкого попрошайку?.. Но тот, кто знал Тойбе-Бейлю в молодости, рассказывает, что и она была редкой красавицей, и только потому, что она происходила от «вегеле», бедняжка попала к слепому Берлу Басу, который даже неспособен был оценить ее красоту... О! Скольким прекрасным еврейским женщинам уготована такая же судьба! Их нетронутая красота подобна свежести и красоте цветка, случайно занесенного далеко-далеко в глухое пустынное место, где никто, никакой путник не увидит его, не насладится его ароматом, и он так и завянет, истлеет без следа, и ни одна живая душа не пожалеет о нем... О!.. Но что пользы восклицать «о!»? Хоть тысячу раз крикни «о!».

«Красавица Переле» (так звали у нас на Бердичевской улице дочку Берла Баса) была единственным утешением бедного слепого кантора, его единственной опорой! Он, правда, был слепым отроду и о красоте и грации никакого понятия не имел, зато другие, нравственные, качества были вполне доступны его пониманию, как всякому другому человеку. А его дочка Переле своими душевными качествами мало чем уступала ангелу, ибо природа щедро одарила ее всевозможными достоинствами: и божественной красотой, и небесной чистотой, и ангельской добротой, и детской невинностью, и многими другими качествами!.. Каким счастливым чувствовал себя Берл Бас, когда Переле, усевшись рядом с ним, принималась разучивать его канторские композиции (наряду со всеми другими достоинствами Переле еще обладала чудесным голосом!), и каким одиноким он себя чувствовал, когда Переле не было рядом с ним! Первой слушательницей нового исполнения той или другой молитвы была Переле; вместе с ней он разучивал новую композицию, с ее помощью он вносил нужные изменения, и лишь после этого выпускал свое произведение в свет. Никто не умел так скрывать, так маскировать, так прикрашивать свою бедность, как это делала Переле, никто не умел так угождать прихотям

слепого кантора, как Переле, и никто бы не сумел так разумно распорядиться своими скудными средствами, как Переле. Одним словом, дорогой читатель, каждый, кому суждено свыше остаться на старости лет бедным и одиноким, мог бы пожелать себе иметь такую дочь или хотя бы такую сестру, как Переле...

Когда на нашей Бердичевской улице повеяло свежим ветерком и пошло в ход новое слово «гаскола» *, у нас начали появляться учителя и новомодные меламены, читающие еврейские газеты, объясняющие текст Ветхого завета на немецком или на русском языке, носящие лапсердаки с разрезом позади, и т. п. Эти «тревожные явления» слишком знакомы нашим читателям, чтобы стоило о них распространяться. Каждый из нас прекрасно знает, как тогда смотрели на учителя, особенно у нас, на Бердичевской улице, о которой наш читатель уже имеет некоторое представление. Страшнее всех казался людям «новый учитель», который носил укороченный лапсердак, прятал пейсы за уши и изъяснялся на полунемецком-полуеврейском языке (злые языки поговаривали, будто он вечером не молится и в субботу носит с собой вещи *). У «нового учителя» было очень мало учеников, всего два-три мальчика, и то это были дети Лейзера Солдата, который дома ходит с обнаженной головой, и Лейбци Акцизника, у которого ставят в субботу самовар. Удивительно, как такой благочестивый еврей, как Берл Бас, пустил к себе в дом «нового учителя»! Но не надо забывать, что Берл Бас был настоящим артистом, художником и, как все артисты, был влюблен в свое искусство; он знал себе цену, как никто другой, и достаточно было похвалить ту или другую его композицию, чтобы он уже не отпустил своего ценителя, пока не продемонстрирует ему множество других собственных композиций!..

Что же удивительного в том, что «новый учитель», похваливший однажды исполненную кантором молитву «Отец милосердный», стал частым гостем у Берла Баса, который спел ему все прежние мелодии этой молитвы, созданные им за тридцать лет своего канторства, да еще мелодии многих других молитв? К тому же «новый учитель» тоже обладал голосом и умел петь! К тому же «новый учитель» был прекрасным ценителем музыки (так утверждал сам Берл Бас!). К тому же... к тому же... к тому же у Берла Баса была дочь, которую прозвали

«красавица Переле», и «красавица Переле» обладала парой чудесных глаз и божественным лицом, и эти чудесные глаза на божественном лице с наслаждением смотрели на «нового учителя», все глубже проникая в его сердце, в котором вскоре вспыхнуло яркое пламя... О, дорогой читатель! Зачем подозревать в чем-то дурном этого чистого душой юношу, этого «нового учителя»? Он, бедняга, ни в чем не виноват! Вообразите себя самого на его месте, представьте себе, что вы сами находитесь у Берла Баса в доме (не теперь, а в те юные, невинные годы, когда вы еще понятия не имели, что такое «любовь»...), вы находитесь у Берла Баса в доме, он поет вам какую-нибудь новую композицию, и вместе с ним поет «красавица Переле», которую мы вам тут представили. Ее голос чарует вас... ее черные сияющие глаза смотрят на вас не так, как другие черные глаза... они вам говорят что-то, и вы их понимаете... Вы отвечаете тоже глазами, и ее глазам понятно, о чем говорят ваши глаза, а ваши глаза угадывают, что отвечают ее глаза... Так проходит около полугода, и ваши глаза переговариваются между собою, пока... пока вы как-то невзначай не берете ее прекрасную белую ручку в свои руки... Сначала она немножко пугается: ей кажется, что слепой отец смотрит и видит, как его невинная, верная, правдивая дочь разрешает чужому юноше пожимать свою ручку... Но Берл Бас слепой, и вы можете держать ее ручку сколько хочется... А она вам уже тоже пожимает руку. И с этого дня вы начинаете разговаривать еще на одном языке—руками!.. Глазами и руками!.. Вы теперь чувствуете, что эти глаза и эти руки принадлежат только вам, больше никому; они тянутся к вам, они тоскуют по вас, они уже не могут оставаться без вас, и вы знаете уже, что любите и что вас любят!.. Ну, где же тут грех, где преступление, за что вас следует карать?.. Бог из любви к человеку создал для него чудесный напиток, от которого каждый смертный пьянеет... Этот напиток доступен всем, и кто хочет, кто умеет, может им наслаждаться: и граф, и нищий, и принцесса, и дочь Берла Баса... Спрашивается: чем виноваты дочь Берла Баса и «новый учитель», если они так привязались друг к другу и решили убежать в другой город, чтобы там повенчаться и связать свою судьбу на веки вечные?

А убежать необходимо было, так как Берл Бас скорее согласился бы оставить свою дочь нищенкой, чем

выдать ее замуж за «учителя». Учитель этот, правда, умеет петь и «понимает толк в музыке», но какое это имеет значение? А убежать надо было именно в ночь на субботу потому, что, во-первых, Бердичевская улица спит тогда так крепко, что хоть из пушек пали, никто не проснется, а во-вторых, в субботу никто не сможет пуститься за ними в погоню... * Это был, конечно, очень хороший план, такой план способны были придумать только настоящие влюбленные. Но кто мог предугадать, что резник Арця в своем ситцевом халатике, в исподниках и шлепанцах вздумает пойти в такую рань в микву? Ах, как глупо, как по-детски повели себя наши герои, пытаясь спрятаться от резника Арци за баней! Арця, будучи от природы необычайным трусом и позорно удиравший от подвыпившей Параски, издали размахивающей кулаками, — этот Арця побоялся бы даже присмотреться к ним повнимательнее, если бы они не остановились у ограды бани и не попытались закрыть свои лица руками... Это как раз и придало Арце столько храбрости, столько самоуверенности, что ему показалось, будто весь мир трепещет перед ним (шутка ли, резник с Бердичевской улицы!), будто стоит ему только захотеть, и он расправится с кем угодно!.. И он смело зашагал к ограде, где наши герои стояли, пригнувшись почти до самой земли, и обратился к ним уже по-русски, потому что по-русски все звучит как-то солиднее, эффектнее:

— Кто там?! Гавари, хто там?!!

Арця сам испугался своего громкого голоса, гулко раздавшегося в предрассветной мгле; к тому же в его голове промелькнула мысль: «А что будет, если этот «новый учитель» вдруг, не дай бог, вздумает закатить мне несколько пощечин?» И он тут же повернулся и со всех ног кинулся бежать домой. Ввалился он в дом чуть живой от страха, так как ему все время чудилось, будто кто-то гонится за ним и вот-вот схватит его и обратит в прах! Оказалось, что это шлепанцы били его все время по пяткам...

Прошло не менее часа, пока Арця пришел в себя. Резничиха Шпринця подумала было, что ее Арця испугался покойников, когда проходил мимо Холодной синагоги, где они почти каждую ночь устраивают пляски... Но рассказ Арци о том, кого он видел за баней, просто ошеломил ее. Всплеснув руками, она крикнула:

— Я этого не выдержу! Почему же ты мне раньше не сказал? Я б успела уже побывать не меньше чем в десяти домах!.. Ах, паскудница!.. Я наперед знала, что эта девка плохо кончит! Ничего удивительного — без матери!.. Возьми вот меня! Я, кажется, тоже была когда-то девушкой, и красивой девушкой, видной из себя, а все же... Ну и молодежь пошла! Меня дрожь берет, я вся трепещу... Э-вэ-вэ-вэ-вэ-вэ! Эвэвэвэвэ! Представляю себе, что скажут, например, Сора-Минця, Эстер-Рохця, Злата-Лейця, Тирл-Двойрця и другие! Арця, ты сам снимешь кипяток с печи — я сегодня пить не буду, мне надо идти. Что за мир пошел теперь! Нечего сказать, хороший мирок! Прекрасный мирок!.. Всем моим врагам желаю, господи боже!

Я очень сомневаюсь, найдется ли на земле писатель, романист, который сумел бы столь талантливо создать такие фантастические, душераздирающие сцены, как это сделала резничиха Шпринця, которая изобразила побег Переле так мастерски, такими яркими красками и с таким чувством, что одни женщины обливались слезами, жалея слепого кантора, а другие ломали руки от страха и огорчения и в ярости скрежетали зубами!..

Суббота прошла в бесконечных толках, слухах, разговорах: люди проклинали, смеялись, возмущались, дрожали от страха. Молились не всей общиной, как обычно в субботу, а миньенами*, и расходились, не дожидаясь конца службы. Каждый раз возникал новый слух: то «их» поймали на кладбище, то «их» видели где-то далеко за городом, то «их» нашли на ветряке, то видели, как «они» мчались на почтовых, то «их» обнаружили на чьем-то чердаке, а то «их» вытащили из колодца...

Жалко, до слез жалко было бедного резника Арцю: ему не давали покоя, каждый приставал к нему, чтобы он рассказал со всеми подробностями, как, где, когда и каким образом это произошло. Арця потерял голос, рассказывая каждому всю эту историю, пока наконец не схватил с полки какую-то книжечку и, прижмурив один глаз, пожеывая конец своей жиденькой бородки, углубился в чтение, а на все вопросы отвечал:

— Идите к «ней» — «она» вам все расскажет...

А «она» (то есть резничиха Шпринця) всем рассказывала по-разному, так что в конце концов получилась совсем дикая, фантастическая история о том, «как мой Арця «их» поймал... как мой Арця, рискуя жизнью,

наломал «им» бока... как он вырвал из «их» рук все серебро, которое две недели тому назад пропало у Гершка, сына богача реб Файвиша... как мой Арця вытряхнул из кармана «нового учителя» драгоценную шкатулочку, украденную в прошлом году из Старой синагоги... как мой Арця спас Берла Баса от смерти... как мой Арця три версты гнался за «ними», пока не заметил, что оказался далеко за городом, гораздо дальше, чем это дозволено в субботний день... как мой Арця выдержал бой с тремя мужиками, напавшими на него с топором и пушками, и как он их одолел... как мой Арця боролся с покойниками в Холодной синагоге... как мой Арця...»

Арця, до слуха которого долетало каждое слово, созданное безудержной фантазией Шпринци, не мог больше выдержать и низко надвинул шапку на голову, потом заткнул уши пальцами, потом повернулся лицом к стене, потом начал напевать какую-то мелодию, все громче и громче, потом начал хлопать ладонями, наконец, вскочив со стула с криком: «Ой, Шпринця! Ой, Шпринця!», накинул на себя летнюю пакидку и пошел в синагогу.

Но там было не легче: Арцю окружили со всех сторон и забросали вопросами. Когда же он попытался выскользнуть, его не пустили:

— Напрасно, реб Арця, вы хотите вывернуться; это вам не удастся! Вас все равно потащат к приставу, будьте уверены, реб Арця!!

— Вас вызовут к стряпчему, реб Арця!

— Вы уже узнаете, почем фунт лиха, реб Арця!

— Вы себе купили лихо, а не мафтир*, реб Арця!

— «Их» уже поймали, реб Арця!

— «Их» уже привели, реб Арця!

— «Они» уже сидят, реб Арця!

— Тише, тише! — отозвался кто-то. — Что там за шум?

— Что за суматоха?

— «Их» ведут! «Их» ведут!

— Вот «они»! Вот «они»!

Все выбежали из синагоги, и нашим глазам предстала такая картина.

Вся Бердичевская улица была буквально запружена взрослыми и детьми. Посреди базара, как раз перед домом Гершка Файвишева, стояли, окруженные группой мужиков, вооруженных дубинами, юноша и девушка,

крепко связанные толстыми веревками, оборванные, полуголые, босые, растрепанные, избитые в кровь...

Это были «новый учитель» и дочь Берла Баса, «красавица Переле».

* * *

- «Их» все же поймали?
- Еле нашли «их»!..
- «Они» прятались у какого-то мужика в погребе!
- «Их» везли сюда в мешках!
- Пристав разослал всюду заставы!
- А при чем тут пристав?
- А кто же, раввин?
- Ха-ха-ха!
- Смотри, как «он» дрожит!
- У «него» зуб на зуб не попадет!
- Глаза горят у «него», как у вора!
- Говорят, отец «его» тоже был вором!
- Где мои карые лошадки? Скажи, признайся, вориска!
- Вор!!!
- Вор! Вор! Вор!!!
- Как это вам нравится — «она» еще плачет?
- По мне, черт с ней!
- «Она» уже того...
- «Она» уже на сносях!
- На девятом месяце!
- Не повенчавшись!
- Поздравляем!
- Поздравляем! Поздравляем!
- Ха-ха-ха!

* * *

В толпе движение... Идет пристав... Вот он... Он о чем-то беседует с богачом, с Гершком Файвишевым... Пристав подходит к «ним», смотрит на «них», оглядывает «их» с головы до ног... Переле, очевидно, ему приглянулась... Он приказывает развязать ее. Она падает к его ногам и молит его со слезами на глазах, чтобы и учителя освободили, развязали ему хотя бы руки... Пристав смеется: «Хе-хе-хе!» И подмигивает богачу. А богач (Гершке Файвишев), глядя на пристава, тоже смеется: «Хи-хи-хи!» Пристав спрашивает у учителя, куда

тот девал вещи, украденные у богача (он показывает глазами на Гершке Файвишева, тот спокойно поглаживает свою бородку, а народ тарашит на него глаза...). Учитель не понимает, о чем речь... Пристав спрашивает громче:

— Где вещи?

Учитель молчит, он так дрожит, что у него зуб на зуб не попадает.

— Я тебя спрашиваю, где вещи? Слышишь или нет?? — начинает сердиться пристав.

Но ответа нет. Учителя связывают еще крепче, и обоих ведут в кутузку. А Переле плачет, кричит:

— Люди добрые, спасите!! Мы не воры! Мы никого не обкрадывали! Почему вы молчите? Пожалейте моего слепого отца! Люди добрые, спасите!!!

Все стоят, словно пришибленные: никто не понимает, почему «их» тащат «туда». Какое отношение имеет пристав к тому, что дочь Берла Баса пыталась убежать с «новым учителем»?

— «Их», наверно, судить будут?

— Сошлют в Сибирь!

— Будут пытаться!

— Прогонят сквозь строй!

— Засекут насмерть!

— За что, за какие грехи?

— За дурь в голове!

— Еврейское дитя!

— Две невинные души!

— Настоящий разбой!

— Хуже, чем в Содоме!

— Мерзавцы! Изверги! Разбойники! Душегубы! Злодеи!..

* * *

Все те же два молодых человека, всеми уважаемые зятья, с знакомым уже нам клетчатым платком целый день обходили потом жителей Бердичевской улицы, собирая деньги на выкуп несчастных «из плена»... Но было уже поздно: учителя сразу же выслали этапом в родной город (у него не оказалось паспорта), загнали далеко-далеко, куда-то в Литву, а потом забрали в солдаты... А «красавица Переле» ушла еще дальше!.. Туда, откуда никто еще не возвращался... Это юное деревцо могло расти и цвести только при свете теплого солнца, омытое свежей утренней росой, когда проснув-

шиеся пташки встречают прекрасное утро радостными песнями... Кто провожал «красавицу Переле» на кладбище? Кто ее оплакивал согласно нашему еврейскому обычаю? Не спрашивай, читатель! Даже родной отец, единственный друг ее юности, не пролил ни одной слезинки: у него не было чем плакать... Но именно слепота оказалось его единственной опорой на старости лет: когда Берл Бас потерял свой «инструмент», свой голос, он распустил хор и пошел по миру, но не у нас, а в другом городе!..

О Берле Басе, о его дочери и всей его семье осталась у нас на Бердичевской улице память— песня, очень хорошая песня, с очень грустной мелодией, которую все девушки и все молодухи еще долго-долго пели... Песня эта начиналась так:

Слыхали ль вы, что у нас случилось?
На Бердичевской улице беда разразилась:
Дочь кантора и сын вора
.

Дальше я, к сожалению, не помню.

IV. Свадьба

Скитаясь по городам и весям, я снова очутился на Бердичевской улице. Стоял зимний вечер, и было холодно, темно, а от домов веяло беспросветным унынием... Но какие это дома? Это хлева, землянки, сырые, темные, холодные, крытые землей, с окнами, заткнутыми желтыми подушками, красными одеялами и черными тряпками,—одним словом, любезный читатель, ты ее знаешь, эту Бердичевскую улицу нашего времени, нашего мрачного времени... Из одного маленького «домика» я вдруг услышал отчаянное, душераздирающее рыдание и какое-то пронзительное взвизгивание. Это не человек рыдал, это плакала скрипка в сопровождении тромбона, и большой барабан гудел им в такт: «Бом! Бом! Бом!..» Что там происходит?

— Праздник! Венчанье! Свадьба! Праздник на всей Бердичевской улице!

— Пропустите его! Дайте ему место! Гость идет! Из чужбины прибыл! Пропустите же! Что за люди?

— Кто там толкается? Что за давка?

— Тише! Не слышно музыкантов!..

- Пора мыть руки!
- Подайте невесте «золотой бульон»!
- Шамес, приведи сюда сватова брата!
- Дайте булку на троих!
- Осторожно, прольешь бульон!
- Полотенце! Полотенце!
- Тише!
- Тише! Тише!
- Соли! Соли! Соли!
- Где жених? Что тут за порядки?
- Музыкантов не слышно!
- Родня жениха, подвиньтесь повыше! Родня невесты — вам место пониже!
- Еще булку — нас пятеро!
- Полотенце! Полотенце!
- Рыбу несут!
- Кто несет рыбу? Повар!
- Тише! Совсем не слышно музыкантов!
- Ой, моя нога! Ой, моя нога!
- Кто это? Кто кричит?
- Ша! Ша! Ша! Люди, я хочу что-то сказать!
- Шша! Шшшша! Гедаля-Бериш хочет что-то сказать! Тише! Дайте человеку слово сказать! Шшшша! Шша!
- Люди добрые! У меня нет вилки!
- Ха-ха-ха! Ну и шельмец! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха!!

* * *

Не успел я сделать первый глоток, как появилась тарелочка с записочкой: «Талмудтора». Тарелочка обошла присутствующих, собрав пять грошей, и исчезла. Вслед за ней появилась новая тарелочка: «Помощь больным», и сразу же за ней — еще тарелочка: «Помощь нуждающимся», потом еще тарелочка: «Опора для падающих», и еще тарелочка: «Исцеление больных», и новая тарелочка: «Одежда для голых», и большая тарелочка: «Мука для бедных», и снова маленькая тарелочка: «Избавление узников», и еще тарелочка: «Помощь согбенным», и снова большая тарелка: «Хлеб беднякам», и маленькая тарелочка: «Погребальное общество», и опять тарелочка: «Общество изучения Талмуда», и еще тарелочка: «Общество чтцов Псалтыря», и блюдечко: «Шамес», и блюдечко: «Шамеска», и блюдечко: «Шамесы»,

и блюдечко: «Повар», и блюдечко: «Повариха», и блюдечко: «Бадхен» * и т. д. и т. д.

Все эти тарелки и тарелочки, сменяясь, исчезали, которая с одним грошом, которая с двумя, а блюдечки, вследствие страшной давки и безудержного веселья, упали, бедняги, со стола и разбились. Неистовые крики шамесов и поваров, сливаясь с неповторимой музыкой огромной трубы и устрашающего барабана в причудливую гармонию, создавали неопикуемый хаос, который словно переносил тебя в какую-то совершенно иную сферу, где, казалось, ты витаешь в воздухе, и, озирая с своей высоты философским взглядом все, что творится внизу, пытаешься осмыслить происходящее, и спрашиваешь себя: «Что же это такое? Где я нахожусь? Неужели это и есть свадьба, священный союз на всю жизнь двух юных существ, которых выпускают в огромный мир со словами: «Плодитесь, размножайтесь и заселяйте землю» — заселяйте страну нищими, несчастными созданиями, лишними людишками, которые, в свою очередь, тоже примут все меры, чтобы плодиться, размножаться и заселять страну?.. То же самое прочел я на челе жениха, на белой фате невесты, на желтых морщинистых лицах сватов, на их седых бородах, на их сгорбленных спинах...

— Зачем вы все это делаете, люди добрые?

— Вот тебе на! Что же нам делать с детьми?

— Но в такое время!

— Вот тебе на!

«Вот тебе на!» — вот их ответ на все вопросы. «Вот тебе на!»

— Шшша! Тише! Люди, замолчите! Реб Гедаля-Бериш снова хочет сказать что-то умное! Давайте послушаем! Шшша! Шшша! Тише!

— Братья, не обижайтесь, если скажу вам правдивое слово, серьезное слово, выложу перед вами всю матушку-правду! Вы ведь знаете — Гедаля-Бериш любит правду... Братья, вы все видели эти тарелки и тарелочки всех обществ нашей Бердичевской улицы. Кто мог, тот бросал свой грош на тарелку, кто не мог, тот смотрел, как другие бросают. Теперь, когда тарелки и тарелочки кончились, а блюдечки разбились, теперь, братья, давайте возьмем себе каждый по тарелочке и соберем для себя тоже по несколько грошей здесь на свадьбе, ибо мы все отчаянные, беспросветные бедняки!!!

— Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Вот шельмец! Ну и скажет же! Ха-ха-ха!

Хохот, шум, музыка, эта бесподобная музыка трубы и барабана, снова слились в чудовищную какофонию, и меня вынесло со свадебного праздника на Бердичевскую улицу. Я знаю, что лишился таким образом еще многих удовольствий, ожидавших меня на этом «торжестве»: я не услышал пения кантора с его трелями; я не принял участия в сборе подношений невесте, когда каждый начинает рыться в своем кошельке, а бадхен возглашает с пафосом: «Богач реб Иосл-Меер, сердечный друг свата Аврома-Герша и дальний родственник со стороны невесты, дарит от всей души полчервонца!» А богач реб Иосл-Меер, сердечный друг Аврома-Герша, вытаскивая из кошелька пятиалтынный, думает при этом: «На, подавись, чтоб вы все околели! Лучше б я свой пятиалтынный истратил завтра на хлеб, вместо того чтобы подарить его этим собакам за тот хвалебный гимн, который мне тут пропели...»; я также лишился «виватов» *, когда тебе дано изведать вкус приятнейших уст всей родни молодых, и за каждый поцелуй ты расплачиваешься пятиалтынным; я также не плясал «фрейлехс» и «польки», не принимал участия в «хороводе» и в «пляске перед невестой» и не испытал еще многих других удовольствий, о которых нелишне было бы написать еще один фельетон.

Канев, февраль 1887.

V. Реб Михл-Михоел Искуситель

— Реб Искуситель! Реб Михл-Михоел! Идите-ка сюда! Где мое шелковое платье?

— Реб Михл-Михоел! Реб Искуситель! Моя хозяйка вас ждет не дождется! Нам уже принесли лисий мех на пальто, прекрасный мех, нечто исключительное! Обязательно приходите!

— Реб Искуситель! Искуситель! Когда вы принесете мой заказ, бархатное платье моей дочери?

— Искуситель! Где ваше слово? Э! Это никуда не годится! Я столько денег положил у мануфактуриста реб Иосла, и дети мне жить не дают: «Где платья? Где платья?»



— Искуситель! Вы, что ли, не знаете, что я на будущей неделе выдаю, с божьей помощью, дочку замуж?

— Что за безобразие! Моей дочке не в чем выйти в субботу на улицу! Реб Искуситель! Реб Михл-Михоел!

— Реб Михл-Михоел! До каких пор вы меня будете водить за нос?! Скоро праздник, а мое бархатное платье до сих пор не готово!

Все эти выкрики я услышал, когда на другой день после свадьбы снова вышел прогуляться по Бердичевской улице. Они неслись почти из каждого домика и с разных концов базарной площади...

«Искуситель»?! Что это за существо такое? Я огляделся вокруг и увидел высокого, черного, кудрявого еврея с двумя большими свертками мануфактуры под мышками. Я остановился, чтобы хорошенько разглядеть этого человека, который в ответ на все эти крики только кивал головой и невозмутимо шагал дальше.

Когда черноволосый еврей приблизился, я увидел застрявшие в его черной бороде кусочки ваты, а в лацкане — много иголок, и, конечно, понял, что он портной. Я поравнялся с ним, и мы пошли дальше рядом.

— Добрый день!

— Добрый день!

- Вас зовут «реб Искуситель»?
- Да.
- Ваше имя реб Михл-Михоел Искуситель?
- Да.
- Вы портной?
- Да.
- Это у вас мануфактура?
- Да.
- В этом свертке, очевидно, бархат?
- Да.
- А во втором свертке, надо полагать, шелк?
- Да.
- Для кого? Для евреев? Заказы евреев?
- Да.
- Для тех самых, что живут здесь, на Бердичевской улице?
- Да.

Тут он свернул в сторону и исчез в одном из тех убогих, темных домишек, которых здесь, на Бердичевской улице, многое множество... Вот «заядлый литвак»: * хоть жги его, хоть режь, кроме слова «да», ничего из него не вытянешь. Я его крепко выругал и пошел дальше.

* * *

— Скажите, пожалуйста, — обратился я к старому еврею, стоявшему без лапсердака и с люлькой в зубах у ворот постоянного двора, — скажите, пожалуйста, вы, как видно, хозяин этого двора, следовательно, должны хорошо знать, что делается у вас на Бердичевской улице?

- Ну?
- Кто этот черноволосый еврей, с которым я только что беседовал? Его зовут реб Михл-Михоел Искуситель?
- Ну?
- Он портной, я знаю, что он портной, дамский портной...
- Ну?
- Он нес свертки с бархатом и шелком на платья...
- Ну?
- Ничего. Я только хотел знать, имеются ли и теперь еще у нас такие женщины, которые носят в нынешнее время бархат и шелк, женщины, которые, с позволения сказать, гонятся за модой.

— А почему это вас так удивляет? — спросил меня полуголый хозяин постоялого двора и плюнул.

— Как это почему? В такое тяжелое время? Нынешние времена! И к тому же такие нищие?

— Ну и что? Подумаешь, «нищие»! А что же делать? Дочерей замуж выдать надо? Вы знаете другой выход?

— Замуж, конечно, выдавать надо. Но зачем еще шелка, бархат, если сразу же после свадьбы в доме нет куска хлеба?

— Подумаешь, кусок хлеба! Так уж заведено у евреев, таков обычай...

— Хорош обычай, нечего сказать: живут голодные, холодные, в сыром, темном подвале, в грязи, в копоти, в вони, без рубахи на голом теле, в изодранной обуви, но в шелковых и бархатных нарядах!..

— Ну и что же? Стоит ли обращать на все это внимание? — ответил хозяин постоялого двора и снова плюнул.

— Что вы говорите? Нас гонят, нас бьют! Вас всех впихнули в одну дыру, чтобы вы грызли друг друга живьем, вы еле дышите, у вас нет ни опоры, ни надежды, ни просвета, а ваши жены...

— Ну и что же? Зачем вникнуть так глубоко?..

— То есть как это «зачем вникнуть так глубоко»? Конечно, надо вникнуть глубоко! Да это совсем не так уже глубоко, как вам кажется. Это почти на самой поверхности. Надо оглядываться, чтобы не завязнуть еще глубже!

— Вот тебе на! Толкуй с евреями! — ответил мне хозяин постоялого двора и смачно плюнул.

— А как же! Надо толковать, говорить, кричать, кричать на весь мир!

— Вот тебе на! А что это даст? Так уж заведено у евреев!

— Как это так заведено? Что это за ответ: «заведено»?

— Вот тебе на! Идите спросите у еврея.

— Как это «спросите у еврея»? Вот я же вас и спрашиваю, вы же еврей!

— Вот тебе на! Вы ведь тоже еврей! — отрезал он, плюнул и, не простившись, ушел к себе во двор с люлькой в зубах...

Что я мог ему ответить на его последнее «вот тебе на!»? Это действительно неотразимый ответ на все вопросы: «Вот тебе на!» Можно кричать, возмущаться, выходить из себя, и на все получить простой, ясный ответ: «Вот тебе на!..» Я еще побродил некоторое время по Бердичевской улице, встретил немало разных людей, но снова завести об этом разговор уже не было охоты: я знал, что получу один ответ: «Вот тебе на!»

VI. Подрядчик Меер-Бер в канун пасхи

Я познакомлю вас с новым персонажем Бердичевской улицы, с человеком, которого все знают и который сам всех знает, с человеком, к услугам которого все вынуждены прибегнуть в канун пасхи. Зовут его Меер-Бер. Это не знаменитый композитор Мейербер, оперы которого ставят на сценах всего мира, нет! Это совсем другой Меер-Бер, тоже своего рода знаменитость, но не в музыкальном мире, упаси боже! Наш Меер-Бер прославился тем, что в молодые годы он был необычайно высокого роста и похоронил четырех жен... Как это может быть? Очень просто: у него, как литваки выражаются, «отмерли» одна за другой четыре жены, и каждая из них, умирая, оставляла ему на память шесть-семь детей. Так что теперь, к шестидесяти годам и при пятой жене, он имеет ни много ни мало двадцать семь детей, не сглазить бы! Детки, слава богу, все живы и здоровы, голы и босы и частенько голодны. А он, Меер-Бер, — подрядчик, первый подрядчик на Бердичевской улице. Не подрядчик железной дороги, упаси боже, а подрядчик по «выпечке мацы». Меер-Бер имеет подряд на Бердичевской улице, и все наиболее уважаемые хозяева пекут у него мацу.

Но теперь подряд Меер-Бера уже совсем не тот, что в былые годы. Конкуренция, охватившая весь мир, проникла и на Бердичевскую улицу и так расцвела здесь, что почти в каждом доме вы обнаружите накануне пасхи «подряд», и почти каждый бердичевский житель теперь «подрядчик». Что поделаешь? Плохие, тяжелые времена!..



Это вы, реб Меер-Бер, сами, своей собственной персоной, выстаиваете, бедняга, целый день в «подрядке», в страшной жаре, и с вас льются потоки пота? Вы сами, бедняга, вносите на своих согнутых плечах несколько пар ведер воды, и если нет «шибера»¹ Лейви-Йонтла, вы сами тоже неплохо управляетесь вместо него, а ваши дочки Бася, Хася, Рася, Мася и др. раскатывают теперь сами мацу, и руки у них распухают и отходят лишь к пятидесятнице? * А ваша пятая жена Рейзля-Лея что делает? Она сама месит тесто, а потом хворает все лето вплоть до... праздника кушей... * Ну, а младшие дети ваши? Они, конечно, тоже не сидят без дела: сыплют муку и льют воду, зато они сыты на целый год!.. Но кем вы были, Меер-Бер, лет двадцать тому назад? Как вы жили в былые годы, когда вас звали реб Меер-Бер Миллион-

¹ На языке подрядчиков «шибн» означает посадить мацу в печь и вынимать ее, а тот, кто производит эту работу, называется «шибером». (Прим. автора.)

щик? Если позволите, я вкратце расскажу своим читателям вашу биографию, вашу печальную биографию.

Когда Меер-Бер был еще примаком у первого тестя, у реб Файвиша Каминкера, на него уже работало немало рук и голов: он был преуспевающим ростовщиком и рос, как на дрожжах. Когда он остался вдовцом с шестью детьми и двадцатью тысячами рублей, реб Лейбиш Перчик добавил ему к этой сумме столько же и в придачу отдал за него свою дочь. Третья жена, Переле из Брод, принесла с собой большое наследство, оставшееся после смерти отца. Ему отчаянно везло, так что наш Меер-Бер постепенно вырос в крупного богача и начал вести себя как магнат, как миллионер, подобно тому как в былые времена вели себя все богачи Бердичевской улицы, а именно: он держал дома слугу, кассира, устроил небольшую контору, дальше — больше, завел карету с четверкой резвых коней и т. п. Поговаривали даже, будто у нашего Меер-Бера в доме бывал великий Гальперин (обанкротившись, этот Гальперин основательно обобрал его), и сам реб Мойше-Йося уже хотел было с ним породниться. Само собою разумеется, что вдовы, сироты и многие другие бедняки держали у него свои жалкие сбережения. В общем, реб Меер-Бер вознесся очень высоко и пользовался почетом и уважением у начальства и чуть ли не «во всем мире». Он уже стоял так высоко, что не каждому выпадала честь беседовать с ним. О его истинных достоинствах никто понятия не имел, но все утверждали, что его «могущество» безгранично. Что это за «могущество», в чем оно выражается, никто не хотел, да и не осмеливался спрашивать. И в этом нет ничего удивительного: все были свидетелями его довольно частых поездок к графу; знали также — и никто не делал из этого секрета, — что ложе, которое реб Меер-Бер заказал для цадика *, стоило огромных денег; а ханукальная лампада *, подаренная им цадику, знаменитая серебряная лампада, стоимостью в десять тысяч рублей, — мелочь? Ну, а молельня, которую он начал строить, но не успел закончить? А медный бассейн, который он соорудил у себя во дворе? А целые мешки серебра, которые он раздавал беднякам в предпраздничные дни в синагогальном дворе? А первая свадьба, которую он справил с такой роскошью, что ее по сей день не могут забыть и на Бердичевской улице часто вспоминают те бархатные ковры, которые были

тогда разостланы от его двора до самой синагоги, и большие бочки вина, выставленные на улицу для всего честного народа? Одним словом, Меер-Бер имел широкую натуру богатого польского графа или же русского князя и швырял деньгами направо и налево, без счету, без толку, так что до последней минуты, до той минуты, когда к нему ворвались в дом с плачем и криком вдовы и сироты: «Ой, разбойник! Где наши кровные денежки? Верни нам наши деньги, банкрот!» — до этой печальной минуты он даже не знал своего баланса, не знал, сколько у него осталось на счету... Но вы, может быть, думаете, что, обанкротившись, Меер-Бер поступил как все банкроты? Ошибаетесь! Меер-Бер созвал всех своих кредиторов к себе в дом, отдал им ключи от столов и ящиков, передал им дом, мебель, драгоценности жены и дочерей, кареты и лошадей, одежду — все-все, и вместе с семьей вышел из дому в чем был! На улице он повернулся лицом ко двору, где оставил все свое достояние, и, воздев руки к небу, произнес на прощанье только четыре слова: «Бог дал — бог взял!» С того времени Меер-Бер постепенно нищал, пока окончательно не пришел в упадок!.. Первое время жители Бердичевской улицы из сострадания оказывали ему посильную поддержку. Но прошло несколько лет, и люди, свыкшись с его бедственным положением, начали ворчать: «Что он к нам пристал, этот тунеядец?» Тогда Меер-Бер в поисках заработка начал бросаться от одного занятия к другому: пробовал стать лавочником, трактирщиком, комиссионером, маклером, шадхеном, кантором, учителем, коллектором, распространителем выигрышных билетов, но его неизменно преследовала неудача: счастье, которое когда-то так благоволило к нему, неожиданно покинуло его навсегда, на всю жизнь, и нищета, сев на его плечи, безжалостно помыкала им!.. «А почему бы вам не стать «подрядчиком»?» — как-то посоветовал ему один из его друзей. И Меер-Бер стал «подрядчиком». Собственным трудом, собственным потом, собственными руками зарабатывает он вместе с женой и детьми свой кусок хлеба. Целый год сидит Меер-Бер в синагоге у печки над Талмудом. Но он не попрошайка, он больше не просит милостыни, не требует ни от кого поддержки, как другие вконец опустившиеся люди, живущие за счет общины. Нет, Меер-Бер ни в ком не нуждается. Когда приближается пасха, вы его в синагоге не увидите. Он

собирает всю свою надломленную энергию и выходит на работу с радостью, с приятным сознанием, что ему не придется потом протягивать руку за подаванием, за куском хлеба для себя и для оравы детей, единственного добра, оставшегося у него после всего его богатства. С приближением пасхи его не узнать: больной, сгорбленный Меер-Бер вдруг выпрямляется, становится здоровым, свежим, бодрым, и в глазах его вспыхивает огонек, огонек былых времен... Мне б очень хотелось посмотреть на него в первый пасхальный вечер за праздничной трапезой... Теперь же он быстро, с каким-то упоением бросает листы мацы в печь. Глядя на него, я представил себе, каким он был лет двадцать тому назад, когда соорудил для себя медный бассейн, а цадику подарил ханукальную лампаду стоимостью в десять тысяч... Когда-то — медный бассейн, а теперь — «подряд» на Бердичевской улице! Вчера — лампада цадику стоимостью в десять тысяч, а сегодня — выпечка мацы за три пятиалтынных! И Меер-Бер свыкся с этим, и все свыклись с этим, многие даже забыли, что этого седого «подрядчика» с большими черными глазами звали когда-то «реб Меер-Бер Миллионщик», а многие совсем уже не помнят жену реб Меер-Бера, которая теперь из последних сил месит тесто для мацы, а когда-то содержала целое стадо благочестивых женщин, старостих разных и раввинш! Разве только один реб Михл-Михоел Искуситель помнит еще роскошные бархатные и шелковые наряды, которые он ей шил в былые годы. Но все это пустое! Теперь Меер-Бер — «подрядчик» на Бердичевской улице, и сегодня, в канун пасхи, пришел его час как следует потрудиться и честно заработать свою копейку, свою трудовую, горькую копейку на пропитание.

VIII. Домой! ¹

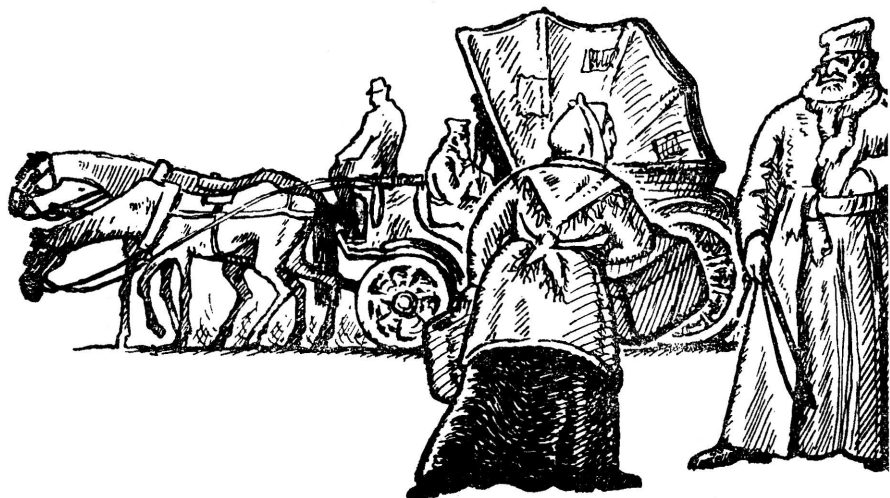
«Прости меня, прошу тебя, тысячу раз прошу, как родную сестру, не обижайся на меня, прости. Виноват! Виноват! Виноват!..»

С этими новомодными словами обращаюсь я к ней, к моей любимой, дорогой, к моей доброй, верной улице,

¹ «Домой» отмечено номером VIII, как это было отмечено в «Дос юдишес фолксблат». Номер VII серии не публиковался. (Прим. переводчика.)

к Бердичевской улице! Эта злосчастная, мрачная улица — поверите ли? — дорога мне, я ее люблю, она пленила мою душу. Убогая, несчастная, она напоминает сиротливое, неудачливое дитя, уродливое, да простит меня бог, всеми забытое, никому не нужное, злосчастную душонку, созданице, с позволения сказать, которое всюду лезет, тычется, мозолит всем глаза, и именно поэтому, то есть потому, что оно живет, шевелится, вертится перед глазами, его бьют, истязают, швыряют друг другу, кидаются им, катят, словно клубок ниток, который путается под ногами, когда всем некогда, и тогда его поднимают высоко-высоко, а потом с треском бросают наземь, да еще посмеиваются при этом: «Ты смотри, его ничто не берет — ни пуля, ни огонь, ни черт, ни дьявол...» Одним словом, читатель, я люблю ее, эту Бердичевскую улицу, я люблю ее от чистого сердца, без лести, без комплиментов, хотя мне не раз приходится высмеивать ее и те дикие, уродливые странности, которые еще встречаются там. И именно поэтому я тем более люблю ее, со всеми ее странностями, недостатками, глупостями, сплетнями, оригинальными типами, выходками, уловками, трюками, выкрутасами... Нас, любезный читатель, то есть меня и эту улицу, связывает какая-то капризная любовь, подобно любви молодоженов, которые, будучи вместе, привередничают, дерутся, как петухи, но стоит им только разлучиться на несколько дней, и любовь их вспыхивает с новой силой, и их влечет друг к другу, как магнитом... Я это явственно ощущаю на самом себе. Ах, как велика была моя тоска, как приелась мне эта улица за всю долгую зиму моего пребывания здесь, как приелась мне ее грязь на дворе и грязь в доме, ее вечные сплетни, клевета, преследование друг друга, война из-за куска хлеба, доносчики и доносы, преклонение перед рублем, пресмыкательство перед богачами, деспотизм сильных мира сего, рабство толпы, ханжество набожных, лицемерие интеллигенции! Одним словом, читатель, ты можешь себе представить мою радость, когда я уже сидел в тарантасе реб Гедали-Герша Гундосого, который взялся за «полптицы»¹ доставить меня и еще семь пассажиров, не считая трех женщин с утками и книгоноши Юдла-Менаши, которому, правда, пришлось уже сесть на облучок с грехом пополам:

¹ Полптицы — 50 копеек серебром. (Прим. автора.)



бочком и ногами наружу,—взялся, повторяю, в один момент доставить на вокзал, с тем чтобы он, то есть реб Гедаля-Герш Гундосый, успел «отхватить молитву», «пропустить рюмочку», «управиться с целой булкой и кисло-сладким жарким», набрать полный тарантас пассажиров, засветло вернуться к субботе домой, и, если на то будет божья воля (бог все может, только надо еще спросить, извините, у лошадок, что они скажут), еще и «баню захватить»...

— Так, так,—обращается ко мне реб Гедаля-Герш Гундосый,—так, так, реб Шолом-Алейхем! Вы, значит, бросаете нас? Ах, житье наше горемычное! Надолго ли?

— На все лето.

— На все лето? Экая оказия! Вот незадача-то! Если мне и выпадала иногда «поездка», так только с вами. Теперь вы уезжаете, погибели на вас нет, чтоб вы сгорели, чтоб вы провалились сквозь землю сегодня же...

— Реб Гедаля-Герш! Бог с вами! За что вы меня так проклинаете?

— Хи-хи-хи! Это не к вам я обращаюсь, а к лошадям, а то мы еще, боже упаси, опоздаем к поезду, чтоб вас поодиночке вырвало с корнем, чтобы вы околели! Далеко едете? Но-о!

— О, далеко, очень далеко! За границу, в Германию.

— Чтоб вы разбились насмерть на ровном месте, но-о! Вот как! Мы, значит, лишаемся вас? За это лето я лишился еще двух панычей, чудных, золотых пассажиров — на мое несчастье, они уехали в школу, чтобы вы сгнили, но-о! А я должен надрывать, мучиться с детьми и женой, ожидать поезда в надежде на пассажира, по «полшмардованца»¹ с человека, в такую непролазную грязь, чтоб вы надорвались, но-о! А овес дороже золота, чтоб вас черви грызли, но-о! А тут еще пала лошадь! Я б ее не поменял даже на всех наших богачей, этих скупердяг, что шлепают пешком по грязи, как свиньи, чтоб вы сгорели, но-о! Вы, наверно, помните мою буланую кобылу, реб Шолом-Алейхем? Я ее купил в Чипелевке на ярмарке. Три десятки, как одну копейку, положил я за нее. Запряг ее, и с первой же минуты все пошло как по маслу. Клянусь своим здоровьем, она никогда не знала у меня ни кнута, ни палки! Золото, говорю я вам, чистое золото! Черт в ней сидел, дьявол, «злой дух», да и только! Пятнадцать «карбачей»² совали мне в зубы за нее, чтоб я так жил! «Бери! — кричали мне. — Бери, бешеная собака, а то пожалсешь!..» Теперь я, конечно, жалею. Чтоб вы сдохли, но-о! И в придачу ко всем этим успехам плати еще проценты меняле Моте-Мойше Хаимову по пять пятиалтынных в неделю. Чтобы вы лопнули средь бела дня, но-о!

И т. д.

Но как ни приятен и радостен был мой отъезд, возвращение было в тысячу раз приятнее и радостнее, ибо две естественные силы все время тянули меня назад, влекли, не давали покоя: «Домой! Домой!» Эти две силы: «еврейская струнка» и родина, отечество — называйте, как хотите. Та самая струнка, благодаря которой мне суждено немного мытариться на земле за тяжкие грехи моих прапрадедов, и та самая родина, которая меня любит гораздо меньше, чем я ее. И клянусь вам, мне совсем немило было мое путешествие по

¹ См. следующее примечание автора.

² У евреев, дай им бог здоровья, рубль имеет много названий, например: рубл, кербл, керл, рух, рах, рик, птица; когда я хочу подчеркнуть ничтожность рубля, я говорю — три шмардованца; когда же я хочу, наоборот, подчеркнуть значимость рубля, говорю — три карба! три карбача! (Прим. автора.)

чужим краям¹. Меня влекло «домой» (как будто у меня есть «родной дом»), я не знал покоя, и я еле-еле дождался той минуты, когда наконец по эту сторону Волочиска попал в вагон, в котором, кроме меня, было много русских и среди них — один дьяк или пономарь, который весьма часто употреблял слово «жиды». «О, теперь я уже совсем дома!» — думал я и благодарил и славил господа бога, который сподобил меня своей безмерной милостью, не имеющей границ, как океан, как мир, как все семь небес, взятых вместе...

— Ко мне! Ко мне! Гость, честное слово, гость! Дайте свой чемодан, реб Шолом-Алейхем!

— А, реб Гедаля-Герш? Вы еще живы!

— Живу и мучаюсь, всем моим врагам такую жизнь! Лезьте в тарантас, лезьте!

— Помилуйте, реб Гедаля-Герш, там же полным-полно!

— Ничего, не беспокойтесь, лезьте! Гей, бабы, подвиньтесь, дайте место еще одному пассажиру!

— Еще пассажир? Сколько можно, гундосый черт?

— Ну, ты, прикуси язык, сопляк! Тоже мне барин, сынок банкрота! Но-о! живее, чтоб вы треснули! Вью, мои пташки, вью! Теперь, Шолом-Алейхем, вы, слава богу, снова нашенский, чтоб вы сгорели, но-о! Я уже соскучился по вас, честное слово, соскучился, чтоб я так вернулся к жене и детям, с изрядным заработком, конечно, хе-хе-хе. Долгонько вы задержались, очень долго, с самой пасхи, я за это время успел обменять трех лошадей, и мне попался вот этот жеребец, всем барышникам такого счастья желаю, чтоб вы на карачках ползли — еле ползете сегодня, но-о!

¹ Тут как раз уместно будет извиниться перед моими читателями за то, что я не сдержал своего обещания и не дал продолжения моих «Писем из дальних стран», которые прервались в самом начале. Хотя ни я, ни читатели не огорчены этим, все же получилось нехорошо. Но помешали обстоятельства, ничего не поделаешь. Наверно, так уж суждено свыше, чтобы эти письма не увидели света и навеки остались в моей сумке, до пришествия мессии, аминь! Но тот, кому очень любопытно ознакомиться с остальными моими письмами, пусть потрудится сообщить мне по следующему адресу: «В город Икс-Микс-Дрикс, на самой Бердичевской улице, господину Шолом-Алейхему», и он немедленно получит ответ на все-все вопросы: что я, кто я, моя родословная, имею ли жену и детей, чем занимаюсь, хорошо ли зарабатываю, что слышно у нас насчет войны, какие теперь цены на пшеницу, на просо, и еще, еще, еще...
(Прим. автора.)

— А что у вас вообще слышно, реб Гедаля-Герш?

— Что у меня может быть слышно? И не спрашивайте! Был бы у меня четвертной, я б откупил у Шимена Грубияна его рыжак, вот видите того, что слева...

— Нет, реб Гедаля-Герш, я не о том спрашиваю. Скажите, что слышно в городе, на Бердичевской улице?

— А, в городе, спрашиваете? Михл-Калман Меер-Лейбов погорел, эту новость вы, надо полагать, уже слышали? Нет? Сам поджег... Шимен-Волф Толстяк обанкротился — это вы уж наверняка слышали. Тоже нет? Что же вы, наконец, знаете? А о драке во время праздника торы из-за участия в «гакофес» * вы не могли не слышать, так как молва о нашей синагоге, которую опечатали по случаю непорядков, облетела весь мир. Да что толковать, Иоселе, сыну Лейбци-Фишла, расквасили лицо, а реб Авром Юла остался на всю жизнь без бороды, Рефозл Мямля лишился глаза, а Михл Цемплек ходит с разбитой рожой. Но больше всего досталось Зхарье Лепешке. В драку ввязались наши ребята — извозчики, и мы колотили направо и налево, чтоб вы провалялись, но-о!

— По какой все же причине, реб Гедаля-Герш, произошло у вас такое побоище?

— По какой причине, спрашиваете? Но-о, к чертовой матери! Слышанное ли дело — такое зверство! Вы понимаете, Михце Парху дали третью «гакофу», а реб Авромце Юле, такому знатному, ученому еврею, дали пятую «гакофу»! Но-о! Это же неслыханно! Погибели нет на вас, стервы, еле ползете, чтоб вы на карачках ползли, но-о!

— Что же тут такого, реб Гедаля-Герш? Разве пятая «гакофа» не то же самое, что и третья? Ведь тора одна и та же? Ведь...

— Э, реб Шолом-Алейхем, как вы можете такое говорить? В таком случае, выходит, нет также разницы, к чтению какого отрывка торы вас вызывают: к четвертому или шестому, к третьему или заключительному? Но-о! Чтоб у вас кишки вылезли!

— А вы что думаете, реб Гедаля-Герш? Таки безразлично...

— А!.. Что? Тпррру! Стой! Чтоб вас столбняк хватил!

— Что случилось, реб Гедаля-Герш? Ось сломалась? Колесо слетело?

— Ай-ай-ай-ай-ай! Чтоб вы пропали, вы мне совсем задурили голову. Тпрру! Говорю, говорю, без конца говорю, а самое главное забыл рассказать!

— Что именно, реб Гедаля-Герш? Что случилось?

— Тьфу на вас! Стой! Куда вас черт носит? Еще успеете погрызть овес, чтоб вас черви грызли! Овес на вес золота — четыре пятиалтынных за одну мерку! Грабеж, да и только! Чтоб вы околели, тпрру!

— Что же вы мне хотели рассказать такого, реб Гедаля-Герш?

— Э-эх, реб Шолом-Алейхем, мне теперь, как говорит крестьянин: «Гірко з'ясти, жалько покинуть». Понимаете, и хочется рассказать и не хочется. Я б вам не должен был бы сказать это, а все же сказать должен, вы понимаете? Фу, реб Шолом-Алейхем, фу! Честное слово, фу! Фу, да и только!

— В чем же все-таки дело, хотел бы я услышать, реб Гедаля-Герш!

— В чем дело? Сейчас я вам скажу. Люди говорят... О вас говорят... Про вас выдумали...

— Обо мне? А что такое выдумали?

— Что вы... Что вы... Что вы...

— Что? Реб Гедаля-Герш, что? Прошу вас, скажите, наконец, что?

— Что вы... вы перекинулись!

— Перекинулся? Я? Где? Как? Что значит перекинулся?

— Перекинулся, значит... вы уже не наш. Вы уже не еврей...

— Ха-ха-ха! Вот оно что! Ну, и вы поверили, что я способен на такое, реб Гедаля-Герш?

— Боже упаси! Я сразу сказал, что это враки. Разве я вас не знаю? Я уверен, что этого быть не может — у вас еврейская душа. Но, с другой стороны, раз все говорят, я тоже говорю...

— Где вы это слыхали, реб Гедаля-Герш?

— Где? Весь город болтает, можете спросить кого хотите. Но-о! Где вы собираетесь остановиться? Но-о! У реб Хаима Гензелес, наверно? Но-о, чтоб вы провалились! Вот мы уже подъезжаем к постоялому двору реб Хаима Гензелес. Славный человек этот реб Хаим, тихий, смирный. И его жена Этеле, хорошая, бравая женщина, честное слово, обязательно угостит рюмочкой за каждого постояльца, которого я ей привожу с вокзала.

Тпррру! Чтоб на вас столбняк нашел! В конюшню вас тянет? Сена захотелось? Немножечко овса? Подождите минуточку, черт вас не возьмет! Стой! Ну, теперь слезайте, реб Шолом-Алейхем, слезайте с тарангаса! Вот видите, Этеле уже вышла и ждет вас. А вот и ее дочка Лейця, хорошая девушка, честное слово, а жениха все еще нет. Что это вас черт так тянет в конюшню? Чтоб вы околели!..

IX. В болоте сплетен

Этеле — хозяйка заезжего дома! Такое почтенное имя довольно хорошо тебя характеризует. Этого вполне достаточно, и описывать тебя я уже не должен. Достаточно только видеть, как ты, подоткнув юбку, хлопчешь по дому, непричесанная, бледная, но всегда веселая, с вечной улыбкой на лице, стараясь угодить постояльцам, ибо заезжих домов на этой улице предостаточно, конкуренция большая, расходы еще больше, да и детей немало! А муж? Реб Хаим Гензелес? Его охарактеризовал реб Гедаля-Герш Гундосый, сказав, что реб Хаим «тихий человек», а это у нас означает негодник, ничтожество, лентяй, паразит, переключивающий все заботы о хозяйстве, о семье на жену, сам же он шляется без дела из дому в синагогу, из синагоги на базар, с базара в синагогу и проводит все время в пустых разговорах о «политике», о мировых событиях и, будьте уверены, чувствует себя совсем не плохо, даже очень хорошо! Правда, этот тип начинает у нас, евреев, понемногу вымирать, все же вы еще можете таких реб Хаимов встретить почти в каждом городе. С гораздо большей симпатией отношусь я к его несчастной жене, обреченной на вечные невзгоды, к его Этеле. Благодаря ей я себя в этом доме всегда чувствую своим человеком: она меня бережет, как родная мать, она меня обслуживает, как служанка, она обращается со мной просто, без церемоний, как сестра.

— Что же у вас слышно хорошего, Этеле? Как вам живется? Что подельвают дети? Где Лейця, Брайнця, Ханця, Манця, Коппл, Меер, Мотл, Годл?..

— А-а-а! Шолом-Алейхем приехал! Гость! Гость! — И дети, словно мухи, обсели меня.

Этеле ушла, чтобы распорядиться насчет самовара. Лейця, Брайнця, Ханця и Манця принялись меня

рассматривать со всех сторон, а их щечки разгорелись огнем, а Копл, Меер, Мотл, Бодл и вся остальная мелюзга начали ощупывать мои пуговицы, цепочку от часов, очки, шляпу, палку, и я скоро почувствовал себя совсем как дома. Когда мы уже сидели за столом и пили чай, вошел сам хозяин, реб Хаим Гензелес, и шумно приветствовал меня. Он разлегся на разбитой кушетке, и, поглаживая живот, засыпал меня, конечно, вопросами о международной политике, и требовал от меня, чтобы я сказал, «что будет с Болгарией». Я постарался, по мере сил моих, успокоить его и слезно молил, чтобы он не принимал так близко к сердцу положение в Болгарии — с божьей помощью, там все наладится...

— Так что прошу вас, реб Хаим, о Болгарии не беспокойтесь, бог ее не оставит...

— Хе-хе! Шолом-Алейхем, вы всегда любите шутить. Я, так сказать, всерьез спрашиваю вас, Шолом-Алейхем, вы же были в разных странах, так сказать, «за границей», следовательно, должны знать, что там поговаривают насчет этого дела? Я не понимаю, честное слово: скажем, то, что измаильтянин набрал в рот воды, не удивительно, на то он турок, чурбан, черт его знает, никчема, так сказать... Но этот пес паршивый, этот Бисмарк то есть, — почему он молчит, немчура проклятый, разбойник, ни дна ему, ни покрышки, так сказать...

— Реб Хаим, знаете, что я вам скажу, реб Хаим! Зачем вам вмешиваться в чужие дела? Пускай там бьются головой об стенку, черт с ними! Каждый живет своим умом, реб Хаим, и весь мир вы все равно не переделаете, реб Хаим! Расскажите лучше, что нового тут, на вашей улице, реб Хаим!

— Хе-хе-хе, хитрый вы человек, Шолом-Алейхем, хе-хе! Вы смеетесь надо мной? Бог вам заплатит! Вы спрашиваете, что нового тут, на Бердичевской улице? Эх-эх-эх! Новости очень, очень скверные.

— А какие именно, реб Хаим?

— У мужика есть хорошая поговорка... Я уже забыл, как он там говорит...

— Что же вы такого слышали, реб Хаим?

— Я один, что ли, слышал? Весь город слышал! Всюду звонят об этом!

— Что же там за звон такой, реб Хаим, скажите наконец!

— Говорят, что вы, якобы... так сказать... перекинулись...

— А ты, дурачина, болван стоеросовый, обязательно должен повторять всякие глупости. Провалились ты, старый хрен, с твоим длинным языком!

— Не принимайте близко к сердцу, Этеле! Наоборот, мне любопытно, даже очень любопытно знать, откуда, как и от кого пошел такой слух.

— Откуда, спрашиваете? Откуда взялся слух, что моя Лейця выкинула, извините, байстрюка? Откуда пошел слух, будто Береле Зеленый обанкротился и удрал в Америку? Откуда возник слух, будто дочка Меера-Герша убежала с учителем? Откуда берутся все сплетни, все выдумки на нашей улице? Для этого имеется у нас, слава богу, достаточно бездельников, лодырей, живодепов, как, например, эти два гицля*, адвокатишки, шатающиеся по целым дням без дела и без гроша денег в кармане, холера их знает, как их там зовут?

— Мама, это не тот верзила, сумасшедший адвокат, который штудирует со своей тещей, старьевщицей Яхной-Трайной, философию Спенсера и Спинозы? Ха-ха-ха!

— Черт его знает! Философия-шмофия! Знаю только, что он шляется без дела, бьет баклуши, как все наши адвокатишки, которые врут почему зря, высмеивают каждого и всякого, сплетничают и выдумывают всякие небылицы. И почему, думаете? Потому, что их гложет зависть, злоба. Работы, занятия нет, в карманах ветер свистит — вот они и треплют языком с досады.

— Нет, мама, я впервые услышала эту сплетню от жены фельдшера Монеша. Она бегала от одного соседа к другому и трезвонила вовсю, и видно было, какое большое удовольствие это ей доставляет...

— О, она, дочь моя, хорошая штучка! Мне кажется, что вторую такую ведьму, как эта фельдшериха, трудно найти даже среди самых мерзких ведьм, продающих в Бердичеве кишки на аршин. Сколько раз, думаете вы, хлестали ее по щекам свежей щукой на базаре? Сколько, думаете, ругательств, проклятий перепало ей за всю жизнь от всех порядочных извозчиков? Сколько кукишей досталось ей от базарных торговков, сколько пощечин, зуботычин надавали ей мясники, служанки, приказчики!

— Нет, Этеле, мне кажется, вы несколько преувеличиваете. Я немного знаю ее мужа, фельдшера Монеша, — он как будто человек смирный, безобидный, тихоня...

— Да-да, никто не отрицает! Он, говорите, «тихоня»? Я знаю, что такое «тихоня»... Мой Хаим тоже «тихоня». Это значит простофиля, олух царя небесного, хоть кол ему на голове теши... Но хоть он и дурак, а себе на уме. Посмотрели б вы, как он любит денежки! В прошлом году, когда моя Годл заболела, моему «сокровищу» муженьку вздумалось привести не врача, а фельдшера, реб Монеша, такого же болвана, как и он сам. Нечего и говорить, что он так лечил ее, что бедное дитя чуть не отдало богу душу. А когда дело дошло до вознаграждения за визит, он целый час торговался со мной. Чтоб он так мог жить на белом свете, как я могла столько заплатить... «Бог вам поможет! — сказал он мне. — Можете добавить еще двугривенный, я выписал хороший рецепт, чудесный рецепт, как настоящий профессор, честное слово, вот смотрите...» И сует мне рецепт под нос, как будто я могу разобрать, что там намарал этот индюк, да простит мне бог!.. А когда я потом все же вынуждена была вызвать доктора, настоящего доктора, фельдшериха поймала меня на базаре, кажется около торговки луком, и обрушила на меня поток ругани. Чтоб все это пало на ее голову, господи боже милосердный! Думаете, она после всего этого, извините, в бане не переспросила меня? Ошибаетесь! Она подошла ко мне и...

— Мама, хватит, не надо злословить...

— Не надо злословить, говоришь? Разве я злословлю? Я только рассказываю, как было дело! Я ничего не выдумываю, ты это сама хорошо знаешь, Лейця!

— Все это правда, мама, я знаю, ты ничего не выдумываешь. Но было бы гораздо лучше, если б ты всего этого совсем не рассказывала. Если ты не будешь говорить, и другой не будет говорить, и третий не будет говорить, то не будет никаких разговоров, никакого злословия, никаких сплетен, в которых мы погрязли, как в топком болоте. Можно подумать, будто у нас нет никаких других забот, кроме как сплетничать, злословить, обливать друг друга грязью. Хотя тут, собственно, нет ничего удивительного: вся улица наша так и кишит тунейдцами, негодниками, людьми, лишенными самостоя-

тельности, элементарных добродетелей, национального достоинства. Взрослые не лучше детей, а дети хуже взрослых. Что же тут удивительного, если на нашей улице нельзя найти ни одного человека без прозвища? Что же тут удивительного, если каждого называют не его настоящим именем? Вот послушайте: Меер Балда, Авром Лапа, Лейви Буян, Копл Лезь-в-Карман, Двойра Гадюка, Сося Передник, Гинда Набитая Морда, Ента Ясная Голова, Хана Кислая и так дальше без конца. Что же тут удивительного, если в летние вечера все эти люди усаживаются на завалинках, а вокруг них выстраивается наша «интеллигенция», наши просветители, все эти жеребчики, все эти безмозглые франтики в синих очках и даже наши «золотые кокарды», сливки и гордость нашей улицы, и принимаются без конца трепать языками? Так мы опускаемся все ниже и ниже, все глубже и глубже увязаем в болоте, скоро нас, с божьей помощью, уже и не видно будет, и мы так долго будем грызть и точить друг друга, пока от нас и следа не останется, исчезнет навеки вся Бердичевская улица, эта несчастная, дикая, темная, презренная, проклятая улица!!!

Х. Читатели этой улицы

(Последние штрихи)

— Сплетник! Злодей! Выкрест! Вы описали в газетах меня и моего мужа?! Вы думаете, я не знаю, кого вы показываете под именем фельдшерихи, жены Монеша? Так и быть, за себя я вас прощаю, пусть уж бог вам отплатит, чтоб вы себе руки и ноги сломали на ровном месте! Я вам лишнего слова не скажу, черт с вами, провалитесь с вашими фельетонами, газетами и всей вашей братией! Я деликатнее вас, хотя вы писатель, а я фельдшериха и все порядочные хозяйки, как вы говорите, хлещут меня по щекам... Я не стану вас публично оскорблять, причинять неприятности невинному человеку, как вы мне, но одно я вам хочу напомнить. Не вы ли вбивали гвозди в потолок, в двери, в пол и в окна у вашего соседа и чуть не разнесли весь дом, так что вашего хозяина почти довели до чахотки? А может, скажете, что ваша жена не крала дров и куриц у соседа? А когда ваша служанка побила мою собачку, вы не сказали, что ваша жена слыхала, будто мой муж

рассказал, что мой сосед говорил, будто я знала, что у моей соседки смеялись над тем, что мой муж сел писать книгу, чтоб вам село на голову десять чирьев?! А кто смеется, пусть лопнет от смеха, дай бог, чтобы на него напал такой смех, чтоб он так долго катался со смеху, господи боже мой, чтобы закачало его, и вас, Шолом-Алейхем, и всех моих любезных друзей вместе со всем городом, господи боже милосердный! И тогда мы с моим мужем и детками останемся и будем на радостях рассказывать об этом друг другу, к досаде врагов, чтоб вы с досады треснули, лопнули, разлетелись на мелкие кусочки, вы, и каждый из вас, и один вместо другого, и все скопом вместо меня и моего мужа, амины! Ну? Хватит, реб Шолом-Алейхем?

— О, хватит, хватит, мадам! Должен вам сказать комплимент, мадам, вы владеете языком в совершенстве. Я весьма доволен, мерси!

* * *

— Вы... Амфибия! Амфибрахий! Как вы смели написать на меня такую сенсацию, такой донос, такую диффамацию? На меня, который не стоит вашего мизинца... то есть ваш мизинец не стоит моей головы... Тьфу, что я говорю? Хочу сказать, что в вашем мизинце нет того, что в моей голове... Когда вы, когда я, когда вы еще были ничтожеством, я уже всего знал наизусть Дрепера*, то есть всего Дрепера наизусть... и Бокля*, и Ломоносова, и Спенсера, и Тургенева, и Державина, и Дарвина, и Кутузова, и Гейне, того самого Гейне, который написал знаменитые «Путевые картины». И после этого вы смеете описывать меня в такой ничтожной газетке, как ваша «Фолксблат», которая адресована только сапожникам, портным и таким невежам, креатурам, как вы, Шолом-Алейхем!.. Я писал в газеты почище вашей, Шолом-Алейхем! Возьмите «Хамагид» за тысяча восемьсот двенадцатый год, вы там найдете мою замечательную статью о knobелевской талмудторе, которая (корреспонденция) занимает больше целой страницы и в которой я разбил в пух и прах теорию Дарвина, и вы увидите, что я умею лучше вас... Я там подписался псевдонимом «Меня подмывает». Всюду, во всех газетах я подписываюсь псевдонимом «Меня подмывает». Одним словом, где только увидите статью

с псевдонимом «Меня подмывает», знаете, что это моя статья, ничья другая! Может, хотите, Шолом-Алейхем, ознакомиться с моей статьей, то я сбегаю и мигом принесу этот номер «Хамагида» за тысяча восемьсот двенадцатый год, и тогда вы увидите, что...

— И я увижу, что вас подмывает? Спасибо, не надо! Ваши корреспонденции о талмудторе с «дарвинской теорией» и «кнобелевской баней» мне давным-давно известны, и я сам знаю, что вас подмывает... Ибо если б вас не подмывало, вы б не писали. И если б вам не хотелось писать, вас бы так не подмывало, как подмывает... А вознаградить вас за то, что вы читали Дарвина, я не обязан, и чужие уши не медные трубы, в которые можно без конца дудеть о вашей особе. Вы понимаете то, что читаете? Очень хорошо! Но и другие, надо полагать, понимают не хуже вашего, и ваше знание многих заученных наизусть иностранных словечек никого, собственно, не интересует...

— Может, вы и правы, Шолом-Алейхем, когда указываете, что я употребляю много иностранных слов, но я тоже не виноват: я так начитался иностранных слов в словаре, что уже не могу иначе говорить! Но зачем вам надо было меня так компрометировать? Почему вы не выставили на посмешище других наших адвокатов, которые даже по-русски не умеют говорить? Почему вы не показали того, кто вместо «алиби» говорит «алибидумус», или того, кто вместо «терпеть холод» говорит «холодать» и употребляет такие выражения, как «захватался за голова», «заперепрятовал» и т. п., или того адвоката, небезызвестного юриста, который сам себя высек и уверяет, будто он выше Спасовича? * Почему вы именно меня выбрали своей жертвой? Фу, стыдитесь, Шолом-Алейхем, стыдитесь!

— Я действительно стыжусь, вы правы. Но вы напрасно упрекаете меня. Не вас я имел в виду, и теперь тоже не имею в виду. Не вас я имею в виду, а стенку. Адье!

* * *

— Ой, прошу вас, Шолом-Алейхем, голубчик, дорогой! Скажите, кого вы имеете в виду? Правда, ее? Ее, ее? Ну, а кто реб Хаим Балда? Правда, вы имеете в виду «его»? А Этеле? А Лейця? Это, наверно, та Лейця, которая... ха... ха?.. А «он», хочу сказать — тот самый,

которого вы изобразили в фельетоне... ха-ха? Ах, как здорово! Ах, как здорово! Правильно! Так ему и надо! Ах, с каким носом «он» остался! Встречаю «его» сегодня утром... Он как ни в чем не бывало. «Здравствуйте!» — «Здравствуйте!» — «Ну?» — спрашиваю его. «Что ну?» — отвечает «он» мне. «Ничего, говорю, я просто так...» — «Не понимаю, — говорит он, — что вы хотите сказать вашим «просто так». — «Имею, говорю, в виду ту историю». — «Какую историю?» — говорит. «По поводу вчерашнего...» — говорю. «Какого вчерашнего?» — говорит. «По поводу номера сорок шесть...» — говорю. «Какого номера сорок шесть» — говорит. «Вы посмотрите только, говорю, на этого беднягу!» — «Не понимаю, что вы имеете в виду, — говорит он, — честное слово, не понимаю, что вы имеете в виду. Скажите наконец членораздельно!» — «Я имею в виду, говорю, сорок шестой номер «Идише фолксблат». — «А?» — говорит он. «Что «а»? — говорю. «Где о вас написали в газете...» — говорит. «Обо мне, говорю, написали? Это о вас написали, а не обо мне!» — «Вы ошибаетесь, реб Хаим!» — говорит. «Нет, говорю, вы, ошибаетесь, реб Хаим...» — «Нет, — говорит. — Вы ошибаетесь!» — «Ну, говорю, дудки, ошибаетесь как раз вы!» Говорит... говорю... говорит..., и т. д.

* * *

Братцы, зачем вы спорите понапрасну? А я говорю вам — вы оба ошибаетесь: не вас и не вас я имею в виду, а стенку!..

Писатель покрупнее меня когда-то сказал по этому поводу: «Детки, оставьте меня в покое, я портняжка и шью одежду на авось, не зная, кому она придется по мерке. На вас она хорошо сидит? Носите на здоровье!..»

* * *

— Милый, дорогой Шолом-Алейхем! Прошу вас, уважьте мою просьбу и напишите в газету об этом мерзавце, злодее, который хочет меня пустить по миру, рассылая всюду всяких своих холуйчиков, чтобы они отбивали у меня всяких покупателей! С тех пор как он поселился в нашем доме... чтоб он провалился, с... сын! Прошу вас, Шолом-Алейхем, вы в этом деле мастак, изобразите его так, чтобы все сразу узнали этого бездельника, который

по целым ночам играет в карты! И все, что вы о нем напишете, будет чистой правдой, клянусь моим счастьем и доходами, господи боже! Вы ведь все равно пишете в газетах, что же вам стоит написать о нем тоже?..

* * *

Уважаемый господин Шолом-Лехем (Шолом-Алейхем)! Примите мою мольбу и мою просьбу и окажите мне такую же услугу, как многим другим, и напишите в газету о моем муже — изверге, который не хочет со мною жить и не хочет мне предоставить всего того, что жене полагается, и говорит, что не желает со мной жить, то есть не желает быть со мной, — вы понимаете? — не хочет жить со мной так, как полагается мужу жить с женой, то есть он-то как раз хочет, ибо что он, собственно, имеет против меня, молодой, с позволения сказать, женщины, двадцати с лишним лет? Но его мамаша, чтоб она подохла, реб Шолом-Алейхем, вместо вас, и вместо Цедербаума, и вместо цензуры, и вместо всех газет, господи боже!..

* * *

Это мои читатели?? Ради них я отдаю свои силы, свой ум, свое время? Так воспринимают тут газету? Газета для них помойное ведро, а писатель, фельетонист, — доносчик, шут, подлец, которого можно легко подкупить?.. Нет, мне уже тут, на Бердичевской улице, совершенно нечего делать. Довольно, надо искать материал где-нибудь в другом месте... Этеле! Будьте добры, дайте мне счет, и мы рассчитаемся, я уезжаю.

— Уезжаете? Так неожиданно! Куда, Шолом-Алейхем? Почему так скоро? Почему вы так спешите? Куда вы мчитесь? Бог с вами!.. Лейця! Брайнця! Ханця! Манця! Копл! Меер! Мотл! Годл! Хаим!

— Не могу! Не могу! Не могу! Будьте здоровы, Этеле! Будьте здоровы, детки! Реб Хаим! Реб Хаим! Будьте здоровы! Буду вам сообщать все приятные новости издадека!

— Счастливого пути! Неужели уезжаете? Так скоро? Ну, а шахматы вы оставляете посредине игры? Хе-хе! А что будет с Болгарией? А французы? Хе-хе!

— Не расстраивайтесь, реб Хаим! Бог милостив!..
Будьте здоровы и не поминайте лихом!

— Реб Гедаля-Герш! Реб Гедаля-Герш! Скорее, скорее! Подстегните их, стегайте ваших лошадок, Гедаля-Герш, стегайте!

— Скорее? Вьо! Чтоб вы околели, еле ползете! Скорее, говорите вы? Мне кажется, что мои лошадки летят! Стегать, говорите? Не люблю стегать, я не стегаю лошадей, я люблю «показать» лошади кнут; «показать» необходимо, обязательно нужно «показать», реб Шолом-Алейхем, без этого мы никак не можем обойтись. А вы говорите — стегать, сечь, чтоб вас засекли, стервы, вьо! Куда вас повезти, Шолом-Алейхем? Вьо, колоды! Вьо-вьо-вьо-вьо, мои орлы!..

— Туда, на Житомирскую улицу, отвезете меня, реб Гедаля-Герш...

* * *

Итак, дорогой читатель, с Бердичевской улицей покончено! Вот вам моя рука, и давайте останемся по-прежнему друзьями... Может, мы в скором времени увидимся?

НАДЕЖДА

1

Рассудок явился к небесному владыке с жалобой на Надежду; Всевышнему это не понравилось: он любил веселую говорунью Надежду, которую сотворил в одно хорошее, ясное весеннее утро, чтобы она приносила людям радость. Это произошло сразу же после той темной ночи, когда нежданно-негаданно пожаловали на свет несчастья...

Всевышний не перебивал Рассудка и повелел ему, чтобы он, не сходя с места, перечислил все грехи, все провинности Надежды.

И Рассудок заговорил, да так разошелся, что не унять его, не утихомирить:

— Это обманщица, которая улыбается людям, разводит с ними хиханьки да хаханьки и покидает их, как только на пороге появляется Горе; Надежда с ее сахарными речами не дает мне слова правдивого вымолвить, всякий, кому не лень, гонит меня!..

— Нельзя судить человека за то, что он не любит Рассудка, — возразил Всевышний, — из всего, что я создал, нет на земле более нежеланного гостя, чем Рассудок: вместо двух глаз у него шесть, вот и смотрит он во все стороны и людям докучает; кусок льда заменяет ему сердце — поэтому у него всегда такое бледное лицо...

А Рассудок все распался, голос его звучал все громче; наконец Всевышний сказал ему:

— Довольно! Приведи сюда Надежду, чтобы она сама могла передо мной оправдаться, и если я увижу,

что она действительно так вредна людям, я ее сразу же заберу к себе в рай...

Рассудок, не мешкая ни минуты, пустился в путь, но не так быстро дело делается, как сказка сказывается; он долго искал Надежду и никак не мог отыскать; тогда он в нетерпении вскричал:

— Кто мне укажет, где находится эта потаскушка, эта балаболка Надежда?

Не успел он произнести эти слова, как увидел перед собой какое-то страшное существо с глубокими провалами глаз на бескровном лице, с головой, покрытой инеем; в каждой руке чудовище держало по горящему сердцу и так сжимало их пальцами, как будто хотело погасить их огонь.

Это было Горе-Злосчастье.

— Идем со мной, — сказала оно Рассудку, — я помогу тебе найти эту аферистку Надежду — она мой заклятый враг, дай мне руку, и пойдем!

Рассудок, однако, был не дурак и не имел никакой охоты водить дружбу со Злосчастьем; но так как ему не терпелось поскорей отыскать Надежду, Рассудок все же протянул руку Злосчастью.

И пошли они вместе искать Надежду, чтобы сжить ее со свету. Они узнали, что она гостит у одного философа, занятого весьма серьезным трудом; но как только они вошли к нему, Надежды и след простыл...

— Мы должны постоянно быть вместе, — сказала Злосчастье Рассудку, — если мы всегда будем заодно, мы завоем весь мир!

— О! — воскликнул Рассудок. — Помоги мне только поймать Надежду, и все будет в порядке!

2

Где же она была, Надежда?

В это время она сидела у изголовья больного ребенка, единственного ребенка у родителей, и рассказывала чудесные истории. Ах, как добра, как ласкова она была! Не напрасно так любил ее Всевышний! На ней было нарядное зеленое платье, которое Весна дарила ей каждый год ко дню рождения; платье было украшено пышными, свежими, благоуханными цветами, а в волосах горел луч светлого солнца. Всевышний подарил

ей два крыла, как дарил ангелам; ее нежные руки, ее прекрасное лицо созданы были для того, чтобы приносить счастье, и от одного взгляда на нее становилось легко и радостно. Кто мог упрекнуть ее в том, что она всегда была весела, всегда смеялась, всегда сулила только добро?

Итак, преследователи застали ее у изголовья больного ребенка, которому предстояла «дальняя дорога». Больной ребенок лежал в убогой лачуге, где выбитые окна были прикрыты бумагой; холодный ветер то и дело врывается сквозь щели, через стены; последнюю табуретку сожгли, чтобы согреть ребенка, который боролся со смертью, прислушиваясь к сладостным, утешным сказкам, что шептала ему Надежда, и в эти минуты был счастлив, безмерно счастлив...

Внезапно холод стал особенно резким; Надежда затрепетала — рядом с ней стоял незванный гость — Рассудок! Со Злосчастьем она могла бы еще потягаться, но спорить с Рассудком было ей не под силу; Надежде стало плохо, силы оставили ее, и ей захотелось исчезнуть из этого дома...

— Нет! Не уходи! Будь со мной, будь со мной! — кричал больной ребенок, обливаясь слезами.

И Надежда осталась. Она взяла на руки больного дитя и начала его целовать. У себя на плече она почувствовала холодные пальцы. Надежда оглянулась — возле нее стояло Горе. Оно со злостью вцепилось в Надежду, толкнуло ее к Рассудку и сказало ему:

— Пойди отведи ее к небесному владыке; а я теперь свободно и могу хозяйничать вволю...

Рассудок повел Надежду, закованную в цепи, а Злосчастье принялось наводить на земле свои порядки.

3

Надежда стояла перед небесным владыкой, опустив голову, а Рассудок с жаром бросал ей обвинения. Надежда удрученно молчала: она не могла отрицать, что морочила людей своими посулами, ни с того ни с сего навевала им радужные сны, и этим причинила миру много зла...

Когда Всевышний спросил ее, признает ли она себя виновной, Надежда со вздохом отвечала: «Да!» Но,

подняв ко Всевышнему свое прекрасное лицо, она сказала:

— Что же мне делать, Всемогущий Господь? Ты вложил в мое сердце желание творить доброе, обещать каждому счастье, а силы, а власти, чтоб творить добро, ты мне не дал. Я не могу смотреть равнодушно на горести и невзгоды, от которых страдают люди на земле. Но так как помочь им я не могу, я приношу им утешение хотя бы своими ласковыми речами...

Пока Всевышний раздумывал, как поступить с Надеждой, на небо прибыла душа умершего человека.

— А вот я спрошу у этой души, что делается на земле, — сказал Всевышний.

4

Страшным был рассказ этой души. Многим, многим людям стали невозможны земные мучения, и они решили покончить счеты с жизнью. В аду стало тесно от таких несчастных. Те, кто не захотел покинуть землю, влачат, увы, очень печальное, очень мрачное существование. Жуткое безразличие овладело людьми, за что бы они ни брались, ничего не доводят до конца. Говорят, что Надежда покинула землю, и поэтому все пошло прахом... Может быть, Надежда удалась совсем ненадолго! Ах, если бы она вернулась, скольким людям она принесла бы радость! Но никто, никто не знает, где она...

5

Надежда услышала эти слова — и не стала дожидаться, когда ее отпустят. Взмахом крыльев она разорвала железные цепи и слетела на землю.

И Всемогущий Господь разрешил ей остаться там — со всеми ее грехами, со всеми недостатками. Люди так привыкли к ней, что не могут без нее обойтись.

И Всевышний велел Рассудку угомониться и не приходить к нему больше с наветами.

ПАСХАЛЬНОЕ ВИНО

Вы ведь знаете, что я виноторговец. С давних пор виноторговец. В моем погребе можно отыскать вина, которым уже стукнуло... погодите, сейчас скажу. Если вы помните, а вы должны помнить — накануне первой турецкой войны я раньше всех отправился в Аккерман и Феодосию закупать вина. Что говорить, чудеса этой страны, где и в самом деле молочные реки и кисельные берега, да еще страх и ужас в ожидании войны, — это все само по себе, уж поверьте моему слову, заслуживает быть описанным в еврейской газете; но так как сейчас канун праздника, а перед пасхой у меня самая торговля, потому что — вы же знаете — когда еврею нужно вино? На пасху, как заведено, на четыре праздничных бокала; поэтому я теперь очень занят с покупателями, и просто руки не доходят до таких дел, как сочинение фельетона, что для меня, собственно, мелочь, пара пустяков, детские игрушки. Еврейский фельетон, фельетон просто на идиш — тоже мне дело! Какой еврей не напишет еврейской писульки! Берут перо, пишут — и пишется...

Короче говоря, был я один раз в своей жизни в Аккермане и привез оттуда бочонок с вином — можете не сомневаться, вино было на диво; и что самое главное, привез я оттуда выморозки, до сих пор стоит еще у меня бочонок с выморозком, правда, — вы, конечно, понимаете, — уже смешанным с «Бердичевским медком», и не раз долитым, разбавленным, заправленным, приправленным «Бессарабским рейнвейном», и до сих пор он и с виду не изменился, и сохранил свою прозрачность, свою сладость, свою бархатистость, свою искристость, свой вкус, свою воду... то есть свою водянистость, свою... свою... свою...

С тех пор, значит, с первой турецкой войны, я больше в Крым не ездил, вина я тогда привез много, море разливанное вина — так что его хватило на несколько лет — а местечко наше, — вы ведь знаете, маленькое местечко — и когда некоторые сорта вина стали подходить к концу, я начал помаленьку получать вино из... то есть здесь же, на месте, и у меня теперь есть вино каждый год, и знаете, не такое уж плохое вино, хотя в Аккерман я и не езжу — это правда, — однако мастак я по винам, благодарение богу, не хуже бердичевских виноторговцев, а покупателей таких, как у меня, у бердичевских виноторговцев не будет до конца их дней, потому что мои покупатели и сами отменные знатоки по части вин. Конечно, и мои покупатели разные покупатели: есть у меня такие покупатели, которые заходят ко мне в погребок «отведать пасхальное вино» сразу после праздника пурим*, и есть у меня покупатели, которые приходят «выбрать пасхальное вино» за два-три дня до пасхи; а есть у меня и такие покупатели, которые не ступят на порог, пока не дождутся кануна пасхи, и приходится торговать чуть ли не до самого возжигания свечей. Таких вертихвостов я не люблю, терпеть не могу, я их поручаю моей половине, и она уж с ними разделывается по своему разумению, и право же, они того заслуживают: зачем еврею откладывать покупку пасхального вина на потом? Разве это не такое же богоугодное дело, как другие богоугодные дела?

Больше всех мне по душе самый лучший, самый порядочный из моих покупателей — Михоэл-Менаше Тихий, весьма благопристойный человек, спокойный человек, степенный человек.

— Будьте добры, — говорит он мне, заходя сразу после пурима с двумя большими зелеными кувшинами, с тремя бутылками и с маленькой бутылочкой. И мы спускаемся в погребок, захватив с собой две рюмки, чтобы пробовать вино. Рюмки я наполняю до краев, и мы подносим их к губам. С первым глотком Михоэл-Менаше не торопится: он некоторое время держит вино во рту, перекачивает его между зубами, причмокивает и только потом глотает и облизывает губы. Говорить-то он ничего не говорит — он вообще известный молчун — он только покачивает головой, и я сразу его понимаю.

— Это «Аккерманское», реб Михоэл-Менаше! — говорю я ему. — А теперь примемся за «Змирское вино»...

Ну, что вы скажете про «Змирское», реб Михоэл-Менаше?

— Хорошо! — отвечает он.

— Ну а как вам нравится «Лиссабонское бордо», реб Михоэл-Менаше?

— Хорошо!

— Ну а как на ваш вкус, реб Михоэл-Менаше, «Турецкий портвейн»?

— Хорошо!

— А вот «Французское вино из Кавешан» — моя работа, реб Михоэл-Менаше. Недурно? А?

— Хорошо.

— Хотите вот это, реб Михоэл-Менаше? Это «Домашнее португальское». Как вы его находите!

— Хорошо.

Вообще Михоэл-Менаше знает, что плохого вина у меня нет, а если бы даже у меня и было плохое вино (впрочем, где вы видели *плохие* вина, что это значит: *плохое* вино?), ему я бы его не дал. Поэтому он доволен мною, а я им.

Второй ценитель — Гедале-Лейзер Высокий. Пусть он и выдумщик немного — встречаются иногда люди с причудами, — все же про него нельзя сказать, что он, упаси господи, не знаток.

— А ну, пойдем-ка, пойдем! — говорит он мне и тащит меня за руку в погреб. (Нам «выкатать» ни к чему, мы с ним в одном хедере учились когда-то, товарищами были.) — А ну, покажи-ка, покажи твое «Аккерманское». Оно все еще зовется у тебя «Аккерманским»? Уже пора ему называться «Бердичевским», а не «Аккерманским».

— Почему это «Бердичевским»?

— Ты не знаешь, почему «Бердичевским»? Кажется, не мало воды утекло с тех пор, как ты был в Аккермане, а вина твои все еще называются «Аккерманскими»... Ну, покажи-ка, покажи твое «Французское вино» из изюма.

— Из какого изюма?

— Из изюма, из которого ты делаешь французское вино. Вы только посмотрите, каким простачком он прикидывается, от меня, брат, тебе нечего таиться! Сегодня ты мне дай две кварты «Змирского», но только если в нем немножко меньше сахара, а то пока я донесу его домой, оно превратится в спирт или в уксус.

— Рехнулся ты, что ли, или спятил, Гедале-Лейзер?!

— Ну-ну-ну! Ты же знаешь, что я не люблю эти

штучки! Сегодня дай мне кварту вина чистого, кошерного, не крещеного, без воды, без сиропа, без изюма, без всех твоих примесей. Я же тебя знаю: когда к тебе попадает ведро вина, ты не можешь успокоиться и приправляешь его до тех пор, пока не получится целая бочка, тогда ты принимаешься придумывать для него черт те знает какие, ни с чем не сообразные названия, и люди пальчики облизывают, как будто имеют дело с чем-то стоящим.

— Ладно уж, Гедале, ладно, ты известный шутник...

Третий покупатель из знатоков — человек простой, резник реб Волике. Реб Волике любит голову морочить и частенько требует такое вино, которого не только в Аккермане, но и в Испании не сыщешь, тем не менее реб Волике умеет оценить по достоинству рюмку вина, а поскольку он ценитель, он уже мне по сердцу.

— Ваше «Змирское», — говорит реб Волике-резник и поводит носом, — ваше «Змирское» в этом году что-то не удалось.

— Чем же оно не удалось, реб Волике?

— А тем, что нет в нем той терпкости, крепости и бархатистости, которые были в нем в прошлом году.

— Знаете, реб Волике, в чем тут дело?

— В чем? Ну-ка, скажите?

— В том, что его надо еще немножко выдержать; прошлый год был високосный, так вино было более выдержанным...

— Может быть, — отвечает реб Волике-резник, пробует красное вино и причмокивает.

— А что вы скажете, реб Волике, про «Польское бордо»? Ну как, забирает?

— Забирать-то оно забирает, но нет в нем все-таки прошлогоднего огня.

— Какого огня?

— Огня, который обжигает кончик языка.

— А! Вы это имеете в виду? Этого и не может быть, реб Волике. Сейчас я вам объясню, и вы сами поймете, в чем дело. Причина тут такая: во всяком вине, если оно только вино, есть и сладость и терпкость. Сама сладость уже содержит в себе терпкость, и сама терпкость уже содержит в себе сладость... Так вот, когда соединяются сладость терпкости с терпкостью сладости, тогда и получается сладкая терпкость или терпкая сладость... И поэтому в вине уже не может быть настоящего огня... Вы поняли?



— Понимаю, понимаю! — отвечает реб Волике-резник, и за это я его люблю — он понимает, когда ему дают понять.

Если я примусь описывать других моих покупателей-знатоков, этому конца не будет. Ведь у каждого свои причуды, а виноторговец должен все это терпеть, каждому угодить.

Речь идет, разумеется, о нескольких предпасхальных днях. Что же касается самого кануна пасхи, то, честное слово, надо быть железным, чтобы все это выдержать; тут я уже не вмешиваюсь и поручаю всю торговлю моей жене, которая, не сглазить бы, женщина не промах, палец в рот не кладет.

— Дайте красного, Соре-Двойре, красного! — кричат ей со всех сторон.

— Сколько стоит ваше вино, Соре-Двойре?

— Дайте мне прошлогоднего!

— Не надо мне прошлогоднего: в прошлом году вы мне дали борщ, а не вино!

— Я у вас просил красное, а вы мне дали белое!

— Что это за уксус вы мне дали, Соре-Двойре?

— Дайте мне того, которое мой отец любил!

— Дайте мне из большой бочки, Соре-Двойре, в большой бочке лучше вино.

— Дайте мне полкварти красного и полкварти белого!

— Дайте мне, какое дадите, только подешевле.

— Дайте мне скорее, Соре-Двойре, уже пора в синагогу!

— В синагогу! Уже идут в синагогу! Люди уже спешат в синагогу!..

* * *

Правда. Правда. Люди уже спешат в синагогу!.. Ах, до чего ж это прекрасно! До чего замечательно! Цари, сыны царей... И облачение на всех царское. Сияют новые капотки на малых детях. Сапожки у сорванцов скрипят. Картузики блестят. А на душе — на душе так привольно, так радостно, так чудесно!

— Да запри ты погреб, Соре-Двойре! Конец, Соре-Двойре! Кончай торговлю! Хватит! Бог с ним, с погребком! Пришел праздник! Праздник...

**СЕНДЕР БЛАНК И ЕГО
СЕМЕЙКА**

(Роман без романа)

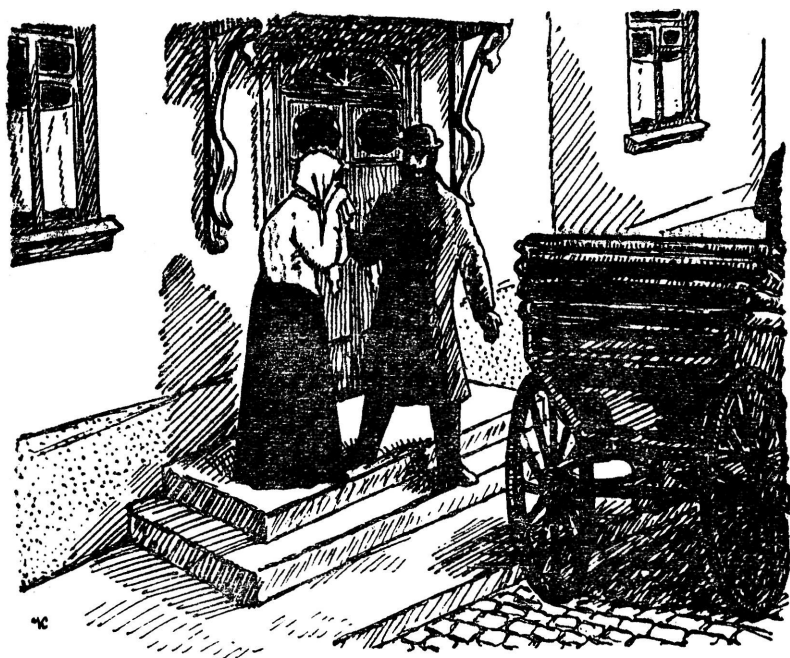
Глава первая

Занавес поднят — представление начинается

К большому двухэтажному каменному дому на самой красивой улице города N (так начинают все романисты, так начинаю и я) все утро подъезжают фэтоны и дрожки с самыми разнообразными седоками. Седоки выходят и, не торгуясь, щедро расплачиваются с кучером.

Тут уже дважды побывал доктор Клигер, и каждый раз, когда он выходит из дома, молодые господа и дамы провожают его и подолгу простаивают с ним на тротуаре. А одна из дам, самая молодая, ежеминутно подносит к глазам белоснежный носовой платочек и затем сморкается с такой силой, словно именно таким образом хочет освободиться от всех своих горестей. Доктор Клигер успокаивает ее, как только может. Он говорит несчастной женщине красивые слова, которые, я полагаю, довольно трудно понять, потому что доктор Клигер любит пересыпать свою речь множеством ученых названий или вдруг даже — медицинскими терминами.

— Успокойтесь, мадам Земель, возьмите себя в руки! Вспомните, что вы мать, молодая мать! Что вы делаете! Будьте спокойны: ваш отец, с божьей помощью, будет здоров. Правда, ему предстоит перенести очень тяжелый кризис, но человек крепче железа. Вам, наверное, известна такая поговорка: «Человек слабей соломинки и крепче камня». Славная поговорка, право! Умная поговорка! Мы должны быть готовы ко всему: как сказал великий мудрец: «Si vis pacem, para bellum». На нашем языке это значит: «Хочешь мира, готовься



к войне»... Понятно, мои милые дамы? Адье! Через два часа я снова здесь...

— Ой, мама, вы понимаете, что говорит доктор? Он говорит, нужно быть готовым ко всему, ждать всего. Вы понимаете, мама?

— Ничего я не понимаю. Я понимаю только, что я несчастна. Одинока и несчастна! Горе мне! Несчастливая моя молодость!

Автор в глубине души должен сознаться, что смерть богача производит на него гораздо более сильное впечатление, чем, скажем, смерть бедняка. Он все еще не отдал себе отчета, почему именно так бывает. Разве бедняк не такой же человек, как богач? Почему же мы остаемся равнодушны, когда шамес, по случаю смерти портного Иосла или сапожника Гершла, выкрикивает, позванивая коробкой: «Благотворительность спасает от смерти»? А когда нам говорят: «Вы знаете, ведь умер реб Иосл», или: «Реб Гершл умер», — мы поражены, потрясены, нас охватывает трепет. «Как? Что? Реб

Иосл? Сколько он оставил капиталу? Сколько детей? Он, наверное, оставил завещание? Такое состояние! Такое состояние! Жаль, право, жаль жену!» А разве придет нам в голову пожалеть вдову портного Иосла или сапожника Гершла? Кто это вдруг заинтересуется, сколько детей они оставили, есть ли где приклонить голову сиротам и их матерям — несчастным вдовам, и что ждет их в будущем?

От правды никуда не уйдешь, поэтому нам очень хочется узнать: что же происходит здесь, в этом большом двухэтажном доме? Кто здесь так опасно болен? Мы знаем, что тут живет Сендер Бланк, чуть ли не первый богач в городе! Неужели болен сам Сендер Бланк и болезнь его так серьезна? Нет, мы не можем больше находиться в неведении и просим наших любознательных читателей отправиться вместе с нами и навестить Сендера Бланка. Но предварительно мы на минуту остановимся здесь, внизу, и послушаем прекрасную речь, которую держит Фройка перед всем синклитом слуг и приказчиков. Вообще говоря, очень некрасиво подслушивать, тем более кухонные разговоры прислуги. Но посудите сами, что делать бедному содержанию панорамы, который хочет угодить всем своим милым посетителям? Что делать бедному сочинителю-романисту, который хочет, чтобы все категории его читателей были довольны? Не в обиду вам будь сказано, благороднейшие дамы, но и среди вас найдется немало таких, которые не однажды стояли, приложив ухо к кухонным дверям, стараясь уловить хоть несколько слов, сказанных прислужгой. Не приходится говорить и о том, что теща обязательно должна подслушать, как высказывается там о ней зятек! А невестка, со своей стороны, ведь непременно должна знать, о чем шепчутся между собой свекор со свекровью, по какому поводу перемигиваются деверь с золовкой. Уши, мои дорогие друзья, на то и подарил нам господь, чтобы слушать, что говорят!..

— Не знаю, — произносит Фройка, жуя медовый пряник и перетирая стаканы, — не знаю, какая нечистая сила забралась в живот нашего старика! Сам он лежит, вытянувшись, как бревно, щеки надуты, морда красная, затылок жирный, дай бог мне такой, и мычит, как взбесившийся теленок: «Ой, смерть моя! Ой, конец мне приходит!» Но с такой мордой в гроб не кладут,

нет! А доктор пичкает его лекарствами, черт знает чем! Спросили бы меня, я велел бы ему выпить стакан касторки, горшок квасу и три крынки простокваши. Он бы у меня сразу выздоровел. Такое брюхо лекарствами не прошибешь!

— А хозяйка плачет. Говорит, умирает он! — отозвалась кухарка Зелда и заглянула в печь.

— Говорит! Плюньте ей в глаза! — с жаром отвечает Фройка, снова вытаскивая из кармана кусок пряника. — Много она понимает в этом, не больше мертвого! Это ей дети втемяшили. Выдумки Ревекки!

— Что ты имеешь против моей мадам, Фройка? — заступилась за свою хозяйку молодая девушка лет двадцати по имени Малке-Сосл.

— Твоя мадам?! — набросился на нее Фройка. — Твоя мадам совсем не прочь, чтоб старик протянул ноги. Почему — это уж мы знаем. Не твоего ума дело! Твоя Ревекка только и умеет, что играть в карты с незнакомыми молодыми людьми и показывать Осипу кукиши; а втихомолку, когда никто не видит, она и пощечину ему отпустит. Откуда я все знаю? Это уж наше дело! Она любит отца, как зубную боль. Но здорово же она обманывает его! А теперь, когда он слег, она нюни распустила! И с невесткой вдруг подружилась. Именно теперь! Целый день они шепчутся, секретничают, а потом посылают меня подслушивать, о чем говорят Соня со свекровью. Хорошая штука эта твоя Ревекка, нечего сказать! Мы-то их знаем! Мы здесь не со вчерашнего дня!

— Моя мадам Соня считается с ней как с прошлогодним снегом! — откликнулась Златка-черная, горничная Сони. — У нас в доме...

— Твоя мадам, — перебил ее Фройка, — тоже неспроста прикатила, думает косточку облизать. Но подождите немножко — ффью!! (Тут Фройка протяжно присвистнул.) — Твоя мадам, все болячки на ее голову, тоже не брезгает сплетнями. Зачем она оговаривает родную сестру? Меня самого она мучила и терзала три дня и три ночи подряд, — расскажи ей, что делает Маркус, куда каждый день ходит, кому пишет записки, почему я ежедневно бегаю на почту за письмами! О, твоя Соня — штука! Но зато муж крепко держит ее в руках! Один только Осип молодец! Он был бы и совсем ничего, если б не был таким пустозвоном, таким отъяв-

ленным лгуном! Ведь ни единому его слову нельзя верить и...

Если бы Фройке не помешали, он до бесконечности продолжал бы аттестовать своих господ. Но резкий звонок прервал его разглагольствования. Фройка бросил полотенце Малке в лицо и пустился вверх по лестнице, на второй этаж. Но как же он был поражен, когда сам, своими глазами увидел, что обе глубокоуважаемые и высокочтимые дамы стоят под кухонной дверью! А дамы эти, увидев его, тоже бросились бежать! Наше слабое перо трепещет, оно не в состоянии начертать эти слова, но истина повелевает открыть нашим милым друзьям, что — о, ужас! — эти дамы были: сама почтеннейшая мадам Ревекка Земель и сама высокочтимая мадам Соня Бланк. Вместе с нами и они не пропустили ни слова из того, что говорил Фройка.

Эти достопочтеннейшие дамы, Ревекка и Соня, устремились было вверх по лестнице, но вдруг обе одновременно кинулись вниз. Этим маневром они надеялись обмануть Фройку. Они будто только что пришли, и им надо вниз, а не вверх. Удался этот маневр или нет, нам неизвестно, так как Фройка только сверкнул глазами, тонко улыбнулся и, тряхнув своей гривой (следует заметить, что в доме Сендера Бланка все ходили с непокрытыми головами, кроме самого Сендера, который носил ермолку), быстро взлетел на последнюю ступеньку.

Наши дамы застыли на месте, стыдливо и смущенно глядя друг на друга. Бог знает чем все это могло кончиться, и чем поплатился бы Фройка за свой острый язык, и как бы эти две дамы стали смотреть друг другу в глаза, если б между ними не завязался, здесь же на лестнице, такого рода разговор:

— Ну, что вы скажете, Ревекка? Как вам нравятся слуги вашего отца? Они могут опозорить нас самым ужасным образом! Долго ли этим негодьям оклеветать нас? Я удивляюсь, право, как вы, Ревекка, разрешаете держать такую собаку в доме? Мне кажется, что одно ваше слово могло бы...

— Не говорите этого, Соня! Отец не виноват; это «ее» флигель-адъютант, а «ее» единственный сынок буквально вешается ему на шею. Если бы отец знал десятую, хотя бы сотую долю всех этих дел!.. Ох, Соня, недаром он из-за «нее» болеет! «Она» его в гроб вгонит! «Она» его доконает!..

— И при этом «она» еще хвастает, что «ее» Маркус получит половину наследства... Нечего сказать, в хорошие руки попадает состояние вашего отца,

— Что вы хотите этим сказать? Вы, Соня, любите обижать людей намеками и колкостями...

— Колкостями, Ревекка? Я не знаю, кто еще умеет так уколоть, как вы, Ревекка.

— Соня! Вы только вчера приехали и уже затеваете ссору! Вы думаете, что это всё еще те времена, когда вы жили у нас на хлебах?

— У вас на хлебах, Ревекка?

Неизвестно, чем бы все это кончилось, если б в эту самую минуту мимо них не пробежал молодой господин Бланк, Маркус Бланк, с которым мы вскоре познакомимся, и если б он не взглянул на наших дам с улыбочкой, которую они обе сочли для себя в высшей степени оскорбительной.

— Что вы скажете о «нем», Соня?

— О вашем брате, Ревекка? Что я могу сказать? Славный молодой человек, очень милый молодой человек. Жаль только, что он до сих пор еще не удрал из дому, не ограбил отца и не отправился шарлатанить.

— Не удрал?

— Знаете что, вот вам письмецо, прочтите — тогда узнаете.

И одна дама отдала другой письмо, которое мы решим себе передать читателю слово в слово, как документ, необходимый для развития нашего романа.

«Мой дорогой Арье-Лейб! Мой благородный учитель! Мой добрый товарищ! Мой дорогой друг! Что же будет со мной? Я не могу это больше переносить! Чем дальше, тем все хуже и хуже. Что делать? Меня мучают, меня держат на железной цепи, меня оскорбляют на каждом шагу! Мне сватают невест, меня хотят женить. Вы понимаете, Арье-Лейб? Женить насильно! Мне хотят навязать жену... И все это в девятнадцать лет! Вы понимаете? Меня хотят продать, как продают вещь, совершенно так, как описывается в романах! И когда? Когда я так далек от этого, еще дальше, чем вы от меня! Арье-Лейб! О добрый, милый, дорогой Арье-Лейб! Посоветуйте: я готов на все! Я чувствую, что в эту минуту у меня выросли крылья, — и я мог бы лететь куда глаза

глядят и скитаться по белу свету! Только бы подальше отсюда, подальше от этих диких зверей, злодеев, деспотов, тиранов, в которых нет ничего человеческого, которые не имеют понятия о гасколе, которые ничего не слышали о цивилизации, которые душой и телом преданы деньгам и всем своим глупым, слепым, низменным инстинктам. О! Никто, никто меня не понимает, только вы, Арье-Лейб! Вы один во всем мире! Как вырваться отсюда? Нанять мне учителя они не желают, покупать мне книги не хотят, — и я одинок, одинок, как заблудший в пустыне, как заключенный в темнице. Мне некому открыть свое наболевшее сердце, кроме вас, мой благородный Арье-Лейб! Но и это сопряжено с большими трудностями: я боюсь писать, чтоб они не заметили. А вы знаете, как тяжела опека моего отца. Поэтому я не могу писать вам часто. Относить письма на почту я тоже не могу, боюсь, чтоб не увидели. Вы же знаете, как все здесь неотступно следят друг за другом. Одним глазом спят, другим видят. Поэтому я вынужден послать это письмо через нашего Фройку, который причиняет мне много хлопот и огорчений, пока я не уговорю его, хорошо заплатив. Вы помните, какой это мерзавец и вор... Заклинаю вас, Арье-Лейб, ответьте мне поскорее и посоветуйте, как истинный друг: что мне делать? Теперь я вас послушаюсь, выполняю все, что вы прикажете. Я готов броситься даже в огонь! Письма посылайте по прежнему адресу и не забудьте указать: «Для передачи Фройке Крокману», а то я пропал!

Ваш верный ученик, преданный товарищ и лучший, лучший друг

Маркус Бланк.

Р. С. Арье-Лейб! Вы помните, вероятно, нашего зятя Осипа Земеля. Этот хвостун не так давно прислал письмо, что открывает новое дело, американскую прачечную, и надеется выиграть большой процесс в полтора миллиона! Совершенно ясно, что ему даже не ответили...

Ваш Маркус».

— Где вы взяли это письмо, Соня?

— Где? Его дал мне ваш Осип, представьте, сам Осип!

— Мой Осип? Каким образом? Что это значит?

Письмо вмиг оживило озабоченную, убитую горем Ревекку. Это была женщина стройная, свежая и красивая, несмотря на рыжие волосы и серые глаза.

А вот вам портрет Сони: маленькая, черненькая, живая, с совершенно черными волосами, с большими черными глазами, маленьким носиком и крепко сжатым, словно зашнурованным ротиком. Ямочки украшали ее щеки, даже когда она не улыбалась.

— Сонечка! Душечка! — весьма дружелюбно обратилась Ревекка к своей невестке. — Я прошу вас, идите поговорите с Осипом. Пусть он расскажет вам, где раздобыл это самое письмо. Всё, всё, всё узнайте, я прошу вас. Сонечка, дорогая! Сейчас же бегите наверх. Я зайду к папá и пришлю вам Осипа. Скорее!

— Сию минутку! — ответила Соня, и обе наши уважаемые дамы, как птички, вспорхнули на второй этаж, куда мы просим пожаловать также и наших читателей.

Глава вторая

Актеры играют отлично

Как все достойные романисты, мы обязаны описать дом Сендера Бланка, не пропустив ни одной подробности. Но так как нам чрезвычайно любопытно посмотреть, как выглядит господин Бланк за несколько часов до смерти, то описание его прекрасного дома мы отложим до другого раза, а сейчас последуем за нашей уважаемой героиней, Ревеккой Земель, прямо в кабинет Сендера.

Острый запах лекарств вызывает в нашем воображении образ лежащего пластом больного, с бледным лицом, с остекленевшими глазами и запекшимися губами. Мы чувствуем, что смерть уже свила здесь гнездо, а ангел смерти притаился где-то в углу и с длинным мечом в руке подстерегает душу больного. Мороз пробегает по коже, и каждый, каким бы вольнодумцем он ни был, задумывается над последним часом нашей быстротекущей жизни, каждый начинает философствовать на свой манер. Математик говорит, что мир подобен кругу, и в центре его — смерть; мы, люди, — не более чем радиусы разной длины, которые сходятся в одной точке... Часовой мастер говорит, что весь мир — циферблат,



стрелки — наша жизнь, маятник — это мы, и когда гирия опустилась до предела, значит, наша песенка спета... Сапожник говорит, что мир — это, не будь рядом помянуто, голенище, а человек — молоток... Балагула говорит, что весь мир создан только для балагулы. Но почему же на земле копошится такое множество людей? «Это, — говорит он, — наши пассажиры, они приносят нам доход...»

Я сам слышал, как бондарь сказал, что мир похож, извините, на бочку, и как только она рассохнется, он, бондарь, будет набивать на нее обручи...

Когда мы вошли к больному Сендеру, нашему взору представилась такая картина: на большой железной кровати лежит животом вверх человек лет пятидесяти, с рыжими волосами и большой рыжей бородой; все лицо его и руки покрыты золотистыми волосами; глаза прикрывают длинные рыжие ресницы. Сходство его с дочерью Ревеккой очень заметно.

Сендер спал, казалось, здоровым, сладким сном, на щеках его играл румянец.

Ревекка тихо подошла к кровати и приложила палец к губам: «Ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш!» Несчастный больной проснулся, открыл свои большие серые глаза, и тут, как из пустой бочки, прозвучал стон:

— Ой, конец мне приходит! Конец!

От этого стога задрожали стекла. В одну минуту веселое красивое лицо Ревекки изменилось, на ее прекрасном белом лбу залегли глубокие-глубокие морщины, глаза ее увлажнились неподдельными горькими слезами.

— Отец! — сказала наша героиня, знаками приказывая Осипу выйти. Она села у изголовья отца и положила ему на лоб свою мягкую белую руку. — Отец! Выздоровливай, довольно! Смотри, как ты изменился! Крепись! Не падай духом.

— Ой, плохо, плохо, дочка! — ответил ей отец. — Конец! Конец! Один бог знает, доживу ли я до завтра, один бог знает! Рива! Дети! Хаим! Маркус! Где вы? Где люди? Зовите ко мне людей! Я хочу написать... за... завещание!

— Завещание?! На тебе, вдруг завещание! Бог знает, что ты говоришь, отец! Для чего тебе вдруг понадобилось завещание! Если даже ты болен, что из этого? Случается! Человек не железо...

— О...ой, дочка, я хочу написать завещание. Мне осталось жить и мучиться несколько считанных часов. Помогите! Помогите!

Эти крики подняли на ноги весь дом. Перво-наперво Мириам-Хая, жена Сендера, упала в обморок. Все мы знаем, как легко падают в обморок слабые женщины. К ней подбежала мадам Соня с таким страшным криком «мамаша!», что если бы Мириам-Хая и вправду была без чувств, она пришла бы в себя. И она действительно очнулась, открыла глаза и, положив голову невестке на грудь, принялась причитать: она несчастна и одинока, она останется совершенно беспомощной, несчастной вдовой — молодой и несчастной вдовой! Кто о ней позаботится?

Глядя на нее, Соня обливалась слезами. От великой жалости она почти забыла собственные невзгоды и принялась утешать «несчастную вдову» трогательными и душераздирающими словами:

— Перестаньте горевать, мамаша, перестаньте! Не забывайте бога и не гневите его своими жалобами. Бог вас не оставит. Вы молоды, у вас еще все впереди. Не вы первая и не вы последняя. Бог может даровать вам счастливую жизнь, и вы будете еще счастливы. Отец, вероятно, в последнюю минуту не забудет вас и обеспечит. Но вот я, мамаша, я не могу сравнить себя с вами. У меня куча детей, и будет особой милостью божьей, если свекор не забудет нас с мужем. Вы знаете, у меня в жизни не было еще хорошей минуты, — только нужда, горе, невзгоды. Хотя мой Хаим честный, тихий, порядочный молодой человек. Не то что шарлатан Осип, который, говорят, проигрывает за год в карты столько, сколько мы проживаем с мужем и детьми. А ведь вы знаете, сколько подарков Ревекка получает от отца! Я же, кроме приданого... Что говорить!..

При этих словах бедняжка Соня спрятала свое заплаканное лицо на груди у Мириам-Хай; и так обе эти бедные, несчастные женщины изливали друг другу свои души, открывали свои наболевшие сердца, в которых с давних пор затаились зависть, ненависть, досада и многие другие чувства... Все мы таковы, читатель: кто больше, кто меньше, кто умнее, кто глупее, кто явно, кто тайно, — но все мы эгоисты, вы уж на меня не обижайтесь! Правда, есть у нас один знакомый — реб Герц, или реб Зорак, это не важно, — я хорошо помню, как года

два или три тому назад, когда этот самый реб Герц, или реб Зорах, собрался в последний путь, его дети и друзья приехали к нему. Стоило посмотреть, с какой трогательной нежностью, с какой неподдельной преданностью и любовью эта семья ухаживала за больным и не отходила от него ни на шаг! Стоило посмотреть, как все домочадцы окружали врача и как, опережая друг друга, старались услужить больному. И представьте, все забыли о себе и занимались только больным; до последней минуты его жена и дети даже не подумали о своем положении, не то что наши уважаемые дамы Мириам-Хая Бланк с ее милейшей невесткой Соней Бланк, преждевременно оплакивавшие, как вы видели, не господина Бланка, собравшегося умирать, а самих себя. Представьте себе, что в то время, как реб Герц, или реб Зорах, боролся с ангелом смерти, никому и в голову не приходила мысль о каком-то там завещании или обеспечении. Если б кто-нибудь хоть заикнулся об этом, его слова глубоко оскорбили бы всю семью. Да, все было не так, как здесь, у нашего прославленного господина Бланка, где мадам Ревекка Земель сделала знак своему обожаемому супругу, Осипу Земелю, поскорей бежать за раввином и нотариусом. А когда этот мировой дипломат, с которым читатели сейчас познакомятся несколько ближе, когда этот господин Земель, говорю я, пришел к нотариусу, он завел довольно длинный разговор о законах вообще и о правах на наследство в частности. И тут он показал, как далеко идут его познания в этой области. Правда, он, слава богу, не так уж нуждается, но все же его не оставляет надежда, что возлюбленный тесть, господин Бланк, отпишет ему самую большую часть наследства, так как его, Осипа, он любит, как родного сына. И позже, когда нотариус и прочие официальные лица пришли к больному, Осип так суетился вокруг них, так ухаживал за ними, был так радостно возбужден, что кто-нибудь со стороны мог подумать, что здесь пишут брачный договор, а не завещание, что здесь свадьба, а не смертный час, не прощание с жизнью... Не растерялась и Ревекка: эта преданная дочь не отходила от больного отца ни на минуту, ни на секунду. На ее лице было написано такое горе, такая глубокая скорбь, что сам больной утешал ее:

— Что ты плачешь, дурочка?

Эти несколько слов открыли у нежной дочери новый родник слез. Лишь с большим трудом смогла она выкрикнуть:

— Отец! Не надо! Не надо!

— Что, дуручка? Чего не надо?

— Не надо завещания! Не надо! Я не хочу! Я не могу этого вынести! Ты еще долго, долго будешь жить!

— Иди, иди, дуручка! Ты же видишь, что я умираю!

— Не надо! Не надо!

О чем думала про себя прекрасная Ревекка, когда кричала «не надо, не надо»?

Нелегко узнать, милый друг, что мы с вами думаем про себя. Это вообще очень трудное дело — угадать, что таится у каждого из нас в душе. В наше время и вовсе не найти такого дурака, который открыто взялся бы утверждать, будто знает, что тот или иной думает. Каждый волен в своих мыслях и может с ними обходиться по своему разумению. Во всяком случае, я могу вам сообщить, что после слез и криков «не надо! не надо!» наша милая героиня Ревекка — я видел это своими собственными глазами — позвала своего благоверного и о чем-то шепталась с ним несколько минут, а глаза у нее при этом были сухие, как песок в пустыне. О чем говорили супруги, я до сих пор не знаю, я уловил только несколько слов: «наследство...», «завещание...», «часть...», «закон...», «восьмая часть...», «сын...», «дочь...». Но и этого для нас достаточно, мы уже догадываемся, о чем эта милая чета совещалась между собой. Мадам Ревекка была чем-то очень озабочена, как предприниматель, совершающий крупную сделку, а господин Осип Земель засунул обе руки в карманы брюк, задрал нос, оседланный дымчатыми очками, и, сильно скрипя ботинками, как будто слегка подпрыгивал; на его веселом лице было ясно написано, что у него сегодня отличное настроение...

Железная кровать, на которой несчастный больной сражается сейчас с ангелом смерти, собственно говоря, не кровать, а некий род кушетки довольно больших размеров. На ней Сендер любил отдыхать после трапезы с большой и толстой сигарой во рту. Сендер, должно быть, любил крепкую и массивную мебель. Это можно заключить по довольно большому дубовому письменному столу и высокому дубовому креслу, которое скорей походило на шкаф, чем на кресло, хотя посредине и

высечено было место для сидения, обтянутое кожей. Основательнее, крепче и массивнее всего были письменные принадлежности со всеми теми безделушками, которыми украшен стол каждого порядочного человека нынешнего века. Все в кабинете Сендера так основательно, так добротно, не иначе как сделано на заказ: ведь то, что продается в готовом виде у нынешних незадачливых мастеров, подбито ветром и держится на честном слове. Им бы только денежки заполучить — и больше ничего! Нет, Сендер не из тех попрыгунчиков, которые сегодня живут, а завтра... Сендер любит все крепкое, прочное, массивное. И сам он тоже человек крепкий, прочный, массивный, упитанный и обеспеченный здоровьем на добрых несколько лет. Но — ах! Ни-что не вечно под луной! Одна лишняя капля воды в реке вызывает волнение; один лишний кусок фаршированной рыбы фунта в три-четыре производит целую революцию в желудке. Все мы ходим под богом! Кто бы мог подумать, что из-за курицы и петуха будет разрушен такой большой город, как Бетар? * Кто бы мог ожидать, что из-за такого пустяка, как кусок щуки, свалится такая каменная глыба, как Сендер Бланк, который во всю свою жизнь никогда ни на что не жаловался? Но, как видите, всякое бывает!..

Глава третья

Несколько объемистая, поскольку в ней описывается много лиц и обсуждаются различные вещи

Все может случиться на белом свете, и каждый случай возникает так неожиданно, что человеческий разум иной раз смущается и становится в тупик, сталкиваясь с такими удивительными вещами. Автор этой книги сам был свидетелем многих неожиданных случаев. Вот и сейчас, как живой, стоит у меня перед глазами наш реб Иосл-Довид Кацап, с большой бородой, приплюснутым носом, с толстым животом и широкой лысиной. Вот он пришел домой из синагоги, вот он произнес благословение над стопочкой водки и закусил горячей картошкой, вот он прилег на минутку, — вот его не стало! А Эля? Эля-талесник * как умер? В бане, в пятницу, на полкê! Если бы только мы расположены были пуститься в дол-

гие рассуждения, мы могли бы насчитать еще двадцать случаев, когда смерть приходила вдруг, неожиданно. Но здесь не место заниматься всякими рассказами. Если бы романист хотел в одной книге написать все, что он знает, он не закончил бы романа до самой своей смерти...

С нашим почтеннейшим Сендером Бланком тоже произошло неожиданное происшествие. Это случилось в одно прекрасное утро одного ясного, безоблачного дня. Сендер встал, как должен вставать каждый; попивая чай, он, как всегда, позвонил в колокольчик; вошел наш знакомый Фройка и вытянулся перед хозяином в струнку.

— Принесли рыбу? — спросил Сендер и отхлебнул полстакана чаю.

— Принесли! — бойко ответил Фройка.

— Щука?

— Щука!

— Крупная щука?

— Крупная щука.

— Свежая?

— Свежая.

— Скажи Зельде, чтобы рыба была сварена с морковью, — приказал Сендер и отхлебнул еще полстакана чаю.

— Сварена с морковью, — повторил вслед за ним Фройка, как молитву.

— Несколько картошек к рыбе тоже будет неплохо, — распорядился дальше Сендер.

— Также неплохо, — повторил Фройка.

— И чтоб была вкусная, клейкая, румяная, с густым соусом, с перцем и горячая. И чтоб выкипела до дна. Слышишь или нет?

— Я слышу, слышу.

— Зразы сегодня не нужны, — отдал Сендер еще одно распоряжение.

— Сегодня не нужны, — повторил Фройка.

— Вместо них — мясо с кисло-сладким соусом.

— Кисло-сладким, — повторил Фройка.

— В суп гусятину.

— В суп гусятину, — повторил Фройка.

— Гусиные потроха тоже в суп.

— Также в суп.

— Засыпать крупой.

— Крупой.

— Цимес.

— Цимес.

— Осталось у нас еще белое вино? — спросил вдруг Сендер и уставился на Фройку такими глазами, точно хотел сказать: «Говори же, говори! Ну, режь меня, режь!»

Фройка совсем растерялся; он схватился обеими руками за голову, затем за пуговицы пиджака, за локти, за карманы, вскинул глаза на потолок так, точно там было написано, сколько бутылок вина стоит еще у Сендера в погребе, и наконец с большим трудом ответил:

— А? Что? Белое вино? Нет! Да! Еще есть.

— Не забудь послать за пивом.

— За пивом, — повторил Фройка.

— Можно открыть и бочонок огурцов.

— Огурцов.

— Помни же, что я сказал тебе о рыбе.

— О рыбе, — повторил Фройка.

— Теперь ступай.

Фройка вышел, а Сендер быстро покончил с завтраком, стряхнул крошки, вытер скатертью губы и руки, встал, погладил живот, закурил толстую сигару и опустился в известное нам кресло. Сигара распространяла по всему кабинету нежный аромат, и мысли Сендера унеслись далеко-далеко, на кухню. Ему показалось, что он слышит запах вареной рыбы; Сендер раздул ноздри и изо всех сил начал втягивать в себя нежный, аппетитный аромат отличнейшей фаршированной рыбы.

Так, сидя в кресле, он полчаса вздремнул. Проснувшись, наш герой немного занялся делами, поговорил с двумя-тремя маклерами, просмотрел почту, ответил, кому нужно было, и позвонил Фройке, чтоб накрывали на стол.

Когда сильно проголодавшийся Сендер вступил в столовую, длинный дубовый стол был весь уставлен тарелками, ножами, вилками; бутылками и бутылочками, стаканами и стаканчиками, разного рода соленьями; сельдью резаной, сельдью рубленой, сельдью жирной, сельдью копченой, сельдью маринованной; маленькими селечками, сардинами, икрой; была тут и варшавская колбаса.

Прочностью своей массивной мебели столовая походила на кабинет Сендера. Эти две комнаты Сендер

любил больше, чем все остальные апартаменты своего большого дома, обставленные на современный манер: их легкая, воздушная мебель не могла удержать на себе грузное тело почтенного господина Бланка. На столе стояли три прибора: для Сендера, для его жены и Маркуса.

Наши читатели еще не знакомы с остальными двумя персонажами. Пока Сендер будет управляться с соленьями, мы бросим взгляд на жену Сендера и на их сына Маркуса.

Мириам-Хая, мадам Бланк, — еще совсем молодая женщина, лет тридцати шести, не больше, очень красивая, с белоснежным лицом, с очень выразительными голубыми глазами и черными бровями; приятное, нежно-белое лицо ее вызывает симпатию своей безграничной добротой. Простая, честная, богобоязненная еврейская женщина — Мириам-Хая. Согласно обычаю, она не показывается на людях без парика, накладные темно-русые косы украшают ее голову. Одета она не по последнему журналу, но опрятно, аккуратно, изящно. Небольшого роста, она кажется ребенком, куклой рядом со своим мужем, которого чтит больше всех на свете. Слово Сендера для нее закон. Она у Сендера вторая жена и имеет от него единственного сына Маркуса, в котором природа сочетала красоту Мириам-Хай и крепкое телосложение Сендера. Вот и получился как раз такой замечательный герой, какой нам нужен для нашего романа.

Выпускать его на улицу в такой час, когда гуляют наши барышни и дамы, было бы, я думаю, рискованно, так как в городе, где произошла правдиво описываемая нами история, второго такого Маркуса не было. Правда, было еще два-три Маркуса, но это были не такие Маркусы, как наш: не было у них таких больших голубых глаз, такого широкого белого лба, таких кудрявых светлых волос, таких красивых белых рук, такой высокой стройной фигуры, такого прекрасного светлого и чистого лица, таких великолепных благородных манер, такой приятной речи... Смейтесь, смейтесь, просвещенные барышни, курсистки! Если ваши нежные сердца еще не окончательно иссушены разными модными идеями, они забьются при виде такого представителя мужского пола, такого красивого кавалера, как наш молодой герой, Маркус Бланк, с которым мы не без гордости выступаем на страницах нашего правдивого повествования. Я знаю, вы скажете:

что нам до красивого лица и стройной фигуры? Главное — есть ли у него на плечах голова, есть ли у него что-нибудь за душой... Что правда, то правда: природа не одарила моего героя особыми способностями или талантами, но у кого еще такое доброе, мягкое сердце, как у Маркуса? Кому еще дано такое счастье быть сыном, младшим сыном Сендера Бланка, который может дать ему в приданое... Сколько, вы думаете? Двадцать тысяч, тридцать тысяч? А почему не все пятьдесят тысяч рублей?! Сендер, наверное, отвалит ему пятьдесят тысяч рублей, если только удастся найти такую партию, какую ищет для него отец. А почему бы и не найти такой партии, какой хочет отец? Чем Сендер Бланк хуже Гершона Мирмлштейна?

— Что ты скажешь, Мириам-Хая, про этого мерзавца? — говорит Сендер жене, заглядываясь на рыбу.

— Про какого мерзавца, Сендер? Какой кусок рыбы ты хочешь? Средний кусок, хвост или голову?

— Пусть будет средний кусок, хвост и голова, — говорит Сендер. — Я говорю про этого нахала, про нахала я говорю.

— Какой нахал, Сендер? Возьми вот этот хороший кусок, Сендер.

— Тысячу раз надо тебе говорить?! Я говорю, о шадхене Гедалье говорю я. Он снова пишет мне об этом грубияне.

— О каком грубияне?

— Я тебе, кажется, десять раз говорил, что Гедалье морочит мне голову. Он хочет, чтоб я породнился с Мером Квашей, с этим сыном балагулы, с этим нищим, у которого нет и того, что валяется у меня в мусорном ящике. Ты понимаешь? Какое нахальство!

— Как так, Сендер? Ведь говорят, что он богач, миллионщик! Возьми, Сендер, фаршированную голову, ты ее любишь.

— Миллионщик, богач, ты говоришь? Бедняк он! Нищий! Видишь ли, у его компаньона, Мотла Фридмана, есть немного денег. Но что это за деньги? Награбленные, силой отнятые. Этак выходит, что и Рувим Кнутик или Симхе Кукиш тоже нам ровня? А? Как ты, к примеру, думаешь? Хорошенькое было бы дело! Сендер Бланк и Симхе Кукиш — сваты! А?

— А что я знаю? Мне кажется, что реб Симхе... порядочный человек...

— Ты говоришь, порядочный человек?! Ну, а реб Иойлик Побираха? А реб Айзик Баба? А Залмен Кривая Рожка? Тоже порядочные люди? А? Может быть, мне с ними породниться? Как ты думаешь?

— Разве я говорю, Сендер...

— Нет, нет, боже сохрани! Ты хочешь только, чтоб я, в моем преклонном возрасте, взял да и отдал такой капитал черт знает кому — каким-то проходимцам, каким-то ворам, нищим!

— Нищим?

— Конечно, нищим! Так и знай, что это нищие, бедняки, собаки, шарлатаны, плуты, банкроты, ни одного приличного человека! Все они охотники до чужих денег! Им бы только кареты да лошадки! Все до одного негодяи, кровососы, кулеспат... кулеспатарники... Как это у тебя там, Маркус, называется в нынешних книжках?

— Эксплуататоры, — поправляет его Маркус.

— Эксплопотачники, мерзавцы, сволочи, и только! И хотят, чтоб я с ними породнился! Они скорей подохнут, а этого они не дождутся!

— Ешь, Сендер! Ты совсем не ешь.

— Я ем, ем, а то что же я делаю? Видишь ли, Гершон, Гершон Мирмлштейн, вот это — человек, человек, славный человек, положительный человек, солидный человек; что называется человек. Что о нем можно сказать? Это человек. Одним словом — человек!.. Как ты думаешь, Мириам-Хая, если б я, к примеру, захотел заслать к нему сватов, что он сказал бы, а?

— Разве я знаю? Что я могу сказать тебе, Сендер? Что я знаю?

— Все-таки, как ты думаешь, Мириам-Хая? Я хочу выслушать твое мнение.

— Мое мнение? Я думаю, что... Я ничего не думаю.

Много у нас таких жен, которые ничего не думают или думают только то, что угодно мужу, что муж прикажет. Мириам-Хая была из тех жен, которые почитают мужа не столько из любви, сколько из страха. Сендера все в семье побаивались, начиная с жены и кончая самым младшим, баловнем Маркусом! Говоря языком «чрезвычайно интересных романистов»*, можно сказать, что Сендер был *деспотом, тираном*... Я прибавил бы еще слово «злодей», но злодеем он не был. Он был еврей как еврей, похож на всех евреев, которые господствуют у себя в доме.

И раз уж мы о нем заговорили, расскажем кратко его биографию.

Когда-то Сендер был маленьким человеком, совсем маленьким. Это было давно, когда у него еще не было денег, когда его называли Сендер-меняла. (К чему скрывать? В прошлом он был менялой.) И натерпелся же он тогда от почтенных евреев — столпов общества, от золотой молодежи, богатых сынков. Ой, как же он от них натерпелся! Ой, как же он стоял перед ними, как холоп перед паном, и трясся, как в лихорадке! Ой, как же он им завидовал и, ой, как же он их ненавидел!.. А потом, когда он поднялся до ростовщика и от ростовщика — до торговца кожей, а из торговца кожей превратился уже в грабарщика, из грабарщика в галантерейщика, из галантерейщика — в комиссионера, из комиссионера — в купца-сахароторговца, в крупного купца, в богатого купца, и, наконец, в банкира, он стал расти все выше и выше в глазах своих знакомых. И тут он стал сбрасывать одно за другим свои прежние прозвища, как птица сбрасывает старые перья. И каждый раз он назывался по-новому: Сендер-грабарник, Сендер-галантерейщик, Сендер-оптовик. Один из его бедных родственников подарил ему от себя «л», и он стал называться ласкательным именем Сендерл. И наконец (много лет никто не знал его фамилии) — Сендер Бланк!.. Реб Хаимке, реб Зямке, реб Мейерл понемногу перестали задирать нос перед Сендером и начали вертеться вокруг новоявленного богача. Сначала они давали ему почувствовать, что он выскочка. С ним, например, разговаривали так: «А, шолом алейхем¹, знакомый еврей! Кажется, Сендер? Что же у вас хорошенького? Говорят, у вас дела, не взглянуть бы, очень хороши?» А потом стали добавлять: «Реб Сендер-сердце, мы, кажется, остановились с вами в одной гостинице? Заходите к нам вечером», «А, реб Сендер, вы уже покидаете нас!», «У меня к вам маленькая просьба, реб Сендер: несколько тысяч рублей на два месяца...», «Ах, кого я вижу? Если б я знал, что вы здесь!»...

А затем:

«Мы хотим, весь город хочет, прямо умирает от желания выбрать вас старостой синагоги, гласным, депутатом, директором банка...», «Господин Бланк! Мы имеем

¹ Здравствуйте (еврейск.).

честь просить, мы просим не отказать нам. Будьте так добры и войдите в наше положение, ведь вы же у нас, как это говорится, что-то...»

Вы понимаете или нет?..

Наш Сендер был не из тех, кто, захлебнувшись своим счастьем, начинает, как говорится, пыжиться. Нет! Он умел выслушивать все эти комплименты довольно равнодушно, скромно, как будто не заслуживает такой чести; умел ответить, что он не достоин, не совсем здоров, не расположен, что есть люди более заслуженные. Но где-то в самой глубине души он ликовал: во-первых, что дожил до такой чести, а во-вторых, что все эти собаки опустили хвосты и знают теперь свое место. Только с женой он любил иногда посмеяться:

— Что ты скажешь, Мириам-Хая, про реб Зямке, этого аристократа? Ха-ха-ха! Ты хоть помнишь его, черт ему в бороду?!

Ни жирный завтрак, ни даже хороший стакан вина не доставляли Сендеру такого удовольствия, как реб Зямке и подобные ему лица, когда они обращались к нему за помощью. Наилучшим образом и с величайшим почтением принимал наш Сендер высокого гостя в своем кабинете, усаживал его, предлагал папиросу, зажигал и подносил гостю спичку: «Что это вы так плохо выглядите?» Или: «Что это вас не видно?» Гость сидит как на иголках; он давно уже выкурил поднесенную ему папиросу; давно уже три раза откашлялся и восемнадцать раз приподнялся на стуле; он вытер пот, сам скрутил себе папиросу, другую, третью; несколько раз пытался приступить к делу, но каждый раз его прерывали на первом же слове. А Сендер все рассказывает о своих делах, о неаккуратных должниках, о своих тяжбах и говорит с большим удовольствием, так, точно гость просит его, просит, умоляет, чтобы он *все* рассказал, не дай бог, не пропустил ни одной подробности... Но всему на свете приходит конец, и человеческому терпению также! Гость, реб Зямке или реб Хаимке, ловит минуту и начинает прямо, быстро, залпом, не переводя дыхания:

— Я хотел вас просить, реб Сендер, вы же слышали, вероятно, что я закупил у помещика Шишинского всю пшеницу, и так как...

— Знаю, слышал! — прерывает его Сендер. — Слышал о вашем золотом деле. Я вам не слишком завидую,

реб Зямке, не слишком! И вы знаете почему? Я вам объясню! Вот этот самый Шишинский четыре года назад хотел занять у меня пятьдесят тысяч рублей, и даже на хороших условиях. Но я тогда возился с кашковским помещиком. История эта вот такая...

И Сендер начинает совершенно новую историю, еще на шесть часов. Реб Зямке уже взмок, с него стекают ручьи пота, он утирается полой и вздыхает, как несчастный узник, заключенный в темницу. Он прерывает Сендера:

— Вы меня простите, реб Сендер, что я вас перебиваю... Вы знаете, для чего я пришел к вам?

— Нет! Откуда мне знать?

Сендер Бланк хорошо знает, за каким делом пришел реб Зямке, но делает наивное лицо и смотрит гостю прямо в глаза.

Реб Зямке оживляется и говорит довольно весело:

— Понимаете, реб Сендер, дело тут вот в чем: я купил пшеницу вдвоем с компаньоном, с Авромом Зальцвассером...

— С Авромом Зальцвассером? Боже вас упаси, реб Зямке! Это же плут, мошенник, злодей, душегуб! Представьте себе, два года тому назад, зимой, незадолго до хануки или ближе к пуриму — я точно не помню, — приходит ко мне один человек. «Доброе утро!» — «Доброе утро!» Очень мило! — И он снова стал наворачивать...

Реб Зямке кусает ногти, чешет голову под ермолкой. Он кашляет, застегивает кафтан, низко-низко надвигает на глаза картуз. А Сендер рассказывает еще одну историю, не спеша, весело, приправляя ее довольно изящными остротами, и истории этой конца-краю нет! Реб Зямке подскакивает и обрывает его совсем уже невежливо:

— Понимаете, реб Сендер, я хотел у вас попросить займы на небольшой срок.

— Займы? — спрашивает Сендер, очень, очень удивленный, как будто ему сказали, что такому-то и такому-то достался крупный выигрыш или на улице только что кого-то зарезали, или случился пожар, вспыхнула эпидемия...

— Да, займы, — отвечает реб Зямке ни громко, ни тихо, а так — средне. Ему невдомек, чему это так удивляется реб Сендер. — Да, займы, до весны: немного, тысяч десять.

— Сейчас у меня нет, честное слово. Нет у меня сейчас денег, чтобы мне не знать ничего дурного, чтоб мне горя не видать, как и вам. Почему вы мне вчера не сказали? Вчера у меня как раз были деньги, но пришел человек от Гавриила Фелькенштейна и предложил дело. Так как в Титиковке строится теперь новая фабрика и Гавриил Фелькенштейн заключил контракт с компаньонами еще в прошлом году, когда титиковский лес...

И так далее — без конца; истории большие и маленькие историйки, и все так переплетены между собой, что голова лопаается...

И уходит себе реб Зямке, бедняга, без денег, обессиленный, измученный, весь в поту, и перед уходом должен еще выслушать нотацию от реб Сендера — вести дела надо не так, чтоб приходилось искать помощи, и не следует держать себя высокомерно, и надо остерегаться плохих компаньонов, и надо знать, как торговать и с кем торговать; и если бы спросили у него, Сендера, — он бы, наверное, все выяснил и навел бы порядок во всех делах. Прощаясь, Сендер просит его заходить, — отчего же нет, — немножко покалякать... Реб Зямке бежит не дыша, боится оглянуться. Но проходит некоторое время, монета-то нужна... Что делать? И он снова идет к реб Сендеру: а вдруг, авось, может быть, мало ли что?! И опять повторяется та же история, и снова все то же! Так обходится Сендер и с реб Зямке, и с реб Хаимом, и с реб Ициком, и со всеми старыми знакомыми. Вот он какой породы животное!

Но наш Сендер не хуже и не лучше других новоиспеченных богачей, мелких людишек, которые не знают никаких иных радостей, кроме наживы и тщеславия.

Здесь, собственно говоря, я должен бы немного остановиться на его происхождении. Кто он? Откуда? Кто его родители? С превеликим удовольствием я сделал бы это, если б хоть что-нибудь знал. Но может ли романист знать все на свете? И какой нам интерес? Прямо скажем, что нам до того, кто был дед Сендера или кто была его бабушка? Был его отец меламедом, сапожником, бондарем или маклером? Мы знаем только Сендера, мы помним, что когда-то, не здесь будь помянуто, он был бедным евреем, менялой, торговцем кожей, торговцем зерном, а теперь... Теперь он *Сендер Бланк*! Присмотритесь к нему: может быть, он вам также немного знаком?

Глава четвертая

Трактует только об одном Маркусе

Пора, пора немного заняться и самым младшим из фамилии Бланк; пора читателю ближе познакомиться с нашим молодым героем, с красивым Маркусом Бланком, лучшим из отпрысков Сендера.

«Младший и лучший» — такого мнения о Маркусе был сам отец, и по двум причинам. Прежде всего, Сендер любил своих детей, пока они были маленькими, крошками, карапузиками. Но как только эти карапузики подрастали, наш достопочтенный Сендер начинал ненавидеть их, и ненависть эта постепенно росла и становилась все сильнее и больше. Он начинал видеть в них компаньонов, претендентов на свое состояние. Без ссор, без сцен, без затрещин не обходилось ни одно торжество, ни одна свадьба; отец рвал и метал, топал ногами, мать плакала, дети обливались слезами, — но в конце концов Сендеру приходилось раскрывать мошну и с дикими проклятьями отсчитывать необходимое количество денег.

Так водится у многих очень порядочных людей. Автор этих строк не однажды был свидетелем таких милых сцен, не однажды был посредником между отцом и детьми, когда спор шел всего лишь о нескольких лишних сотнях, которые могли спасти от голода и нищеты целую семью. Деньги отец в конце концов давал, но крови портил несчастным детям гораздо больше, чем на сотню рублей... Когда я однажды из любопытства спросил у заупрямившегося отца, зачем понадобился ему весь этот тарарам, эти оскорбления, эти напрасные слезы, он совершенно серьезно ответил:

— Детям нельзя давать потачки. Ребенок — это свинья. Ребенка надо учить! Пусть знает, что рубль — это не собака; тогда он тоже будет знать, как обходиться с детьми и как надо беречь копейку в наше время...

Против такого рассуждения я, конечно, ничего не мог возразить...

Вторая причина, по которой Маркус был, можно сказать, дороже Сендеру всех остальных детей, вместе взятых, состояла в том, что Мириам-Хая была второй женой Сендера и вся ее жизнь заключалась в дорогом единственном сыне.

«Ну и что же? — спросит у меня читатель. — Где это написано, что детей от второй жены нужно любить больше других?»

— Ну что ж! — отвечу и я. — Справедливо или не справедливо, но так уж повелось у многих порядочных евреев. Зачем же нам уходить от правды? Маркус действительно был замечательным ребенком, какие встречаются редко. Весь город прямо-таки носился с ним. Когда Сендер в первый раз привел в синагогу пятилетнего Маркуса, одетого в шелковую рубашечку, бархатные штанишки, в шитой золотом шапочке, его окружила толпа мальчишек-озорников, и каждый из них непременно старался потрогать его. С той субботы по всему городу пошла слава, что у Сендера Бланка есть сынок, такой сынок, которому не сыщешь равного. И лицом хорош, и умен, — не сглазить бы только...

Хотел бы я нарядить в шелковую рубашечку, бархатные штанишки и шитую золотом ермолку мальчика балагулы Лейзера. Послушал бы я тогда всех этих лицемеров, которым приходится обращаться к карману Сендера. Они сказали бы, что сынишка Лейзера и красив, и умен, и нет ему равного. Но пока что перед нашими глазами младший сынок Сендера, и мы читаем на его белом лбу надпись, сделанную большими золотыми буквами: «Деньгами владея, скотиной останешься...»

А там, в сторонке, с куском белой булки в руке (едва дождался счастливого дня — субботы!) стоит сынишка балагулы Лейзера — черный медвежонок, оборванный, босой, с неподвижным взглядом, и на его заросшем смуглом лбу написано обратное: «Скотиной владея, бедняком останешься».

Ах, зачем я не поэт? Сидел бы я сейчас, объятый вдохновением, погруженный в мечты, и прекрасными, звучными стихами писал поэму, проникнутую элегическим настроением, насыщенную высокими философскими мыслями, но также и укорами творцу вселенной: ведь ребенок Сендера не более умен и талантлив, чем маленький мальчик Лейзера, почему же каждый подходит к Маркусу с готовой улыбочкой, каждый льстиво ущипнет его в щечку, а в сторону парнишки Лейзера никто и взглянуть не хочет, а если же он кому-нибудь попадет под руку, то его оттолкнут, щелкнут по носу, дернут за ухо или нахлобучат ему шапочку на самые глаза и сделают из него посмешище...

А позднее, когда мы дожили до бармицве нашего маленького героя, Маркуса, мы не могли наглядеться на его прекрасное личико, и, хотя от него самого ничего особенно умного не слышали, нам рассказывали о нем такие чудеса, что мы воистину были восхищены этим мальчишкой. «Представьте себе, — так рассказывал меламед Хаим-Хоне, — мальчик задает мне такие вопросы, перед которыми я сам, реб Хаим-Хоне, уж на что человек ученый, представьте себе, становлюсь в тупик и не знаю, что ответить. Из этого ученика, несомненно, вырастет какой-нибудь гений и еще что-нибудь в этом роде...» Что уж говорить о радости Сендера и о счастье Мириам-Хай, которая исходила слезами? Чем она заслужила у бога такое благословение? За что она сподобилась такого утешения, на которое не нарадуются бог и люди? Не иначе как предвечный смилостивился над ней, бедняжкой, прозябающей у Сендера почти на положении прислуги, — да простит господь такие речи! Не иначе как это он послал ей исцеление душевных ран...

Но Мириам-Хая, видно, не заслужила у бога, чтобы ее сын действительно стал гением с мировым именем. Пока меламед Хаим-Хоне был жив, Маркус был замечательный мальчик. Никто не мог его проэкзаменовать, потому что Хаим-Хоне на эти дела был мастер: он никому не давал и слова сказать — ни ученику, ни экзаменатору. Он говорил за двоих, он сам задавал вопросы и сам на них отвечал. И если экзаменатор спрашивал ученика, например: «Что тут имел в виду танай?» * — Хаим-Хоне, засучив рукава и размахивая руками, быстро отвечал:

— Ведь он же ясно говорит вам, что идолопоклонство совсем не то, что библейская рыжая корова! * Почему? Потому, говорит он, что идолопоклонство — это одно, а рыжая корова — совсем уже другое. Отсюда следует, говорит он, что танай остановился на этом стихе, чтоб поставить, говорит он, дилемму: если, говорит он, идолопоклонство таково, то рыжая корова, говорит он... тем более...

И этим своим «говорит он» Хаим-Хоне так заговаривал экзаменатору зубы, что тот чувствовал себя одуревшим, как человек, которого пробудили от крепкого сна и сказали: «Смотри!» Он смотрит, смотрит, ничего не видит и не знает, где, собственно, находится, что с ним творится.

Когда Хаим-Хоне умер и Маркус попал к другим меламедам, они стали замечать, что сын реб Сендера туго соображает, что он туповат и у него слабая память.

К тому времени Сендер был уже очень богат и знал, что теперь детей учат на новый лад. Он тоже пригласил для Маркуса двух-трех учителей из «нынешних». Наш юный герой почерпнул у них всего понемножку, довольно поверхностно, но к семнадцати — восемнадцати годам мог считаться вполне приличным молодым человеком, не хуже многих других таких же юношей, которых мы знаем очень хорошо. Они прекрасно одеваются, у них много книг, на улице они говорят между собой только о Тургеневе и так кричат, что невозможно не обратить на них внимания. Газеты они читают разные и тоже иногда пишут, правда чужими руками, корреспонденции в еврейскую газету; став старше, они вам напомнят, что когда-то, в молодые годы, они «писали в газетах». Одним словом, наш замечательный Маркус был бы юношей просвещенным, как все просвещенные провинциалы, он был бы «интеллигентом», обычным типом нахала, который берет красивую невесту с розовыми щечками и большим приданым, женится, делается милым зятком, ростовщиком, затем мелким купцом, затем крупным купцом и, наконец, молодым богачом с несколькими детьми, которые получают точно такое же воспитание, какое родители дали ему. Итак... «Род уходит, и род приходит, а Земля пребудет вовеки...» * Одно поколение сменяет другое, как один день сменяется другим... Но нет! Наш прекрасный герой имел другие устремления, цели у него были не те, какие мы назначили ему. Каждый человек имеет свои капризы, свои желания. Почему Маркусу Бланку быть хуже других? Я вижу, читатели склонны думать, что тут дело не без красивой девушки, что, наверное, Маркус пламенно влюблен... Нет! Вы должны помнить, что мой роман есть «роман без романа!» Не стану уверять, что наш прекрасный герой, встретив какую-нибудь Розу или Елизавету, убежит от нее за тридевять земель. Не знаю. Возраст между восемнадцатью и двадцатью годами — самый опасный для молодых сердец, и подобно тому как дитя, бедняжка, должно перенести и прививку оспы, и корь, и прорезание зубов, так взрослые дети должны переболеть любовью. И зачем мы станем себя обманывать? Нам всем прививали оспу, все мы болели корью, все мы любили, перенесли эти болезни и, слава богу, здоровехоньки. Но что я поделаю с моим юным героем, если с ним все-таки этого не случилось? Разве могу я его заставить: «Иди, Мар-

кус, влюбись, пиши страстные письма, вешайся, топись, только бы я имел материал для «чрезвычайно интересного романа». Тем более что у моего юного героя были совсем другие идеалы, другие цели и добивался он их всеми средствами, всеми силами своего молодого здорового существа. Короче, мой Маркус хотел учиться. Коротко и ясно: учиться, чтобы стать доктором, адвокатом, инженером. Учиться, и только!

Когда и как возникла эта мысль в голове Маркуса, я не могу вам сказать, но письма, которые он писал одному из моих приятелей, Арье-Лейбу, написаны были с таким пафосом, с таким жаром, так энергично, так искренне, что я ни на одну минуту не усомнился в том, что этот молодой человек своей цели добьется. (С одним из этих прекрасных писем читатель познакомился в первой главе нашей правдивой истории.)

Разумеется, отец ничего не знал об этой высокой идее, и, я считаю, хорошо, что Сендер не знал, какие мечты лелеет Маркус в своей душе: бог знает как бы все это еще повернулось!

И вот Сендер занимался подысканием хорошей партии для сына, а Маркус, как уже сказано выше, писал пламенные письма Арье-Лейбу.

Именно в то лето, когда развернулись описываемые нами события, огонь в душе нашего героя разгорелся с особой силой.

Как раз в это время все учащиеся — гимназисты и студенты — съезжались на каникулы. Ах, как завидовал им наш бедный Маркус, как заглядывался на их золотые пуговицы, почти офицерские фуражки, студенческие тужурки. Как веселы, свободны, как счастливы эти люди и как скован, связан и несчастен он, бедняга! В то время как они чудесной летней ночью катаются на лодках и поют песни при серебристом свете луны, он, бедный, должен сидеть дома, выслушивая бесконечные истории отца, которые ему так приелись! Он просто закован в цепи, он в плену, его заперли и держат в тюрьме, его не выпускают на белый свет! За что ему смолodu такое наказание? Почему не может он вкушать сладость юности наравне с другими молодыми людьми? Почему для него все закрыто, все недоступно, запретно? Всем дозволено, только ему, Маркусу, нельзя! Он должен сидеть тут и погибать. До каких пор? Как долго еще это может продолжаться?

С такими черными мыслями сидит наш бедный юный герой, опустив красивую голову на белые руки, а Сендер рассказывает очень интересную историю о том, как один компаньон втянул его в дело, как тот хотел облапошить его, как они оба пришли к помещику, как помещик попросил его сесть, как он прибрал компаньона к рукам и как помещик рассчитался с ним, сказав на прощанье: «Эй, Мошка, як семаш¹, пан Мошка?» Ха-ха-ха! Сендер смеется, и его тучное тело трясется от смеха. Мириам-Хая глаз не спускает со своего дорогого сына: с некоторого времени он так бледен, так грустен, не ест, не пьет. Что с ребенком?

— Что с тобой, Маркус? Что у тебя болит, мое дитя? — спрашивает преданная мать, заглядывая к нему перед сном. Она гладит его руку, на глаза ее набегают слезы.

— Ах, отстань от меня! Ничего! Ничего! — Маркус выдергивает свою руку, и Мириам-Хая с глубоким вздохом уходит.

Скажите, удивительно ли, что наш благородный герой ожидал лишь случая, который помог бы ему освободиться? Удивительно ли, что он встретил бы этот случай с радостью? Удивительно ли, что и Маркус, наравне со всеми прочими нашими знакомыми, членами семьи Сендера, с нетерпением ожидал того, что должно было свершиться, о чем никто не говорил, но каждый в глубине своей души мечтал?

Любезный читатель, дорогой друг! Кто бы ты ни был и что бы ни чувствовал, дай мне руку, и пожелаем друг другу, чтобы в тот момент, когда мы должны будем покинуть этот глупый мир, господь спас нас от такого печального положения, в каком находился наш почтенный Сендер Бланк, когда его милая родня съехалась «навесить его»...

Глава пятая

Родня Сендера понемногу съезжается

Мы оставили Сендера Бланка в кабинете после роскошного обеда. Сендер чувствовал себя не совсем хорошо: у него начались сильные рези, разыгралось настоящее сражение в животе.

¹ Как поживаешь (польск.).

— Плохо! Плохо! — сказал он Мириам-Хае. — Мне плохо! Мне очень плохо!

— Что же с тобой? Боже мой, Сендер!

— Не знаю. Вот тут у меня очень плохо.

И Сендер обеими руками показал на живот. Первым делом Мириам-Хая послала за врачом. Хотя Сендер не верит докторам и говорит, что вся эта игра (то есть медицина) только шантаж, фокусы, чтоб выманить деньги, однако стоит заболеть у него мизинцу, — он тотчас же посылает за врачом. Многие евреи как-то не верят в медицину, между тем она обходится им дороже, чем всем прочим людям на свете, верят они в нее или не верят — все равно!

У нашего уважаемого Сендера был свой врач, доктор Клигер, который в свободное время любил беседовать с ним о медицине. Доктор долго бился, пока вдобавил Сендеру, что точно так же можно умереть от болезни, как и расстаться с жизнью, будучи здоровым. Эта истина в конце концов крепко засела у Сендера в голове, и с той самой поры он чувствовал, что жизнь его висит на волоске, хотя он здоров и крепок. Он ждал смерти каждый день и давно написал завещание, в котором все было рассчитано до последней копейки (это держалось, конечно, в тайне). Каждый прожитый день был для него подаренным, и он доставлял себе все удовольствия, какие только существуют на свете. Он хорошо ел, славно выпивал, в досталь отдыхал, в свое удовольствие высмеивал «нынешних» и «нищих», воздавал богу богово — это значит: молился каждый день, а иногда, если позволяло время, прочитывал два-три псалма и подавал милостыню (редко, очень редко). Ах, если б каждому из нас было дано, как нашему герою, выполнять свой жизненный долг и при этом жить так спокойно! Ах, как легко было бы нам расставаться с мирской суетой! Как приятна была бы для нас смерть! Подумайте сами: вот я завтракаю, закурываю хорошую сигару, выпиваю добрый стакан пива, прочитываю несколько псалмов, подаю нищему пару грошей, беру чернила и ручку и делаю расчет: сыну — столько-то, дочери — столько-то, несколько рублей синагоге, несколько рублей, извините, в пользу бани и несколько гривен разделить между учениками талмудторы, чтоб они кричали впереди погребальных носилок: «Правда пойдет пред лицом господ...» Потом я довольно спокойно исповедуюсь и

с легким сердцем и чистой совестью ложусь в постель; закрываю один глаз, потом другой и засыпаю... А на-завтра — опять то же самое...

На этот раз, когда врач пришел к Сендеру, он нашел его в весьма плачевном состоянии.

— Моя болезнь не опасна? Смогу ли я еще про-ститься с детьми? — был первый вопрос, который Сендер предложил врачу.

— Если б ваша болезнь была так опасна, — ответил ему доктор Клигер вполне серьезно, — я не имел бы счастья с вами беседовать. Но за детьми пошлите поско-рее. Вы исполните свой долг, тогда вы будете спокой-ны, — гора с плеч!

Сендер побелел как полотно, когда услышал заклю-чение врача. Он задрожал, трепет пробежал по всему его телу: «Ой, конец мне! Конец мне! Это мой конец!..»

— Скажите мне, доктор, правду, чистую, совершен-ную правду: могу ли я хоть немного надеяться? Мне только пятьдесят три года! Мой отец прожил восемьде-сят четыре года, моя мать — девяносто шесть лет, а мой дед, говорят, прожил больше ста лет. Почему же я дол-жен умереть так рано?.. — И Сендер расплакался, как маленький ребенок.

Мириам-Хая упала в обморок, а Маркус, у которого было мягкое, доброе сердце, утер слезу.

Доктор Клигер развел руками, вытянул шею и сде-лал такую мину, какая бывает у путешественника, когда вдруг ломается ось и телега опрокидывается.

Все это подействовало на Сендера ужасно: ему живо представилось, как лопнули все его внутренности. Он прислушался к тому, что происходило у него в животе, и решил, что желудок его действительно отказал на-всегда. Сказать об этом врачу Сендер постеснялся и только попросил еще раз хорошо осмотреть его. Доктор Клигер приложил ухо к животу больного. Во время осмотра доктор не проронил ни слова, только пожимал плечами, качал головой, шмыгал носом, долго-долго ду-мал, смотрел больному в глаза, вздыхал, снова качал головой, пожимал плечами и так далее. Сендер внима-тельно следил за доктором, и капли пота — холодного пота — выступили у него на лбу. Затем доктор вскочил, энергично высморкался и сказал:

— Мой любезный господин Бланк! Вы знаете, что я ваш друг и сделаю все возможное. Но вы-то будете

меня слушаться или нет? Пригласите еще одного врача, мы устроим консилиум. У нас в медицине есть хорошая поговорка: ум — хорошо, а два — лучше.

С этими словами он попрощался с больным и его близкими и быстро вышел из кабинета. Сбежав по лестнице, он нашел внизу Фройку, который держал наготове пальто. Фройка не выдержал и спросил:

— Как хозяин?

Доктор Клигер ответил ему по-латыни, сладко улыбаясь (доктор Клигер очень простой, очень обходительный человек и держит себя со всеми по-приятельски):

— Ничего, немножко гаргулес, немножко плериз ксухатива, но все будет в порядке... Доктор Клигер не дремлет!..

— Черт его знает, где он берет эти турецкие слова! — проворчал Фройка и запер дверь.

Мы совершенно точно знаем, что Фройка не состоит в родстве с Бланками. Но он служит здесь уже лет семь-восемь и держит себя с ними, как свой, почти как дальний родственник. Поэтому Фройка считает (конечно, про себя), что по справедливости ему тоже причитается кой-какая доля наследства. По-своему он вполне прав: работал он как лошадь, и за все время своей верной службы не получил от хозяина никакой награды, буквально ни гроша. Больше того, Сендер заставлял Фройку после рынка отчитываться до копейки! Фройка был всей душой предан хозяину и пошел бы за него в огонь и воду. По этой причине он зарился теперь на три дюжины серебряных ложек, большую серебряную шкатулку, хороший янтарный, в золотой оправе мунштук, цена которому, по его расчету, по крайней мере, тридцать пять рублей; на дюжину крахмальных рубах и тому подобные мелочи. Авось в суматохе наследники и не заметят этого.

Но особенно очаровали Фройку золотые часы Сендера на массивной золотой цепи. Эту цепь Сендер Бланк сам заказывал на фабрике, поэтому она и была такая массивная. Фройка не один раз держал цепь в руках, надевал на себя часы, смотрелся в зеркало и любовался собой. Фройка, конечно, не был вором, избави бог! Положите перед ним золото — он не тронет! «Но после смерти хозяина, — решил Фройка, — когда все будут брать, я тоже возьму: кто подумает о бедном Фройке?» И теперь, когда Фройка увидел, что хозяин дышит на

ладан, у него сердце заколотилось от страха. Сидя внизу, в ожидании, что его вот-вот пошлют за погребальной братией, Фройка прикидывал в уме, что ему следует взять. Когда дело дошло до часов с цепью, он задумался. Что делать: продать часы или взять их себе, а цепочку подарить Блюмке (своей невесте)? Или, может быть, сделать для Блюмки из цепочки серьги с брошью?

«Дзинь! Дзинь! Дзинь!» — послышалось сверху.

Фройка стрелой помчался наверх и через несколько минут спустился с двумя телеграммами, которые следовало срочно отправить детям. Несмотря на то что ему десять раз наказывали: «Бегом! Одна нога тут, другая — там!» — тем не менее Фройка разрешил себе на минуточку присесть и посмотреть, что там, в этих телеграммах, написано.

К чести этого верного слуги, мы должны заметить, что за пять лет, в течение которых у Бланков в доме перебивали различные учителя, Фройка немного научился читать и писать по-русски. Нельзя сказать, чтоб у него были такие уж блестящие способности. Поэтому и сам Маркус довольно много с ним повозился, покуда Фройка научился читать по складам и подписываться: «Фройка Крокман». Но получалось у него «Манфройкеркокер». Зато в арифметике Фройка был силен, и кто знает, какой вышел бы из него математик, если б отец его, Копл Крокман, не был трубочистом и не умер с перепоя, а перед смертью не отдал Фройку в учение к кузнецу, а кузнец не бил бы его каждый день, как собаку, и если бы Фройке не пришлось быть дворником, а затем лакеем у Сендера Бланка? Самую трудную задачу Фройка решал в уме, поражая этим хозяина.

Итак, наш просвещенный лакей поднес к глазам телеграммы и, простояв у окошка добрых полчаса, кое-как сложил:

— Бэ...о... эл... е... болен... Болен! О... пэ... эс... н... опасно... Очень опасно! Опасно! Значит, вот-вот умрет. Ага!

И мысли Фройки опять запутались в золотых часах с тяжелой цепью. На телеграфе Фройка все же показал телеграммы какому-то рыжему еврею и попросил прочитать их и объяснить, что там написано.

«Ах, если б меня учили в молодые годы!» — думал Фройка, опуская в задний карман два рубля сорок

копеек сдачи, с тем чтобы они там остались. Кто же сегодня заметит, есть ли сдача? Но как же он был поражен, когда, войдя к тяжелобольному Сендеру в кабинет, тут же услышал:

— Сдачу, Фройка! Два рубля сорок копеек.

«Он даже подсчитал уже, старый черт!» — подумал Фройка, выкладывая на стол два рубля сорок копеек, и с тяжелым сердцем удалился восвояси.

На другой день приехал старший сын Сендера, Хаим Бланк, со своей женой Соней и двумя маленькими девочками — восьмилетней Фаней и Маней, лет шести.

Насколько самому Сендеру в делах везло, настолько не везло его детям. Когда Хаим ушел от отца, на иждивении которого он жил вместе с женой, у него было накоплено несколько тысяч.

— Помни, Хаим, — сказал ему отец, — я долг свой выполнил. Достаточно я постарался для тебя: вырастил, женил, дал денег, пять лет содержал тебя с женой, — чего же еще? Ты от меня больше ничего требовать не можешь. Сейчас у тебя со мной уже мало общего: у меня еще дети, дочь с мужем на иждивении, я должен женить младшего сына. Поезжай себе с богом и будь счастлив! Если будешь бережлив, у тебя будут водиться деньги и, с божьей помощью, тебе будет хорошо. Смотри, береги рубль, — будешь человеком!..

Когда Хаим остался без денег, он не хотел писать отцу, прекрасно сознавая, что из этого ничего не выйдет. Но когда все в доме уже было распродано, дети просили хлеба, а хлеба не было, — Хаим сел и написал:

«Любимому, дорогому отцу, богатому, прославленному, мудрому, высокоученому реб Сендеру, да святится имя его.

Уже более двух лет, как я остался без копейки, но тебе об этом даже не заикнулся. Ты уже понимаешь сам, должно быть, что у меня денег нет... Что я говорю? Дети, моя жена и я, — мы умираем с голоду... Я здесь чужой... Понимаешь?.. Нет слов. Такие дети, как у меня, мне кажется... И жена у меня не расточительная, как другие... Не знаю. Наоборот, насколько возможно... Если бы не этот Файферман, этот злодей... Он у меня выманил три тысячи рублей... Три тысячи наличными! Других дел здесь нет! Может быть, там, в твоём городе, где меня знают, известно, кто я... Говорят, что Яков-Мойше

Цукерштейн выиграл десять тысяч рублей... Поклон дорогой матери Мириам-Хае, дорогой сестрице Ривке с ее дорогим супругом Иосифом Земелем, их детьми... Как сейчас их дела? Привет брату моему, просвещенному, мудрому Маркусу, да здравствует он. Будьте здоровы и счастливы, как вам того желает

твой сын Хаим Бланк.

Я забыл тебе сообщить, что супруга моя Соня, дай ей бог здоровья, не совсем здорова, а моя младшая дочка, Манечка, болеет оспой.

Вышеупомянутый Хаим».

Каждый день Хаим Бланк наведывался на почту и только через две недели получил ответ.

— Письмо, Соня, письмо из дому!

Соня хотя и поднялась, но едва держалась на ногах, девочка все еще болела. С большим волнением уселись читать долгожданное письмо.

«Дорогому сыну моему, мужу ученому, реб Хаиму, да святится имя его, и дорогой супруге его Соне, да здравствует она со своими чадами и домочадцами.

Прежде всего извещаю вас, что мы все, слава богу, в добром здоровье, дай бог то же слышать и от вас, аминь! Во-вторых, я не понимаю, чем я провинился перед тобой, за что ты принес мне такие огорчения, омрачил всем нам праздник. Пусть скажут люди, не сделал ли я все, что мог, как самый лучший отец. Поэтому, дорогой сын, я прошу, не сокращай дней моих и не пиши таких писем. А сюда тебе приезжать незачем, так как без денег в нынешнее время никакого дела сделать нельзя и такие фэйферманы, которые выманивают деньги, водятся всюду, на всем белом свете. Что делать? Тяжелые нынче времена! Все-таки, если б ты был человеком, ты не дошел бы до такого состояния. Твой зять Иосиф Земель имеет сейчас очень большое дело и, говорят, загребает груды золота. Я живу здесь больше тридцати лет, и мне ни разу еще не попалось такое счастливое дело, как зятю Иосифу, да святится имя его, там у него в городе. Говорят, он покупает дом за двадцать тысяч рублей,— да поможет ему бог, я желаю ему этого от всей души. Теперь мне предстоит

серьезное дело: надо женить Маркуса, дать ему тридцать тысяч рублей приданого и квитанцию * тысяч на шесть. Затем одежда и свадебные расходы! Я отремонтировал дом, и это мне влетело без преувеличения в десять тысяч рублей! Была еще у меня в гостях дочка моя Ривка с ребенком (замечательный ребенок!), пришлось сделать подарок в пятьсот рублей. Откуда же взять все это? Привет твоей супруге с детьми

от меня, отца твоего, *Сендера Бланка*».

Еще год — тяжелый год — мучился Хаим, пока наконец нашел должность на пятьдесят рублей в месяц. А через год заметили, что Хаим честный человек и преданный работник, и прибавили еще пятьдесят рублей. Но зато работал он в поте лица своего, целиком продался своему хозяину, проводил в лесу дни и ночи (в этом и состояла его служба).

В таком положении находился Хаим, когда получил вдруг срочную телеграмму, вызывавшую его к отцу. Хаим не мог оставить службы ни на минуту, но о чем говорить, если отец опасно болен и просит приехать?

Когда Хаим, войдя в кабинет отца, упал ему на грудь, на глазах Сендера показались слезы. Он подошел к себе невестку, спросил: «Как поживаешь?» — и протянул внучкам руку для поцелуя. Потрепав их по щечкам, Сендер отпустил внучек, обрадованных разрешением поиграть. Дети устремились во двор — у деда был такой большой двор, — обежали и его прекрасный сад. Но внизу их перехватил Фройка и, подарив по мармеладке, принялся расспрашивать: как девочек зовут, сколько им лет, что делают отец, мать; такой ли у них большой дом, как у деда, умеют ли они читать и писать. Старшая девочка, Фаня, оказалось, бегло читает не только по печатному, но и по писаному — Фройка не поленился и тут же на месте ее проэкзаменовал. Достав из кармана кусочек бумаги и карандаш, он нацарапал: «Манфройкеркокер». Дети с хохотом и визгом, выкрикивая «Манфройкеркокер», убежали в сад. Как только наш прославленный Фройка услышал это, в сердце его зажглась ненависть к девочкам и их родителям.

Спустя два часа Хаим зашел к Маркусу повидаться, и тот подробно ознакомил его с достопримечательностями своей библиотеки. Юный герой наш так рад был гостю, что забыл спросить, как его дела. Хаим, со своей

стороны, за время, пока брат болтал, не проронил ни слова. А Соня? Соня сидела с Мириам-Хаей в уголочке, и они тихо беседовали о домашних делах: о негодницах-служанках, о детской одежде, она так дорого стоит; о курах, гусях, утках — чего ни коснешься, всё на вес золота!

— Как-то я велела принести яиц, — рассказывала Мириам-Хая невестке, и обе преисполнились негодованием. — У меня уже установленная цена — семьдесят копеек, разве только перед пасхой я плачу рубль, рубль пятьдесят — не больше. Сосчитала яйца, три сотни. Я хотела испечь торт в десять фунтов. Хотя за неделю до того я напекла полный шкаф сухарного печенья, но в три дня от него ничего не осталось. Заподозрить служанку я не могу: честная еврейка, пошли мне бог такое счастье... Постой, ты должна знать ее, она служила у меня шесть лет тому назад, это Злата...

— Ой! Злата! Мамаша, у вас Злата?

— Вот-вот, Злата! Она развелась уже с мужем и опять вышла замуж.

— За кого, мамаша?

— А бог его знает за кого! Какой-то шарлатан, выродок. Он как будто портной, этот курносый болван!

— Может быть, Мордхе, сын Ципойры? Ой, кажется, я угадала, мамаша.

— Да откуда ты знаешь, Соня?

— А где теперь Ципойра? Она в служанках, бедняжка?

— Ох, что ты, что ты! Она давно уже умерла!

— Ой, Ципойра умерла?! Что вы говорите, мамаша! Ай-яй-яй!!!

Бог знает куда занесло бы наших уважаемых дам, вернулись ли бы они к трем сотням яиц либо, перескакивая с предмета на предмет, унеслись совсем уж далеко, если б вдруг не вошел Фройка и не сообщил, что приехал господин Осип Земель с мадам и ребенком, а с ними еще какая-то старая женщина.

Мои читатели удивляются, наверно, что в такой момент, когда старик на смертном одре, наши высокочтимые дамы не нашли другой темы для разговоров как только о яйцах, курах и т. п. Но тише! Нечего удивляться: такая интересная тема, как хозяйство, — а сюда

входят и куры, и яйца, и петрушка, и всякая всячина, — сильно захватывает. Автор этой книги видел своими глазами, как некая почтенная дама собралась в театр, честь честью, как полагается; даже билет купила в первом ряду партера за три рубля пятьдесят копеек. По дороге она вдруг увидела солдата, прятавшего под шинелью белого петуха. Солдат почему-то все оглядывался, и даме пришло в голову спросить, может быть, даже в шутку:

— Что хочешь за петуха?

— Двадцать пять копеек серебром!

— Возьми двадцать! — все так же несерьезно предложила дама, останавливаясь на минуточку, как бы между прочим, посмотреть, что за петух.

— Пожалуйте деньги-с! — ответил служивый.

И дама, не долго думая, повернула домой с солдатом и петухом.

Только в третьем акте, взглянув в бинокль, я увидел, что дама моя все-таки пришла в театр, лицо ее сияло необыкновенно.

Вернувшись домой, я вспомнил, что завтра канун Судного дня, и мужчинам для капорес* нужен белый петух...

«Счастливым муж! — подумал я. — У тебя самая преданная жена на свете!..»

Глава шестая

Ревекка и ее приключение, Осип Земель и его наследство

Когда семья Земель вошла в дом, мадам Земель молча прижалась к груди мачехи, потом невестки и в верхней одежде, как была, устремилась к больному отцу. Муж Ревекки с детьми, тещей и свояченицей остались внизу. Почему господин Земель не сразу проследовал к тестю, мы скоро узнаем, а пока воспользуемся случаем и познакомимся с ним поближе.

Совершенно невозможно определить, красив ли этот молодой человек двадцати восьми лет. Глаза его прикрыты дымчатыми очками, волосы и даже вьющаяся борода выкрашены, напомажены и издают невероятный аромат. Воротник сорочки накрахмален так, что господин Земель не может шевельнуть головой и должен

поворачиваться к вам всем своим длинным и тощим туловищем. На его белоснежном жилете несколько цепочек с брелоками, на трех пальцах руки четыре кольца и большой перстень. При этом ботинки его так пронзительно скрипят, что, как говорится, хоть святых выноси. Нашему замечательному герою не сидится на месте: даже когда Осип беседует с кем-нибудь, он шагает по комнате, нажимая на свои голосистые ботинки и засунув руки в карманы. Да, мы едва не забыли отметить, что в его дорогом галстуке торчит золотая булавка со свиной мордочкой и красиво выточенными ушками, а ноготь на мизинце левой руки длинный-предлинный.

— Как поживаете, Софья Абрамовна? — обратился Осип к своей уважаемой свояченице, подсаживаясь к ней. (Мириам-Хая удалилась с детьми в зал.) — Давно мы не виделись с вами!

— Да, Осип Моисеевич, — ответила Соня, разглядывая уважаемого зятя, — очень давно! Много воды утекло с тех пор. Многое пришлось пережить! А как ваши дела? Отец как-то писал нам, что счастье буквально по пятам гонится за вами. Не знаю, как сейчас. Говорят, будто ваши компаньоны нехорошо обошлись с вами? Впрочем, как и с нами... Этот злодей Файферман...

— О Софья Абрамовна. — И Осип, вскочив со стула как ужаленный, зашагал по комнате, поскрипывая дорогими ботинками. — О, вы еще не знаете какие жулики водятся на свете! Они хотели меня разорить, вырвать у меня тысячи, сотни тысяч, миллионы! Честное слово! Но я вывернулся все-таки из их рук и спас капитал. Дело, конечно, приостановилось на некоторое время, но я не дремлю и с божьей помощью своего добьюсь. Я думаю, нынешний год вернет мне все, что отняли компаньоны... Ну, и дом влетел мне в добрых пятьдесят тысяч... Кучу денег отвалил за один только сад... Садовник получает у меня пятьсот рублей в год. Ну, а выезд? А прочие расходы? Во что мне ежегодно обходятся родственники? Да и чужие? Честное слово! Я знаю, можно бы...

— Ну, а в карты вы все еще играете? — спрашивает Соня, сладенко улыбаясь.

— Боже упаси! — отвечает Осип с видом человека, незаслуженно оскорбленного. — Упаси меня бог! Разве только изредка, в свободное время, в долгий зимний вечер. Делать нечего, ну и сядешь как-нибудь за зеленый

стол. И то, вы, наверно, помните, я никогда не проигрываю, наоборот, всегда выигрываю, честное слово! (И Осип рассмеялся, обнажив свои черные зубы.) Недавно, возвращаясь из Одессы, — в вагоне первого класса, конечно, — я познакомился с одним молодым человеком. Он и спрашивает, кто я. Я говорю, такой-то и такой-то. Он говорит: «Вот как? Так мы же знакомы!» Тогда я спрашиваю: «А каким образом?» Он отвечает: «Мой отец в прошлом году закупил у вас пшеницу, на сто тысяч». — «Но кто же ваш отец?» — спрашиваю. Он называет себя. Короче, туда-сюда, сели играть. И представьте, до Киева он выложил пятнадцать тысяч рублей. Он побледнел как смерть, и я же должен был дать ему на дорогу пятьдесят рублей. Ха-ха-ха! Даю вам честное слово!

Но тут вернулась Ревекка, и опять начались поцелуи и объятия. Целовались они с Соней, как две любящие сестры, встретившиеся после десяти лет разлуки, которых бог привел увидеться и излить души. Ах, в этот трогательный момент наши уважаемые дамы совсем забыли, что царапались, как кошки, когда Земели жили еще у Сендера и целый год были в ссоре из-за того, что Ревекка сказала, будто Соня украла у нее носовой платок, а Соня, в свою очередь, назвала ее мужа картежником. Весьма возможно, что в эту минуту они от всей души простили друг другу прежние ссоры, оскорбления, обиды и что таких друзей, как наши уважаемые дамы Ревекка и Соня, в эту минуту не было на всем белом свете. Трудно было уловить все, о чем они говорили. Они щебетали, как птички, и открывали и доверяли одна другой такие тайны, в которые не посвящали даже своих преданных мужей. Отрадно сидеть в стороне и созерцать, как красота, грация, добродетель и невинность сливаются воедино, вызывая в нас одновременно и восхищение и зависть.

Лишь спустя полчаса Ревекка оторвалась от Сони, позвала Осипа и шепнула ему:

— Зайди к отцу, Осип, но придержи язык! Он уже знает тебя, поверь мне! Если он будет ругать тебя, смолчи на этот раз, чтоб потом не каяться. Помни!

Осип притворно рассмеялся, и Ревекка сказала, на этот раз вслух:

— Иди, Осип, отец хочет тебя видеть!

Здрав голову и скрипя ботинками, Осип вышел.

Как Сендер Бланк принял его и о чем они говорили, знает только Фройка, который подслушал разговор достопочтенного тестя с возлюбленным зятем, стоя за дверью.

Наши читатели напрасно будут порицать этого неверного слугу, имевшего дерзость подслушивать, о чем говорят между собой господа. Нет, вы должны простить одинокого беднягу, который нанялся, что продался. Он несчастный раб, он должен подчиняться каждому. Это наша высокочтимая Софья Абрамовна послала его подслушать, о чем говорят, и обещала такую сумму, о какой он и мечтать не смел...

Через несколько часов Блюмка (невеста Фройки) тоже знала уже, что больной реб Сендер ругал зятя, как собаку, а Осип стоял, как чучело, выпучив глаза, и не промолвил ни слова. Много интересных вещей рассказывал Фройка своей возлюбленной невесте, заедая рассказ тортом, орехами и другими яствами, извлеченными из карманов.

Пусть не подумают читатели, что наш Осип не мог бы возразить тестю или молчал из уважения. Ну, нет! Осип умел заговорить и десять человек. А что касается уважения — и это под сомнением. Когда Осип сидел у тестя на хлебах и сам в то время был богат, тесть оказывал ему уважение. Не приходится говорить, как возросло расположение Сендера, когда Осип с Ревеккой зажил самостоятельно и старик узнал, что зять делает блестящие дела. Он писал детям довольно часто и время от времени даже посылал Ревекке дорогие подарки. «Зятю Сендера подходит быть большим богачом, — говорил старик, — у него и вид миллионщика».

Первое дело, за которое взялся Осип, была торговля зерном. Случайно ему повезло, и он заработал изрядные деньги. Хвастаясь суммой вдвое больше, чем получил, Осип заслужил всеобщее уважение. Тут он еще больше размахнулся — хлеб был тогда в цене — и закупил крупную партию пшеницы сроком на год и на два. Неожиданно пшеница упала в цене. Но Осип не пал духом — он ссыпал зерно в амбары и держал его до тех пор, пока половина сгнила, остатки ему пришлось продать за полцены. Когда Сендер узнал об этой истории, он написал письмо, полное колкостей: так не торгуют, надо уметь выбрать момент, следует быть осмотрительным, не зарываться. Осип ответил, что никто не умеет

так торговать, как он, и его удивляет, что такой человек, как тесть, не выдавший в глаза и пуда пшеницы, учит его. Письмо это Сендер в сердцах изорвал, как вдруг пришла телеграмма от Ревекки, извещавшая о смерти бабушки, богатой вдовы, оставившей Осипу в наследство сто шестьдесят тысяч. Сендер сменил гнев на милость и настроил детям письмо:

«Достопочтенному зятю моему, богатому, богобоязненному, мудрому, просвещенному Иосифу, господину Земелю, да святится имя его.

И почтенной дочери моей, богатой, благочестивой, мудрой, просвещенной, прославленной Ревекке, да здравствует она.

С большим волнением прочитал я вашу телеграмму и скорблю душой, что твоя прославленная бабушка, моя высокочтимая сватья, еще совсем молодой ушла из мира сего. Да покоится душа ее в кущах райских! Но разве может человек помочь своим плачем и тоской?! Должно быть, на то была воля божья, и тебе свою преданную бабушку не воскресить, дай ей бог царствие небесное. А вы молоды, и жизнь ваша впереди, зять мой дорогой и дорогая дочь. Не предавайтесь печали и забудьте; и дай бог, чтоб мы большего горя не знали, как и весь народ израильский; и чтоб люди помоложе не умирали — амины! Я бы хотел, дети, чтобы деньги лежали в банке, пока вы, с божьей помощью, немного придете в себя и вам подвернется какое-нибудь хорошее дело. Я думаю, процентов с такого капитала должно вам хватить на жизнь. Тем более что, как вы знаете, я работаю и для вас; своих денег я в гроб с собой не положу, человек не живет вечно... Будьте здоровы и счастливы, и да будет мне от вас больше радости, чем от моего сына, бедняги Хаима, который не хотел слушаться... Сердечный привет вашему милому ребенку.

От меня, вашего преданного отца

Сендера Бланка.

Супруга моя, Мириам-Хая, всем вам сердечно кланяется.

Сендер Бланк».

Этому письмецу Осип очень обрадовался, никогда еще тесть не писал ему так: «богатому, богобоязненному, мудрому, просвещенному». И он, в свою очередь,

ответил тестю по-древнееврейски, очень цветисто и со множеством ошибок. Так состоялось примирение, и длилось оно до тех пор, пока наш милый Осип Земель не просадил все свои деньги. И пока он не спустил последнего рубля, он не успокоился. Однако, спустив все, он и тут не пал духом, наоборот, почувствовал, что у него словно легче стало на душе. Уж под такой счастливой звездой родился наш славный герой — почти всю свою жизнь он получал одно наследство за другим. И не успевал он растратить одно наследство, как сваливалось другое: от бабушки, от дяди, от тети! А мы с вами, любезный читатель, не сподобились иметь таких бабушек, дядюшек и тетушек, которые помянули бы нас добром... Нет! У нас с вами другие удачи: выдать замуж бедную племянницу, поддержать дальнего родственника, помочь бедняге-погорельцу из жениной родни или проводить в солдаты троюродного брата. Черт знает что!.. Не о чем говорить, дорогие читатели!..

Нельзя сказать, что Ревекка жила с мужем в мире и полном согласии. Правда, будучи невестой, она почти влюбилась в своего красивого богатого жениха. Ей было только пятнадцать лет, и все же она поняла, что ее ожидает большое счастье. Об этом говорил весь город, так оно и было. Мойше Земель — большой богач, и подарки, которые он посылал невесте сына, были действительно великолепны, а письма жениха так красноречивы, полны такого огня, что молодая, здоровая, красивая Ревекка, знакомая со всеми наиболее известными романами, не могла не влюбиться в своего жениха, цветущего молодого человека двадцати лет. Не одну ночь пролежала влюбленная Ревекка вся в слезах: в своем воображении она видела Земеля доблестным героем, блестящим, мудрым мужем, и каждый день, каждый час, каждая минута тянулись для нее так долго, так долго! Правда, раза три она виделась со своим женихом, и он показался ей не совсем таким, каким рисовало его воображение. Ревекка не находила в нем ни ума, ни красоты, ни образованности. Наоборот, она даже заметила какие-то низменные черты, некоторую мелочность и часто ловила его на лжи. Все же она полагала, что он только избалован окружавшей его роскошью. А когда Осип уезжал и снова присылал свои пламенные письма, она опять принималась фантазировать, и вместо

реального Осипа появлялся красивый, добрый, дорогой жених, подлинный герой!

С большим трепетом считала Ревекка дни, оставшиеся до свадьбы, а тут еще шились дорогие и красивые платья — наш многоуважаемый Сендер Бланк раскошелился: нельзя же, не дай бог, ударить лицом в грязь перед таким сватом, как Мойше Земель. И еще месяц, еще неделя, еще два дня, еще день, еще ночь, еще час, еще минута — и вот жених уже здесь! Венчанье... Музыканты... Бал... Танцы... Подвенечное платье... Подруги... Свадебный ужин... Прощание... И конец свадьбе...

Первый месяц, медовый месяц, — как его называют — это весна для молодых супругов. Весь мир сотворен для того, чтобы их радовать. И даже водовоз, оставивший дома больную жену и голодных детей, выглядит в их глазах радостным, а нищий, который стоит, опершись на палку, с непокрытой головой и протянутой рукой, — ах, как это прекрасно! Ах, пусть это длится вечно!..

Но ничто, ничто не вечно! Проходит весна, проходит медовый месяц, — всё проходит! Через пять недель после свадьбы Ревекка заметила своему возлюбленному Осипу, что у него слишком уж скрипят ботинки, просто шум в ушах и голова болит... Осип ответил, что это не больше как глупый каприз, честное слово! Ревекка сказала: она не знает, кто из них глупей, а кто умней. Осип вспыхнул и с гневом возразил, что таких умниц, как она, он уже видел, колкостей он не любит, и все, что она знает, он давно забыл... Честное слово!.. Ревекка, в свою очередь, разозлилась и ответила, что не видит его ума и образованности, начитанна она больше его, а быть надутым гордецом в красивой глаженной рубашке и с пустой головой особого труда не составляет... Осип подскочил от обиды и стал попрекать ее невеждой-отцом, у которого нет даже того, что валяется в мусоре у отца Осипа Земеля. Честное слово!.. Ревекку это особенно задело, и она объявила, что, если ему не пристало быть зятем бедного тестя, он может подброду-поздорову отправляться к своим богатым родителям хотя бы сегодня. Ревекка за ним не побежит... Осип с вызывающим видом, заложив руки в карманы, шагал по комнате: что ж, он и уедет к своим славным родителям, его очень мало трогает, что Ревекка за ним не побежит; таких благородных дам он уже видел, даже более краси-

вых, умных и образованных... Честное слово! Этого Ревекка уже не могла перенести. Она расплакалась и закричала не своим голосом:

— Вон, вон, шарлатан! Убирайся с глаз моих! Видеть тебя не могу! Вон!!!

Не позже чем через полчаса наш Осип стоял уже на коленях перед своей драгоценной Ревеккой, просил прощения и признавал себя виноватым перед дорогой, дорогой женой. Он не годится ей в подметки, не стоит ее мизинчика, ее носового платочка, он готов пожертвовать собой ради ее красивых светлых глаз, готов жизнь отдать за одну ее улыбку, все, все, что он раньше говорил, — вранье. Честное слово!..

Сцены эти повторялись все чаще и чаще, и, наконец, Осип был вынужден на три месяца уехать к отцу. И хотя он клялся когда-то, что и двух часов не может прожить без Ревекки, разлука не повредила ему; благодарение господу, он перенес ее и не умер. Наоборот, говорят, он даже поправился немного в родном городе, среди своих старых знакомых. А злые люди, враги, поговаривали, что он якобы заглядывается на свою кузину, очень красивую девушку, которая только и ждет (о, злые языки!), чтоб Осип развелся с Ревеккой. Эти сплетни дошли и до несчастной, покинутой Ревекки Бланк, она же Ревекка Земель, изрядно измученной терзаниями, — любви или ненависти, кто скажет? Трудно сказать, что вышло бы из всего этого, если б мадам Ревекка Земель не получила такую телеграмму:

«Передать Ревекке скончался папенька оставил 300 000. Сердечно сокрушен. Приезжай. Осип Земель».

Когда пришла эта телеграмма, наш прославленный Сендер Бланк обедал. Тем не менее он тут же удалился с дочерью в кабинет, где они оставались около получаса. Когда они вышли, глаза у Ревекки были заплаканы. Ни за какие деньги не поехала бы она к мужу! Но кто не знает, как мягкосердечны женщины, как жалуют нас, мужчин, даже когда мы дурно обходимся с ними?.. Осип, бедный, осиротел, бедняжка совсем один в таком тяжелом горе, в таких тяжких испытаниях... От слез у Ревекки горели щечки. Приодевшись и проходя по залу, Ревекка невольно задержалась, разглядывая себя в зеркале. На ее хорошеньком личике появилась улыбка: «Еще ничего все-таки». Позднее, когда Ревекка

сидела в вагоне и курьерский поезд мчал ее туда, к возлюбленному супругу, ее одинокому Осипу, с ней приключился случай, о котором мы не можем умолчать и хотя бы кратко должны рассказать о нем нашим читателям.

Войдя в вагон, Ревекка раза два прошлась взад и вперед, разыскивая место поудобнее. Наконец нашлось одно местечко у окна, напротив молодого человека, углубленного в чтение. Поезд уже давно двинулся в путь, а молодой человек все не отрывал глаз от книги. Хотя Ревекка была женщиной общительной и не любила сидеть молча, все же она не хотела первой заговорить со своим *vis-à-vis*¹.

Опершись на локоть, она призадумалась. В это мгновение молодой человек закрыл книгу, собираясь вздремнуть. Глаза его невольно остановились на молодой женщине, на ее белоснежной обнаженной ручке — Ревекка была божественно хороша в эту минуту. Сон соскочил с молодого человека, он пожирал глазами сидящую напротив красавицу.

— Далеко едете, мадемуазель?

При слове «мадемуазель» Ревекка порозовела и сделалась еще лучше. Она сказала, куда едет, и вскоре между ними завязался длинный разговор, из которого Ревекка узнала, что молодой человек — еврей, студент, очень славный, умный и веселый малый. Студент рассказывал множество анекдотов, а Ревекка от души смеялась, к большому удовольствию молодого человека, любившего повеселиться и повеселить других. Ревекка тоже не молчала и, со своей стороны, поделилась несколькими интересными историями. Молодые люди беспрестанно смеялись, на остановках они выходили вместе, ели, пили, лакомились — всё вместе. На одной остановке пришлось ожидать поезда целых три часа. Наши молодые путешественники гуляли по платформе под руку, и студент держал какую-то речь, очень длинную и красивую. Ревекка в первый раз слышала такие слова, даже в лучших романах она этого не читала. Новый мир открылся перед ней, огромный, прекрасный, светлый мир!.. А в небе, глядя вниз, сияло солнце; все цвело, пело, жило, — было начало мая. Вы понимаете?.. Ревекка взглянула на молодого студента и встретилась

¹ Сидящим напротив (*франц.*).

с его большими горящими глазами. Она почувствовала, как краснеет, и на душе у нее сделалось так же хорошо, светло и тепло, как было вокруг в природе. Голова у нее горела, никогда еще ничего подобного Ревекка не испытывала. Она не помнит, как рука ее очутилась в больших теплых ладонях молодого студента. Она не помнит, что он сказал ей. Но когда она снова встретилась с его прекрасными черными глазами — рука ее вдруг выскользнула из его рук. Она вспомнила, что ее ждет муж, одинокий Осип!.. Еще минуту она стояла и смотрела на молодого человека, сравнивая его со своим Осипом: его красивые глаза — с маленькими красноватыми глазками Осипа за дымчатыми очками; его светлую умную веселую голову — с бараньей, пустой, как мячик, головой Осипа; прекрасную речь молодого человека — с вечным враньем Осипа...

«Прочь, прочь дурные помыслы! Прочь, ложные надежды!.. Туда должна я ехать! Я должна, обязана, я не могу не поехать!.. Как же иначе? Как может быть иначе? Туда! Туда!!!» — думала Ревекка и с быющим сердцем попрощалась со студентом.

Поезд еще только подъезжал к месту назначения, а Ревекка уже из окна вагона увидела Осипа. Он стоял на платформе, как всегда очень нарядно одетый. В голове ее вихрем пронесся образ молодого студента, с которым она простилась лишь два часа назад, но не успела она как следует подумать, как Осип уже был в вагоне, обнимал, целовал ее и пылко, горячо говорил, говорил. Ревекка ничего не слышала... В фаэтоне (Осип выехал встречать жену в великолепном отцовском экипаже) она положила свою разгоряченную голову на плечо мужа и расплакалась, как малое дитя... Осип успокаивал и утешал ее, как только мог; так доехали они наконец до дома. Новый город, новый дом, новые знакомства и комплименты вытеснили из головы Ревекки образ молодого студента.

В этот период между супругами разыгрывались не слишком красивые сцены. Осип играл в них роль грешника, он на коленях просил прощения, а Ревекка из жалости прощала его... Однажды утром горничная застала их в весьма плачевном положении: мадам Ревекка, стоя в одной сорочке, рвала на себе волосы, а господин Осип, с ботинком в одной руке и дымчатыми очками в другой, неподвижно глядел на нее.

Зато с каким шиком и блеском они ежедневно выезжали! Как великолепно Ревекка одевалась! Сколько дам и барышень завидовали ее богатству, ее положению! Зачем нужен, читатель, хороший интеллигентный, образованный муж? Лучше пара серых рысаков! Какой прок, — скажите, читательница, — в счастливой жизни с любимым, но бедным мужем? Лучше ложа в театре! К черту дети, к черту все идеалы! Лучше великолепный ужин, блестящий бал, танцы с офицерами!

Через год, когда кончился траур и Осип перестал оплакивать своего дорогого отца, он с несколькими компаньонами открыл большое предприятие по торговле каменным углем. В одно прекрасное утро на доме Осипа появилась огромная вывеска. На ней золотыми буквами было написано: «Главная контора каменноугольного товарищества Земель, Файферман и К^о».

В этой конторе сидели три бухгалтера, два письмоводителя, секретарь, кассир и с девяти утра до пяти дня играли в преферанс. А Земель, Файферман и компания укатили в Петербург — бог знает зачем!

В прекрасно обставленном доме осталась одна Ревекка. Избранные молодые люди собирались у нее почти каждый вечер, чтобы перекинуться в картишки. Так прошло три года, три хороших спокойных года для бухгалтеров и письмоводителей Земеля, три веселых года для Ревекки и ее знакомых и три печальных года для незадачливого господина Земеля, который потерял весь свой капитал, бедняга, да еще ввязался в тяжбу со своим компаньоном Файферманом, прошу прощения, надувшим его. Тихо, без церемоний была снята золотая вывеска с дома Земеля и так же тихо, без церемоний водворена на чердак. Там среди всякого хлама лежит она и по сей день; пауки ткут на ней свои искусные узоры, мыши пляшут с большим воодушевлением... На ее месте давно висит другая вывеска, только буквы уже не позолочены: «Механическое прачечное заведение». Фамилия Земель, правда, не проставлена, но мы хорошо знаем, что прачечная принадлежит именно ему, Осипу Земелю, и ничего дурного в этом нет: только бы заработать. Но то-то и горе, что заработков не видно. Осип Земель открыл прачечную на широкую ногу, с шиком, и бог знает, продержится ли она еще месяц, в лучшем случае — два.

При таких печальных обстоятельствах Осип с Ревеккой неожиданно получили тревожную телеграмму и прибыли к Сендеру, где мы имели честь их увидеть.

Глава седьмая,

*в которой читатель знакомится
с двумя второстепенными персонажами нашего романа*

Уж такова участь стариков: стоит им только оказаться среди молодых, и о них тут же забывают, точно их и на свете нет.

Среди всех наших персонажей, которые вертятся в доме достопочтенного Сендера, мы совсем забыли упомянуть семидесятилетнюю тетю Добриш с подвязанной щекой, высокую и дородную старуху той же крупной породы, что и ее родной брат Сендер.

— Как вы сюда попали, тетенька? — спрашивали у нее молодые дамы. — Когда вы приехали? Откуда?

— Ох! — покачивая головой и вздыхая, отвечала тетя Добриш. — Ох! «Хорошую» новость я услышала от здешнего балагулы, который ездит к нам каждую неделю! От него я и узнала о несчастье! Ох! Один брат! Один-единственный брат! И какой брат! Такой брат! Ох! Ох!

— Что вы охаете, Добриш? — отзывалась Мириам-Хая. — Бог даст, он выздоровеет с божьей помощью.

— Да, мое дитя, бог всемогущ, да! Он, конечно, все может. Над всеми врачами врач!

Знаменитый Осип Земель, только что получивший хорошенький «бенефис», излил на тетю Добриш всю свою желчь, пустив в ход самые острые словечки, чем немало насмешил собравшуюся публику. Только спустя несколько часов после приезда тетю Добриш позвали к больному брату, где она посидела несколько минут и тут же вышла. Наш неунывающий герой, раскатисто хохоча, пустился передразнивать ее плач, ее манеру сморкаться, всё решительно. Публика потешалась, а Осип сиял от радости.

— Смейтесь, смейтесь, деточки! — совершенно добродушно замечала добрая тетушка. — Когда-нибудь вы тоже состаритесь, тогда и над вами будут потешаться!

Весельчак Осип, к великому удовольствию всей родни, не переставая вышучивал старуху, а добрая

тетя Добриш не только не возражала, но и смеялась вместе со всеми.

Трудно постигнуть простоту и добродушие этой старухи: то ли она действительно так добра, то ли тут скрывается нечто иное. Мы знаем, что тетя Добриш успела отправить на тот свет трех здоровенных мужей и к пятидесяти годам осталась «катлонис»*, как это у нас называется; детей у нее не было.

Тетя Добриш предвидела, должно быть, что на старости лет она останется одинокой, а одной рукой, как говорится, и узла не завяжешь. Вот она и припасла несколько сот рублей да еще маленький домик с бакалейной лавочкой, из которой понемногу извлекала средства к жизни.

В городе ее называют «тетя Добриш», а крестьяне зовут — «Добруха». Она не только торговка, но еще и лекарка: у нее можно достать всевозможные лекарства, различные травы, яд, мышьяк, розмарин, шалфей, ромашку; она большая специалистка заговаривать от дурного глаза, лечить зубную боль, рожу, гадать на воске и на картах, заставить сбежавшего мужа вернуться верхом на кочерге; она изгоняет ведьм, чертей, демонов; и многое другое знает и умеет тетя Добриш.

Встретив тетю Добриш, каждый приветствует ее, а крестьяне относятся к ней с большим уважением, — как она того и заслуживает. Летом ее можно встретить еще до восхода солнца, собирающей травы в поле, а зимой, поздней ночью, кое-кто видел, как она машет руками на полную луну и что-то нашептывает. В городе о ней рассказывают довольно некрасивые истории, и начальство давно уже имеет против нее зуб, но в маленьких городишках, как вы знаете, все остается шито-крыто.

— Ведь вы же знаток своего дела, — приставал к ней Осип. — Что же вы не вылечите брата?

— Бог, бог пошлет ему исцеление, дитя мое! Он врачует все живое, дитя мое! Он покажет чудо, дитя мое, подлинное чудо!

Множеством древнееврейских изречений уснащает свою речь тетя Добриш, поэтому-то она и славится как женщина ученая, образованная; народ говорит, что у нее мужская голова.

— Ну, а заговоры разве не помогают? — опять пристает к ней Осип.

— Нет, дитя мое! В чужом городе, дитя мое, заговор не имеет силы.

Наш герой долго еще подшучивал над тетей Добриш, но она нисколько не обижалась, только и было слышно «дитя мое». В конце концов его насмешки приелись, и Ревекка оборвала мужа:

— Хватит, Осип, хватит!

И так посмотрела, что он тут же замолчал и уже не раскрывал рта до тех пор, пока не приехал доктор Клигер. Зато, провожая доктора, Осип вознаграждал себя за вынужденное молчание, обрушившись на него всеми своими делами. Он рассказал доктору о крупном процессе с компаньоном Файферманом, присвоившим его, Осипа, полтора миллиона, об американской прачечной— дела идут хорошо, честное слово!

Вначале доктор Клигер заинтересовался было всеми этими историями: и процессом о полутора миллионах, и американской прачечной. А герой наш так просто наслаждался: сам бог послал ему человека, который интересуется его делами. Осип вынул целую кипу бумаг: прошений, копий, счетов, планов, векселей, расписок, и доктор Клигер должен был просмотреть все эти документы, — бедняга даже холодным потом покрылся. Но что поделаешь? Сам ведь накликать на себя беду. Несколько раз пытался он вырваться из рук Осипа, то и дело смотрел на часы, но напрасно. Осип вгрызся в него своими делами и мучил битый час, пока подоспевшая Ревекка не прервала его излишней (ее-то наш герой побаивался).

Выехав со двора Сендера, доктор Клигер облегченно вздохнул и в страхе оглянулся, не бежит ли за ним господин Земель со своими документами.

— Редкостная голова! — с увлечением рассказывал доктор Клигер в доме следующего пациента. — Полтора миллиона! Я был у пациента, у господина Бланка; ведь вы знаете господина Бланка? У него есть зять — редкостная голова! Представьте себе он ведет процесс о полутора миллионах!

— Вот как? А ваш больной? Как здоровье господина Бланка?

— Эх! Пока без всяких изменений, статус нервозус... Я считаю, что завтра или послезавтра — не позже — должен наступить кризис; или туда, или сюда. — И доктор

Клигер всем корпусом изобразил движения, которые должны были пояснять его слова.

— Ай-яй-яй! Жаль, право, такого человека, как реб Сендер, господин доктор!

— О, разумеется! Славный человек, порядочный человек, редкий человек!

— Ну, а жена и дети, господин доктор?

— О, не спрашивайте! Конечно, большой удар, большой удар, большое несчастье для бедной жены и детей. Добрые люди, честные люди! Вся семья! Каков поп, таков и приход. Яблоко от яблони недалеко падает... Порядочные люди! Но что делать?

— Добрейший человек, золотой души человек этот доктор Клигер!

Так славословят его пациенты, так отзываются о нем и мы: чудесный, золотой человек! Все его знают, везде он бывает. Куда ни позовут, он едет. Разбудите его среди ночи, он поедет с вами на край света, — только бы полтинник... Ой, как же он любит этот самый полтинник! Простите, пожалуйста, а чего бы вы хотели: чтобы он бесплатно ездил к вам? До чего же невыносимый народ эти идеалисты!

Доктор Клигер очень любит полтинник; он так страстно любит его, так гоняется за ним, что торгуется даже с бедняком, у которого нет ничего, торгуется до тех пор, пока тот как-нибудь не раскошелится. И все же я не вижу в этом ничего дурного, тем более что его постоянно подгоняют.

— Иди, душа моя! Я слышала на рынке, что такой-то лежит в тифу, а у того-то ребенок болеет корью! Иди, жизнь моя, скорее. Там ты можешь получить рубль, а может быть, и два. Я ведь знаю, сколько мяса они берут каждый день. И если б ты видел, какие туалеты носят его жена и дочери, ты бы сам сказал, сердце мое, что черт их не возьмет! Ничего, мамочка, ты достаточно потрудился, пока получил диплом, нам на счастье! Не стесняйся, венец головы моей, это твоя профессия; это твой магазин, твоя торговля, а врачей теперь достаточно...

Я думаю, мой читатель уже догадывается, что такие сладкие речи может произносить только жена, — жена, которая всей душой предана мужу. Благо тебе, господин доктор, и слава тебе на земле, благословенный, счастли-

вейший из всех, из всех мужей! От всей души желаем тебе всяческих благ!

Я снова должен просить прощения у моих читателей и читательниц: ведь я оставил нашу милую семейку Бланк и немного занялся второстепенными персонажами. Но, во-первых, добрая тетя Добриш нашему Сендеру родная сестра, одна плоть и кровь. И раз эта добросердечная сестра приехала навестить своего брата, она, наверное, заслужила кусочек места в нашей хронике; во-вторых, доктора Клигера не мы сюда привели, его привел слуга Фройка.

После первого посещения этот добрый доктор стал ездить к Бланкам пять раз на день. Боли в желудке, мучившие Сендера, он раздул в целую историю, а его верная жена, докторша, раззвонила по всему городу, что старый Бланк умирает: болезнь тяжелая, что-то вроде холеры! В городе эпидемия холеры! Надо быть очень осторожными, очень. Нужно вовремя показаться доктору, не откладывая в долгий ящик!..

Глава восьмая

*Здоровые забывают о больном и еще кое о чем
Сытый голодного не разумеет.*

Часы пробили десять, когда семья Сендера Бланка села ужинать.

На почетном месте, где обычно сидела Мириам-Хая (теперь она оставалась в кабинете, при больном муже), восседала Ревекка. Справа от нее — Соня, слева — Хаим, рядом с Хаимом уселся Осип, рядом с Соней — Маркус, рядом с Осипом — старая тетя Добриш. Ужин протекал как обычно, — все были сдержанны: место Сендера оставалось незанятым, и всем было немного не по себе. Наш неунывающий герой, правда, пытался подшучивать над тетей Добриш, но его острые словечки никому теперь не нравились. Что касается тети Добриш, то она сла на свой манер: после каждого глотка она откладывала ложку и вытирала губы. Фройка подавал гостям с особым старанием: ему хотелось показать себя. От большого усердия бедняга пролил тарелку бульона на господина Земеля. Наш франт вскочил с места и, отпустив верному слуге огненную оплеуху, со слезами

на глазах принялся вытирать и чистить свое платье, осыпая Фройку самыми страшными проклятиями. С того вечера возгорелась смертельная ненависть между аристократом Земелем и слугой Фройкой.

После ужина все отправились пожелать спокойной ночи больному отцу. Мириам-Хая так и осталась в кабинете у Сендера, тетя Добриш легла спать где-то в уголке, лелея надежду на вмешательство провидения, малыши давно уже спали сладким сном. А Хаим, Маркус, Ревекка, Осип и Соня уселись в роскошном зале. И я по сей день не знаю, каким образом, отчего и почему, но все вдруг согласились играть в карты. Никто еще не успел что-нибудь сообразить, как Осип уже держал в руках новенькую колоду карт, лицо его сияло. Но в этот вечер ему не суждено было сдавать карты: Ревекка, нисколько не стесняясь, закричала во весь голос:

— Простите, Осип Моисеевич! Пожалуйте карты сюда. Слишком уж вы большой мастер по части пяти тузов...

Публика рассмеялась, а бедняга Осип от досады принялся грызть ногти. Свою злость он тут же сорвал на несчастном Фройке, подвернувшемся ему под руку со свечами и мелком. Фройка злорадствовал, от удовольствия он чуть не позабыл, что от оплеухи Осипа у него вздулась щека.

Карты начала сдавать Ревекка. Сначала компания играла как-то без увлечения, молча, но понемногу все оживились: говорили, считали, смотрели, подсчитывали и ставили деньги, украдкой заглядывая к соседу в карты, подмигивая, улыбаясь; все, кроме одного Хаима, который сидел, как чужой, то и дело меняя рубли. Больше всех возбужден был господин Осип Земель: волосы его растрепались, лицо горело, лоб покрылся потом. Ему не сиделось, он то и дело подскакивал:

— Валяй!.. Я покупаю!.. Давай его сюда, озорника! Шпарю дальше! Королеву ущипнем за щечку, а королю шиш под нос! Два туза — два глаза! Хлоп по морде! Ага, Ревекка! Давай, давай! Хорошо-хорошо! Еще! Еще! Вот так учат у нас! Бей простофилю! Свистишь, брат? Полезай, полезай, Хаим-сердце! Софья Абрамовна! Ложитесь спать! Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот! Бей! Тпру, не спеши! Маркус, ставь деньги! Ищи, ищи, Хаим! Ревекка, молодец!..

Наш уважаемый Осип до тех пор горячился, пока кошелек его не опустел окончательно. Тогда только он встал и шепнул что-то Ревекке.

— Я не хочу, не желаю! — громко отрезала нежная жена. — Если у тебя нет денег, можешь не играть.

Осип, вне себя от гнева, так же громко ответил:

— Ты думаешь, у меня нет денег? Честное слово, есть! Вот я сейчас принесу.

И герой наш побежал прямо к Фройке и попросил у него займы до восьми часов утра. Честное слово!..

Фройка упрямо отказывал, припоминая Осипу оплеухи, но все-таки в конце концов сжалился (у него было очень доброе сердце!) и ссудил его десятью рублями с таким условием: не позже чем завтра в восемь часов утра Осип вернет ему пятнадцать.

С большим апломбом Осип влетел в зал.

— Ну и город! В двенадцать часов ночи негде уже разменять сто рублей! Честное слово!

Прошло еще полчаса, и десятка Фройки растаяла. Компания, возможно, мирно разошлась бы — каждый в свой угол, — если б разгоряченный господин Земель не вскочил вдруг с места как ужаленный с воплем:

— Софья Абрамовна! Вы должны помнить, что вы не с жуликами играете! Я не люблю таких афер! Честное слово!

Соня переменялась в лице, а публика набросилась на Осипа:

— А? Что? Где? Когда?

— Как?! — кричал Осип уже не своим голосом. — Как вы позволяете себе такое? Мы не карманники! Тут играют честные люди, не картежники! Софья Абрамовна! Я протестую! Вы поставили пятиалтынный и взяли сдачи двугривенный! Признайтесь! Честное слово!

— Ах вы картежник! — набросилась на него Софья Абрамовна. — Вы ведь настоящий аферист! Вы думаете, я не замечаю, как вы под столом наступаете Ревекке на ноги?

— Ах ты мерзавка! — в свою очередь, обрушилась на нее Ревекка. — Ты опять начала свои старые штучки?..

И, бросив карты Соне в лицо, Ревекка выскочила из-за стола.

— Сама ты мерзавка! — злобно кричала ей вслед Соня. — А твой фронт просадил свое наследство в Петербурге на хорошеньких делах...

— А? Что??! Я???! Я???! Я???! Честное слово!

— Тихо!

— Что ты скажешь на эту катастрофу, на эту трагедию? — произнес Маркус про себя.

— Ш-ш-ш-ш-ш-а! Хозяин приказал, чтоб было тихо! — сказал, вбегая, испуганный Фройка.

Фройкины слова подействовали как электрический ток. Компания тут только вспомнила, что сейчас не время играть в карты.

Все молча на цыпочках тихонечко разошлись по своим углам, надувшись и повесив носы, даже не пожелав друг другу спокойной ночи.

* * *

Лежа в постели, Хаим спросил Соню: «Что все это значит?» Соня поклялась ему жизнью своих детей, что она ничего знать не знает и готова поклясться на святой горе, что сама видела, как Осип подвигал свои карты Ревекке, а Ревекка кивала на Маркуса.

— Можешь гордиться своей родней, Хаим! Разве в доме моего отца могло произойти что-нибудь подобное? А, Хаим? Твоя сестра получит больше, чем ты, хотя она и женщина. Я проиграла двадцать два рубля, а Ревекка их выиграла, и доля в наследстве у нее будет больше, чем у нас, даром что ты сын, а она дочь!.. Ревекка всегда подлизывалась к отцу и льстила ему, вот она и получит больше, чем ты. Это я заранее тебе говорю, Хаим! И можешь на меня сердиться сколько хочешь!..

* * *

— Сколько ты выиграла, Ревекка? — спросил Осип, полураздетый, возбужденно шагая по комнате.

— Тебе непременно нужно это знать, Осип? — спокойно ответила Ревекка и принялась считать свои капиталы: сорок, пятьдесят, шестьдесят, семьдесят пять, восемьдесят три, восемьдесят шесть, восемьдесят семь, девяносто, девяносто два и сорок копеек... — Девяносто два рубля и сорок копеек... Осип! Дай-ка сюда мою шкапулку!

Осип подал ей шкатулку, и Ревекка положила туда свои деньги. Заперев шкатулку, она передала ее Осипу и приказала поставить на место. Бедный Осип смотрел на шкатулку с величайшей завистью.

— Пора бы, Ревекка, твоему старику...

— А чем он тебе мешает, если и останется жив, Осип?

— Я о твоём благе хлопочу, Ревекка! Честное слово!

— Я прошу тебя не беспокоиться обо мне, Осип!

— Гм...

— Как он, по-твоему, Осип?

— Плох, очень плох, Ревекка. Не сегодня-завтра...

Честное слово!

— Ну, ну! Прикуси язык!

— Гм...

— Что говорит доктор, Осип?

— Доктор говорит, что он должен написать завещание, потому что...

— Доктор — такой же дурак, как ты!

— Гм...

— Я думаю, что у него где-то уж лежит завещание.

Как ты думаешь, Осип?

— Дай-ка я расскажу тебе, Ревекка. Ты же моей клятве не поверишь, но клянусь тебе, лопнуть мне на этом самом месте, не встать с этого места, честное слово!..

— Ага, ты уже клянешься? Ну, значит — это ложь! Довольно, довольно, Осип!

.....

Спокойной ночи! Мы уложили всех наших героев. Теперь они должны отдыхать и вкушать сладкий сон после всех глупостей и нелепостей прожитого дня. Я полагаю, что и романисту положен предел, до которого ему разрешается следовать вместе с читателем за своими героями. С нашей стороны и так уж не очень деликатно, что мы разрешили себе подслушать, о чем толкуют между собой наши благородные герои, ложась спать. Покидая дом Сендера, мы имеем право говорить, обсуждать, жалеть или осмеивать всех, с кем нам здесь пришлось познакомиться, — никто не может нам этого запретить. На то я — писатель, а вы, мой милый друг, — читатель, чтобы мы с вами судили о других. А другие пусть судят о нас. Как хотят и сколько хотят!

Спокойной ночи!

Глава девятая

*Тут только начинается настоящее представление,
и актеры могут показать все свое искусство*

Я очень доволен, что имею возможность начать эту главу, как настоящий романист, и показать моему милому читателю душераздирающие сцены и трогательные картины, ни в чем не отставая от моих коллег — романистов, которые давно стяжали лавры и с которыми я ни в какой мере не могу тягаться. Ведь, как говорится, их мизинчик толще моих бедер, и проживи я еще хоть сто лет, мне не написать таких прекрасных романов, какими может гордиться наша новая еврейская литература, ни в чем не уступающая другим литературам. Но я надеюсь на всевышнего. Я верю, что придет, с божьей помощью, время, когда эти прекрасные романы будут грузиться целыми вагонами и будут отправляться куда-нибудь далеко-далеко. И я думаю, что тот, кто приобретет их, наверно, заработает массу денег на этом бумажном предприятии... Я представляю себе печальное положение наших романистов (если только они доживут до этих дней), их вытянутые физиономии, когда они увидят, как их произведения упаковываются в мешки и тюки, как грузчик подхватывает и швыряет в вагон целую кипу их в высшей степени интересных романов, в четырех частях, с эпилогом и посвящением в стихах! Прости-прощай, светлокудрые герои, страшные злодеи, еврейские графы и бароны, необузданные миллионеры, одичалые еврейские ростовщики, не существующие в природе и поставленные на высокие ходули безудержной фантазией этих приказчиков, называющих себя авторами, писателями, романистами!.. * Но должно пройти еще довольно много времени, пока еврейская публика поймет, как долго ее кормили чепухой, пичкали просто трухой; пока приказчики от литературы возьмутся за свои старые профессии и перестанут пачкать чистую бумагу. А пока не настали еще эти счастливые времена, мы попытаемся преподнести читателям романтическую сцену в том же духе, — как сюрприз, как премию к нашему произведению.

Итак, была чудесная, роскошная ночь. По небу плыла прекрасная луна (радующая всех влюбленных), бледный лик ее склонялся вниз и глядел на грешную

землю, как свидетель всех низостей, совершаемых суетными людьми. Звезды, подобные брильянтам, рассыпались по чистому голубому небу; на земле царила жуткая тишина, точно природа со всеми своими творениями уснула тяжким сном, точно все на земле вымерло. Не слышно было голоса человека, пения птицы, лая собаки, шороха травы, шелеста ветвей.

В прекрасном городе Н., где разыгрывается наша изящная история, все спало безмятежным сладким сном.

И только я, автор этой книги, один только я в целом городе бодрствовал в эту прекрасную летнюю ночь. Один-одинешенек, углубленный в размышления, бродил я по улицам в поисках литературного материала. Но сколько я ни думал, я не мог придумать ничего, что годилось бы для романа. Однако бог все-таки сжалился над молодым писателем, и глаза мои узрели какие-то черные сгрудившиеся фигуры... Фигуры эти всё приближались, и мне показалось, что я вижу мертвецов, одетых в черное. Мертвецы как будто говорили между собой, спорили, ссорились; они теснились вокруг погребальных носилок, и я мог бы поклясться, что каждый подносил ко рту что-то вроде бутылки, затем передавал другому, другой третьему и так далее. Мороз пробежал у меня по телу, волосы стали дыбом. Я хотел бежать, но ноги не слушались меня. По сей день не могу понять, как я не умер со страху! Но представьте себе мое изумление, когда эти мертвецы с носилками подошли совсем близко, и я узнал их!

— Добрый вечер! Это вы, члены погребального братства?

— Добрый вечер! Да, это мы, мы.

— Откуда? Куда?

— С кладбища к реб Сендеру-богачу. Залмен! Где инструмент? У Лейви-Мордухей? Поставьте носилки и давайте-ка сюда бутылку, глотнем по капельке.

— Реб Рефоел, что вы говорите, умер реб Сендер?

— Умер не умер — это не наше дело: за нами послали, и мы идем. Не ради удовольствия, конечно. Когда обращаются к старшему погребальщику Рефоелу? Когда нужно на тот свет... Михоел, есть у тебя понюшка табаку?

— Так!.. Значит, реб Сендер тоже ушел в лучший мир? Жаль, право, реб Рефоел.

— Жаль? Почему? У него был жирный живот? Пусть черви радуются... Уйти от смерти трудновато, а

на кладбище места хватит, батенька мой!.. Ребята, пошли! Хватит вам хлебать, оставьте немного на после. Жена Сендера — славная женщина. Ведро спирту она, наверно, поставит. А? Хорошо бы разделаться с ним до рассвета... Как вы думаете, который теперь час?

— Около двенадцати, реб Рефоел.

— Как? Двенадцать? Ребята, а ну, ребята, торопитесь! Айда!

Неожиданное известие о смерти Сендера так сильно поразило меня, что я пошел за людьми из погребального братства, не задумываясь, куда и зачем иду. Пока Сендер был жив, я мало им интересовался, но когда я услышал, что он умер, у меня защемило сердце. Чему вы удивляетесь? Человек живет, ест-пьет, ходит и вдруг — на тебе! Как может это не трогать? Тем более такой Сендер, который... который...

Но давайте лучше послушаем, что говорят в городе, что говорит народ, — все эти кучки евреев, которые стоят во дворе реб Сендера, вокруг дома реб Сендера, в доме реб Сендера.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

— Какая масса народу, не сглазить бы!

— Недаром мы, евреи, народ жалостливый.

— Что же вы думаете, он действительно заслужил, чтоб ему были оказаны почести.

— Что такое? Чем же он их заслужил?

— Как, а благодеяния, которыми он осчастливил город? Разве это не было большой милостью?

— Благодеяния? Какие благодеяния?

— Может быть, вы скажете, он щедро помогал бедным?

— Что это значит, по-вашему, реб Меер, помогать бедным?

— Или давал крупные пожертвования?

— Не знаю, чего вы хотите?

— И к тому же, может быть, вы скажете, что он был человек ученый?

— Да, мировой гений! А как же! Господи!

— Но зато он был богобоязненным евреем?

— Да, страшное дело!

— Ламел-вовник*. Ха-ха-ха! Один из тридцати шести праведников, на которых мир держится! Ха-ха-ха!

— Все вы большие праведники!

— Праведники, вы говорите? Наши дети тоже ходят с непокрытыми головами, как дети реб Сендера, а? Что вы говорите, реб Хаим? Мой зять тоже курит в субботу*, да?

— И наши дочери тоже, вероятно, не носят париков*, да?

— Спасибо вам за это, может быть?

— Зачем нам все эти глупости, скажите, будьте добры? А что говорит наш староста?

— Староста погребального братства?

— Да, да, реб Калмен Верзила.

— А я знаю? Я в общественные дела не вмешиваюсь... пускай сами бьются головой об стенку!

— Что вы на это скажете? Он не вмешивается в общественные дела!.. Дожили! А?

— Я думаю, к чему нам эти пустые споры? Скажите лучше, дадут немного денег?

— Что вы называете деньгами?

— Сколько денег? Деньги деньгам розны!

— Я думаю, мешков десять...

— Почему не двадцать, скажите, пожалуйста?

— Двадцать тысяч рублей? Боже мой! Что мы будем делать с такой суммой?

— Пропади ты пропадом, дурень несчастный! Как вам нравится эта напасть?

— Скажу вам по правде, двадцать тысяч — не так уж страшно! Не такая уж беда! А почему бы и нет? Немножко меньше достанется наследникам! Тоже горе!

— Ничего, он достаточно накопил!

— Да, деньги он нажил честно!

— Чужими руками!

— Еврейская кровь на этих деньгах!

— Тише, что там за крики?

— Где? В доме? Вероятно, уже выносят? Нет! Мне кажется, что это голос Гецла.

— Какого Гецла?

— Портного Гецла?

— Чего он хочет, этот скандалист! Всюду суется!

— Портняжка! Нахал! Кто его не знает?

— Вот как? Вы не можете ему этого простить? Стоит только нашему брату слово сказать, как вас черт за душу хватает! Если заговорил портной, так у вас голова болит?! Я тоже портной и совсем не стыжусь своей профессии! Лишь бы не бездельник, не кровопийца, не саб-

батианец!* Черт вас подери, почему не поживиться здесь, не облизать жирную косточку? Много у нас таких реб Сендеров? Почему-таки не урвать хоть что-нибудь для портновской синагоги? Обжоры! Пьяницы! Негодяи!

— Нечего сказать, нарвались на комплименты!

— Что там за крик?

— Это кричит носильщик. Он требует тридцать тысяч! Тридцать тысяч, и только!

— Тридцать! Сорок! Тридцать!

— Сорок! Сорок!

— Чего сорок?

— Сорок тысяч рублей!

— Сорок! Сорок! Сорок!

— Кричите, ребята, сорок!

— Сорок! Сорок! Сорок!

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

— Ну, я вас спрашиваю, реб Калмен, вы же честный еврей! Как же может быть, чтоб вы сказали такое?..

— А что я говорю? Разве я что-нибудь говорю? В чем вы меня подозреваете, реб Хаим? Ваш отец, да продлит господь его жизнь, бог — великий кудесник, но если, не приведи господь, пусть минет нас такая минута, ваш отец закроет глаза, дом разнесут! Вы видите? Посмотрите, пожалуйста, в окно, какая толпа собралась!

— Чего же вы хотите, реб Калмен?

— Чего я хочу? А чего я могу хотеть? Я ничего не хочу! По мне, пусть будет так, как вы хотите! Я вам, поверьте, лучший друг. А с вашим отцом я, знаете, в самых лучших отношениях! Попросить взаймы, любая услуга, любая нужда... В этом случае я думаю о вашей пользе. Вы должны соблюсти приличия и удовлетворить народ. Все-таки, как говорится, капитал!.. Первый богач в городе!.. И зачем мы станем обманывать самих себя? Ваш отец, конечно, был порядочный человек, честный человек... Если он жив еще, пусть бог продлит его жизнь... А если нет, да простит он меня... но все-таки он не выполнил своего долга перед городом! Подобало бы поэтому, чтоб вы, его наследник, старший сын... как это сказать...

— Что вы имеете против нас, реб Калмен, господь с вами? Отец действительно плох, но ведь он не умер, он еще жив! Разве это не злодейство? Я вас спрашиваю, реб Калмен? Бога вы не боитесь!..

— Э, реб Хаим, вы должны со мной иначе разговаривать! Кто виноват? Сами виноваты!.. Вы подняли крик: «Евреи, спасайте!» Вот народ понемножечку и собрался... Люди слышат такой плач... видят, все бегут, все кричат: «Умер! Умер!» Спросили у врача, он говорит: «Плохо! Плохо!» Ваш слуга сказал: «Конец! Конечно!» А тут родные плачут. Ну так ведь это же евреи, вот они и сбежались. Ваш отец все-таки, как говорится... И попробуйте только сказать народу, что он еще не умер. Разве вам поверят? Слишком поздно!.. Вон идут погребальщики. Подите-ка поговорите с ними! Нахалы, кто посылал за вами? Вон, пьянчужки, батьке вашему так-перетак!

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

— Ой, гром меня разрази! Зелда, вы слышите плач? Вы слышите, как хозяйка воет? Горе мне! Златка, не иначе он кончился! Боже мой! Нет уже моего хозяина! Малка! Златка! Бегите наверх, узнайте у Фройки, горе мое великое!

— Вон бежит Фройка!

— Где? Что он несет? Какой-то узел?

— Фройка-сердце, что слышно? Уже или еще нет? Фройка! Что ты молчишь? Говори! Уже или еще нет?

— Уже... Еще нет... Как это вам нравится? Хайло раскрыла! Провалитесь вы все! Пропадите пропадом! Хорошенькая благодарность! Служил, служил, и хоть бы мне в руку плюнули... Хоть бы верхнюю рубашку, хоть бы старый жилет! Пропадите вы все с вашей хозяйкой вместе! Увидела у меня ключи, и тут же забрала... Промучился семь лет — нитки не тронул, что же я теперь, заберусь в шкаф, что ли? Чтоб вам без ног остаться! Работай день и ночь, как проклятый, ни минуты покоя! И что же? Чтоб вы в огне сгорели! Велика беда, если б Фройка получил еще один пиджак и еще пару штитлет?.. А часы? Кто теперь без часов? Каждая дрянь носит часы, — нá, смотри, полюбуйся на меня! А Фройке не нужно! Фройке ничего не нужно! Фройка должен служить каждому, как собака, и всё... Сапоги чисть, на стол накрывай, на побегушках бегай, письма носи, туда иди, там стой, тьфу на вас всех! Зелда, ложки! Давайте сюда ложки!

— Какие ложки? Что ты привязался?

— А ну-ка, серебряные ложки! Дюжину ложек! Давайте-ка сюда, прошу прощения, серебряные ложки! Зелда, скорее, скорее!

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

— Ой, венец головы моей, мой Сендер! На кого ты меня покидаешь? В тридцать девять лет вдова, — где это слыхано?

— Не плачьте, мамаша! Господь — отец наш, и свекор еще, может, выживет!

— Ой, не говори этого, Сонечка, не говори! Ты не видела его этой ночью, Сонечка. Совсем уже не тот Сендер!

— Вот послушаем, что скажет доктор, мамаша! Доктор там?

— Ой, чем может помочь доктор, Сонечка, когда я так грешна перед богом и так несчастна, так одинока и несчастна?..

— Ой, такой брат, один-единственный брат, как один глаз! Детки, молитесь бога, нашего великого, доброго, всемогущего бога, он все может, он может и мертвого воскресить! Ой, мой дорогой Сендер! Помнишь ли ты, как дорога была тебе Добриш, твоя единственная сестра? Помнишь ли, мой Сендер, как добра, как преданна я была, когда у тебя, не про наши дни будь сказано, дела шли не так хорошо и я, Сендер, помогала тебе всем, чем только могла?! И ты обещал мне, если только бог пошлет тебе немного счастья, отблагодарить меня наилучшим образом?! И вот теперь, Сендер, ты, оказывается, забыл свою единственную сестру Добриш, преданную тебе, может быть, больше, чем другие, да простит тебя господь, как я прощаю мою обиду. Сендер! Твои дорогие детки, наверное, не оставят меня на старости лет, и кто-нибудь из них, может быть, и позаботится обо мне, твоей единственной сестре, горемычной и больной вдове, Сендер! Но я уповаю еще на того, чье святое имя недостойна произнести. Если найдутся у меня какие-нибудь заслуги пред престолом его, он еще пошлет тебе полное исцеление. Другие ждут, Сендер, твоей смерти, но я еще буду иметь счастье говорить с тобой и, бог даст, поведаю тебе обо всем этом в радостный час.

ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЙСТВИЕ

Оно разыгрывается в закрытом помещении, куда мы никак не можем проникнуть. Мне удалось только разглядеть в окно нашу почтеннейшую мадам Ревекку Земель: с раздурявшимся лицом сидела она за круг-

лым столом, опершись на свою прекрасную белую руку, и серые глаза ее задумчиво блуждали.

Одному богу известно, о чем думала сейчас эта благородная дама. Вокруг нее, как всегда, скрипя ботинками и засунув руки в карманы, вертится ее милейший супруг, прославленный Осип Земель. Он хочет подойти к Ревекке, хочет что-то сказать ей, но, как видно, не решается...

А где наш Маркус, самый молодой из наследников? Может быть, только он один и сидит у изголовья отца? Весьма вероятно, что Маркус абсолютно забыл о себе и не отходит от смертельно больного отца. Все может быть на этом свете, и мы не должны каждому залезать в душу. Дайте вашу руку, читатель, и уйдем из этого дома. Радостей, как видите, этой ночью мы не найдем здесь... Дай нам бог созерцать более веселые, более приятные сцены!

Глава десятая,

в которой наша история принимает совсем иной оборот

Черные тучи надвинулись на дом Сендера, страшная ночь распростерла свои крылья: божья кара постигла Бланка и всю его семейку. Но... к чему мы будем себя обманывать? Вы, вероятно, прочитали уже достаточно романов и, должно быть, хорошо знакомы со всеми приемами и уловками романиста, который ведет и ведет вас, и вы думаете, что находитесь на верном пути. И вдруг — стоп! Ваши нервы натянуты, как струны, вами овладел страх, вы трепещете. Нет, господа! Я плохой романист и тайн не люблю: наш возлюбленный герой не умер, хотя очень легко можно было устроить, чтоб он умер, как умирают многие под пером автора, то есть утонув в капле чернил. Но, спрошу вас, велика ли штука загубить чужую жизнь? Надо иметь совесть, милые мои друзья, и надо входить в положение. Сендер Бланк действительно написал завещание, исповедался, благородно простился со своей семьей, но умереть ему хотелось не больше, чем нам с вами.

— Ну? Что я говорил? Кто прав? Не говорил ли я вам, что должен наступить кризис — туда или сюда?! Благословение и хвала господа за то, что — сюда!

Так сказал достойный доктор Клигер, и таким спокойным голосом, что тетя Добриш расплакалась, как

малое дитя, и, держа руки над головой, растолкала всю публику и бросилась в кабинет к больному.

— Ой, пустите меня, пустите меня, пустите меня! Пустите меня к нему! Я хочу на него посмотреть собственными глазами! Я хочу на него посмотреть! Пустите меня! Пустите меня!

Тут знакомые нам персонажи переглянулись, а наш очаровательный пересмешник Осип Земель так наступил Маркусу на ногу, что тот даже вскрикнул от боли. Вся семья собралась вокруг больного Сендера, который воскрес из мертвых. Поздравляю!

— Что вы скажете о моем муже? — звонила по всему городу добрая докторша. — Что вы скажете? Не правда ли, за такого доктора можно бога молить? Воскресил мертвого! Что? Может быть, нет? Что, я спрашиваю вас, стоит человеческая жизнь? Вот человек живет, а вот — тьфу!

И добрая докторша сморкается и вытирает глаза, и все добрые женщины сморкаются и вытирают глаза.

О, как прекрасно, как восхитительно, как сладостно наблюдать хоть издали такую идиллию, когда вся семья суетится вокруг больного, который был тяжело болен и перенес кризис, пропотел, выжил, а теперь приходит в себя, понемножку становится человек человеком, начинает снова жить, жить среди всех этих преданных, милых, верных друзей! А те глядят ему в глаза и наглядеться не могут, как будто не видели его двадцать лет, как будто он возвратился из дальних странствий; и каждый бежит его приветствовать, в глазах каждого он приобретает особую симпатию, и что бы он ни сказал, все полно мудрости. Все хлопочут вокруг него, но больше всех — жена. Мне кажется, что женщины и созданы для того, чтобы плакать, когда мы больны, и радоваться и носиться вокруг нас, когда мы выздоравливаем.

У автора этой книги есть товарищ, очень близкий друг, пролежавший в жару три недели. Когда он начал приходить в себя и я пришел его навестить, меня встретила в передней его жена, нежное создание, такая преданная, как только добрая, верная жена может быть предана своему мужу через три года после свадьбы.

— Ну, как себя чувствует наш молодец?

— О, он только что съел три ложки супу, целых три ложки супу!

И молодая женщина залилась слезами.

— Я не понимаю, о чем тут плакать, если человек съел три ложки супу? Уверю вас, через несколько дней он сможет съесть гораздо больше, чем три ложки, и не только супу, но и борща, и даже чего-нибудь лучшего, чем борщ!

— О, вы не знаете! Вы не знаете! Три дня тому назад он меня уже почти не узнавал! А его речь? Нет, вы не знаете!..

— Право, стыдно вам сейчас плакать! Радоваться вы должны, радоваться! Смеяться, петь, танцевать, а не плакать!

— Что вы, разве я плачу? — спросила меня эта наивная женщина, а слезы все лились из ее прекрасных глаз, и жалко было, что эти глаза так намокли и покраснели.

— Ой, осторожно, осторожно! — закричала она, когда я слегка пожал руку товарища. — Садитесь здесь, в стороне, вот стул. Вы можете, не дай бог, нечаянно задеть больного рукой или ногой.

Она стала на колени у его изголовья и начала с ним говорить, как с младенцем, который еще лежит в колыбельке и сучит ножками.

— Ну, крошечка? Чего ты хочешь? Как себя чувствуешь, крошечка?

А «крошечка» лежал, запрокинув голову, нежился и капризничал, как малое дитя.

Когда я хотел немного поговорить с товарищем о наших делах — ведь он был уже в добром здоровье, — эта странная женщина положила ручку на рот мужа, другой — закрыла мне рот и не дала произнести ни слова.

Когда я пришел в другой раз, не успел еще я снять галоши, как жена выбежала мне навстречу со сжатыми кулаками, словно хотела уложить меня на месте.

— Что с ...?

— Ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш! Ш-ш-ш! Он спит. Только что уснул. Ш-ш!

— Спит? Ну и пускай спит на здоровье! Пускай...

— Ш-ш-ш-ш-ш-ш! Ой, я прошу вас, ш-ш-ш-ш!

На лице ее было написано столько жалости и мольбы, что мне пришлось ретироваться. И зачем нарушать сладкий сон моего счастливого товарища, которому, сознаюсь, я в эту минуту очень завидовал!

Одним из таких благословенных мужей, на долю которого выпало вкусить подобное счастье, когда он выздоровел и встал с постели, был, без сомнения, наш уважаемый Сендер Бланк. Первый, кому суждено было лицезреть его, был наш бравый Фройка. Дрожащими ру-

ками Фройка начал одевать своего хозяина, и когда дело дошло до золотых часов с массивной цепью, из груди его вырвался тяжкий вздох.

С большой торжественностью появился наш герой в столовой и сел за обед, окруженный всей своей родней. При взгляде на детей и внуков Сендер так размяк, что начал смеяться, шутить и расспрашивать поочередно каждого о его делах. Этим он вызвал оживление всех присутствующих за столом. Все начали рассказывать, как были испуганы и потрясены, получив тревожную телеграмму. А Ревекка даже расплакалась. Отец ее успокаивал:

— Что ты плачешь, дочка? Ведь я уже здоров, глупенькая!..

— Да, папочка! — отвечала преданная дочь. — Но я вспоминаю, в каком тяжелом состоянии я тебя застала, и сердце у меня разрывается... Ах, папочка!..

— Не плачь, дурочка! Бог смилостивился, и я могу сидеть со всеми за столом, есть и пить, как все люди. Благодарение богу, дурочка!

— Не сглазить бы! — вставила свое слово и тетя Добриш.

— Когда еще я смогу увидеть вас, деточки? — растроганно обратился Сендер ко всей семье. — Все вы разъедетесь, каждый в свой город, и я снова останусь один! Ах, если бы я мог оставить вас здесь, у себя. — И Сендер обвел вокруг себя большими руками, как наседка, укрывающая крыльями цыплят.

— Разве это невозможно? — рискнула спросить своего доброго свекра мадам Соня Бланк.

— Нет, дети, никак невозможно: у каждого свои привычки, каждый живет своим умом, — очень трудно добиться постоянного согласия между всеми. Да поможет мне господь спихнуть, то есть женить, младшего сына. Тогда незачем будет так тяжело работать, зажил бы я тогда со своей старушкой, как говорится, дед да баба. А? Что ты скажешь, Мириам-Хая?

— Ну, а с деньгами что вы сделаете? — выпалил нечаянно Осип. В ту же минуту он готов был взять эти слова обратно, но было уже поздно.

Сендер вспыхнул от гнева и ответил колкостью:

— Что я сделаю с деньгами? Отдам их тебе, разумеется. А ты уж, конечно, заведешь большие дела с каменным углем и американскими прачечными...

Чувствовалось, что вот-вот может разыгаться очень



неприятная сцена. Все сидели как на иголках, опустив глаза в тарелку, а наш достославный Осип и вовсе повесил нос. Только Маркус, который был как-то особенно воодушевлен и весел сегодня, расхохотался так громко, что все оцепенели. Он хохотал до тех пор, пока не поспинел, даже испугал всех: уж не рехнулся ли он?

— Каменный уголь!.. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! — едва выговорил Маркус и снова расхохотался.

— А деньги профинтишь, — продолжал Сендер, — и будешь судиться с Файферманом?

— Фай!.. ха-ха-ха! Файф!.. хи-хи-хи! Файфер!.. хо-хо-хо! Файферман? — с трудом выкрикнул Маркус и и опять расхохотался чуть не до потери сознания.

Мы не понимаем, что смешного в каменном угле или в фамилии Файферман? Не иначе как Маркус высмеивал самого господина Земеля с его делами и процессами, — видно, слова отца произвели на него большое впечатление. Маркус не мог больше сдерживаться, он должен был в конце концов освободиться от того, что душило его в течение последних дней. Для господина Земеля это было величайшим оскорблением, и мы ни в коем случае не можем поставить ему в вину то, что он вскочил с места и отпустил своему возлюбленному шурина такую оплеуху, от которой зазвенели стекла.

Эта неожиданная выходка как гром поразила всех, никто не мог произнести ни слова. Сендер пришел в ярость, и глаза его налились кровью: где это слыхано, чтоб на его глазах, за его столом, в его доме избивали его сына, его плоть и кровь?! Как расสวิрепевший медведь, как лев, пробудившийся от сна, как страшный леопард поднялся наш Сендер со своего места, указал рукой на дверь и произнес громовым голосом:

— Вон! Вон из-за стола! Вон из моего дома! Вон, вон! Все! Вы думали, что я уже умираю, и приехали за наследством? Вон!!!

Боже мой, где найти перо, чтобы описать эту сцену? Где взять краски, чтоб нарисовать эту картину, чтоб изобразить этих окаменевших людей, остекленевшие глаза, раскрытые рты; эти лица, на которых застыли страх, ужас и оцепенение? Где почерпнуть силы, чтобы в эти тяжелые минуты опуститься на дно души каждого из присутствующих, понять их чувства и думы? Пусть наши читатели представят себе это, кто как умеет, в меру своего воображения.

Глава последняя

Занавес опускается — представление кончилось

Шум, гам, суета! Мириам-Хая целовалась с гостями, прощалась с детьми. Соня плакала. Господин Осип Земель шагал в большом возбуждении, и ботинки его особенно яростно скрипели. Маркус скрылся в своей комнате и то и дело подносил к своим губам какой-то конверт, прижимал его к сердцу, потом снова подносил к губам.

Девочки укладывали кукол, которые подарила им бабушка. Особенно расстроена была Ревекка. Одна щека у нее так горела, что она вынуждена была прикрывать ее носовым платком. Но больше всех был занят наш возлюбленный верный слуга Фройка: уж он-то, бедняга, работал изо всех сил, бегая по лестницам вверх и вниз. Доставая из карманов пряники, орехи и конфеты, он тискал между делом черную Златку и горничную Малку, приговаривая:

— Ну, дети! Разве я не говорил вам? А что я вам сказал? Ха-ха-ха-ха! Убирайтесь-ка восвояси, откуда прибыли! А мы, Зелда, останемся по-старому в нашем болоте! Тра-ля-ля-ля! Тра-ля-ля! Тра-ля-ля!..

* * *

Сендер Бланк простился с детьми очень тепло. Он поцеловался с Ревеккой, с Хаимом, поцеловал детей Хаима и несколько раз выражал сожаление, что забыл сделать подарки.

— Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Почему вы мне вчера или позавчера не напомнили? Ай-яй-яй!

Но когда дошло до уважаемого господина Земеля, Сендер очень холодно пожелал ему счастливого пути и протянул большой палец. Осип крепко, крепко его пожал и трогательно начал:

— Я надеюсь, вы нас простите. Вы знаете, что мы больше всего хотим... чтобы мы... чтобы вы... чтоб ваше здоровье... то, что вы, благодарение богу, в добром здоровье... что мы все... что... что... что...

На последнем «что» наш прекрасный герой Земель поперхнулся и побагровел от стыда, сознавая, что залез черт знает куда!..

Натянутым, очень натянутым было прощание и отъезд детей господина Бланка. Все это чувствовали, и у каждого было как-то горько, как-то тяжело на сердце, пусто в душе!.. Но высказать это открыто никто не хотел, да и не мог. Каждый думал про себя, каждый был занят самим собой. Только дети поверяли друг другу свои мысли и чувства.

— Смотри-ка, Маня, какой высокий дом! Ай-яй-яй! А у нас нет такого дома! Ай-яй-яй! Сколько окон! Сколько дымовых труб! А это что? Папа! Мама! Что это? Кто это сидит здесь? Какая травка! Какие деревья!

Счастливые дети! Радуйтесь, радуйтесь зеленой травке, прекрасным деревьям, великолепию и богатству природы! Скоро, скоро вы, быть может, узнаете другие вещи, которые заполнят ваши головы, и вы забудете о природе с ее красотами, как забыли о ней ваши родители. А ведь они тоже когда-то были детьми, тоже любовались этой травкой, этими деревьями, этим солнцем и смотрели на все окружающее такими же глазами, какими сейчас смотрите вы... Счастливые дети! Дай бог вам надолго, надолго этого счастья!

Но сколь мрачно и темно было на душе наших отъезжающих, столь светло, свежо, тепло, зелено и весело было вокруг. Стоял конец мая. Солнце еще не жгло, но грело, светило, все оживляло: и травку на земле, и овечек в поле, и людей, и маленьких человечков — детей, которые выползают утром из темных полуразрушенных домишек, как тараканы из щелей. Всё и вся благословляет, возносит хвалу и благодарение прекрасному, теплomu, светлому солнцу, которое стоит теперь посреди неба и изливает свое нежное тепло на широкое поле, совсем недавно нарядившееся в зеленое платье, и на пыльную дорогу. Небо чисто и прозрачно, как зеркало; по нему плывут редкие обрывки облачков — не к дождю, а просто так плывут они; блуждают, пока не расползутся, растают и исчезнут неизвестно куда. Далеко-далеко на горизонте виднеется колокольня или зеленая крыша помещицкого дома, — покажется на минуту и снова исчезнет. Дорога эта — почтовая дорога, ровная, как доска. Нет еще пыли, какая бывает в июле. Телеграфные столбы пронесются мимо! Мимо! И рябит в глазах, и слышно пение птиц, и радостно видеть, как суетится всякая мелкая тварь земная. Часто

встречаются крестьяне с волами и плугами; некоторые снимают шапки и еще издали здороваются.

Вдруг, не успели оглянуться — въехали в лес! Сразу сделалось как будто темнее, повеяло свежим ароматом, и наших спутников охватила прохлада. Теперь слышен почти каждый удар копыт, каждый стук колес. Лесная дорога тянется узким длинным шнуром; по обеим сторонам молодые березки, словно мелом побеленные; ни ветерка, зеленые листочки берез замерли; сквозь море деревьев проглядывает прозрачная глубина света, ясная, как зеркало. Издалека слышен голос: «Аау!» И эхо отвечает: «Аау!» Но вот и лес кончился, пошел песок, глубокий сухой песок. Лошади идут размеренным шагом, телега катится медленно, то и дело как будто вздыхает и стонет ось. Лошадкам не легко вытаскивать ноги из песка. Путешественник сейчас расположен повернуться на бок и вздремнуть, а то и просто полежать, вытянувшись, и смотреть вдаль, и думать, размышлять или ни о чем не думать, пока балагула не прикрикнет на лошадей, не присвистнет на них, и лошади вдруг не рванут и примутся снова бежать, пока не добегут до речки. Сначала лошади пугаются воды, затем осторожно, шагом входят в речку, и вода плещется и шумит под колесами. А посмотришь вниз — там еще одно солнце, которое дрожит в воде и покачивается взад и вперед, словно его подбрасывают на простыне... За рекой снова пески, а дальше — все тот же широкий почтовый тракт, с зелеными полями по обеим сторонам, с телеграфными столбами, — прямо к вокзалу, который виден уже издали.

Когда наши пассажиры подъехали к вокзалу, солнце уже было низко. У подъезда стояло несколько дрожек и фаэтонов. Осип подхватил дам под руки и, как настоящий кавалер, перенес их на платформу. Затем он громко крикнул: «Носильщик!» — хотя носильщику делать было нечего: Хаим Бланк захватил в свои широкие объятия все вещи, детей и даже булки и бублики, которые занимали столько же места, сколько мог бы занять еще один пассажир. Но у нашего Осипа Земеля была «широкая натура», в дороге он любил показать себя «порядочным человеком», любил дать людям заработать... Вбежав в зал первого класса, господин Земель громко крикнул: «Эй, человек! Чаю!» — хотя до отхода поезда оставалось всего лишь десять

минут и чаю решительно никому не хотелось. Господин Земель не мог перенести, что буфетчик стоит сложа руки. Сам он чаю не пил, так как должен был бежать за билетами. Мимоходом заскочив в буфет, он быстро осмотрел сквозь дымчатые очки вкусные вещи, выставленные на стойке, обнюхал их, выпил и закусил (опять-таки без всякого желанья), честно расплатился, взял билеты, поздоровался с двумя-тремя знакомыми, внушительно поскрипел ботинками; посмотрел сквозь дымчатые очки на некую молодую даму так пронизывающе, что дама вынуждена была перейти на другую сторону платформы, и, наконец, принялся усаживать в вагон Ревекку и Соню так ретиво, с таким усердием, как будто получал за это бог весть какое вознаграждение...

Через две минуты поезда уже не было. Только белый тающий дым клубился и медленно исчезал далеко-далеко в подкрашенном небе, да сильный свист и глухой шум удаляющегося поезда еще стояли в ушах. Но скоро все стихло. Буфетчик прикрыл свою торговлишку; сторож захлопнул двери; носильщики и жандармы разошлись кто куда. И стало грустно, — совсем как в синагоге в пятницу вечером, в канун субботы, после вечерней молитвы, когда все расходятся по домам и один только шамес Арон-Мойше бродит между скамьями, собирая забытые молитвенники, да сторож Ерема лезет задувать лампы и гасить свечи двумя пальцами, предварительно поплевав на них. Ерема ждет, чтобы скорей прошло время ужина, тогда он пойдет гасить свечи у хозяев, выпьет у них рюмочку и закусит субботним калачом.

Ни поезда, ни пассажиров, ни героев. Может быть, мы с ними еще когда-нибудь встретимся?

Возможно.

А пока простимся.

До свидания!

С ДОРОГИ

I

К моим братьям, сестрам и добрым друзьям. — Я покупаю всю «лавку» и еду с миром домой. — Незнакомая кокарда и допрос. — Конец винного дела. — Мое перо и заработки «на стороне». — Разница между написанным и печатным, и наоборот. — Цель публикации. — Несчастные 3 руб. 15 коп., повисшие в воздухе между журналом «Хойзфрайнд» и автором Линецким*. — Благочестивая мадам Хашка из Вильно. — Печатные пощечины и еврейские фиги*

Признайтесь, дорогие мои братья и сестры, добрые читатели «Еврейской народной газеты», что некоторые из вас уже начали всерьез скучать по мне, хотя я, может, и не заслужил такой чести, а многие уже, вероятно, искали меня здесь в газетном «подвале», где мы, бывало, встречались почти каждую неделю. Ну, признавайтесь, что это так! Да я и сам знаю, я чувствую, что искали; но я знаю и то, как некоторые из моих так называемых друзей уже было обрадовались: «Хе-хе! Глянь-ка, Шолом-Алейхема-то нет! И поделом ему...» Не беспокойтесь, братцы, — я здесь; не веселитесь, господа любезные, — я вот он! Просто я некоторое время отсутствовал, да и теперь, как видите, еще не дома, но рад писать вам сейчас с дороги и, надеюсь, еще не раз буду иметь удовольствие беседовать с вами на чужбине, пока господь бог не сжалятся и не соизволит вернуть меня домой, как говорится, к моим пенатам... Ша! Что за персполох там? Вы не понимаете смысла этих двух последних словечек?.. Стыдно, друзья мои, стыдно: вот уж больше года, как мы учим с вами по газете могучий древний язык наших предков, как

стараемся преобразить ваш простой обиходный жаргон, выправить и улучшить ваш бедный слог и привить вам святость образной речи, так, в итоге, вы не разумеете и двух толковых слов. Стыдитесь, братцы!..

Но мне, вашему покорному слуге и другу, все равно приятно уделить вам в дороге толику свободного времени и побеседовать, выговориться, что называется, излить душу свою.

Если б вы только знали, какая это сердечная боль, врагам лишь пожелаю, с каким трудом дается мне каждая вещь; кажется, что я горы ворожаю (а это выражение вам понятно?), будто я и впрямь решил гору своротить. Но как вам понравится такая затея — вот на что можно уповать, я бы сказал, на честь и славу своих отцов — закупить немного свежего товара, немного того, немного другого, — дорогая находка, клянусь вам. И думаете, что-нибудь приобретается в кредит? Как бы не так! Только за наличные, за круглую копеечку!.. Но все же, малость попотев, потрудившись и потратив немало сил и энергии, я действительно добился своего: достал что надо, приобрел, закупил, сложил, упаковал — и марш домой!

Но я вижу, господа, вы думаете, что речь идет о моем давнишнем деле, то есть о винном деле, с которым я познакомил вас еще во дни нынешней пасхи*. Боже упаси! Чтоб они сгорели, все эти еврейские винные погреба, чтоб они провалились и дух из них вышибло, как жена моя говорит (разве она не права?). Притом, посудите, какой прок в них, в погребах, я имею в виду, — в канун пасхи так намотаешься, что пропади он пропадом потом, весь праздник: иди, лезь в погреб, вылезай из него, то вверх, то вниз, то опять, то еще раз; тому дай это, этому дай то, и всем угоди, — одному сладко, другому кисло, то сладковато, то кисловато, этому с мушкой, другому с верхушкой, этому все несчастья на голову, тому все болячки в живот, как жена моя говорит (и она совершенно права!) — и ко всему, думаете, может, кто-нибудь остался доволен? Как бы не так! Вы ж понимаете, разве сварить кашу с таким народом?! Не покарай меня господь за эти речи. Хороши барыши, чтоб я так жил. Боже праведный, не поскупись бы на мендаль: * много ли чести за труды мои?! Послушайте хоть, люди добрые, что я расскажу. Слушайте да мотайте на ус.

И бысть день (где в начале «и бысть», говорит Раши, там уже жди несчастья!), — и был день, сразу же после пасхи, долгий, как первый весенний день; возвращаюсь я с молитвы, по своему обычаю, чинно-благородно; на душе, что вам сказать, чуть празднично и спокойно, так словно ничего не должно произойти, помышляю о закуске: свежее испеченная маца, остаточки после чудной пасхи, не согрешить бы, ко всему прочему стаканчик-другой винца — и говорить не приходится — ну-ну!..

— Где ж ты пропадаешь? — неожиданно окликает меня встревоженная чем-то жена. — Иди уже, иди, чтоб из тебя дух вышел, в погреб зайди, так ты увидишь, что там творится!..

В погреб?! Гром небесный! Чиновники? Красные воротники! Что это вдруг, посреди такого дня, пожаловали ко мне «красные воротники»? И что это они хлопочут там возле моих бочек? Кажется, до их святого праздника еще добрых шесть недель! А? Напасть какая-то!.. Я срываю с себя фуражку и подхожу к ним поближе; ничего, успокаиваю я себя, мы как-никак знакомы еще с очень давних времен, — добрые господинчики, славные господинчики, такие вежливые, обходительные!.. Не хватало мне только ругаться с ними!.. Но почему так трясутся поджилки? Да ничего страшного... Так, ерунда какая-нибудь! Чепуха на постном масле!.. Но что это, скажите на милость! — один ответ за семь бед, — евреи милосердные из милосердных?!

— Мошка! А ну ходи сюда, сердце!

Эти господа, и еще один мне незнакомый с кокардой, глядят на меня с усмешкой и подмигивают, словно дело-то пустяковое. Я тоже, невинно усмехаясь, как говорят, прикидываясь дурачком, подхожу к ним поближе... А ноги уже еле-еле тащат меня... И вдруг меня осенило: «Ага! Ревизоры! Конечно, ревизоры!.. Донос! Патент!»

— Где патент? Ента, давай патент! Быстрей неси патент!..

— Ни, Мошка, не патенти, ни, але ходи ну сюда, сердце! На! — произносит незнакомец с кокардой и подносит мне под самый подбородок стакан с вином,

словно бы говоря: «На, пей, душа моя, наслаждайся, да будет на пользу тебе влага сия!..»

Короче, что тут долго толковать, этот новоявленный начальник с кокардой хорошо ко мне прицепился, другими словами, чтоб я ему доложил, откуда у меня это вино, и еще раз вино, и опять вино, и уже, не на шутку разозлясь:

— Ну, говори, откуда оно?

— Из Валахии, — отвечаю, — из Валахии, пане!!

Господам что-то очень весело становится, они довольны.

— Из Валахии, Мошка? Из какого места, Мошка?

— Из какого места? Из Валахии, — отвечаю, — там, где волхаша спивают!.. Мамалига! Мамалига! — показываю я рукой на рот, мол, там, в Бессарабии, едят мамалыгу.

Им становится еще веселей, а новая кокарда вдруг ловит меня на слове:

— А давно был, Мошка, в Валахии?

— Давно ли? — отвечаю растерянно и вдруг понимаю, что не туда загнул, но делать нечего, немедленно выпалил: — Давно, пане, давно! Больше тридцати лет!..

Эх, что там было, большего не надо! В тот же день отобрали у меня злополучный патент, погребок опечатали крепкой печатью, и ко всему еще пригрозили, что влепят мне штраф или, того хуже, «уголовность». В чем же дело? Да ничего особенного. Случись, что вино уже не такое хорошее: слегка «перебродило» и имеет небольшой «осадок». Ай-яй-яй! Подумаешь, несчастье какое! А если я вам скажу, что у нас в местечке четыре солидных хозяина (шутка ли, таких четыре хозяина пьют вино у нас в пятницу вечером и в субботу!) потребляют это вино и перебродившее и с осадком, говорю я вам! Но поди ж ты, втолкуй им это! Очевидно, кому-то не давало покоя мое выгодное дельце, и он донес на меня... Так чтоб они сгорели со своими винными погребами и со всем вместе, что там есть, как жена моя говорит... Ах, вы не хотите, чтоб я был вам виноделом, так пейте свои горькие слезы, как жена моя говорит, и она абсолютно права! Думаю, что господь наш всевышний, который не оставит милостью своей даже самую малую букашку, наверно, и меня, раба своего, и семью мою не даст в обиду. А если на то пошло, так я и сам мастер на все руки и пером, слава богу, тоже

владею, чего греха таить. Мое перо — и шило мое, и игла моя, и молот мой, словом, вся мастерская моя, и с ним, с пером моим, я как-нибудь могу обойтись, с божьей помощью. Но так как я отец семейства да с малыми детишками, то всем ясно, что перо мое в одиночку не может справиться с моей нуждой, и потому вынужден я время от времени бросаться в поисках куска хлеба то в одну, то в другую сторону; что значит бросаться, то есть слегка приторговывать на стороне, искать побочную копейку. Что говорить, уж и сладка эта копейка, но и тяжела. Но что еще, к сожалению, остается бедняку, если пить-есть надо, а на какие шиши? Вот он и выкручивается: то здесь урвал, то там отхватил... Потому, глядишь, подчас и купчик становится маклером, и это приносит какую-никакую прибыль; потому и несчастный меламед не стыдится заниматься сватовством, что тоже даст лишний рублик (да еще какой рублик!), потому и книгоноша принимается вдруг за медницкое дело — и так везде, с божьей помощью, берется бедняк за любое дело.

А что касается меня, господа, коль я работаю пером, то меня уж, как говорится, можно и причислить к сочинительской братии, другими словами, я примазываюсь к литераторам. По крайней мере, и этим товаром, то есть писаниной, когда-никогда можно торгачуть тоже. Но скажу вам чистосердечно, и это не великое счастье, пожалуй, еще менее доходное, чем винное дело. Тогда вы спросите, на кой шут сдалась мне эта работа, если доходов, собственно, от нее никаких нет? На это я бы ответил так, как ответила некогда одна рыночная торговка.

— *И вопрошали* рыночную торговку: имеешь ли ты прибыль от своего корыта? Зарабатываешь ли ты деньги?

— Нет! — ответствовала она. — Зарабатывать я на нем ничего не зарабатываю и прибыли от него тоже никакой.

— Зачем тебе в таком разе это корыто и вся рыночная торговля в придачу?

— С чего же я тогда буду жить, если не это корыто и не рынок?!

В этом же суть и моей доходной статьи. А заключается она в том, что я скупаю исписанную со всех сто-

рон бумагу, рукопись то есть, и отдаю сие в перепечатку, отпечатанное продаю и на вырученные деньги снова покупаю исписанную бумагу. Таким образом, происходит постоянный обмен: даешь мне рукопись — получаешь напечатанное произведение; я вам напечатанное — вы мне деньги; на тебе снова деньги, и пиши дальше; ты пишешь, я печатаю, а вы, милые читатели, будьте любезны, гоните монету!.. Возникает вопрос: если читатель желает и находит нужным читать данного автора и в рукописи, зачем же тогда нужно его печатать? Зачем, спрашивается, искусственно создавать напрасные хлопоты и лишние расходы? Но причина, друзья мои, вот в чем! Представьте, куда как приятней читать ту же вещь, к примеру, отпечатанную на белом листе четким квадратным шрифтом; уж коль это так, то, как говорится, и чтимо и свято, хотя при прочтении может оказаться совершеннейшей глупостью. То же самое, к примеру, что стоит какому-нибудь чудаку-еврею обругать другого, как говорится, при всем честном народе и смешать его с любой грязью — да ровным счетом ничего; и что можно в таком случае сделать с таким хамом? Только что открыть рот, который, кстати, есть у каждого, и воздать обидчику должное, если не больше, то есть отплатить-переплатить и дать сдачи той же монетой. Но ведь это уже скандал. Другое дело — когда то же самое является в печатном виде; тогда, извините, это уже приобретает другую форму и не выглядит, как базарные проклятья с упоминанием всех святых; бранить печатное — принято называть критикой, если хотите, живой полемикой. Конечно, при этом и выбор слов красочней, и брань чуть помягче (как-никак печатное!), и пусть теперь хоть десять тысяч евреев послушают, как некий Рувн, к примеру, ругает Шимона в батьку-прабатьку, то есть перебирает всю его родословную. А почему бы и не послушать? Пусть также увидят, как Шимон, в свою очередь, выставил Рувну не менее выразительный кукиш. А почему бы нет? Скажу больше, откуда могли бы мы, дорогие читатели, знать, что издатель журнала «Друг дома» недоплатил одному из своих лучших сотрудников Линецкому 3 руб. и 15 коп. серебром, если бы это, не дай бог, не было бы напечатано? И что бы мы тогда делали? Ничего. «Хойзфрайнд» остался бы без своих 3 руб. и 15 коп. серебром. Спросите другое:

что же он все-таки имеет, этот известный народный писатель, от вышеизложенной неурядицы? У кого наконец эта злосчастная сумма — у Линецкого или у его «Хойз-фрайнда»? Мне кажется, откровенно, что ни там и ни здесь, то есть 3 руб. и 15 коп. серебром как бы повисли в воздухе между журналом и господином Линецким и могут так висеть хоть до пришествия самого Ильи-пророка, который, может, внесет ясность в это дело...

Больше того, имей мы дело только с рукописными бумажками, мы бы никогда не узнали, что такой именитый писатель, такой известный еврейский писатель, как Линецкий, послуживший народу талантливым пером своим почти двадцать пять лет, неожиданно под старость перекинулся на какие-то религиозные стишки, завалывшиеся у рыночной торговли мадам Хашки, из Вильно. Вот так история! Неужели тот самый Линецкий, автор бессмертной книги «Польский мальчик», переведенной на польский (а теперь ее переводит и на русский известный киевский профессор Антонович), Линецкий, один из самых любимых народных сатириков и переводчиков еврейской истории по Грецу*, тот Линецкий, что за свою жизнь исписал тысячи листов бумаги, ничего лучшего не мог придумать для «семейного круга», кроме как перепевать и рифмовать базарные куплеты мадам Хашки, дай ей бог здоровья! А она, виленская благочестивица, несколько месяцев молчала, конечно, и неожиданно открыла ротик: «А ну, отдай-ка, — это мое!» Хватит, слазьте, господин Линецкий, со своего пьедестала; отныне ваше место будет занимать благочестивая госпожа, мадам Хашка из Вильно! Но так как вся эта история там, а мы здесь, остается лишь поблагодарить ту печать, что нас охотно публикует и является для нашего брата не таким уж плохим делом: «Ругают вас, братцы, бьют вас, выставляют вам кукиш, но мы все равно будем вас печатать, напечатанное продавать, на вырученные деньги покупать рукописи и рукопись снова отдавать в печать и так далее и так далее...» И чем звонче пощечины, тем веселей писать, и чем больше кукиш, тем интересней печатать. Словом, да снизойдет божье благословение на еврейские пощечины и еврейские кукиши, вовеки аминь!

Я еду туда, куда везет меня фургон. — Мой сосед, «проникающий в мысли». — «Красноносая». — Беззубая женщина. — Горелая корчма. — Хозяйка готовит вареники. — Совет старого мудреца — ответ одесскому переплетчику. — Критическая оценка «провидца»

Объезжая маленькие провинциальные городишки, где железной дороги еще и в помине нет, я вынужден был иметь дело с докучливыми извозчиками и зачастую ехать в ту сторону, куда шел дорожный фургон; и я пришел к выводу, друзья мои, что это самое лучшее и самое выгодное средство передвижения.

— Куда это вы едете? — спросил я у возницы.

— А куда вам надо? — отвечает он, окидывая оценивающим взглядом меня и мой чемоданчик.

— Куда мне надо — туда мне и надо! Скажите лучше, куда вы едете?

— Куда я еду — туда я и еду! Скажите лучше, куда вам надо?

— Фью-тю-тю! Экий вы, право, важный извозчик, чтоб я так жил!

— Фью-тю-тю! А вы, стало быть, очень-таки важный пассажир, чтоб я так жил!

Короче говоря, перекидываемся шутками, пока наконец не приходим к обоюдному соглашению, и вот я получаю местечко в его фургоне — это еще не значит в самом фургоне, а так, где-то сбоку припека да на собственном чемоданчике, потому что все места уже заняты; и мы едем. Клянусь честью, нет ничего на свете лучше, чем ехать вот так в открытый бескрайний мир, неизвестно и неведомо куда. Рассказывают, будто некий англичанин потратил год времени, разъезжая по свету в одном и том же вагоне. Там он ел, спал, писал — одним словом, жил. Там же он обрел массу знакомых и узнал великое множество человеческих типов, и там же сам состарился на год, на целый год своей жизни...

Первое время я сидел на своем неловком месте и ни на кого не обращал внимания. Кому какое дело? Люди едут — пусть они себе едут на здоровье! Лишь изредка, при сильном толчке фургона я знакомился, и то лбом, с тем попутчиком, который сидел напротив меня, да

так близко, что наши ноги оказались самыми близкими соседями и перемешались, знаете, вот эдак: «мой-твой», и при каждом ударе лбами мы вскрикивали в один голос: ой! ой! — но говорить между собой мы еще не говорили. Очевидно, он был занят, как и я, своими дорожными мыслями, и мы молча поглядывали по обеим сторонам дороги, созерцая эту беззаботную летнюю жизнь, чудесную природу и пожелтевшие поля, на которых уже в самом разгаре были уборочные работы. «Страда» — дело нешуточное, скажу я вам. Глянешь — крестьянин работает, и как работает, трудится, что называется, в поте лица своего, преданно и неустанно, солнце печет, а он трудится... «Верно, на то он и крестьянин, чтобы гнуть спину. Эх, трудяга, божье создание!» — подумал я...

— Не то что наш брат еврей, — отозвался мой попутчик, — не то... То есть совсем не то, как небо от земли!..

Я поразился тому, как он точно угадал мои мысли, и ответил:

— Да, конечно, о чем разговор?! Не та конструкция. Знать, и кровь у нас пожиже, и кость потоньше. А им, что вы думаете, можно и позавидовать.

— Позавидовать? — отвечает он. — Не вижу, чему завидовать!

— Ну, знаете ли? У себя в дому... На своем клочке земли... И — горя меньше... Да, наверно, и кусок слаще...

— Ах, оставьте! Грош цена этим разговорам!.. — обрывает он и, как видно, не желает больше говорить на эту тему.

Так проходит еще несколько минут; я пытаюсь снова завязать с ним беседу и заглядываю ему в лицо:

— Конечно, будь мы теперь там, там, где наши предки вели такой же образ жизни — пахали землю, разводили рогатый скот...

— На земле Ханаана? Вы это имели в виду?. Э — ну, глупости!..

— Глупости? Почему же глупости?

— А как еще назовешь эти пустые рассуждения, наивностью? Терпеть этого не могу!

Мой сосед прикрыл глаза и, покусывая кончик жиденькой бородки, начал дремать, слегка покачивая головой от тряски.

С этого странного субъекта мои глаза переносятся вовнутрь фургона и... вдруг я вижу... красный нос, — то есть я хотел сказать, женщину с невероятно красным носом. Готов поклясться, что он с каждой минутой становился все краснее и краснее, очевидно оттого, что женщина беспрестанно сморкалась и почему-то плакала.

Я удивился, как это я до сих пор не замечал, что кто-то в фургоне плачет; наоборот, я только слышал смешки и болтовню, но плач? Вот тебе на — плакать! Чего плакать ни с того ни с сего, не пойму? Я хотел спросить об этом своего соседа, но он вроде бы притворился спящим. «Вот тип, а! Тоже мне еврей-мошенник!» — подумал я было.

— Чтоб я так горя не знал! — отвечает он на мои мысли.

— Что горя не знал? — недоумеваю я.

— Будто я знаю, чего она ревет, эта женщина!

— Да, но раз так, отчего же она все-таки плачет?

— Чему вы удивляетесь? — вступилась беззубая женщина. — И что вы, собственно, к ней прицепились? Если она и плачет, то, как видно, не от хорошей жизни она плачет, эта бедная женщина, и не с большой роскоши, можете мне поверить. Наверное, ей очень больно, если она плачет.

— Вы, конечно, правы. Но в чем же дело? Ведь должна же быть какая-то причина?

— Ладно, что попусту говорить! Причина сегодня — причина завтра. Если она сама не хочет сказать, о чем она плачет, разве можно ее заставить?

— Боже упаси! Кто говорит — заставить?..

— Ай! Я вас прошу! — вмешивается молодой человек в зеленом кафтане. — В еврейской компании, чуть что, сразу возникает целое дело. Как вам нравится, из-за чего они здесь подняли шум! Из-за этой женщины, которой они совершенно не знают... Так я вам скажу, что это моя сестра. Она — коржевская, то есть из Коржева — сестра моя. Ну, так ее муж уехал в Америку, она его проводила — и плачет.

— Коль обстоит так, то вопрос ясен! — отзывается мой сосед и продолжает дремать.

«Боже, все туда, все стремятся в Америку! — размышляю я с горечью. — Все туда! И какова их судьба там? Чего они могут достигнуть? Становятся в большинстве бродягами, коробейниками, носильщиками... Хорошее достижение!..»

— Ну, к слову сказать, сделай лучше! — отвечает сосед на мои сокровенные мысли, которые он улавливает так точно, словно проникает ко мне в душу.

«Вот те раз, такой тип! Дьявол, а? А может, «провидец» какой? — подумал я про себя. — Кто ж он такой? И откуда, интересно?..»

— Я — лепешивский, из Лепешивки я, — отвечает он невозмутимо. — Вы были в Лепешивке? Нет? Приличный городишко, скажу я вам. Можете проехаться и до Лепешивки тоже. Думаю, и там вы сможете неплохо сбыть свой товар.

— Товар? Откуда вы знаете, какой я товар везу?

— Нну-у?! — отвечает этот «провидец» и, прикрыв глазки, продолжает дремать.

Больше я не могу вытянуть из него ни слова и начинаю прислушиваться к разговору, который ведут между собой женщины, к всхлипыванию «красноносой» и рассуждениям беззубой, пока и меня самого не одолевает дремота. Фургон трясется и качается во все стороны, изредка подбрасывая нас на ухабах; лошадки звенят колокольцами; воздух приятно освежает. А уж солнце клонится к горизонту и окрашивает небо золотистыми полосами; прохладный предвечерний ветерок закрадывается в фургон, поддувает полы наших одежек и трогает кончик бородки моего «провидца», что сидит напротив; втихомолку начинаем мы бормотать молитву «Восемнадцать благословений» и, снова подсакивая на ухабах, встречаемся лбами: ой! ой!

— Ша! Стой! Вот здесь мы и заночуем! — выкрикивает наш возница, и народ поодиночке, побряхтывая, выбирается из фургона.

Я оглядываюсь вокруг и мысленно вопрошаю: «Где ж это мы?»

— Да в горелой корчме! — незамедлительно отвечает «провидец». — Вот здесь-то мы и отведаем отменных вареников с творогом, уверяю вас.

Тем временем вышла хозяйка корчмы, низкорослая еврейка с маленькими глазками, и, бойко обсудив с возницей положение дел, подошла к «провидцу», но с та-

ким низким поклоном, с таким широким «Добро пожаловать!», с каким встречают разве только добрых старых знакомых.

— Ну? А я вам не говорил, что здесь мы будем есть вареники? — воскликнул он, обращаясь ко мне, и тут же, скептически оглядывая мой чемоданчик, который я прижимал к себе, оберегая его как зеницу ока: — Что вы так трясетесь над своим багажом?

— Что значит трясетесь? Странный вопрос! Это ж все мое состояние.

— У-ва! Можно подумать! Тогда держите его крепче, я вам говорю, еще крепче, чтоб не выхватили, не дай бог!

— А что вы смеетесь? Вы хоть знаете, что у меня в этом чемоданчике?

— Ай-яй-яй!

— Вот вам и ай-яй-яй! Так знайте, что лучшие книги вы найдете в этом скромном чемоданчике...

— Барахло! — отвечает он.

— ...и рукописи лучших писателей!..

— Бумажки! — повторяет он и нагло смотрит в глаза, словно видит меня, как говорится, насквозь и глубже.

«Что ж это за напасть такая? — думаю про себя. — А впрочем, ему-то что: сказал, как отрубил, и может спокойно ехать, как говорится, хоть к «ребе на субботу».

— Нет, голубчик, вы глубоко ошибаетесь, — отвечает он.

— Послушайте, в конце концов скажите, откуда вам известно, о чем я думаю? И вообще кто вы такой?

— Потерпите немного, вот мы поедим, тогда, может, познакомимся поближе.

* * *

Пассажиры развязывают свои узелки; мужчины встали на вечернюю молитву, а женщины подняли шум — разгалделись все разом, и громче всех слышен голос беззубой. «Красноносая» же забилась в уголок и опять плачет. «Интересно, в какой недобрый час она осталась здесь? — подумал я. — И кто ее не пустил ехать с ним в Америку? Уехали бы вместе, и дело с концом».

— Наверное, ей не на что было ехать, — отвечает мне «провидец».

— Ну, а комитеты?

— А? Благотворительные общества! Известное дело... Это нам хорошо знакомо... Минуточку! Вот она уже несет вареники, хозяйшкка... О! Это товар. Пожалуй, лучше всех ваших благотворительств и комитетов, даже почище вашей земли Ханаана — этой воображаемой райской Палестины!

И, заглядывая в миску с варениками, откуда исходил аппетитный аромат, мой «провидец» так оживился, так разговорился, что в нем трудно было узнать того тихого озабоченного человека, что ехал со мной в фургоне.

— Скажите на милость! — обратился он вдруг к хозяйке. — Что это с вашими варениками сегодня?

— Что же?

— Вы еще спрашиваете, что же? А где творог? Удостоверьтесь — это же сплошное тесто, а творога я что-то не нахожу. Вот я укусил, а творога все еще нет!

— Кусайте глубже, так вы и творог найдете! — раздался со стороны чей-то голос.

Мы огляделись и увидели старого богомольного еврея, в помятой ермолке и разорванном талескотне*, с молитвенником в руках.

— Это, кстати, хозяин корчмы, — шепнул мне на ухо «провидец». — Глупец непревзойденный!.. — И отвечает старцу: — Благодарю вас за совет! Известно, где Библия, там и мудрость!

Однако надо сказать, что реплика хозяина корчмы и впрямь премудрая штука. Как он сказал: «Кусайте глубже, так вы и творог найдете»! Верно! Наш еврейский горячий темперамент, наша волнующаяся семитская кровь так будоражат нас, что мы часто бываем крайне нетерпеливы и едва успеваем увидеть начало, как нам уже не терпится поскорее угадать конец. К примеру, получил я совсем недавно письмецо от одного одесского переплетчика, так он пишет мне в таком роде: «Все одесские просветители, и я, конечно, среди них, обсуждали как-то Шолом-Алейхема, который выпустил из-под своего талантливое пера такое неудачное произведение, как последнее, и до того скучное, что даже я, одесский переплетчик, как ни старался, не мог прочесть его до конца...»

— Кусайте глубже, господин переплетчик, так вы и творог найдете!*

— Ну, показывайте, показывайте, что у вас там за товар! — обратился ко мне «провидец», уплетая вареники.

Признаюсь, как только заходит разговор о моем бесценном «товаре», я словно преображаюсь и готов в ту минуту забыть не только вареники с творогом, но и что угодно, лишь бы выставить свою «лавочку», как говорится, показать товар лицом.

Я немедленно развязал свой чемоданчик, вынул оттуда один из своих лучших «манускриптов» и стал читать своему «провидцу» и всем, кто был в корчме.

К сожалению, надо честно сказать, что вся эта дорожная компания — и мужчины и женщины, — прослушав первые несколько строчек, зашмыгала носами, усмехнулась и продолжила свой разговор, даже не обращая внимания на мое чтение. Некоторые поодиночке стали выходить на улицу, на свежий воздух, и только один «провидец», увлеченный варениками, выслушал меня до конца и со вниманием. Поглядывая то на меня, то в миску, он всякий раз восклицал:

— Ага! Вот это здорово, чтоб я так жил!.. Вот это дело... Гм! Прекрасно, прекрасно!.. Вот где изюминка, а!.. Славно... На этот раз-таки удачно... Чтоб я так жил, мендаль ей полагается... Замечательно!..

Таким образом он поддавал мне жару и поддакивал до тех пор, пока не справился со всеми варениками. После этого он неожиданно стих, сник и обмяк, но некоторое время он еще следил за тем, как я читаю, и, барабанив пальцами по столу, продолжал смотреть мне чуть ли не в рот. А я все читал и читал, да так долго, что вдруг заметил, как он потихонечку начинает дремать и клюет носом.

— Ну? — спросил я его.

— Что ну? — очнулся он.

— Что значит «что ну»? Я спрашиваю, как вам это нравится?.. И в самом деле неплохо, а?..

— Что именно?

— Ну то, что я вам только что читал?

— А? Вы это имели в виду?.. Тьфу... Сушная ерунда, паршиво!..

— Что значит тьфу? — Я оторопел и едва не лишился дара речи. — Это... это говорите вы?.. Ведь только что вы пальцы облизывали!..

— Ха! Я пальцы облизывал от вареников, если хотите знать!..

— Как?.. Ведь вы же сами сказали, что мендаль за это надо... Что это творится с вами?..

— Помилуйте, ведь я думал про хозяйку, что ей полагается мендаль, понимаете, ей мендаль за вареники, — эту мендаль я имел в виду...

— Черт знает что снилось мне в эту ночь или в прошлую! — Я так рассердился, что завязал свой чемоданчик и больше ничего не показывал. Подумать только, такая исключительная вещь, с такими трудами давшаяся мне рукопись! Столько намучиться, натрудиться, и в итоге — на тебе! — получить такую оценку от человека, и притом неглупого человека, я вам скажу. Но уж коль скоро все окажутся такого же мнения о моих писаниях, как и о моем вине, то мне можно хоть сейчас возвращаться к своей многодетной семье, — видно, так тому и быть!..

— Ну что вы?! Не стоит из-за этого так расстраиваться! Не падайте духом! — подбодрил меня «провидец». — В общем, не так уж и худо, и там, кажется, в одном месте недурно написано... Но кто, скажите, сможет ее раскусить и почувствовать тот аромат, что мы с вами чувствуем? Да и кому все это надо и кто этим еще интересуется в наше время?.. И, кстати, что вы за благодетель такой, чтоб заботиться о благе народном? Кто вас просит? И кто за вами посылал? И от кого вы получили уведомление, что именно вы?..

— Пойдите, пойдите! Что за вздор вы несете?.. Народ меня призвал, вот кто! Народ!..

— Какой народ? Что народ? Этот нищий народ? Он голоден, ваш народ, вы слышите: голоден, го-ло-ден! А вы делаете ему одолжение — кормите его побасенками и стишками, шуточками и прибауточками, даете ему советы и нравоучения! Вы плетете ему бабушкины сказки и думаете убаюкать его, этот голодный еврейский народ! Дайте ему хлеба! Вы слышите? Дайте хлеба голодному! Кусочек хлеба!..

— Кому кусочек хлеба? — спросила хозяйка, выбегая из кухни с караваем.

— Да не то! — отмахнулся «провидец». — Это мы толкуем совсем о другом, я знаю...

Наш балагур-возница на ночлеге в корчме. — Лепешивский стихотворец со стихами Фруга. — Лепешивская муза. — Едем дальше. — Еврейские дети плодятся и умирают. — «Красноносая» начинает свою историю

От этих вареников с творогом, что так искусно приготовила хозяйка корчмы, удовольствие получил не только мой случайный критик, «проникающий в мысли», но и наш возница, который к этому времени уже успел принять изрядную дозу спиртного и оповестить нас своим грубым голосом, что он намерен здесь заночевать, — это не значит в полном смысле переночевать, а так только — дать отдохнуть своим «орлам», пока не взойдет луна, потому что лошадки не больше того, чем лошадки, как говорят, немые существа, не то что человек, который сегодня еле жив, а завтра уже ест вареники с творогом.

— Недаром сказано в Священном писании: «Як взалкаешь — так и слакаешь». Другими словами: как мертвецы питаются, так они и выглядят...

Наш возница (большой острослов и балагур!) так разошелся, что «провидцу» стало не по себе, и он, забравшись в уголок, положил свой «узелок» под голову и, видимо, решил вздремнуть. Женщины поодиночке перешли в кухню к хозяйке, с которой у них быстро завязалась беседа, долгая-долгая и, как видно, интересная; это можно было определить по их сосредоточенным личикам, которые они подпирали двумя пальцами под щеку, по головкам, ежеминутно кивающим в знак согласия или удивления. А говорили они, как водится, все разом, вздыхая, прицокивая языком и сморкаясь. В этом всех, как говорится, затыкала за пояс «красноносая», которая от постоянного сморкания приобрела этакий присвист шойфера *, что силится издать звук, но почему-то глохнет, прерывается, как у неумелого трубача, и теряется бог весть где в Бойберике *, то есть черта на куличках.

— Знаете что, сударь! — обратился ко мне молодой человек из Лепешивки. — Послушайте меня! Давайте лучше выйдем во двор, достанем сена и расположимся прямо на земле. Ведь лето как-никак. Это ж просто удовольствие для души!

— Эй! А багаж?! — закричал мне вослед «провидец» из своего угла. — Рукописи ваши! Вы забыли? Не дай

бог, их сопрут еще, не ко времени будь сказано! Право слово, добро такое, богатство несметное!..

— Чтоб его черти побрали! Вы случайно не знаете, что это за субъект? — обратился я к молодому человеку. — Кто он такой, этот отрицатель, «провидец» несчастный?

— Эге, подождите, он еще себя покажет. Вы еще узнаете, что это за штучка, — отвечает молодой человек, подкладывая под голову сено. — Помяните мое слово, сидит в нем какая-то нечистая сила, не будь к ночи упомянута. Какая-то холера в нем, что ли!.. А что вы скажете на эту ночь, а? На это чудесное небо, усыпанное звездами, на этот благодатный воздух! Да у них в самом деле рай земной здесь в деревне, а-а!

Он потянул носом и всей грудью вдохнул этот неповторимый аромат, идущий с ближних полей и лесов. Потом мы долгое время молчали, задрав голову к небу и прислушиваясь к кваканью лягушек где-то неподалеку, приглядываясь к деревьям, счастливо ощущая в глубине души очарование этой прелестной летней ночи. А мой молодой собеседник все еще не мог насладиться и восторгался:

— Но что вы скажете об этой ночи, а?.. Клянусь, таких ночей в нашей Лепешивской дыре и не бывает. Я, сколько живу, вообще даже и запахов таких не нюхал, такого неба не видывал и таких волшебных звуков не слыживал, накажи меня бог, если вру!

— Что ж? У вас разве не то же лето? Не те же небеса и земля не такая?..

— О чем вы говорите, сударь? Что у нас?.. Горе у нас... И нищета. Горе, заботы и еще раз нищета. Вот это вы у нас найдете! Небо, вы говорите? Кто у нас смотрит на это небо? И когда смотреть? За целый день так намаешься от этих пустых заработков, что с приходом ночи валишься, как сноп, а рано утром уже снова на ногах посреди ярмарки — и так вот в канители вся неделя; а когда приходит долгожданная суббота, то дрыхнут напропалую, — едят и спят, спят и едят. Какие радости еще, к слову сказать, доступны простому человеку? Только огорчения, беспокойства, беды — и больше ничего. Поэтому голова так всем забита, что человек забывает и про лето, и про небо, и обо всем на свете. Природа? Зачем ему это надо? На что она ему может пригодиться? Вон посмотрите, сидят там на кухне наши женщины, сидят и чешут языки, черт их знает о чем, — и что им ночной аромат и запахи трав, им и в голову не

придет выйти, подышать свежим воздухом, полюбоваться природой, где все поет и ликует, где даже воздух произносит такие сладостные речи, что сердце прозревает... Но...

Что знает человек? О, как понять он может
Печали глубину возвышенных сердец?..

При этих словах молодой человек спохватился, взялся за края талескотна и, сидя на земле с воздетыми к небу очами, стал читать нараспев, покачиваясь из стороны в сторону, как лулев *, тихим трогательным голоском и таким тоном, каким творят горячо и искушенно утреннюю молитву или произносят пророческие словеса, усердствуя в изучении божественного Талмуда...

Что знает человек? О, как понять он может
Печали глубину возвышенных сердец?..
Как страшная тоска терзает их и гложет,
Как мучится от ран неведомый певец?!

С последней строкой он беспомощно развел руками, склонил набок голову, и я увидел в его маленьких черных глазках навернувшиеся слезы. Я был так потрясен этой неожиданной сценой, что не мог вымолвить ни слова, а он еще продолжал напевать слезным голоском:

Ах! Что знает человек? И как понять он может
Печали глубину возвышенных сердец?..

— Скажите, дай вам бог здоровья, но что это за стихи вы напеваете?

— Это из одной газетки! Это стихи Фруга *. Есть там некий Фруг, в газете, значит, так вот он напевает эти стихи. Боже, какие стихи! Ой, стихи его, стихи!..

И он снова поднял глаза к высокому чистому небу, на котором высыпали тысячи тысяч звезд, и я увидел, как в его зрачках вспыхнули их отраженные огоньки.

— А как попадает к вам в Лепешивку эта газета? — спросил я.

— Э-э! Что-то вы, сударь, принимаете нас совсем за дикарей? Это не то, что вы думаете. Поскольку и у нас в Лепешивке взошло солнце просвещенности и науки, то теперь и мы имеем несколько грамотных молодых людей — книжников; а в складчину мы и газету из Петербурга выписываем. Не думайте, что мы уж такие забытые. Теперь и мы понимаем весь ход событий... Если выходит дельная книга, то мы опять же складываемся и приобретаем ее. Ничего, и мы уже в курсе дела, что

такое фельетон, и что такое газета, и какие пишутся стихи — ах, стихи! Стихи Фруга! Да я его наизусть всего знаю, так я в него влюблен!

— Все стихи наизусть?

— Ну! Что же вы удивляетесь? Мы их так долго твердили, твердили, пока не затвердили наизусть. Не верите — можете послушать. Пожалуйста!..

И он стал сыпать стихами, как из мешка, но уже без выражения, без эмоций, а так, наспех и быстро, как произносят, к примеру, псалмы, и все стихи вперемежку. Но как только дошел до слов:

Что знает человек? О, как понять он может?.. —

он на мгновение застыл и опять перешел на тихий задушевный тон, покачиваясь, как и прежде, во все стороны.

— В чем дело? — спрашиваю я. — Едва вы произносите эту строку, вас словно подменяют — и вы читаете это с таким чувством, так проникновенно?..

Мой вопрос застал его, очевидно, врасплох.

— Понимаете, милый человек, понимаете ли вы меня?! Я не могу это вам раскрыть. Надо только прислушаться к словам, вдуматься в их смысл, и вы сами поймете, сколько там сердечности и чувства, боже мой, сколько... Нет, это можно постичь только вот этим... — И он ткнул себя выгнутым большим пальцем в грудь, в талескотн.

— Скажите откровенно, вы, наверное, тоже пишете стихи? — спросил я.

— С чего вы взяли, что я пишу стихи? Откуда вы знаете об этом?

— Ага! Вот вы и попались!.. Ну живее, что тут долго церемониться? Развязывайте, развязывайте свой узелок, так мы увидим наконец, что там у вас. Кстати, я сам человек, разбирающийся, опытный, как говорят, «бывалый», может, смогу вам быть полезным... Ну ладно, не стесняйтесь, не морщьтесь, показывайте...

Он сначала недоверчиво посмотрел на меня, словно сомневаясь, стоит ли затевать. Потом, решительно отогнув полу кафтана, вытащил из кармана штанов пачку бумаг, аккуратно перевязанную старым ремешком.

— Это и есть все ваше хозяйство? — удивленно спросил я, пытаюсь взять у него этот сверток.

— Эй-эй! Осторожно, потихоньку, вам говорят. Не хватайте из рук. У евреев привычка хватать из рук. Что

за хватание? Имейте терпенье — я вам сам прочитаю. Что, у вас нет времени? Еврей никогда не имеет времени. Что ты скажешь — таковы теперешние евреи!

Пока мы препирались, тем временем незаметно взошла луна и, излучая матово-белый свет, словно хотела сказать, что, окруженная мириадами бриллиантовых звезд, она еще ярче может освещать эту прекрасную землю. Воздух посвежел, и стало чуть прохладней. Лошади, стоявшие поодаль, закончив свой скромный ужин из овса, похрустывали, закусывая сеном и махали хвостами... Возница же, крепко спавший в фургоне, вероятно, и не чуял, что уже взошла луна и пора двигаться дальше, и по временам издавал ужасный дикий храп.

Я растянулся на охапке сена и наблюдал за своим молодым собеседником, который, развязав пачку, долго извлекал оттуда один листок за другим (старые, испитые со всех сторон разными чернилами листки) и наконец дрожащим голосом начал читать свои стихи. «Ах, боже милостивый, какие еще есть на свете необыкновенные создания рук твоих...» — думал я, прислушиваясь к опусам лепешивского стихотворца, который, не переставая, все читал и читал без конца и без края. «Ах ты господи, боже ты наш! Какие все же чудесные люди у тебя! Вот глянешь на этого парня — вроде бы и чепуху городит, а поди ж ты, всю свою жизнь небось гоняется за заработком в поисках куска хлеба, всю жизнь ведет постоянную борьбу с желудком; желудок требует свое: дай ему это, дай ему то. А он знай набьет его чесноком да луком, и порядок! Желудок орет: разбойник, злодей, что ты делаешь, я уже высох весь, я корчусь от мук и пропадаю, а он хватает черствую горбушку и снова долго и усердно трет ее чесноком. А что кишкам худо — так это наплевать, подумаешь, важность какая — кишки! Тут суметь бы сколотить рублевку на более достойные вещи: на книгу, скажем, на чернила, на бумагу...»

— Детишек-то у вас много? — спросил я, глядя на его бледное, измученное лицо.

— Детишек? При чем тут детишки, ни с того ни с сего?

— Ну просто так, я хочу знать, сколько детей у вас уже...

— Сколько? Пятеро у меня, чтоб они были здоровы! Правда, троих унесла оспа, а двое погибли от горлышка...

— От горлышка? Что значит от горлышка?



— Это значит, что у них болело горлышко. Ну, хорошо — несчастье несчастьем, как говорится, но какое это имеет отношение к моим стихам?..

— Нет! Конечно, никакого отношения... Просто я хотел знать...

— Вот тебе раз! Это ж просто комедия с этим евреем. Он хочет знать, еврей хочет знать обо всем на свете. Он такой номер отколет, что держись! Я ему стихи — он мне про детей... Вот послушайте лучше эти стихи!.. А он мне — на тебе — про детей!.. Слушайте, называется: «К листку».

— К чему?

— «К листку»!..

— Ну ладно, читайте, читайте!

Лепешивский стихотворец, держа листок бумажки так, чтоб на него падал лунный свет, начал читать в полный голос:

К листку

И когда еще праотец Ной в ковчеге сидел, как пророк,
То всевышнего дрогнуло сердце, и решил он смягчить его рок
И в награду ему с сизокрылой голубкой был ниспослан листок,

И тогда на лице праотца Ноя отразился, конечно, восторг...
Так и ты у нас в захолустье Лепешивке, о еврейский газетный листок!

За двухлетье тебя ни один удостоить вниманьем не мог,
А спустя еще год ты почти что внимание наше привлек,
А сегодня уже обрести сразу двух подписчиков смог:
Иосла-фельдшера нашего и, конечно, меня, о народный газетный листок!

«Ах ты, господи, боже ты наш, господи! Взгляни только, какие чудесные люди у тебя! — думал я. — Посмотри и возрадуйся! Посмотри, как...»

— Ну, что вы на это скажете? — спросил меня стихотворец, подталкивая локтем в бок. — А?! Недурно, правда? Двести шестьдесят четыре строки — это вам не шуточки, и все, как одна, рифмуются на «ок»! Что же вы молчите?

— А что я могу сказать? В общем, конечно, на художественном уровне, но что-то длинновато. Как религиозный гимн... И... и... и... Словом, с Фругом это еще ни в какое сравнение не идет...

— О-о! Вот иди имей дело с евреем! Покажи ему что-нибудь, так он оговорит тебя с головы до ног и разжует тебе каждое слово!.. Главное, ты ему об одном, он тебе о другом! Ты ему про лапшу, так он тебе про чердак... С евреем разве до хорошего чего дойдешь?! Никогда...

Лепешивский поэт, задетый за живое, так, осердясь, разорался, что наш возница очнулся ото сна, вылез из фургона и, яростно почесывая голову под фуражкой, уставился на луну, рассуждая с ней на своем кучерском языке:

— Слушай, какой недобрый час тебя принес так скоро? Ты не могла чуть повременить, чтоб этот несчастный извозчик еще немного отдохнул после ужина... А? Чтоб ее черт побрал, эту хозяйку! Она таки неплохо подзаработала!.. А вот еще три живодера — чтоб вы подошли, чтоб вас черви точили и жрали, как вы бессовестно жрете весь овес! Холера на вас вместе с этими клиентами, и с корчмой, и со всем вместе!.. Эй, люди, едем, едем! Тащите узлы! Пора ехать!..

Народ стал нехотя подниматься и собираться в дорогу. Появился и «провидец», который с усмешкой поглядывал на меня и на лепешивского поэта и, казалось, посмеивался над нами.

Женщины, закутанные в добрый десяток платков, несмотря на летнюю духоту, одна за другой полезли в фургон. Влезая, они так надсадно кричали, будто каждая из них была чем-то больна.

— Что вы так кутаетесь? — попытался я выяснить у одной.

— Не с большой роскоши, — ответила беззубая. — Мне кажется, что все имеют дело с зубами.

— Все?

— Таки все. У женщин — это от родов и многодетности. Думаете, игрушки: выродить двадцать одного ребенка.

— Двадцать одного ребенка?! — воскликнули все разом.

— Да, так что же? — ответила беззубая. — Чему вы удивляетесь? Подумаешь, моя сестра, к примеру взять, моложе меня, может, года на два с половиной. А? Нет, что я говорю! Года на три. Так она за свою жизнь имела двадцать шесть детей, не считая того, что пару раз скинула.

— И что — все живы?

— Была б веселенькая история, если бы все они были живы! Больше половины поумирали еще в детстве. Осталось, наверно, штук двенадцать или тринадцать, не помню, остальные поумирали.

— Поумирали?..

— Да, поумирали.

«Еврейские дети умирают, еврейские дети мрут, как мухи, — думал я. — Боже, если б они не умирали, сколько бы нас сейчас было на свете? Но они мрут, их косит, как солому...»

— Несчастье большое?! — ответил на мои мысли «провидец». — Я говорю, не очень большое несчастье. По крайней мере, несколькими тысячами бедняков меньше будет. Несчастливые существа. Мученики на этом свете, да и только.

— Все-таки нельзя так говорить, — отозвалась женщина с хриловатым голосом. — Нельзя бога гневить! Если он дает детей, то кричат, что много, если он не дает совсем — так кричат «караул» и, как говорят, лезут на стенку; вот вам, пожалуйста, хороший пример тому. Вот эта женщина, что сидит напротив вас (она показала глазами на «красноносую»). Кажется, очень убедительный пример. Три года прожила с мужем — и ни дитяти, ни теляти, как каменная. Теперь, когда «он» пустился в Америку, так она осталась в четырех стенах, и не с кем даже словом перекинуться, не покарай меня господь за эти речи!..

— Почему же она не уехала вместе с ним в Америку? — спросил я.

— О! Это целая история. Да еще какая история! Расскажи им, Ципе! — обратилась она к «красноносой». — Расскажи, не стыдись. Пусть они хоть знают, как нынешние «мужики» обращаются с нами, с «бабами». Пусть они услышат хоть, какое злодейство творится на белом свете, тогда, может, не позавидуют женской доле. Пусть еще пример возьмут с нас, женщин, которые переносят все несчастья только ради них и их удовольствия...

Мы тоже попросили «красноносую», чтоб она нам все подробно рассказала. Она немного помялась, поворчала, что, мол, у нее уже сердце болит от многократного пересказа этой истории, потом смягчилась, обстоятельно высморгкалась и затянула чуть плаксивым тоном свой рассказ.

СТЕМПЕНЮ

Еврейский роман

Моему дорогому дедушке реб
МЕНДЕЛЕ МОЙХЕР-СФОРИМУ

Милый, дорогой дедушка!

Мой первый еврейский роман «Стемпеню», посвященный Вам, в полном смысле слова — *Ваш* роман. Он Ваш не только потому, что посвящается Вам, но и потому, что Вы вдохновили меня на этот труд.

В одном из Ваших писем ко мне Вы говорите:

«Я бы Вам не советовал писать романы: Ваш жанр, Ваше призвание — совершенно иного рода. Вообще, если в жизни нашего народа и бывают *романы*, то они носят весьма своеобразный характер, это надо учесть и писать их по-особому...»

Ваши слова запали мне глубоко в душу. Я понял, чем должен отличаться еврейский роман: ведь вся еврейская жизнь, в особенности обстановка, в которой возникают любовные отношения, совсем не те, что у других народов. К тому же еврейскому народу присущи свои особые черты, свои обычаи, привычки, свой жизненный уклад. Все эти своеобразные национальные особенности должны найти отражение в романе, если он претендует на жизненную правду.

Таков основной вывод, сделанный мною из Вашего наставления. Эти мысли я и пытался воплотить в образе молодой еврейской женщины — красавице Рохеле, героине моего романа, и в образах других, окружающих ее персонажей. Не мне судить, насколько мой замысел удался. Но у меня было искреннее желание дать такой именно роман, какой Вы совершенно справедливо требуете от еврейского романиста.

Стемпеню еще и потому Ваш, дорогой дедушка, что Вам принадлежит как название, так и идея этого романа. В одном из ваших последних произведений я как-то встретил мимоходом имя Стемпеню, обладателя

бутылочки с «любобными каплями», которыми он снабжает для определенных целей лакеев и прислуг... Этого было достаточно, чтобы в моей памяти ожили все те удивительные рассказы о Стемпеню, которых я в детстве слышал в хедере. Остальное дополнила фантазия.

Найдется, наверно, немало мест, особенно в Литве, где о Стемпеню никто и слыхом не слыхал, и самое имя его там покажется странным. Зато это имя пользуется большой известностью у нас во всей глупской округе* от Мазеповки до самого Егупца*, а о Ваших местечках — Гилюпятске, Цвиачице, Тунейдовке — и говорить нечего: там и ребенок знает, кто такой Стемпеню, откуда он родом и чем прославился.

Но дело не в одном только Стемпеню. Я хотел изобразить в своем романе три основных типа или, как принято выражаться, вывести на сцену трех героев: еврейского артиста — скрипача Стемпеню, еврейскую женщину — красавицу Рохеле с ее пониманием семейной чести и еврейскую молодуху Фрейдл с ее торгашеской натурой, с ее жадностью к деньгам. Это — три разных мира. Стемпеню, Рохеле и Фрейдл — это, так сказать, мои почетные пассажиры, занимающие главное место в фургоне. Остальные персонажи — только попутчики, кое-как примостившиеся на задке. Поэтому этим персонажам я уделил мало внимания, сосредоточив все силы творческого воображения на обрисовке главных героев.

Я считаю, что еврейские музыканты — это особый мирок, заслуживающий более внимательного наблюдения, чем это сделано в моем романе. Но чтобы проникнуть в этот мирок, нужен Ваш глаз, дорогой дедушка, Ваше перо и Ваше трудолюбие.

Ах, где взять это трудолюбие, вдумчивое отношение к каждому слову? Как вооружиться терпением?

«Над каждым произведением, дорогой внук, — пишете Вы в другом письме, — надо много и долго работать, трудиться в поте лица, оттачивать каждое слово. Запомните мой наказ — шлифовать, шлифовать и шлифовать!»

Легко сказать — шлифовать! В том-то и беда, что мы, писательская молодежь, вечно торопимся, что мы норочим закончить начатое произведение, как говорится, «стоя на одной ноге», не переводя дыхания, не вдумываясь в каждый образ, не обрабатывая и не шлифуя каждое слово так, как это делаете Вы.

Я знаю, милый дедушка, я чувствую, что моего «Степеню» надо было бы перемыть в нескольких водах прежде, чем пустить в свет божий. Конечно, из-под Вашего пера, дедушка, «Степеню» вышел бы совершенно иным: Ваш «Степеню» имел бы совсем другой облик. У Вас, дедушка, получился бы рассказ в рассказе, да сверх рассказа рассказ, а потом уже и сам рассказ.

«Мне мало того, — говорите Вы в одном из своих писем, — что на картине изображено хорошенькое личико; хочется еще жизненной правды, ума, мысли, как у живого человека. Всякая картина, помимо блесков стиля, *должна дать что-нибудь уму и сердцу*».

Но эта тайна, увы, открыта только Вам. Создать картину, которая имела бы два лица — лицевую сторону и изнанку, верх и подкладку, видимый образ и его скрытую сущность, — на это только Вы, дедушка, способны, и никто другой в нашей литературе. Кто посмеет сравнить себя с Вами? Мы, молодежь, считаем себя удовлетворенными, если произведение выходит из наших рук хотя бы неискаленным, с живыми чертами литературного творения.

Примите же, милый, дорогой дедушка, мой скромный дар — мой первый роман. Да будет воля того, чье имя свято, чтобы Вы приняли моего «Степеню» со всей благосклонностью и чтобы он доставил Вам удовольствие, как Вы сами того желаете.

Ваш преданный внук,

Автор.

Киев, 1886

I

Родословная Степеню

Прозвище Степеню перешло к нему по наследству от отца, происходившего из села Степеню, неподалеку от Мазеповки. Его покойный отец был, как и он, музыкант, звали его Берл-бас, или Берл из Степеню. Берл-бас не только играл на контрабасе, но и был великолепным бадхеном — рифмоплетом и затейником. На свадьбах он то плясал по-медвежьи, то, выворачивая веки, прикидывался нищим, то изображал роженицу, которая кричит не своим голосом: «Ой, бабка, клянусь всем святым, больше этого никогда не будет!..» Или пустит, бывало, неожиданно посреди свадебного зала струю воды, заставляя мужчин подбирать полы своих длинных сюртуков, а женщин — юбки... А то вдруг незаметно пристегнет какую-нибудь ерунду к переднику матери невесты или выкинет другую забавную шутку в этом роде.

Профессию музыканта Степеню унаследовал от дедов и прадедов. Его отец, Берл-бас, как мы уже знаем, играл на контрабасе, дед, реб Шмулик-трубач, играл на трубе, прадед, Файвуш-цимбалист, — на цимбалах, а прапрадед Эфраим-файол... Словом, род Степеню до десятого колена состоял сплошь из музыкантов.

Надо отдать справедливость нашему Степеню: он не стыдился своей профессии, как это бывает с иными музыкантами. И ничего удивительного: ведь Степеню приобрел славу не только в Мазеповке, имя его прогремело чуть ли не на весь мир. Шутка ли — Степеню!

Каждый еврей считал великой для себя честью послушать пение Нисона Бельзера, шутки и песни бадхена Годика или музыку Степеню. Уже по одному этому вы

можете судить, что Стемпеню не был заурядным музыкантом и не зря пользовался славой наравне со всеми «великими».

Евреи любят музыку и знают в ней толк, — вряд ли кто будет оспаривать это. Нужды нет, что им не очень-то часто приходится услаждать свой слух музыкой, — с какой это радости человек вдруг запоет или пустится в пляс? Но все же, говорите что хотите, — евреи умеют ценить и музыку, и пение, и прочие искусства.

Приедет к нам в местечко известный кантор, — не иначе как по билетам пускают в синагогу. А уж о свадьбах и говорить не приходится — свадьбы, как известно, без музыки не бывают. Слушать, как заливается оркестр за свадебной трапезой, играя что-нибудь жалобное (веселое будет после), — за это мы готовы все отдать! Народ сидит и благоговейно слушает. А музыканты играют грустную, заунывную, за сердце хватающую мелодию. Скрипка то жалобно стонет, то плачет, остальные инструменты, поддерживая ее, издают такие же печальные звуки. Хмурое облако надвигается на лица слушателей, душу томит печаль — сладостная, но все же печаль. Каждый задумчиво опускает голову и, водя пальцем по тарелке либо скатывая шарики из свежей халы, погружается в размышления, в мир безрадостных мыслей. У каждого свое горе, своя забота: забот еврейю не занимать стать. Так сливаются воедино печальные мелодии и грустные думы, и каждый вздох скрипки стоном и болью отдается в сердцах свадебных гостей. Человеческое сердце вообще, а еврейское в особенности, что скрипка: нажмешь на струны — и извлекаешь всевозможные, но больше печальные звуки... Но под силу это лишь большому музыканту, подлинному мастеру — такому, каким был Стемпеню.

Ну и мастер же был Стемпеню! Бывало, только возьмет в руки скрипку, проведет по ней смычком, и скрипка заговорит. Да как заговорит! Живым, подлинно человеческим голосом. В этом голосе — мольба и упрек, душевраздирающий стон, мучительный крик, идущий из самого сердца... Стемпеню склоняет голову набок. Длинные черные локоны в беспорядке падают на широкие плечи. Глаза, светлые сверкающие глаза, глядят ввысь, а прекрасное светлое лицо смертельно бледнеет... Еще мгновение — и нет Стемпеню! Видишь только, как летает рука вверх и вниз, вверх и вниз, — и струятся

звуки, и льются мелодии, самые разнообразные, но больше всего унылые, печальные, болью отзывающиеся в сердце. Слушатели замирают, немеют от восторга. Сердца смягчаются, слезы выступают на глаза. Люди вздыхают, люди стонут, люди плачут... А Стемпеню? Где Стемпеню? Какой там Стемпеню? Спросите его, где он находится, — он и сам не скажет. Знай свое — водит смычком вверх и вниз, вверх и вниз, и больше ни до чего ему дела нет... Кончив играть, Стемпеню бросает скрипку и хватается рукой за сердце. Глаза горят, как венечальные свечи. Прекрасное лицо его светится.

Гости словно очнулись от сна, печального, но сладостного сна. Все хором выражают свой восторг: охают, вздыхают, восхищаются, расхваливают музыканта на все лады и нахвалиться не могут:

— Ну и Стемпеню! Ай да Стемпеню!

А женщины? Что тут говорить о женщинах? Вряд ли накануне Судного дня при поминании дорогих покойников они столь горько плачут, как плачут в те минуты, когда Стемпеню заливается на своей скрипке. Плач о разрушении храма Соломонова ничто в сравнении с тем потоком слез, которые проливают женщины, слушающая игру Стемпеню.

— Молю бога, чтобы Стемпеню играл на свадьбе моей младшей дочери.

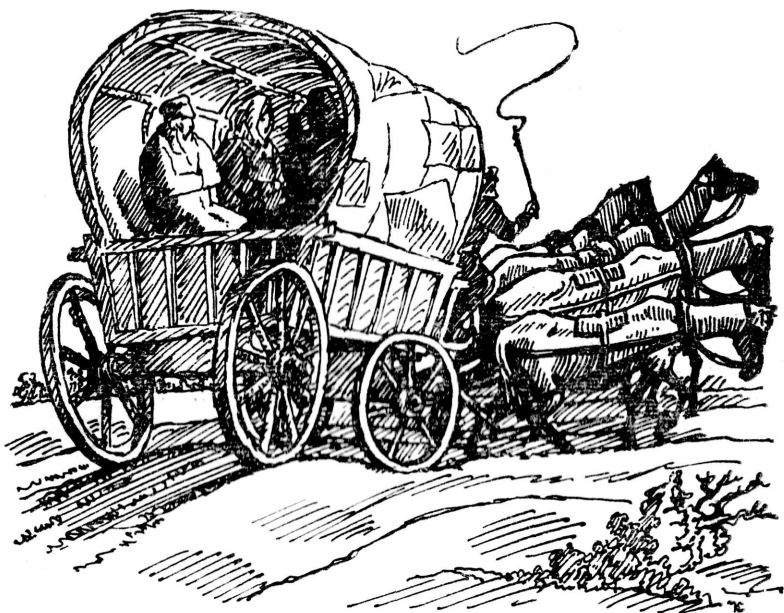
Такие и подобные им пожелания шепчут про себя женщины, вытирая заплаканные, распухшие от слез глаза и раскрасневшиеся носы. При этом их ожерелья, золотые серьги, перстни, броши, цепочки и прочие драгоценности так и сверкают.

Что уж говорить о девушках! Они стоят неподвижно, как прикованные к месту, и широко раскрытыми глазами глядят на Стемпеню и его скрипку. Ни одна не шевельнется, бровью не поведет. А сердечко бьется под корсетом, и часто из глубины души вырывается затаенный вздох...

II

Стемпеню и его оркестр

Трудно представить себе то возбуждение, ту шумную радость, которая охватывает жителей местечка при появлении там Стемпеню с его оркестром.



— Глядите, глядите! Вон там, за мельницей, показалась четверка лошадей. Не иначе, как родные жениха. Как, по-вашему?

— Нет, по-моему — музыканты. Это едет Стемпеню со своим оркестром.

— Кто? Стемпеню? Стемпеню уже здесь? Вот веселую свадьбу затеял Хаим-Бенцион Глок, болячка ему в бок!

Румянец заиграл на щеках молодых женщин. Девушки спешат причесаться, заплести свои длинные косы. Мальчуганы, засучив штанишки, бегут встречать Стемпеню. Отцы семейств, бородачи — и те не могут скрыть радостную улыбку: им доставляет истинное удовольствие приезд знаменитого музыканта к Хаим-Бенциону Глоку. Да отчего бы им и не радоваться? Денег им это стоит, что ли?

К тому времени, когда четверка лошадей подкатывает к засезjemu дому, улица уже запружена народом. Всем любопытно поглядеть на Стемпеню с его компанией, и каждый останавливается хоть на минуту у крытого фургона.

— Ишь как прет! — слышатся восклицания, и каждый, как водится, расталкивает толпу, стараясь пробраться в первые ряды. — Глядите на него, как он локтями орудует! Непременно хочет быть первым. Чего вы тут не видали? Музыканты как музыканты!..

Так кричат люди со всех сторон, что не мешает, однако, этим же самым крикунам настойчиво протискиваться к фургону с музыкантами.

Тем временем музыканты один за другим начинают выходить из повозки.

Впереди всех — Иокл-контрабас (что играет на контрабасе), сердитый мужчина с приплюснутым носом и ключьями ваты в ушах. За ним — Лейбуш-кларнет, зашпанный человек с толстыми губами. Затем — неизвестный бадхен Хайкл-горбун. Потом — черномазый взъерошенный детина с такими мохнатыми бровями, что страх берет, неизмеримо волосатый, похожий на дикого жителя пустыни, — это Шнеер-Меер, вторая скрипка. За ними из фургона выскакивают два-три молодца удивительно безобразного вида, с одутловатыми щеками, подбитыми глазами и с огромными, как лопаты, зубами, — это ученики. Пока что они работают бесплатно; со временем они станут настоящими музыкантами. И, наконец, напоследок выкатывается на своих кривых ножках рыжий Мехча с барабаном, который своими размерами значительно превосходит барабанщика. У Мехчи пробивается борода, рыжая борода, и только на одной стороне лица, на правой, другая же сторона его лица — левая — гола, как пустыня. Мехча-барабанщик, надо вам знать, женился на тридцатом году жизни, и жена его, как поговаривают, полуженщина-полумужчина.

Ребятишки, разумеется, тоже не остаются в стороне, когда в местечко приезжает Стемпеню со своим оркестром. То и дело какой-нибудь озорник, подкравшись к музыкантам, бухнет кулачком в барабан либо дернет толстую струну контрабаса. Разъяренный Иокл-контрабас тут же дает шалуну подзатыльник.

Между тем оживление на улице растет. Вот и сам жених прибыл, и с ним несколько десятков юношей, которые выехали встречать его далеко за местечко, туда, где стоят мельницы. Словом, в местечке Ямполье — радость и ликование.

И не только в Ямполье, но и в Стриче, и во всех других местечках, которые Стемпеню достаивает своим по-

сещением. То же происходит в Мазеповке, где Стемпеню поселился навсегда... Всюду прославленный музыкант вызывает бурю восторгов.

III

Приготовление Стемпеню

Отчего так ликует Мазеповка?

Реб Хаим-Бенцион Глок выдает замуж свою младшую дочь Ривкеле. Так почему бы не повеселиться? На такой свадьбе стоит побывать: ведь Глок, что ни говори, один из первых богачей в Мазеповке. Много народу придет к Хаим-Бенциону Глоку на торжество: кто — по дружбе, кто — из зависти, кто — ради приличия, а кто — для того, чтобы блеснуть новыми сережками или ожерельем, купленными жене на последней ярмарке. Но больше всего привлекает людей Стемпеню.

Одним словом, народ валом валит на торжество; чуть не вся Мазеповка веселится на свадьбе Ривкеле, дочери Хаим-Бенциона Глока. А уж об Айзик-Нафтоле с его женой и детьми и говорить нечего: Айзик-Нафтоле, во-первых, компаньон Хаим-Бенциона и по лавке и по мельнице; во-вторых, они состоят между собою в некотором родстве, правда, весьма отдаленном: жена его приходится свойственницей жене Хаим-Бенциона со стороны матери, как говорится — седьмая вода на киселе.

Не удивительно, что жена Айзик-Нафтоли Двоя-Малка, как и подобает родственнице, хлопочет и суетится на свадьбе больше всех. В сущности, она ничего не делает, но кричит, командует, распоряжается и размахивает руками за десятерых...

Невестка Двоя-Малки, красавица Рохеле, стоит возле невесты, разодетая, словно принцесса. Ее большие синие глаза сверкают, как алмазы, щеки — что две свежераспустившиеся розы. Одной рукой она поддерживает распущенные волосы невесты, которой женщины перед «покрыванием»* с плачем и причитаниями расплели косы, другой поглаживает свою белоснежную шею, совершенно не замечая, что два больших черных сверкающих глаза неотрывно глядят на нее.

Нанятая по случаю торжества прислуга — мужчины и женщины — носится как угорелая. Сваты кричат:

— Ой, батюшки! Пора «усаживать» невесту. Доколе мучить бедных детей? Такой долгий летний день, а они все постятся*.

Кругом галдят: «Пора, пора», — но это нисколько не меняет дела.

Айзик-Нафтоля в бархатном картузе бегаёт взад и вперед, заложив руки за спину, а Двоя-Малка вопит во всю глотку. Родные жениха, так же как и родные невесты, без толку мечутся по комнате с простертыми руками, словно они жаждут дела, но не знают, с чего начать.

— Ну, почему же никто ничего не делает? — спрашивает родня жениха.

— Почему не приступают к делу? — возмущается родня невесты.

— Видали вы нечто подобное?! — вопит родня жениха. — Так долго морить голодом детей!

— Слыхали вы что-нибудь подобное?! — негодуёт родня невесты. — Так долго мучить голодных детей!

— Что это за беготня?

— И зачем они мечутся без толку?

— Все бегают, все суетятся, а дело ни с места! Ну и порядки!

— Бегают, шумят, а как доходит до дела — никого нет!

— Не довольно ли пустых разговоров? Пора приниматься за дело! Хватит суетиться без толку!

— Где же музыканты? — спрашивает родня жениха.

— Музыканты где? — вторит родня невесты.

Музыканты заняты своим делом: натирают смычки, настраивают инструменты. Йокл-контрабас дерет за ухо мальчишку, тихо приговаривая: «Ты шалопай этакий! Я тебе покажу, как дергать струну!» А Мехча-барабанщик, ни на кого не глядя, почесывает ту половину лица, на которой едва заметна скудная растительность. Бадхен Хайкл беседует с знакомым меламедом, берет у него двумя пальцами понюшку табаку и сыплет шутками да прибаутками, как из дырявого мешка. Остальные музыканты, молодцы с одутловатыми лицами и огромными, как лопаты, зубами, перешептываются со Стемпеню о каком-то важном деле на своем музыкантском наречии.

— Кто эта девушка, что рядом с невестой? — спрашивает Стемпеню, кивая на красавицу Рохеле. — Поди-ка,

Рахмиел, — обращается он к одному из одутловатых музыкантов, — разведай, кто она. Да прытко, Рахмиел, прытко!

Рахмиел не заставляет себя долго ждать.

— Это не девушка, — докладывает он, — это уже бабочка. Сноха Лйзник-Нафтоли, родом из Сквиры. А вон тот, что шмыгает по комнате в бархатном картузе, — видите? — это ее муженек.

— Пропади ты пропадом, Рахмиел! — восклицает благодушно настроенный Стемпеню. — Так быстро все разузнал? Эх, да ведь она и вправду очень красивая бабочка! Смотри-ка, смотри, как она таращит свои гляделки!

— Если хотите, — говорит одутловатый Рахмиел, — я пойду покалякаю с ней.

— Провались ты сквозь землю, Рахмиел! Никто тебя не просит быть посредником. Пойду сам с ней покалякаю.

— А ну-ка, метни из скрипки пару черных глаз! — несожиданно врывается в разговор Шнеер-Меер. — Вымотай-ка жилы у публики своей скрипкой!

Стемпеню берет в руки скрипку и глазами подает знак оркестру. Музыканты настраивают свои инструменты.

IV

Скрипка Стемпеню

Наконец, с божьей помощью, усадили невесту на возвышение.

Ах, чувствую, что перо мое бессильно описать, как Стемпеню «усаживал» невесту. То не была обычная игра, пустое пиликанье на скрипке, а подлинное священнодействие, полное возвышенных чувств, проникнутое благородством. Стемпеню стал против невесты и обратился к ней с речью на скрипке, с длинной трогательной, блестящей речью о счастливой вольной девичьей жизни до замужества и об ожидающей ее тяжелой и мрачной женской доле. Еще несколько минут — и конец девичьему приволью! Наденут на голову фату, скроются под ней навеки длинные, пышные косы... Прости-прощай, веселая юность! Впереди бабье счастье! Ой, до чего же грустно, прости господи!

Так говорила скрипка Стемпеню. Женщины прекрасно понимали печальный смысл этой речи без слов, чувствовали его и заливались горячими слезами.

«Давно ли я сама была невестой, — думала про себя молодая женщина, глотая слезы. — Давно ли я вот так же сидела с распущенными волосами и думала, что светлые ангелы реют надо мной, что нет предела моему счастью? А теперь!.. Увы, теперь...»

— Благослови, господи! — молитвенно шепчет про себя старая мать, у которой полон дом дочерей на выданье. — Благослови, господи, мою старшую дочь, пошли ей скорее суженого! Но да будет доля ее счастливее моей, и да живет она со своим мужем не так, как я со своим, — прости мне, господи, грешные мысли!..

Такие думы волнуют сердца женщин. А Стемпеню знай себе играет, и скрипка его говорит. Она играет жалобную мелодию, и ее поддерживает весь оркестр. Все замерло, никто не шелохнется. Тишина. Все, все хотят слушать Стемпеню. Приумолкли женщины, призадумались мужчины, и девушки и юноши взобрались на стулья и столы — все хотят слушать Стемпеню!

Тсс!.. Тише, замолчите!

Стемпеню заливается на своей скрипке, и сердце тает, как воск. Только и слышно: тех-тех-тех!.. Только и видно: рука летает вверх и вниз, вверх и вниз... И раздаются чарующие звуки, струятся дивные напевы, печальные, тоскливые — прямо за сердце берут, душу выматывают. Толпа замерла, затаила дыхание. Сердца переполняются до краев, размягчаются, и слезы навертываются на глаза. Люди вздыхают, люди стонут, люди плачут... А Стемпеню? Где Стемпеню? Нет его! Исчезли и Стемпеню, и его скрипка; лишь звуки, сладостные звуки наполняют комнату...

А красавица Рохеле, никогда до того не выдавшая Стемпеню, Рохеле, знавшая о его существовании, но никогда в жизни не слышавшая его чудесной игры, прислушивается к волшебным звукам, к изумительным мелодиям и не понимает, что с ней творится: эти звуки и томят и ласкают. Что же это такое? Рохеле смотрит туда, откуда несутся сладостные звуки, и видит прекрасные пылающие черные глаза, глядящие на нее в упор, — они пронзают ее насквозь, как остро отточенные стрелы.



Эти прекрасные горящие черные глаза смотрят на нее, кивают ей, говорят с ней без слов. Рохеле хочет отвести от них взгляд — и не может.

«Так вот он каков, Стемпеню!» — думает Рохеле.

Между тем обряд «усаживания» закончился, и родня засуетилась: пора вести молодых к венцу.

— Куда девались свечи? — спрашивает родня жениха.

— Свечи куда делись? — спрашивает родня невесты.

Снова шум и суета. Все хлопочут, бегут неведомо куда, толкаются, наступают друг другу на мозоли, в толчее обрывают кой-кому подола платьев, потеют, бранят изо всех сил сарверов, те, в свою очередь, ругают родителей новобрачных, а свойственники тоже спорят между собой. Словом, весело хоть куда!

После венчания Стемпеню, воспользовавшись суматохой, покинул свою капеллу. Вот он уже в толпе женщин, около красавицы Рохеле, снохи Айзик-Нафтоли. Он заговорил с ней, улыбаясь и поглаживая рукой свою

пышную шевелюру. Рохеле слегка покраснела и, потупив глаза, отвечала из пятого в десятое. Не пристало же ей ни с того ни с сего заводить разговор с музыкантом, да еще на людях!..

V

Первая встреча Стемпеню с Рохеле

О Стемпеню рассказывают всякие небылицы. Ходят слухи, будто он знает с колдунами, ворожеями и прочей печистью, будто ему ничего не стоит отбить невесту у жениха, будто он владеет таким колдовством, что стоит ему только взглянуть на девушку, как в сердце ее вспыхнет такая пламенная любовь, что господь спаси и помилуй!

Многим матерям известна эта тайна, и поэтому они всячески оберегают своих дочерей — невест. Стоит девушке заговорить со Стемпеню, как сразу же вырастает рядом ее старшая сестра, тетка, дочь тетки, а то и совсем посторонняя женщина... Правда, для Стемпеню в этом нет ничего лестного. Но что за беда! Слава его от этого не убавится. Какое отношение имеют подобные слухи к музыке? Все знают, что Стемпеню — отчаянный повеса. Ну и что ж? Ведь на свадьбу его приглашают не для того, чтобы породниться с ним.

Благословенна судьба ваша, еврейские женщины, и да благословит небо ваших мужей за то, что они одарили вас прекрасным даром — свободой! Горе бедным девушкам, скованным цепями неволи! Они не выходят из-под бдительного надзора до тех пор, пока не накроют им головы свадебным покрывом. Лишь тогда девушка становится женщиной, свободной, счастливой женщиной!..

У Рохеле, как у замужней женщины, не было никаких оснований бежать от Стемпеню, когда он подошел к ней со скрипкой под мышкой и с улыбкой на устах. Чего ей бояться? От кого ей таиться? Свекор Айзик-Нафтоля весь поглощен свадьбой: прохаживается, заложив руки за спину, и следит за прислугой, чтоб живее пошевеливалась. А свекровь Двося-Малка так запарилась, что сорви кто-нибудь парик с ее головы, она бы и то не почувствовала. Пробегая мимо Рохеле, она, правда, на миг остановилась посмотреть, какие такие дела завелись у Стемпеню с ее невесткой, но тотчас же подумала:

«Глупости! Пустые разговоры! Гроша медного не стоят!»

И побежала дальше распоряжаться, поторапливать прислугу.

Айзик-Нафтоля с женой распоряжались весьма искусно. Прислуга металась как угорелая. Родные жениха и невесты, как водится, галдели без умолку. Гости же, помыв руки, торопились занять места на длинных скамьях за длинными столами, на которых стройными рядами лежали свежеиспеченные булки. Вдруг поднялась тревога: в кадке иссякла вода.

— Где бы достать воды? — спрашивает родня жениха.

— Воды где бы достать? — вторит родня невесты.

— Воды! — кричит Двося-Малка слегка охрипшим голосом.

— Воды! Воды! — поддерживает ее Айзик-Нафтоля, задрав фалды своего сюртука с видом чрезвычайно занятого человека.

Стемпеню воспользовался новой суматохой, чтобы обменяться с Рохеле еще несколькими словами. Вид у нее был задумчивый, сосредоточенный. Ее красивые голубые глаза глядели мимо Стемпеню куда-то вдаль. А уши тем временем ловили его слова.

А говорить Стемпеню был мастер! Красно говорил, повеса! Он опутывал собеседницу своей речью и, как опытный искуситель, неотрывно смотрел ей в глаза... Нет, не в глаза!.. В сердце он ей глядел, в самое сердце!

Стемпеню говорил, а Рохеле слушала. В комнате стоял такой гомон, что до посторонних могли дойти только обрывки их разговора.

— Это ваш Мойше-Мендл? — спросил Стемпеню, указывая взглядом на молодого человека, который, ухватившись за чей-то лацкан, страстно, с необычайной горячностью убеждал в чем-то своего собеседника.

— Да, мой Мойше-Мендл, — ответила Рохеле и, словно обидевшись, отошла в сторону.

Рохеле и в самом деле почувствовала себя оскорбленной и с этой минуты даже взглядом не достаивала тот уголок, где сидели музыканты. Долго потом вертелась возле нее Стемпеню. Напрасно! Он был ей противен, этот Стемпеню, противен до отвращения своими дерзкими повадками и вызывающим взглядом. «Фи, стыд и срам! Порядочной женщине зазорно даже стоять рядом

с ним», — думала Рохеле, подходя снова к невесте. Она уж готова была забыть о самом существовании Стемпеню.

Но что это? Отчего все вдруг насторожились? Это Стемпеню в сопровождении оркестра снова заиграл «Зануввную». Сразу все затихло — ни звука, ни шороха. Задумчиво стоят мужчины, приумолкли женщины. Юноши и девушки взбираются на стулья и скамьи. Все хотят слушать Стемпеню.

Айзик-Нафтоля, склонив голову набок, с видом знатока внимает звукам скрипки. Двоя-Малка застыла на месте с тарелкой в руке. Даже слуги — мужчины с подобранными фалдами сюртуков и женщины с подоткнутыми подолами юбок — остановились в оцепенении посреди комнаты... А Стемпеню играет, и скрипка в его руках поет так грустно, что народ идохнуть боится. Все замерли. Сердца смягчаются, увлажняются глаза. Люди стонут, люди плачут... А Стемпеню?! Где Стемпеню? Нет его!.. Никто не видит Стемпеню, никто не видит его скрипки. Все слушают божественные звуки, которые наполняют комнату.

А красавица Рохеле, никогда до того не слышавшая Стемпеню, упивается изумительными звуками и не понимает, что с ней: мелодии словно ласкают ее, сердце переполнено... Рохеле смотрит туда, откуда несутся эти удивительные звуки, и видит прекрасные черные глаза, которые глядят на нее в упор, пронзают насквозь, как остро отточенные стрелы. Эти прекрасные, огненные черные глаза устремлены на нее, ласкают, говорят что-то без слов... Рохеле опускает голову и видит перед собой сверкающие черные глаза. Она глядит во все стороны — и видит те же черные огненные глаза...

VI

После свадебного пира

Свадебный ужин давно окончен.

Уже отгремели все «виваты», уже поднесены свадебные подарки новобрачным, невеста уже протанцевала свой «целомудренный танец», а веселье все еще в полном разгаре. Каждый из гостей заказывает оркестру танец. Резник Ионтл танцует «казачка», а навстречу ему важно

выступает мать невесты с огромным животом. Публика хлопает в ладоши, а благочестивый Ионтл не замечает даже, что танцует с женщиной. Залихватски откалывая колени, он идет впрысядку. Мать невесты притопывает подбоченясь и улыбается ему широкой улыбкой, которая расплывается по всему ее широкому лунообразному лицу.

Веселье разгорается. Мужчины танцуют уже, не в обиду им будь сказано, чуть не в одних исподних. Вот и Айзик-Нафтоля скинул сюртук, выставив напоказ широкие рукава белой сорочки. Не так-то легко было уломать его, чтоб он согласился снять сюртук. Кто-то напялил ему на голову чужую шляпу, нахлобучил ее на глаза. Все гогочут, глядя на него веселыми пьяными глазами. Даже его родной сын Мойше-Мендл (муж Рохеле) и тот схватил отца за белый рукав сорочки и настойчиво тащит в круг.

— Не жалею ног! — кричит Мойше-Мендл отцу, подпрыгивая чуть не до потолка.

Музыканты играют уже без Стемпеню. Они вошли в раж. Верховодит ими один из одутловатых юнцов с лопатообразными зубами. Черный лохматый Шнеер-Меер — вторая скрипка — дремлет; Иокл-контрабас храпит. А молодежь старается изо всех сил. Больше всех усердствует Мехча-барабанщик, — он бешено колотит в барабан. Его рыжей головы и не видать; видно только, как он подергивает плечами и притопывает кривыми ножками. А Стемпеню? Тот снует между молодыми женщинами, постепенно подбираясь к Рохеле.

— Не пойти ли нам домой, свекровь? — обратилась Рохеле к Двосе-Малке, которая во все глаза смотрела на Айзик-Нафтолю с выставленными напоказ рукавами белой сорочки и с чужой шляпой на голове.

— Что ж, пойдём, доченька, пойдём. Завтра базарный день — надо выспаться. Глянь, как они разгулялись!

И Двосья-Малка с невесткой уходят.

Край темно-голубого неба светлеет. Близится рассвет. Запел петух, и десятки других ответили ему приветным кукареку. Где-то вдали залаяла собака. Все хатенки погружены еще в глубокий сон. Только в доме резника Герш-Бера светится огонек: он встает за час до рассвета и в предутренней тишине читает священные книги...

— Что скажешь, Рохеле, про дочку Гнеси? И, боже мой, как расфуфырилась! Ну, как она тебе понравилась?

Погруженная в свои думы, Рохеле ничего не ответила. Кто знает, о ком сейчас ее помыслы?

— Свекровь, — неожиданно заговорила она, — я ведь сегодня впервые слышала Стемпеню.

— Что ты, дитя мое! Как это впервые? А у вашего богача реб Лейбци-Аврома-Герша? А у реб Нехемьи-быка? А у Соры, дочери Бенциона? Наконец, у самого цадика?

— Не помню, — ответила Рохеле. — Все слышу: Стемпеню да Стемпеню, но видеть его никогда не приходилось.

— Оно и понятно! Где тебе и помнить?! Ты еще была совсем цыпленком, когда Стемпеню играл на свадьбе у дочери сквирского цадика. Ох и свадьба была! Всем моим близким и друзьям желаю справлять такие свадьбы! Можешь себе представить — я тогда была беременна Иосенькой... На каком же это месяце? На шестом, видно... А? Нет, на восьмом... Куда ты, Рохеле? Вот ведь наш дом, а ты прямо к Гнесс. Вот так штука, ха-ха-ха!

— Что за вздор! — сама себе удивилась Рохеле, оглянувшись кругом. — Смешно, право, ха-ха-ха!

Смеясь, свекровь с невесткой вошли в дом. Надо было вздремнуть хотя бы часок-другой: с утра в Мазеповке предстоял большой базар, почти ярмарка.

VII

Рохеле не спится

Вот беда — Рохеле не может уснуть! Ворочается с боку на бок, то сбросит одеяло, то снова натянет его на себя... Не спится! Как ни старается она гнать от себя всякую мысль о Стемпеню, образ его, бог весть почему и зачем, упорно стоит перед ее взором. Она крепко-накрепко смежает веки — и снова перед нею Стемпеню с его прекрасными черными глазами: они глядят на нее в упор, эти глаза, ласкают, притягивают к себе.

— Ах, чтоб ему ни дна ни покрывки! — с досадой шепчет Рохеле. — Хоть бы Мойше-Мендл пришел.

Она открывает глаза и опять видит Стемпеню со скрипкой в руке. Ей чудится, будто она все еще слышит изумительную музыку.

— Какая игра! Ах, что за игра! Недаром о нем такие чудеса рассказывают...

Рохеле вспоминает удивительные рассказы о Стемпеню, слышанные ею в детстве, когда она жила в Сквире и обучалась грамоте и письму у «учителя для девочек» Мотла Шпрайза. Ну и наслышалась же тогда Рохеле от подруг о Стемпеню! Рассказывали, например, о том, как Стемпеню однажды отбил невесту у жениха, как невеста, не вынеся позора, умерла и ее повенчали уже мертвую под черным балдахином... О том, как Стемпеню отомстил когда-то девушке, назвавшей его шарлатаном... О том, как Стемпеню играл однажды на свадьбе у одного крупного помещика, графа; как дочь графа, паненка редкой красоты, страстно влюбилась в скрипача и заявила: «Умру, а Стемпеню будет мой!» Услыхав такие речи, граф призвал к себе Стемпеню и сначала угрозами, а потом добром стал уговаривать его принять христианство и жениться на его дочери-паненке, обещая в приданое три деревни. Но Стемпеню ответил ему по-французски (Стемпеню, конечно, говорил и по-немецки и по-французски), что своего червонца он не променяет даже на горы чужого золота. С тех пор Стемпеню пользуется большим почетом среди благочестивых евреев, сам цадик уважает его. Паненка же, услышав ответ Стемпеню, бросилась в реку...

И много таких диковинных историй, которые и слушать-то страшно, рассказывали Рохеле ее подруги.

Вспоминаются Рохеле и уверения одной из подруг, будто у Стемпеню имеется какой-то пузырек с «любовным напитком». «Вздор! — думает Рохеле, воскрешая в памяти все эти рассказы. — Гроша ломаного я бы не дала за этот напиток и за такую, с позволения сказать, любовь! Мой Мойше-Мендл любит меня без всякого любовного напитка... А я его? А я Мойше-Мендла?..»

Рохеле повернулась на другой бок, лицом к стене, и крепко призадумалась. Впервые пришла ей в голову такая мысль. «Вот еще страсти какие! Чепуха! Небылицы на тараканьих ножках! При чем тут «люблю — не люблю»? Во всяком случае, не ненавижу!..»

Да и говоря по совести, отчего ей не любить мужа? Мойше-Мендл не урод какой, прости господи. Он — человек современный: пейсы закладывает за уши, чтобы их не было видно, читает газеты. Любит в разговоре

блеснуть острым словом, позабавиться в компании молодежи... Вполне приличный молодой человек! Правда, с ней, с женой, он все еще обращается как-то дико: двух слов с ней никогда всерьез не вымолвит. Кинет словечко и тотчас же отвернется: спешит в синагогу либо на базар. Нет того чтобы улучшить часок-другой, подсесть к жене да поговорить по душам, как водится у людей, потолковать о том, о сем, — дикарь, да и только!

Да, не о том мечтала Рохеле, когда была невестой. Тогда ей казалось: все завидуют тому, что у нее такой чудо-жених. Она была уверена, что лучшего, чем Мойше-Мендл (как он был хорош тогда!), во всем мире не сыщешь, что она будет счастливейшей женщиной... А теперь! Ее подружки живут припеваючи: одна поселилась с мужем в большом городе и шлет оттуда восторженные письма; другая тоже обзавелась своим домком, живет самостоятельно; даже Хана-Мирл, так убивавшаяся, когда судьба заставила ее выйти за вдовца с пятью детьми, — и та сейчас счастлива. А она, Рохеле? Увы, ей нечем похвастать. Всю неделю сидит взаперти, будто птичка в клетке. Ешь, пей и спи! Свекор и свекровь изводят ее своими неусыпными заботами, — день и ночь все Рохеле да Рохеле! А Мойше-Мендл с его манерами, с его скупыми фразами, что она для него? Тс... кто-то стучится в дверь. Должно быть, Мойше-Мендл. Свекровь вышла отворить ему дверь.

— Мойше-Мендл?

— А? Что?

— Это ты, Мойше-Мендл? — спрашивает мать.

— Ну и пляска! — лепечет Мойше-Мендл. — Пропади они пропадом! Бррр!..

— Что ты мелешь, Мойше-Мендл? — говорит мать. — Раздевайся и спать ложись.

— Пропади они пропадом! Ну и здорово же напились! Берл-Менаше, ха-ха-ха!

— Бог с тобой, Мойше-Мендл, что за вздор ты несешь! — воскликнула Двося-Малка, зажигая спичку.

— Разве вы не видите, свекровь, что он пьян как стелька? Зажгите, пожалуйста, свечку, не то он себе нос расшибет.

— Бррр!.. Еще рюмочку!.. Ну их ко всем чертям!

Бормоча под нос что-то невнятное, Мойше-Мендл повалился на кровать, и тотчас послышался его оглушительный храп. Заснула и Двося-Малка. Детишки

давно уже почил сном. Со всех сторон раздаются свист и храп. Все сладко спят в этом доме. Одна Рохеле никак не может уснуть. Не спится, хоть что хочешь делай! В окно светит луна. Длинная бледная полоса света падает на кровать, на которой лежит, разметавшись во сне, Мойше-Мендл. Рот у него широко открыт, голова запрокинута, шея вытянута, и из нее выпирает уродливый острый кадык. Глядеть тошно!

Рохеле не хочет смотреть и все же смотрит. Никогда еще муж не казался ей таким противным, как теперь, в эту ночь. Невольно она сравнивает его с другим — с этим повесой Стемпеню. Неужели это тот самый Мойше-Мендл, еще совсем недавно ее жених, белолицый и красивый, с приветливой улыбкой на устах, с живыми глазами? Куда девались его стройная фигура, приятные манеры, остроумие? Да неужто же это тот самый Мойше-Мендл?

И снова Рохеле невольно сравнивает мужа с другим — со Стемпеню.

Прочь, прочь, мрачные мысли! Не смущайте душу добродетельной женщины!

VIII

К «шлейер»-обеду *

На следующий день после венчания, когда посыльная из синагоги Хьена явилась к Двосе-Малке с сообщением, что мать невесты, сама невеста, ее жених и все сватья приглашают Двосю-Малку и ее семью на торжественный обед, Рохеле уже была повязана и разодета по последней моде местного дамского портного Довидамеханика. На ней было шелковое платье небесно-голубого цвета с белыми кружевами и широкими рукавами, какие тогда носили в Мазеповке, где мода обычно запаздывает на несколько лет. Сквозь накиннутый на голову ажурный шелковый платок просвечивали повойник и косы... правда, чужие косы; ее собственные белокурые полосы уже давно острижены, запрятаны от людских глаз навсегда, навеки. Затем она нацепила на себя, как водится, весь набор приличествующих случаю украшений: несколько ниток жемчуга, длинную золотую цепочку, брошь, браслеты, перстни, серьги.

Принаряженная, сидела Рохеле в своей комнате, где Мойше-Мендл еще лежал все в той же позе, как и вчера, с выпирающим кадыком, и, открыв широко рот, оглушительно храпел.

«Какая огромная разница между Мойше-Мендлом — женихом и Мойше-Мендлом — мужем! — думала Рохеле. — Тот Мойше-Мендл был так привлекателен, глаза его блестели, как венчальные свечи, голос звучал нежно, и во всем он был мил. А этот? Какая нелепая долговязая фигура! Грудь — узкая, спина — сутулая! А на щеках высыпала реденькая рыжая борода. Откуда взялась у Мойше-Мендла этакая козлиная борода?»

И невольно мысли ее снова и снова возвращаются к тому шалопаю, чей образ всю ночь не давал ей заснуть.

«Вот не было печали! — продолжает размышлять Рохеле. — Нет, я сама виновата, сама, сама! Новая напасть на мою голову — Стемпеню! И с чего это я вдруг разговорилась с музыкантом? Фи, стыд какой! Что сказали бы люди, если бы заметили, как я стою и разговариваю с ним? Хорошо, что вокруг был такой ералаш... А что бы сказал Мойше-Мендл?»

С ласковой улыбкой подошла она к постели мужа, склонилась к его изголовью и окликнула по имени. Мойше-Мендл открыл свои серые глаза и долго глядел на жену непонимающим взглядом.

— Мойше-Мендл! — повторила Рохеле, склонясь над ним еще ниже. — Не узнаешь меня, что ли, Мойше-Мендл? Чего ты на меня так смотришь? Очень уж, видно, понравилась я тебе?

— Оставь меня в покое!.. Спать хочу! — И, повернувшись лицом к стене, Мойше-Мендл снова с треском захрапел.

— Жених и невеста, их родители и вся их родня просят вас, вашу свекровь и вашего мужа к «шлейер»-обеду!

Так одним духом выпалила посыльная из синагоги Хьена, просунув голову в дверь. Но, увидев Рохеле, склонившуюся над изголовьем мужа, отпрянула назад.

Рохеле застала невесту еще необмотанной повойником. Подруги расцеловались, и, как и полагается при встрече двух молодых замужних женщин, между ними завязалась оживленная беседа.

Понемногу начали собираться гости. На столах уже красовались редька в меду, пряники, миндальные бранки, медовый хлеб, штрудель.

Как и вчера, нищие и шамесы были тут как тут. Отец невесты, Хаим-Бенцион, в своем бархатном картузе, гладко причесанный, мечется по комнате сам не свой. Мать невесты, хоть и совершенно охрипшая, все еще гонит одного туда, другого сюда и распоряжается, кричит из последних сил:

— Да вы хотите меня вконец извести, не приведи господи! Поставили торт и редьку на меду там, где полагается стоять водке и рюмкам. Горе мне, несчастной! Хоть возьми да разорвись! Ну и свадьбка! Стоит кучу денег и в конце концов — изволь-ка радоваться! Даже музыканты — и те не явились. Как тут не лопнуть с досады!

— Тише! Замолчи ты! — кричит Хаим-Бенцион. — Вот разоралась! Подумаешь, осчастливила! Сама ничего не делает, только знай кричит! Ну, чего раскричалась? Первый раз, что ли, дитя замуж выдаешь? Полюбуйтесь на нее, охрипла даже! Созвала родственников и гостей, чуть не весь город, бегают очертя голову, кричит! Спросите ее, зачем и для чего!

— Кто кричит, сумасшедшая твоя голова? Кто здесь кричит?

— Мне и невдомек, кто здесь кричит. Скажи сама, слушаем.

— Уж конечно, не я. Это ты кричишь.

— Я кричу? Вот как! Наоборот, стало быть?

— Да вот же ты кричишь, Хаим-Бенцион. Что это на тебя нашло такое?

— Привет и почтение жениху и невесте, их родителям, всей их родне и всем дорогим гостям! Музыка, виват!

Этим приветствием Хайкл-бадхен возобновил свадебное торжество. Музыканты взялись за инструменты... Гости стали вытирать руки полами своих длинных сюртуков и засучивать рукава, лишь после этого они приступили к омовению рук. Затем все уселись за длинные столы, и началась торжественная свадебная трапеза...

Тут-то Стемпеню взял в руки скрипку. Он творил просто чудеса, исполнил все вчерашние композиции, да

еще сыграл несколько новых. Публика слушала его с благоговением, не находя себе места от восторга. Все взоры были прикованы к нему, к Стемпеню. Одна Рохеле не глядела даже в ту сторону, где сидели музыканты, — и все же видела его и чувствовала, что он смотрит на нее. Лишь после того как Стемпеню кончил и в комнате поднялся гул, Рохеле подняла глаза и увидела... Стемпеню.

— Что скажете? Каков, а? — обратилась к ней невеста, которая все время молчала.

— Кто? — не поняв, спросила Рохеле.

— Да Стемпеню! Хорош, не правда ли? Чудодей!

Рохеле ничего не ответила. Она почувствовала, что краснеет.

— Вам жарко, Рохеле? — спросила невеста. — Не правда ли, вам жарко?

— Да, жарко, ужасно жарко! Выйду-ка на минуту подышать свежим воздухом, — ответила Рохеле и вышла из-за стола.

Застольные прислужники и прислужницы, с которыми она то и дело сталкивалась, почтительно уступали ей дорогу не столько из уважения к самой Рохеле, сколько из уважения к ее шелковому платью. Не так-то легко было протиснуться к выходу. Прежде всего Рохеле пришлось пройти мимо музыкантов, которые, пожирая ее глазами, перекидывались на ее счет непонятными словечками, вроде: «Бабочка хоть куда! Надо побалаболить с ней». Когда глаза Рохеле встретились с глазами Стемпеню, сердце ее забилось так сильно, как никогда раньше. От этого она еще больше покраснела. На нее пахнуло жаром, словно из объятых пламенем дома. А тут, как на беду, она у самого порога столкнулась нос к носу с отцом новобрачной, Хаим-Бенционом, и произошла новая история: Хаим-Бенцион, человек до крайности набожный, боялся женщин, как дьявола. Ему бы надо попятиться, когда он налетел на Рохеле, но, как на грех, он отскочил вправо. А так как Рохеле тоже шагнула вправо, они чуть не стукнулись лбами; тут Хаим-Бенциона озарило, и он бросился влево. К несчастью, Рохеле пришла в голову та же мысль, и она тоже подвинулась налево. Хаим-Бенцион сразу смекнул, что ему следует быстро податься вправо. Но не успел он и шагу ступить, как Рохеле, точно назло, опять очутилась перед ним. Кто знает, сколько бы они так вертелись друг

против друга, если бы на помощь не подоспела вконец охрипшая хозяйка. Она, по обыкновению, шумно заспорила о чем-то с мужем, и Рохеле удалось наконец выскользнуть за дверь и очутиться на свежем воздухе.

IX

Прошлое Рохеле и роман Хае-Этл

Оказалось, однако, что на улице еще жарче, чем в доме. Был июльский полдень. Солнце стояло над самой головой и жгло немилосердно. На тесовых и соломенных крышах мазеповских лачуг дрожали и колебались, как речные волны, яркие полосы солнечного света. «Благодать божия снисходит», — говорят в таких случаях ученики хедера.

Перед Рохеле раскинулась базарная площадь — широкая и безлюдная. Лавчонки с красными занавесками открыты; перед дверьми сидят на табуретках женщины и с неимоверной быстротой вяжут чулки. Сбоку — сита с ягодами, лепешками, коржиками. Подкрадывается коза, готовая наделать бед, но ее гонят прочь. Вдали пара волов тащит воз, доверху нагруженный снопами. В облаке пыли за возом плетется босоногий мальчонка в огромной барашковой шапке, с сумой за плечами и с длинным кнутом. Рядом, высунув язык, бежит большая собака.

Рохеле долго глядела на знакомую будничную картину, сравнивая ее со своим праздничным убором, с небесно-голубым шелковым платьем, жемчугом, браслетом, сережками, перстнями, — и почувствовала, какая она чужая в этом окружающем ее обыденном мире. Кто она, в самом деле? Ни то ни се, ни базарная торговка, ни графиня. Просто дитя народа, еврейская женщина, свободная от каких бы то ни было забот и обязанностей: вышла замуж и живет у свекра и свекрови на всем готовом, палец о палец не ударяет. А муж либо в синагоге, либо шатается с тросточкой в руке по базару да балагурит со всеми встречными.

И вот теперь, стоя на улице в непосредственном соприкосновении с природой, Рохеле, быть может первый раз в жизни, задумалась над смыслом своего существования. Неожиданно для себя самой она поняла, что ей



чего-то не хватает. Чего именно, — она не знает, но чего-то ей недостает.

Рохеле была заурядная еврейская женщина, ничем не блиставшая, такая же, как и все. Она росла в многодетной семье, и родители с ней особенно не носились: невидаль какая, девица! Родилась, ну и ладно, расти на здоровье...

Чтобы она не околачивалась без дела и дабы в доме было одним ребенком меньше, ее в детстве послали в хедер учиться вместе с братишками, а когда она чуть подросла, ее отвели к Мотлу Шпрайзу, который обучал девочек письму.

Тут, как водится, у Рохеле появились подруги и моложе и старше ее. Охотнее всего она общалась со старшими девочками, потому что они знали много историй, занимательных чудесных историй. Подруги тоже любили Рохеле за ее звонкий голосок, за умение петь.

— Спой что-нибудь, Рохеле, спой, сердечная. Не стыдись, — мальчиков тут нет.

Петь в присутствии мальчиков или же взрослых людей Рохеле стеснялась. Да и подруги говорили, что петь при мальчиках непристойно. Нельзя...

— Ну, пой же, Рохеле! Упрашивать тебя надо, что ли?

И Рохеле послушно затягивала своим тонким бархатным голоском:

Плачет сизая голубка
И воркует и зовет —
Где-то есть мой друг любимый,
А к подруге не идет!

Рохеле пела с таким чувством, будто и в самом деле понимала, что такое любовь. Подруги же, видимо, и впрямь вкладывали в это слово свой особый смысл: стоило Рохеле запеть, как они задумывались, начинали вздыхать, а иногда и слезу роняли.

Больше всех любила слушать песенки, которые пела Рохеле, одна из ее старших подруг, по имени Хае-Этл, очень красивая девушка, сирота. Она была одной из многих еврейских девушек, биография которых так же коротка, как молитва, произносимая перед питьем воды. Вот вам и все ее жизнеописание.

Когда-то, не очень давно, жили-были в городе Сквире два брата. Одного звали Арн, второго — Лейб. Недолго пожил на свете Арн, а вскоре за ним последовала в могилу и его жена. Осталась после них единственная дочь Хае-Этл. Дядя Лейб сжалился над бедной сироткой и взял ее к себе в дом вместе с наследством, оставшимся ей от отца. Надо правду сказать, — дядюшка обошелся с племянницей-сиротой совсем не по-родственному: наследство он забрал себе (около трех тысяч, говорили люди), а девушку выдал замуж за ничтожного, подлого человека, который изводил ее... И бедная Хае-Этл скончалась совсем молодой, двадцати двух лет от роду.

Хае-Этл была самой близкой подругой Рохеле. Девушки друг в дружке души не чаяли. Как-то в субботу днем сидели они у окна, аккуратно причесанные и, как водится, одетые по-праздничному. Рохеле, по обыкновению, напевала песенку, а Хае-Этл слушала. Это была очень простая песенка:

Ой, ты уезжаешь,
Ой, ты уезжаешь
И меня здесь покидаешь...

— Рохеле, голубушка! — взмолилась Хае-Этл. — Повтори еще разок.

— Повторить? — изумилась Рохеле. — Что ж, могу тебе спеть сначала:

Ой, ты уезжаешь,
Ой, ты уезжаешь
И меня здесь покидаешь...

Вдруг Рохеле увидела, что Хае-Этл уронила голову на руки и плечи ее судорожно вздрагивают. Рохеле замолкла, прислушиваясь к всхлипываниям подруги.

— Бог с тобой, Хае-Этл, чего ты плачешь? Ни с того ни с сего — слезы! Скажи, что с тобой, Хае-Этл! Вдруг расплакалась!

— Ой, Рохеле! — ответила Хае-Этл, обливаясь слезами. — Ой, Рохеле! Эта песенка... песня твоя...

— Моя песенка? Что же в ней особенного? И чего тут плакать?

— Ой, Рохеле, не спрашивай, не выпытывай. Мне горе! В груди у меня огонь. Жжет меня вот здесь, видишь?

И Хае-Этл показала на сердце. Рохеле смотрела на нее растерянно и удивленно.

— Что ты так смотришь на меня, Рохеле? Не понимаешь? Да где тебе понимать? Мне так тяжело, я такая одинокая, такая покинутая, — мне надо все рассказать тебе, все-все!

И Хае-Этл поведала своей младшей подруге печальную, хоть и довольно обычную повесть о том, как издевался над ней дядюшка Лейб, а еще больше — эта злая карга тетушка. И не будь младшего сына дяди — Биньомина, она давно бы сбежала из дому или бросилась бы в реку. С этим Биньоминим — единственной отрадой в ее жизни — они вместе росли. Он был ей ближе родного брата, а теперь он уехал и оставил ее в беде, как чужой, совсем чужой.

— Не понимаю, Хае-Этл, чего тут так убиваться. Если бы даже родной брат уехал, и то не страшно, а тем более — двоюродный.

— Ой, Рохеле, ты представить себе не можешь, как он мне был близок, в душу он мне проник! Ну совсем как родной, даже больше, поверь! Когда я видела перед собой Биньомина, у меня светлело в глазах, а когда он уехал...

— Биньомин ведь должен был уехать, Хае-Этл. Ведь он женился.

— Ой, Рохеле, родная моя, не говори мне этого, слышать не могу! «Биньомин женился!» Эти слова лишают меня последних сил! Когда я слышу эти ужасные слова, я чувствую: конец мой приходит. Ты этого не можешь понять, Рохеле, и дай тебе боже никогда этого не узнать. Не гляди на меня так, Рохеле! Биньомин дал мне слово, поклялся, что только меня возьмет в жены.

— Отчего же он тебя не взял?

— Ты, Рохеле, задаешь детские вопросы. Значит, мне не суждено. Значит, счастье ее, разлучницы...

— Но ведь он клялся, что женится на тебе.

— Ну и что же! Он все собирался сказать дяде, но боялся — ты же знаешь моего дядю Лейба, — все откладывал со дня на день, пока его не сосватали. Когда я с ним заговорила об этом, он ответил, что до свадьбы еще далеко, что он еще успеет сказать. А время шло... И наступил тот день, самый злосчастный день в моей жизни... Я была на его свадьбе, собственными глазами видела, как он надел ей обручальное кольцо на палец, слышала, как он прошептал молитву. Кантор с певчими запел, а Биньомин опустил глаза, чтобы не видеть меня. Но я знаю, что он меня видел! Ой, Рохеле, как после этого жить на свете? Где взять силы пережить такое горе?

— В таком случае твой Биньомин — большой лгун. И как только земля его терпит!

— Не говори так, Рохеле! Ты не знаешь Биньомина. Не представляешь себе, что это за золотой человек! Какая у него благородная душа! Виноват только дядя Лейб, душегуб, только он один, — воздай ему, боже праведный, за кровь отца моего!

— Я вижу, Хае-Этл, что тебе очень больно...

— Больно, говоришь? Я умираю. Силы мои кончаются... А ты говоришь — больно.

— Ну, а она, скажи, Хае-Этл, она хоть красивая?

— Кто?

— Ну, она... жена Биньомина.

Рохеле заметила, как при этих словах Хае-Этл изменилась в лице, как на побледневших щеках выступили багровые пятна. Рохеле еще тогда не могла понять,

почему Хае-Этл ей не отвечает, однако чувствовала, что повторять вопрос неуместно. «Раз молчит, значит — не подобает говорить. А может, ей очень больно, и поэтому она не хочет сказать».

Некоторое время спустя Рохеле встретила с Хае-Этл на свадьбе, — то была свадьба самой Хае-Этл. И она ничем не отличалась от других невест: сидела как полагается невесте, — молчала, затем пошла к венцу. На другой день после венчания была, как водится, повязана. Правда, она немного побледнела, и выражение лица у нее было слегка задумчивое и невеселое. Но что за беда? Такой, собственно, и должна быть новобрачная на другой день после венчания. Не пустить же ей в пляс!

А что у нее было на душе? Кто знает! Девичья душа — тайна, сокровенная тайна, сундук за семью замками, и не пристало мужчине заглядывать туда, — неприлично!

X

Еще о Рохеле

«Каково-то, должно быть, теперь на душе у Хае-Этл!» Рохеле крепко задумалась над этим вопросом на свадьбе своей подруги. Рохеле ни с кем не поделилась своими мыслями, но она смутно чувствовала и разум ей подсказывал, что Хае-Этл, должно быть, невесело сидеть рядом со своим суженым, совершенно чужим парнем, в то время как ее родной Биньомин теперь где-то далеко со своей женой... Ей, Рохеле, очень хотелось в эту минуту спросить у Хае-Этл, как поживает Биньомин, пишет ли ей. Но, подойдя к подруге, всмотревшись в ее бледное лицо, прислушавшись к ее частым вздохам, — она не решилась завести разговор.

Мы, пожалуй, не ошибемся, если скажем, что Рохеле тогда впервые задумалась над подобными вопросами... Нередко какое-нибудь потрясающее жизненное событие возбуждает больше мыслей и сильнее действует на воображение, чем десятки прочитанных книг. Правда, Рохеле была девушка простая, ничем особо не выделявшаяся, но умом природа ее не обидела. И этот врожден-

ный ум помогал ей постигнуть многое. Она никогда не читала романов и понятия не имела о книжных героях, но почему бы ее чистому сердцу не почувствовать чужое горе, не понять мук ближнего? Благодаря несчастной любви Хае-Этл Рохеле как-то сразу стала старше на несколько лет.

К тому времени Рохеле уже и сама была невестой. О своем женихе Мойше-Мендле она наслышалась таких похвал, что считала себя самой счастливой девушкой на свете. Со всех сторон ей уши прожужжали:

— Вот так счастье привалило, не сглазить бы!

— Золотое дно! Реб Айзик-Нафтоля — человек зажиточный, самый почтенный человек в Мазеповке. А сын у него — единственный, да еще какой сын! Ну и повезло же Рохеле!

И подлинно, Мойше-Мендл был парень хоть куда и мог понравиться всякому: приятный, живой, искушенный в талмудической премудрости и большой знаток Библии. А уж почерк у него! Вся Мазеповка диву давалась. Даже «учитель для девиц» Мотл Шпрайз, напялив очки на багровый нос, долго всматривался в письмо Мойше-Мендла, адресованное Рохеле, и, как истый ценитель, должен был признать, что у жениха золотые руки и что со временем, когда он достаточно напрактикуется, у него, с божьей помощью, будет почерк на редкость.

До свадьбы Рохеле почти не пришлось беседовать со своим женихом: где жил он и где — она! От Мазеповки до Сквиры расстояние не маленькое. Виделись же они только раз, да и то всего два часа, к тому же в присутствии десятка посторонних, причем жених находился в одной комнате, а невеста — в другой. Зато они в течение целого года, вплоть до самой свадьбы, почти каждую неделю обменивались письмами. Правда, в этой переписке — чего греха таить! — большое участие принимал учитель Мотл Шпрайз. Так как жених в своих письмах блистал знанием трех языков — древнееврейского, русского и немецкого, — то Мотл Шпрайз должен был приложить все старание, чтобы и невеста не ударила лицом в грязь. Стараясь наглядно показать всем, что из школы Мотла Шпрайза девушки не выходят неучами, как бывает у других учителей чистописания, он к трем языкам жениха прибавил еще четвертый — французский, — то есть вставлял в каждое письмо француз-

ские буквы, в которых «учитель для девиц» был весьма искушен. Вообще можно сказать, что жених и невеста целый год играли в любовную почту. Эта игра оборвалась лишь тогда, когда начали всерьез готовиться к свадьбе.

Свадьба прошла, как все еврейские свадьбы. Родители невесты не совсем угодили семье жениха, показали себя далеко не с лучшей стороны... Родители жениха дулись, подшучивали над отцом невесты и втихомолку — не без основания, правда! — называли его свиньей. Но большой беды в том нет: за стаканчиком вина стороны простили друг другу взаимные обиды и расстались друзьями. Новобрачная попрощалась с родными, ее проводили за город, поплакали, расцеловались в последний раз — и с плеч долой! Дочь уехала к свекру и свекрови жить у них на всем готовом.

XI

Снова Рохеле

Для Рохеле началась новая жизнь. В доме свекра ее любили, души в ней не чаяли. Оно и понятно: как-никак единственная невестка и к тому же такое сокровище! За ней ухаживали, старались предупредить малейшее ее желание, пылинке не давали сесть на нее. А свекровь Двоя-Малка, безмерно счастливая тем, что бог послал ей такое утешение, буквально из кожи лезла вон, чтобы услужить невестке. Только и знала что Рохеле да Рохеле. Лучший кусок мяса, самое вкусное блюдо — все для Рохеле. По утрам, едва Рохеле открывала глаза, глядь — на столе уже стоит чашка цикория, а Двоя-Малка, женщина, в сущности, очень занятая — она держала лавку на базаре, — вертелась вокруг Рохеле, следя за тем, чтобы невестке все было подано вовремя.

— К чему вам затруднять себя, свекровь?

— Пустое! Пей, Рохеле, ешь, Рохеле!

Нередко Рохеле замечала, что свекровь, едва прибывав с базара, тут же устремлялась в кухню и набрасывалась на кухарку с такими криками и проклятиями, точно ее резали.

— Что случилось, свекровь? — спросит, бывало, Рохеле.

— Я думала, ты уже давно встала, а тут молоко кипит да кипит, чтоб ей в горячем котле кипеть, девке про-

клятой! Я бросаюсь туда-сюда, сама не знаю, на каком я свете. В лавке, не взглянуть бы, такая теснота, что можно задохнуться. А он, кормилец мой, утешение мое, стоит, заложив руки в карманы, как сват на свадьбе. Я прошу, умоляю: поди домой, отнеси пару свежих бубликов, очень они вкусные! Я всегда покупаю баранки у Лейцихи, у другой не возьму, хоть золотом меня осыпь, — да вознаградит ее господь за ее муки! Сколько она, бедняжка, настрадалась от своего пьянчуги мужа! И как только его земля терпит, не понимаю. Позорит память отца своего, царство ему небесное!.. Да, так что я хотела сказать? Голова, прости господи, так забита... Погоди, вот она, красавица... явилась наконец! Где ты была, девка?

Град проклятий сыплется на голову кухарки за то, что она не позаботилась о молоке для Рохеле, о цикории для Рохеле, о завтраке для Рохеле. Одним словом, Рохеле да Рохеле. Даже свекор, всегда занятый самим собой и своими делами, то и дело справляется о невестке, не оставляет ее своими заботами.

Эта чрезмерная заботливость, по правде говоря, была неприятна Рохеле, тяготила ее. И надо сказать, что Рохеле была привязана к ним несколько меньше, чем они к ней.

Говоря «к ним», мы имеем в виду только свекра и свекровь. Главный герой, Мойше-Мендл, не в счет: между молодыми супругами существовали отношения, которые нельзя назвать ни хорошими, ни дурными. Молодые очень редко беседовали между собой, да и не приходилось как-то: не останется же такой добропорядочный молодой человек, как Мойше-Мендл, среди бела дня дома лишь затем, чтобы поговорить с женой. А если им и случалось иногда по вечерам оставаться наедине, то очень ненадолго: не пройдет и минуты, глядь — то Айзик-Нафтоля зайдет проведать детей, то нелегкая принесет Двою-Малку с горшочком, кувшинчиком, стаканом или блюдцем.

— Попробуй-ка, Рохеле, это варенье.

— Господи боже мой! Я ведь уж, наверно, сто раз пробовала это варенье, свекровь!

— Что ты, господь с тобой, дитя мое! И вздумается же сказать такое! Этого варенья ты еще и в глаза не видела.

И бедная Рохеле вынуждена в сто первый раз ответить варенье, которое ей уже осточертело.

— Ой, порази меня гром небесный! Как ты побледнела, Рохеле! Разве можно так мало есть? Не знаю, чем только ты живешь. Если увидит тебя кто-нибудь из Сквирры, проклянет он мою головушку. «Хороша, скажет, свекровь, болячка ей в печенку! Здорово же, скажет, кормит она свою невестку, петлю ей на шею, такой свекрови!» Горе мое горькое! Ну, съешь что-нибудь, Рохеле, хоть для виду.

— Ах, оставьте меня, ради бога, свекровь! Я сыта по горло, дай бог всю жизнь не хуже!

— Ну, сделай это для меня, доченька! Можно же сделать иногда одолжение и свекрови. Вообрази, что я — твоя родная мать. Возьми хоть крошку, не огорчай меня понапрасну.

И Рохеле берет еще крошку, давится еще одним куском. И томительно-тягостна ей эта жизнь, хоть она прекрасно знает, что все ее любят, бесконечно ей преданы. Попроси она птичьего молока, ей бы и то добыли: «Раз Рохеле хочет, надо достать. Какой тут может быть разговор!»

Но человек — не вол и не гусь, чтобы находить удовлетворение лишь в том, что его хорошо кормят. Мало радости человеку от того, что за ним ходят по пятам, не спускают с него глаз, сдувают пыль с того места, где ступала его нога, следят за каждым куском, который он отправляет в рот, вечно стоят за его спиной, склоняются к его изголовью, когда он спит. Короче говоря, человеку мало радости от того, что вся его жизнь, без остатка, отдана в чужие руки.

Именно в таком печальном положении застала Рохеле история, которую мы здесь рассказываем, и ей некому было даже пожаловаться на свою судьбу. Родители считали ее счастливейшей женщиной. Их письма дышали довольством и восторгом, были полны благодарности всевышнему, ниспославшему их дочери такое счастье. Ее письма тоже пестрели такими словечками, как «радость и благодать», «счастье и удача», «слава богу», «дай бог и дальше не хуже»; заканчивались же они неизменно словами: «в радости и благоденствии... с весельем в сердцах — аминь».

Но в глубине души Рохеле таила обиду на Мойше-Мендла, за то, что он держится в стороне от нее, смот-

рит на нее как будто сверху вниз, как подобает добропорядочному еврейскому супругу: не может же он держать себя с женой на равной ноге, это было бы дико, противоестественно. Нельзя сказать, чтобы Мойше-Мендл не любил своей жены. Наоборот, он был ей очень предан, любил искренне и наивно. Когда однажды Рохеле заболела и слегла на несколько дней, Мойше-Мендл ни на шаг не отходил от нее, охал, вздыхал, изводил себя.

— Жалко мне ее!— говорил он матери со слезами на глазах.— Надо позвать доктора или фельдшера. Больно смотреть, как она, бедненькая, мучается, вся горит. Жалко мне ее!

На третий день болезни, когда Рохеле стало легче, Мойше-Мендл, не отходивший от жены ни на минуту, присел к ее изголовью; казалось, самое подходящее время, чтобы побеседовать по душам с милой, красивой Рохеле. Надо сказать правду: обоим этого очень хотелось. Мойше-Мендл придвинулся к жене так близко, что ее прекрасная головка, лишь наполовину прикрытая белой косынкой, очутилась у него в руках... Рохеле устремила на мужа большие синие глаза и ждала, не заговорит ли он. Мойше-Мендл потупился. Когда она отвела глаза, он стал смотреть на нее; однако как только Рохеле снова взглянула на него, он повернулся лицом к окну. И долго молодые супруги украдкой обменивались беглыми взглядами, не произнося ни слова. За весь год, протекший со дня их свадьбы, им впервые представился случай поговорить наедине. Но никто из них не решался заговорить, не зная, с чего начать. Рохеле как женщина вправе была ожидать, что муж заговорит первый, а Мойше-Мендл как благочестивый супруг ждал, что начнет жена. И так они оба долго молчали, лишь перебра-сываясь взглядами.

— Что такое, Мойше-Мендл?

— А что?

— Чего ты смотришь на меня?

— Кто смотрит?

— Кто же, как не ты?

— Я смотрю?

— А кто же?

Рохеле повернулась лицом к стене, а Мойше-Мендл, закусив кончик бороды, долго-долго глядел на жену

и тяжело вздыхал. Наконец Рохеле повернулась к нему лицом и уловила его упорный взгляд.

— Что с тобой, Мойше-Мендл?

— А что?

— Почему ты вздыхаешь?

— Кто вздыхает?

— Ты, конечно.

— Я вздыхаю?

— А кто же вздыхает?

Молодая чета опять умолкла.

Мойше-Мендл придвинулся еще ближе, откашлялся и, набравшись духу, начал было говорить:

— Понимаешь, Рохеле, по-моему, то, что ты говоришь...

Но тут дверь отворилась, и с шумом и с треском ворвалась в комнату Двоя-Малка.

— А что же, не знала я разве, что индюки перебьют мне всю посуду? Индюков ему вдруг захотелось! Как ты чувствуешь себя, Рохеле? Знаешь, что я тебе скажу, доченька? Мне сдается, что у тебя того... как ее... трясовица. Говорила я тебе, Рохеле, не выходи на улицу без платка. Я снова послала за лекарем Екусиелом. Айзик-Нафтоля сам пошел за ним.

— К чему вам беспокоиться, свекровь? Пройдет и так. Простудилась немного.

— Немного... Вот так немного! И не говори, дитя мое! Дай-ка присяду на минутку. — Двоя-Малка придвинула стул к кровати и уселась.

— Знаешь что, мама, — неожиданно обратился к ней Мойше-Мендл. — Пошла бы ты лучше в лавку. Я тут сам посижу с Рохеле.

Его глаза встретились с глазами жены, и он прочел в них: «Ох и умница же ты, Мойше-Мендл!»

— Скажешь! — ответила Двоя-Малка, еще ближе придвигаясь к невестке. — Вот те на — в лавку! Чего я там не видала? И какая теперь, с позволения сказать, торговля? Всем моим врагам желаю такую торговлю, от всей души желаю! Лучше бы ты, Мойше-Мендл, пошел ко мне в спальню, прилег бы на папину кровать, — ты же всю ночь не спал.

Так живут счастливые, по рукам и ногам связанные, молодые, на всем готовом, под постоянной опекой бесконечно преданных родителей, которые не дают им

свободно вздохнуть. Но ни муж, ни его юная жена никогда не ропщут, не жалуется друг другу.

Мойше-Мендлу все же легче переносить эти пути. Он иной раз заглядывает в книгу, принимает некоторое участие в делах отца, встречается со сверстниками, с которыми не прочь поразвлечься при встрече в синагоге или на рынке. Одним словом, Мойше-Мендл как-никак живет своей жизнью.

А Рохеле как бы и не живет вовсе! Она ест и пьет, по двадцать раз в день отвеживает варенье, ровно ничего не делает, ни с кем не встречается. Не станет же сноха Айзик-Нафтоли водить знакомство с «первой встречной», а «первая встречная» не станет водить знакомство со снохой Айзик-Нафтоли. Айзик-Нафтоля считает себя самым богатым и самым благопристойным человеком в Мазеповке, а те, кого он называет «первыми встречными», наоборот, считают себя и богаче и добропорядочнее Айзик-Нафтоли. И так изо дня в день прозябает Рохеле в доме свекра и свекрови, будто в плену... Только и знает, что есть да спать, и видит перед собой только только неугомонную свекровь с кофейником или банкой варенья в руках. И так круглый год, каждый божий день!..

XII

Рохеле поет

В таком состоянии мы застали Рохеле на свадьбе у дочери Хаим-Бенциона, когда она, уйдя с торжественного свадебного обеда, вышла на улицу подышать свежим воздухом и глазам ее представились во всей своей обыденности базар с его лавчонками, торговки на табуретках, воз, запряженный парой неуклюжих волов, и мальчонка в огромной барашковой шапке.

В таком состоянии Рохеле довелось опять услышать упонительную игру знаменитого Стемпеню.

Слушать музыку Рохеле любила с детства, ох, как любила! Музыка всегда доставляла ей радость. Стоило ей только раз услышать песню, она тотчас перенимала ее и пела своим приятным бархатным голоском. Родители не могли нарадоваться на свою дочку.

— Мужская голова у девчонки! — говорили они. — Хорошо, что она родилась девочкой, а не мальчиком, — не то бы весь мир перевернула вверх дном.

Отец и мать Рохеле, видимо, чувствовали, что в их дочери таится какая-то сила — то, что мы теперь называем талантом. Но им, людям патриархальным, казалось, что способность дочери быстро воспринимать и искусно исполнять разные мелодии — чисто умственная способность: у нее, дескать, мужская голова на плечах. Известно, что голова у нас играет самую главную роль. Слова «ай да голова! ну и головушка!» звучат у нас как высшая похвала...

Как бы то ни было, до пятнадцати — шестнадцати лет Рохеле пела, как вольная птичка: услышит ли новую хасидскую песенку, подхватит ли новую мелодию у кантора в синагоге или у музыкантов на свадьбе — она сейчас же повторит ее своим нежным, чистым голосом, и любо было слушать, как она поет!

Но когда Рохеле стала невестой, мать сказала:

— Фи, доченька, довольно тебе щебетать! Представь себе, ты живешь у свекра и свекрови — и вдруг ни с того ни с сего зачирикаешь при них, — срам-то какой!

Рохеле, разумеется, поняла, что теперь это ей уж не подобает, и перестала петь. Но совершенно отказаться от пения было свыше ее сил. Часто из груди ее невольно вырывалась песня, видно, по привычке. Что поделаешь, когда само собой поется! Как приостановить бег ручья, когда не знаешь, где его истоки?.. Даже после свадьбы Рохеле нередко забывалась и начинала петь, как, бывало, пела в девичьи годы. В такие минуты она совершенно забывала, что неподалеку сидит свекровь и слушает каждое слово.

— Ой, батюшки! Ох, гром меня порази! — восклицала Рохеле, вдруг заметив свекровь.

— Ничего, ничего! Эка важность! — спешила успокоить ее свекровь, усиленно шмыгая носом и делая вид, будто ничего не слышала. Затем она подносила невестке банку с вареньем и говорила: — Видишь, Рохеле, я боюсь, как бы наш крыжовник не засахарился. Была уж у меня такая неприятность в прошлом году: полпуда варенья испортилось.

Если Рохеле стеснялась свекрови, то о муже и говорить нечего: ни за какие блага в мире она не согла-

силась бы петь при Мойше-Мендле. В присутствии мужа вдруг раскрыть рот и запеть — просто дико, нелепо. Мойше-Мендл, пожалуй, не прочь бы послушать ее, — это, несомненно, доставило бы ему удовольствие. Он не раз случайно подслушивал пение жены и знает, что у нее ангельский голосок. Но какой уважающий себя супруг усядется среди бела дня рядом с женой, чтобы слушать ее песенки? Неподходящее это занятие для добропорядочного молодого человека. Если бы как-нибудь удалось послушать ее невзначай, это еще куда ни шло. Такие случаи бывали, хоть и весьма редко. Тогда он долго простаивал за дверью и не мог вдоволь наслушаться. Наконец, громко кашлянув для того, чтоб его приход не застал жену врасплох, он вступал в комнату с видом человека, который ничего и знать не знает.

Так прожила Рохеле круглый год одна-однинешка среди добрых, любящих и беззаветно преданных ей людей. Нельзя сказать, чтобы ей здесь жилось плохо, как нельзя сказать, что ей здесь жилось хорошо. Она чувствовала себя чужой среди своих, одинокой среди родных, покинутой среди любящих ее людей.

Склонившись над вышиваньем, Рохеле, по обыкновению, напевала песенку. И внезапно тоска закрадывалась в сердце, — ее тянуло туда, где она провела детство.

Мчится, мчится, мчится
Пташка золотая
Через синь морей...
Мой привет, родная,
Пташка золотая,
Отнеси ты доброй матушке моей.
Мчится, мчится, мчится
Пташка золотая
Через доли, реки, мчится без конца!
Мой привет, родная,
Пташка золотая,
Донеси до сердца моего отца!

Частенько Двося-Малка подкрадывалась на цыпочках к комнате невестки, чтобы послушать, о чем она поет.

— Что с тобой, Рохеле? По отцу-матери соскучилась?

— О нет, свекровь! Я так... — с улыбкой отвечала Рохеле, утирая слезы.

Письмо от Степеню

Мы оставили Рохеле в тот момент, когда, погруженная в думы, она смотрела на широкую базарную площадь местечка. Нить ее мыслей вскоре была прервана нашим удальцом Степеню.

Этот сорвиголова сразу заметил, как приглянувшаяся ему Рохеле вышла из-за стола. Выждав несколько минут, он последовал за ней и стал рядом возле двери. Степеню завел разговор о Мазеповке, о родном местечке Рохеле — Сквире, которое он знал вдоль и поперек со всеми его достопримечательностями. Затем речь зашла о городе Егупце. Степеню как-то слышал, что Рохеле там бывала. Рохеле отвечала из пятого в десятое.

— Скажите, — неожиданно спросил Степеню, — отчего это вы никогда не выйдете погулять — ни в субботу, ни в праздник? Вы здесь почти год, — пожалуй, даже больше года, — и ни разу не показались на Бердичевской улице. И забрались вы в такую даль, чуть не на край местечка. Представьте, я даже не знал, что вы здесь живете. Вчера только узнал, когда увидел вас на свадьбе... Хотел поговорить с вами, но не было возможности. Не знаете разве наших местечек? Сразу начнут языком трепать... Послушайте меня, выйдите-ка прогуляться в субботу днем по Бердичевской улице... Там все местечко будет... Обязательно приходите, слышите? Ради всего святого, в субботу днем на Бердичевской улице!

Рохеле не успела ответить, так как Двоя-Малка, заметив ее отсутствие за торжественной трапезой, тут же бросилась на поиски невестки. Застав Рохеле рядом со Степеню, преданная свекровь вначале несколько удивилась: «С чего это вдруг они оказались вместе?» Но Степеню, обладавший необыкновенной способностью изворачиваться и находить выход из самого затруднительного положения, сейчас же принялся за Двоя-Малку.

— Мы здесь говорили о свадьбе у сквирского цадика. Ваша невестка была еще ребенком, когда я играл на свадьбе у дочери цадика. Она даже не помнит этой свадьбы.

— Ну, понятно, куда ей помнить! — ответила Двоя-Малка. — А я вот хорошо помню. Мы были там с мужем и ночевали в поле, такая теснота была в местечке.

— Теснота? Еще бы... Вот я вам расскажу историю почище.

И Стемпеню завел с Двосей-Малкой нескончаемый разговор о разных разностях.

Рохеле между тем ускользнула и вернулась в дом к новобрачной.

Мы уже раньше заметили, что Стемпеню был из тех, которые за словом в карман не полезут. Тут следует упомянуть еще об одном таланте Стемпеню: он, как никто, умел разговаривать с пожилыми женщинами, судачить о том да о сем, заговаривать им зубы. В этом он был мастак. «Ученая колдунья, — гласит поговорка, — опаснее природной». У Стемпеню язык был хорошо подвешен — он прошел блестящую школу. Но об этом речь впереди.

«Какая наглость! — возмущалась Рохеле. — Приглашать меня на Бердичевскую улицу! Ишь что выдумал! Не иначе, как в субботу днем на Бердичевскую улицу! Да еще ради всего святого! Да как он смеет! Только музыкант может себе позволить этакое!»

С такими мыслями вернулась Рохеле со свадьбы домой.

Пришла суббота.

После обеда, когда свекор со свекровью, а также ее муж Мойше-Мендл, как всегда, прилегли, чтобы вкусить сладость субботнего сна, которому евреи спокон веку предаются с особым наслаждением, Рохеле, по обыкновению, сидела одна у окошка и, напевая песенку, глядела на прохожих. Перед ее глазами, как обычно по субботам, мелькали аккуратно причесанные девушки с алыми и голубыми лентами в косах, в модных платьях — красных, желтых, зеленых, в натянутых на руки перчатках и в новеньких, с иголки, блестящих скрипучих ботинках. Все они шли туда, «на гулянье», на Бердичевскую улицу. Там они будут шеголять друг перед дружкой своими алыми и голубыми лентами, своими красными, желтыми и зелеными платьями. Украдкой, как бы мимоходом, будут бросать взгляды из-под стыдливо опущенных ресниц на красивых юношей в нанковых брючках, в картузах с блестящими козырьками; и зарумянятся щеки, и забьются сердечки у девушек... Одним словом, весело будет на Бердичевской улице.

Рохеле все это хорошо знакомо. Почему бы ей этого не знать? Еще так недавно она тоже влетала алые и голубые ленты в свои косы и гуляла по субботам на улице вместе с другими девушками... А теперь...

Рохеле обвела взглядом комнату. Все спят, аппетитно похрапывая. Все, все! Она одна томится здесь, словно не среди живых людей живет, а в царстве покойников. Подперев голову руками, она задумывается. На память ей приходит старинная песенка, которую она певала в юности:

Одна, все одна я,
Что камень немая —
Мне некому слова сказать...
С собой говорю я,
С собой и горюю,
Что некому слова сказать...

— С субботой вас!

Рохеле подняла голову и увидела... Стемпеню.

— С субботой вас, говорю.

«Это еще что? Как вы попали сюда?» — чуть было не спросила Рохеле, отпрянув от окна.

— Вас также! — невольно вырвалось у нее, и она покраснела, как маков цвет.

— Вы не послушались меня — не вышли на Бердичевскую улицу погулять. Напрасно я все глаза проглядел, вас дожидаясь. Я хотел... Мне надо... Вот читайте...

Стемпеню подал Рохеле сложенный вчетверо листок бумаги и скрылся.

Рохеле долго-долго держала в руке листок бумаги, не зная, что с ним делать, не понимая, к чему он ей. Наконец она опомнилась от удивления и развернула послание. Это оказался большой лист нотной бумаги. На нем крупными еврейскими буквами с большим количеством ошибок было написано:

«Мой дражайший ангел небесный! Когда я впервые увидел твой светлый образ, у меня посветлело в обоих глазах, и яркий огонь обжег мое сердце от горячей любви к тебе, душа моя, которая своими небесными очами вместе с твоим светлым лицом влекли меня к себе с первой минуты, ибо ты — душа моей души, и жизнь моей жизни. Я не сплю по ночам и вижу тебя во сне, без тебя ясное солнце тускнеет в моих глазах, и я тебя люблю, как свою сладкую жизнь, и я умираю всем своим существом, изнывая от желанья вечно видеть тебя, и вечно любить тебя, и вечно быть с тобой. Навеки любящий тебя, тоскующий и вздыхающий по следам ног твоих и издали целующий твои прекрасные глаза

Стемпеню».

От «героини» снова к «герою»

Оставим на время нашу «героиню» и вернемся к «герою». Забудем о Рохеле и поговорим о Стемпеню.

Правда, письмо, которое мы только что воспроизвели слово в слово, особым блеском не отличалось. Но что поделаешь? Стемпеню был и хорош собой, и удал, и музыкант, каких мало, — словом, всем взял, но... писать он был не мастер. Его покойный отец, Берл-бас, очень рано убедился, что к музыке сынок обнаруживает сильнейшее рвенне, а к науке его совершенно не тянет. Не хотел учиться, хоть режь его, хоть жги его. И отец быстро приспособил его к делу, перепробовал с ним все инструменты и остановился наконец на скрипке. Берл-бас, у которого был полон дом сыновей и все — музыканты, уверял, что Стемпеню унаследовал талант своего дедушки Шмулика-трубача (который, как говорят, был знаком с великим скрипачом Паганини). К двенадцати годам Стемпеню умел уже «усаживать» невесту и играть все, что полагается на еврейской свадьбе.

Не удивительно, что Берл-бас любил Стемпеню больше, чем других детей. Все они были у него одеты в отрепья, а то и бегали вовсе нагишом. Хотя отец, как строгий командир, частенько драл своего любимца за уши, порол его, бил смертным боем, он в глубине души гордился сыном, считал его украшением дома, драгоценной жемчужиной, утешением на старости. Указывая на Стемпеню, отец, бывало, с гордостью говорил на своем музыкантском жаргоне:

— Видите, байстриюки, этого щенка? Он даст мне «папе»* на старости лет. Поверьте, на него можно положить...

Старому Берлу-басу не суждено было, однако, удержать у себя любимого сына.

Пятнадцати лет от роду Стемпеню с трехрублевкой в кармане и старой поломанной скрипкой под мышкой отправился странствовать по свету. Он скитался по бесчисленным городам и местечкам, сходясь с разными компаниями музыкантов. Больше года ему не сиделось на одном месте. Его тянуло все дальше и дальше: из Мазеповки в Степовку, из Степовки в Корец, из Корца в Балту, из Балты в Староконстантинов, оттуда в Бердичев. Так он добрался до Одессы. Но отсюда его по-

тянуло обратно, и он снова пошел странствовать по маленьким городам и местечкам, где легче блеснуть, прогреметь, приобрести славу.

И он добился своего: где бы он ни появлялся, слава опережала его. Повсюду шла молва о странствующем по свету Стемпеню, который не знает себе равного в игре. Легко поэтому представить себе шум, который поднимался в том или ином местечке при появлении там Стемпеню со своей «капеллой». К восемнадцати годам Стемпеню, видите ли, уже сколотил компанию и играл только на богатых и знатных свадьбах. Со временем Стемпеню положил на обе лопатки все другие оркестры: «конотопских музыкантов», тоже пользовавшихся большой известностью, «смелянскую компанию», «винницкую», «шаргородскую» и много других, слава которых гремела по свету.

Разумеется, вырывая у музыкантов кусок из рта, Стемпеню не мог нажить себе среди них друзей, и немало проклятий сыпалось на его голову. Но в глаза ему все льстили; и в глубине души каждый относился к нему с уважением: любой музыкант отдавал себе отчет в том, что стоит Стемпеню взять скрипку в руки, и всем другим музыкантам остается только уйти на покой.

Известно, что музыкальная братия испокон веков склонна к преувеличениям. В их среде вы услышите немало удивительных рассказов, легенд и причудливых вымыслов. О Стемпеню же распространялись самые невероятные небылицы, о его скрипке говорили, будто на ней играл когда-то сам Паганини.

Когда в местечке начинали поговаривать о приезде Стемпеню, местные музыканты выходили из себя. А музыкантские жены осыпали его градом таких проклятий — не приведи господь!

— Круглый год мучаешься, живешь впроголодь, влезаешь в долги, закладываешь последний скарб, глотаешь собственную слюну, и все ждешь: первого «элула»* будет свадьба в доме богача. И вот изволь-ка радоваться: нелегкая приносит тебе черт знает кого, нечистую силу, дьявола, Стемпеню какого-то, и этот бездельник вырывает у тебя последний кусок хлеба, чтоб его на семьдесят семь кусков разорвало!

Однако подлинных врагов Стемпеню не нажил себе нигде. Он был, что называется, свойский парень. Когда свадебное празднество заканчивалось, он собирал мест-

ных музыкантов, задавал обед на славу, не скупясь ни на вина, ни на яства, а на прощанье раздавал гостинцы детишкам музыкантов... Словом, показывал себя с наилучшей стороны.

— Понимаете, — говорили потом меж собой жены музыкантов, — нельзя судить о человеке, пока не узнаешь его поближе.

Особым расположением пользовался Стемпеню дочерей музыкантов, к которым сватался чуть не в каждом местечке. Немало черных и голубых глаз обворожил он. Когда Стемпеню уверял девушку, что любит ее до безумия, это было доподлинно так: в ту минуту он и в самом деле был влюблен (дочери музыкантов в большинстве на редкость хороши собой). Но едва Стемпеню покидал местечко, любовь его немедленно испарялась, исчезала, как дым. А приехав в другое местечко, он снова влюблялся в дочку какого-нибудь музыканта, снова клялся в любви до гробовой доски, целовал следы ее ног, уверял, что без нее ему жизнь не мила, щедро одаривал новую избранницу сердца. Затем прощался, уезжал... и был таков! А в новом месте — снова та же история.

Нельзя сказать, чтобы эти любовные истории всегда оканчивались благополучно... для невесты. Правда, многие девушки так же скоро забывали Стемпеню, как и он их, и выходили за других музыкантов. Но были среди них и такие упрямыцы, которые, влюбившись в этого повесу, верили ему и ждали, что не сегодня-завтра он придет и поведет свою избранницу к венцу. Бедные девушки чахли, таяли как свечи. В то самое время, как Стемпеню украдкой целовался в темной комнатушке с дочерью какого-нибудь музыканта, где-нибудь в другом захолустном местечке одна из бывших невест Стемпеню лежала, уткнувшись лицом в подушку, и оплакивала свою злосчастную долю, сетуя на возлюбленного, который забыл ее, бросил и никогда-никогда не вспомнит о ней.

Чуть ли не в каждом городе, который проезжал Стемпеню, можно было найти такую обездоленную невесту. Но иной раз и на счастье приходит ненастье. Бывает, споткнешься так, что и не поднимешься. Споткнулся и Стемпеню и неожиданно попал в такую беду, какая ему никогда и во сне не снилась. Пришлось ему, бедняге, жениться, хоть он всегда был ярым противником брачных уз.

Неожиданный брак Стемпеню

Однажды Стемпеню приехал со своим оркестром в Мазеповку и сыграл на трех свадьбах подряд вместе с местными музыкантами. Они настаивали на том, чтобы их приняли в компанию, угрожая в случае отказа переломать ребра знаменитому музыканту. И, несомненно, привели бы в исполнение свою угрозу, если бы Стемпеню, человек по природе покладистый, не согласился играть на всех трех свадьбах совместно с ними на товарищеских началах.

Так как между одной свадьбой и другой был промежуток в несколько дней, то Стемпеню от нечего делать завел знакомство с дочерью Шайки-скрипача — красивой девушкой лет двадцати двух, смуглолицей и пышнотелой. Стемпеню, как всегда, влюбился не на шутку, целовался и миловался, покупал подарки, как заправский жених. А когда наступило время отъезда, смуглолицая девушка (звали ее Фрейдл) потребовала, чтобы он без всяких проволочек с ней обручился, как водится у порядочных людей. Стемпеню, не привыкший к такой решительности, попробовал было отвертеться, лепетал что-то несвязное, — ничего не помогло, хоть что хочешь делай! Фрейдл была, что называется, «казак-девка» и так цепко взяла в руки Стемпеню, что увильнуть ему не удалось, и он вынужден был согласиться на помолвку «в добрый час». Музыканты задали в честь именитого жениха пир на весь мир. Три дня шла гульба в доме Шайки-скрипача, вплоть до того момента, когда любезный жених и уважаемые гости уехали в другое местечко.

Само собой разумеется, что едва Стемпеню выехал из Мазеповки, из памяти его мгновенно улетучились и помолвка, и смуглолицая девушка, и все прочее. Он по-прежнему переезжал из местечка в местечко, играл на свадьбах, всюду заводил любовные интрижки и наслаждался жизнью вовсю... Но вдруг... нет ничего вечного под солнцем. Все — до поры до времени. Пришло и для Стемпеню время держать ответ за грехи прошлого. Великое несчастье обрушилось на него, положило конец его вольной молодости. Послушайте, какая беда с ним стряслась.

Играл он как-то на свадьбе в одном из городишек Малороссии. У него только что завязался роман с очень хорошенькой девушкой, дочерью Герша-флейтиста. Стемпеню уже успел заверить ее, что непременно женится на

ней, как вдруг явился вечно заспанный Мехча-барабанщик и, лукаво подмигивая, буркнул в нос:

— Идите-ка, Степеню! Там в доме ждет вас какая-то девушка.

— Девушка? Какая девушка?

— Смуглая девушка с зелеными глазами.

Степеню вошел в дом и увидел смуглую девушку — дочь Шайки-скрипача, свою нареченную невесту Фрейдл.

— Что ты на меня так смотришь, Степеню? Не узнал? Поглядите-ка, как он глазами хлопает, как приглядывается! Да ведь это я, Фрейдл, твоя невеста, дочь Шайки-скрипача...

— А? Знаю. Ну, конечно. Как же не знать? Понятно, знаю. Но откуда ты взялась, Фрейдл? И как ты попала сюда?

— Как попала? Очень просто. На собственных ногах притащилась. Едва донеслась. Откуда я взялась? Из дому.

— Вот как! Ну, что же слышно нового? Давно ты из дому?

— Какне у нас могут быть новости, Степеню? Все по-старому. Давно ли я из дому? Да недель шесть, а то и семь. Весь свет исколесила. Куда ни приедем, всюду один ответ: был, да уехал. Еле-еле напали наконец на твой след. Ну, как же ты поживаешь, Степеню?

— А? Я как поживаю? Ничего... Как мне поживать? Пойдем, Фрейдл, чего мы тут стоим?..— вдруг оборвал он разговор, заметив, что музыканты обступили их, разглядывая смуглолицую девушку с длинной черной косой и зелеными глазами.

— Что ж, можно и пройтись, — согласилась Фрейдл.

Степеню накинул на плечи легкое пальто, взял в руки тросточку и вышел с невестой. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что здесь их никто не слышит, Степеню заговорил более внушительным тоном:

— Скажи мне, пожалуйста, что все это означает?

— То есть как так «что это означает»?

— Зачем ты сюда приехала?

— Полюбуйтесь, каким дурачком прикидывается! Я не я, и лошадь не моя.

— Слушай, Фрейдл! — сердито проворчал он. — Я не люблю, когда со мной выкидывают такие штуки. Я спрашиваю, что ты тут делаешь, а ты вздумала шутки шутить.

В зеленых глазах Фрейдл вспыхнул огонек. Закинув

рукой за спину свои черные косы, она тоже заговорила серьезным тоном:

— Хочешь знать, что я тут делаю? К тебе приехала, Степеню! Во время помолвки ты обещал не позже, чем через две недели, написать письмо и назначить день свадьбы. Мы ждали-ждали, больше двух месяцев ждали, а от тебя ни слуху ни духу. Тогда мы пораскинули умом и решили отправиться в путь-дорогу — искать, как говорится, вчерашний день. Объездили чуть не весь свет, еле-еле с божьей помощью нам удалось...

— Скажи мне, Фрейдл, кто такие это «мы»? Я все слышу — мы да мы: «мы ждали», «мы поехали»...

— Да мы обе. Я и моя мама.

— Твоя мама? — воскликнул окончательно сраженный Степеню. — Твоя мамаша здесь? Что ей тут надо?

— Тише, Степеню, чего раскричался? А ты как думал? Девушка не может пуститься в дальний путь одна. Как, по-твоему?

— Да, но при чем тут я? Что общего у меня с твоей мамашей?

— Она приходится тебе свахой, Степеню, а немного погода станет твоей тещей.

— Ты, видно, и впрямь собираешься выйти за меня замуж?

— А ты как думал, Степеню? Шутки шутить?

— Глупости!

— Почему глупости?

— Очень просто: у меня и в мыслях нет жениться.

Фрейдл на минуту остановилась, посмотрела Степеню прямо в глаза, оглянулась кругом и тихо проговорила:

— Послушай, Степеню, не думай, что ты попал на какую-то размазню, которая позволит себя обвести. Я тебя насквозь вижу. Я знаю, что ты — шарлатан и любишь каждую неделю обзаводиться новой невестой. Но это не беда — все до поры до времени... По натуре ты человек добрый, сердце у тебя мягче воска, красавец ты, каких мало, играешь на скрипке великолепно и обеспечишь жену всегда сможешь. Поэтому-то ты мне и нравишься, и поэтому я выйду за тебя замуж, и притом очень скоро. А что ты ерепенишься, так это все впустую, напрасный труд, Степеню, поверь. Наклонись ко мне, Степеню, я тебе кое-что шепну на ушко.

И смуглолицая Фрейдл шепнула ему что-то такое, отчего Степеню задрожал всем телом. Он остановился

среди улицы как истукан и не мог произнести ни слова. Но тут весьма кстати подоспел рыжеволосый Мехча-барabanщик и сообщил Степеню, что местный богач приглашает его для переговоров по поводу свадьбы.

Степеню кивком головы попрощался с Фрейдл и с глубоким вздохом промолвил:

— Мы еще увидимся, Фрейдл.

— Еще бы! Конечно, увидимся, — ответила Фрейдл и, весьма довольная, рассталась с дорогим женихом.

Каждый, кто видел в этот день Степеню на свадьбе, удивлялся его бледности и рассеянности. Совсем не тот Степеню, краше в гроб кладут! Всю его веселость, весь задор как рукой сняло. Да, чуяло его сердце, что приходит конец его свободе, что не порхать ему больше по свету вольной пташкой. Тяжелое ярмо приходится надеть, да навсегда, на всю жизнь. Прощайте светлые летние вечера, прощайте прогулки по полям и лесам с дочками музыкантов! Прощайте длинные благоухающие косы, распущенные волосы, большие карие глаза! Прощай серебристая луна!..

Степеню делал еще попытки отбояриться от брака, метался, как рыба в сетях, боролся из последних сил, пускался на всевозможные уловки. Но это помогло ему не больше, чем покойнику припарки. Фрейдл и ее мамаша стояли перед ним, как призраки, являющиеся во сне и возвещающие о приближении часа Страшного суда. Особенно повергала Степеню в трепет мамаша невесты, его будущая теща. Ее черные губы были плотно сжаты, будто шнурком стянуты, лицо пылало; она каждую минуту готова была накинуться на Степеню, как дикая кошка, и выцарапать ему глаза. К счастью, дочка сдерживала ее порывы.

— Не трогай его, мама! Этим только испортишь дело. Знай поглядывай и молчи! Да следи за каждым его шагом, чтобы он не увильнул от нас. Будь спокойна, мама, все уладится. Степеню — мой! Да, он мой!

XVI

*Самсон на коленях у Далилы **

Фрейдл шла напролом и добилась своего: обвенчалась «по закону Моисея и Израиля» со Степеню и сразу прибрала его к рукам. В этом деле верной помощни-

цей Фрейдл была ее мамаша, едва дождавшаяся счастья стать тещей, и Стемпеню изведаль муки ада. Молодая чета поселилась в Мазеповке, куда переехал на постоянное жительство и весь оркестр.

— Конец! Довольно скитаться, Стемпеню! Хватит странствовать по свету! — сказала Фрейдл мужу.

Он был весь в ее власти, она умела добиваться от него чего угодно, и только добром.

Новая жизнь началась для Стемпеню, жизнь, ничуть не похожая на прежнюю. Сразу после свадьбы его холостяцкие замашки исчезли как дым. Очувтившись в цепких лапах своей жены, именитый музыкант потерял весь прежний блеск, решительность и смелость. У себя в доме Стемпеню был совершенно безгласен.

— Ты, Стемпеню, знай свое: твое дело — музыканты да свадьбы. К чему тебе деньги, глупенький?

И Фрейдл забирала у мужа все до последней копейки.

Фрейдл отличалась необыкновенной жадностью к деньгам... Родившись в очень бедной семье, она никогда медного гроша в глаза не видала. Каждая ленточка, каждая гребенка доставалась ей ценою горьких слез. До пятнадцати лет она ходила босиком, нянчила младших братьев и сестер, получала часто затрещины и от матери и от отца, особенно когда тот бывал навеселе. Питались в доме родителей скудно. Платье на Фрейдл было под стать ее босым ногам. Лишь в праздник «пурим» ей удавалось заработать несколько копеек. Она разносила по домам местечка праздничные гостинцы. Заработанные деньги Фрейдл, бывало, прятала глубоко за пазуху, чтобы мать не отняла. С этими грошами она не расставалась даже по ночам. А на пасху покупала себе цветную ленточку либо гребешок. Так жила Фрейдл до восемнадцати лет. Родители и не заметили, как она превратилась во взрослую девушку, высокую, красивую, здоровую, — хоть сейчас под венец!

Став невестой Стемпеню, Фрейдл и сама еще не догадывалась, какое счастье ей привалило. Но мамаша представляла себе это довольно ясно и учила дочь уму-разуму. Она, дочка, должна твердо помнить, что ее жених — большой добытчик, но вместе с тем и шарлатан, деньги для него — трын-трава. Поэтому пусть она держит ухо востро. Без ведома и согласия жены он и шагу не должен ступить, точно так, как ее отец, Шайка-скрипач.

Выйдя замуж, Фрейдл не забыла советов матери. Не

спеша, обдуманно, внушала она Степению представление о правах жены: у мужа не должно быть никаких секретов от жены, потому что «жена — не чужая, жена — не полюбовница»; жена и муж — одна плоть и кровь, он — что она, а она — что он. Одним словом, он должен знать, он должен постоянно чувствовать, что у него есть жена.

Когда Фрейдл стала самостоятельной хозяйкой и в руках ее зазвенели целковики (Степению приносил их домой частенько), она необычайно пристрастилась к деньгам и набросилась на них, как голодный на пироги. Но деньги не пошли ей впрок. Ее вечно мучили сомнения: а что, если завтра этих целковиков не будет? Что, если муж, не приведи господи, вдруг перестанет зарабатывать? И она начала копить грош за грошем, потуже завязывая узелки.

— К чему ты так жадничаешь? — спросил как-то Степению жену, заметив ее новые повадки.

— Много будешь знать, скоро состаришься. Тебя это не касается, Степению, — с улыбкой ответила Фрейдл.

И по-прежнему скарденничала, сокращала свои покупки на базаре, в бакалейной, в мясной лавке, готовила скудный обед, часто недоедала и все копила копейку к копейке. Сколотив значительную сумму, Фрейдл малопомалу начала давать деньги под заклад. Вначале это были случайные ссуды: попросит какая-нибудь соседка несколько рублей взаймы на короткий срок, Фрейдл ссужает ее, — отчего не пособить человеку в нужде? Но, заметив, что от этих «добрых услуг» капиталец ее растет, что с течением времени рубль превращается в два, она вошла во вкус и вскоре стала заправской ростовщицей, со всеми особенностями этой милой профессии, которой некоторые наши богатеи — пусть это останется между нами! — занимаются довольно охотно.

Удивительное дело! Откуда взялась у Фрейдл эта страсть к стяжательству? Ни у своего отца, Шайки-музыканта, ни у других музыкантов она этому научиться не могла. У кого еще, как не у музыканта, деньги — что ветер: сегодня заведется целковый, а завтра ни гроша за душой. Еврейские музыканты — особенно в те времена — своего рода цыгане, своеобразное племя со своим особым жаргоном, нравами и обычаями. Они всегда жили беззаботно и весело, не задумываясь о том, что будет завтра. Они старались превратить жизнь в сплошной праздник: вечно пиликали на своих инструментах, острили, за-

бавлялись, проказничали. Явившись домой, к жене и детям, музыкант все так же зубоскалил, хлебал свои клецки с фасолью (порой и тех не было) и, не унывая, полуголодный укладывался спать. А утром он занимал у кого-нибудь несколько грошей или же закладывал последнюю подушку... На первые заработанные деньги выкупал заклад, и опять все повторялось сначала.

Дочери музыкантов тоже были веселые создания, вольные, как птицы. Их жизнь, как и волосы, не была скрыта от человеческих взоров. Одним словом, музыканты жили как бы в раю, который обладал всеми достоинствами и недостаткамирая... А в раю кому взбредет на ум задумываться о будущем?

Отец Фрейдл, разумеется, тоже не принадлежал к печальникам. Шайка-скрипач был бедняк, каких мало, но веселый, жизнерадостный бедняк. Заработав копейку, он ее спускал, как говорится, одним духом. Мать Фрейдл тоже любила пожить, то есть хорошо поесть. На теле иной раз рубахи не было, но, покуда оставалась в доме последняя подушка, ели сытно. «Лучше пекарю, чем лекарю», «Нет лучшей доли, чем поесть вволю, на то нам и жизнь дана» — так говаривала мать Фрейдл. Даже среди жен музыкантов она слыла расточительной.

Откуда же у Фрейдл взялось скопидомство? Кто знает? Быть может, источником ее жадности была именно нужда, которую она терпела в родительском доме. А возможно, что природа наделила ее этой чертой: чья-то скаредная душа по ошибке вселилась в дочь музыканта.

Как бы то ни было, лицо у Фрейдл искажалось гримасой, передергивалось и покрывалось потом, как только речь заходила о деньгах.

Жены музыкантов завидовали Фрейдл.

— Эко ей счастье привалило! — говорили они в один голос.

В одном только Фрейдл не повезло — детей не было. Как знать? Быть может, оттого-то она всей душой и предалась страсти к деньгам, что радость материнства была ей недоступна? Бездетные женщины вообще большей частью бывают злы. Им не хватает той теплоты и мягкости, которые свойственны матерям. Такие женщины чаще всего любят только себя. Вот этой особенностью отличалась и Фрейдл.

Было бы, впрочем, ошибкой утверждать, что Фрейдл не любила мужа. Почему ей не любить его? Красавец

писанный, музыкант на редкость, к тому же (это, пожалуй, важнее всего) прекрасно зарабатывает.

— Моему Стемпеню, — хвастала Фрейдл перед соседками, — стоит раз провести смычком — и вот тебе целковый, два раза — два целковых, три раза — три целковых! Понимаете?

В своем отношении к деньгам Стемпеню был полной противоположностью жене: деньги для него ничего не значили. Вот он, потрудившись со своим оркестром, напихал полные карманы, а вот — все деньги на ветер, и снова ни гроша за душой. Были у него деньги — он раздавал их направо и налево, не было денег — он брал займы у других. Стемпеню, как подлинного артиста, занимала только музыка. Сочинить новую музыкальную пьесу, разучить с оркестром какую-нибудь оперную увертюру, сыграть на свадьбе так, чтобы слушатели замерли от восторга, — вот это было его делом.

Больше всего на свете знаменитый музыкант любил себя и свою скрипку. Собой он был занят неизменно: вечно прихорашивался, завивал волосы, одевался щегольски — словом, «корчил из себя холостяка», как иронически выражалась Фрейдл.

Когда Стемпеню был занят собой, он даже про скрипку забывал. Но стоило ему взять ее в руки, он забывал и себя, и весь мир. Всякий раз, когда им овладевала тоска, он запирался у себя в комнате и несколько часов подряд играл то, что изобретала его фантазия. Вот полились скорбные звуки, тихо плачет скрипка, и вдруг — скорбь сменяется гневом, который все нарастает, пока снова стон не вырывается из глубины души. Гаснет пламя, смиряется гнев, и текут без конца нежные мелодии, сладостные напевы, все печальнее и печальнее. Но вот сквозь них прорывается радость...

Правда, это бывало не часто. Не всегда Стемпеню брался за скрипку. Но если уж он начинал играть, оторвать его было невозможно. Воображение художника разыгрывалось, било, как из свежего источника.

Люди с живой душой заслушивались этой свободной музыкой, которая и в ноты не укладывается. В звуках скрипки слышался им стон измученной души, мольба о милости, о сострадании, молитва, которую там, в небесах, должны услышать, не могут не услышать... Рассказывают, что у ружинского цадика был собственный оркестр, игравший всякий раз, когда цадик пел хвалу пред-

вечному. Это, несомненно, возвышенная мысль, которая могла прийти в голову лишь человеку с глубоко поэтической душой.

— Толстуха Кейля — чтоб ей ни дна ни покрывки! — уплатила мне проценты только за прошлую неделю. А за эту неделю, говорит, после субботы внесет...

Такого рода сообщениями встречала Фрейдл музыканта, когда он выходил из своей комнаты после трехчасовой импровизации. Щеки его еще пылали, черные глаза горели тем огоньком, которым Стемпеню привлекал к себе сердца людей. Но при встрече с зелеными глазками Фрейдл огонек этот мгновенно гас.

Когда Стемпеню возвращался со свадьбы, Фрейдл встречала его с улыбкой, ласкалась к нему, как кошечка.

— К чему тебе деньги, Стемпеню? — говаривала она, вытряхивая его карманы. — На что тебе деньги? Тебе разве не хватает чего-нибудь? Слава богу, у тебя есть все, что нужно. Ты не голодаешь — не приведи господь! — и голышом не ходишь. А если тебе нужно несколько копеек на расходы, разве я не даю тебе? Отдай лучше деньги мне, душа моя! Поверь, в моих руках они — как за семью замками. Ну давай же, давай!

А Стемпеню стоит перед женой, как провинившийся школьник, и безропотно подчиняется ей. Он весь в руках этой смуглолицей женщины...

Стемпеню, что с тобой? Словно могучий Самсон на коленях у Далилы, ты даешь сесть себе на голову такому ничтожеству, как Фрейдл, позволяешь водить себя за нос — какой стыд, Стемпеню, какой позор!..

XVII

Еще не все кончено...

Жаль Стемпеню!..

Но положение нашего героя не так уж безысходно, как вам кажется, и особенно жалеть его не приходится. Если у себя дома Стемпеню был ничем, тряпкой, то он создал свой собственный мирок, совершенно недоступный бдительному оку Фрейдл. Там, в своем мирке, Стемпеню был сам себе властелин, и, как мы увидим, был даже счастлив.

Половина дня у него уходила на «репетиции», что означало не только разучивание с оркестром новых номеров, но и веселое времяпрепровождение в товарищеском кругу. Всегда было над чем посмеяться. Бадхен сыпал остротами, чаще всего по адресу Мехчи-барабанщика, на котором он любил изощрять свое остроумие. Музыканты же всегда имели про запас какое-нибудь любопытное происшествие. Не бывает же свадьбы без приключений: тут жених заартачился и, хоть убей, не хочет идти к венцу, пока ему не выплатят все обещанное приданое чистоганом; дескать, вынь да положь! Там невеста пред венцом слишком много плакала и в конце концов упала в обморок, так что ее насилу привели в чувство (бадхен отпускает по ее адресу скабрзную шутку). А на одной свадьбе случилась история почище: после ужина, когда начались танцы... Громкий хохот, подобный пушечному выстрелу, покрывает слова рассказчика.

— Что у вас там за смех? Ишь разгоготались! — кричит Фрейдл из своей комнаты.

— Не твое дело! Тысячу раз просил тебя: не вмешивайся в наши дела! — с достоинством отвечает Стемпеню.

И ему кажется в эту минуту, что он и впрямь полномочный хозяин в своем доме, подлинный повелитель.

Время, свободное от репетиций, Стемпеню посвящал туалету: чистил платье, наводил зеркальный блеск на сапоги, завивал свои черные кудри, разглаживал белую крахмальную манишку. Затем, взяв в руки тросточку с набалдашником из слоновой кости, надвинув на брови черный картуз с блестящим козырьком и задрав голову так, чтобы кудри разметались по плечам, он отправлялся на прогулку по местечку. Там у него свой круг знакомых, с которыми ему приятно повстречаться. Проходя мимо лавок, он здоровается с молодыми женщинами-торговками. Те краснеют, вспоминая, что не так давно они были девушками и водили знакомство со Стемпеню... Хорошая была пора! А теперь? Теперь не до того!

Впрочем, среди молодых женщин, а еще чаще среди девушек, и теперь находились охотницы постоять со Стемпеню у двери лавчонки, побалагурить о том, о сем, посмеяться...

Не всегда такие встречи сходили гладко: увидит любопытная соседка и тотчас расскажет другой, другая — третьей, и пойдет и пойдет... Попадешь на язычок кумушкам, не обрадуешься...

— Скажи мне, Степеню, что это опять за толки и пересуды на твой счет? Новую кашу заварил? — допытывалась Фрейдл.

— Какую кашу? В чем дело?

— Еще спрашивает! Известно какую! Никому спуска не даешь. Во всем местечке только и разговоров что о нас.

— Понять не могу, чего ты от меня хочешь, Фрейдл?

— Чего я хочу? Хочу, чтобы ты бросил свои старые замашки. Давно пора! Где только ни есть в местечке девушка или молодуха, — он обязательно должен водить с ней знакомство и битых три часа разговаривать с ней — не оторвешь!

— А! ты, верно, намекаешь на то, что я разговаривал с Эстер, дочерью Авром-Якова?

— Ну допустим, что с Эстер. Что же она, святая?

— Но ведь мы же о деле толковали.

— О деле!.. Знаем мы тебя, Степеню, с твоими делами!

— В том-то и дело, что ничего ты не знаешь. Авром-Якову захотелось отпраздновать свадьбу своей дочери в Егупце, — приходит же человеку в голову этакая блажь! Ну, само собою, когда я увидел Эстер, я сейчас же завел с ней разговор об этом: жаль ведь выпустить из рук такую свадьбу, как по-твоему?

— Вот сумасшедший! С чего это ему вздумалось устраивать свадьбу в Егупце? — взволновалась Фрейдл.

В ее зеленых глазках загорелся тот огонек, который всегда загорался в них, когда она чуяла запах денег.

— Что с него возьмешь, когда у него не все дома! — отвечает Степеню и, как водится, выходит сухим из воды.

Вот таким образом ему удавалось замять одну историю, и другую историю, и все истории, вместе взятые. Степеню никогда не терялся; он знал, чем взять Фрейдл.

Когда Степеню случалось выезжать со своим оркестром в другое местечко, для него снова начиналась прежняя привольная жизнь, и у него не было ни малейшего желания возвращаться домой. Тут уж, как говорится, ему сам бог велел дать волю своему нраву. И приключения следовали за приключениями, как веселые, так и невеселые. Одним словом, у Степеню был свой замкнутый мирок, и сколько бы Фрейдл ни старалась туда проникнуть, вход для нее был закрыт навсегда. Она да-

же сделала было попытку подкупить Мехчу-барабанщика, но ей это не удалось. В своем обособленном мирке Стемпеню был другим человеком, совершенно непохожим на того Стемпеню, которого Фрейдл знала у себя в доме.

XVIII

Любовь разгорается

Стемпеню жил в замкнутом мирке, который сам создал для себя. Все большее и большее место, чуть не главное место в его жизни, стала занимать Рохеле. Письмо, брошенное ей в окно, было написано вполне искренне, от всей души, так как Стемпеню влюбился в Рохеле в ту же минуту, как увидал ее на свадьбе у дочери Бенциона Глока.

Не сразу, однако, у Стемпеню родилась мысль написать письмо. Прошло несколько дней, прежде чем огонь, зажженный в его сердце синими глазами Рохеле, разгорелся в яркий костер. Тогда, не в силах совладать с собой, он заперся в своей комнате, где обычно переписывал ноты, и тем же пером, на той же нотной бумаге написал письмо Рохеле.

Стемпеню немало потрудился над этим письмом, не так-то легко оно ему далось. Он был самоучка, грамоте нигде не обучался. Не удивительно, что в письме он был неловок.

Несколько дней носил Стемпеню письмо у себя в кармане и не находил способа передать его Рохеле. На чужбине хорошим посланцем в таких случаях служил Мехча-барабанщик, но здесь, под боком у Фрейдл, этот почтальон был опасен.

Стемпеню едва дождался субботы. Он вырядился, точно девица, надел высокую шляпу — последний крик тогдашней моды — и вышел, как всегда по субботам, прогулять на Бердичевскую улицу, надеясь встретить там Рохеле. Увы! Много девушек и молодых промелькнуло перед глазами Стемпеню. Иные, зардевшись, поглядывали на него и улыбались. Все были тут. Не было только одной — Рохеле. Письмо не давало Стемпеню покоя. Его влекло к Рохеле с неодолимой силой.

«Надо бы пройтись по той улице, где живет Айзик-Нафтоля. Авось я ее там встречу...» — подумал Стемпе-

ню. И он, не торопясь, подошел к окну, где сидела Рохеле, погруженная в свои думы, и пела знакомую нам песенку:

Одна, все одна я,
Что камень немая —
Мне некому слова сказать...
С собой говорю я,
С собой и горюю,
Что некому слова сказать...

Услышав неожиданное приветствие «с субботой вас» и увидав пред собой Стемпеню, Рохеле вначале подумала, что это сон (несколько раз уже Стемпеню являлся ей во сне). Но, развернув нотную бумагу и прочитав послание, она поднялась, выглянула в окно и произнесла про себя:

— Счастье его, что он ушел! Я бы его отчитала как следует! Вот еще напасть!

Рассерженная Рохеле хотела было выбросить послание Стемпеню в окно. Но вдруг раздумала, еще раз прочитала и, свернув в трубку, спрятала в карман.

Гнев все сильнее овладевал ею. Она решила во что бы то ни стало повидаться с ним с глазу на глаз и спросить, что все это означает. Как назвать его поступок? Как он смеет? Кто он такой, чтобы писать ей записочки?

И Рохеле стала думать да гадать, как бы встретиться со Стемпеню в таком месте, где никто не сможет подслушать их разговор. И в голове ее родилась блестящая мысль.

XIX

Рохеле покупает ожерелье у жены Стемпеню Фрейдл

— Знаете, что я вам скажу, свекровь? Если бы это обошлось недорого, я бы не прочь купить нитку жемчуга, крупного жемчуга.

— Ну, скажи сама, Рохеле, сколько раз я тебе говорила: пойди, дочка, к Фрейдл, к жене Стемпеню; там ты найдешь все, что душеньке угодно. Если хочешь, пойдем сейчас же. Мне она уступит по дешевке.

Фрейдл в заклад под ссуды чаще всего брала ожерелья и мало-помалу сама стала торговать ими. Получая эти ожерелья от своих должниц почти задаром, она, естественно, имела возможность продавать их дешевле любой другой торговки. Постепенно Фрейдл вошла во вкус и начала не на шутку вести торговлюс Бердичевом и

Бродами. Вся Мазеповка знала, что хорошую нитку жемчуга можно найти только у Стемпенихи.

Надо только удивляться, откуда взялись у Фрейдл такие способности к торговле, такое умелое обхождение с покупателями, такое искусство убеждать.

Когда Двоя-Малка с невесткой вошла в дом Стемпеню, Фрейдл шумно приветствовала их:

— Кого я вижу?! Как поживаете, Двоя-Малка? Знаете, я уж давно жду не дождусь вашего прихода.

— Моего? Почему, Фрейдл?

— Почему, спрашиваете! Уже год, как вы прячете такое сокровище у себя в доме! Зашли бы разок с невесткой выбрать что-нибудь подходящее для такой красавицы. Фи, Двоя-Малка, нехорошо! Право, мне даже стыдно за вас.

— Вы тысячу раз правы, Фрейдл, милая! Но посудите сами, виновата ли я, если моя невестка не хочет никакого ожерелья? Сколько я ни упрашивала — все зря.

— Вот еще новости! Как это не хочет? Значит, не смогли уговорить. У меня небось разохотилась бы.

Фрейдл проворно раскрыла большой зеленый сундук и нитку за ниткой стала вытаскивать и выкладывать на стол разнообразные ожерелья. Предлагая свой товар покупательнице, она, как заправская торговка, осыпала ее градом льстивых похвал и добрых пожеланий.

— Знаете, Двоя-Малка, если бы вы меня послушались, я бы посоветовала вашей невестке взять вот это ожерелье, только это! Клянусь, вы нигде не увидите такого настоящего орлеанского жемчуга, — не видеть бы мне так горя и беды и вам также. Пожалуйста, прошу вас, — обратилась она к Рохеле, — наденьте это ожерелье. Клянусь богом, оно так и просится украсить вашу белую шейку! Носите на здоровье! Дай боже, чтобы ваша свекровь смогла через год купить вам, по крайней мере, пять ниток такого крупного жемчуга! Как он вам идет! Ну, скажите сами, Двоя-Малка, вы ведь знаете толк в жемчуге: как это ожерелье ей к лицу, боже праведный!

С этими словами Фрейдл схватила зеркальце, лежавшее в сундуке, и стала с ним против Рохеле. Ее зеленые глазки сверкали от удовольствия, а на лбу даже пот проступил от чрезмерного усердия, божбы и лести.

— А ваш Стемпеню знай свое, — заметила Двоя-Малка, указывая рукой на соседнюю комнату, откуда доносились очаровательные звуки.

— Да, играет,— ответила Фрейдл, показывая покупательницам все новые ожерелья.

Между Фрейдл и Двосей-Малкой завязался длинный разговор, обычный между двумя торговками, когда дело касается коммерции.

Рохеле сидела в сторонке, совершенно безучастная к разговору свекрови с Фрейдл. Она слышала другую речь, внимала другому голосу, другим словам. Каждый звук, который Степеню извлекал из своей скрипки, проникал глубоко в сердце Рохеле. Она лишь тогда поднялась с места, когда скрипка замолкла и в дверях показался Степеню. Их взгляды встретились, кровь прилила к их щекам. Степеню остановился в дверях неподвижно, словно пришитый к месту. Рохеле, не сводя с него глаз, сказала свекрови, что пора отправляться домой. Двосей-Малка встрепенулась и заломила руки.

— Ой, гром меня порази! Смотрите, как мы тут заговорились! Ну, Фрейдл, что вы возьмете с меня за эту нитку? С меня вам грех запрашивать, Фрейдл. Со мной уж торгуйтесь по совести.

— По чистой совести, Двосей-Малка, подавиться мне первым глотком, если я лгу! Сося мне давала за эту самую нитку восемнадцать рублей, клянусь вам своим здоровьем и здоровьем моего мужа. Но одно дело Сося, а другое — Двосей. Словом, я возьму с вас пятнадцать целковых. И накажи меня господь, — пусть я потерю все свое состояние! — если я хоть копейку на этом наживаю, боже праведный, милосердый!

— Пятнадцать не пятнадцать, но двенадцать я вам дам, Фрейдл. Двенадцать целковых наличными.

— Ну что вы, Двосей-Малка, дай вам бог здоровья! Не торгуйтесь, ради всего святого! — с жаром воскликнула Фрейдл, схватив обе руки покупательницы, как будто собираясь отплясать с ней «Веселую».

Тем временем Степеню и Рохеле удалось обменяться несколькими фразами.

— Я хотела вам кое-что сказать, Степеню.

— Я тоже, Рохеле.

— Вы уже сказали.

— Когда?

— В письме.

— Этого мало.

— Слишком много.

— Даже и сотой доли...



- Ошибаетесь.
- Клянусь жизнью, я изнываю! Где можно с вами встретиться?
- Не знаю, где мы можем встретиться.
- Разве вечером?
- Где?
- На Монастырской улице.
- Когда?
- В субботу. Вы выйдете с противоположной стороны к монастырскому саду.
- Я не хочу! Не могу!
- Вы должны, Рохеле, умоляю вас! На одну только минутку приходите. Будьте там, ради бога, в субботу вечером. Я буду вас ждать.
- Я не приду.
- Вы придете, Рохеле, вы придете!..
- Ну, дочь моя,— окликнула ее Двоя-Малка,— пойдем домой. Еле выторговала за четырнадцать целковых. Я и не знала, Фрейдл, что вы такая ловкая торговка.
- Эх, Двоя-сердце! Ну и мастерица же вы торговаться, дай вам бог здоровья! До свидания! Всего хорошего! С обновой вас! Носите на здоровье! Порвите на здоровье!

— На костылях бы ей ковылять! Всю кровь мне испортила! — сказала Фрейдл мужу после ухода покупательниц. — А она, невестка, эта белая телка, тоже хороша! Сидит и молчит. Ей так пристало ожерелье, как свинье хомут.

XX

Опять об ожерелье

Когда Рохеле вернулась домой с ожерельем на шее, свекровь первым делом подвела ее к Айзик-Нафтоле. На ее лице сияла счастливая улыбка, словно она сделала бог весть какое приобретение.

— Взгляни-ка, Айзик-Нафтоля, какое ожерелье: дешевка, настоящая находка.

Айзик-Нафтоля подошел к Рохеле вплотную, хорошенько присмотрелся к ожерелью с видом знатока, потянул носом и наконец спросил:

— Сколько заплатила?

— Угадай. Ты же купец, вот и отгадай, — с улыбкой ответила Двоя-Малка.

— Я ведь не знаю, дорого ли ты заплатила или дешево.

— Говорят же тебе, дешево, остолоп этакий, дешевле краденого! Положим, немало крови я себе испортила, до хрипоты накричалась с этой мошенницей, с этой музыкантшей, чтоб у нее рожа распухла! Ну и умеет же торговаться! Настоящая базарная торговка. Черт ее ведает, где и когда она этому научилась! Язычок — точно на шарнирах! Изо рта пламя пышет. Мечется, как щука в сетях, когда с покупателем разговаривает, погибель на нее, на эту Стемпениху!.. Ну, чего же ты молчишь, Айзик-Нафтоля? Скажи, какая, по-твоему, цена этому ожерелью, — послушаем, какой ты ценитель.

— Цена этому ожерелью, — схватившись за бороду, завел Айзик-Нафтоля, — такая нитка жемчуга должна стоить не более и не менее — погоди-ка, дай мне хорошенько прицениться, — тут ведь и ошибиться недолго!.. Дешевка, говоришь, да? Дешевка? Гм... Если в самом деле дешевка, то и тогда ты должна была заплатить за эту нитку не менее, чем пять с полтиною, а красная цена ей семь целковых.

— Балда! — как из пушки выпалила Двоя-Малка. Айзик-Нафтоля даже вздрогнул и отскочил в сторону. — Остолоп эдакий! Ослиная голова! За такую нитку жемчуга пять с полтиной? Скотина безмозглая! Немой и тот бы лучше сказал!.. Есть у тебя глаза или нет? На, присмотрись хорошенько, дурак набитый!

И, схватив Рохеле за руку, Двоя-Малка снова подвела ее к Айзик-Нафтоле, приподняла ей голову — полюбуйся, мол, какая дешевка! — и продолжала осыпать мужа бранью и насмешками.

Бедный Айзик-Нафтоля моргал глазами и шмыгал носом, боясь слово вымолвить. Но тут судьба прислала ему на выручку сына, — он только что пришел с прогулки с неизменной тросточкой в руке. Теперь уже настал черед Мойше-Мендла оценить жемчуг на стройной белоснежной шее его жены. И он точно определил, что цена этой нитке без преувеличения три целковых.

Двосей-Малкой овладела такая ярость, что она даже расплакалась — то ли от досады, что никто не оце-

нил по достоинству ее дешевую покупку, то ли от обиды на Стемпениху, так бессовестно ее обманувшую.

— Тоже мне, с позволения сказать, ценитель! — гаркнула Двоя-Малка на сына. — Такой же знаток, как и его папаша! Почему целых три рубля, сыночек? Почему не дешевле?

— А потому что им красная цена — три рубля. Это же самое обыкновенное монисто! Я, мама, видывал на своем веку жемчуг. Представь себе, мне не раз приходилось видеть нитку жемчуга, настоящего жемчуга.

Целый день все трое ссорились и грызли друг друга из-за ожерелья.

— Если бы он угодил мне пулей прямо в сердце, — жаловалась Двоя-Малка, — мне было бы гораздо легче, чем слышать такую неленицу. «Пять с полтиной!» Допустим, эта мошенница, эта торговка — холера бы ее задушила сию же минуту! — обманула меня, хотя до сих пор меня еще никто никогда не обманывал. Ну, да черт с ней, со Стемпенихой, будь она трижды проклята вместе со своим Стемпению! Но зачем растравлять рану и называть такую цену? «Пять с полтиной!» Пять с половиной дюжин волдырей ей в самую печенку и пять с половиною недель трястись ей в лихорадке! Положим, я у нее вырву из рук мои кровные денежки, как у собаки из зубов! Вырву, можете быть уверены! Но как это человек позволяет себе сказать «пять с полтиною»?!

Вся эта сцена показалась Рохеле до того омерзительной, что она перед сном сняла ожерелье с шеи и запрятала на дно сундука с твердым намерением никогда больше не надевать его. Обиднее всего было то, что Мойше-Мендл проспорил с мамашей весь день об ожерелье, а на нее, Рохеле, не обратил ни малейшего внимания, — даже не поздравил с обновкой. Весь день ее подводили то к одному, то к другому, как корову на ярмарке. Каждый задирает ей голову, щупал ожерелье, а о ней самой забыли.

По натуре незлобивая, неспособная, казалось, сердиться, она в этот раз пылала гневом на всех, особенно на своего муженька. А муженек спокойно пообедал и тотчас побежал в синагогу. А так как в синагоге в тот вечер происходило какое-то торжество, то он, как нередко с ним случалось, остался там чуть не до рассвета.

Рохеле была вне себя, все у нее внутри кипело. Лицо у нее пылало, голова чуть не разрывалась от боли, в ушах шумело и звенело. Она сама не знала, что с ней... К ужину в этот вечер она даже не прикоснулась. Двоя-Малка, как водится, покоя ей не давала: почему она ничего не ест, отчего не пьет? Но на этот раз не действовали никакие уговоры. С воспаленными глазами Рохеле удалилась к себе в комнату, быстро разделась, бросилась на кровать, и из глаз ее внезапно полились слезы, горячие слезы, и она плакала долго, долго...

XXI

Трудная ночь

О чем плакала Рохеле? Она и сама не могла бы ответить на этот вопрос. Она даже не чувствовала, что плачет. В сердце ее давно накопилась горечь, и долго сдерживаемая боль неожиданно прорвалась наружу неудержимым ручьем слез. Рохеле, как выше было сказано, чувствовала себя одинокой в доме мужа, что-то ее здесь не удовлетворяло, но что именно — она не знала и знать не могла.

Одно только Рохеле знала твердо: родители выдали ее замуж — и с плеч долой! «С плеч долой!» — одних этих слов достаточно, чтобы почувствовать, до какой степени дочь после замужества отрывается от родителей и родители от нее. Слова «с плеч долой» слишком уж часто приходится слышать чуть не в каждой семье. «С плеч долой!» — какое это оскорбление, какой позор для народа, шеголяющего своим добросердечием!..

Больше всех раздражал Рохеле Мойше-Мендл своими манерами и своим обращением с ней. Рохеле ясно видела, как ничтожна та роль, которую она, при всей ее красоте, доброте, честности и преданности мужу, играет в его жизни. Рохеле понимала, что она для него ничто.

Помимо всего прочего, Рохеле последние дни вообще немного развинтилась. Шутка ли, как взбудоражил, как возмутил ее покой Стемпеню! Рохеле, благонаравная Рохеле, за всю свою жизнь не позволившая себе отступления от догматов веры, беспрекословно выполнявшая все религиозные предписания, обязательные для женщины, — эта добродетельная Рохеле думает о постороннем мужчине, получает от него записочки,

встречается с ним и... не чувствует за собою никакой вины. Наоборот, ее влечет к нему. Никакого греховного соблазна в этом влечении, разумеется, нет, — ей хочется только видеть Стемпеню и слушать его игру на скрипке.

Боже, как он играет! Как играет! Она готова не есть, не пить, глаз не смыкать, только бы слушать его игру. Слушать и... глядеть на него... Ах, его глаза! Они ласкают и греют...

Рохеле сжимает обеими руками голову. В висках у нее стучит, судорожно бьется сердце и ноет, и ноет... Она сама не знает, что с ней. Она закутывается с головой в одеяло и вдруг видит перед собой Хае-Этл, мир праху ее. Вспоминается история покойной Хае-Этл и Биньомина. Мороз подирает по коже Рохеле. Она сбрасывает с себя одеяло и слышит знакомый напев, игру хорошо известной ей скрипки. Вначале она подумала, что это ей показалось, но чем дальше, тем явственнее слышала она мелодию, с которой обычно провожают свойственников после свадьбы. Рохеле уже не сомневалась в том, что слышит именно эту мелодию и что играет ее Стемпеню. Но как он попал сюда? Никакой свадьбы на этой улице сегодня нет. Никаких родителей здесь не надо провожать. Что же означает эта музыка?.. Все ближе и ближе дробь барабана. Весь оркестр играет с жаром. Но больше всего выделяется скрипка Стемпеню; ее нежные звуки, ее мягкая напевность покрывают все инструменты.

Рохеле не ложится больше в постели. Она вскакивает, раскрывает окно и по пояс высовывается наружу.

Такой волшебной ночи Рохеле давно не помнит. Полная луна плывет по ясному небу, усеянному мириадами звезд, сверкающих, как брильянты. Какой теплый, какой свежий, живительный воздух! Ни один листик не шелохнется на высоких тополях, выстроившихся в ряд на Монастырской улице, точно солдаты на параде. Изредка только повеет из монастырского сада ароматом цветов, к немалому удовольствию обитателей Мазеповки, вдыхающих днем совсем иные запахи.

Ах, как гармонировала с этой прекрасной ночью сама Рохеле — нежная, чистая, добродетельная Рохеле с ее стройной белоснежной шеей, которую обвили разметавшиеся в беспорядке густые белокурые волосы. Разве могла она в такой момент помнить о том, что луна и автор настоящего романа увидят ее собствен-

ные волосы. Глаза ее были так же чисты и сини, как это чистое синее небо; ее светлое лицо так же прекрасно, как эта светлая лунная ночь. Но Рохеле меньше всего думала о себе. Все ее помыслы были устремлены туда, откуда доносились волнующие звуки, сердце рвалось туда, где пела скрипка Стемпеню.

Музыканты играют что-то бесконечно жалобное, точно поют отходную, провожая человека в путь, откуда нет возврата. Так уж заведено у нас, что сквозь радость прорываются рыдания, ликуя, мы проливаем слезы. Но особенно грустно звучит свадебная мелодия в полночь, когда весь мир погружен в сон и лишь небольшая кучка возвращающихся со свадьбы людей, низко опустив головы, развлекается грустной мелодией. Откуда эта грусть? Устроили, понимаете ли, судьбу своего ребенка, обеспечили с божьей помощью, ну и с плеч долой...

В эту тихую летнюю ночь скрипка Стемпеню звучала сильнее, чем обычно, заставляя сердце трепетно биться, млеть и замирать в восторге.

Полунагая Рохеле стоит у окна и слушает. Она хотела бы убежать отсюда, захлопнуть окно и убежать, но неведомая сила держит ее, притягивает, точно магнитом. Она вглядывается в даль и прислушивается к несущимся оттуда звукам с таким напряжением, словно это не скрипка поет, заливается, а сам Стемпеню говорит с ней, обращается к ней с жалобной мольбой и горьким упреком...

Не одна Рохеле слушает игру Стемпеню в эту светлую летнюю ночь. Луна, звезды, напоенный свежей прохладой воздух, вся природа, все живое пробудилось от сна и вышло поглядеть, кто это так чудесно играет среди ночи, откуда берутся эти звуки.

Ночной певец, запоздалый соловей из монастырского сада, услышав звуки музыки, захотел помериться силами со скрипкой Стемпеню и, по своему обыкновению, залился раскатистой трелью. Но был уже конец июля, и соловью не удалось перешеголять Стемпеню: он, бедненький, еще в начале лета потерял голос и вместо нежных трелей издавал только жалобный писк, точно кантор, надорвавший глотку после новогодних песнопений в синагоге... Крикун-петух, услышав музыку, видимо, решил, что светает; он захлопал крыльями, прокричал свое протяжное «кукареку» и снова удалился на

покой, возмущенный тем, что его напрасно потревожили. Собаки на Монастырской улице, услышав среди ночи игру еврейских музыкантов, залаяли было по призывке, завыли, но и они быстро умолкли, выбирая себе для отдыха место получше. Даже рьяная корова Двоси-Малки перестала на минуту жевать жвачку, наострила уши и, словно великая грешница, испустила тяжелый вздох из самого живота. Две соседские козы, лежавшие на земле, поднялись от избытка чувств, поменялись местами и заодно уже показали друг дружке, что у них есть рога. Одним словом, все ожило, всколыхнулось, слушая музыку в тихую, теплую волшебную летнюю ночь.

В это самое время наша добродетельная Рохеле, как пригвожденная к месту, стояла у окна, изумленная, полная смятения. «Ну и ноченька! Что за ночь, господи!» Она слушала всем своим существом и полной грудью вдыхала ночную свежесть. Как замороженная, смотрела она в синее небо и вспоминала, как она еще девочкой сидела в темные летние вечера на завалинке и, любуясь светлыми полосами лунного света, играла в камушки и напевала песенку:

В полночь светит луна,
Льет свой свет у дверей.
Где Переле плачет одна —
Горе ей! —
И вздыхает она, и рыдает она —
Горе ей!

Она пела эту песенку, не понимая ее смысла. Теперь она понимает, хоть и не вполне — постигает ее не столько умом, сколько сердцем. Рохеле чувствует, что ее влечет и манит туда, на вольный воздух. Здесь тесно, душно, тошно, ой, как тошно!.. Рохеле вспоминает еще одну песенку, которую она в детстве не раз певала летом, примостившись на пороге:

Ты ждешь меня на берегу,
Зовешь оттуда, может быть,
Ой, как мне жаль, что не могу,
Что не могу к тебе приплыть!
Что не умею плавать я,
А ты зовешь, любовь моя!

Но ведь он уже совсем близко! Вот он, Стемпеню, со своей скрипкой, с длинными локонами, с пламенными черными глазами, которые всегда смотрят на нее,

ласкают и греют. И в эту минуту ей хочется быть рядом с ним, вечно слушать его музыку, вечно глядеть в его прекрасные глаза...

Одного только не может понять Рохеле: каким образом очутился здесь среди ночи Стемпеню? Что привело сюда свадебных гостей? Этого она не могла понять, сколько ни ломала себе голову. Правда, была сегодня свадьба, но где-то далеко отсюда, на Синагогальной улице. Как же попали свадебные гости сюда? Лишь тогда Рохеле разгадала загадку, когда увидела совсем близко, почти у самого своего дома, музыкантов и всю родню новобрачных, когда Стемпеню, остановившись прямо против ее окна, стал играть еще вдохновеннее, чем прежде. Лишь тогда она поняла, что натворил Стемпеню, — потащил за собой всю родню жениха и невесты, всех гостей за десять улиц и нарочно привел их сюда... Для кого это делалось?

В первую минуту Рохеле была приятно поражена, и сердце чуть не выскочило у нее из груди от радости. Она непроизвольно разразилась таким раскатистым смехом, что испугалась собственного голоса. И тут только она отдала себе отчет в том, что стоит полунагая у окна, высунувшись на улицу, выставив напоказ собственные волосы. Она быстро захлопнула окно и бросилась на кровать.

«Горе мне, горе! — подумала Рохеле. — Вот до чего можно дойти, забывшись. Показаться ночью у окна перед посторонними мужчинами чуть не голой! Носиться с глупыми, грешными мыслями о Стемпеню! И он тоже хорош! Тащить за собой толпу за десять улиц! Ради чего? Ради кого? Какая наглость! Откуда у человека такая дерзость берется? Я скажу ему, во что бы то ни стало скажу! Надо положить этому конец. Он хочет погубить меня. Надо объясниться с ним, и раз навсегда. Недаром говорят: «Лучше первая ссора, чем последняя». Сказки мне рассказывает — «любовь»! Очень прилично, что и говорить... Он хочет, чтобы в субботу вечером я пришла на Монастырскую улицу, — там уж он выскажется до конца, откроет, что ему от меня надо. Ах, скорее бы дожждаться субботы. Послушаем, что он скажет! Я пойду, непременно пойду. Чего мне бояться? Бояться надо только одного бога... Вот напасть! Наваждение какое-то! Недаром о нем столько историй рассказывают... Но почему он пристаёт ко мне? Зачем губит мою молодость? А кто виноват? Сама виновата.

Почему я его сразу не оборвала? Будь Мойше-Мендл дома, я бы ему все рассказала!.. Но где он? Разве он думает обо мне? Что ему до того, что я страдаю, извожу себя?.. Помолиться бы на сон грядущий. Нехорошо засыпать без молитвы...»

На помощь твою надеюсь, господи!
Надеюсь, господи, на помощь твою!
Господи, на помощь твою надеюсь!

Рохеле уткнулась лицом в подушку, натянула на голову одеяло, чтобы не слышать музыки, и стала повторять вслух слова молитвы: «На помощь твою уповаю я, боже...»

Но в окно крадутся ласкающие звуки скрипки. Они удаляются, слабеют, мало-помалу начинают стихать.

Рохеле еще и еще раз повторяет слова молитвы:

На помощь твою надеюсь, господи!
Надеюсь, господи, на помощь твою!
Господи, на помощь твою надеюсь!

Скрипку Стемпеню уже еле-еле слышно. Замирают последние звуки. Глаза Рохеле слипаются, но губы все еще шепчут бессвязно:

На помощь
Надеюсь
На помощь
Надеюсь

И Рохеле засыпает.

Рохеле засыпает, и снится ей, что Стемпеню надевает ей на шею ожерелье, в то время как Фрейдл жестоко избивает свекра Рохеле Айзик-Нафтолю в молитвенном облачении. Мойше-Мендл, мертвецки пьяный, сидит верхом на кочерге и корчит страшные рожи. А рядом Стемпеню надевает Рохеле ожерелье на шею. В стороне стоит Хае-Этл, по-праздничному одетая, нарядная, как принцесса, и с ласковой улыбкой на лице зажигает много, много свечей.

— Что ты делаешь, Хае-Этл? — спрашивает Рохеле. — Зачем зажигаешь столько свечей?

— Неужто не знаешь? — смеется Хае-Этл. — Ведь суббота наступает. Пора помолиться над субботними свечами.

Рохеле глядит на ярко горящие свечи, а Стемпеню все надевает ей на шею ожерелье. Он придвинулся к ней так близко, что она слышит его дыхание. Он смотрит ей прямо в глаза нежным, теплым взглядом. Рохеле ликует, смеется и поет. А Стемпеню все надевает ей ожерелье на шею.

Внезапно свечи гаснут. Исчезает Хае-Этл, и все кругом пустеет. Темно, холодно, как в подземелье, как в могиле... Ветер свистит, воет, и откуда-то доносится пение, грустное пение; скрипка плачет, знакомая скрипка, все та же скрипка Стемпеню. Самого музыканта уже нет, но скрипка его поет мелодию, подобную скорбной предвечерней молитве в Судный день. Слышен чей-то плач и стон. Это Хае-Этл оплакивает свою загубленную молодость, промчавшуюся как сон, и жалуется на милого ее сердцу Биньомина, который променял ее на другую, забыл свою Хае-Этл, забыл...

— Ой, маменька! — вскрикивает Рохеле, просыпается, поворачивается на другой бок и... снова засыпает.

И снятся ей самые причудливые сны. Всю ночь напролет ей мерещится, — нет, не мерещится! — она ясно видит, она чувствует, что Стемпеню стоит возле нее и надевает ей на шею нитку жемчуга... И снова появляется Хае-Этл с черными свечами в руках и плачет, сокрушается, читая вслух молитву: «Всемогущий отче небесный, царь царей, владыка над владыками, от века и до века единый и вездесущий! Услышь и исполни нашу горячую мольбу! Внемли молитве чистых душ, стоящих пред святым престолом твоим и молящих о милосердии к тем, что живут на земле и исполнены грехов, как гранат косточек, и отцы отцов наших...»

Хае-Этл произносит молитву громко, во весь голос. Она плачет, заливаясь горячими слезами, сетует на свою судьбу и внезапно исчезает...

XXII

Пламя разгорается

Есть в Мазеповке монастырь, сооруженный, как говорят, еще во времена Мазепы. Высокая каменная белая стена опоясывает монастырь со всех сторон и охватывает чуть ли не три четверти городка. С одной сто-

роны в нишах стены размещены самые крупные лавки местечка, с другой — подвалы. Предание гласит, что в былые времена здесь прятали оружие гайдамаки. Теперь сюда складывают яблоки и другие фрукты. С третьей стороны стена покрыта вьющимися растениями и защищена высокими тополями, растущими в монастырском саду. С четвертой стороны стена совершенно обнажена — штукатурка во многих местах отвалилась, кое-где не хватает кирпичей, — давно пора бы заделать здесь прорехи. Напротив стены ютятся дома и домишки, дворы и дворики, населенные евреями и неевреями. Узкая улица между этой частью стены и стоящими напротив домишками называется Монастырской.

Здесь на углу улицы под тополями, высящимися над монастырской стеной, и состоялось свидание наших влюбленных — Рохеле и Степеню.

Читатель, привыкший к «сверхзанимательным романам», немало, вероятно, натерпелся, бедняга, читая наш роман, в котором нет ни душераздирающих сцен, ни сногшибательных приключений. Никто не стреляется, никто не принимает яда. Нет ни графов, ни маркизов. Вместо них выступают простые люди — музыканты какие-то и самые заурядные женщины. Этот читатель с нетерпением, конечно, ждет субботнего вечера, когда на Монастырской улице разыграется любопытная, пикантная сцена. Я должен, однако, предупредить читателей, что их ждет горькое разочарование: никаких соблазнительных сцен здесь не произойдет, потому что Рохеле пришла сюда не как распутница, прости господи, жаждущая испить чашу наслаждений под покровом ночи, помилуй бог!.. Она пришла только спросить: как смел он, Степеню-музыкант, писать ей, невестке Айзик-Нафтоли, жене Мойше-Мендла, письмо, да еще такое письмо?

— Я должна отчитать его как следует! — говорила себе Рохеле. — Раз навсегда сказать ему решительно и твердо... «Лучше первая ссора, чем последняя».

Эта мысль пришла ей в голову не вдруг. Всю неделю она думала об этом, особенно же — в последний день недели, в субботу. Боже, сколько она перенесла за этот день, какую выдержала борьбу с соблазном. Нет, слово «соблазн» здесь решительно не подходит. Откуда ни с того ни с сего проникнет соблазн в сердце благочестивой еврейской женщины, которая никаких романов не читала и не имеет представления о любовных приклю-

чениях? Единственная любовная история, о которой она слышала, — это роман ее покойной приятельницы Хае-Этл, царство ей небесное, роман, о котором мы уже рассказывали. Итак, откуда же тут возьмется соблазн, любовь? Глупости! Будь она девушкой — тогда другое дело. Девушка как-никак вольная пташка, волосы-то у нее еще не покрыты, значит, сама себе госпожа. Но как может замужняя женщина, благочестивая, да еще из хорошей семьи, как смеет она думать о другом мужчине? Она негодовала на самое себя, она готова была разорвать себя на части, места себе не находила: то бросалась на кровать, то вскакивала, как в бреду, и порывалась бежать, сама не зная куда... Ей было дурно, тошно, — вот-вот душа выскочит... Вдруг она встрепенулась, взяла в руки «Тайч-хумеш»*, торопливо раскрыла ее и наткнулась на следующие строки:

«И Дина, дочь Лиц, вышла посмотреть на дочерей земли той, и увидел ее Шхем, сын Хамойра, и овладел ею насильно. И прилепилась душа его к Дине. Бехас пишет: Шхем уговорил ее».*

Рохеле заглядывала в Библию, которую свекровь подарила ей, когда она еще была невестой, но мысли ее были далеко, на Монастырской улице, там, где обещал ждать ее под тополями Стемпеню, и он, конечно, будет ждать. И едва на мысль пришел Стемпеню, ее безотчетно и неудержимо потянуло к нему.

— Я хочу только спросить его: что ему от меня надо, зачем он губит мой век?

И Рохеле вновь вспоминает свою подругу Хае-Этл. Как она, бедняжка, страдала из-за Биньомина!.. Но ведь Хае-Этл приходилась Биньомину двоюродной сестрой и к тому же была девушкой. А она, Рохеле, «мужняя жена» (как суров смысл этих слов для еврейской женщины!). А он! Кто он такой? Музыкант! Что общего может быть между ними? Кто он такой, чтобы письма ей писать? Какая дерзость! Какая наглость! Да как он смеет!

— Нет! — твердо решила Рохеле. — Будь что будет, а я ему скажу! Чего мне бояться? Я поговорю с ним с глазу на глаз. Я пойду туда... Никто меня не увидит. Я выбегу на минутку. Это ведь недалеко — вот тут, почти напротив.

Рохеле глядит в открытое окно на Монастырскую улицу. Видит ряд стройных, горделивых тополей, слышит щебетание птиц в монастырском саду. И мысль ее



уносится туда, где час спустя, а может быть, еще раньше, она увидит Степению, поговорит с ним с глазу на глаз. Сердце ее бьется, трепещет, и — надо сказать правду! — минуты тянутся бесконечно. Она ждет не дождется вечера, когда муж со свекром придут из синагоги и займутся проводами субботы, а свекровь, сняв праздничный наряд, начнет хлопотать о самоваре и о борще. Тогда Рохеле накинет на голову шаль и тихонько выскользнет из дому, якобы прогуляться. Кто заметит ее отсутствие? Она пойдет туда, где... Боже, как она вся дрожит! Как горят щеки! А сердечко — бедное сердечко! Вот-вот выскочит из груди!.. С каждой минутой все сильнее и сильнее тянет ее туда, к нему. Она уже не в силах думать ни о чем другом. Ничего не видит, кроме высоких тополей на Монастырской улице да Степению с его огненными глазами; ничего не слышит, кроме звонкого щебетания птиц в монастырском саду и божественной игры Степению.

Одна мысль овладела душою Рохеле, — туда, к Степению. Быть с ним! И не было той силы в мире, которая могла бы удержать ее в эту минуту.

Как только наступил вечер, Стемпеню отослал своих музыкантов на «Змирес»¹, да и сам для виду взял скрипку, чтобы Фрейдл подумала, будто и он идет с ними к невесте. Но, выйдя из дому, он тотчас передал скрипку Мехче-барабанщику, а сам понесся на Монастырскую улицу. Шагая взад и вперед в тени деревьев, он часто останавливался и смотрел туда, откуда должна была прийти красавица Рохеле. В том, что она придет, не могло быть сомненья. Сердце подсказывало, что придет. Он ясно прочитал в ее глазах согласие в тот день, когда она приходила к Фрейдл покупать ожерелье.

Ожидания не обманули Стемпеню. Не прошло и четверти часа, как в конце улицы показалась женщина с белым платком на голове. Она шла быстро, пугливо озираясь по сторонам. Белый платок надвинут на самые глаза. Она вся охвачена волнением: руки дрожат, зуб за зуб не попадает, высоко вздымается грудь. На мгновение она останавливается, бросает взгляд вокруг и, заметив Стемпеню, быстро направляется прямо к нему.

— Я пришла спросить вас, как вы смели!..

— Рохеле, прошу тебя, не говори мне «вы»! Говори «ты», — взмолился Стемпеню, схватив ее за руки и пристально заглядывая ей в глаза.

Рохеле увидела в его взоре блеск тех самых звезд, что глядели с темно-синего неба в эту пленительную летнюю ночь.

Мазеповские мужчины уже пропели молитву о наступающих буднях, воспели хвалу Илье-пророку и, охая и вздыхая о плохих временах, мечтали о счастливой доле того праведника, который сподобился видеть собственными глазами Илью-пророка и обменяться с ним рукопожатием... Мазеповские женщины сняли праздничные головные уборы, сбросили с себя праздничные одежды и драгоценности и принялись за будничную домашнюю работу. Одним словом, Мазеповка занята проводами «царицы-субботы». И никому во всей Мазеповке не при-

¹ В вечер последней субботы перед свадьбой девушки, по старинному обычаю, собирались у невесты потанцевать. Называлось это «Змирес» (песнопения), а в иных местах просто «субботние вечера». (Прим. автора.)

шло бы в голову, что в этот самый час благонравная Рохеле, невестка Двоси-Малки, беседует на Монастырской улице с музыкантом Степеню о предметах, ничего общего не имеющих с благочестием.

Только синее небо, светлые звезды, высокие монастырские тополи да ночные птицы, перекликающиеся в саду на своем наречии, — только они одни были свидетелями этого свидания. Никто, кроме них, и не догадывался, что в эту чудесную, полную чарами ночь под сенью монастырских деревьев, на христианской улице, бок о бок со Степеню Рохеле испытывала блаженство, заставившее ее забыть обо всем на свете. Здесь, на лоне благодатной природы, она чувствовала себя так хорошо, как никогда в жизни... Тревога, охватившая ее, когда она направлялась сюда, бесследно исчезла. Ей казалось, что у нее вырастают крылья и она вольной птицей может закружить в воздухе.

Степеню еще ближе придвинулся к Рохеле и положил ей руки на плечи. Она вздрогнула, хотела отстраниться, но не сделала этого. Только посмотрела на него, и на ее длинных ресницах блеснули две слезинки.

— О чем ты плачешь, Рохеле? — спросил Степеню, вытирая ее слезы.

— Ах, Степеню, мне так хорошо тут, возле вас... возле тебя, Степеню! Почему я... почему я не...

— Не моя, хочешь ты сказать? Ты моя, Рохеле, моя!

— Твоя, Степеню? Как это возможно?

— Ты моя, моя, потому что я твой, весь твой, навсегда, до последнего вздоха, до гробовой доски! Жизнь моя! Радость моя!

— Биньомин тоже так говорил, клялся, а на самом деле...

— Какой Биньомин? — изумился Степеню и посмотрел на Рохеле так, как глядят на милое дитя, лепечущее невесть какой вздор. — О каком Биньомине ты говоришь, душа моя?

— Биньомин, двоюродный брат моей подруги Хае-Этл. Был у нее, у сиротки Хае-Этл, двоюродный брат, которого звали Биньомин. Они стоворились повенчаться. Он обещал ей, клялся всем святым, а на самом деле... Боже, какой печальный конец! Умерла бедная Хае-Этл, царство ей небесное!.. Биньомин был ей дороже жизни, она изнывала от тоски по нем. Она сама мне об этом рассказывала. Как живая, стоит она пред моими

глазами, и часто чудится мне, будто она сидит у меня на подоконнике, слушает мои песенки, плачет и предостерегает меня: «О, не верь мужчинам! Им верить нельзя!»

Рохеле рассказывает о своей покойной подруге, сиротке Хае-Этл, а Стемпеню в это время целует ей руки, обнимает ее, заглядывает в глаза. Рохеле продолжает печальную повесть о Хае-Этл, угасшей, как свеча, от любви к своему милому, дорогому Биньомину...

Хае-Этл уже несколько лет в могиле, но Рохеле хорошо помнит ее. Покойная подруга часто приходит к ней во сне... И теперь ей вдруг почудилось, что Хае-Этл в белом саване глядит на нее поверх монастырской стены и, указывая на Стемпеню, качает головой, как бы говоря: «Ты что тут делаешь?»

— К чему, Рохеле, к чему, жизнь моя, говоришь ты об этом? Зачем к ночи вспоминать о таких вещах? Взгляни лучше на меня своими прекрасными светлыми глазами! Они сверкают, как два брильяна...

Не успел Стемпеню закончить последнее слово, как Рохеле вдруг вырвалась из его рук с такой стремительностью, что Стемпеню испугался.

— Бог с тобой, Рохеле, что случилось?

Он хотел снова взять ее за руку, но она не давалась. Дрожа всем телом, она шептала:

— Видишь, вон она! Вон стоит! Смотрит прямо на нас!..

— Кто стоит? Где стоит? О чем ты говоришь, Рохеле? Душа моя, приди ко мне, дай мне руку!..

— Ах, оставь меня, оставь меня, Стемпеню! Оставьте меня! Видите? Вон стоит что-то белое... Ой, это она, Хае-Этл! Хае-Этл!.. Оставьте меня! Пустите меня! Как вы смеете? Спокойной ночи... спокойной...

И Рохеле скрылась из виду в тени деревьев. Перед глазами Стемпеню промелькнули концы ее шали, будто два белых крыла. Так исчезает добрый ангел, так рассеивается сладостный сон...

Прибыв домой, Рохеле хотела признаться, рассказать во всеуслышание, где она была и с кем говорила. Но она застала всю семью за столом, на котором пыхтел большой самовар. Присутствовало также несколько гостей, и все были заняты серьезным деловым разговором. Так уж истари заведено у евреев: на исходе субботы соберутся у кого-нибудь и после отдыха в течение

целых суток заведут беседу о делах, о предстоящей ярмарке, о политике, о том, о сем.

— Я и не думаю обзаводиться своей палаткой на ярмарке, — говорил толстый торговец красным товаром. — Провались они сквозь землю, эти ярмарки! Знаю я их, — не впервые мне бывать на ярмарках. Ничего, кроме огорчений и досады, от них не дождешься.

— Отчего же, — возразила ему Двоя-Малка, скрестив руки на груди. — Не понимаю, право, реб Юдл, отчего вы так недовольны ярмарками. Кажись, в прошлую ярмарку вы, не сглазить бы, так бойко торговали, что дай боже всем нашим друзьям торговать не хуже. Весь день, кажется, зарабатывали денежки.

— У тебя все называется — зарабатывать денежки, — прервал Айзик-Нафтоля, не глядя на жену и продолжая щелкать на счетах.

— А я пожелал бы себе, — вмешался в разговор Мойше-Мендл, глядя в приходную книгу, — чтобы послезавтрашняя ярмарка была не менее удачной, чем прошлая. Не понимаю, к чему скрывать это.

— В том-то и дело, — отозвался Юдл, — что вы никак не хотите верить человеку. Увидите вы в чужой лавке десяток покупателей, которые только и шарят глазами, что бы такое сцапать, и вам уже кажется, что человек деньги зарабатывает, и вам уже завидно.

— Знаете что, реб Юдл, — произнес молодой человек, косивший на оба глаза, — к черту ярмарку! Завтра еще долгий день впереди, — поверьте, успеет она всем нам трижды осточертеть, эта ярмарка! Поговорим лучше о чем-нибудь другом.

И завязалась оживленная беседа о всякой всячине, о синагогальных делах, о мировых вопросах, ну и — разумеется — о войне. Шум, гам, клубы табачного дыма, смешанные с паром весело шумящего самовара. Печка на кухне жарко натоплена: там готовится борщ с гусиными потрохами для «проводов царицы-субботы»...

— Где ты была, Рохеле? — спросила Двоя-Малка невестку.

— Здесь недалеко. На Монастырской улице.

— Ну, как там на улице? Погода хорошая? Дай боже, чтобы она продержалась до окончания ярмарок. Отчего ты побледнела, Рохеле? Голова разболелась, что ли? Пошла бы к себе в комнату, прилегла бы.

Все обернулись, посмотрели на бледное лицо Рохеле и в один голос решили, что она угорела от самовара.

Рохеле ушла к себе в комнату, легла в постель. В столовой между тем нашлась новая тема для беседы — заговорили об угаре. Такой пустяк, такая, с позволения сказать, чепуха, как дым, — и поди ж ты! Сколько раз, случалось, людей насмерть душил этот дым. Один из гостей рассказал, что в доме его покойного дедушки раз как-то целое семейство чуть не отправилось на тот свет от угара. Другой поведал еще более потрясающую историю о том, как семья его дяди чуть не отравилась какой-то рыбой, которая называется «маринкой», — насилу спасли. Третий разводил узоры насчет домовых, колдунов, чертей и прочей нечисти. Рассказывали, рассказывали, пока не набрали на тему о смерти.

— О чем ни говори, — воскликнул один из гостей, — а разговора о смерти не миновать.

Мойше-Мендл в это время напевал «Илью-пророка»:

— «Илья-пророк...» надо бы посмотреть... «Илья из Тишби...», что подельывает... «Илья из Гилода...» моя благоверная...

Он поднялся из-за стола и пошел к Рохеле.

XXIV

Рохеле возвращается на путь истинный

— Помогите! — внезапно послышался крик.

Все бросились в комнату Рохеле. Она лежала, вытянувшись на кровати, запрокинув голову... Возле нее, ни жив ни мертв от испуга, стоял Мойше-Мендл.

— Что случилось? В чем дело? Обморок? Воды! Скорей воды!

— Воды! Воды! — кричали все в один голос, но никто не трогался с места.

— Ой, порази меня гром небесный! — всплеснула руками Двося-Малка. Она быстро принесла кружку воды, набрала полный рот и прыснула в мертвенно-бледное лицо Рохеле.

— Пошлите за доктором! — не своим голосом кричал Мойше-Мендл.

— Доктора! Доктора! — глядя друг на друга, вторили ему гости.

— Свяжите ей руки платком и зажмите нос!

— Нос! Нос! — хором кричали все, продолжая стоять как пришитые к месту.

— Так, так, Двося-Малка, сильнее! — подстегивали гости хозяйку, которая трудилась изо всех сил: натирала невестке виски, зажимала нос, насильно раскрывала ей глаза, брызгала на нее водой. Наконец удалось привести Рохеле в чувство.

Она села и огляделась по сторонам, точно очнувшись от сна.

— Где я? Мне душно, душно!

— Расходитесь, пожалуйста! — скомандовала Двося-Малка, выпроваживая публику в столовую, а сама с сыном осталась возле Рохеле, не спускавшей глаз с мужа.

— Что с тобой случилось, доченька? — спросила свекровь.

— Что с тобой, Рохеле? — спросил Мойше-Мендл, наклонясь к жене.

— Пусть мама уйдет, — шепнула ему Рохеле.

— Мама, прошу тебя, выйди, пожалуйста, — сказал Мойше-Мендл.

Выпроводив мать, он снова подошел к постели жены.

— Скажи мне, что с тобой? — впервые с глубокой нежностью обратился к ней Мойше-Мендл.

— Ой, Мойше-Мендл! Поклянись, что никому не расскажешь. Поклянись, что все останется между нами. Обещай, что простишь меня за то, что я против тебя... Если бы не Хае-Этл, царство ей небесное, если бы Хае-Этл мне не напомнила... Ах, Мойше-Мендл, дорогой мой!

— Подумай, Рохеле, что ты говоришь. Бредишь ты, что ли? Что за Хае-Этл? Ее уже давно на свете нет.

— Она много раз приходила ко мне во сне... Но сегодня... только что... Ах, Мойше-Мендл, наклонись ко мне поближе... еще ближе... вот так... Я боюсь... я каюсь... каюсь...

Рохеле тянулась все ближе к мужу, пока не очутилась в его объятиях. В комнате было темно. Только узкая полоса света пробивалась сквозь дверную щель из столовой. Рохеле и Мойше-Мендл едва могли видеть друг друга. Их глаза встретились, в них вспыхнул огонек, — так глядят друг на друга только счастливые влюбленные в час первого свиданья, когда не язык говорит, а сердце, когда взгляды заменяют слова.

— Скажи мне, Мойше-Мендл, мой милый, я и вправду тебе дорога?

— Что за вопрос! — вырвалось у Мойше-Мендла. — Ты заполнила все мое сердце, как... Я и сам не знаю как...

По-другому Мойше-Мендл не смог выразить своей любви к Рохеле. Но можно ему поверить, что он говорил от чистого сердца, что он переживал это чувство так же глубоко, — а может быть, и гораздо глубже, чем иной человек, обладающий большим даром расписывать словами все, что творится в его душе.

Но оставим счастливую чету в их неосвященной комнате, где за год совместной жизни им впервые представился случай поговорить друг с другом по душам, пусть спят, как два голубка. То, что в течение целого года было скрыто глубоко в сердце каждого, теперь всплыло наружу.

Рохеле стало легче, и вот Мойше-Мендл, сидя рядом с ней, уже снова тихо напевает молитву:

— «Илья-пророк, Илья из Тишби, Илья из Гилода...»

Рохеле перебила его:

— У меня к тебе просьба, Мойше-Мендл. Скажи, исполнишь ты ее или нет?

— А именно? Что за просьба? Скажи, Рохеле, я все готов для тебя сделать. Хоть луну с неба добыть...

— Довольно нам, Мойше-Мендл, сидеть на родительских хлебах. Ты ведь не синагогальный бездельник. Маленький капиталец у нас, слава богу, есть. Давай переедем в большой город — в Егупец. Там, среди моих родных и друзей да вместе с тобой, я буду чувствовать себя счастливой. Пора нам зажить самостоятельно. Хватит сидеть на всем готовом, до того опротивело, что — поверишь! — жизнь мне стала немила... Мы ведь тут среди твоих, как чужие, как совершенно чужие.

Мойше-Мендл на минуту задумался и с удивлением посмотрел на Рохеле. Потом опять начал раскачиваться, все так же напевая «Илью-пророка».

— Ох, это прекрасно... «Илья-пророк...» С моей стороны... Отчего же нет?.. «Илья из Гилода...» Хоть на этой же неделе.

— Все ты готов для меня сделать Мойше-Мендл, все! — с любовью сказала Рохеле. — Не правда ли? Мы будем жить одни, своей семьей. Я буду хозяйничать и ухаживать за тобой, беречь тебя, как зеницу ока... Ой, Мойше-Мендл! Ты такой рассеянный, доброго слова от

тебя никогда не услышишь. Но сегодня ты другой, совсем другой.

— «Илья-пророк», — продолжал напевать полупшепотом Мойше-Мендл, — «Илья из Тишби... Илья из Гилода...»

В это самое время в столовой между хозяевами и гостями шел разговор совсем иного рода.

Всякий строил свои догадки о причинах внезапного обморока невестки реб Айзик-Нафтоли. Один полагал, что это от дурного глаза; другой, наоборот, уверял, что от сквозняка. Наконец третий, уже пожилой человек, у которого было несколько женатых сыновей, высказал свою догадку:

— Послушайте, что я вам скажу. У меня самого три невестки. Я уже достаточно опытен в таких делах. Уверю вас, — это предвестник. Готовьтесь, реб Айзик-Нафтоля, стать дедушкой... Двоя-Малка, от души поздравляю вас! Ваша невестка... Ну, ну, что же тут такого? Чего тут стесняться, Двоя-Малка? Дело житейское.

Двоя-Малка тает от блаженства: она уже давно ждет не дождется этой радости.

— Вот еще! Ах, оставьте! — говорит она, притворно сердясь. — Подите вы с вашими шуточками. Загляну-ка я на кухню, посмотрю, что с борщом. Что-то он сегодня слишком долго варится, никогда он у меня столько не варился.

XXV

Год спустя

«Пресная история!» — скажет, пожалуй, разочарованный читатель, воспитанный на «увлекательных» романах, в которых герои вешаются, стреляются, бросаются в пучину или принимают яд, где меламед становится графом, служанка — принцессой, а певчий у кантора — неведомым зверем. Но как же нам быть, если нет у нас ни графов, ни принцесс? Есть только простые люди, обыкновенные еврейские женщины и свадебные музыканты... Но к чему оправдываться? Теперь читатель может говорить, что ему угодно; раз нам удалось довести его до этого места, то он уж и дальше проследует за нами — ведь интересно же ему знать, что случилось с Рохеле, со Степению.

Пропускаем целый год (что значит год в жизни человека?) и заходим в дом к Айзик-Нафтоле в субботу вечером. Мы застаем здесь тех же людей, что и в прошлом году, слышим те же речи, что и в прошлом году, — ничего не изменилось. Разговор идет о ярмарке, о барышах, о детях и, наконец, касается Мойше-Мендла и Рохеле, живущих теперь в Егупце.

— Покажи-ка, Двоя-Малка, письмецо, которое дети прислали нам из Егупца, — обращается Айзик-Нафтоля к жене. — А ну-ка, реб Юдл, почитайте.

— Пусть он прочитает. — Юдл указывает рукой на косоглазого молодого человека.

Косоглазый берет письмо и читает без запинки:

«Мир и вечное благоволение возлюбленному отцу моему, мудрому, ученому, высокопросвещенному, выдающемуся мужу, высокоуважаемому господину Айзик-Нафтоле, сыну Мойше-Иосифа, да будет благословенна память его!

И благочестивой, непорочной матери моей прославленной, как Эсфирь и Авигаил, высокопросвещенной госпоже Двоя-Малке, дочери Мойше-Мендла, да будет благословенна память его!

И всем чадам и домочадцам — мир и благословение!

Как сияет солнце в лазурном небе, прорезая тьму облаков, как сверкают лучи его с высоты небес, с голубой лазури, разгоняя сумрак ночи...»

— Нет, не то, не то! — кричат гости. — Это же все только для красоты, пустословие одно, дребедень, ребячья забава! Читайте дальше, на обороте!

Косоглазый переворачивает листок и читает дальше:

«...А насчет того, что ты просишь меня, дорогой отец, написать о том, чем торгуют и на чем хорошо зарабатывают у нас в Егупце, то сообщаю тебе...»

— Во-ао! С этого бы и начали, — с удовлетворением замечают гости. — Читайте, читайте дальше!

«...Сообщаю тебе, что больше всего здесь идет красный товар, а также галантерея, но галантерея не так хорошо, как красный товар. Бакалея тоже неплохо идет, не хуже, чем у вас в Мазеповке. Шерстяные товары здесь в большой цене, прямо на вес золота. Сахар, мука и отруби — тоже прибыльный товар, они идут за гра-

ницу, и на них люди наживают целые состояния. Одним словом, Егупец — благословенный край. Самый город очень велик, — стоит поглядеть на него. Это вообще совсем другой мир. Здесь, в Егупце, вы можете встретить еврея, с виду совершенно на еврея непохожего. Бумага здесь тоже товар. В Егупце всё товар. И люди околачиваются тут на бирже, покупают и продают всевозможные акции, и маклеры на этом великолепно зарабатывают.

Также моя жена, госпожа Рохеле, кланяется вам всем от всей души. Она сама вам напишет. Да сподобит нас всевышний услышать от вас такие же добрые вести, амины!

Еще сообщаю вам, что магазин, который я снял, находится в самом центре Александровской улицы, и торгуем мы, с божьей помощью, совсем неплохо. Моя благоверная, госпожа Рохеле, — продли, господи, ее годы! — уже немного освоилась с торговлей, умеет разговаривать с покупателями. Но закупать товары на ярмарке я езжу один, без нее. Я пользуюсь кредитом у московских и лодзинских купцов. С Москвой очень хорошо иметь дела: Москва продает на совесть и любит покупателя-еврея. Даже если какой-нибудь купец обанкротится, Москва поддержит его и не даст человеку пасть.

Квартиры здесь очень дороги. За две комнаты с кухней я плачу сто семьдесят пять рублей в год, помимо воды и отопления. Здесь вообще все дорого, все на вес золота. В городе очень много людей занимается посредничеством и делает хорошие дела. Егупец — такой город, где можно прилично зарабатывать на жизнь.

Пошли вам господи здоровья и сил и дай боже слышать от вас такие же утешительные вести, какие желаю вам.

От меня, вашего сына, который желает вам мира и счастья в вашей жизни.

Мойше-Мендл,

сын высокоуважаемого Айзик-Нафтоли из Мазеповки.

Кланяюсь моему дорогому дяде и моей дорогой тете со всеми их чадами и домочадцами.

Кланяюсь почтенному богачу реб Юдлу со всеми его чадами и домочадцами.

Кланяюсь почтенному богачу реб Симхе-Гершу со всеми его чадами и домочадцами.

Кланяюсь почтенному богачу реб Дойв-Беру со всеми его чадами и домочадцами.

Кланяюсь госпоже Стысе-Бейле со всеми ее чадами и домочадцами.

Также мой сын Иосиф — да не померкнет светоч его! — кланяется вам сердечно

Вышеупомянутый».

«Также и я кланяюсь моему многоуважаемому свекру и моей милой свекрови, желаю им счастья! Сообщаю вам о своем добром здоровье, дай бог и впредь не хуже.

Также мой Иоселе кланяется вам и благодарит многократно, дорогая свекровь, за присланную рубашонку. За это он обещает вам, если господь продлит его годы и он, с божьей помощью, через три-четыре года начнет ходить в хедер, — хорошо учиться и стать, с божьей помощью, благочестивым евреем, долгую жизнь пошли ему господи, аминь!

Дорогая свекровь! Если вы можете связать для Иоселе ермолочку и пару чулочков из шерсти, я была бы вам очень благодарна, так как я сама очень занята в деле мужа, а нанимать кормилицу для Иоселе я не хочу, — не стоит. Я только наняла девушку и плачу ей четыре целковых с моей одежей: она смотрит за ребенком и выгоняет корову в поле. Поглядели бы вы, какую я купила корову! Четыре кварты молока дает, — очень хорошее молоко! — и я имею, благодарение господу, творог и масло. Но дорогой Мойше-Мендл вдруг невзлюбил молочного. Отчитайте его за это, прошу вас. Он совершенно не бережет себя. Иоселе надрывается, хочется ему, бедненькому, покушать, — мне, господи, воздай за все его прегрешения в будущем! Кончаю свое письмо. Кланяюсь сердечно всем друзьям и близким и прошу вас, ради бога, ответить нам и остаюсь

ваша преданнейшая и с пожеланием счастья
невестка *Рохл».*

— Ну? — отозвался Берл-толстяк, когда чтение кончилось. — Дай боже, чтоб моим детям жилось не хуже!

— Вы грешите, Двоя-Малка! — сказал Юдл. — Право, грешите...

— Разумеется, слава его святому имени! Моим детям, не сглазить бы, хорошо живется. Но я тоскую по ней. Не могу забыть ее, реб Юдл, не могу!

И Двося-Малка начинает перечислять Юдлу все достоинства своей невестки, все ее манеры, стараясь объяснить ему, почему она не может забыть Рохеле.

Снова разгорается оживленная беседа, теперь уже о Егупце и егупецких делах. Затем, наполнив рюмочки, чокаются, подолгу держа в руке рюмку с водкой и желая друг другу всех благ, а всему народу — добрых вестей, вызволения от бед и утешения в горе. Наконец на столе появляется борщ, наполняя комнату вкусным запахом. Настроение поднимается. В общем оживлении вскоре забывается и Мойше-Мендл, и Рохеле, и город Егупец, и все прочее.

XXVI

Муки ада

Один только человек ни на минуту не может забыть красавицу Рохеле.

Читатель, конечно, догадывается, что речь идет о Степнею.

Да, именно о нем идет речь. Кто в силах передать его страдания? Кто поймет его сердечную боль и обиду?

«Как обидно! — думает Степнею. — Какая досада! Уехала и даже не вспомнила обо мне, не дала знать. Хотя бы для виду черкнула два слова: знай, дескать, что я уезжаю. Фи, какой позор!»

Ничего подобного Степнею еще никогда не испытывал. Хоть ему случалось уж бывать в разных переделках и не раз его похождения оканчивались для него весьма постыдно, нередко даже скандально, но такого позорного провала, такого удара, какой выпал на его долю теперь, он никак не ожидал. Степнею, который был в таком почете при дворе самого цадика, так что дочери этого святого мужа иногда позволяли себе перекинуться с ним шуткой, Степнею, приводивший в восторг панов и даже графиню Бжежевскую, которая не раз посылала за ним карету и вела с ним разговор на французском языке, — этот самый Степнею был так глупо посрамлен простой еврейской женщиной!

— Сердце тоскует по ней! — признавался Степнею музыкантам. — Не могу унять тоску по этой женщине. Я охотно поехал бы за нею в Егупец, если бы... если бы не...

Степеню оглядывается по сторонам, и компания легко догадывается, *кого* именно он ищет глазами.

Музыканты от всей души любили Степеню и готовы были пойти за него в огонь и в воду. Но в той же мере, в какой они любили Степеню, они ненавидели Фрейдл. Их отталкивала ее скупость, жадность, ее отвратительный нрав.

— Покуда он был холостяком, — говорили меж собой музыканты, — рубль ему был нипочем. Разжиться у него несколькими целковыми ничего не стоило: иной раз займешь у него трояк или пятерку на вечные времена, а в другой раз он и сам подарит. А с тех пор как эта ведьма, чтоб ей провалиться, забрала его в свои лапы, он сам сохнет по копейке, гроша ломаного за душой не имеет. Миновали добрые старые времена, кончились ужины у Степеню, прошла пора веселых разъездов. Теперь хоть пухни с голоду, хоть ноги протяни — не от кого ждать помощи. Сидишь день-деньской без куска хлеба, только и ждешь свадебного сезона. Хоть бы для приличия попотчевала когда-нибудь нашего брата стаканом чаю, предложила бы чего-нибудь поесть, — съели бы ее черви, проклятую!

— Поверите ли, часто бывает — так хочется лопать, что черти в животе пляшут; но если бы она мне положила золото на стол, я бы и то не притронулся, у такой злюки я бы и куска хлеба не взял.

— И как он только живет с ней, с такой ящерицей, с эдакой стервой! Я бы давно такую либо повесил, либо отравил. Будь я не я, если бы не отправил ее на тот свет, ко всем чертям...

— Ах, Степеню, Степеню! Попал же ты, бедняга, в переделку, трепыхаешься в пекле...

Так говорили между собой музыканты, которые знали, как ему тяжело живется, и сочувствовали его невзгодам, хотя он сам и словом о них не обмолвился.

Когда Фрейдл уходит на рынок либо занимается своими должниками и покупателями, еще куда ни шло: Степеню угощает тогда всю компанию папиросами. Истребляя без зазрения совести хозяйский табачок, музыканты сидят развалясь, балагурят, вспоминают былые проказы. Но вот показывается Фрейдл, и всем становится не по себе. Музыканты один за другим выскальзывают из комнаты.

— Гляньте-ка, гляньте, как тут накурено! Точно в кабаке! — говорит Фрейдл, шмыгая носом и с сокрушением глядя на пачку табаку, значительно потерявшую в объеме. — Курят, дымят, пыхтят! У меня уже голова болит от дыма! В могилу вы меня сведете вашим курением! Думаешь, Степеню, тебе полезно так много курить? Поверь, ты губишь свое здоровье. Послушайся меня, Степеню, брось курить, душа моя!

— К чему, Фрейдл, эти пустые разговоры о моем здоровье? Признайся попросту, что тебе жаль пятиалтынного на восьмушку табаку. К чему комедию ломать!

— Вот те и раз! Комедию ломать! Я только и думаю что о нем, а он — комедию ломать! Вот уж точно, не хватало мне неприятностей на сегодняшний день! Все утро драла глотку, грызлась и не заработала ни гроша. Мало того, меня еще обругали, как последнюю служанку, хуже, чем кухарку, очернили, с грязью смешали. А товар лежит и гниет.

— Хотел бы я знать, Фрейдл, зачем ты так хлопочешь? К чему твоя скаредность? Дети у тебя кушать просят, что ли?

— Взгляните, пожалуйста, на этого невинного теленка! Ему готовенькое в рот положи да еще помоги разжевать. Что же, должно быть, я все добро отношу моей мамаше? Не так ли, Степеню? А может быть, я все это проедаю? Ведь твоя жена — известная мотовка? Господи спаси и помилуй! Это ты хотел сказать, Степеню? А ну-ка, посмотри мне прямо в глаза, Степеню: это ты хотел сказать?

— Разве я говорю, что ты проедаешь? Я говорю как раз обратное: я говорю...

— Ты говоришь... Знаю я, что ты говоришь! Ты еще недоволен, Степеню, не так ли? Бог послал тебе такую мотовку-жену, которая умеет из гроша сделать два, которая и денно и ночью только и думает что о тебе. Скажи сам, чего тебе недостает! Молчишь? Хотела бы я только знать, что случилось бы с тобой и с твоей скрипкой, Степеню, не будь у тебя такой жены, как я!

— У, страсти какие! Подумаешь!

— Вот именно что «подумаешь»! Забыл уж ты, видать, каков ты был до свадьбы? Ни рубахи на теле, ни целой пары носков, ни подушки, ни наволочки, ничегошеньки не было! А загребал груды золота! Куда ты все свои денежки девал?

— Так я и стану сейчас отдавать тебе отчет в моей холостяцкой жизни!

— Вот в том-то и беда, Стемпеню, что ты не терпишь, когда тебе говорят правду. Ты только и знаешь, что попрекать жену, которая ради тебя работает до седьмого пота, готова лбом стену прошибить, отказывает себе в куске хлеба, жизнь себе, можно сказать, отравляет! И ради кого, спрашивается? Все ради него! И подумать только, какая ждет меня за это награда! Ну, конечно, золотой памятник поставит он над моей могилой, доля моя злосчастливая!

— Что я тебе сделал? Кто тебя трогает?

— Что ты мне сделал? О, ты достаточно сделал. Жизнь ты мне загубил. Встретил молодую девушку, невинное дитя, вскружил ей голову своим язычком, посулил золотые горы и обманул, кругом обманул! Мне было бы лучше, если бы я тебя никогда не знала. Я нашла бы себе ровню. Ну, и не была бы женой Стемпеню. Подумаешь, эко счастье.

— Может быть, ты раскаиваешься, Фрейдл? Так за чем же дело стало? В Мазеповке есть раввин, речка тоже есть, — можно развестись*.

— А-а! Вот чего захотел! Наконец-то проговорился! Думаешь, я не знаю, что ты только этого и ждешь? Хочешь избавиться от меня! Знаю, Стемпеню, все знаю! Меня не проведешь! Я тебе глаза мозолю, Стемпеню. Но чем, скажи, чем я это заслужила? Ну, сам скажи, по чистой совести, чем я заслужила? Мне бы тоже не мешало знать...

— Да ну тебя! — машет рукой Стемпеню, уходит к себе в комнату и достает со стены скрипку.

Скрипка — единственный друг Стемпеню, единственное его утешение. С ней он забывает сердечную боль, с ней он вспоминает свою молодость, свою навсегда потерянную свободу! Много дорогих лиц оживает в его памяти при звуках скрипки. Много прекрасных, светлых, радостных образов возникают перед ним, едва он начинает играть. Возникают и тут же скрываются.

Среди бесчисленных картин прошлого больше всего волнует его один незабываемый образ — это образ Рохеле с ее светлым лицом, синими глазами и длинными ресницами, с ее белоснежной шеей. А улыбка ее, добрая и ласковая, — он готов отдать за нее все на свете.

Поет-заливается скрипка. Долго играет Стемпеню, боясь, как бы не скрылась Рохеле. Ему любо видеть

хотя бы ее тень. Даже самая мысль о ней бесконечно ему дорога.

Никогда еще Стемпеню не играл так вдохновенно, как в то время. Его искусство достигло недостижимой высоты. Кто в те дни не слышал игры Стемпеню, тот не слышал подлинной музыки.

Так восторгаемся мы порой пением птицы в клетке. Ей грезятся зеленые листочки, распускающиеся цветы, вольный воздух, широкий простор полей, и хочется ей петь, излить в песне свою печаль. И поет птица, рассыпается трелью, тоскует, а мы в это время любим ее, восторгаемся, получаем удовольствие.

— Не могу побороть свою тоску по ней, — в сотый раз говорит Стемпеню. — Я тоскую по ней, как по самому родному человеку. Я бы поехал вслед за ней в Египец, если бы не...

Стемпеню озирается по сторонам и видит Фрейдл, — она страстно уговаривает какую-то покупательницу купить у нее ожерелье, шелковые платки, шерстяные нитки. Фрейдл мало-помалу завела у себя в доме целый магазин и стала заправской торговкой, под стать заматерелым мазеповским лавочницам.

Частенько к Фрейдл приезжает в гости ее мать, толстая Ципойра. Она сообщает, что Шайка-скрипач очень соскучился по дочери и послал ее, Ципойру, проведать, как поживает Фрейдл. Но дочь прекрасно знает, что это — ложь, что ее мамаша просто-напросто изголодалась у себя дома и приехала к ней «разговориться», пожить в свое удовольствие.

— Знаешь, дочка, испекла бы ты такие сдобные булки, какие я, бывало, пекла: плетеные, поджаристые. Со стаканчиком цикория это очень полезно, а если можно себе позволить намазать побольше масла, еще лучше. А к завтраку вели подать гусиные шкварки с луком. Твой папаша, если помнишь, очень любит это блюдо. Здоровье, дочка, не в пилюле, а в кастрюле..

Ципойра даже облизывается и каждый день придумывает новые блюда к завтраку, к обеду, к ужину. Нельзя сказать, чтобы Фрейдл была в восторге от заказов матери... Первые несколько дней она скрепя сердце кое-как идет навстречу ее неутолимому аппетиту. Но проходит неделя, и Фрейдл начинает дуться на мать, а



та — на дочку. Слыша их взаимную перебранку, Стемпеню старается восстановить мир между женой и тещей, — и в конце концов ему же достается от обеих.

— Не твое дело! — обрывает его Фрейдл. — Не тревожься — твоего достояния я маме не отдам, можешь быть совершенно спокоен, Стемпеню.

— Ну и зятек! — в свою очередь, язвительно шипит теща. — Отрастил бык длинный язык, а трубить не может. У порядочных людей теща пользуется таким же уважением, как мать, а ему что! Прекрасно, кажись, видит, как честит меня моя доченька, — так честит, что не знаешь, куда деваться от стыда, а он хоть бы языком пошевелил. Тоже, с позволения сказать, муженек! Только и знает, что пиликает на скрипке. Не понимаю, как ему не надоест, боже праведный! И с чего это моя дочка так нос задирает, не могу понять. У кого дело спорится, у того и бык доится. Видали мы таких! Твой тесть, Стемпеню, был скрипачом хоть куда, тебе не уступил бы. Но что поделаешь? Новая метла, как говорится, чисто метет. Всюду нужна удача, как говорит пословица: «Захочет бог, так и веник выстрелит». Ты

не должен обижаться на меня, Стемпеню, что я говорю тебе в глаза правду. И хоть каждый пес, как говорят, у своего порога хозяин, но я все же тебе не чужая, как никак тещей тебе прихожусь. «Играешь с кошкой, дружок, полюби и ее коготок».

Ципойра, как из мешка, сыплет поговорками да прибаутками. Когда она разойдется, ее не остановишь. Но Стемпеню не дослушивает до конца. Он берется за скрипку, как всегда, когда у него на душе кошки скребут. Со скрипкой в руках он забывает и жену, и тещу, и все беды и напасти. Он снова видит перед собой синеглазую Рохеле.

— Сердце тоскует по ней, так тоскует! — шепчет про себя Стемпеню. Он перебирает в уме тысячу возможностей бежать к ней, увидеть ее хоть один еще раз... Тщетные мечты! Он не понимает, что песенка его почти уже спета, что лучшая часть жизни уже позади; не замечает Стемпеню, как мало-помалу редет его прекрасная черная шевелюра, как гаснет огонь в его глазах и как морщины бороздят его белый лоб.

Глупый богатырь! Не обольщайся! Погляди: бок о бок с тобой сидит твоя Далила, твоя жена Фрейдл. Эта Далила убаюкала тебя, усыпила на своих коленях, втихомолку срезала твои длинные локоны и лишила тебя силы, всей твоей богатырской силы, как библейская Далила — своего Самсона-богатыря... Одна утеха осталась у тебя — скрипка.

Играй же, Стемпеню, играй на своей скрипке! Сыграй, а мы послушаем...

ИОСЕЛЕ-СОЛОВЕЙ

Р о м а н

*Лучшему другу и вернейшему товарищу О. М. *
в знак глубочайшей преданности посвящает*

Автор

Дорогой, любимый друг!

Мой второй еврейский роман «Иоселе-соловей» я преподношу тебе сегодня, в день твоего рождения. Надеюсь, что этот подарок будет тебе по душе. И не потому, что я считаю его каким-то особо замечательным. Я прекрасно сознаю, что еще не смог до конца выполнить преподанное мне дедушкою *реб Менделе* правило: «Произведение надо шлифовать и шлифовать!» Не смог по двум причинам: во-первых, время не разрешает. Ведь я всего лишь грешный человек, да к тому ж только *наполовину* писатель, вернее — полукупец, полуписатель, как это водится у евреев; приходится проявлять заботу и об этой нашей, земной, жизни, не только о потусторонней... Во-вторых, говоря между нами, я ведь как-никак молодой человек, а у молодых людей вечно не хватает времени; это какие-то торопыги, все делают на ходу, на лету, боятся, упаси боже, куда-либо опоздать. На что же я все-таки надеюсь? Ведь ты хорошо знаешь, как много положил я сил, как трудился над моим Иоселе, пока господь сподобил меня, и я увидел, что он обрел образ живого человека.

Прими же, любимый друг, этот подарок таким, каков он есть, и пусть он говорит тебе о том, как тебя любит и ценит

твой лучший, по-настоящему преданный друг,

Автор.

Киев, 26 декабря 1889 г.

Иоселе до смерти хочется петь

Таких расточителей, как прихожане Холодной синагоги в Мазеповке, свет еще не видал. «Всякий пожелал бы себе иметь в кармане столько, — говорят о них в городке, — во сколько им обходится содержание канторов». А идет это вот откуда: как известно всему миру, мазеповцы испокон веков большие знатоки пения, но таких любителей, как прихожане Холодной синагоги, днем с огнем не сыщешь. Коль зайвится в Мазеповку знаменитый Пици, где он поет? В Холодной синагоге. Где можно послушать Иерухима, Ниси или Мици? В Холодной синагоге. Уж так оно повелось с давних пор, и все тут. Никто этому не удивляется. Ох, и тяжело приходится им, пока они не найдут себе настоящего кантора, чтобы перед людьми не осрамиться и самим удовольствием получить! Немало там друг другу крови попортят, пока кантор понравится каждому, придется всем по вкусу. Но если уж он приноровится, то останется у них навсегда, навечно, тогда лучшего места для него во всем мире нет. Вот какие чудачки эти прихожане Холодной синагоги, и вот каков их кантор — Шмулик Ямпольский. У этого Шмулика был не голос, а львиный рык, и вместе с тем своим фальцетом он замечательно брал верхи. «От его «С престола твоего...» умереть можно!» — говорили люди. Этот мотив он позаимствовал у кантора из Крутьи. У Шмулика и голос был хорош, и текст он подавал отлично. Можно было заслушаться, когда он читал молитвы.

— Если б наш Шмулик, — говорили прихожане Холодной синагоги, — если б, к примеру, наш Шмулик

знал ноты, он переплюнул бы и Пици, и Мици, и Иерухима, и всех нынешних мировых канторов. Наш Шмулик, стоит ему лишь захотеть, может еще и сегодня затмить одним только своим исполнением молитвы «Кесер» или «Волехл» * всех нынешних новоиспеченных ловкачей со всеми их хорами.

В дни покаяния * Шмулик молился с певчими. Ему помогал своим дискантом сынишка Йоселе, некий бас и еще какой-то крикун. Вот он и весь хор! Остальное выделявал Шмулик своим благословенным горлом. Мотивы, которыми блистал в эти дни кантор, горожане повторяли потом целый год. Это не значит, конечно, что собирались где-то в одном месте и пели; для этого и времени свободного нет, и на душе не так уж весело, чтобы вдруг ни с того ни с сего усесться петь. Но каждый в отдельности, у своего стола или идя по улице, тихонько напевал под нос мелодии Шмулика.

О нотах, как выше было сказано, Шмулик понятия не имел. Слышать-то он слышал, что есть канторы, которые поют по нотам, но видеть такое ему довелось лишь один раз в жизни. Случилось это, когда Пици со своими восемнадцатью певчими проехал через Мазеповку. За свою жизнь Шмулик слышал немало канторов, но все они пели по старинке — либо по затверженному, «как все», либо «из головы», как бог на душу положит. Возьмем, к примеру, такого большого кантора, как Паричский; Шмулик слышал, как он исполнял у ребе вторую половину субботней службы, и, представьте, безо всяких нот, а запомнилось это на всю жизнь. Лишь когда Пици прибыл со своими восемнадцатью певчими в Мазеповку, Шмулик впервые услышал, как поют по нотам. Он был до того восхищен, что поначалу с места не мог сдвинуться. «Вот что значит петь по нотам! — повторял он без конца. — Вот так ноты!»

Всю субботу Шмулик ходил как шальной, места себе не находил. «Вот так ноты!» — твердил он. А дождавшись вечера и благословив исход субботы, заявил жене своей Зелде, что ему неважно больше, что он должен сходить к Шабсаю на заезжий двор, повидаться с этим Пици и потолковать с ним с глазу на глаз. Подпоясавшись и взяв с собой Йоселе, Шмулик отправился на постоянный двор. Разговорившись с Пици о канторском искусстве, Шмулик попросил его исполнить что-нибудь по нотам и хорошенько растолковать, в чем тут

дело. Сначала Пици посмеялся над ним, позабавился немного, но простодушие Шмулика тронуло его. А затем, услышав его голос, Пици и вовсе расчувствовался, в нем заговорил кантор-профессионал; вместе со своими восемнадцатью певчими он исполнил для Шмулика несколько отрывков из молитвенника с нотами Зульцера. Шмулик был потрясен, в глазах его стояли слезы.

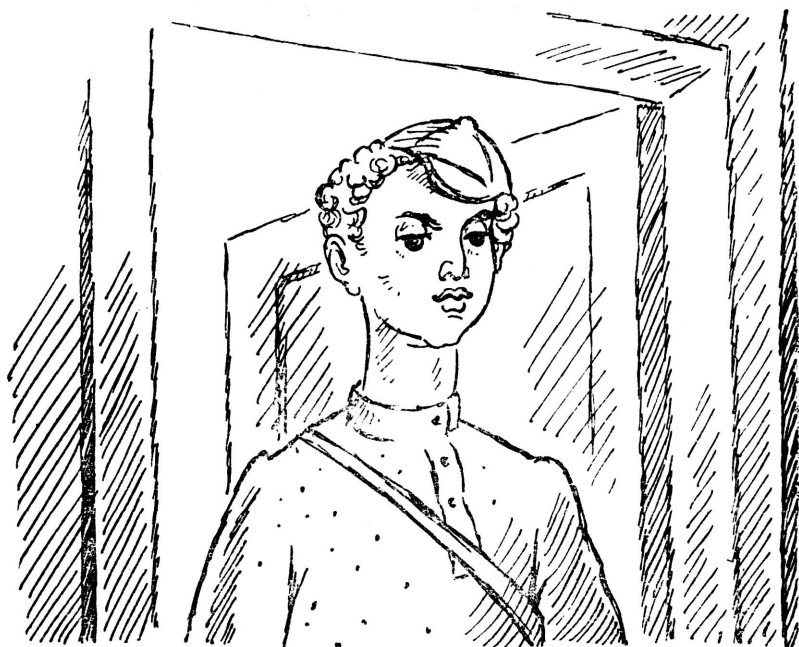
— Что и говорить! Только теперь, реб Пици, я вижу, какой я калека! Да я черт знает что! — наивно воскликнул Шмулик. Затем он указал на Иоселе: — Видите этого мальчика? Это мой сынишка. Послушали бы вы его!

Пици проверил Иоселе, и голос ему очень понравился. Шмулик из собственных уст знаменитого кантора услышал такой отзыв: «Ребенок этот — совершенство. У него замечательное сопрано. А со временем, если он будет работать над голосом, из мальчика может выйти толк». Слова эти крепко засели в голове у Шмулика, и с той поры он, не переставая, раздумывал: «Что же делать с Иоселе? Ладно, я уж пропащий. Что и говорить! Помру калекой! Но Иоселе?.. Пусть только подрастет, пусть только ему исполнится тринадцать лет, и я сразу отдам его к какому-нибудь большому кантору — к Пици или к Мици, а то и вовсе к Иерухиму». С тех пор ему рисовалось, что его Иоселе со временем станет знаменитым кантором, вроде Пици, а может, и таким, как Ниси. Это будет мировое имя! А почему бы и нет? Что ж тут такого? Разве мы не видали, как из мальчишки-сопляка вырастает человек? Да еще какой человек.

— Иоселе! — спрашивал Шмулик у сына, когда тот, раскрасневшийся, со съехавшей на ухо шапчонкой, прибегал из хедера. — Хочешь быть знаменитым кантором, проказник эдакий?

Иоселе на мгновенье замирал, а глаза у него сразу загорались. Что за вопрос? Хочет ли он быть знаменитым кантором? Мечтает об этом с малых лет! Ничего лучшего, ничего более замечательного он себе и представить не может. А с того времени, как он услышал Пици, эта страсть еще больше овладела им. Пение Пици и его капеллы перевернуло в душе Иоселе все вверх дном, как и в душе его отца.

В то время как Шмулик беседовал с Пици, Иоселе подсел поближе к маленьким хористам и узнал от них много любопытного. Они, оказывается, разъезжают



по всему свету, и повсюду, куда бы они ни явились, их встречают очень торжественно, так что дым коромыслом стоит, носят их на руках, угощают самым лучшим, самым вкусным. В общем, жизнь такая, что дай бог каждому. Иоселе разглядывал хористов, их красивые черные сюртучки, их круглые бархатные шапочки и по-настоящему завидовал им; и не столько их сюртучки и шапочки привлекали его, сколько пение у амвона рядом с Пици. Иоселе считал бы себя счастливейшим человеком, если бы мог петь у Пици. «Скорей бы уж исполнилось тринадцать лет!» — вздыхал он, и счастливишки певчие не шли у него из головы. Ему не раз попадало от учителя за то, что, склонившись над Пятикнижием, он вдруг начинал думать неведомо о чем.

— Видано ли, чтобы у мальчишки вечно птички были на уме, букашки всякие! — говорил учитель.

Учение в хедере было для Иоселе тяжелой обузой. Как только выдавалась свободная минута, он принимался петь. Мальчик старался изо всех сил, подражая

то тенору из хора Пици, то его басу. В горле у него как будто постоянно что-то щекотало, звуки сами рвались наружу. Дать бы себе волю, попеть бы всласть, и он почувствовал бы себя заново рожденным.

II

Шмулик рассказывает разные истории про канторов, а Йоселе внимательно слушает

Мир, в котором жил Йоселе, был с детских лет полон звуков. От отца он наслышался всяческих историй о знаменитых канторах, которые своим искусством обрели себе имя, и оно навеки осталось жить в потомстве. Эти рассказы о Гершеле-мальчике, о Виленском Молодожене *, об Арке-скрипочке и им подобных не давали покоя Йоселе, он бредил ими во сне и наяву. Йоселе рисовалось, что это он сам — Гершеле-мальчик, который к одиннадцати годам облачился в талес, стал у амвона и своим пением прогремел на весь мир. Когда Йоселе случалось оставаться одному, он заворачивался в отцовский талес, становился лицом к стене и, размахивая руками, начинал подражать кантору: выводил рулады, распевал знакомые молитвы, раздирая с натуги горло. Однажды Шмулик, застав озорника за таким занятием, воздал ему по заслугам и тотчас погнал в хедер. Однако не лежала у Йоселе душа к хедеру, и это доставляло учителю немало хлопот. Учитель не мог себе представить: как это мальчишка вечно о чем-то думает и голова его забита бог знает чем?

Еще с детских лет самую большую радость доставляло Йоселе время, когда отец в канун покаянных дней, примерно недель за шесть до Нового года, готовясь к богослужениям, принимался перепевать со своим хором все требуемые молитвы. В эту пору душа Йоселе витала в облаках. Едва дождавшись счастливой минуты, когда учитель отпустит ребят поесть, Йоселе прибегал домой, наскоро проглатывал обед и, забравшись в уголок, прислушивался к тому, как отец, молитвенно простерши руки, сладко-сладко поет: «Ой-ой, ой-ой, ой-ой, ой-ой», а хористы дружно поддерживают его. Йоселе был счастлив, если его не замечали в его норке, и тогда он выслушивал праздничную службу до конца.

Но больше всего Иоселе любил рассказы отца про знаменитых канторов, как они добывали себе славу. Ему очень нравилась история о том, как Пици сделался кантором.

— Происхождением он из Бердичева, — начинал Шмулик свой рассказ о знаменитом Пици. — Жил где-то там у плотины. Отец его был синагогальный служка. Пици еще с детских лет обнаружил талант. Некоторое время он был певчим у кантора, потом потерял голос, и его отдали к золотых дел мастеру. Однако пения он забыть не мог, вот почему постоянно терся возле музыкантов. Чем только он не был! И на барабанах играл, и звякал в медные тарелки. Говорят, даже водовозом был. Наконец он встретился с великим кантором Цалелом. И Цалел ему сказал: «Что и говорить! Дурень ты эдакий, нашел себе дело — воду возить! У тебя есть прекрасный инструмент — твое горло». Короче говоря, Пици отправился в Лемберг* и вернулся оттуда с именем и со славою, дай бог моему Иоселе хотя бы половину того.

У Иоселе чуть сердце не выскочило из груди, когда он услышал слова отца. Ему уже представилось, что и его отправили в Лемберг, и он возвращается оттуда с именем и со славою. Точно как Пици.

Шмулик мог многое порассказать о канторах, одна история у него была занимательней другой. Он знал подноготную каждого из них.

— Ну, а Бахман? — говорил Шмулик своим певчим. — Сам великий Бахман! Что и говорить! Кем, думаете, был он раньше? Поезжайте в Кишинев, там вам расскажут. А вы как думали? Так вот, встал утром — и ты уже Бахман, Пици или Ниси?! Один лишь Сендер Мирер был богат и пел ради своего удовольствия и почестей. Это как раз у него я позаимствовал «Да узрят наши очи». Что и говорить! Есть, конечно, и теперь большие канторы — Ниси Бельзер к примеру, Хезкеле, Пици, Эля-Довид Черниговский, шкудский кантор. Что и говорить! Много есть канторов. Но таких, какие были раньше, теперь уж не найти. Ну, где вы, например, возьмете такого певца, как Арке-скрипочка из Витебска, которого приезжали послушать со всего света?! Это был не голос, а настоящая скрипка. Или где найдете вы такого, как Канарик, который получил подношение от самого императора Франца-Иосифа? А где нынче ровня

Довиду Хмельнику, который пел со своими тремя сыновьями? Он подлинно достоин был петь перед лицом королей. Бывало, станет в своем длинном талескотне и в цилиндре молиться, запустит трель — одно удовольствие слушать. Ну, где теперь найти такого, как кантор из Крутьи, дедушка великого Ниси? А известный щеголь реб Авром-хасид из Лемберга! Или Қаштан, который перед смертью сам себе пропел отходную?! А Виленский Молодожен, как его прозвали?! Где услышишь теперь таких? Что и говорить! Вы, наверное, знаете историю Виленского Молодожена. Замечательная история! Вот послушайте! Звали его Иоел-Довид, и был он писаным красавцем, каких свет не видывал. О голосе и говорить не приходится. Можете себе представить, что к одиннадцати годам он пел в Грозные дни* у амвона. Слава о нем докатилась до самого графа, и тот вздумал послушать, что там такое болтает народ. И вот граф послал за ним. Иоел-Довид явился в графские покои, и, представьте, — в ермолке. А там было полно всяческих вельмож. Наш Молодожен вначале крепко смутился и даже немного струхнул, но все же стал лицом к стене и стал выделять свои фокусы — играть голосом, одним словом, показывать свое мастерство. Он пел в сопровождении только одной скрипки. Ошеломленная публика не могла различить, где тут чело́веческий голос, где скрипка, — до того был чист и ясен голос у Иоел-Довида, и так высоко он мог брать, как говорится, добирался до самого потолка. Уже почти к концу у скрипки вдруг лопнула струна, и скрипачу пришлось взять октавы на две выше. И что же вы думаете? Наш Молодожен собрался с духом и тоже взял так высоко, как это может взять только скрипка, да еще зашелкал соловьем. Когда он кончил, растроганный граф подошел и поцеловал его в лоб. Граф был добрейшей души человек, но жена его, графиня, — сгинуть бы ей! — была настоящая ехидна и, как вы понимаете, терпеть не могла евреев. Когда Виленский Молодожен вошел в зал в ермолке, она до того разъярилась, что готова была голову ему снести. Однако своим пением Иоел-Довид обезоружил ее окончательно, и она тоже подошла к нему, схватила его за руку и поблагодарила несколько раз, спросила, как его зовут, сколько ему лет. Иоел-Довид ответил все по порядку, не глянув, однако, ни разу ей в лицо, так как она была редкой красоты женщина. Графиня же смотрела на него

во все глаза, любовалась им, не отпускала от себя; она все жала ему руку и благодарила. На следующий день— что и говорить!— является от графа посланец и приглашает Иоел-Довида в графские покои, — и чтобы без всяких отговорок. Что поделаешь? Тут уж ничто не поможет. Раз граф просит, нельзя быть свиньей, надо идти. И что же вы думаете? Графа даже дома не было. Это все она, графиня, — погибель на нее! Вышла навстречу Иоел-Довиду и его певчим разодетая, вся в золоте и брильянтах. Она дружески протянула Иоел-Довиду руку, точно была знакома с ним неведомо с каких пор. Певчих она попросила подождать в зале, а Иоел-Довида позвала на свою половину, усадила на дорогой бархатный диван и принялась угощать — что и говорить! — сладкими яствами на золотом блюде и замечательным французским вином. Иоел-Довид, конечно, от сладких яств отказался и французского вина не пил. Как она ни упрашивала — ничего не помогло. Видя, что у нее с ним не ладится, графиня — да сгинет имя ее! — ухватила Иоел-Довида за сюртук, как некогда жена Потифара — Иосифа Прекрасного*. Иоел-Довид едва ноги унес оттуда. Рассказывают: графиня с тех пор стала еще злее прежнего, — что и говорить! — увидев еврея, прямо-таки багровела вся. Она и графа настроила — он тоже стал злейшим евреененавистником. А с Виленским Молодоженом графиня разделалась на особый манер. Нашлись людишки среди своих, которые за деньги погубили человека. Как думаете, что они сделали? Дали Иоел-Довиду какое-то зелье, и у него пропал голос. Потеряв голос, несчастный впал в черную меланхолию, — что и говорить! — стал совсем никуда. Он ходил потом по миру, оборванный, ободранный, ни с кем словом не обмолвится. Таков конец Виленского Молодожена. И все из-за этой графини, да сгинет имя ее!

Рассказы отца привели Иоселе в совершенное смятение. Скрипочка, Канарейка, графиня, жена Потифара — все эти образы не выходили у него из головы, и его все влекло туда, к этим Пици, к Ниси, к Иерухиму. Ему уже шел десятый. Еще год, еще год, и отец пошлет его, как обещал, учиться. Весь мир казался Иоселе наполненным волшебными звуками, чудесными мелодиями. В голове у него беспрерывно толкались какие-нибудь канторы или певчие. И вот, в то время как учитель старался изо всех сил втолковать Иоселе какое-нибудь особенно мудреное

место из Талмуда, ученик его забывался, и из его горла, помимо воли, вырывался визг, хрип или еще какой-нибудь диковинный звук, вроде петушиного «кукареку». Понятно, учитель отпускал ему тут же хорошую затрепщину:

— Там, возле своего отца, у амвона будешь кукарекать, а не здесь!

Иоселе помогал отцу у амвона только в Грозные дни, и это было самое радостное для него время. Впервые, его забирали тогда на месяц раньше из постылого хедера, во-вторых, он тогда пел. Пение было для него слаще всего. Там, у амвона, он пощечин не боялся, горло у него было свободно, и он мог петь вволю, сколько душе угодно. На Новый год и в Судный день прихожане наслаждались не только могучим басом Шмулика, но и нежным дискантом его сына, и радовались вдвойне. Знатоки говорили, что Иоселе будет замечательно петь и еще превзойдет своего отца. Но Шмулику от этого было мало радости. Ему было не до похвал. Он видел, что талант Иоселе пропадает зря, но помочь ему ничем не мог.

Хотя Шмулика в городе очень уважали, это не мешало ему быть совершенным бедняком, впрочем как и всем другим богослужителям Мазеповки, которые добывали хлеб насущный своим ремеслом. Как известно, оплата канторов, служек, резников и раввинов в Мазеповке была весьма мизерной. Если бы эти люди должны были жить только на свое жалованье, им пришлось бы, как говорится, класть зубы на полку. Самое главное для них были — случайно добытый рубль, сторонние доходы, так сказать: тарелки для мелочи, которую ставили в канун Судного дня в синагоге, пожертвования в дни ханука, подарки в праздник пурим, благословения на семейных торжествах, за которые хозяева давали всякие подачки.

У кантора Шмулика мог быть самый бесподобный голос, он мог петь, как Ниси, как Пици и даже как Иерухим, но когда наступали дни ханука, он был вынужден, отбросив самолюбие, брать в одну руку палку, в другую фонарь и отправляться по квартирам горожан, неся каждому пожелание «дожить до будущего года», чтобы в благодарность получить... подающие. Также и в праздник пурим он должен был, забыв амбицию и

положив в чашку какой-нибудь пряник или сладкий маковый пирог, посылать с этим угощением кого-нибудь из своей семьи по домам, чтобы взамен опять-таки получить... милостыню.

III

Как Шмулик познакомился со своей соседкой галантерейщицей Златой и как их дети сблизились между собой

Иметь собственное жилье в Мазеповке — великое дело. Пусть это будет какая-нибудь дыра, халупа, землянка — только бы своя, только бы ни от кого не зависеть, не состоять у кого-нибудь в квартирантах. У торговки галантереей Златы был собственный дом, — не какой-нибудь дворец, не анфилада покоев; там были три низенькие, приплюснутые комнатенки с кривыми углами и кухня, вот и все; без сеней, без сарайчика, и никакого двора. Только чердак над головой. Но с этим можно было бы примириться, если б крыша была настоящей, да ведь ее и крышей-то назвать было нельзя. Тут, с позволения сказать, лежали только две перекладины, покрытые почерневшей соломой да землей, и все это поросло зеленоватыми грибами, так что издали домик походил на кущи. Но и это было бы с полгоря, если бы граф, хозяин городка, не докучал своими причудами. Ему, видите ли, хотелось, чтобы все его дома в городе были заново покрыты железом, гонтом или, по крайней мере, досками, а соломы чтобы и в помине не было.

Злата немало потрудилась, пока скопила копейку к копейке, и тотчас принялась крыть свою лачугу. И вот тут стряслась беда. Только-только стали разбирать кровлю, как к ней в дом с воплями ворвался кантор Шмулик:

— Злодейка! Богом молю! Что вы делаете? Хотите совсем обездолжить? Трудился, трудился, еле сколотил халупу, а вы ее разоряете!

— Вот тебе и на! Кто это вас разоряет? — спросила удивленная Злата. — Кто вас трогает и кому нужны ваши хоромы?

— Вы еще спрашиваете, кто меня трогает! — крикнул Шмулик. — Баба остается бабой, — волос долог, ум короток.

— Знаете что? — ответила в негодовании Злата. — Хоть вы и кантор Холодной синагоги, а правду я вам

все-таки скажу, уж вы не обижайтесь: с той самой поры, как бог промышляет дураками, он еще такого дурака, как вы, не создавал.

— Ага, значит, вы к тому же и нахалка! — взбеленился Шмулик. — Мало того, что вы разоряете мой дом, губите меня вконец, вы еще имеете наглость обругать честного человека! Что и говорить? Видал я на своем веку разных соседей, но такую — что и говорить! — не видывал. Тьфу!

— На вас тьфу, со всем, что вам дорого и мило. Бог мой, пусть навалятся на вас всяческие напасти, все, что я желаю моим врагам, где бы они ни были! Я тоже, слава тебе господи, видывала всяких соседей, но такого злосчастья не встречала, с тех пор как стою на ногах. Как это человек осмеливается ворваться в чужой дом, наброситься на бедную вдову и наплевать ей в лицо просто так, с бухты-баряхты!

— Тише, ш-ш... Что здесь происходит? — крикнула, вбегая, перепуганная Зелда, жена Шмулика, невысокая, смуглая женщина с красивыми добрыми глазами. — Что здесь за крики?

Шмулик и Злата принялись наперебой рассказывать канторше про ссору. Но так как они кричали оба разом, Зелда никак не могла разобрать, кто из них прав, кто виноват.

— Вот что, Шмулик, — сказала она, — пойди домой, я приготовила тебе там стаканчик цикория. А вы, милая Злата, присядьте рядом со мной на скамейке, и мы спокойно потолкуем. К чему эти крики? Набегут люди с улицы, подумают, что здесь, упаси бог, режут кого-нибудь среди бела дня.

Только когда Шмулик ушел, Злата и Зелда, наговорившись досыта, столковались обо всем.

А дело было такое: домик Златы стоял впритык к строению, которое Шмулик совсем недавно на выплату купил у резника Шолом-Шахне; их разделяла лишь легкая переборка. Собственно, это был один дом, разгороженный тонкими досками и крытый одной крышей. Понятно, что, тронув первое же стропило, Злата сразу завалила крышу и над Шмуликом. Вот почему он ворвался к ней, разъяренный. Злата и Зелда, которые были еле знакомы (Злата считала себя родовитой, — как-никак сноха реб Авремеле, о котором речь впереди), после этой беседы стали такими друзьями, что и водой

не разольешь. Обе совсем переменялись. Они порешили крыть крышу сообща, так обойдется намного дешевле, да и чердак у них будет общий. Слава богу, они друг дружке вполне доверяют, и красть одна у другой не станут.

— Ваш муж, — говорила Злата соседке, — порядочный человек. Кто этого не знает! Ну, а вы, Зелда, тоже, слава богу, не из тех, что позарятся на чужую луковицу.

— А вам, — отвечала ей Зелда, — совсем не нужен мой мешок картошки. Думаете, вас не знают? Прекрасно знают, кто был ваш муж и какого вы происхождения. Оказывается, моя мама, царство ей небесное, частенько заживала в дом к вашей бабушке Эстер, закупала ей для кухни всякую всячину. А хозяйство у вашей бабушки было, дай бог половину того каждой хозяйке! Вашей дочери, наверно, по ней имя дали?

Злата даже всплакнула от ласковых речей соседки. И с тех пор между ними завязались любовь и дружба. И дети их тоже стали близки между собой. Сын Шмулика — Иоселе и дочь Златы — Эстер постоянно бывали вместе, можно сказать, в одном доме росли. Позже, когда Зелда умерла и Иоселе остался сиротой, дети еще больше сблизились. Говорят ведь: беда сблизает, нужда сдружает.

Пока Зелда была жива, Шмулик горя не знал: перебивался и жил, как все другие в Мазеповке. Неожиданно стряслось несчастье — жена скончалась. Зелда была хорошей, честной женщиной. Ее внезапная смерть явилась для всех, кто ее знал, большим ударом, но для Шмулика это было таким горем, что он поклялся перед людьми, что не выдержит этого и уйдет следом за женой. Тут нет никакого сомнения. О новой женитьбе и говорить не приходится. «Какое там! Когда на ладони волос вырастет, тогда женюсь», — говорил Шмулик, сидя в трауре. Однако добрые люди не давали ему покоя, изо дня в день твердили одно и то же: «Хотите, реб Шмулик, быть умнее всех, идти против божеского закона и мирского обычая?! Испокон веку так уж повелось — мужчине нельзя оставаться одиноким. А вы хотите, видно, мир переиначить?!» Ему это так долго твердили, что наконец, спустя две недели после траурного месяца. Шмулик съездил с шадженом Калменом в Бердичев и вскоре привез оттуда женщину в турецкой шали.

Бердичев, слава тебе господи, известен всему миру как место, где за сходные деньги можно быстро пристроить такого рода товар — вдовца, разведенного или молодого парня, — это уж как придется. Бердичев в этом отношении благословенный край, он поставляет городам всей округи жен любых сортов: вдов, разводов, девиц, что кому по вкусу. Туда если попадет вдовый, будут его водить по квартирам, показывать товар всяких мастей и видов так долго, пока он наконец не сыщет себе пару, не уторгует какую-нибудь дешевку. Обратное он уж непременно вернется не один.

Сюда вот и заявился наш Шмулик. Здешний народ с ним долго не возился: раз, два — и под венец! Когда Шмулик походя, в спешке, чтобы обязательно поспеть домой к субботе, смотрел свою красотку, ему показалось, что его, благодарение богу, постигла удача. «Женщина, видать, порядочная, что и говорить! Вроде даже и характер неплохой, мило разговаривает, улыбается».

Только недели через две по возвращении домой несчастный Шмулик раскусил, какую напасть, какое злосчастье послал ему господь. Жена сделала его вскоре седым и дряхлым. Шмулику выпала тяжелая старость, измучился он со своей супругой. А бедный Иоселе страдал по-иному. Он был у мачехи словно кость в горле, глаза ей измозоллил.

— Мальчишка этот, не приведи господи, в могилу меня сведет! — беспрестанно твердила она. — С утра до вечера только и знает — жрать да жрать. Рот не закрывается ни на минуту. К тому же он еще и наглец: скажешь слово — заплачет, распустит нюни, неженка эдакий!

Бог знает что осталось бы с Иоселе, если бы не соседка, галантерейщица Злата, которая постоянно заступалась за бедного сиротку.

IV

Галантерейщица Злата и ее дочка Эстер

Галантерейщица Злата еще при жизни мужа считалась не только в Мазеповке, но и во всей округе деловитой женщиной. Имя ее было известно на всех больших базарах и ярмарках.

В то время как у других народов все еще решается вопрос о том, человек ли женщина и можно ли ей доверить какую-нибудь работу, или ее дело — только дом, горшки да дети; в то время как великие умы уже много лет ломают себе голову над этими вопросами и переводят уйму чернил и бумаги, мазеповцы стоят в сторонке и посмеиваются над их мудрствованиями. Ведь в Мазеповке женщина испокон веков равна мужчине: жена здесь ни в чем не уступает мужу. Более того, можно сказать, что почти всю торговлю в Мазеповке ведут женщины. Случается, что жена здесь и вовсе затмевает мужа. В городе есть такие мужчины, которых и вовсе не знают: знают только «ее» — жену.

Злата была как раз из тех женщин, которых называют бой-баба. В городе даже при жизни мужа ее звали Злата-галантерейщица, а не Злата Лейвина, то есть Злата — жена Лейви. Наоборот, Лейви часто называли — Лейви Златин, то есть Лейви — муж Златы.

Такой была и мать Златы, ее звали — Бася-оптовщица. Она сама была женщиной хоть куда и дочерей воспитала так, чтобы они могли, когда придет время, прокормить своих мужей. В зятя Бася брала себе редкостных молодых людей, деликатных, родовитых. За знатное происхождение Бася готова была душу отдать. Например, из-за Лейви, мужа Златы, она удвоила приданое, только чтобы заполучить его себе в зятя. Лейви был сыном Авремеле из Славуты; Авремеле же сам был знатного рода и состоял в родстве чуть ли не со всеми цадиками. Лейви был очень славный молодой человек, только слабого здоровья, страдал одышкой. Он так долго кашлял, пока наконец не отдал богу душу. Злата осталась молодой вдовой с тремя малышами на руках: дочери Эстер было тогда лет восемь, а два мальчика, Эфраим и Менаше, только пошли в хедер.

Эстер, единственная дочь у своей матери, отнюдь не росла неженкой, так как хороших времен у своих родителей она вовсе не знавала. С тех пор как Эстер помнила себя, она, кроме горя и печали, ничего в доме не видела. Отец вспоминался ей всегда болезненным, хмурым, озабоченным. А мать, занятая своей лавкой, вечно торопилась куда-то, постоянно сердилась на кого-то и все проклинала день и час своего рождения. К тринадцати годам Эстер уже была неплохим помощником

матери в лавке. Вначале она просто следила за тем, чтобы там чего-нибудь не своровали, потом сама стала разговаривать с покупателями, подавала товар, а позже начала и торговать вместе с матерью. Эстер уже в эти годы слыла в городе умницей, умелой в делах и быстрой в счете. Где она научилась писать и считать? У Мотла Шпрайза, который обучил чтению, письму и счету всех мазеповских девушек. Вообще, в Мазеповке не в диковинку удачные дети, которые вовсе нигде не учились и до всего дошли сами.

Лейви Златин, как любящий отец, как благородный и книжный человек, конечно, очень хотел, чтобы его Эстер была образованной. И по тому, как она себя показала с детских лет, Лейви иначе и не представлял себе, что Эстер будет, бог даст, особенной, не такой, как другие мазеповские девушки. Конечно, обучить Эстер наукам было не так-то просто, — ведь Злата, которая верховодила в доме, на первых порах всячески сопротивлялась затее мужа.

— Вот тебе раз! — возражала она. — Женщина — и ученая! Курица, а кукарекает! Право, неплохо придумано!

Во всем уступал Лейви жене, но здесь он стоял как скала: что бы там ни было, но Эстер должна учиться! Однако человек полагает, а бог располагает. Не суждено было бедному Лейви осуществить свою мечту. После нескольких лет борьбы с чахоткой он вынужден был к двадцати с лишним годам распроститься с жизнью, оставив на руках у Златы свою дорогую, любимую Эстер.

Теперь уж Эстер не смела и думать об учении. Скучные знания, которые она приобрела, остались, конечно, при ней, до остального она дошла своим умом, вращаясь в кругу торговых людей. И Мазеповка ценила Эстер. Сват Калмен, зайдя как-то в лавку к Злате, не постеснялся сказать матери прямо в глаза о достоинствах девушки.

— Послушай-ка! — обратился он к Злате, посапывая носом и глядя как будто в сторону. — Послушай-ка! А ведь у тебя уже взрослая дочь, к тому же красавица, не сглазить бы, и расторопная, говорят. Девушка хоть куда! Сколько же ей лет? Не пора ли, как говорится, о женихе подумать? А? Красивая девушка — половина приданого. Не так ли?

— Да ну вас! — отвечала Злата, довольно улыбаясь. — Что это вы спешите? Успеется. Пускай еще погуляет.

И Эстер гуляла.

День и ночь она точно в упряжке ходила, не знала ни радости, ни веселья. Можно сказать, Эстер никогда и ребенком-то не была. Глупые детские годы промелькнули как сон, — рано узнала она нужду, заботу, лишения. Не помнит она, чтобы ей когда-нибудь было весело, как другим мазеповским девушкам. Если иной раз Эстер и хотелось посмеяться, мать ее сразу осаживала.

— Не пойму, — говорила она, — отчего на тебя такое веселье напало? Не оттого ли, что отец помер, оставив меня несчастной вдовой с тремя малютками мучиться на белом свете?!

Для Эстер это было хуже пощечины. Когда ей напоминали об отце, у нее сердце в груди обрывалось, и она ходила как в воду опущенная. Отец вспоминался ей точно сквозь сон, потому что умер он, когда ей было лишь семь-восемь лет. Он представлялся ей всегда больным, желтым, исхудалым, но глаза его, большие, добрые, синие, смотрели на нее так жалостливо, точно Лейви уже тогда знал, что его единственная дочь скоро останется сиротой. Эстер помнит, как отец, бывало, гладит ее по головке и вдруг надолго зайдет в кашле. Никогда не забудет она того дня, когда отец, уже потеряв речь, безмолвный, лежал на постели и не сводил с нее своих добрых синих глаз; подозвав ее знаком к себе, он все гладил ее волосы. Этот взгляд долго преследовал ее потом. Стоило ей припомнить этот взгляд, как сразу уходила радость, которая изредка посещала ее. А ведь Эстер была тогда еще совсем маленькой. Правда, Злата не дала ей долго оставаться ребенком, она быстро приспособила девочку к делу. И Эстер показала такое уменье, что мать не могла нахвалиться ею.

— Одна у меня, да стоящая! Слава предвечному хотя бы за это! — говорила Злата. — Что бы я, несчастная вдова, стала делать, если бы выдались у меня такие детки, как у некоторых других, да простит меня бог за греховные речи? Одной рукой господь карает, другой исцеляет... Вот так, дочка, учись, учись! Будешь мне и моим крошкам-сиротам подмогой, да и сама станешь человеком.

Дочь старалась все перенимать у матери и уже была докой в торговом деле.

Эстер наловчилась не только работать в лавке, она еще была и мастерицей скрывать от чужих глаз бедность в доме. Скрыть бедность — этой премудрости надо учиться у мазеповцев. Не всякий это умеет. В самые тяжелые времена Эстер так вела дом, что, войдя к ним, никто не мог бы определить — богаты они или бедны. У них было так чисто, так прибрано, как ни у одного состоятельного человека в Мазеповке. Об изысканной пище в этом доме, конечно, говорить не приходится, но скатерть, посуда поражали своим блеском. Для неимущего придумать обед без мяса, без рыбы, без жиров, приготовить что-либо одними пятью пальцами — это не простая штука. А Эстер это умела. Мебель в доме Златы была совсем неприличная — старомодная, расшатанная. Но она была затянута чистейшими чехлами, а на окнах висели затейливые занавески, так что тут блестело в каждом углу. Одежда на мальчиках была не модная, зато она была целенькая, постиранная, выглаженная, — любо посмотреть. Ни один ребенок в Мазеповке не был так чисто одет, как Эфраим и Менаше; об Эстер и говорить не приходится. Глядя на нее, люди говорили: «Видать, у Златы дела неплохи!» Обмыть, причесать и нарядить нищету так, чтобы никто ее не узнал, — на это Эстер была большой мастерицей. Но имя, которое она заслужила в родном городе, было ничто в сравнении со славой, какой она пользовалась во всей округе. О ней говорили повсюду благодаря ярмаркам, которые устраивались в Мазеповке три раза в году.

Три больших ярмарки бывали в Мазеповке, во время которых город ходуном ходил. Весьма сомнительно — была ли бы Мазеповка без них Мазеповкой. Эти три знаменитых ярмарки назывались — Юрий, Спас и Покров. Их-то с нетерпением и дожидались мазеповцы долгие месяцы, возлагая на них самые большие надежды. Еще за несколько недель до срока мазеповцы начинали готовиться к ярмаркам, то есть метались, как затравленные, выискивая получше место да захватывая его пораньше. «Нет времени, нужно готовиться к ярмарке!» — говорили мазеповцы, даже те, у кого не было ни лавки, ни корчмы, ни заезжего двора, ни хлебного амбара, даже те, кто не мог поставить к ярмарке и бутылки обыкновенного квасу. Не было обывателя, кото-

рый не готовился бы к ярмарке. Даже канторам и мела-медам грезилась ярмарка.

Казалось бы, какое отношение имеет учитель или кантор к ярмарке? И все же меламед в эти дни распускал учеников чуть пораньше, а кантор останавливал певчих посреди молитвы, и оба они мчались на торг. Возвращались они оттуда с тем, с чем и приходили туда, — с пустыми руками и к тому же раздосадованные: «Как же так! Все что-то покупают! Приобретают по дешевке всякое добро!» А дома им вдобавок попадало от собственных жен за то, что только они ничего не приобрели на ярмарке, между тем как все за бесценок покупают там вещи. «Черный, траурный день на головы наших врагов! — кричали жены. — Экая на него радость напала, счастье привалило! Ишь, невидаль, на тебе — ярмарка! Принес бы кусок полотна детям на рубашки, или хотя бы хороший венок луку на зиму, или черт твою душу ведает что!» — «Не было печали, так вот тебе ярмарка!» — приговаривал повесив нос безутешный учитель или кантор, выслушивая от жены целую кучу проклятий.

Вот какой властью обладали ярмарки в Мазеповке.

Удивительно ли после этого, что с приближением Юрия, Спаса или Покрова с торговцами творилось что-то несусветное! Удивительно ли, что они дрались за место на ярмарке, отбивали друг у друга покупателей, чуть не раздирали их на части!

Кто хочет получше узнать мазеповца, все его достоинства и недостатки, пусть понаблюдает за ним со стороны, когда он стоит с женою на ярмарке у своего балагана и разговаривает с шестью покупателями разом. Одному он показывает товар, с другим торгуется, остальным отвешивает или отмеривает что-либо. Там, в балагане — зимою ли, летом, — и едят и спят. Очень уж приноровился к ярмарке наш мазеповец. Одним ртом он говорит за десятерых, двумя руками делает три дела, двумя глазами смотрит в четыре стороны, чтобы тотчас позвать обратно несговорчивого покупателя: «Эй, человек, поди сюда!» Но самое главное на ярмарке — это следить, чтобы не крали. «Торговать, — говорят люди, — это еще полбеды, самое главное несчастье — покражи. Прямо из рук хватают». Наблюдая в эти минуты за мазеповцем, думаешь, что и он, и его жена, и детишки только и созданы для ярмарочной суетоки: лица

у них пылают, глаза горят, нос сопит, язык мелет, руки в ходу, все тело в движении, все кости кричат: «Не зевайте, люди, на то и ярмарка!»

Злата и Эстер трудились на ярмарке весь день не покладая рук, наравне со всеми. Как долгие этот день! Бубнишь до усталости, говоришь до хрипоты; измаешься, изголодаешься, как после изнурительного поста. Еле дождешься, когда наконец, бог даст, кончится день и наступит ночь. Тогда балаганы наглухо затягивают огромными полотнищами, лавочники и их жены садятся на стойки и принимаются подсчитывать выручку. А подсчитавши, говорят со вздохом: «Вот так ярмарка! Одна шумиха! На такой ярмарке не заработать — это уж неслыханно!»

— Можете себе представить, — рассказывает бывалый торговец красным товаром, — у меня, даже у меня, стянули восемнадцать аршин! Торгую я уже тридцать лет, и ни разу нитки не украли, а тут... Чудеса, да и только! Никак не могу понять — вот оно лежало перед глазами и в момент исчезло... морозовское полотно, первый номер, восемнадцать аршин. Разбой, да и только!

Люди разговорились. Каждый рассказывает свое. В общем гуле слышится и голосок Эстер. Мазеповцы слушают ее, разглядывают и, почесываясь, довольно улыбаются: «А ведь настоящий человек эта Златина девушка! Кажется, совсем ребенок, а понимает толк в деле!»

Сутолока на ярмарке, оживленная торговля заставляли проворных мазеповских женок использовать здесь и своих мужей, которые обычно большую часть года ничего общего с коммерцией не имели. Использовали они своих мужей главным образом как сторожей от покраж. Мужья эти стояли там вроде пугал на огороде. По виду почтенные люди с бородами, а в сущности, большие неудачники, никудышники, бабы в штанах, женщины с бородами и пейсами.

Вот такую роль играл когда-то и Лейви Златин у своей жены. И постоянно, когда Злата вспоминала о нем, она, пустив слезу, с сожалением говорила так: «Нету моего Лейви, некому посторожить лавку».

Злата часто плакалась своему соседу Шмулику, упрашивала его отпустить к ней Йоселе, который все равно бездельничает, посторожить у нее в лавке, посмот-



реть, чтобы не крали. «Пускай он хоть чем-нибудь займется!» — говорила она. Шмулик делал ей одолжение, и Иоселе трудился на ярмарке бок о бок с Златой и Эстер, «помогал им торговать». Иоселе доставляло удовольствие помогать Эстер, быть ей чем-нибудь полезным. Ради Эстер Иоселе был готов хоть на край света, хоть в огонь и в воду. И все это только за ее преданное, доброе сердце, за ее ласковое обращение с ним, бедным, одиноким сиротой.

V

Иоселе шагает без дела, и его влечет все «туда»

Люди говорят: при матери отец — тятя, при мачехе — дядя. Пока Зелда была жива, Иоселе был у Шмулика — что твоя куколка, отец нарадоваться на него не мог: «Мой Иоселе! Увидите, что из него со временем выйдет!» Но когда Зелды не стало и в доме появилась

женщина из Бердичева в турецкой шали, Шмулик в угоду ей все больше остывал к сыну, хотя в душе любил его, вероятно, по-прежнему. Злата бесилась, глядя на то, как обращаются с Иоселе.

— Как вы думаете, реб Шмулик, — спрашивала ядовито Злата, — если бы, скажем, Зелда, царство ей небесное, осталась вдовой, Иоселе тоже шатался бы без дела, как теперь у вас? Она тоже забрала бы его из хедера, как вы, чтобы он вырос бездельником и гицелем?!

Шмулик отвечал только тяжелым вздохом, старался поскорей улизнуть от соседки, чтобы не слышать ее речей, которые задевали его за живое.

Иоселе, как говорилось выше, был в доме у Златы совсем своим человеком, а с тех пор как осиротел, он стал ей еще ближе; она жалела мальчика, заступалась за него, не давала мачехе расправляться с ним. Из-за этого Злата и вторая жена Шмулика были вечно на ножах, ненавидели друг друга. Потакая жене, и Шмулик был вынужден рассориться с Златой. Собственно, ссоры никакой не было. Злата только несколько раз намылила Шмулику шею за то, что он все спускает жене, которая уже на голову ему села, позволяет ей тиранить своего ребенка.

— Не обижайтесь, реб Шмулик, но я скажу вам напрямик. Не мужчина вы, а козел безрогий. Зачем вы ее слушаете, эту бердичевскую ведьму? Если б Зелда, мир праху ее, встала из могилы и поглядела на своего Иоселе, она скончалась бы второй раз. Хорош отец, нечего сказать! Честное слово, я могла бы ожидать скорей, что вас хвороба хватит, чем видеть такое. Разве так поступает благочестивый еврей?!

Шмулик выслушивал ее и, словно набрав воды в рот, быстрехонько уходил к своим певчим сочинять новый мотив к Новому году. Златы он боялся больше, чем своей благоверной, этой «бердичевской ведьмы». Невесело было встречаться с соседкой, которая изо дня в день напоминала ему о Зелде. Это было ему очень тяжело. Вот почему он остерегался ее как огня, старался, когда она возвращалась с базара, держаться поближе к своим певчим, разучивать с ними молитвы к Грозным дням или самому петь что-либо, только бы избежать встречи.

Зато Иоселе дневал и ночевал у Златы. Десяти лет его уже забрали из хедера, и с тех пор он шатался без

толку, бездельничал, не знал, куда девать себя. Он сидел у Златы в лавке, присматривал за всем или помогал ей по дому, при этом всегда что-нибудь напевал своим приятным голоском, который так нравился Эстер. Эстер и Иоселе были как брат и сестра. Оба они были почти однолетки, вместе росли, оба осиротели, оба рано познали горе и нужду. Когда Эстер становилось грустно, она просила Иоселе спеть ей «Виленскую улицу». Иоселе становился посреди комнаты и на манер заправского актера затягивал своим мягким, нежным голосом:

Выхожу на Виленскую —
Слышу крик людской,
Кто-то стоном стонет:
— Ой-ой! —
Слышу крик людской...

Тут Иоселе входил в раж, закатывал глаза и, прижав руки к груди, заливался, делал гримасы, как настоящий актер.

— Где ты научился таким ужимкам? — спрашивала Эстер.

— Так делал тенор у Пици, когда мы с папой ходили к ним. Этот тенор рассказал мне, что так поют в триатре. Там, когда поют, вытягиваются, размахивают руками, ворочаются в разные стороны и еще по-всякому делают. Ну и поет этот тенор! Он послушал мой голос и сказал, что Пици хоть сейчас возьмет меня к себе. Я думал тогда поговорить с отцом, но побоялся. Теперь, если бы Пици заявился, я был бы умнее.

И Иоселе задумывался. В его маленьком детском сердце пылал неугасимый огонь, его влекло на широкие просторы, в большой и светлый мир. Его мечтой, пределом всех его желаний в эти годы были Ниси, Пици, Иерухим и еще ноты. Достичь этого — было высшей его целью. Самые разнообразные золотые сны вечно ронились в его маленькой головке, но сладчайшим из них был один: уйти однажды к Пици в Одессу или к Мици в Тетеревец и там выучиться нотам. Возможно, и Шмулик мечтал о том же для сына, но как раздобыть деньги на дорогу? К тому же без разговора с благоверной тут не обойтись, а это было Шмулику совсем невмоготу, все равно что море посохом рассечь*.

Когда горе подступало очень близко, Иоселе не раз задумывался — а не сбежать ли ему к Пици, попросту взвалить ноги на плечи, и айда, — нету Иоселе! Тогда

ему некого будет бояться. Иоселе уже и план выработал — когда и как это сделать. Жаль только оставить отца одного. Шмулик уже не мог без него обходиться. Мальчик был его главной подмогой у амвона. Покуда Иоселе брал верхи, рассыпался трелями, Шмулик мог чуть передохнуть, затем, набравшись сил, идти дальше. Как бы Иоселе не было плохо дома, он все же любил и жалел отца. «Что станет он без меня делать? Кто будет носить прихожанам в праздник пурим пироги с маком? Кто будет им доставлять мацу в канун пасхи или цитрусы в праздник кущей?» В добрые времена, когда жива была Зелда, которая тяжким трудом добывала для семьи пропитание, — откармливала гусей, топила на продажу смалец, шипала перья, — Шмулику не приходилось гоняться за этими унижительными заработками. Теперь же, когда Зелды не стало и в доме появилась женщина из Бердичева, а в семье прибавилось три ни в чем не повинных младенца, которые непрестанно просят есть, Шмулик вынужден был скрепя сердце посылать Иоселе в праздник пурим с гостинцами к обывателям. Шмулику было очень тяжело видеть, как бедный мальчик ходит босой из дома в дом.

Самого Иоселе это мало трогало. Ради отца он готов был на все, только бы ему знать, что делать. «Будь я Пици, — размышлял Иоселе, — последнее отдал бы отцу, чтобы не видеть его мук».

Чем дальше, тем явственней чувствовал Иоселе, что его куда-то влечет. Он бродил одинокий, погруженный в свои думы. Мысли его были далеко-далеко. В него вселился какой-то дух, и Иоселе не понимал, чего ему от него нужно. Иоселе уносило к заоблачным высям, ночами что-то не давало спать, все звало: «Туда! Туда иди! Там твоя дорога!»

VI

Он находит свой рай, но его с позором изгоняют оттуда

Иоселе без дела шатался по городу, мерил улицы вдоль и поперек. Иной раз он забирался далеко за город и, вытянувшись там на лесной опушке, принимался распевать вовсю, исполняя на отцовский манер какую-нибудь праздничную молитву. Тут, на просторе, он мог

петь сколько душе угодно, и близкий лес звонким эхом откликался на его пение, как будто деревья хорошо поддерживали его. Здесь, на лужайке, Иоселе чувствовал себя куда лучше, чем у себя дома; никто не мешал ему петь, никого он здесь не стеснялся. Не было над ним командира-мачехи с ее вечными попреками, не было и отца с его охами и жалобами на свою горькую судьбину. Какой-то особый мир сотворил себе здесь Иоселе: этот лес принадлежит ему, он создан для того, чтобы Иоселе мог здесь привольно распевать; ложбина — это его поместье, его рай. Здесь, в этом своем раю, где никто не видит и не слышит его, он может разрешить себе удовольствие петь, кричать, прыгать, гримасничать сколько душе угодно.

Увы, ничто не вечно под луной. Очень скоро Иоселе изгнали из обретенного им рая, вытурили палками, забросали камнями, затравили собаками, хотя никакой вины он за собой не чувствовал.

Был безоблачный, знойный день. В городе, понятно, солнце жгло немилосердно, загоня базарных торговцев и торговков под стойки, где они, полеживая, без конца отдувались, а жирных домохозяек, которые жары уж вовсе не выносят, — в погреба. Учителя в хедерах, сбросив с себя сюртуки и оставшись в пожелтевших талескотнах, с обнаженной грудью, потряхивали широчеными рукавами рубах. Обливаясь потом, как в бане, они поминутно приподнимали ермолки и обмахивали ими головы. Учеников они отпускали купаться на реку, верней, бултыхаться в грязной луже. Пекло, деваться некуда. Мужчины, надвинув потуже шапки и засучив рукава, бродили по базару с палочками в руках и почесывались. «Ну и жара! Ну и денек! Прямо-таки невтерпеж!» Даже легкомысленные козы, которые обычно, взобравшись на какую-нибудь крышу, дергали там солому из-под стрехи, а то обдирали стены у синагоги или кидались к лоткам на базаре, где получали по заслугам от торговков, — даже эти легкомысленные козы, разомлев от жары, вытянулись, поджав под себя ноги, выставив вперед удивительно глупые мордочки и высунув красные язычки. Все это означало, что город раскален, пышет жаром, и все ждут не дождутся наступления благодатной ночи.

Совсем не то было за городом, на лужайке, подле огромного зеленого леса. Сюда вот и забрался Иоселе, чтобы петь, кричать, разговаривать с самим собой.

Пробираясь вдоль опушки под сенью густых деревьев и вдыхая полной грудью свежую прохладу, Иоселе не замечал, как далеко он забрел. Перед его глазами расстился огромный зеленый ковер, такой бархатистый, такой ласковый, что хотелось броситься на него, вытянуться во всю длину и лежать, лежать без конца. Чем дальше он шел, тем трава становилась все гуще, все чудесней, и его тянуло вперед и вперед. На душе у него было отрадно, чувствовал он себя необыкновенно легко, в горле что-то щекотало, звуки сами рвались, и хотелось петь. В голове зарождался новый вариант праздничной молитвы, и Иоселе начал брать с каждым разом все выше, петь все звончей; а звуки лились так легко, так свободно, что ему казалось — как он ни возьми, все равно можно взять выше. И он пел-заливался, пуская такие переливчатые трели, что сам себе дивился. Из звуков складывалась какая-то удивительная мелодия, и он сам не знал, куда забредет и чем кончит свою фантазию. Иоселе дошел до слов: «Блажен муж, не забывающий тебя и черпающий в тебе силу, ибо последователи твои никогда не споткнутся, и во веки веков не устыдятся ищущие в тебе защиты». Тут он запел звончей, замахал руками, без конца повторяя во весь голос последние слова:

Ищущие в тебе защиты!
Ищущие в тебе защиты!

Внезапно Иоселе услышал дикие выкрики: «Куси-куси-куси! Ату его! Куси-куси!» Он оглянулся и обмер: на него мчалась целая орава пастушат. На голове у них были большущие шапки, за плечами сумки, в руках — здоровенные дубины. А впереди скакал страшный, кудлатый черный пес. Иоселе почувствовал сильный удар в спину, а потом вроде кто-то поволок его по земле и стал дергать, рвать, тащить, затем... Затем он уже ничего не помнит.

Когда Иоселе очнулся, кругом никого не было. Ошалевший, перепуганный, пришибленный, он поднялся с земли и зашагал домой. Одежда на нем была разодрана в клочья, на душе было очень горько, и он заплакал. Не мог он понять, почему господь взыскивает с него больше, чем с любого другого мальчика. За что так карает его? Молится он как будто каждый день, честно

выполняет все заветы, почитает отца, даже мачеху почитает больше, чем она того заслуживает.

— Господи, за что насылаешь на меня такое? Чем я провинился, что ты меня наказываешь?

И, обернувшись последний раз, Иоселе со вздохом распрощался со своим раем — с вольным лугом, с зеленым, тенистым лесом, распростился навсегда, навечно.

VII

Иоселе кается и попадает в новую беду

Изгнанный с позором из своего рая, побитый, растрепанный, в разодранном сюртучке, Иоселе явился домой, и поначалу его как следует благословила мачеха, а там и отец добавил.

Собственно, Шмулик никогда не бил своего сына, и на этот раз он только выговорил ему:

— Я вот спрашиваю тебя: разве так поступает порядочный мальчик? Сюртучок разорвал в клочья! Как же, жди, сейчас я тебе справлю новый! Что и говорить, при нынешних заработках! Если бы мама сейчас воскресла! Не знаю... Что и говорить...

Иоселе отдал бы неведомо что, только бы не слышать упреков отца. В эти минуты Иоселе поклялся до конца жизни не ходить за город, не шататься по лесу, хоть бы ему сулили золотые горы.

Это все случилось в четверг, а на завтра, в пятницу утром, Иоселе помчался в синагогу и стал молиться так проникновенно, так горячо, как никогда ранее. Вернувшись домой, он сам, не спрашивая мачехи, принялся чистить медную посуду; в одно мгновение сбегал на базар и закупил ей перцу, лаврового листа, корицы да еще сверх того «на три гроша меду» для субботней «бабки» и вина для «кидеша»*. Затем опять же по собственной воле принялся натирать хрен, рубить телячью ножку, колотя медным пестиком по ножу, да так ретиво, что мачеха не выдержала и, раздувая уголья в печи, проговорила, ни к кому не обращаясь:

— А то что же? Так и должен вести себя мальчик! Не ожидать, пока ему кто-нибудь скажет: поди-ка!.. Не огрызаться! А то — посылочки, разговорчики, указочки...

Эти слова еще больше подзадорили Иоселе. Он ощутил в себе такую прыть, что, кажется, мог бы мир

перевернуть, прямо богатырь какой-то, Самсон. Заметив, что махехе нужна вода, он, не долго думая, подобрал полы починенного на скорую руку сюртучка, схватил ведро и через мгновение принес его полным до краев. Позже он уселся читать вслух главу из торы, назначенную на эту неделю, и «Песнь Песней»; * распевал он так прочувствованно, что канторша сама поднесла ему лапши на дуршлагае, сдобрив ее жареной луковицей. В этот и следующий день сердце Иоселе было преисполнено любви и преданности к своим близким и раскаяния за грехи перед создателем. В субботу после обеда, когда все мальчишки разгуливали по Бердичевской улице, Иоселе стал усердно читать «Поучения отцов» *, а затем петь псалмы; но тут же решил, что это не к месту: благочестивые люди читают псалмы в синагоге, а не подле грязной лохани. Надо идти в синагогу!

И Иоселе надел субботний сюртучок, повязал шею белым платком и отправился в синагогу. На душе у него было так радостно, как никогда. Он чувствовал себя как человек, который с кем-то поссорился и только что помирился. Ему казалось, что между ним и великим, вечно живым богом установилась какая-то близость. Он, Иоселе, и этот большой мир, который открыт его взору, составляют нечто единое. Солнце, которое только что стало закатываться, быстро опускаясь все ниже; светлые небеса, окаймленные внизу ярко-красной полосой; птички, стайкой перепархивающие с места на место и реющие вверху, как кораблики на море, — все, все это было ему близко, казалось родным, имело к нему прямое отношение.

Погруженный в свои думы, Иоселе шел все дальше и дальше, не замечая, что давно уже оставил позади Холодную синагогу, переулок, где она стоит, Бердичевскую улицу, миновал шорников, кузнецов, новый мостик и забрел на Польскую улицу. Он пошел бы, наверно, и дальше, если бы его не остановило какое-то чудное пение, божественная игра, изумительные звуки, каких он никогда в жизни не слышал. Он застыл на месте, слушал и никак не мог наслушаться.

Иоселе хорошо знал, что на Польской улице, на самой горе, стоит костел; знал, что там играют на органе, однако же никогда его не слышал, потому что, во-первых, на Польской улице в каждом дворе есть собака, во-вторых, с той поры как разрушен храм Соломона, во-

обще запрещено слушать орган... Иоселе было очень обидно, что евреи прогневили бога и нет у них теперь своего храма, нет своего органа и нет левитов*, которые играли там на различных инструментах и пели божественные гимны.

А из костела тем временем плыли звуки органа, и Иоселе неудержимо влекло на гору. Оттуда лилась теперь неземная мелодия, слышался человеческий голос, нет, множество голосов, целый хор, и какой-то бас, как гром, грохотал ежеминутно и низвергался вниз, так что стены дрожали, земля сотрясалась под ногами у Иоселе. А затем вновь слышались нежные, ласковые голоса; песнопения потрясали душу, а прекрасный бархатистый голос человека наполнял сердце до краев, вызывал множество разных дум. Иоселе представлялось, что именно так должны были петь левиты, играя на органе и воздавая хвалу господу богу, владыке всех владык, и сердце его трепетало безмерно и летело к облакам. Заслушавшись музыкой и пением, Иоселе уже себя не помнил; глаза его налились светом, на него нашло какое-то озарение, казалось, он вот-вот взмоет ввысь, вознесется к небесам.

И вдруг кончилась игра, оборвалось пение. Иоселе услышал знакомый голос, идущий совсем с противоположной стороны. Мальчик обернулся и увидел жирное, бритое лицо, кажется, знакомого ему барина. Пригляделся и узнал... Ксендз! Ксендза он видел не раз в лавке у Златы, куда тот заходил купить что-нибудь. Его круглое, скобленное лицо с красным толстым носом, вроде шишки, казалось ему странным и всегда смешило. Иоселе спохватился: «Да где же это я?» — и опрометью кинулся вниз.

Внизу, под горой, посреди улицы стояли кучкой евреи, молодые и старые. Они разглядывали вновь строящийся мост и, как это водится в таких случаях, оценивали работу, подсчитывали затраты и высказывали всякие соображения на сей счет. Увидев бегущего с горы Иоселе, они остановили его и принялись расспрашивать:

— Откуда это? Из костела? Чей будешь, мальчик?

— Что значит чей? — заметил один. — Не знаешь, что ли? Ведь это Шмуликов сын, кантора мальчик.

— Вот так мальчик! Значит, в костел ходишь?

— Глянь-ка на этого бедняжку! Стоит как пень! Да, хорош парень!

— Нынешние дети! Дожили! Отведи-ка его домой, Довид-Герш, он ведь с твоей улицы! Хороша сказочка, да коротка...

Весь ад со всеми его страхами, которые описаны в наших священных книгах, с преисподней, где грешников швыряют из одного конца мира в другой, со всеми его злыми духами-разрушителями, — ничто в сравнении с тем, что представил себе Иоселе после страшного грехопадения, которое совершил, сам не ведая, как, где и когда он к этому пришел. Он считал себя погибшим, потерявшим и этот и потусторонний мир. Он готов был претерпеть всяческие кары, какие только человек может придумать, готов был распротиться с жизнью, но не проронить ни слова: «Режьте! Бейте! Ешьте мое тело, пейте мою кровь, но я ничего не скажу!»

Понятно, спервоначалу Шмулик подступил к нему с нравоучениями, донимал словами и требовал лишь одного:

— Скажи только, как ты туда попал?

Но Иоселе был нем как рыба. Этого канторша не стерпела и накинулась на Иоселе с кулаками; она пинала его, щипала и редела при этом диким зверем. Если бы не Злата, которая услышала из-за перегородки, как бухают кулаки и звенят пощечины, Иоселе, наверное, живым не вырвался бы из рук мачехи. Злата буквально оторвала канторшу от мальчишки и отправила его поскорей к себе, а сама как следует отчитала Шмулика за то, что он допускает, чтобы чужие руки истязали его родное дитя, собственную плоть и кровь. Конечно, канторша в долгу не осталась, но Иоселе был все же выволен из ее безжалостных рук.

VIII

*Эстер делает все, что в ее силах,
и Иоселе уезжает в Тетеревец*

Одно теплое слово Эстер, один ее ласковый взгляд были для Иоселе лучшим лекарством от всех горестей — от укоров отца и побоев мачехи. Возвратившись довольно поздно домой с гулянья и увидев приткнувшегося в уголке Иоселе, прибитого и жалкого, похожего на ощипанную курицу, — шапчонка его была примята, щеки

горели и вспухли, как пампушки, — она подошла к нему, взяла за руку и, глядя с состраданием, мягко спросила:

— Что с тобой, Иоселе? Опять она?

Только теперь Иоселе расплакался, как малое дитя. Он рассказал Эстер все, что с ним стряслось, ничего не утаив, покаялся, как перед господом богом. У Эстер сердце сжалось от боли. Пока мальчик говорил, она все время расплетала и заплетала свою чудную длинную косу, глядя в лицо ему прекрасными синими глазами. Потом она закинула косу назад и, подойдя к нему еще ближе, промолвила:

— Знаешь, что я тебе, Иоселе, скажу? Тебе нечего здесь делать. Твое место в большом городе, у какого-нибудь прославленного кантора. Если ты останешься здесь, толку из тебя не будет. Помяни мое слово!

— Послушай! — вскрикнул Иоселе, и глаза его сверкнули в темноте. — Слушай! Ведь я об этом только и прошу. Я хочу попасть к Мици в Тетеревец. Там, я знаю, чему-нибудь научусь, перестану баклуши бить да прислуживать мачехе. Тетеревец — это совсем иной мир. Туда, когда приедешь...

— Постой-ка! — прервала его Эстер. — Тебе хочется в Тетеревец? Я знаю одного человека из Тетеревца. На будущей неделе он придет к нам на ярмарку. Я с ним переговорю, может, что-нибудь и выйдет.

— Ты не о том ли мануфактурщике говоришь, который всегда становится рядом с вами?

— Да, да! Молодой, очень симпатичный, душевный человек. Попробую поговорить о тебе... Тише, мама идет.

— Доброй недели! — сказала, входя в комнату, Злата. — Почитай, Эстер, молитву «Бог Авраама» и зажги огонь. А ты можешь уже идти домой, — обратилась она к Иоселе. — Уж и поругалась я из-за тебя... Но ты тоже хорош! У людей дети как дети, сидят в субботу в синагоге, а ты по костелам шляешься. Слыхано ли дело!

— Да нет же, мама! — заступилась за него Эстер. — Дело было совсем не так. Он вовсе не был в костеле, а стоял возле костела...

— Новый защитник нашелся, — оборвала ее Злата. — Поди, Иоселе, домой, тебя больше не тронут. Только смотри веди себя прилично! Если б твоя мама воскресла, радости у нее было бы мало.

Иоселе ушел домой, а Эстер тотчас принялась обдумывать, как отправить мальчика в Тетеревец. «С таким

голосом он мог бы петь у лучшего кантора. Жаль беднягу, очень уж он здесь мучается».

Если бы три вышеупомянутые ярмарки существовали только для мазеповских лавочников, то-то было бы им хорошо. Беда в том, что сюда на эти ярмарки съезжаются чуть ли не со всего света: из Макаровка, из Кашперова, из Бердичева, из Ермолинца, из Тетерева и еще из многих мест. Как съедутся в Мазеповку, поставят свои балаганы на ярмарке — глаза разбегаются гляючи. К тому же приезжие — большие мастаки по части торговли; местным лавочникам приходится крепко подпоясаться, чтобы выдержать беспримерную конкуренцию. Вот почему между мазеповцами и приезжими часто возникают ссоры. Мужчины тогда обмениваются ругательствами, а женщины суют друг другу дули под нос. Нередко дело доходит и до драки.

Зато, когда придет святая суббота и ярмарка утихнет, снова наступают мир и благоволение. Забыты оплеухи и дули, и все вместе дружно идут в синагоги слушать мазеповских канторов. Там приезжих принимают, как самих дорогих гостей, уступают им лучшие места и вызывают к чтению торы. Конечно, это делается не столько ради самих гостей, сколько ради их пожертвований, из которых потом складывается кругленькая сумма. К такой субботе Шмулик готовится особенно тщательно. Он старается изо всех сил ради приезжих, и Йоселе тоже показывает свое уменье, так что все пальчики облизывают. Гости, бывая в других городах, рассказывают потом:

— Послушали бы вы мазеповского кантора! Голос на удивление! А помогает ему сынишка, мальчик лет двенадцати; голос тонюсенький, поет, как дудочка. Ну, прямо умереть можно от удовольствия. И ведь где? В Мазеповке!

Вместе с другими в Мазеповку наезжал один купец из Тетерева. Был он, видать, знатоком по части канторов и вообще смыслил в пении, потому что, слушая Шмулика, он постоянно, склонив голову набок и прикрыв глаза, притопывал в такт ногой. После богослужения он задерживался в синагоге и затевал с Шмуликом разговоры насчет канторов. Приезжий этот любил похвалиться тетеревецкими канторами, при этом выказывал знание и вкус по части пения: «Послушали бы вы, как у нас в Тетерева поют!» К Йоселе приезжий отно-

сил ся весьма благосклонно. Ущипнув его за щеку, он как-то сказал, что, если мальчик будет дальше петь, у него выработается замечательный голос. Ему бы только изучить ноты. Если бы он со своим голосом попал к Мици, из него вышел бы настоящий человек.

Шмулик слушал этого приезжего с горькой усмешкой. «Да, — думал он, — но где взять наличные?» А Иоселе при этих разговорах даже облизывался, сердце чуть не выпрыгивало у него из груди от радости. В такие минуты он всей душой уносился в Тетеревец, к Мици.

Иоселе этот приезжий стал очень дорог и мил. Он видел в нем своего избавителя, посланца божьего. Сам он, его счастье, вся его жизнь были в руках у этого человека.

А ярмарка есть ярмарка, она шла своим чередом: приходилось трудиться, разговаривать с множеством людей, вести торговлю. Иоселе, как всегда, стоял у Златы в лавке, следил за всем, подавал что нужно, ходил куда пошлют, помогал складывать и разбирать товар, и делал все это с большим усердием. За все это время он ни словом не обмолвился с Эстер насчет Тетеревца и приезжего, боялся даже заговорить об этом. Когда он замечал, что Эстер беседует с приезжим, он поспешно отходил в сторону, а сердце у бедняги так и колотилось. «Господи, — молил Иоселе, — вложи в него благие намерения, пусть возьмет меня с собой!»

А Эстер тем временем старалась вовсю. Она уже переговорила с купцом, и тот согласился свезти Иоселе в Тетеревец за свой счет. Осталось еще нелегкое дело — уговорить Шмулика и Злату. Как ни угнетала Шмулика забота о сыне, он не мог решиться на разлуку с ним: «То есть, как это можно отпустить от себя ребенка!» А тут еще вмешалась мачеха: ей было непонятно, зачем вообще возиться с этим сорванцом? Да и Злате все это было не по душе: взять мальчонку, которому еще и тринадцати нет, и забросить неведомо куда, на чужбину, оставить у незнакомых людей?! Однако Эстер все преодолела и добилась своего — ей удалось уговорить и собственную мать.

Как только закрылась ярмарка, Иоселе тут же схватил узелок и в добрый час отправился в Тетеревец. В то утро сердце у мальчика трепетало от радости. Он был преисполнен глубокой признательности к Эстер,

и если бы не стыд перед людьми, обнял бы ее и поцеловал.

Можно ли передать чувства, которые питал Иоселе к Эстер, к своему истинному, верному другу?! Словами этого не выразишь. Такие чувства выдают только слезы. Когда Эстер пожелала Иоселе доброго пути, он как-то странно заморгал глазами, спрятал лицо и, как бы поперхнувшись, чуть слышно ответил: «Будь здорова». Эстер заметила, что глаза его влажны от слез, от слез, которые, конечно, рождены были счастьем. И смотрели эти глаза в далекую даль, на тот большой и просторный путь, который предстояло проделать ему в жизни.

IX

Кантор Мици слушает пение Иоселе и приходит в восторг

Пока они не миновали гребли, границы Мазеповки, Иоселе все еще не верилось, что он едет в Тетеревец. Он привставал, оборачивался назад, боясь, как бы его не вернули обратно домой. Мало ли что бывает! Вдруг мачехе взбредет в голову воротить его. Только у ветряков за лесом Иоселе понял, что он все-таки едет, и на сердце у него стало так радостно, как у человека, который вырвался из мрачного, тесного каземата на милые, вольные просторы. Глядя на приближающуюся рошу, Иоселе вспомнил о своем рае, из которого его с таким позором изгнали, и рассмеялся: «Тоже мне событие — лесок! Подумаешь! Вот в Тетеревце, там настоящая жизнь!» Одного Иоселе никак не мог понять: фургон полон людей, едут все в Тетеревец, и о чем же они говорят? О ярмарке, о выручке, о мазеповских покупателях! Есть же такие дикари на свете!

Тетеревец, как представлял себе Иоселе, — это такое место, где все кругом поет и радуется. Люди разгуливают празднично, без всякого дела, ходят в обнимку; не ссорятся, не поедают друг друга живьем, как в Мазеповке; никого не занимают такие пустяки, как ярмарка, покупатели, выручка, заработки; все ходят нарядные, лица сияют, глаза блестят, живут как в раю, совсем как на том острове, который лежит по ту сторону моря-океана, где круглый год лето и люди никогда не уми-

рают, как рассказывали Иоселе приятели в хедере. А кроме всего прочего, ведь там Мици! Шутка сказать, Мици!

В таких думах Иоселе провел всю дорогу, почти не замечая ни сел, ни местечек, которые они миновали во время путешествия. Иоселе тем и отличался от своих товарищей, что постоянно пребывал в каких-то грезах, уносился в заоблачные дали, и мир виделся ему совсем иным, чем его друзьям — мальчишкам. Он жил больше вымыслом. Стоило ему послушать какую-нибудь историю, как воображение сразу рисовало ему необычайные, странные картины; стоило углубиться в себя, как думы уносили его неведомо куда, в какой-то фантастический мир. Сидя в хедере рядом с другими мальчишками над Талмудом или занимаясь дома каким-нибудь делом, он обычно ничего вокруг себя не видел и не слышал. Душа его была в это время неведомо где, в ушах звучали чудесные мелодии. Можно было три раза подряд повторить ему одно и то же, и он все равно ничего не понимал. За это ему частенько попадало. Даже Эстер, которая была ему как сестра, не раз замечала, что до него будто не доходят ее слова. Из всего этого легко понять, что так как вещи постоянно представлялись ему какими-то необычными, они позже делались заурядными, ничтожными, быстро надоедали.

На третий день поутру Иоселе почувствовал, что фургон затрясло и он грохочет так, будто они катят по камням. Глазам его открылась чудесная панорама — вокруг были высокие, белые дома под железными, крашеными крышами, просторные, красивые дворы, обсаженные деревьями. «Видимо, это и есть Тетеревец», — подумал Иоселе.

— Возьми свой узел! — сказал в это время мануфактурщик, передавая Иоселе платок, в который были увязаны его филактерии*, молитвенник, субботний сюртучок, две нижние рубашки да оставшийся с дороги кусок черствого хлеба. — Вот здесь живет Мици. Слезай и попроси его от моего имени, чтобы он тебя принял. А завтра приходи ко мне.

Фургон покати́л дальше, а Иоселе с узелком в руках остался подле большого дома, не зная, куда ему податься.

— Кого тебе, мальчик? — спросила простоволосая женщина, высунувшись из окна нижнего этажа.

— Мне нужно к Мици, — ответил поспешно Иоселе. — К кантору Мици.

— Потрудись сойти по тем ступенькам, а там свернешь направо, — ответила с усмешкой женщина.

Иоселе никогда не видал такой большущей лестницы и сроду не спускался так глубоко вниз. Прежде всего он попал в темный коридор, а потом вошел в очень хорошую комнату с крашеными полами. Здесь были красивые стулья, висело большое зеркало. По тогдашним представлениям Иоселе, все это было великолепно. Откуда-то доносились чудесные звуки. Иоселе различал низкие, совсем низкие голоса, среднего тембра, высокие и высокие до визга. И все это сливалось в цельную гармонию, совсем так, как Иоселе когда-то слышал в Мазеповке, когда Пици пел у них в сопровождении своего восемнадцатигласного хора. Потом все смолкло, и только один голос повел чистую, прозрачную мелодию. Постепенно голос затихал, слабел и наконец совсем замер. Иоселе как замороженный недвижно стоял посреди комнаты и слушал. Не заметил он перед собой и той самой женщины, которая указала ему квартиру Мици.

— Поди вон туда, в ту комнату! — указала женщина.

Иоселе открыл дверь и сразу увидел множество юношей и мальчиков. Они стояли шеренгой, точно солдаты, и глядели в какие-то большущие книги. Один из них держал в руке палочку. А отдельно на стуле сидел самый обыкновенный человек, с самой обыкновенной рыжей бородкой клином.

— Что скажешь? — спросил его совсем просто этот человек.

«Неужто это сам Мици?» — подумал Иоселе.

— Мне нужно видеть кантора Мици. Мне нужно передать ему привет.

— Привет? — спросил Мици. — От кого?

— От одного местного мануфактурщика. Я с ним приехал сюда.

— От местного мануфактурщика? — переспросил Мици. — Как его зовут?

— Как его зовут? — повторил Иоселе. — Эх, совсем забыл спросить, как его зовут и где он живет.

Комната грохнула раскатистым смехом, точно ударил орудийный залп. Смеялись певчие, смеялся сам Мици, глядя на растерявшегося Иоселе. На нем был

разодранный, заплатанный сюртучок, сапожки стоптанные, кожа на них потрескалась, фуражка была без козырька, и в руках он держал узелок. Но лицо у мальчика было красивое, волосы вьющиеся, а большие карие глаза ярко светились, точно внутри там горел огонек.

— Скажи мне, кто ты и откуда взялся? — обратился к нему Мици с ободряющей улыбкой.

— Меня зовут Иосел, я — сын кантора Шмулика из Мазеповки, — ответил не без гордости мальчик. — Привез меня один здешний мануфактурщик, наш знакомый, чтобы устроить певчим к кантору Мици.

— Вот оно что! — проговорил Мици. — Что ж, положи узелок и подойди ближе. Послушаем, как ты поешь.

Вначале Мици проверил, знает ли он ноты. Увидев, что мальчик понятия не имеет о нотах, кантор велел ему просто спеть что-нибудь. Иоселе решил, что надо исполнить какую-нибудь цельную вещь, и начал петь новогоднюю молитву «Восемнадцать благословений». Певчие тут же прикрыли руками рты, чтобы не видно было, как они заливаются. Но постепенно смех стихал, лица становились серьезными. Изумленные певчие переглядывались, не понимая, что здесь происходит: настолько необычен был голос Иоселе. Мици подпер голову рукой, впился в Иоселе глазами и раскрыл рот, точно собирался проглотить его тут же на месте. С тех пор как он знал с певцами, он никогда еще такого пения не слышал и даже не представлял себе, что так можно петь. Иоселе, в отличие от многих, пел без всякого напряжения, не драл горло, не тратил сил попусту; из его уст сами собой лились чудесные, пленительные, бархатистые звуки, шедшие из сердца, из самых его глубин, и покоряли всех кругом. При этом в его пении ощущалось и большое мастерство. Легко переходил он от низов к верхам и обратно, рассыпаясь такими трелями, что все застыли на месте, не понимая, откуда у этого мальчонки такое уменье.

Когда Иоселе умолк, Мици вскочил со стула, и, ухватившись обеими руками за голову, забегал по комнате, выкрикивая, как помешанный:

— Ай-яй-яй-яй! — Потом он кинулся к Иоселе. — Нет, скажи мне, кто ты такой? Откуда ты взялся? Чей ты есть?

— Да ведь я вам уже сказал, — простодушно ответил Иоселе. — Я Иосл Шмуликов из Мазеповки. Приехал к вам устраиваться певчим.

— Певчим? — воскликнул Мици. — Ай-яй-яй-яй! Певчим, говоришь ты? Мирл, поди-ка сюда! Мирл!

На его зов в комнату вошла та самая женщина, которая указала Иоселе, где живет кантор. А Мици, тыкая пальцем в Иоселе, громко кричал:

— Видишь этого мальчонку? Это сын мазеповского кантора. Приехал поступать ко мне певчим. За всю мою жизнь, с тех пор как я имею дело с певцами, я еще такого голоса не слышал. Нет, Мирл, это невероятно! Неслыханно! Невиданно, говорю тебе! Послушай, тебя зовут Иосл? — спросил он, хлопнув мальчика по плечу. — Иоселе, я беру тебя. Ты останешься у меня. Мирл, ему надо сшить новый сюртучок, придеть лучше. Иоселе, ты, наверно, проголодался? Мирл, накорми его! Нет, ты послушала бы, как он поет! Что тебе сказать? Чудеса, да и только!

Х

Новое место, новые люди, новые беды

Тетеревец для Иоселе был первое время новым раем. Прежде всего он разузнал, где здесь находится синагога, а когда вошел туда, то вообразил, что он в храме Соломона. Он увидел необыкновенно высокий расписной потолок, а по бокам лепные стены, на которые мастер не пожалел красок и изобразил на них всякую всячину: музыкальные инструменты, яблоки, груши, зеленые огурцы, горящие огнем половинки арбузов, которые сами просились в рот. Иоселе казалось, — чудесней, лучше этого ничего на свете не может быть. Что уж говорить про первую субботу в синагоге, когда Мици со всеми своими певчими (конечно, Иоселе был среди них) стал у амвона и хор грянул утреннюю молитву в том духе, в каком ее обычно исполняют в хоральных синагогах! Иоселе почувствовал, как мороз подирает по коже и волосы на голове дыбом становятся. Иоселе не узнавал своего голоса — так звенел он в этом высоком, красивом здании.

Все в городе было для Иоселе в новинку. Первое время он беспрестанно ходил по улицам, задрав голову

и придерживая рукой шапчонку, чтобы она не свалилась, и от всего приходил в восторг. Об одном лишь жалел он, что рядом с ним нет Эстер и она не видит всех этих диковинок. Сердце его было переполнено благодарностью к создателю, который благополучно привел его в такой замечательный город.

Понятно, со временем Тетеревец потерял в его глазах свою прелесть, так как он стал привыкать к нему. К тому же на новом месте Иоселе начал испытывать те же беды, что и в Мазеповке, только на другой манер.

Мици с первой же минуты симпатизировал мальчику, относился к нему благожелательно, супруга же, наоборот, косилась на него холодно и неприветливо, а позже начала обходиться с ним почти так, как мачеха в Мазеповке. Но все это не так угнетало Иоселе, как неприятности, которые причиняли ему товарищи по хору. Это были молодчики, собранные со всяких мусорных свалок, сбежавшиеся из разных мышиных нор. Редко встречался здесь мальчик поприличней, из порядочной семьи. Большею частью это были пустые, никчемные парни, страшные ябедники. Они терпеть не могли Иоселе, завидовали ему, часто наговаривали на него кантору, выслеживали, копали ему яму, но все это не мешало им выуживать последнюю копейку из его карманов. А деньгами Иоселе частенько снабжал мануфактурщик, который привез его в Тетеревец. Этот торговец красным товаром, его звали Бенця Лейбцин, иногда приглашал его к себе в субботу или на праздники, заботился о нем и три раза в году, возвращаясь с ярмарки, передавал ему сердечные приветы из дому. Эти приветы были Иоселе много дороже денег или какого-нибудь его обеда. А если Бенця Лейбцин привозил к тому же письмо от отца, то лучшего подарка мальчик и желать не мог. На эти письма Иоселе обыкновенно отвечал одно и то же: что, слава богу, жив, здоров, идет стезею праведников, придерживается заветов отца, не свернул с пути истинного и ведет себя точно так, как дома, ничуть не иначе; ходит каждый день в синагогу, молится и читает псалмы; учится также писать и исполняет в точности все, что отец наказал ему перед отъездом. Он надеется с божьей помощью вскоре благополучно вернуться домой и воочию увидеть всех здоровыми и веселыми. Аминь. При этом он просил передать приветы праведнице Злате — да живет она! — и дочери Эстер — да живет...

Стоило ему вспомнить Эстер, как его начинало тянуть к ней в Мазеповку, и он не мог себе дать отчета, почему так происходит. Эстер крепко запала ему в душу, совсем как родная сестра, и ни по ком он так не скучал, если не считать отца, как по ней. Наибольшим праздником для него было, когда Бенця Лейбцин передавал письмецо, где ее собственной рукой было приписано приветствие ему. Эти строки он перечитывал десятки раз, крепко прижимал письмо к груди, будто малое дитя, дорогое, любимое. Как его влекло когда-то из Мазеповки в Тетеревец, так теперь его тянуло обратно в Мазеповку, даже сильнее. Если бы Мици не удерживал его, согласился бы отпустить, Иоселе, наверное, давно уехал бы домой. Мици, однако, крепко полюбил его, носился с ним, как с каким-то сокровищем, хвалился каждому своим певчим:

— Только у меня можно найти такое чудо! Если я захочу, то любого человеком сделаю!

Эти разговоры как-то услышал бывший певчий Мици, некий Гедаля-бас, и крепко обозлился. Этот Гедаля уже сам где-то был теперь кантором. Однажды, проезжая мимо Тетеревца, он, как полагается доброму знакомому, зашел к Мици, — как-никак когда-то ел его хлеб. Здесь он услышал, как Иоселе поет, и уже не отходил от него ни на шаг. Гедаля все старался застать Иоселе одного. И вот однажды Гедаля застучал его у Бенци Лейбцина и взял его в оборот. Вначале он все выпрашивал, выпытывал тихонько, делал неясные намеки, наконец заговорил прямо о том, что Иоселе нет никакого резона даром петь у Мици и к тому же еще быть на побегушках у Мицихи.

— Такого злодейства свет не видывал! — говорил Гедаля-бас. — Взять ребенка, закрепить его, сделать своим вечным рабом и после этого похвалиться всем и каждому чужим голосом! Прямо с души воротит, когда слышишь это. К тому же, какая наглость — заставить служить Мицихе! И это сына реб Шмуела! Ну и ну! Разве я не знаю твоего отца! Да и кто не знает реб Шмуела — мазеповского кантора. Хорошее дело! У тебя что же, голоса нет? Петь не умеешь? Нот не знаешь? Нет, глупенький, кроме шуток, у меня для тебя есть место, такое место, что и родной отец скажет, что это клад для тебя. Гм... Я говорю: клад? Но зачем тебе клад? Ты и сам

клад! Знаешь ли ты это? А не знаешь, глупенький, спроси меня, я тебе скажу.

И Гедалья-бас стал изображать, как Иоселе будет счастлив, если он бросит Мици и поедет с ним, Гедальей, как в свое время отправились путешествовать по свету известные всем Арке-скрипочка, Виленский Молодожен и им подобные знаменитости, добившиеся мировой славы.

В сознании Иоселе тотчас всплыли прекрасные картины, которые виделась ему в былые времена, и он готов был тут же всей душой довериться этому чудесному, этому честному, этому верному человеку.

— Об одном только я хочу вас просить, реб Гедалья, — сказал Иоселе.

— Проси, дитя мое.

— Я хочу сначала побывать дома, повидать отца, друзей.

— Ах, пожалуйста! Как же иначе?! — вскрикнул Гедалья-бас. — Как же иначе? Сказано ведь — чти отца твоего. Эге, да ты совсем еще дитя, как я посмотрю. Кто еще ближе, чем отец родной!

Этими речами Гедалья-бас окончательно завоевал сердце Иоселе, и мальчик решил бесповоротно: надо ехать домой! Прошло три года. Хватит маяться на чужбине. Пора, право же, пора!

При прощании с Мици и товарищами по хору был и Гедалья-бас. Он журил Иоселе за то, что тот покидает такое замечательное место, и советовал ему, как родной отец, поскорей вернуться, потому что здесь его дорога, только здесь он станет человеком. Мици по-настоящему жалко было расставаться с Иоселе. Он обнял его, как родного, поцеловал, пожелал прибыть домой в добром здравии и просил передать привет отцу, которого он, правда, лично не знает.

— Всего вам хорошего! — кричал Иоселе, забираясь в фургон, где уже сидело много пассажиров, и размещаясь получше для трехдневного пути. — Будьте здоровы! Будьте здоровы! — кричал он снова и снова, высываясь из фургона.

Наконец упряжка тронулась и, громяхая, покатила по булыжной мостовой, позвякивая колокольцами: «дзиль-дзиль-дзиль». Иоселе чуть не подскакивал от радости при мысли, что он едет домой. Громяханье, стуки, звон колокольцев усыпляли Иоселе, а думы уже несли его туда, в Мазеповку, домой, домой...

*Иоселе приезжает домой, и Мазеповка дивится:
«Как большой город может изменить человека!»*

Одну вещь мазеповцы никак не могут понять: почему каждый, кто покинет их город и поедит по белу свету, возвращается совсем другим человеком? Мазеповцы разглядывают, ощупывают его и приходят в изумление: «Кажется, ничего особенного! Тот же самый, что и был, — и все же не тот! А помните, как он бегал босиком? Чудеса господни! Как большой город меняет человека!»

Разглядывая сына Шмулика после его возвращения из Тетерева, где он, как известно, пробыл целых три года, мазеповцы сильно дивились и никак не могли уразуметь, как это могло случиться, что мальчика преобразил в такой короткий срок. Мальчик Иоселе превратился в юношу. Он уже совсем самостоятельный, смысленный парень, хотя ему не более шестнадцати. Одно удовольствие на него поглядеть: «Во что большой город превращает человека!» Все знали, что Шмулик отдал своего сына певчим к Мици, но никто не ожидал, что Иоселе, который совсем недавно разносил прихожанам «шалахмонес»*, так преобразится, станет человеком. Но если от всего этого в восторг приходили совершенно посторонние люди, как же должен был ликовать родной отец!

Это было в канун субботы. Шмулик как раз парился в бане, когда ему сообщили радостную весть о приезде сына. Он отшвырнул в сторону шайку и веник, быстро оделся и побежал домой. Здесь он, попарившийся, прибранный, прежде всего помыл руки и лишь после этого поздоровался с Иоселе, обнял его, расцеловал и принялся оглядывать сына с ног до головы. Иоселе за эти три года, как говорится, оперился. Он и раньше был пригож, у него были красивые карие глаза, милое личико. Это был умный занятный мальчик. Однако от постоянной нужды и бедности лицо его имело зеленоватый оттенок: он, как и многие другие мальчишки его достатка, выглядел тогда пришибленным, бесприютным. Теперь же Иоселе, по-видимому, хорошо отъелся у Мици в Тетерева, обрел румяные щечки и веселое выражение лица. К тому же одет он был как никогда у своего отца. Шму-

лик не мог нарадоваться на своего сына и изумленно твердил, как и другие мазеповцы: «Как большой город меняет человека!»

— Как же ты поживаешь? — спросил Шмулик, присаживаясь с сыном у стола и поглядывая на его отличный сюртучок, красные щечки и зачесанные виски.

— А ты как поживаешь, папа? — ответил, как водится, Иоселе вопросом на вопрос. Он никогда так свободно не разговаривал с отцом.

Шмулик удивленно поглядел на сына. Эта вольность сначала не очень понравилась ему; он никогда еще не слышал, чтобы сын так отвечал отцу.

— Что и говорить! Живем как всегда, — сказал Шмулик, надевая шелковый субботний сюртук и собираясь в синагогу. — Как там поживает Мици?

— Как поживает Мици? — протянул Иоселе совсем как большой. — Желал бы тебе хоть половину его успехов.

Иоселе видел, как отец состарился за эти три года, как поседел и согнулся, видел его сморщенное лицо, большие потухшие карие глаза, и сердце плакало в нем от боли. Он готов был, кажется, жизнь за него отдать. Шмулик, со своей стороны, был до того взбудоражен неожиданной радостью, что долго не мог справиться со своим сюртуком и еле нашел в нем рукава. Даже мачеха, увидя Иоселе, остановилась посреди комнаты изумленная: «Что ты скажешь! Вроде человеком стал!»

Приезд сына так разволновал Шмулика, что он, разговаривая с Иоселе, забрался бог весть в какие дебри, стал вдруг толковать о тетеревецких жителях, про улицы и дома в Тетеревце, хотя все это интересовало его, как прошлогодний снег. А Иоселе почудилось, что отца и в самом деле занимает Тетеревец, и он, захлебываясь, принялся описывать широкие мощеные улицы, огромные дома, от которых голова кружится, как поглядишь, и все прочие диковинки, которые ему довелось повидать. Шмулик же, наблюдая, как сын жестикулирует, вслушиваясь в каждое его словечко, таял от восхищения.

Внезапно он спохватился:

— Да ведь уже помолились над зажженными свечами! Давно пора в синагогу!

В городе сразу стало известно, что сынок Шмулика возвратился из Тетеревца. Едва окончилась вечерняя

молитва, как все полезли к Шмулику с поздравлениями: «С дорогим гостем вас!» Каждый совал Иоселе руку и при этом разглядывал, какой он из себя. Самые почтенные горожане, богатеи тоже подходили к Шмулику, расспрашивали его о сыне: где он был, что делал, надолго ли приехал и что собирается делать дальше. Один из них, Алтер Песин, предложил:

— Было бы, реб Шмулик, совсем недурно, если бы ваш сынок зашел ко мне завтра на исходе субботы и спел бы что-нибудь, а мы послушали бы. Ведь говорят, он поет — заслушаешься!

— Отчего ж не спеть? Что и говорить! Пожалуй-ста, — сказал Шмулик, поглядывая на сияющего Иоселе, которого засыпали со всех сторон приветствиями.

— А я бы сказал вот что, — отозвался какой-то прихожанин, — пусть ваш сынок подарит нам завтра полуденную молитву и благословит новолуние. Говорят, он замечательно поет. Айзик-Берл Фейгин, который ехал с ним в фургоне, слышал его пение и теперь не нахвалится.

— И в самом деле! Ну чего же, ей-богу? — подхватило несколько человек. — Будет очень правильно, если он споет у нас. Велите ему, реб Шмулик. Жалко, что ли? Ведь это вам ничего не стоит!

— Тэ-э, — проронил Шмулик, поглядывая на своего Иоселе, после чего довольные прихожане стали расходиться по домам.

В ту пятницу Злата и Эстер замешкались в лавке, а придя домой, услышали от Эфраима и Менаше радостную весть о приезде Иоселе.

— Поглядела бы, мама, как он вырос! — наперебой кричали ребята. — Страх каким большим стал!

Для Златы это была очень приятная новость, а для Эстер тем более. Она быстренько умылась, оделась по-праздничному, то есть просто, но чисто и аккуратно; платье было ей к лицу, она прямо сияла в нем. Эстер не имела привычки наряжаться, напяливать на себя всякие тряпки, нацеплять всякую чепуху, натягивать на себя черт знает что, как это делают мазеповские модницы. Среди мазеповских расфуфыренных девушек и разодетых дамочек Эстер была единственной, которой мода не коснулась.

Увидев в окно, что люди уже возвращаются из синагоги, Злата и Эстер вышли навстречу Йоселе и Шмулику. Был светлый летний вечер, какой бывает в начале июня, когда даже известное всему миру мазеповское болото пересыхает, когда даже в местечко ветерок доносит сладкие запахи зеленой травы и свежих листьев, когда слышится нежное шелканье соловья, живущего в монастырском саду. Эстер еще издали узнала Йоселе, и у нее учащенно забилось сердце. Шмулик остановился, пожелал Злате и Эстер доброй субботы, а они, в свою очередь, поздравили его с гостем. Шмулик рассказал им, какую честь оказали Йоселе прихожане, пригласив его петь завтра субботнюю молитву у амвона. А Йоселе тем временем подошел поближе к Эстер и при свете народившегося месяца и бриллиантовых звезд, которые отражались в ясных глазах девушки, разглядывал ее. Его так влекло к ней, что он готов был схватить ее за руку, если бы тут не было отца и Златы. После трех лет разлуки Йоселе очень хотелось в эту чудную летнюю ночь остаться с Эстер с глазу на глаз, и ему никак не хотелось идти домой, читать «Кидеш» перед субботней трапезой, ужинать и затем вместе со всеми лечь спать.

А ночь была так светла, так тепла, так чудесна! Вся природа ощущала величие субботы. Месяц сиял, будто серебряный светильник, звезды горели, как возжженные в праздник свечи, а она, прекрасная невеста-суббота, предавалась отдыху и радовалась вместе со всеми мазеповцами. Притихли улицы в городке — всюду суббота. Во всех окнах горели свечи, а от света мельтешило в глазах. Мазеповцы были уже дома. Они встречали субботних ангелов, но тотчас же выпроваживали их в постоянную обитель. В воздухе плавал вкусный запах свежей халы и аромат фаршированной рыбы. Люди вкушали пищу, наслаждались еврейской кухней.

А Шмулик все еще стоял на улице и беседовал с Златой и Эстер о приезде сына. Старые, потухшие глаза его на мгновение загорались прежним огнем, и лицо сияло при свете месяца. Он поминутно выражал свою радость, свое счастье вздохами. Злата хорошо понимала его. Она и сама восторженно глядела на Йоселе и чувствовала гордость за него, будто это ее дитя родное. А Йоселе подвигался все ближе к Эстер. Он смотрел ей в глаза, а она под его взглядом опускала свои

длинные ресницы, и Иоселе не понимал, почему она так смущается сегодня. Не хотелось ему уходить отсюда, ох, как не хотелось! Но отец сказал: «Пойдем, Иоселе, сотворим «Кидеш!»» И бедняга вынужден был пойти. Перед уходом Иоселе еще раз обернулся к Эстер, снова встретился с ней взглядом, и этот взгляд остался в памяти обоих надолго. Всю ночь Эстер видела этот взгляд, он не покидал ее ни на миг, будил в ее сердце самые разнообразные чувства; ее фантазия рисовала такие прекрасные, светлые картины, навевала такие чудесные сладкие сны, о которых Эстер до той поры и понятия не имела.

XII

Иоселе поет в Холодной синагоге и приводит людей в восторг

Холодная синагога, где Шмулик вот уже более двадцати пяти лет был кантором, не была рассчитана на большое количество верующих. При ее преклонном возрасте и обветшалости было вполне достаточно, если она вмещала только своих постоянных прихожан. Да и они не всегда были довольны синагогой, — каждому хотелось иметь место получше, у восточной стены или хотя бы поблизости от нее. Постоянные молещики никак не могли договориться о местах в синагоге, о призыве к чтению торы и еще о многих важных для них вещах. Как же обижаться на них, если они не хотели пускать весь город, внезапно хлынувший к ним в синагогу в ту субботу, когда Иоселе должен был петь у амвона? Они заранее договорились между собой: сразу же после утренних молитв запереть синагогу и никого не пускать, будь то даже собственный отец синагогального старосты. Но, с другой стороны, разве это справедливо? В чем провинились прихожане других синагог? И вообще, что за самоуправство? Как можно запереть святое место?!

Вокруг Холодной синагоги толпа с каждой минутой становилась все гуще. Сюда явились из всех синагог, большей частью молодежь — парни, ребята. Они колоутили в дверь до тех пор, пока она наконец не приоткрылась и оттуда выставилась рыжая борода — это шамес высунул голову, чтобы обругать собравшихся и унять их.

— Вон отсюда, поганцы, бездельники, шалопаи! — кричал служка, топая ногами и размахивая кулаком. — Пошли отсюда, дармоеды!

Но тем только того и надо было. Толпа хлынула разом, сорвала дверь, шамеса загнала в угол, и там его как следует отхлестали по щекам. В синагоге сразу стало так тесно, что люди буквально лезли друг другу на голову. Да и снаружи синагогу обложили толпы народу. Город кипел, творилось что-то невероятное. Как же, Иоселе благословляет новолуние, будет петь у амвона!

Иоселе облачился в талес, поднялся на возвышение, готовясь петь, и окинул взглядом толпу. Разгоряченное лицо его сияло из-под талеса. По толпе прошел шепоток, а женщины наверху разом кинулись к окошечкам. Собравшиеся неистовствовали, толкали друг друга, подвигаясь поближе к возвышению, чтобы лучше разглядеть молоденького кантора. Солидные люди стали стучать о юпитры, требуя тишины. Все зашикали: «Тише! Дайте послушать!»

Иоселе выпрямился, откашлялся, как заправский кантор, и, когда в синагоге стало совсем тихо, прозвенел своим прекрасным голосом: «Да низойдет с небес освобождение!» И по толпе разом пробежал холодок, заставивший каждого вздрогнуть и на мгновение застыть, оцепенеть. Лишь когда Иоселе, кончив молитву, произнес «аминь» — все очнулись. Послышались возгласы изумления. Люди переглядывались, поводили плечами. Они забыли, что во время молитвы о наступлении нового месяца надо помнить о дне новолуния. До новолуния ли тут! Кому оно нужно! Синагога все еще наполнилась трелями соловья. Звуки растекались по всем жилочкам, обласканное сердце притихло, будто елеем облитое, душа замерла от восторга.

Какое там новолуние! При чем тут новолуние!

Иоселе снова запел, и казалось, будто десятеро запело вместе с ним; Иоселе залился, и казалось, заиграла целая капелла музыкантов. Вот он разом возвысил голос, и будто десяток голосов поддержало его, один другого лучше, один другого звончей, так что даже стекла в окнах задрожали. А вот он снизошел до шепота, голос замер, затих, чуть слышен. Льется сладостное воркованье, звуки такие чистые, такие прозрачные, такие мягкие, будто ласкает тебя, убаюкивает душу, расслабляет тело. А потом Иоселе вновь взял громче,

и будто сразу заиграло множество скрипок, загремели трубы и флейты. Он открыл рот, и плывут звуки, наполняя синагогу такими мелодиями, каких никто еще не слышивал. Даже слывшие знатоками люди не видали такого кантора и не слышали такой жаркой, такой сердечной, такой задушевной молитвы.

При словах: «Да благословит он всю эту святую общину», — Иоселе простер руки, точно указывая на толпу и моля бога за этих людей, стоящих перед ним, за их жен, сыновей и дочерей их; и все это, воздев очи, со скорбным ликом отчеканивая каждое слово и исторгая его из самых сердечных глубин. А при словах: «Тот, кто подает кусок хлеба страннику и милостыню нищему», — он сделал такое горестное лицо, точно напоминал собравшимся, что есть люди, которые нуждаются в куске хлеба, что есть нищие, которые ждут подавания, — и тут он, по своему обыкновению, залился, молитвенно повторяя все это несколько раз. А вслед за этим он тотчас перешел на иной манер, показывая все свое мастерство, все свое уменье, так что люди прямо-таки ошалели, стояли точно зачарованные, не зная, что с ними творится, и долго еще не могли прийти в себя. Только уже после освящения новолуния, во время тихой молитвы «Восемнадцати благословений» прихожане стали переглядываться, переговариваться между собой знаками: «Ну, как?» Молитву прочитали наскоро и стали ожидать, что же еще преподнесет им Иоселе.

К гимнам все заранее приготовились, то есть хорошенько откашлялись, привели в порядок носы и настрожили уши. И Иоселе исполнил для мазеповцев гимны так, как даже дедам их не снилось. Это была чистая импровизация, которую может создать фантазия певца лишь один раз в жизни, больше она уж не повторится. Творение это словами не передать, нотами не схватить, и идет оно от сердца к сердцу; язык его всем понятен, и каждый может толковать его по-своему. Иоселе пел легко и свободно, уснащая пение всевозможными фиоритурами, закручивая вихрем звуки, переплетая их, растекаясь по октаве, перескакивая с одной октавы на другую, мастерски добираясь до самых-самых верхов. Те, кто слушал эти гимны, клялись потом, что при словах «сонм горний ангелов», в выси реяли херувимы, а внизу всколыхнулись люди, и все вместе они пели гимны, возвещая сладостно один другому: «Свят, свят, свят!»

Иоселе кончил словами: «Я вызволил вас» — во весь голос, величественно. Казалось, это возгласил не кантор, а пророк, который вещает именем бога. Он обещал, бодрил, призывал не падать духом, так как бог велик и всемогущ.

Иоселе умел выразить голосом глубокую мысль, большое чувство, способен был извлекать из своего горла редкой красоты звуки, сладкие, как сахар, чистые, как елей, возвышенные, как небо, глубокие, как море, сверкающие, точно ясное золото. Будто от сладкого сна пробудились люди, точно от райского миража оторвались, когда Иоселе кончил гимн и запел дальше уже другим голосом и совсем по-иному.

При словах: «Да будет, господи, воля твоя», — Иоселе воздел очи горе и вознес мольбу создателю: «Возврати нас в радости в страну нашу... и посели нас в пределах этой страны». Теперь в его голосе послышалась такая горестная мольба, такие душераздирающие, скорбные звуки, что его больно было слушать, и на глазах у многих навернулись слезы. Люди всплакнули немного, распустили нюни пред своим богом, будто любимые детки, избалованные, изнеженные, единственные.

— Ну и Иоселе! Ну и поет! — повторяли все, возвращаясь из синагоги, и пробирались поближе к Шмулику, чтобы пожелать ему доброй субботы и сказать: «Ну и Иоселе! Ну и Иоселе! До конца жизни не забудем это пение! Навеки запомним! Навеки!»

— Это какое-то нечеловеческое горло, какой-то нечеловеческий голос! — восторженно восклицали слушавшие его, уже сидя у себя за столом. — Не иначе как у него там какая-то дудочка! Это какая-то птица певчая! Соловей! Ну да, настоящий соловей, вот что.

XIII

*Горожане поздравляют кантора с гостем,
а соловей заливается вовсю*

Обычай «поздравлять с гостем» сохранился в Мазеповке и поныне. Когда к кому-либо приезжает желанный гость, добрые друзья посылают хозяину к субботнему столу бутылку вина или меда, и это называется «поздравить с гостем».

В ту субботу двери у Шмулика не закрывались ни на минуту: один входил, другой выходил. То явились от богача Абе-Меера, то от Мендла-большого, то от Менаше-рыжего, то от Янкла-черного. Шмулик каждому посланцу говорил примерно так: «Слышишь, девочка! Скажи своему папе, пускай он доживет до свадьбы своей старшей дочери, и тогда мы его тоже угостим добрым вином». Или: «Слышишь, мальчик! Скажи своему папе, бог даст к твоему тринадцатилетию...» И так далее. Лицо у Шмулика пылало от радостного возбуждения, а потухшие глаза вновь зажглись былым огнем. В субботу он, можно сказать, был на седьмом небе. Даже его благоверная, от которой он не слыхал доброго слова с той самой поры, как узнал ее, тоже расчувствовалась и по-своему выказала свое расположение гостю. Она испекла два кугеля* сразу — один из лапши, в честь субботы, другой — слоеный, с изюмом — в честь гостя.

— Ну-ка, — сказала она со сладенькой улыбкой, — посмотрим, удачный у нас гость или неудачный! Сейчас субботняя «бабка» покажет нам это.

— Видно, вы только приступаете к обеду, — проговорила Злата, входя вместе с дочерью к соседям. Ради гостя Злата помирилась с канторшей еще в синагоге во время чтения торы.

Канторша первая заговорила. Пододвинувшись к Злате, она сказала:

— Гм... Ну и гость сегодня у нас! Муж мой так рад ему!

Злата сердито глянула на нее. Ей хотелось сказать: «Ага, пришла на тебя погибель!» Но из человечности она ответила довольно дружелюбно:

— Поздравляю вас с гостем!

И пошел у них долгий и весьма занимательный разговор, в котором было перемешано все на свете: и хала, и рыба, и корова, и соседка, и соседкин борщ, и соседкина невестка-распутница, которая ходит, не покрывая волос париком, и так далее и тому подобное.

— Не забудьте же, Злата! — несколько раз повторила канторша. — Не заставляйте себя долго ждать. Сразу же после обеда обязательно приходите вместе с Эстер.

Злата отбросила свою нелюбовь к канторше и зашла почтить Шмулика. Канторша очень хорошо приняла их, угостила субботней «бабкой» и разговаривала с Златой

исключительно «по-немецки», как говорят у них в Бердичеве:

— Почему вы, Златушка, ничего не вкушаете? Право же, вы еще совсем ничего не вкушали!

Попозже к Шмулику зашла младшая сестра Златы, добрая приятельница и близкая соседка, тетя Ентл со своим мужем Бейнишем. Заявился также благодушно настроенный шадхен Калмен и поздравил всех с субботой. А пригубив вина, он пожелал Шмулику дожидаться больших радостей от своего сына и лучше всего — скорой помолвки.

— У меня этого добра хватит, — сказал Калмен, заворачивая рукава атласного сюртука до локтей и ухватив рукой кончик седой бороды. — Видите вот эту бороду? В ней меньше волос, чем у меня невест вот здесь. — Калмен хлопнул себя рукой по лбу. — Слышишь, Шмулик?

— Что и говорить! — перебил его Шмулик. — И чего только не взбредет вам в голову! Об этом мы еще даже не помышляем.

Тут Йоселе и Эстер невольно переглянулись, и у обоих в тот же миг мелькнула одна и та же мысль, совсем неожиданная мысль, которая до сих пор никогда не приходила им в голову; мысль, от которой мазеповская девушка и мазеповский юноша краснеют до корней волос, а сердца их на миг замирают; это мысль о замужестве, о браке. Жених и невеста. Слова эти звучат для мазеповской девушки и для мазеповского юноши как увлекательный роман, простой, но чудесный, изумительный роман, не написанный, не выдуманный, но настоящий роман, без фокусов и выкрутасов, простой и истинный, как сама природа.

— А теперь разделаемся с оставшимся вином! — предложил Шмулик, хлебнув положенное после обеда и уже будучи чуть-чуть навеселе. — Ну-ка, Бейниш, берись за дело, попробуй винца!

Бейниш, как человек из нынешних, взялся, несмотря на субботу, откупоривать бутылки, и гости стали пробовать каждого сорта по капельке: чокались, желали друг другу всяких благ — заработков, благих вестей и радостей, так что вскоре все были под мухой... Они уже говорили все разом, посмеивались, клевали носом прямо в рюмку и проносили мимо рта.

— Смотрите-ка! Смотрите, как они наливались! — говорили женщины, забравшись в уголок и показывая

со смехом на мужчин. — Не грешно вам, ей-богу, и прилечь немного.

Мужчины, однако, не слушали их. Они продолжали свое: подливали в рюмки и желали друг другу всяких благ. Женщины же затараторили о хозяйственных делах, стараясь во что бы то ни стало переговорить друг дружку. И никто не заметил, как Йоселе подошел к Эстер и принялся рассказывать ей свои приключения за эти три года. Никогда еще ему не было так хорошо, как в ту субботу. Ему представлялось, что он уже взрослый, большой, хлебнул немало горя в жизни; глаза его сияли, щеки горели, жестикулировал он, как бывалый человек, и поэтому в своем длинном сюртуке издали казался маленьким евреем, коротышкой, но со всеми ужимками и повадками взрослого.

Йоселе рассказал Эстер, какие это были для него мучительные три года, сколько он вытерпел у Мици, пока выбился в люди. Мици относился к нему очень хорошо, хвалился им всем и каждому. Однако жена кантора не очень-то благоволила к Йоселе. Она смотрела на него как на лишний рот в доме. Ведь у нее и без того было немало едоков. Она была не бесплодной и приносила Мици каждый год по маленькому певчему; каждый год — новый, собственный хорист! Не видно было, однако, чтобы муж и жена восторгались обилию деток. Что поделаешь? Конечно, будь у них ребенком меньше, было бы лучше, но раз он уж явился на свет, пускай, как говорят, валяется. И детки действительно, валялись там, как чурбаки. Пока они становились на ноги, бедняги эти, голые, босые, переносили и голод, и холод, и всяческие болезни. Легко понять, что Йоселе, оказавшись среди этой ребятни, меда не лакал. Он маялся наравне с ними, но горе затаил глубоко в себе.

Выходит, что и в Тетереvце Йоселе суждено было обрести мачеху. Мициха приспособила его для домашних работ. Он был у нее на побегушках, носил ей кошелки с базара, ходил к резнику с птицей, укачивал ребят и так далее. К тому же канторша частенько отвешивала ему хорошую оплеуху, шипала, давала подзатыльники — словом, обходилась с ним, как со своими. Нередко Йоселе засыпал, не евши и не пивши. Ну, а сколько пакостей устраивали ему приятели по хору! И еще было немало всякого горя. Да, это были для него три тяжких года. Но сносил он все втихомолку, ничего

не рассказывая Мици, чтобы, упаси боже, не потерять место. А местом своим он очень дорожил. Иоселе усердно изучал певческое дело. Он прошел все ступени канторского искусства, развил свой голос. И теперь он мог твердо сказать, что не нуждается больше в науках Мици. В нотах он, слава богу, разбирается не хуже любого другого певчего и не обязан больше носить канторше корзинки с базара и укачивать ее ребят. Он может занять место у самого знатного кантора. А если он поедит немного по свету, ему будет совсем неплохо.

— Я приехал сюда, чтобы недели две отдохнуть, — закончил Иоселе свою повесть, — а там я уж знаю, что делать. Дождусь только письмаца от одного человека, который обещал возить меня на свой счет да еще платить хорошее жалованье. К тому же будут у меня и побочные заработки. В общем, если я с ним поеду, он обещал озолотить меня. Человек этот и сам был когда-то певчим у Мици, зовут его Гедалья-бас. Однажды он услышал в Тетеревце, как я пою «Аллилуйя», и прикипел ко мне. «К чему, — говорит он, — быть тебе у кого-то певчим? Становись сам кантором, как тот Виленский Молодожен, который прославился на весь мир». А за это я должен благодарить тебя, Эстер. Ведь это вы с мамой отправили меня в Тетеревец. Если бы не вы, я до сих пор маялся бы в этой злосчастной Мазеповке.

При этих словах Иоселе очень захотелось взять Эстер за руку и рассказать ей также, как тосковал он по ней все эти три года, как молился не только за отца, но и за нее; как она нередко являлась ему во сне, обнимала его, точно в детские годы, когда они были еще совсем малышами. Но он чувствовал, что сейчас все как-то не так, и Эстер как будто совсем не та. За эти три года она очень изменилась — выросла, похорошела, лицо потеряло свою детскость. Глаза будто те же — светлые, лучистые, а все же взгляд не тот, и выглядит она как взрослая; речь, манеры — все как у девушки-невесты. Ему показалось даже, что на ее широком, белом лбу лежит морщинка, совсем как у женщины. И смех ее уже не тот. Когда-то Эстер смеялась так, что в каждом уголке звенело, теперь она смеется сдержанно, как это делают большие. Иоселе сидел подле Эстер и пристально разглядывал ее. Ему хотелось найти в ней ту самую Эстер, с которой он провел почти все детские годы. Но той Эстер не было. И чем больше Иоселе глядел на нее, тем

больше она смущалась; чем больше ему хотелось приблизиться к ней, тем больше она отдалялась. Между этими детьми, которые выросли под одной бедной крышей, неожиданно встала стена, им мешала какая-то преграда. Обоих охватило смущение, появилась мысль об уважении, почтении друг к другу.

— Мне не пришлось послушать, как ты поешь, — сказала Эстер, дружески улыбаясь. — Пока я накрывала на стол, собирала чашки-ложки, в синагогу набилось столько народу, что я не смогла пробиться.

— Вот как? — встрепенулся Иоселе. — Ты ходила в синагогу? — И глаза его изумленно сверкнули.

Внезапно его охватило непреодолимое желание петь, в гортани зашекотало, из горла сами рвались звуки. Его вздымало ввысь, как на крыльях. Да, он должен петь! Непременно петь!

Пел Иоселе обычно тогда, когда являлось желание петь, а желание это являлось, когда на душе было либо очень радостно, либо очень грустно, — тогда он заливался соловьем. И теперь подле Эстер Иоселе почувствовал, как вздымается его грудь, ощутил какую-то легкость. Иоселе вышел из-за стола, стал посреди комнаты и запел.

Мужчины, которые уже были крепко под мухой, продрали глаза и уставились на него. А женщины бросили разговоры и тоже приготовились слушать.

Пел Иоселе без слов, «брал позицию», как это называется у канторов. Когда-то так делал Виленский Молодожен на исходе субботнего дня перед Новым годом. Рассказывали, что люди плакали при этом навзрыд. Вот так запел теперь Иоселе. Из его горла вылетали чудесные звуки, сплетаясь в дивные мелодии, полня собой весь дом. Вот полился грустный, душераздирающий мотив, жалостливый, молящий; Иоселе украшал мелодию всяческими фиоритурами; звуки, казалось, опускаются в воду и, звонкие, идут из-под воды. А вот он разгневался, и от его голоса даже стекла задрожали в окнах. А потом, все больше снижая звук, дошел наконец почти до шепота. Казалось, он теперь где-то далеко-далеко, опустился в низину и оттуда, с большой глубины, шлет мягкие, нежные звуки, сыплет частую трель, и слышится, будто горошинки катятся и падают одна за другой со страшной быстротой. И тут он снова встрепенулся, поднялся с воплем, с криком, неистовствуя и моля.

Мужчины опустили носы, картузики сдвинули, закру-

чинились, приуныли, выглядели вроде и празднично и вместе с тем бесприютными, горестными, какими евреи обычно бывают, когда слушают музыку или пение. А женщины сложили руки на груди и сделали постные лица, как в синагоге, когда им нужно на пение кантора ответить: «Благословен господь, благословенно имя его, аминь!»

О Шмулике и говорить нечего: этот был вне себя. От нескольких рюмок, которые он проглотил, лицо у него покраснелось, глаза сверкали, и, улыбаясь, он теперь выглядел как человек, который собирается всплакнуть. Вино совсем затуманило ему голову. Ему привиделось, что вот здесь, невдалеке, стоит его Зелда, смотрит сквозь слезы на своего единственного сына и улыбается. «Ну как, Зелда? — спрашивает ее Шмулик. — Что и говорить! Ожидала ты что-либо подобное от нашего Иоселе?» Ему рисуются всякие заманчивые картины: люди обивают его порог — всем хочется иметь у себя Иоселе кантором. Мазеповцы прямо-таки из кожи лезут — готовы платить двадцать рублей в неделю, да еще сулят приработки. Но и тетереvцы не дураки — они не желают отдать Иоселе. А из Ямполья, из Кашперова, из Макаровки и разных других городков его забрасывают письмами: «Дайте его нам, реб Шмулик! Червонцем больше, червонцем меньше, беда не велика. Только давайте его сюда, вашего Иоселе!» Вот такие радостные картины мелькают перед взором Шмулика, навевая на него блаженные сны.

А Иоселе, не переставая, пел, изоцряясь в своем мастерстве, разливаясь на тысячи ладов, как певчая пташка, увидевшая теплое, милое солнышко. Иоселе увидел Эстер и пришел в восторг от нее, от ее красоты и теперь изливал душу дивными, неземными звуками, которые он исторгал из своего замечательного горла. Соловей, почуяв только что ожившую весну, расщелкался, распелся на свой лад.

XIV

Гедалья-бас вывозит Иоселе в большой, светлый мир

Гедалья-бас, которого ожидал Иоселе, явился очень скоро, быстрее, чем можно было предполагать. Заехал он прямо к Шмулику, втащил свой узел и расположился

как человек, который собирается благодетельствовать всех в этом доме. Его приезд очень обрадовал Шмулика. Он считал большой честью для себя то, что люди специально приезжают к нему. К тому же гость показался ему весьма порядочным человеком.

Гедалья-бас был такой субъект, что не сразу раскушишь. По виду вроде из «нынешних»: сюртук чуть укорочен, большие черные пейсы заложены за ухо, а густая смоляная борода округлена. Боже сохрани, она была не подстрижена, но только искусно подогнута. Зато когда он становился на вечернюю молитву, то молился битых полтора часа, при этом рьяно раскачивался, кидал голову то вправо, то влево и время от времени глубоко вздыхал. «Видать, благочестивый человек!» — думал Шмулик, приглашая гостя омыть руки и сесть за стол. За ужином Гедалья все время молчал, разглядывал хозяина и его семейство, и только бросил два-три слова в ответ на расспросы Иоселе о хористах Мици.

Лишь после затрапезной молитвы, во время которой гость закатывал глаза и скандировал каждое слово, Шмулик уселся с ним в укромный уголок и завел разговор о деле, по поводу которого гость приехал.

— Значит, хотите, чтобы Иоселе все-таки отправился с вами? — спросил Шмулик, заглядывая гостю в глаза.

— Что значит я хочу? — ответил Гедалья-бас, поглаживая бороду. — Разве он у меня один? У меня их, слава богу, семнадцать штук. Надо ведь содержать такую компанию! Это не шутка! Как вы думаете, реб Шмулик? Ведь вы, как говорится...

— Разумеется, о чем толковать? — сказал Шмулик тоном человека, хорошо разбирающегося в таких делах. — Но я думаю о том... Я говорю о моем Иоселе... Что он, например, будет иметь от этого?

— Что значит иметь? — ответил Гедалья, снова отклоняясь в сторону. — Можно иметь и не иметь. Иной раз с чем приедешь, с тем и уедешь. Как там сказано: «Если пришел один, пусть один и выйдет». А иногда бывает наоборот: поймаешь счастье за хвост. Одним словом, реб Шмулик, на расходы кое-как выколачиваем. Так вот и изворачиваешься. Вы ведь понимаете. Вам-то нечего рассказывать.

— Да, конечно... Что и говорить! — пробормотал Шмулик. — Однако я насчет того... Ведь каждый чело-

век хочет знать, как ему быть. Есть ли смысл или нет смысла? Вы понимаете?

— Что значит есть ли смысл? Можно ли сказать о канторе — есть ли смысл петь или нет смысла? Я вас спрашиваю, реб Шмулик. Ведь вы и сами, как говорится, не из тех канторов... Кантор все равно что мельник. Пока колеса вертятся... Вы понимаете? Вот мы и вертимся.

— Да, конечно. Честное слово, вы правы. Однако мне нужно знать свое. Что и говорить... Вы понимаете? Представьте себе — вы покупатель, я продавец. На-

значьте цену, а я уж подумаю, поразмыслю. Понимаете?

— Ну, как тут назначишь цену? — заявил Гедалья, разводя руками и приятно улыбаясь. — Это уж зависит немножко от удачи, немножко от того, как люди примут. Разве вы, реб Шмулик, не знаете наших людишек? Одному нравится, другому не нравится. Возьмите Пици! Как будто уж сам Пици! И все же дай бог мне столько счастья, сколько случается... Э!..

— И то правда. Да я не о многом мечтаю. Довольствовался бы и половиной, третью того, что имеет Пици. В сущности, мой Иоселе еще ребенок. Что и говорить...

— О, вы говорите — ребенок, реб Шмулик? По-вашему, выходит, что ребенку ничего не нужно. Но всякой мелочи наберется, понимаете ли, в десять раз больше, чем вы думаете.

— Да я не о том, — перебил его Шмулик, чувствуя, что забрался совсем не туда. — Я хочу сказать другое.

— Что же? Наверное, беспокоитесь о его поведении? Можете мне поверить, реб Шмулик, что...

— Боже сохрани! — вскрикнул Шмулик. — Я совсем не о том. Я о другом думаю.

— Э, разрешите, мой дорогой. Я хочу вам сказать как раз о том, о чем вы сами заговорили, — насчет детей...



Так они болтали до поздней ночи, но Шмулик все же лег спать ни с чем.

На следующий день Гедалья стал торопить Иоселе в дорогу. Он ходил за ним по пятам и поддавал жару. А Иоселе, хотя ему и было приятно проводить время со своими милыми, хорошими друзьями, все же не прочь был уже отправиться, — его тянуло в этот большой и светлый мир. Он понимал, что оставаться в Мазеповке, где он будет связан по рукам и по ногам, ему не следует. Своей цели он еще не достиг. Те чудесные картины, которые давно рисовались ему, заманчивые сны про Виленского Молодожена, Канарейку предстали перед ним во всем блеске и великолепии и не давали ему покоя. Он только упросил Гедалью-баса задержаться еще на два дня, чтобы провести это время с родными и попрощаться перед таким далеким путешествием.

— Как вы рассчитываете, когда Иоселе сможет вернуться домой? — спросил Шмулик в день отъезда Гедалью-баса, и в его голосе послышались дрожащие нотки, как у человека, который вот-вот расплачется.

— Что значит домой? — ответил Гедалья-бас, по своему обыкновению отклоняясь в сторону. — Разве мы едем куда-то в одно место? Ведь мы странники, — сегодня здесь, завтра там, как ярмарочные торговцы. Разве знаем мы наперед — будет нам хорошо или плохо? Но раз поехали, значит, едем.

С кантора сразу слетел весь кураж. В этот день он чувствовал себя не в своей тарелке, ходил растерянный. «Кто этот Гедалья-бас? Что он собой представляет?» Однако вопрос этот пришел Шмулику в голову слишком поздно. А тут еще Злата долбила его, доказывая, что он попросту козел безрогий, а не отец. Какой же это отец не расспросит раньше, что да как?!

А Иоселе собирался в путь. В доме у Шмулика была кутерьма, — Иоселе уезжает. Ему готовили провизию на дорогу — пекли коржи, коврижки, сахарное печенье. С тех пор как Иоселе возвратился из Тетерева, мачеха совершенно переменялась. Она смотрела теперь на него с уважением. А уж раз она стала добра, то этой доброте и границ не было. Все утро не отходила она от печи, без конца варила, жарила, парила для Иоселе. Вся красная, со съехавшим платком, она собственноручно укладывала багаж пасынка. Видя ее сердечность, Иоселе простил ей все муки, которые она ему причинила, все оплеухи,

которыми она его одарила. Он готов был обнять ее, как родную мать.

Перед отъездом сердце Иоселе было мягко как воск, всему открыто и всякому радо. Все вокруг было ему мило и дорого. Люди, улицы, дома казались ему прекрасными, светлыми, радостными. Мазеповка с ее грязными, темными улочками, с ее мрачными, покосившимися домиками, с ее озабоченными, понурыми людьми выглядела в его глазах райским садом, где все цветет и благоухает, где все живет и радуется. И он готов был схватить в объятия первого встречного и расцеловать его. Фантазия уносила его далеко-далеко, на душе было до того легко, что казалось, у него выросли крылья. Он не шел, а летел, не глядел, а снял, не говорил, а пел. Иоселе чувствовал себя на седьмом небе — он едет, едет!

Захватив с собой посошок и филактерии, Иоселе направился в синагогу молиться, но, проходя мимо дома Златы, завернул туда, чтобы попрощаться с Эстер.

XV

Как Иоселе несколько раз прощался с Эстер

Один день в жизни Эстер выдался светлый, радостный, счастливый — это был день сборов Иоселе в дорогу.

Было еще совсем рано, когда Иоселе с филактериями под мышкой вошел к Злате в дом. Хозяйка была в лавке, Менаше и Эфраим еще спали. В комнате была одна Эстер. Она стояла у печи и готовила на шестке цикорий к завтраку. Увидев Иоселе, она быстро спустила закатанные до локтей рукава, прикрыв свои прекрасные белые руки. Щеки ее так и пылали от огня, волосы, кое-как собранные на затылке и заколотые одной шпилькой, разметались по плечам. Это придавало ей еще больше прелести. Белый передник сверкал на ней и делал еще светлей ее сияющее лицо. Скрестив руки на груди и задумчиво глядя в огонь, она слушала Иоселе, который говорил без конца.

Начал он с того, что отправляется в далекий путь и, боже мой, чего только там не увидит! Он побывает в Макаровке, в Кашперове, в Гнилопятавке, в Глупске, в Днепровце, в Тунеядовке. Где только он не побывает!

Гедалья-бас обещает заехать с ним еще в Хмельницк и в Гонтоярск и показать ему театр, где бывший Пицин тенор служит теперь хористом, то есть поет там каждую ночь. И говорят, он очень счастлив, пересылает отцу уйму денег. Отец его, кантор в синагоге у мясников в Макаровке, был бедняк бедняком, а с тех пор как сынок заделался важным человеком, ему живется как нельзя лучше. Иоселе заявил, что если бог поможет ему хоть вполовину того, хоть в одну десятую, он как следует обеспечит отца на старости лет и не даст ему надрываться у амвона.

— Довольно, потрудился! Пора и на отдых!

Тут Иоселе разгорячился, покраснел весь, глаза его зажглись. В сущности, Иоселе был еще ребенком, семнадцатилетним мальчишкой, но из тех, что до времени созревают. Горе, которое выпало на его долю с малых лет, быстро сделало его взрослым. Ходил он чинно, постариковски, говорил разумно, вел себя как самый благочестивый еврей. Эстер слушала его и дивилась: за это время он вроде старше стал не на три года, а на целых десять лет. И, разглядывая Иоселе, его «солидную» фигуру, она не в силах была сдержаться и расхохоталась. Эстер была старше его года на полтора и смотрела на Иоселе как на мальчишку. Услышав теперь рассуждения парня, она еще пристальней стала его разглядывать, не прерывая, однако, потока его речей. А Иоселе говорил, говорил, чем дальше, тем жарче, излагал всякие планы, рисовал бог весть что.

Когда Иоселе на мгновенье остановился, Эстер сказала с милой усмешкой:

— Смотри, как бы ты не забыл того, что сейчас говоришь, как Залмен-Герш, старший сын тети Брайны. Помнишь его? Собираясь в Броды, он наобещал ей золотые горы. А уехавши, написал раз, другой и примолк. Так и по сей день молчит. Я говорю это потому, что давать обещания не трудно.

Из этих слов видно, что и Эстер не очень-то была довольна его отъездом. Как-то душа у нее была не на месте. Замечание ее, видимо, крепко задело Иоселе.

— Значит, ты равняешь меня с этим шарлатаном Залмен-Гершем? — запальчиво сказал юноша. — Он всегда был бесстыдником и наглецом. Не было дня, чтобы его не отхлестали за какие-нибудь проделки. Что ж ты нас на одну доску ставишь? Не бойся, я своего отца не

покину! Я буду там, но сердце мое останется здесь, подле близких и дорогих мне людей. Я буду часто слать письма. Тебе, Эстер, я буду писать каждую неделю. Будешь отвечать?

Эстер чувствовала, что у нее горит лицо, и она опустила глаза. После, когда их взоры встретились, они оба хорошо поняли друг друга, и им незачем было больше разговаривать; незачем было спрашивать друг у друга согласия. Романов они не читали, не знали, как вести себя в подобных случаях, да и незачем им было это знать: природа не знает никаких романов. Иоселе и Эстер с малых лет были вместе, и им показалось бы диким, если бы теперь им пришлось расстаться навсегда. До сих пор каждый из них держал эти помыслы в себе. Теперь же, когда оба выдали себя не словом, а взглядом, тайное стало явным. Говорить об этом все же было излишне, да и не так-то легко и просто. Ясно, у них полная договоренность: они — жених и невеста. О чем же еще толковать? Оба они пока молоды. Иоселе сначала поедит по свету, потом вернется, и он... и она... Одним словом, все будет в порядке!

— Ну, а теперь, Эстер, давай попрощаемся, — сказал Иоселе, протягивая ей руку, совсем как городской человек, который хорошо знает, как нужно себя вести в таких случаях. — До свиданья.

— Счастливого пути, — пожелала Эстер, протягивая ему руку первый раз в жизни.

Эстер чувствовала, как Иоселе крепко-крепко жмет ей руку, и не отнимала ее. Кто не испытал сладости такого рукопожатия? Кто не знает смысла такого прощания? Иоселе и Эстер были безмерно счастливы. Они на мгновенье забылись, близость их была так велика, что они, кажется, готовы были теперь друг за друга жизнь отдать. Их взгляды вновь встретились, и снова повели они разговор на языке знаков, на том языке, который хорошо знаком каждому молодому существу в пору, когда в сердце цветет весна, в пору первой, истинной, горячей, неземной любви.

Уже стоя на пороге, Иоселе снова обернулся и опять сказал Эстер: «До свиданья», а Эстер ответила ему: «Счастливого пути». Иоселе опять повторил: «До свиданья», — и уже собрался уходить, когда за его спиной появилась Злата.

— Глядите-ка на него! Что это за «до свиданья» на заре? Погоди немножко. Покуда возчик Лейзер соберется да прикатит на своей дохлой тройке, ты еще успеешь шесть раз попрощаться. Поди-ка помолись, а потом позавтракаешь с нами. И последний раз пообедать ты тоже должен у нас. Каждый скажет, что это справедливо... Слышишь, Эстер? Фрума-Блюма принесла мне в лавку рыбу! Это что-то особенное! Сходи посиди в лавке, я там оставила мальчонку одного. Выручка нынче, слава тебе господи, такая, что хоть замок вешай на дверь. Посиди-ка эдакий денек, пожарься на солнце! И спрашивается: зачем, ради чего?.. Помни же, Иоселе, — к обеду обязательно к нам! Отца и мачеху я сама позову. Кстати, сейчас почти праздник — как-никак новолуние*. Пускай приходят!

Тот день, можно сказать, был самым лучшим, самым светлым, самым радостным днем в жизни Эстер. Да, всему свое время. Приходит время и для крохотного цветка, что растет заброшенным, забытым в сумрачной чашобе, в темнящем углу. Приходит и для забытого цветка доброе, сладкое время, когда на него падет луч солнечного света. Посвежевший, оживший, поднимет он на мгновенье головку, распушит свои лепестки, зацветет, глянет в ясное небо и жарко поблагодарит мать-природу, которая не забыла и его. Одинокий, бедный цветочек.

XVI

Уехал — и поминай как звали

Как метеор, который пролетит по темному небосклону, сверкнет в глазах и, оставив после себя длинный, яркий след, исчезнет с горизонта, так летел Иоселесоловей в еврейском музыкальном мире, в мире канторов. Вот он приехал в какой-нибудь город, наделал шуму среди местных жителей, показался на людях, увидел, околдовал своим замечательным, сладостным голосом, своим божественным пением и исчез, ошеломив город, оставив изумленных горожан, чтобы они потом без конца толковали о нем, рассказывали всякие чудеса и вспоминали его пение всю оставшуюся на их долю жизнь.

Еще за неделю до его приезда в городе начинался переполох: «Едет! Он едет! Иоселе-соловей приезжает

к нам на субботу!» А когда уж Иоселе приезжал, началось настоящее столпотворение: все хотели послушать мазеповского соловья. Чаще всего Иоселе-соловья ходили слушать по билетам, которые разбирались в одно мгновенье. Больше одной субботы Иоселе нигде не оставался, хоть бы его озолотили, — ведь городов и местечек уйма, и всюду надо побывать. Самая кутерьма начиналась только после его отъезда. Люди передавали друг другу свои ощущения примерно в таких восторженных тонах:

— Что скажете о «соловье»?! Как вам нравится его голос? Видели ли вы его хоть как следует в лицо? А его певчие! Ну и Мазеповка! Ну и «соловушка»!

Находились и такие, которые отправлялись вслед за ним в другой город, чтобы послушать его еще хоть разок. На улице следом за Иоселе бежала целая орава мальчишек-шалунов и кричала вслед: «Соловей! Это соловей!» И не только дети, но люди с бородами останавливались, чтобы поглазеть на мазеповского соловья. Кажется, чего там смотреть? Юноша лет семнадцати, румяные щеки, приглаженные пейсы, длинный сюртук до пят, заячья шапка на голове — вот и весь Иоселе-соловей. Но имя его было настолько славно, голос настолько изумителен, пение так божественно-чудно, что его облик приобретал у всех в глазах особую прелесть, и каждый считал для себя счастьем видеть его.

Как о всяком большом человеке, об Иоселе рассказывали удивительные истории, и в народе о нем ходили всякие легенды. Например, рассказывали, что в горле у него какой-то инструмент, вроде гармоники или дудочки, благодаря чему он издает такие чудные звуки. Да иначе оно и быть не может, ибо так петь — это не в человеческих силах. Другие говорили, что там у него не гармоника и не дудочка, а это у него такое горло от рождения. Однажды, еще будучи ребенком, он у матери на руках так распелся, что все перепугались и понесли его к цадику. Тот посмотрел ребенку в горло, благословил его и пожелал ему понравиться другим так же, как понравился ему. Еще рассказывали, что Иоселе ничего не ест — ни хлеба, ни мяса, ни фруктов, — пьет лишь горячее молоко и глотает гоголь-моголь. Этим и живет. Выпивает он каждый день шесть десятков яиц, оттого у него такой чистый, такой ясный голос. «А благочестив он, — передавали люди, — как никто на свете. И к тому

же большой знаток Писания». И хотя никто никогда не толковал с ним как следует, но уж по одному его виду понимали, что это юноша тонкого воспитания. «А красив он так, — сообщали другие, — что даже больно в лицо ему смотреть. Всякие господа, вельможи, графы, князья заглядывались на его светлый образ».

Все эти рассказы, конечно, доходили и до Мазеповки и служили Шмулику, Злате и Эстер хорошим бальзамом, исцеляли раны, которые наносил им Иоселе. Было договорено, что на праздник кущей Иоселе приедет домой отдохнуть, а затем уж отправится дальше. Однако прошли кущи, пасха, пятидесятница, а Иоселе все нет и нет. Прошли еще одни кущи, а Иоселе не приезжает. Прошли и третьи кущи, а Иоселе все нет. «Вот я приеду. Вот я приеду», — писал он и не являлся. Если бы знать, где он, можно было бы написать, съездить к нему. Но ведь он летает по свету — сегодня здесь, завтра там. Поди ищи его! Счастье, что он хоть шлет письма. Но вскоре и этому счастью пришел конец. Около полугода они получали от него веселые, славные письма; поначалу довольно часто, а там все реже, реже. И все же это были добрые вести о том, что он разъезжает по свету, имеет шумный успех, нравится людям, зарабатывает деньги и катит дальше. Шмулик несколько раз получал от сына пухлые пачки ассигнаций, и Мазеповка ходуном ходила:

— Что вы скажете о нашем канторе Шмулике? Сын пересылает ему груды денег. Богачом станет на старости лет!

Годом позже Иоселе не только перестал присылать деньги, но и письма от него начали приходиться раз в три месяца, да и то в несколько строчек: «Во-первых, уведомляю, что я жив-здоров, дай бог слышать от вас то же самое. Вовеки аминь!» И все тут, больше почти ничего нет в письме. Ну, а там перестали приходиться даже такие письма. Иоселе пропал, как в воду канул. Нету Иоселе! Перед бедным Шмуликом словно бездна разверзлась. Он оплакивал своего дорогого сына, своего единственного, своего кормильца на старости лет. Измученный, истомленный, ходил он сам не свой, не зная, что ему делать, на что решиться.

Однако как ни велика была беда, позор был больше того. Шмулик не раз плакался на свое горькое горе близкому ему человеку — Злате, советовался с ней: как быть, что делать? Но какой совет могла ему дать Зла-

та — женщина, да к тому еще вдова? Она, по обыкновению, всю вину валила на него же, как следует мылила ему шею и заявляла, что будь она отцом, то совсем иначе вела бы себя с ребенком. Ну, а если бы Зелда, царство ей небесное, была в живых, все шло бы по-иному. Такие разговоры происходили в присутствии Эстер, которой было очень больно слушать все это. Но поведать кому-либо свое затаенное горе она не смела.

Черные тучи заволокли светлые горизонты Эстер, и мир, который на мгновение предстал перед ней ясным и чистым, снова омрачился и выглядел пустынной, чем раньше. До этой поры Эстер жила в своей среде, среди своих. Она, как зародыш в яйце, не ведала, что делается по ту сторону ее маленького мирка. Эстер нашла бы, конечно, равного себе, свою пару и в добрый час вышла бы замуж. Была бы она счастлива или жизнь не очень баловала бы ее, но претензий она никому бы не предъявляла, как и прочие мазеповские девушки. Теперь же, когда сердце ее ощутило святое, трепетное чувство, когда она уже считала себя наисчастливейшей со своим Иоселе, со своим суженым, которого она так долго дождалась и о чем никто, никто не знал, — теперь ей нужно было распрощаться со своей мечтой и к тому же затаиться, упрятать в себе, похоронить свое горе глубоко в сердце. Эстер не могла себе представить, чтобы Иоселе такое сделал — бросил, забыл, навечно забыл! Как это возможно?! Как допустить это? Чтобы Иоселе сделал такое?! Где же его речи? Где его преданность отцу? Где его клятвы и заверения? «Если уж Иоселе мог такое сотворить, — говорила себе Эстер, — значит, конец миру! Конец!»

Но то, что переживала Эстер сейчас, пустяки в сравнении с тем, что ей предстояло пережить в будущем.

XVII

Иоселе-соловей поразил весь мир и сделался шалопаем

Есть двух родов скитальцы. Один мечется по белу свету потому, что его толкает на это горе-беда, отрывает от близких, родных, делает его бездомным перекаати-полем. Другого эти скитания увлекают, он рад им; безмерные удовольствия в пути кружат ему голову,

опьяняют, и он забывает все на свете. Вот таким скитальцем и стал наш Иоселе.

Беззаботно разъезжая из города в город, Иоселе совсем забыл, кто и что он. Ему вовсе не нужно было думать, куда ехать, как ехать. Это было не его дело, для этого существовал Гедалья-бас, который заботился о нем, обеспечивал всем необходимым лучше родного отца. Басом его называли по старой памяти. Но с той поры, как он стал возить Иоселе, он распрощался со своим басом и занялся делами совсем иного рода. Гедалья ездил теперь из города в город и «устраивал субботы». В то время как Иоселе-соловей пел, Гедалья-бас был уже в другом городе, торговался с каким-нибудь старостой синагоги до потери сознания, устраивал для Иоселе субботу и забирал поскорей деньги. А когда Иоселе приезжал сюда, Гедалья катил дальше, в другой город. И так без конца. Гедалья знал свое дело хорошо, и Иоселе вполне мог на него положиться. Гедалья вел все хозяйство — нанимал певчих, расходовал сколько нужно и где нужно, рассчитывался со всеми. Иоселе оставалось только приехать, спеть и отправиться дальше. Для Гедальи Иоселе был как собственное дитя: он оберегал его как зеницу ока. И Иоселе было очень хорошо у него, так, по крайней мере, писал он своим близким на первых порах. Доброта Гедальи была, однако, Иоселе тогда не совсем понятна.

Певчие, да будет вам известно, эдакая теплая братия; все больше веселые, жизнерадостные парни, избавившиеся недавно от тесного, мрачного хедера и противного ремня учителя, а то и от хозяйской расправы. Вырвавшись на свободу, эти молодцы ведут себя совсем как необузданные жеребята; не знают, за что бы им раньше взяться, что бы такое сотворить. Все это мальчишки, которым не всегда перепадает черствый кусок хлеба, воспитанники талмудторы, портновские подмастерья, подручные приказчики. Кто бы они там ни были, а лишь сойдутся, сразу заводят компанейство, все у них в складчину — одна чашка-ложка, одни думы и заботы, и жизнь для них — сплошной рай. На иудейскую религию им, конечно, наплевать, творят, что в голову взбрет. Как доберутся до города, так давай скорей есть. Еда для них — самое главное в жизни. Как голодные волки, как саранча, набрасываются они на кушанье в первом же постоялом дворе, сразу же накупают вся-

кой всячины. А в свободное время ходят по городу, курят папиросы, шумят, буянят — одним словом, живут напропалую.

Когда Иоселе жил у Мици в Тетеревце, у него были какие-то обязанности, он учился, был поглощен пением. К тому же его поддерживали отцовские письма, частенько напоминавшие, что надо быть благочестивым, каждый день вовремя молиться, соблюдать заветы отцов, помнить, что он не ровня разным певчим, что он из порядочной семьи, и не заниматься глупостями. Эти письма были лучшими его наставниками. Он слушался отца, был благочестив и с певчей братией почти не водился, да и времени у него для этого не оставалось. В свободные от пения минуты у него были еще иные обязанности: укачивать ребят Мици, носить канторше кошелки с базара, чистить медную посуду и тому подобное. И Иоселе все это терпеливо сносил, только бы петь у Мици.

Однако позже, когда хорист Иоселе стал «Иоселе-соловьем», человеком независимым и очутился в компании веселых, жизнерадостных ребят, пройдох, продувных бестий, которые изъездили свет и знают, что такое жизнь, — он тоже переменялся. Вначале он с трудом мирился с шукарьством певчих и все жаловался Гедальебасу. Тот выслушивал его и говорил со смешком: «Какой же ты еще ребенок, Иоселе! Надо знать эту компанию. Они просто веселые ребята!» Потом Иоселе заметил, что и сам Гедалья нет-нет да и пропустит словцо в молитве, а то и вовсе не помолится вечером. «Молитва — не коза, никуда не денется», — острил Гедалья, заметив, что Иоселе удивленно смотрит на него. Иоселе изумлялся и даже досадовал на то, что такой порядочный человек, такой благочестивый еврей, как Гедальябас, который постоянно носит талескотн, садится играть с этой братией в карты на целую ночь, спокойно наблюдает их бесстыдство, выслушивает всякие их словеса.

Постепенно, однако, Иоселе сдружился со всей певчей компанией, стал относиться к ним по-приятельски и даже во многом подражал. Как и они, он теперь частенько забывал помолиться, садился играть в карты, любил очко, лакомился конфетами, а иной раз за компанию пропускал и стаканчик горькой. Сюртук свой он укоротил, пейсы подрезал и остатки их прятал за уши, волосы мазал помадой, беспрестанно наряжался

и в конце концов превратился в настоящего щеголя. Деньги Иоселе не очень-то умел беречь. Подле него грел руки каждый певчий, но особенно, конечно, перепадало Гедалье-басу.

Вел себя Иоселе как взрослый, несмотря на свои семнадцать лет. Ему очень нравилось, что всюду, где бы он ни появлялся, в любом городе, за ним бежали следом, указывали на него пальцами, восхищались его красотой, часто говоря это ему в глаза, особенно тут старались девушки и молодухи. Иоселе-соловья они называли красавцем, и он вполне мог похвалиться, что девушки бегают за ним, целуют следы его ног, вешаются ему на шею.

Красивое лицо иной раз большой недостаток. Очень может быть, если б Иоселе не был красивым парнем, он не испортился бы так скоро. Можно сказать, красивое лицо и сгубило его. Гораздо лучше было бы для него, для отца, вообще для всех, если бы он не был таким красавчиком; если бы на него не указывали пальцем; если б не заморочили ему голову глупые мальчишеские бредни. Вот из-за чего Иоселе утратил свою непосредственность, свою порядочность, верность дому и свой прежний добрый нрав, а со временем весь свой облик кантора, весь свой пыл, а вместе с этим уважение и любовь у бога и людей.

Кантор — это не актер. Конечно, люди любят, чтобы для них хорошо спели, показали им свое мастерство у амвона, чтобы голос у кантора звенел. Однако кантору нельзя забывать, что он посланец паствы, ее заступник перед богом, и поэтому от него требуется, чтобы он был человеком хорошего поведения, благочестивым, а не каким-то шукарем. Синагога не театр.

Покуда Иоселе-соловей вел себя пристойно, был благонравен, как это положено, его пение у амвона имело особую прелесть, и сам он казался прекрасным. Но стоило ему изменить свое поведение, как он сразу опротивел людям, стал ненужным, непотребным.

— Хорош кантор, — говорили о нем, — играет в карты, жрет трэфную колбасу* и разгуливает с девками! Замечательный кантор!

Как водится у всех, так и у нас: покуда человек на вершине славы — похвалам нет конца, его боготворят, его возносят, о нем трубят на всех перекрестках. Но стоит ему потерять уважение у людей, и в нем отыщут

всякие недостатки, возведут на него всякую напраслину, узнают вдруг о нем такое, от чего волосы дыбом станут. Так было и с Иоселе-соловьем. Когда он был хорош, он был хорош без меры, но чуть о нем заговорили злые языки, как про него стали рассказывать всякие грязные истории. Один сообщал, что видел собственными глазами, как Иоселе-соловей ходил в постоялом дворе без шапки, распевал солдатские песни и крутил с кем-то любовь. Другой передавал, что Иоселе в Судный день лакомился поросенком в масле. Третий докладывал, что в некоем городе Иоселе согнали с амвона за какую-то непристойность.

Одним словом, об Иоселе пошла такая молва, что ему волей-неволей пришлось бы в конце концов оставить канторство и перестать петь, несмотря на уговоры Гедальи-баса не обращать внимания на сплетни.

— Пускай наши людишки хоть треснут болтаючи, только бы деньги платили! — говорил Гедальи-бас.

Ухаживал Гедальи-бас за Иоселе неспроста. Иоселе-соловей был для него хорошей доходной статьей. Здесь черпал он средства на жизнь, притом полной пригоршней. Помимо прочего, у Гедальи были еще особые виды на Иоселе — он намеревался его женить. У Гедальи была дочь, возможно и не слишком красивая, зато умная девица. Правда, была она уже в летах, давно в летах; уже за двадцать, — то есть почти около тридцати.

— Не везет! — плакался частенько певчим Гедальи так, чтобы Иоселе слышал. — Не везет, да и только! Такая у меня замечательная дочь, и никак не найду жениха. Кого попало она, конечно, не хочет, а то, чего ей хочется, я не могу найти. Нынешние девушки!

Так вот говаривал Гедальи-бас, пользуясь, по своему обыкновению, разными намеками да экивоками и надеясь, что тот, кому это нужно, поймет. Надо быть очень уж большим дураком, чтобы не уразуметь, на что Гедальи намекает, рассказывая про свою дочь. И Иоселе очень хорошо это понимал, но притворялся глупеньким. Иоселе уже привык к подобным разговорам. Всюду, где он пел, в каждом городке, где он бывал, сваты буквально обивали у него пороги. Предложения были одно заманчивее другого: десять тысяч, пятнадцать тысяч, двадцать тысяч приданого. Находились среди богачей охотники, которые готовы были немедленно выложить деньги, только бы заполнить Иоселе в зятя. Это было

понятно в ту пору, когда Иоселе славился, вел себя благопристойно. Конечно, в таких случаях обращались не к Иоселе, а к Гедалье-басу, как к старшему. А Гедалья, недоговаривая, намекая на что-то, всеми силами старался расстроить любое сватовство, отвадить людей, отделаться от них, так как все это шло вразрез с его видами на Иоселе.

Настало, однако, время, когда Гедалья убедился, что его намерения не осуществляются, что это пустые бредни, которые нужно поскорей выбросить из головы, забыть их, навсегда расстаться с глупыми фантазиями. Иоселе твердо заявил, что и не собирается жениться. Ему бы поскорей вернуться домой, а суженую он уж себе найдет среди своих. Гедалья понял, что игра его провалилась. А тут подвернулось одно дельце. Затуманили ему голову, заморочили мозги, ослепили его глаза деньги, порядочная сумма денег, на которые Гедалья всегда был большой охотник. А все это произошло таким вот образом.

XVIII

*Мадам Переле собирается покинуть Стрищ,
но ради Иоселе она остается*

Между Ямполем и Макаровкой, как раз на полпути, находится всем известный городок Стрищ, который славится в мире своими знатными людьми, отпрысками цадиков, кабалистами* и вообще достопочтенными людьми, нищими, которые шатаются по белу свету, каждый с родословным списком, ибо поскольку он является внуком «Дедушки из Шполы»*, ему полагается хорошее денежное вспомоществование. Чем живут эти люди, трудно сказать. Если остановить местного жителя и спросить его, как и чем он пробавляется, он ответит: «Живем, как видите». И ведь он думает, что этим уже все сказал.

Главное занятие стрищенцев — маклерство. Когда в местечко зайвится чужой человек, он теряется сразу, приходит в недоумение от этой оравы маклеров: хлебный маклер, денежный маклер, маклер по продаже домов, маклер по найму жителя Стрища — маклеры. Здесь уйма синагогальных бездельников и куча всяких обществ: «Общество изучения Талмуда», «Общество чте-

ния Псалтири», «Общество бодрствующих ради ранней молитвы» и еще многое множество обществ. Здесь несколько синагог, ряд молелен, да еще в частные дома сходятся помолиться; одна баня, два кладбища, старое и новое, и уже подыскивают место для третьего.

Богачей здесь можно по пальцам перечесать, и зовут их тут «стрищенские акцизники». Прозвище это, надо полагать, осталось за ними с той поры, когда акциз был на откупе. Эти «братья акцизники»* славятся вовсе не щедростью, а только своими богатствами. «Богат, как Корей библейский, — говорят о них в Стрище. — Живет, как вельможа, но гроша из него не выколотишь. Господь, да славится имя его, одному дает все, другому ничего».

Все же, когда один из этих братьев акцизников помер, все позакрывали лавки, и город оплакивал Мойше-Волфа, как и подобает оплакивать городского богача. Умер Мойше-Волф бездетным, и все свое состояние завещал двум младшим братьям — Меер-Гершу и Пейсах-Лейбу. Порядочную сумму он оставил и своей третьей жене, молодой вдове, которую совсем недавно, года за два до смерти, привез из Бердичева. Вдовица, помимо того, еще при жизни мужа наскребла, как говорят, кругленькую сумму и собиралась теперь увезти с собой из Стрища около двухсот тысяч рублей, а уж в Бердичеве обзавестись молодым муженьком, не таким, как ее старец Мойше-Волф. Тут-то как раз и подвернулся Иоселе-соловей, и молодая вдовица, мадам Переле, до поры до времени осталась в местечке.

Ее называли в Стрище мадам Переле, потому что была она здесь почти единственной, которая одевалась как барыня, выезжала в карете, держала в доме собаку и играла на фортепяно.

Когда Мойше-Волф правил траурную неделю по покойной жене, уже тогда в городке говорили, что на сей раз богач отхватит себе жену молодую, из «нынешних». А почему бы и нет? Денег у него достаточно: значит, можно себе позволить что угодно. И город угадал. Переждав траурный месяц, Мойше-Волф отправился в одно место, — ну, понятно, в Бердичев, — и вскоре привез с собой «даму». Потому «даму», что, с той поры как Стрищ есть Стрищ, здесь не видывали, чтобы женщина держала собаку и играла на фортепяно.

Понятно, услышав первый раз ее игру, стрищенцы запрудили улицу, где жил Мойше-Волф. «Женщина —

и вдруг музыкант!» И полетели остроты насчет собаки и фортепьяно. Ее прозвали «Мадам Переле» или «Важная дама», и имя это так уж и осталось за ней.

Многие возлагали большие надежды на «даму» и уже шили себе вместительные карманы.

— Как же, такая дама! Разве пристало ей торговаться! Насчет благотворительности и сомневаться нечего! Так уж водится у этих господ.

Однако чуть погода все убедились, что горько ошиблись в своих расчетах. Мадам Переле, выросшая в таком коммерческом городе, как Бердичев, торговалась хлеще любой стрищенской бабы; а подавать милостыню любила еще меньше, чем ее муж.

— Как же, надо обязательно уметь колотить на топчане! — язвили стрищенские женщины. — Только мадам может при покупках так скряжничать!

Или говорили еще так:

— Переле, дай вам бог здоровья, подарите нам хлеб! Пусть вам кажется, что вы бросили его вашему псу.

Еще когда Иоселе был в Макаровке, его пригласили в Стрищ на ближайшую субботу. Иоселе морщился, не хотел ехать в эту дыру, к беднякам и нищим. К тому же он рассчитывал из Макаровки заехать в Кашперов, а оттуда завернуть домой, в Мазеповку. Осточертели ему уже эти разъезды, вечное скитание, оторванность от дома. Он даже собирался черкнуть своим несколько слов (давно уж он не писал), но тут вошел Гедаля, — чтоб ему пропасть! — наболтал всякого вздору и уговорил, что лучше им сначала съездить в Стрищ на субботу, оттуда в Фляскодриговку, а уж потом в Мазеповку, так чтобы миновать Кашперов, оставив его в стороне. Потому что «Кашперов столь примечательное место для канторов, что пусть оно трижды сгорит до нашего приезда к чертовой матери!». Так посоветовал Гедаля, и так оно и осталось без лишних дискуссий.

Заявившись в Стрищ, Иоселе-соловей со своей братией отвалил такое служение в синагоге, что городок долго не мог прийти в себя. Заезжий дом, где остановился Иоселе, окружили со всех сторон, чтобы хоть издали взглянуть на мазеповского соловья. Среди этих зевак была и молодая вдова, мадам Переле, которая, послушав в синагоге Иоселе, пришла домой сама не своя, возбужденная, взволнованная.

— Хочу его увидеть поближе! — заявила она своим людям.

И вот в субботу после обеда она надела свое шелковое платье, навесила на себя жемчуг, алмазы, брильянты и в сопровождении горничной вышла погулять, а там сразу же направилась в сторону гостиницы, где остановился Иоселе со своей компанией.

Была летняя пора, окна в заезжем доме были раскрыты настежь. Опершись руками о подоконник, Иоселе стоял у окна и разглядывал город и его обитателей. Голову его прикрывала шитая золотом ермолка с серебряным ободком; длинные русые волосы были зачесаны назад и рассыпались по плечам; лицо было очень бело, большие, сверкающие карие глаза, окаймленные густыми, темными ресницами, улыбались. Подле него стояла компания певчих и отпускала шуточки по адресу города Стрища и его обитателей.

— Как тебе нравится этот «прыщ»? — спрашивали друг друга парни. — Городок этот — пережиток былого зловония.

— Что там за дамочка, увешанная брильянтами с головы до ног? — спросил вдруг Иоселе, разглядывая Переле и встретясь с ней взором.

Переле была весьма недурна собой — совсем еще молодая, пышная, белая, точно хорошо выпеченная булка. На ее алебастровой гладкой шее покоились большие жемчужины; на руках у Переле были запястья, браслеты, цепочки, на пальцах — кольца с брильянтами. И вся она, в шелке и бархате по последней бердичевской моде, выступала, точно пава. Пройдясь несколько раз под окнами гостиницы и увидев Иоселе, она вернулась домой еще более расстроенной, почувствовала, что вся изнемогает.

Еще при жизни Мойше-Волфа она про себя решила, что, овдовев, возьмет себе в мужья молодого красавчика, и обязательно блондина. А ведь вдовой ей когда-нибудь доведется быть, — Мойше-Волф и стар и немощен. Взял он ее только за красоту и сразу осчастливил — отписал сто тысяч, пообещав не обойти и в завещании после ста двадцати лет жизни. Переле была тогда еще совсем молода, любила наряды, как, впрочем, и другие бердичевские девушки, придерживалась моды и мечтала о богатом женихе. Конечно, Мойше-Волф был ей не по душе, но сто тысяч, экипаж, прекрасная

обстановка и все прочее так вскружили ей голову, что она на все согласилась. С одним только она не могла примириться — с тем, что городок, где ей предстояло жить, называется Стрищ. «Подумайте только — Стрищ! Ну и имечко! Тьфу — даже тошнит!» — размышляла Переле, беспрестанно терзая этим себя.

Однако Мойше-Волф сделал одолжение своей жене и сразу же после свадьбы слег, а там, похворав года два, отправился на тот свет, развязав таким образом ей руки. Все же Переле повела себя вполне благопристойно и соблюла иудейские законы. Она, к примеру, отсидела траурную неделю, переждала, как положено, месяц траура и лишь после этого вместе со своей горничной принялась укладывать вещи и собираться в дорогу. Конечно же, к ней тотчас кинулись сваты со всех концов, предлагая замечательные партии. Но мадам Переле и видеть их не хотела. Ей бы поскорей выбраться отсюда, чтобы не знать этот чертов Стрищ. Она даже написала уже родителям, что на следующей неделе выезжает в Бердичев. А кончилось все это, как известно, тем, что она осталась в Стрище. Из-за кого? Из-за Иоселе-соловья.

— Что ты скажешь об Иоселе? — спросила Переле свою горничную, прохаживаясь мимо заезжего дома и поглядывая на окна.

— Что же тут сказать? — ответила Лейца. — Конечно, он прекрасен, как утренняя заря, совсем как тот Соломон из «романса» — высокого роста, красивого телосложения и к тому же белокур.

Горничная Лейца любила читать книжки того сорта, где на первой странице стоит: «Чрезвычайно занимательный роман. Перепечатка воспрещается». Романы эти Лейца читала Переле вслух, когда Мойше-Волф лежал прикованный к постели. Переле делала вид, что ее смешат все эти выдумки, на самом же деле она слушала их с большим удовольствием.

Переле привезла эту прислугу с собой из Бердичева. Вся работа Лейцы сводилась к тому, чтобы одевать мадам, сопровождать ее на прогулках, быть всегда подле нее. Лейце мадам поверяла все свои тайны, и обе они с одинаковым нетерпением ожидали, когда же наконец их хозяин очочурится, хотя высказывать это открыто стеснялись. Но они отлично понимали друг

друга без слов и не чаяли, когда же наконец можно будет отправиться восвояси.

Лейца была некрасивая, рябая девица, но в Бердичеве у нее все же был женишок. Звали его Лейви-Мотл, и работал он по табачной части, или, попросту говоря, был папиросником. Для других Лейви-Мотл мог быть чем угодно — старым, рыжим, прыщавым холостяком, но в ее глазах это был «ангел небесный, высокий ростом, красивый телосложением». И поэтому она с ним «любилась» точно так же, как это описано в «романсах», которые она читала. Лейца любила своего жениха и была ему беспредельно предана. Она пересылала своему Лейви-Мотлу последний грош, не разрешала себе сшить лишнее платье, купить бурнус, заказать сапожки. «Надо отправить Лейви-Мотлу. Наверно, он нуждается в деньгах!» В благодарность за это Лейви-Мотл каждую неделю присылал ей по письму, и все они были похожи друг на друга, как близнецы, будто одна мать их родила.

«И кланяюсь тебе, — писал ей каждую неделю Лейви-Мотл, — и благодарю тебя моя дорогая невеста за твой подарок и я справил себе сапоги с калошами и прошу тебя напиши как твое здоровье и жив ли еще твой хозяин а я слава богу здоров а работы не подворачивается а гильзы нынче дешевы а денег не зарабатываешь и вышли еще моя дорогая невеста на новый костюм а тот костюм уже совсем износился и напиши мне как твое здоровье и жив ли еще твой хозяин...»

Письмами этими Лейца страшно дорожила и берегла их как зеницу ока. Она тем только и жила, что могла доставить Лейви-Мотлу удовольствие, что он разгуливает в костюме, сапогах и калошах, купленных на ее деньги.

— Дура ты, дура! — говорит ей Переле. — Глупая ты девица! Он, наверное, поставит тебе золотой памятник на могиле, женишок твой! Как думаешь?

Лейце нечего было возразить своей мадам, и все же она делала свое. Она считала минуты и секунды до того дня, когда наконец сможет вернуться в Бердичев и пойти под венец со своим Лейви-Мотлом. «Бог весть что она говорит, моя мадам! И чего только не взбредет ей в голову! Если б можно было вынуть сердце и показать ей, знала бы она тогда, как потешаться над такими вещами».

Пришло, однако, время, когда Переле заговорила совсем по-другому; пришло время, когда она узнала, что «любовь не подойник», как выражалась Лейца, и рукой от нее не отмахнешься.

Вернувшись с прогулки, Переле бросилась в кресло, затем подозвала горничную и велела пощупать у нее лоб.

— Мадам, у вас голова болит? — спросила Лейца. — Ах, горе мне!

— Голова, говоришь? Сердце, глупенькая, сердце болит! Не знаю, куда деваться, умираю, горю, жжет меня, а ты вон что говоришь!

— Что же такое с вами, мадам? Расскажите!

— Ах, Лейца! Не знаю, что и сказать. Плохо мне, пришел мой конец. Вот тут у меня горит, вот здесь, в груди. С той самой минуты, как услышала я пение, а потом увидела его, я потеряла покой. Умираю!

Переле даже расплакалась. Лейца стояла, углубившись в свои думы, размышляла, как ей быть, что предпринять. Впрочем, никаких фокусов она не понимала и долго думать ей не пришлось. Рассудив все по-своему, она тут же брякнула:

— Ну, кого вам бояться, мадам? Вы ведь теперь, слава богу, совсем свободны и к тому же, не сглазить бы, богачка, дай бог мне того же! Послушайте меня, выходите за него замуж.

Переле даже подпрыгнула от восторга, затем со слезами на глазах рассмеялась:

— Глупая ты девица! Что значит: выходите за него замуж? Надо ведь и его спросить.

— Ну, и чего вы боитесь? Думаете, он не захочет? Как бы не так! Что вы, безобразны или, упаси бог, бедны? А то, что вы вдова, так черт с ним! Верно говорю, многие женщины хотели бы оказаться на вашем месте. Или, может быть, грешно это — взять за себя молодого парня? Но этого и сумасшедший не скажет. Так в чем же дело? Нечего говорить, замечательную жизнь провели вы со своим мужем! Два с половиной года промаялись в этом паршивом Стрище! Зачем? Для чего? Великое счастье постигло вас! Прожить с больным мужем столько лет под одной крышей тоже чего-то стоит. Никто не знает, кому ботинок жмет. И поди Расскажи кому-нибудь все это!

— Ах, Лейца, душа моя, сердце мое! — вскрикнула Переле и бросилась в ее объятия.

В большой реке водится всяких сортов рыба; в таком большом городе, как Бердичев, живут разного рода люди. Происхождения мадам Переле была не очень знатного. Отец ее, Меер Зайчик, был тем, что у нас называют «покупатель на все». Он покупал и продавал все, что попадалось под руку, но торговли своей сроду не имел. Продавали ли где-нибудь старый заводик, фабрику, дом на снос, поместье, черта, дьявола — он был тут как тут. Все готов был купить Меер Зайчик. Вывозил ли кто-либо старую карету, подержанную мебель и тому подобные вещи — Меер Зайчик предлагал свои услуги, только бы ему немного заработать. У Зайчика в доме вы могли найти что вашей душе угодно. Нужно железо? Пожалуйста, железо. Нужна медь? Есть медь. Пух? Берите пух. Одним словом, все там было. Капитала своего он никогда не имел — оборачивался чужими деньгами. Как водится у торговцев, иной раз возносился, другой раз падал в бездну. Но держал он себя всегда солидно, как человек при деньгах: брал ссуды, хватал у одного, отдавал другому — и жил себе. Детей своих он воспитывал в иудейском духе — никогда не помышлял дать им светское образование, обучать игре на фортепьяно и тому подобным штукам, как это нынче повелось в некоторых домах. «Моим дочкам, — говорил Меер, — нужно только приданое. К чему им все эти премудрости?» Но вот как-то барин покидал город, и Меер Зайчик купил у него по случаю старое фортепьяно, дешево, совсем задаром. Покупателя на него долгое время не находилось, и оно стояло в доме, покрытое простыней, до тех пор, пока Зайчику не пришла в голову идея: «Фортепьяно стоит. Переле растет, прекрасна, как золото. Почему бы ей не научиться бренчать на нем? Мало ли что бывает? По нынешним временам благодаря игре можно подцепить хорошего женишка. Что скажешь, Малка?» Жена тоже согласилась с этим, и осталось лишь одно: найти учителя, который бы взял подешевле.

Помаленьку, полегоньку Переле начала учиться музыке и, представьте, выказала способности в этом деле, хотя вообще-то головка у нее была довольно тупая. Игра ее наделала в доме Меера целый переворот. «Там играют на фортепьяно!» — заговорили в городе. И по этому случаю Переле заняла в доме особое положение. В то время как младшие сестры выполняли всякие

домашние работы, Переле сидела сложа руки или, приодевшись, уходила гулять, так вот, ни с того ни с сего. В доме ей служили, подносили все готовенькое. «Она играет на фортепьяно — шутка сказать!» Даже сами Меер и Малка с уважением стали относиться к своему дитяти. И Переле привыкла смотреть на них свысока, считала себя лучше всех в доме.

Перед чужими Зайчики (так называли их в городе) постоянно похвалялись своей дочкой.

— Сыграй нам немного, Переле, на фортепьяно! — просили они ее при людях, а когда она садилась за рояль, восхищенные, повторяли: — Наша Переле играет! Наша Переле!..

Попозже, однако, когда Переле подросла, игра эта, как говорится, вышла им боком. Разве можно ее сравнить с какой-нибудь другой девушкой! Ей нужно хорошо одеваться. Ей нужна шляпка, ей нужен зонтик, нужны перчатки и всякая другая чепуха, как подобает такой мамзели. Ну, а в театр ей ведь тоже надо ходить! Как можно, чтобы девушка, играющая на рояле, не посещала театр?! Но все это пустяки в сравнении с тем, что претерпели родители, когда пришло время выдавать ее замуж. Вот тут-то они узнали, почему фунт лиха. На жениха, которого они ей предлагали, Переле плевала с высокого дерева, а жениха, которого ей хотелось, они — ох, горюшко! — предоставить дочке не могли, ибо женихи, бывшие ей по нраву, обязательно заводили разговор насчет денег. Вот тогда-то Зайчики и поняли, каков у них бог! Дочка вела себя с ними совсем неприлично, не как барышня, которая играет на рояле, а как самая обычная бердичевская девка, бесстыдно орущая и на отца своего, и на мать. Бог знает что делали бы они со своей дочкой, если б не подвернулся жених из Стрища! Эдакая золотая, счастливая партия! Меер воздел обе руки к небу и молитвенно произнес: «Благословен господь, избавивший меня...» А после он наказал внукам и правнукам своим: фортепьяно в доме не держать!

Перед выездом в Стрищ счастливая дочь не оставила родителям ни гроша, а из своего нового обиталища Переле писала им хорошие, ласковые письма, но тоже ничем не помогала, не поддержала их нинасколечко. Хоть бы глотком воды попотчевала! Очень дурно повела себя Переле по отношению к своим родителям.

Вот такого рода мадам была эта Переле.

XIX

Появляется новый персонаж — Берл-Айзик, и Иоселе катит в карете

Богачу во всем удача. Мало того что он богат и ему доступны все наслаждения мира, он к тому еще окружен толпой раболепствующих, готовых сделать для него что угодно, в надежде, что в свое время им за службу что-нибудь перепадет. Видя такую уйму низкопоклонствующих, богачи думают, что так оно от бога и положено, что они достойны всего этого, и начинают взирать на народ свысока, как господин на рабов.

Вот такого рода господа были и стрищенские богачи, «акцизники», как их там называли. Каждый из этой братии постоянно молился с одними и теми же людьми, имел своих «последователей», то есть попросту своих дворовых прислужников. Каждый из этих прислужников старался быть поближе к богачу, и если тот проявлял малейший признак расположения, «последователь» таял от раболепия, сгибался в три погибели, готов был для него спуститься хоть в преисподнюю.

Самым преданным, близким и к тому же бесплатным слугой Мойше-Волфа, царство ему небесное, был Берл-Айзик. Кто он, этот Берл-Айзик, и чем он занимался, сказать трудно, так как никакого дела у него, по существу, не было. Он постоянно терся возле Мойше-Волфа, вечно вертелся подле его дома и вот так добывал себе средства к жизни.

Он даже доводился каким-то родственником Мойше-Волфу, чуть ли не двоюродным братом, но когда Берл-Айзик заметил, что родство это богачу не по душе, он отбросил родство в сторону: «Какая мне разница! Пускай мы не в родстве. А все же он богач».

Ходил Берл-Айзик не спеша, смотрел в сторону, говорил чуть слышно и мало, чтобы не докучать, как некоторые, и всегда появлялся как раз в то время, когда в нем возникла необходимость. Поэтому-то он и был вхож в дом Мойше-Волфа больше, чем кто-либо другой. Если, случалось, его распекали, Берл-Айзик спокойно все выслушивал, упрятывал брань поглубже в карман и — молчок. «Все богачи на один лад, — говорил он. — Приходит время, когда им хочется покричать, — ну, и надо дать им накричаться».

Когда Мойше-Волф лежал больной, Берл-Айзик ни на шаг не отходил от своего благодетеля. Как верный пес охранял его дом, наблюдал за всем, приглядывался, принимался ко всякой мелочи, тихонечко и неспешно ступая, обследовал каждый уголок. У него был тайный наказ от двух братьев Мойше-Волфа: как только, упаси бог, с Мойше-Волфом будет плохо, немедленно сообщить им, потому что брат их дряхл и болен, детей у него нет, а положиться на нее, на эту бабенку, никак нельзя.

Берл-Айзик дело хорошо понимал, пальца в рот ему не клади. И он сотворил все, как полагается: Мойше-Волф только начал отходить, а оба брата уже были у него в доме. Разумеется, Берл-Айзик остался не внакладе. Все же, когда Мойше-Волф отправился на тот свет, Берл-Айзик рассудил так: богача не стало, значит, богачом жена стала. Чего тут не понимать? Во время траурной недели, а затем и траурного месяца Берл-Айзик ни на минуту не отходил от дома: а вдруг он кому-нибудь понадобится? Но на какого дьявола он сдался мадам Переле? Она терпеть не могла стриженцев, и каждый из них был ей отвратен, как смерть.

И прислуга тоже ненавидела Берл-Айзика лютой ненавистью.

— Этот человек, — говорила Лейца, — со своим тихоньким говорком и косым взглядом вот где сидит у меня, — и показала на свою шею. — Видеть его не могу!

Берл-Айзик все это прекрасно понимал и изо всех сил старался понравиться Переле, угодить ей чем-нибудь. «Не сегодня, так завтра, — тешил он себя, — а придет такое время... Придет коза до воза».

И такое время пришло.

В тот субботний вечер, когда мадам открыла сердце своей прислуге, Лейца, как назло, повстречалась с Берл-Айзиком. Повязав шею платком, он разгуливал по двору и, как обычно в субботний вечер, мурлыкал что-то себе под нос.

— Когда же вы собираетесь ехать? — спросил Берл-Айзик, чуть-чуть скосив на нее глаз.

— Ехать? — ответила сердито Лейца. — По-вашему, так вот сели и поехали?

— А что такое? Еще не все уложено? — снова спросил он со сладенькой улыбкой, и все лицо его пошло морщинками.

— Какое там уложено? — фыркнула сердито Лейца. — Вот далось ему — ехать! Есть дела поважнее. Послушайте-ка, Берл-Айзик. Вы ведь, я знаю, порядочный болтун. Так вот, я хочу вас кое о чем спросить. Хочу кое-что рассказать... Только раньше поклянитесь женой и детьми, что это останется между нами.

Лицо Берл-Айзика, на котором только что была легкая усмешка, сразу стало серьезным. Лейца по кусочку, намеками рассказала ему всю историю и еще раз заставила поклясться, что даже птичка на ветке об этом не узнает. Берл-Айзик выслушал ее, подумал немного и, поглядывая своими косыми глазами по сторонам, заявил:

— Ладно. Сегодня вечером он будет здесь.

— Помните же, Берл-Айзик, вы поклялись женой и детьми, что все это будет втайне.

— Втайне, втайне! — успокоил ее Берл-Айзик и не спеша направился в заезжий двор, где остановился Иоселе-соловей со своей братией.

Разговор, который повели там Берл-Айзик и Гедаля-бас, был сугубо дипломатичным. Оба все время были настороже, прощупывали друг друга, клонились то в одну, то в другую сторону, как опытные борцы во время состязания. Так продолжалось до тех пор, пока они окончательно не договорились обо всем. А договорившись, они совместными усилиями выработали план действий.

Первым делом Гедаля позаботился о том, чтобы Иоселе познакомился с мадам Переле, не подозревая даже, для чего это делается.

— Просто так, — ответил он на вопрос Иоселе. — Есть здесь одна богачка — мадам Переле, она хотела бы с тобой познакомиться. Она знает всех великих канторов, очень любит пение и сама играет на фортепьяно. Тебя, что же, убудет, если ты к ней сходишь?

Иоселе послушался его. Вдвоем с Гедалей-басом они отправились к Переле. Перед ними предстали большие, светлые комнаты, нарядные и богато обставленные. Здесь были бархатные диваны, мягкие кресла, хрустальные с бронзой люстры, громадные зеркала, комнатные растения, разные картины в золоченых

рамах. Иоселе видел все это первый раз в жизни, и у него даже голова закружилась.

— Если бы ты был умницей, — шепнул ему на ухо Гедаля, — все это могло бы стать твоим.

Иоселе удивленно глянул на Гедалью и сразу понял, что речь идет о сватовстве. В первую минуту он готов был повернуть оглобли и бежать. Ему казалось, он сквозь землю провалится со страха и стыда. «Беги отсюда, Иоселе! — шептал он себе. — Беги, пока ноги несут! Беги домой, беги куда глаза глядят, только скорей!» Но было уже поздно. Навстречу ему шла Переле, прекрасная, вся в золоте и драгоценностях. Глядя на эту даму, Иоселе невольно вспомнил свою Эстер, дорогую, милую Эстер, с которой он, бог даст, скоро свидится. Сравнивая их обеих, Иоселе внутренне смеялся: «Еще чего? Кто ж такое сделает? Променять Эстер вот на эту? Ну и ну! Какое может быть сравнение!»

Переле подала ему руку, маленькую белую ручку, к тому же совершенно холодную, и он в тот же миг почувствовал, что ручка эта жжет его. Перед глазами у него пошел туман, в ушах зазвенело, голова как бы раскололась надвое, и он окончательно растерялся.

Чуть ли не впервые слышал Иоселе игру на рояле. Издали он, конечно, слышал ее не однажды, но сидеть вблизи прекрасной женщины и видеть, как она маленькими белыми пальчиками извлекает из этого ящика мягкие, нежные звуки, из которых складываются такие дивные мелодии, — этого ему еще никогда не приходилось. Вся комната наполнилась звуками, и Переле вдруг обрела особую прелесть. И тут же сразу все преобразилось в глазах Иоселе: комната стала палатой. Переле — принцессой: попал он сюда каким-то чудом. И вот он слышит божественные звуки, которые точно елеем смягчают его сердце, ласкают, наполняют всего живительной силой. И ему вдруг захотелось сопровождать эту игру, вплести и свой голос в эти звуки. Иоселе начал в такт подпевать, а затем залился своим сладким, нежным голосом так, что Переле перестала играть и заслушалась. Но Иоселе попросил ее продолжать. И вот она играет, а он поет, импровизирует, сыплет трелями, щелкает, как настоящий соловей.

Развалившийся в мягком кресле чуть поодаль Гедаля-бас давно уже не слышал, чтобы Иоселе так пел, как в тот вечер у Переле. Сухая душонка, Ге-

далья, по-настоящему ценивший только деньги, и тот заслушался; он испытывал истинное наслаждение. Это не помешало ему, однако, сообразить, что во всех отношениях будет разумней, если он уберется в гостиницу, оставив Иоселе с вдовушкой наедине. Лейца почтительно поднесла ему на серебряном подносе стакан ароматного чаю, но Гедалья, буркнув, что ему нужно еще успеть в одно место, отказался от угощения и незаметно исчез.

Только в полночь, уже собираясь уходить, Иоселе заметил, что Гедальи нет. Переле, Иоселе и Лейца разразились хохотом и тут же порешили разбудить кучера — пускай запрягает и везет Иоселе в гостиницу. Но будить кучера не пришлось — карета уже стояла у крыльца, а на пороге дремал Берл-Айзик. Лейца глянула в его настороженное, заспанное лицо и дружески сказала:

— Это вы, реб Берл-Айзик, позаботились о карете? Э, да вы совсем-таки...

— Ну, как думаешь, Лейца, он мой? — спросила у горничной совсем уже раздетая Переле и бросилась в постель.

— Еще бы! — ответила Лейца, укрывая мадам мягким атласным одеялом. — Конечно, ваш! Разве вы не видели по его сверкающим глазам, что он совсем спекся?!

— Лейца, душа моя, сердце мое! — вскрикнула Переле и, обхватив служанку обеими руками, крепко-крепко прижала ее к груди.

А развалившийся в карете Иоселе-соловей катил в гостиницу. Он ощущал в себе какой-то новый живительный ток, и образ Переле неотступно витал перед его глазами. Он забыл обо всем на свете и мечтал лишь об одном — завтра снова отправиться туда, снова увидеть ее, услышать ее игру. И еще одно внезапно мелькнуло у него в голове: «Двести тысяч!», двести тысяч, о которых мельком обронил словцо Гедалья. Новая мысль завладела Иоселе, и ему представилось, что он въезжает в Маеэповку в карете, которую мчит четверка рысаков. Люди высыпали на улицу, стоят, изумляются. Отец выбегает навстречу: «Благословен вошедший...* Иоселе!» Иоселе выхватывает из кармана пачку ассигнаций и говорит отцу: «На, папа, десять тысяч... двадцать тысяч... Бросай петь! Пора уже, право!»

А Эстер? В ту минуту Иоселе вовсе забыл, что есть такая Эстер, которая ждет не дождется его. А когда уж Эстер пришла ему на ум, он поленился даже спросить себя: «Ну что тут особенного произошло?»

XX

Он попадает в сети, но замечает это слишком поздно

Иоселе куда трудней было переступить первый раз порог в доме Переле, нежели спустя некоторое время согласиться на помолвку и пойти с ней под венец. Гедалья-бас взял на себя все хлопоты — договорился с раввином, с кантором, со служками. Он всюду бегал сам, добывал что нужно и делал необходимые приготовления к свадьбе. Конечно, ему помогал и его компаньон Берл-Айзик.

Хорошая работенка выпала на долю Гедальи-баса: ему пришлось выдержать бой с двумя деверьями Переле, с этими акцизниками. Они стали стеной и завяли:

— Пускай льется кровь рекой, но мы не допустим у себя в Стрище этакого позора. Пусть она отправляется в свой Бердичев и там вешается на шею кому угодно. А мы не дадим здесь надругаться над памятью брата. Еще место его не остыло. Это что ж такое? Что за распутство?!

Но и Гедалья не молчал. И хотя изъяснялся он, по своему обыкновению, намеками да экивоками, был в состоянии переговорить кого угодно. И он доказал им, что, во-первых, это для их брата, мир праху его, не позор, а честь. Потому что бог весть в какие руки может попасть по нынешним временам вдова с эдаким добром. А Иоселе все-таки благородного происхождения: в роду у него сплошные раввины. Еще сейчас в семье у него два раввина и три помощника раввина. Во-вторых, ему ни к чему ее деньги, он и сам, не сглазить бы, достаточно богат и дает деньги под проценты. Шутка сказать, какой это золотопряд! А рубль он бережет как зеницу ока. Уж не беспокойтесь, Гедалья знал, чем взять стрищенского богача. К тому же он разнюхал, что акцизники имеют какие-то претензии к вдове по поводу компанейского контракта с одним по-

мещиком. Гедалья занялся этим делом и добился, чтобы она отказалась от контракта в их пользу: «Пропади они пропадом!» Переле морщилась, кривилась, но, увлеченная своей любовью, скрепя сердце отдала контракт. И на третий день после помолвки состоялась свадьба. А там все разъехались восвояси.

Гедалья рассчитался с певчей братией и отправился домой, увозя в кармане порядочную сумму денег, которой вполне хватит и на женитьбу дочери, и еще себе останется про черный день. Ему повезло во всех отношениях. Последнее время Гедалья не раз замечал, что соловей стал фальшивить, и, кажется, он скоро вовсе лишится голоса. Голос у него, как говорят, ломался, а до того времени, когда установится настоящий голос, может пройти и год и два. «Отныне, — думал Гедалья, — пускай он хоть зверем воет, хоть белугой ревет, — я не стану плакать». Но попрощался он с Иоселе как с родным, пожелал ему состариться с «ней» в богатстве и чести и уж не петь у амвона до окончания века.

А Переле буквально повисла на своем молодом муже, не отпускала его от себя ни на шаг. Лейца, напевавшая, укладывала в дорогу вещи. Сердце ее трепетало от мысли, что через несколько дней она увидит своего Лейви-Мотла. Берл-Айзик помогал ей собираться — бегал, подавал, сутился, словно какой-нибудь близкий Переле. «За богачом, — говорил себе Берл-Айзик, — служба не пропадет. Я опять-таки твержу свое: «Придет коза до воза». Во всяком случае, к богачу не доложишь». Но Берл-Айзик непоправимо ошибся. На прощанье Переле, как говорится, даже руку не позолотила ему. Смирненьким котеночком стоял Берл-Айзик, чуть пригнув голову набок, страдальчески улыбался и все помогал, услужал, желая каждому доброго пути, счастливой дороги. Но в груди у него бушевало адское пламя: «Ах ты чертова баба! Ах ты сучка! Господи, свернуть бы ей шею на ровном месте!»

— Доброго пути! Доброго пути! — проговорил в последний раз Берл-Айзик, приподнимая шапочку и низко кланяясь. Сам же он думал сейчас только о пачке асигнаций — своей доли за сводничество, полученных от Гедальи-баса, которые грели ему грудь, ласкали его сердце, как что-то очень дорогое.

Итак, три наших героя — Переле, Иоселе и Лейца, радостные, веселые, в большом мягком экипаже,

запряженном четверкой лошадей, катили из Стрища в Бердичев. Лейца всю дорогу притворно дремала, чтобы не видеть, как мадам виснет на шее у Иоселе, как они целуются, милуются, будто два голубка.

«Наконец-то дорвалась! — рассуждала Лейца о мадам. — Еще и травинки на могиле покойного не выросло, еще душа его не очистилась там от грехов, а она уже вцепилась в этого. И отыскала же, прости господи! Не могла дожидаться лучшего — повисла на канторе! Хи-хи. Был бы здесь мой Лейви-Мотл, уж он бы посмеялся. Эти богачи прямо-таки с жиру бесятся. А ведь моя мадам тоже хорошая штучка! «Душенька, любушка, сердечушко!» — сладкие речи, да только до кармана. Вот складывала я ее белье, — боже мой, мне бы хоть половину того! — имей же совесть, предложи пару чулок, рубашку или какую-нибудь старую юбку, скажи, хоть бы для приличия: «На, Лейца, возьми на память от меня!» Куда там! Другая на моем месте тоже дождалась бы приглашения! Как бы не так! Обобрала бы до нитки, лоскуточка не оставила бы, не то что я, глупая... Ладно! Что до меня — пускай она сторит вместе со своим добром, со всеми своими тряпками. А мне пусть бог поможет приехать домой с миром и поскорей повенчаться».

Такие мысли проносились в голове у Лейцы в то время, как любящая пара целовалась и миловалась, а лошади мчали экипаж мимо лесов и полей, мимо деревень и городков. Никто не замечал, как летит время. Каждый был занят своими думами, у каждого были свои радости, свои утехи. Переле еще никогда в жизни не была так счастлива, как сейчас здесь, в карете, рядом со своим героем, красавцем, ангелочком. Он принадлежал ей, только ей! От одной мысли, что Иоселе — персонаж, которого можно встретить только на страницах романа, что этот херувим принадлежит ей, — у нее кружилась голова, она пьянела и погружалась в сладкие, сладкие грезы.

Ну, а Иоселе-соловей?

Иоселе-соловей, придя в себя, готов был поклясться, что ничего, ровным счетом ничего не помнит из того, что с ним стряслось. Когда, где, каким образом женился он на мадам Переле, он не знает. Помнит

только, как густой туман окутал его, в глазах сверкало золото, алмазы, брильянты, как мелькнуло несколько светлых, радостных дней в веселье и торжествах; как люди прислуживали ему, будто принцу, а сбоку сидела она, его принцесса. Она не оставляла его ни на миг, все обнимала его, ласкала: «Иоселе! Иоселе! Жизнь моя! Душа моя! Сокровище мое! Ангел мой!» И еще много подобных слов слышал Иоселе.

У него кружится голова, он будто в чаду, оглушен, опьянен. Он в каком-то земном раю: благоухают цветы и травы, струится вино, сочится масло, цветет миндаль, щебечут птицы и праздно разгуливают люди. И поется ему так хорошо, так чудесно, что, кажется, пел бы не переставая. Переле играет на рояле, а он поет, и весь мир полонен звуками, зачарован песней. Всю жизнь, вечно пребывать бы в этом земном раю, в этом чудесном мире и петь, петь без конца.

Поездка из Стрища в Бердичев в мягком экипаже, в благоухании теплого летнего дня, бок о бок с Переле казалась ему каким-то сладким сном. Он даже не пытался отдать себе отчет в том, куда он едет и зачем. Ему лишь хотелось, чтобы сон этот длился долго-долго, чтобы ему не было конца. Однако сон в этом мире, где жизнь лишь миг, вечно не может длиться; он должен обязательно кончиться. Приходит время, и человек вынужден пробудиться, ничего не поделаешь. И Иоселе очнулся. А очнувшись, стал оглядываться по сторонам, припоминать, что с ним стряслось, как пьяница в похмелье: «Боже мой, куда я попал?»

Иоселе видит перед собой большой город, беспросветно унылый, грязный. Мужчины и женщины снуют взад и вперед. Он слышит выкрики извозчиков, говор лавочниц, перебранку уличных торговков. Огромные лужи издают такое зловоние, что приходится затыкать нос. Где это он? В Бердичеве. Экипаж остановился подле запакощенного четырехэтажного дома. Спустившись по грязным, липким ступеням, они темным коридором проходят в какую-то комнату. Перед Иоселе возникает длинный, сухощавый человек в шляпе и низенькая, толстая женщина в косынке. Длинный человек приветствует его и целуется с ним, а толстая женщина говорит ему «ты» и поздравляет. Затем они оба разглядывают его со стороны. Это — его тесть и теща, которых Переле уже предупредила письмом, что везет домой

«прекрасное наследство и еще более прекрасного муженька».

Радость, ликованье — дочь приехала! Слава богу, слава богу! Пусть всем дочерям сопутствует такая удача! Вскоре в дом явились друзья. Жениха и невесту поздравляют, и все смотрят, смотрят на Иоселе, глаз с него не сводят. А он оглядывается по сторонам, как малый ребенок, которого впервые привели в хедер. Дрожь пробегает у него по телу — все выглядит как-то непривычно, неприветливо. Он оборачивается к своей принцессе, но это не та Переле, какой она была в Стрище. Совсем другая женщина. Там она ему казалась восхитительной, в глазах ее был совсем иной блеск и говорила она с ним иным языком. Прежнюю Переле будто подменили — та Переле исчезла, явилась какая-то незнакомка.

А жизнь в Бердичеве! Нет, он непривычен к такой жизни, к таким разговорам, к таким делам. Все, все было ему здесь чуждо, и сам он казался себе чужим. Что он здесь делает? Какой дьявол занес его сюда? Какое ему дело до Меера Зайчика и его торговых махинаций? Какое отношение имеют к нему ссуды, которые дает Переле, все эти векселя, проценты и тому подобное (явившись домой, Переле тотчас занялась передачей своего капитала в надежные руки)? Его влечет в широкий вольный мир. Ах, боже мой! Разве такой представлялась ему жизнь, когда он женился на Переле? Разве думалось ему, что придется прозябать в какой-то каменной дыре среди совершенно чужих людей, света божьего не видеть, радости не знать?! Где уж там говорить о пенин или музыке?!

Встанет он утром, выпьет кофе, глянет в окошко — мрак, запустенье, грязища, упаси господи! Выслушает долгий разговор о купле-продаже — опять проценты, снова деньги, еще раз торг! Пообедали — и Переле отправляется с мамашей по магазинам надувать торговцев — покупать по дешевке вещи. Иоселе ужасается, слушая, как Переле разговаривает с бердичевскими бабами на их жаргоне, — она божится, бранится, как настоящая уличная торговка. День и ночь в доме крики, ругань, божба. Переле ссорится с сестрами, грызется напропалую, выслушивает сплетни и сама наговаривает. Отец и мать всегда принимают ее сторону — ведь богачка-то в семье она!

Чем дальше, тем больше отрезвляется Иоселе, и он все яснее видит, кто она такая, его жена. Наблюдая ее бесстыдные манеры, глядя, как она дрожит над копейкой, Иоселе думает про себя: «Неужели это та самая Переле, которая представлялась мне такой хорошей, милой, нежной?! А теперь!..» Он пробует снова говорить с ней насчет своих планов: поехать за границу, поступить учиться... петь... играть... Где там!

— Хочешь все-таки быть кантором? — говорит она и бросается ему на шею. — Зачем тебе это, глупенький? Вот погоди немного, размещу надежно деньги, и мы поедem с тобой на воды, на виноград, на курорт. Понимаешь, глупенький, туда ездят все богачи. А ты говоришь — петь учиться! Фу, душа моя! Забудь это, моя жизнь! Забудь! И давай я лучше поцелую твои брильянтовые глазки, твои белокурые волосы, ангелочек, герой ты мой!

С каждой минутой Иоселе становилось все ясней, что он такое натворил, — сам себя связал, опутал на веки вечные. Он еще мечется из стороны в сторону, как птица в клетке, но видит, что игра проиграна. Сладкие сны расползлись, как туман, золотые грезы развеяло, как дым, на смену им пришли иные, горькие думы. Нет сладостных звуков, нет волшебных картин, которые рисовались ему. Торжественный въезд в Мазеповку в богатой карете, изумление знакомых и друзей, мечты о счастье отца — все это померкло, ушло, пропало. Другие картины перед его глазами, и живет он совсем иной жизнью. Не благоухающий райский сад перед ним, а зловонное бердичевское болото; не дворец, как ему грезилось, а запакощенный дом и нечистые люди. Вместо сладкогласного пения ему денно и ночью слышится карканье о векселях, процентах, доходах и расходах. Не прекрасная, чистая жена у него, а какая-то жирная женщина, которая вечно виснет на нем, беспрестанно целует, не отпускает от себя ни на шаг. И все кругом так буднично, так убого! Опротивело ему все на свете, тошно жить. А за спиной у себя он то и дело слышит возгласы: «Это тот самый Иоселе, что взял богатую вдову!» И его тотчас будто кто уколет в сердце. Разглядывая свою Переле, он вспоминает об Эстер, и тогда в голову ему приходит, что он сотворил что-то очень гадкое — сам себе напакостил, плохо обошелся с Эстер,

обидел отца. Он ходит сумрачный, обескураженный, понурый.

— Иоселе, душа моя, сердце мое, дорогой мой соловушка! — говорит Переле, оставшись с ним наедине и перебирая его прекрасные, длинные волосы. — Что с тобой? Чем ты озабочен? Ходишь задумчивый, грустный. Скажи, чего тебе недостает? Неужели я не заслужила, чтобы ты открыл мне всю правду? Я опротивела тебе, надоела? Тебе тяжело со мной? Опротивела? Скажи!

«Опротивела? — размышляет Иоселе. — Да, опротивела до смерти!» — но он крепится и говорит ей грубую ложь:

— Опротивела, говоришь? Боже сохрани! Как это можно!

Но все его помыслы, все его чувства далеко отсюда — они там, в Мазеповке.

XXI

Мазеповка судачит, а бедная Эстер горюет

Мудрые люди давно уж ломают голову, чтобы разгадать, каким это образом мазеповцы моментально узнают новости со всего света. Хотя газеты там совсем не в почете, это всем известно, но пускай где-нибудь в высших сферах заговорят о войне, и Мазеповка тотчас об этом проведает. Новый закон, еще до того как он издан, поступает сюда, и мазеповцы изучают его досконально, со всех сторон, толкуют его и так и эдак. У них редкий нюх, у этих мазеповцев, и до многого они доходят чутьем, понимая, что по здравому разумению так оно должно быть.

Неизвестно, откуда дошел до Мазеповки слух, что Иоселе-соловей где-то там женился, взял сто тысяч приданого и теперь уже не кантор. Одни говорили, что какой-то богатей, услышав его пение, пригласил Иоселе к себе домой и отдал ему свою дочь в жены. Другие утверждали, что Иоселе женился на богатой вдове и ей пятьдесят лет. Некоторые сообщали совсем противоположное, что взял он не вдову, а разводку и при этом передавали любопытную историю. Как-то в субботу вечером Иоселе пригласили на трапезу к одному

очень состоятельному человеку. Жена, вторая уже, из нынешних, ученая мадам, услышав, как Иоселе поет, влюбилась в него с первого взгляда и готова была бежать с ним хоть на край света. Узнав об этом, муж сказал ей: «Зачем тебе бежать и срамить меня? Даю развод, выходи за него замуж». Что же она придумала? Она оказалась совсем не дурой. «Дашь сто тысяч, — ответила она, — согласна, а не дашь — попомнишь меня». Одним словом, говорили они, разговаривали, вмешались люди, и супруги сошлись на восьмидесяти тысячах... Как бы там ни было, а наш Иоселе стал большим человеком. Но то, что он не шлет денег отцу, это вот нехорошо.

Когда слух о женитьбе Иоселе разнесся по городу, все в один голос заявили, что, в сущности, так оно и должно было быть. Здравый смысл подсказывает, что Иоселе должен был сделать блестящую партию. Каждый знал это заранее. И разве могло быть иначе?

— Вас надо поздравить? — обращались к Шмулику в синагоге. — Говорят, ваш Иоселе женился? Как? Вы ничего не знаете? Возможно ли? Ну да, ну да! Говорят, он очень счастлив — взял сто тысяч... двести тысяч... Но как же это? Оказывается, реб Шмулик, он вам ничего не пишет? Нынешние дети! Страдаешь мучаешься, жертвуешь собой ради них, а они тебе камнями воздают. Ну и век! Ну и времена!

Услышав эти разговоры, Шмулик крепко пал духом. «Как же это? Чтобы Иоселе так поступил с родным отцом?!» Ему и без того совестно было перед людьми, — ведь целый год он и строчки не получил от сына, не знал, что и подумать. А тут еще вон какая новость! «Невероятно! Поразительно! Жениться, разбогатеть и забыть отца! Нет, не может этого быть!» Единственным спасением для Шмулика было — не верить. «Не может этого быть — и все тут!» Если бы не надежда, что Иоселе не сегодня-завтра вернется, Шмулик не выдержал бы. У него и без того было немало печалей: в последнее время, видно из-за простуды, голос у него стал сдавать. Его львиный рык, который славился на весь мир, оказался с изъяном, звучал глухо. Шмулик сипел, как надтреснутый инструмент. Там, где он, бывало, поднимался до фальцета, рассыпался трелями, свободно играл своим вторым голосом, теперь слышался хрип недорезанного вола или «кукареку»

неоперившегося петушка. Пение Шмулика было вымученным, деланным. Сколько он ни старался, взбираясь на верхи, ничего у него не выходило. Не те уж у него были силы. Конец голосу, не о чем больше говорить! Капнут Шмулику! Это еще хуже, чем смерть. Спасало Шмулика только то, что он уже давно поет в этой синагоге.

Подтолкнуть падающего, отнять у несчастного последний кусок хлеба, лишит бедняка заработка — на это мазеповцы не способны, потому что в общем-то они мягкосердечные, сострадательные, к тому же и благочестивые люди. Сказать, однако, что они безгрешные праведники, тоже нельзя, потому что вели они себя со Шмуликом не очень-то тактично. По его адресу пускали всякие колкости, делали различные намеки, нарочито расспрашивали, как поживает Иоселе, корили Шмулика за его пение. Правда, слишком винить прихожан Холодной синагоги тоже нельзя, ведь они порядочно избалованы: с давних пор привыкли слушать хороших канторов, наслаждаться редкими голосами. Что же было им делать? Пение Шмулика было несносно. Да и для самого Шмулика его канторство стало мукой. Но все же это не шло ни в какое сравнение с теми страданиями, какие ему приходилось переживать дома. С тех пор как в городе пошли слухи о том, что Иоселе женился, благоверная Шмулика снова переменяла свое мнение о пасынке, принялась донимать мужа своим язычком, бредила его раны.

— Нечего сказать, прекрасно обошелся с отцом! Очень даже благородно! Недаром говорят, из свиного хвоста не сошьешь ермолки. Твой Иоселе был шарлатаном, шарлатаном и остался. Теперь мне понятно, почему я его с малых лет невзлюбила. Ничего, у меня хороший нюх, сразу узнаю человека. Видать, уж от рождения был он черт знает чем. Не понимаю только, почему Злата кипит, когда речь заходит о его покойной мамаше? Чего ради заявляет, что такой праведницы, как твоя Зелда, мир еще не видал? Да простит она мне, где она там есть...

Шмулик выслушивал все эти речи и проглатывал их, как горькую пилюлю. Гораздо больней было ему встречаться со своими добрыми друзьями — с Златой и Эстер. Что скажет он им, если они спросят о сыне? Однако он напрасно беспокоился. Злата снова поссори-

лась с его женой и к тому же была крепко занята своими собственными делами. У нее теперь было достаточно своих хлопот, своего горя: пришла пора подыскивать дочке жениха. Эстер — уже девушка на выданье, а средств никаких. По нынешним временам без приданого совсем не берут. Самый обыкновенный парень, замухрышка, и тот требует — выложи ему несколько сот рублей, да еще подарки подай! А Эстер все растет и растет, ей уже пошел двадцатый. Ну, хоть караул кричи! Правда, сейчас кое-что наклеивается, пусть и не ровня, но и то счастье — богатое место, будет как сыр в масле кататься. Но поди скрути все это одинешенька, бедная вдова с крошками-сиротами!

А что же Эстер? Как она себя чувствует, узнав, что Иоселе женился? Трудно себе представить, как она была оскорблена, как страдало ее бедное, разбитое сердце. Ей всегда казалось, что она хорошо знает Иоселе, она верила ему, и все, что он говорил, было для нее свято. Неужели же он ее так бесстыдно обманул? Солгал, кругом солгал! Эстер казалось, что Иоселе любит отца, уважает, как ни один сын на свете. Вот стоит он перед ней накануне отъезда, клянется, что отца ни за что не забудет, позаботится о его счастье. Еще звенят у нее в ушах его ласковые речи, она слышит его сладостное пение, в котором он излил перед ней свое сердце и где, как ей чудилось, он обещал навеки остаться тем же Иоселе, каким был, не забывать близких и дорогих ему людей. И что же? Прошел почти год, а о нем ни слуху ни духу. И вдруг новость: Иоселе женился! Да еще как! Взял не то вдову, не то разводу. Польстился на деньги! Прodelал все это тайне, прятаясь от всех! «Боже мой! Неужели Иоселе мог так поступить?!»

Эстер никому ничего не говорила. Как всегда, она была спокойна, уравновешенна, работала в лавке, заботилась о доме, — все как положено. Но что делалось у нее на душе — этого никто не знал, как никто не знал о тех сладких, золотых снах, в которых она пребывала целых два года с той поры, как Иоселе уехал. Можно сказать, все эти два года были для Эстер сплошным сладостным сном, где образ Иоселе не покидал ее ни на мгновение. Где бы она ни была, что бы ни делала, везде с ней был Иоселе.

Не однажды Злата замечала, что дочь ее какая-то странная, не от мира сего.

— Что с тобой, Эстер? — спрашивала она. — Ты так рассеянна! Отмеряешь тринадцать аршин — считаешь за двенадцать. Галантерейщика Гедалья-Меера зовешь Меер-Гедалья. Все шиворот-навыворот.

Иногда, сидя подле лавки на скамеечке с какой-нибудь работой, Эстер начинала вдруг петь — сначала тихо, затем громче, громче, пробуя повторить какую-нибудь мелодию Иоселе и не замечая, что неподалеку мужчины. Частенько она в мечтах уносилась вслед за ним, была с ним, любовалась им, слушала его чудный голос, сладостное пение, точно так же, как тогда, в субботу днем, у Шмулика в доме. А порой ей чудилось, что вот сейчас к ним заявятся с доброй вестью, скажут: «Знаешь, Эстер, кто приехал? Иоселе, сынок Шмулика, Иоселе-соловей!» Однако очень даже нередко в голову ей закрадывались дурные мысли. Надвинется туча, заслонит на мгновение ясное солнце — и зашевелится иного порядка думы: она затоскует и тяжело вздохнет из самой сердечной глубины. Но уйдет туча, засияет яркое солнце — и Эстер отгонит дурные мысли. Вновь явятся светлые грезы, вновь встрепенется сердце от счастья и радости, вновь всплывут те сладкие сны, придут золотые мечты, — и она запоеет, зальется, как Иоселе.

— Что с тобой, дочка? — перебьет ее Злата. — Я тебя спрашиваю, как это можно вот здесь, среди улицы петь? Да еще при чужих людях!

Тогда Эстер, точно пробудившись от сна, удивленно спросит:

— Петь? Кто поет?

Последний год, когда Иоселе перестал писать, Эстер, конечно, немало страдала. Однако она так верила в него, что и не допускала дурной мысли, даже оправдывала его про себя: «Человек вечно в разъездах, все время в скитаниях. Что же тут удивительного?» И она все ждала, надеялась. И вдруг это горе! К такому она и не готовилась. Весть эта точно громом сразила ее. Она точно очнулась от долгого забытья и увидела, что все ее счастье, вся ее радость — попросту сон, в котором она пребывала целых два года, лучшие два года своей жизни. Она внезапно увидела вокруг себя столько фальши и зла, узнала, как горька, мрачна, безобразна жизнь.

Но кто знал о ее муках? Кому до этого было дело? Кто в Мазеповке станет думать о какой-то бедной де-

вушке, которая вот только что была самой счастливой на свете, витала в облаках и вдруг свалилась на землю!

Ночью, в тиши, у себя в постели Эстер хорошенько выплакалась; плакала она не раз, много раз; но слезы эти ничуть не облегчали ее сердце. Потому что, помимо этой беды, на нее свалилось еще новое злосчастье, какая-то божья кара пришла, костлявая смерть позарилась на ее молодые годы. И имя этой костлявой — почтенный местечковый богач Алтер Песин.

XXII

Алтер Песин — вдовец, и шадхен Калмен из кожи вон лезет

Алтер Песин — состоятельный человек. У него замечательно легкое и доходное дело — он ростовщик. Однако его не сравнишь с другими ростовщиками, которые в заботах света божьего не видят. Мазеповский процентщик вечно в тревоге, ночами не спит, все опасается, как бы тот или иной должник не зажулил его деньги. Со временем он превращается в мрачного меланхолика. Ему все чудится, что его хотят обжулить, обобрать, ограбить, еще при жизни наследовать. Ему сдается, что каждый точит на него нож. А что, если однажды все его должники обанкротятся? Тогда, не приведи господь, останется только надеть суму и пойти побираться! Такие мысли делают мазеповского ростовщика скрягой, готовым на смертоубийство из-за гроша. Он ходит оборванный, в рубище, отказывает себе в куске хлеба. Но Алтер не таков. Он хорошо знает мазеповцев и прекрасно понимает, что доход он будет иметь до конца дней своих. Хотя его имя треплют всюду и за глаза его обзывают пиваккой, людоедом, кровопийцей, но разговаривают с ним почтительно и называют не иначе как реб Алтер. Ничего не поделаешь, деньги-то у него, обращаться приходится не к кому-нибудь, а к нему.

Вот почему наш Алтер живет не тужит, много раз в день заглядывает в горшок, заботится, чтобы курица была вкусной, бульон жирным, лелеет свой животик и ограждает себя от всяких треволнений. Как червяк, который, забравшись в самое румяное яблоко, тихонько, незаметно для всех полеживает там и с достоинством сосет его сок, не желая знать, что делается по ту

сторону кожуры, точно так и Алтер кормится в Мазеповке. Какое ему дело до того, что о нем говорят, что мелют языки? Чепуха все это! Было бы ему только тепло и уютно. Напротив, если вы станете его пробирать: «Право же, реб Алтер, вы должны уступить! Много ли вам прибавится, если вы уж вырвете у меня этот полтинник? Разбогатеете от этого, что ли? Мало у вас и без того! Иль, может быть, жена и детки сидят у вас на горбу?» — он хладнокровно выслушает вас, ухмыльнется и так же хладнокровно ответит: «Верное слово, не могу». И после этого можете с ним толковать сколько угодно — ничего не поможет. Или попробуйте его заставить дать милостыню на три гроша больше, чем он обычно подает. Он ответит вам вежливо, учтиво: «Верьте, больше никому не подаю». И можете после этого не беспокоиться, — разговор окончен.

Вот каков Алтер!

Алтер Песин весьма прилично выглядит, хорошо одевается. Он уже в летах, крепко упитан, но благодаря своему здоровому виду, холеному лицу, крошечной бороде может сойти совсем еще за молодого мужчину. У него порядочное брюшко; люди говорят — на крови своих жертв отрастил. Небольшой его рот стянут, зашнурован, красные, жирные губы — вроде присосков у пиявки — готовы всегда впиться и сосать; щеки — румяные и вздуты, как две хороших пампушки. В общем-то Алтер весьма благообразен, только глаза у него больно нехороши: один большой, другой махонький. Как глянет он этим глазком, человека до самого нутра холодок проберет. Ходит Алтер медленно, говорит негромко, эдаким фальцетиком, и всегда улыбается. За собой он следит, любит чисто одеваться. Шелковая каскетка, люстриновый сюртук, все его одеяние выглядит новеньким, только с иголки; сапоги блестят и играют на нем. Кажется, пылинки на него не сядет.

Всегда свободный, всегда довольный, Алтер не знает никаких забот, никаких терзаний. После обеда он обычно спит некоторое время, затем отправляется на базар, просто так, потолкаться, поговорить с тем или другим, взять папироску. *Взять у другого что-нибудь* — для него самое большое удовольствие. И хотя он знает, что за глаза его за это называют свиньей, — это его мало трогает. «Не все ли равно!» — говорит он со смешком. Посетителей он принимает наилучшим образом — ра-

душно, любезно; усадит на самое почетное место, не скупится на ласковые речи. И все же его в Мазеповке не любят, терпеть не могут, несмотря на всю его сладость. Собственно, никаких претензий ему не предъявишь, — он и мухи на стене не тронет. И все же пуще смерти ненавистен он мазеповцам. Видать, крепко въелся он им в печенки. Может, вы думаете, он не знает этого или его коробит такое отношение? Нет, это его ничуть не трогает.

Вот каков Алтер!

Его зовут Алтер Песин по имени его матери Песи, мир праху ее. Это была женщина сноровистая и недурная собой, а в молодости, говорят, она даже была красавицей. Этими достоинствами она совсем затмила мужа своего, Хаим-Шаю, который все годы просидел в синагоге за священными книгами, служил, так сказать, богу. Дом вела Песя. Кормила ее корчма.

— Э, так себе... Не жалуюсь... — отвечала она на расспросы. — Кусок хлеба всегда есть.

И с этого «э» она сколотила порядочную сумму, можно сказать, значительную сумму, так что со временем возвела дом, купила две лавки, приобрела драгоценности; иногда, если ее крепко просили, давала и займы, особенно попам. С попами Песя больше всего любила дело иметь. «Отдам трех евреев за одного попа!» — заявляла она. В городе даже болтали, что... Впрочем, мало ли что в Мазеповке могут придумать! «Ну и ловкая же эта Песя!» — твердили многие, с завистью поглядывая на Хаим-Шаю. «Ну и замечательная у вас женушка, — говорили ему молодые люди в синагоге. — Трех мужчин стоит ваша благоверная».

Ничего им на это Хаим-Шая не отвечал, только поднимет, бывало, густые брови, глянет поверх очков, вздохнет и задумается, почесывая пальцем под талескотном, затем снова примется за фолиант. Так вот, сидя в молельне, Хаим-Шая и уснул однажды, уснул навеки. Никто не знал, отчего это он ни с того ни с сего умер. «Кажется, здоровый мужчина, крепыш, и вдруг — на тебе!» — «Что ж, наверное, кончился его годы, царство ему небесное. Хороший был человек, честный», — говорили о нем в городе. И устроили ему такие похороны, какие многие пожелали бы себе через сто двадцать лет. «Да, хороший был, тихий такой, и большой учености человек». — «И жил он вроде отшельни-

ком». — «Отшельником или не отшельником, но благочестивым человеком он был безусловно, хотя и не очень острого ума, да простит мне покойник» — так толковали в городе после его кончины, а там и вовсе забыли о нем.

А Песя осталась по-прежнему при своем деле и при своих попах. И не грешно сказать, что было ей совсем неплохо. Никто никогда не замечал, что перед ним несчастная вдова. Она никому никогда не плакалась на свою долю, как это обычно водится в таких случаях. Песя справила траурную неделю, соблюла траурный месяц, как муж того заслужил, целый год носила черный передник, как положено, и осталась все той же Песей: занималась корчмой, попами и своим Алтером, дай ему бог здоровья. Песя была очень преданной матерью. Алтера она оберегала как зеницу ока. С малых лет и почти до самой свадьбы он держался, как говорят, за мамину юбку. И она выпестовала его на зависть всем мазеповским женщинам. «Ну и откормила она своего наследника, не сглазить бы!» Сыну отдавала она всю свою любовь.

— Единственное мое дитя, — говорила Песя. — И достался он мне нелегко. Больше семи лет после свадьбы у меня не было ребенка. Уж думалось — бесплодна я. Где только не побывала, пока дождалась этой благодати! И на Алтере опять все кончилось.

Песя не отпускала от себя Алтера ни на шаг. Десять раз на день приходила в хедер навестить свое дитя, и каждый раз приносила ему какое-нибудь лакомство или просто что-нибудь поесть. Товарищи завидовали Алтеру, слюну глотали, глядя на него, мечтали о его доле. Бить или пороть Алтера учитель не смел ни в коем случае. Стоило кому-нибудь пальцем дотронуться до мальчика, как Песя готова была глаза выцарапать обидчику. Зимой в большие морозы и летом в зной Песя не пускала сына из дому. «Никуда твое ученье не денется!» — говорила она. Алтер был несколько туповат, и прилежания за ним тоже не наблюдалось. Песя знала, что раввина из него не выйдет, и ничуть не волновалась из-за этого. «Ну и очень хорошо! Пускай не будет похож на своего отца», — говорила она и в шестнадцать лет забрала его из хедера, подержала года два подле себя и в добрый час оженела.

В жены Песя подыскала ему девушку деликатную, хрупкую. Была Песя любящей матерью, а тут стала еще

и замечательной свекровью. Относилась она к Фейге, — так звали жену Алтера, — как к собственному дитяти, души в ней не чаяла, ходила за ней по пятам, глаз с нее не сводила. «Фейгеле-душенька, не хочешь ли этого? Не дать ли тебе того?» Очень хорошо жилось Фейге, и была она совершенно счастлива. Однако недолго длилось это счастье. Не бывает так, чтобы человеку было кругом хорошо. Бог наказал Фейгу и не дал ей детей. Алтер очень хотел ребенка, Песя не могла дожидаться внука — утеху на старости лет.

И вот оба они омрачили Фейгину радостную жизнь. Началось все якобы с шутки, с красного словца, сказанного невзначай: «Да ведь ты бесплодная, что с тобой говорить!» А после Алтер начал дуться на жену, Песя стала уговаривать ее попробовать какое-нибудь средство, съездить куда-нибудь. Может, все-таки поможет!

— У меня самой, дочь моя, долгое время не было детей, — говорила Песя. — Увидела я, что дело плохо, и стала всякое делать. У кого только не побывала? У татарина, у кадика, у той знахарки, о которой я тебе говорила. А зелья сколько выпила за эти годы, боже мой! Что ж было делать? Остаться вот такой? Чего стоит женщина, если она, с позволения сказать, не рождает детей? Дети есть — и муж любит, а упаси боже, нет детей — нос воротит, а то и вовсе плюнет.

С каждым днем Песя все больше ярилась, рвала и метала, всю кровь из Фейгеле выпила.

— Зачем она тебе нужна, эта тощая коза? — говорила она сыну. — Дай ей развод, и делу конец!

Фейга слышала все это, и ей было очень больно. Но горе свое она затаила глубоко в сердце. Фейга стала болеть, лечилась, пила травяные настои, принимала порошки да микстуры, пока не умерла.

Не суждено было Песе дожидаться радости от своего сына. Алтеру предлагали много невест, партии все наклеывались и наклеывались, да так ничего и не выклевалось. Как-то не везло Алтеру с женитьбой, и он уже вдовствовал порядочное время. Уже Песя перебралась в лучший из миров, а Алтер все еще сиднем сидел. Сказать, однако, что это его очень огорчало, нельзя. Случись хорошая партия, он не отказался бы жениться, но гнаться за таким делом Алтер не намерен. Правда, шадхен Калмен не сидел сложа руки, действовал всюю:

он писал повсюду письма, толковал с людьми, одним словом, землю носом рыл.

Частенько Калмен забегал к Алтеру и вопил:

— До каких же это пор? До каких пор, реб Алтер, вы будете меня мучить? Должно же это когда-нибудь кончиться!

— Видать, тебе очень некогда, шут ты эдакий? — отвечал ему обычно, улыбаясь, Алтер.

— Дайте же мне пока хоть немного денег!

— Денег? Фу!

— На расходы, реб Алтер! На расходы!

— Да ну тебя! — отвечал Алтер и прекращал на этом разговор.

Вот каков этот Алтер Песин!

XXIII

У Алтера губа не дура, и тетя Ентл принимается за дело

Но все до поры до времени. Однажды произошло следующее: Алтер заперся с Калменом в той каморке, где у него стоит денежный сундук, — здесь он всегда разговаривал с людьми по секрету, — и долго там с ним о чем-то толковал. Калмен вышел оттуда красный, шмыгал носом, качал головой и все приговаривал: «Чудесно! Чудесно!» Что он там еще бормотал, не разобрать было.

Раскинув полы своего длинного сюртука, он тотчас направился к Ентл, сестре Златы; там долго разговаривал с ней наедине, шмыгая носом и покашливая, как человек, который собирается с духом, чтобы сказать что-то очень важное. Ентл все время стояла посреди комнаты, подперев рукой подбородок, и слушала, как Калмен мелет языком, что-то недоговаривая, по своему обыкновению. А когда он наконец выжал из себя все, что надо, Ентл хлопнула себя обеими руками по ляжкам и закричала до того сердито, что перепуганный Калмен отступил к двери.

— С ума вы сошли, спятили или вовсе рехнулись? — сыпанула Ентл. — Все дурные сны, которые снились мне этой ночью, прошлой ночью и прошлогодней зимой, пусть свалятся на головы моих недругов! Хороша парочка, нечего сказать! Я все думала — вы про Злату

толкуете, а вы, оказывается, вон куда загнули! Недолго думано, да складно сказано! Видать, у вашего Алтера губа не дура! Ну, что за чепуха! С ума сойти можно! Такая молоденькая, цыпленочек, можно сказать, кровь с молоком! Здорово свели — зиму с летом! Эдакую красотку — такому дряхлому псу! Простите за выражение, старый хрен! Горькая редька!

— Редька, говоришь? Пусть будет редька, но сочная, жирная, упитанная. Денег там полный кошель. Ведь это счастье для твоей Златки, — пускай бог пошлет мне такой радостный год, как это правда! И смотри-ка, я стараюсь сделать ей добро, а она еще ерепенится! Не хочешь — как хочешь! Я предложил — твое дело подумать, твое дело.

— Полный кошель? — повторила Ентл уже спокойней. — Ну да, деньги уйдут, кошель останется. Я, как вы знаете, тоже радовалась когда-то золотому кошельку. Ну ладно, все это шито-крыто, забыто... Что же вы хотите, чтобы я поговорила с сестрой? Поговорю. Слово — не оплеуха. Только я, реб Калмен, заранее знаю, дело это не пойдет. Эстер — совсем другого сорта девушка, не сравнить с мазеповскими девчонками.

— Ну что ж, нет так нет. Разве здесь кто-нибудь принуждает? Девушка — что полотенце, всяк может утереться. Ну, а кто такая твоя Эстер? Баба как баба. Groш ей цена, грош, говорю! Конечно, если ты постараешься, все будет ладно.

— Да, — произнесла Ентл, раскидывая умом и взвешивая сказанное по-всякому. — А как полагаете, за ним остановки не будет?

— Ты это об Алтере? — спросил Калмен, подступаясь к Ентл. — Странное дело, право. Тот умирает, бредит ею, а она спрашивает: не будет ли за ним остановки?

— Да не о том речь, — заметила Ентл. — Я насчет приданого говорю. Злата, между нами, не в состоянии даже сотняги выложить. С бедняги хватит и того, что приходится дочку замуж выдавать, а не на что. Говорится ведь: легко поднять пьяницу, нежели бедняка.

— Что ты такое, Ентл, мелешь? Алтеру очень нужны Златины деньги! Как же! Некому, право, смеяться, некому.

— Ну, если так, — Ентл, раздумывая, закусил палец, — если так, то поглядим. Надо попробовать! Не мытьем, так катаньем.

— Попробуй! — промолвил Калмен, разводя руками и чуть пригнув голову. — Да — да, нет — нет. Но, конечно, если ты захочешь — дело пойдет, тут и говорить нечего. Тянуть тебя за язык не приходится. Надо только как следует взяться, и главное — не дать делу остыть... Всего хорошего!

— Всего! — ответила Ентл. — Я еще посоветуюсь со своим Бейнишем. Послушаем, что он скажет. Вдвоем оно крепче.

— И то верно, — согласился Калмен. — Хочешь с ним поговорить? Пожалуйста, делай как знаешь. Все-таки, как говорится, муж... Всего!

— Всего!.. Смотрите же, реб Калмен, не проговоритесь до времени Злате или моему Бейнишу, чтобы не получилось, как это бывает, много пели, да мало съели.

— Ладно, ладно, — ответил Калмен и вышел из дому весьма довольный.

Всю обратную дорогу он, не переставая, разговаривал сам с собой.

Последнее заявление Ентл насчет мужа было лишь дипломатическим ходом. Так ей полагалось сказать, что она переговорит с Бейнишем. На самом же деле она не смела даже намекнуть ему на это. Бейниш мог ей только помешать, а не помочь.

Бейниш был из того сорта людей, которых в Мазеповке называли просвещенцами. Родом он был из большого города Кашперова. Это вот чудо заморское и откопала Бася для своей младшей дочери. Во время жениховства Бейниш слыл редкостной жемчужиной, настоящим мудрецом. Однако, поженившись, он показал себя не с лучшей стороны: о своей раввинской учености он тотчас позабыл и принялся за светские книжки. Ладно еще, об этом вовремя узнали и сразу дали ему по рукам. Бася тут хорошо поработала. Она требовала развода, и больше никаких. «Мне такой товар не нужен! — кричала она. — Я обманулась в своем предмете!» Бася вызвала из Кашперова родителей Бейниша, и вместе они трудились до тех пор, пока не поставили Бейниша на ноги, пока не сделали его человеком, похожим на всех мазеповцев. С той поры Бейниш стал купцом, оставил книжки в покое, даже в руки их не брал. На то у него и жена была бой-баба. Ентл муштровала мужа каждый божий день, чтобы он знал, что такое жена, и помнил, что ее нужно слушаться. Но в глубине души Бей-

ниш остался все же просвещенцем, крепко любил таких людей и терпеть не мог мазеповцев всех подряд, особенно уважаемых всеми местных ростовщиков, которые расхаживали по базару с палочкой в руке; этих червяков, которые точат бедняка, высасывают последнюю каплю крови из ремесленника.

— Ах, как я их ненавижу! — говорил Бейниш. — Один бог только знает мою правду. Всех бы их вздернул на одной веревке, а начал бы с этого пуза, с реб Алтера, провалиться ему!

— Да что он тебе сделал? Поглядите, как он расходился! — пробовала Ентл утихомирить его. — Не будь таким свирепым, Бейниш! Будет время — самому придется прибегнуть к его помощи, посмотрим, что ты тогда запосешь. Как говорят, не забирайся высоко — упадешь.

Но ведь вот беда — Ентл угадала! Когда попозже Бейниш стал купцом, он вынужден был не однажды обращаться к Алтеру за ссудой и с этих пор стал ненавидеть его пуще прежнего. Теперь только при одном его имени Бейниш дрожал от бешенства. Ентл это очень нравилось, и она нарочито злила мужа. Особенно часто она стала говорить об Алтере и о его богатствах после визита Калмена, бросая при этом колкости в адрес своего супруга.

— И заметь, нажился он, не зная ни фолиантов, ни книжек! — говорила Ентл, давая этим понять, что она тоже кое-что смыслит.

— Прошу тебя, — кричал Бейниш, — не говори мне об этом злодее, об этом людоеде! Имени его не могу слышать!

— Но скажи, по крайней мере, что он тебе сделал? — спрашивала Ентл, кривя рот. — Да, он богат, но какое кому дело до этого? Многие хотели бы так разбогатеть, но для этого надо иметь его ум. Проценты, глупенький, без дождя растут.

— Но ведь я прошу тебя, Ентл, не упоминай при мне этого проклятого имени! Сделай одолжение, не говори о нем!

— Погляди, как он расхорохорился? Расходился, будто озолотил меня! Ну, что тебе взбрело в голову? Стали толковать об Алтере, вот я и говорю, что он совсем не такой, каким его изображают. У каждого человека бывают враги. Есть такое словцо...

— К чему мне твое словцо? Скажи-ка лучше, Ентл, чего это ты вдруг так разговорилась об Алтере? Что-то здесь неладно. Нет, это неспроста.

— Вот тебе на! Это уж как говорят: коль у лука луковица, так у чеснока чесноковица. Немой не наговорил бы столько за год, сколько ты за минуту.

— Нет, Ентл, я уж тебя знаю. Это неспроста.

— Знаешь, Бейниш, замолчи-ка лучше! Как говорят: меньше рассуждай — больше понимай! Отрастил бык длинный язык, а трубить не может. Так и с тобой. Если иной раз и можно было бы с тобой кашу сварить, так ты сейчас же выскакиваешь со своими мудрствованиями. Нашелся мудрец Бейниш! В умники не попал и из дураков не вышел! Уходи, уходи с глаз долой, чтобы я тебя больше не видела!

И ведь какая удача! Бейниш любит свою супругу как раз тогда, когда она распечет его на все корки, как следует изругает. Тогда он становится мягким, податливым, хоть мни его, хоть меси его, как тесто. И Ентл мяла его, делала с ним в эти минуты все, что ей вздумается.

— Вот что, Бейниш, — сказала она, — тебя просят лишь об одном: слушай, смотри и помалкивай! Потому что испортить дело может даже драная кошка.

XXIV

*Ентл старается изо всех сил,
и Алтер становится необычайно покладистым*

Впутаться в чужое дело, высказать свое мнение там, где оно никого не интересует, дать совет, которого никто не просит, последить за своим ближним, заглянуть в чужой горшок — на это всяк охоч. Но вот впутаться в дело, когда речь идет о судьбе человеческой, помнить, что у кого-то есть сын, а у другого, наоборот, дочь, сосватать юношу с девушкой, наладить свадьбу — на это способны одни только мазеповцы; тут они, можно сказать, единственные в мире мастера. Каждый мазеповец — это сват, посредник по брачным делам. Боже упаси, не ради денег! Но если при этом что-нибудь перепадет, — пожалуйста, кто ж откажется от случайного заработка?! Многие, однако, даже не помышляют о день-

гах. Они займутся этим, только чтобы сделать благое дело. Увидят, к примеру, парня и девушку, вдовца и вдову, разведенного и разводку, и у них сразу возникает идея: «Да, это было бы ладно! Совсем равные браки!» И они тут же начинают действовать, разумеется, только ради блага ближнего: вдовцу они сватают девушку, парню предлагают разводку, а разведенному прочат в жены вдову. И в таких случаях здесь бросают все дела, забывают все на свете, из кожи лезут вон, только бы брак состоялся, как будто для них это жизненно важно или сулит большой заработок. Они не могут стерпеть, их буквально с души воротит при виде старого холостяка или девицы в летах.

— До каких же пор вы будете сидеть? — кричат они. — До седых волос?

Самое страшное в Мазеповке — засидеться в девках. С таким чадом стыдятся на люди показаться. Со старой дево́й мужчины держатся вольно, как с существом своего пола. Женщины глядят на нее так, точно перед ними перезре́лый хрен, — всем он противен, и от него отворачивают носы. Все эту девушку жалеют, и выдать ее замуж считается богоспасительным делом.

— Ты можешь, конечно, Злата, сердиться, но от правды никуда не уйдешь. Как говорится — за правду бьют. Я — старшая сестра и обязана высказать тебе все, что у меня на душе. Твоя Эстер, конечно, славная, хорошая, честная девушка, тут не о чем говорить. Не заботиться бы мне так о заработках, как тебе нечего заботиться о ее замужестве. И все же не забывай, что молоденькой ее уже назвать нельзя. У тебя в ее годы было двое или трое деток. Дай бог мне такую хорошую жизнь, как хорошо отзываются о ней в городе. Но когда я слышу, как вслед твоей дочери шепчут: «Вот она идет, старая дева!» — у меня начинает колоть под седьмым ребром, — ты ведь понимаешь. Как говорится: это меня вовсе не трогает, только прожигает насквозь

Так мужским баском наставляла Злату старшая ее сестра Брайна, торговка бусами, толстая, дородная женщина, с корявым лицом и черными усами на верхней губе. В городе ее считали большой умницей, честной, добродетельной и покровительницей бедноты, для которой она частенько становилась «ходатаем», то есть попросту брала платок и еще с какой-нибудь женщиной обходила дома, собирая милостыню для неимущих

рожениц, для бесприданниц, на хлеб для нищих и тому подобное. Нельзя сказать, чтобы ее в городе сильно любили, потому что она достаточно надоела всем своими частыми сборами. «Вон она идет, старостиха с платком», — говорили, увидев ее издали. Муж ее, Мойше-Авром Зализняк, знал лишь свое скобяное дело. А Брайна, выросшая в доме у своей предприимчивой матери, Баси-оптовщицы, тоже не могла сидеть сложа руки, промышленяла на свои деньги продажей бус. Муж не особенно рад был ее предприятую, так как все ее заработки полностью уходили на нищих, бедных рожениц и неимущих невест, которых она усиленно выдавала замуж. Но что поделаешь? Дочери Баси не выносили, чтобы мужья вмешивались в их дела, давали им советы.

Для Златы мнение Брайны было всегда очень веским.

— Что же мне делать, несчастной вдове с крошками-сиротами? — спросила Злата. — Что предприму я, если жених не находится? Силой ничего не поделаешь, коль счастье нейдет. Ты ведь понимаешь, что мне и больно и горько смотреть на свою Эстер.

Расчувствовавшись, Злата даже всплакнула, а Брайна изо всех сил принялась утешать ее. Она говорила теперь совсем противоположное: что Эстер не такая уж старуха, чтобы убиваться о ее судьбе, что еще придет ее пара, и суженый явится, сам найдет этот дом, это замечательное место, потому что в городе, нечего обманывать, не так уж много таких девушек, как Эстер. А господь, если захочет, может крепко помочь. «Ты еще, бог даст, дождешься от нее немало радостей».

Не так, однако, повела себя Ентл, младшая сестра Златы. Она взялась за дело рьяно, совсем по-иному. Ентл могла отдаться этому вся, целиком и полностью, потому что у нее всегда было достаточно свободного времени, — ведь она домовничала и не мчалась каждый день на базар, подобно Брайне или Злате. Младшая дочь, поскребыш так сказать, она росла у матери, когда та уже по старости лет не могла уделять ей столько времени, сколько она уделяла старшим дочерям, выводя их в люди. К тому же Ентл всегда была с ленцой, любила судачить на чужих крылечках и вмешиваться в чужие дразги, особенно если речь шла о сватовстве, о семейных делах, о братьях и сестрах, — сюда уж она обязательно совала свой нос. Бросит словцо, заварит кашу, а когда все как следует вцепятся друг другу в волосы,

станет в сторонку и стоит смиренхонько, как агнец невинный. Понятно, что там, где ее знали, а знали ее повсюду как злую фурию, Ентл боялись пуще огня. Если две женщины разговаривали на базаре и появлялась Ентл, они тотчас умолкали: «Тише! Вон она идет, нечистая сила, «шито-крыто, забыто». Даже своих сестер она, бывало, так стравливала, что те годами потом не разговаривали друг с дружкой. Ентл обладала необыкновенным даром: что бы она ни рассказывала, ей верили. Талант ее скрывался в языке, в жестах, в выражении глаз. Времени у нее хватало, дети у нее не водились, дела вел Бейниш (он занимался хлеботорговлей), а двери домов всегда были для нее открыты, — как-никак все же она дочь Баси-оптовщицы.

Умом бог Ентл не обидел, — Калмен знал, кого выбирать себе в помощники. Ентл принялась за дело так ловко, так искусно, что Злата, которая тоже была не из тех, что идут десяток за грош, не замечала здесь никакого подвоха. Тем более, что, разговаривая об Алтере, Ентл то и дело проходила на его счет, высмеивала его, издевалась над его манерами.

— Тоже мне жизни! — бросила она мимоходом. — Живет один в четырех стенах. Ест, пьет и считает деньги. Богат, черт его побери, как Корей. Чего ему недостает? Разве только головной боли! Будь он хоть немного моложе, ему сосватали бы какую-нибудь девушку, пускай бесприданницу.

— Нашла человека! — ответила Злата. — Тот за деньги самого себя продаст. А она говорит...

— Ох, и крепко ты ошибаешься, Злата. Калмен поклялся мне такой клятвой, что и псу поверишь, будто он подыскивает для Алтера невесту из бедного сословия, была бы она только из порядочной семьи. Пускай без приданого, была бы сама хороша. Тогда жених еще сам доплатит. Скажу по правде, если б господь не покарал меня бесплодием и дал бы дочь, я бы долго не раздумывала. Черт с ним! Пускай он свинтус, лишь бы дитя было пристроено. Э, слушай, Злата, зови меня дурочкой, только пряниками корми.

Такие разговоры Ентл вела со своей сестрой довольно часто, но всегда так ловко касалась Алтера, что та и заподозрить не могла ее намерений.

Однажды Злата как-то обронила:

— Как думаешь, Ентл, пошла бы за него моя Эстер?

— Да что ты? Совсем сдурела! — вскрикнула Ентл. — Что такое? Твоя Эстер какой-нибудь урод, что ее нужно поскорей с рук сбить?! Да ну тебя, лишь бы языком молоть!

— Нет, не говори, Ентл! Один бог знает, как я страдаю. Думаешь, мне приятно слушать, что говорят...

— Что ж такое про тебя говорят, хотела бы я знать? — спросила Ентл, прикинувшись дурочкой.

— Чего тебе еще надо? Достаточно, что говорят про Эстер, м-м-м, мол, она в летах...

— М-м-м, мало что говорят... М-м-м, мало что болтают... Что ты все ме-е да ме-е! Мекает коза! Пускай они говорят о своей кончине и о своей гибели! Пусть лучше поглядят на себя, и тогда у них не будет голова болеть о других. Нет, скажу тебе правду, терпеть не могу, когда вмешиваются в чужие дела, готова растерзать всех, кто так говорит. Какое им дело до того, что Эстер еще не невеста? Почему это их волнует? Почему не трогает меня, что дочка Леи-Ципойры утрамбована годами, как мешок половой? Почему не тревожит меня, что от девки Мишцы уже понахивает могильной травкой? Почему я помалкиваю о трех дочках рыжего Бенци, которым давно уже минул призывной возраст, между тем даже сумасшедшему не взбредет в голову взглянуть на них? Почему я не бегаю по городу и не кричу о невестке Малки-Гени, которая ни с того ни с сего сняла с головы парик? Если муж ее заработал много денег, так, думаешь, он со временем не прогорит? Еще как! А дочка Голды, торговки монистами, разве не целовалась на прошлой неделе с приказчиком под стойкой? Не могу я, прямо сама не своя, меня в дрожь бросает, когда слышу, как злословят, как оговаривают ближнего, замечают дурное только в другом, и никак не в себе.

Ентл до того разволновалась, что ушла, забыв якобы, зачем приходила.

Через несколько дней она снова появилась у Златы в лавке и под села к ней на скамейку подле двери с рукодельем в руках.

— Послушай, Злата! — сказала она. — Я дома поразмыслила, а потом и с Бейнишем потолковала о том самом, о чем ты обмолвилась прошлый раз. Оказы-

вається, не така уж это кривда, как я думала. Говорят ведь: запряг криво, да поехал прямо. Как-никак все утверждают, что он несметно богат. Денег полно, а детей нет...

— Что ж, у него никогда их и не было? — спросила в раздумье Злата, почесывая спицей под платком.

— Какой черт! — ответила Ентл, отложив работу в сторону. — Хотя да, что-то у него там было. Жена, знаешь, какая у него была холера. Разве не помнишь Фейгу? Испокон веков зеленая, черт знает какая, — да простит она мне! — вечно лечилась, бегала по докторам. Раза два у нее были выкидыши, а потом не рожала до самой кончины.

— Я как-то намекнула Эстер, — со вздохом сказала Злата, — а она молчит. Кто ее знает, чего она молчит? Нынешние дети! Поди узнай, что у них на душе! Но все же Эстер у меня девушка толковая, понимает, что к чему, и никогда мне не перечит.

— Ну, а тот и в самом деле не прочь ее взять? — как бы невзначай спросила Ентл.

— Спрашиваешь, не прочь ли? Станный вопрос, право. Тот умирает по ней. Уже несколько раз засылал ко мне Қалмена и сам не однажды заглядывал в лавку, когда там была Эстер. А ты спрашиваешь, хочет ли! Да он готов озолотить ее.

— Вот как! — сказала Ентл, точно и впрямь ничего не знала. Она сразу же оставила беседу и принялась заговаривать сестре зубы всякой всячиной — гусками, вареньем, удачной халой к субботе и тому подобными вещами.

Злата никогда прямо не заговаривала с Эстер о замужестве, о браке, но эта тема сама собой частенько приходила им на язык. Самым большим удовольствием для Златы было урвать несколько грошей из своего бюджета и купить что-нибудь дочери в приданое. В сундуке у Златы давно уже лежали: полдюжины женских сорочек с замечательными кружевами и тонкими прошвами по последней моде, вышитые наволочки, два пикейных одеяла, мотки ниток для чулок и тому подобные вещи. Сундук был для Златы вроде казначейства или банка, куда она по мелочи, понемногу откладывала всякое добро для дочери.

— Для кого ты это копишь? — спросила однажды Ентл, увидев, как Злата возится у сундука.

— Для кого коплю? — ответила с досадой Злата. — Что ж тут непонятного? Конечно, для второго мужа стараюсь.

— Недолго думано, да складно сказано, — ответила Ентл, по своему обыкновению, красным словцом. — Пускай мне достанется то, чего я тебе желаю. Ну, что особенного? Вижу, укладываешь — вот и спросила, для кого это. За слово пощечиной не казнят. Ну, ладно, пускай на этот раз будет по-твоему.

— Ты прекрасно знаешь, — чего тут прикидываться? — что все это я готовлю в приданое Эстер, к свадьбе, дай бог поскорей ее дожждаться. Пора уж!

Эстер, которая сидела тут же, отвернулась к окну, чтобы никто не видел, как щеки ее залились густым румянцем.

Как-то зимним вечером Злата сидела на лежанке, склонившись над решетом с перьями, а сбоку на скамейке пристроилась Эстер; дочь шила ситцевые талескотны для Эфраима и Менаше. Злата и Эстер обо всем уже переговорили, и теперь каждая делала свое дело. Ни в доме, ни за окном не слышно было ни шороха, ни звука, только старый серый кот на печке временами всхрапывал во сне. Внезапно Злата испустила громкий протяжный вздох, похожий скорее на икоту: «Ох-ох-ох-ох-охо!»

— Что с тобой, мама? — испуганно спросила Эстер.

— Как что со мной? — переспросила Злата.

— Почему ты так тяжело вздохнула? — повторила Эстер вопрос и отложила работу.

— Отчего вздохнула? — ответила Злата. — Вздыхается, вот я и вздохнула. Было бы хорошо на душе, не вздыхала бы. Не от радости это, сама понимаешь. Как осмотришься кругом, разворошишь то да се — в голову поневоле полезут всякие мысли. Тужишь, думаешь, как устроить эту свою брэнную жизнь.

— Чего же тужить? — мягко сказала Эстер. — Сама видишь, бог ведет нас своей стезей, как и всех других людей. Скоро вот начнутся Красные торги¹, надо думать, заработаем немного денег.

¹ Красные торги — базарные дни, когда в местечко из деревень наезжали крестьяне. (Прим. автора.)

— Ну вот, деньги-шменьги! Есть заботы поважнее. Как подумашь о детях... Растут, надо их пристраивать, а я все еще собираюсь. Взять хоть бы тебя. Ну, что мне с того, спрашивается, что Калмена из дому не вытолкаешь? Приданого-то у меня нету. А без приданого кто же возьмет? Зовемся хозяевами, вот он и думает, что у нас хоть пруд пруди, вот и лезет. Поди расскажи, что у тебя на душе! А время не ждет, с каждым днем тебе все больше лет. Ох, не дожить мне лучше до того, чтобы о моем ребенке говорили — до седых кос досиделась!

В этот момент отворилась дверь, и в комнату ввалились раскрасневшиеся от мороза Эфраим и Менаше. На них были кошачьи тулупчики, круглые гарусные шапочки, а в руках бумажные фонарики.

— Добрый вечер, — произнесли они в один голос, подпрыгивая и сбрасывая с себя тулупчики.

— Кушать! Кушать! — тотчас закричал Менаше и потянул Эстер за юбку.

— Тише, тише! Сейчас даю, — сказала Эстер, поднимаясь, и поставила перед детьми их ужин — суп гороховый с клецками.

Эфраим старше Менаше всего лишь на год, однако он казался намного взрослей и степенней своего брата. Бледный, худощавый, с двумя длинными, жидкими пейсами, он выглядел как истый знаток торы. «Он, царство ему небесное, весь он, долгие ему годы!» — говорила о сыне Злата, видя в нем своего покойного Лейви. Менаше — маленький, полный, озорной, лакомка и болтун, готов был всюду совать свой нос; не мальчик, а вьюн, огонь. Он был рад ездить верхом даже на козе, перевернуть все кверху дном, но учиться — дудки!

— Мама, мама! Знаешь? — крикнул Менаше, глотая слова вместе с клецками. — Знаешь, мама? Эфраим уже сам читает Талмуд! Учитель задал ему приготовить кусок на четверг. А Пиня, сын Меер-Пини, вон уже какой, а не смыслит ни тютельки. Ну и всыпали ему — сколько влезло! Его счастье, что к учителю зашел реб Калмен насчет сватовства. Учитель сватает кого-то, вот Калмен и ходит к нему изо дня в день. Они просиживают часа по три, а мы тем временем хохочем всюю. Так вот Пиня, сын Меер-Пини, спасся от лупцовки. А Талмуд он знает столько же, сколько серый волк.

— Ну, а ты знаешь Талмуд? — спросила Эстер, скрепив руки на груди и с удовольствием наблюдая, как ребята уплетают свой ужин после целого дня занятий в темном хедере при трехгрошовой свече.

А Злата, та и вовсе растаяла, наблюдая своих «брильянтовых» детей. Сердце ее наполнилось благодарностью к предвечному за его милости, которые он оказывает ей, несчастной, горемычной вдове.

И вдруг радость ее омрачилась. Эфраим, до сих пор сидевший молча, внезапно произнес:

— Мама, учитель просил деньги.

— Угу, мама, — подхватил Менаше. — Учитель и жена его очень просили деньги. Они должны уплатить за квартиру, за дрова, и еще на базар им нужно. Берл, сын Мойше-Авремла, принес вчера только два рубля, — ну и «угостил» же его учитель! А Пине, сыну Меер-Пини, он раз десять наказал, чтобы без денег он и на порог не являлся. Учитель и его жена очень просили, чтобы ты прислала плату за учение.

«Опять плата за учение! — подумала Злата, и у нее екнуло в груди. — Ему уж, верно, следует рублей пятнадцать. Как же не послать хотя бы десятку?! А тут идет Красные торги. Только заполучишь копейку, сразу пускаешь в оборот. Лавку-то ведь надо подновлять, пятью пальцами немного наторгуешь. И все же платить за учение надо!» На лице у Златы появилась досада. Легла она спать совсем убитая, будто голову ей сняли с плеч.

Всю ночь Эстер слышала, как мать ворочается, стонет, вздыхает, и в голове у нее мелькали тысячи планов, как спасти мать от нужды. Разумеется, в первую очередь ей на ум пришел Иоселе. С ним она уж обязательно придумает что-нибудь. Да и вообще, если она выйдет замуж, матери сразу станет легче. Оба они будут трудиться, сделают так, чтобы и Злата и Шмулик были довольны ими. Но светлые грезы быстро улетучились. Налетели мрачные думы, задели черным крылом.

«Ну, а если ничего не выйдет? Если не суждено мне счастья на земле? Тогда пойду служить, чтобы маме стало легче. Поеду куда-нибудь и там наймусь. Все говорят, что я справилась бы с любой работой в магазине и при другом деле не оплошала бы». Потом эта затея самой Эстер показалась дикой. Как это такая вот

девушка поедет одна куда-то служить? Пустой разговор! Но что же делать? Выйти замуж? От этой мысли ее бросало и в холод и в жар. Как же это она выйдет замуж не за Иоселе?!

Утром, уже собираясь в лавку и звякая ключами, Злата излила свою досаду на несчастных детей, которые ни на шаг не отступали от нее и все кричали: «Мама, денег! Мама, денег!» Злата изругала их на все корки, а Менаше она даже вlepила две оплеухи, чтобы не дерзил матери, не был бы шалопаем. «Погонялы! Наемщики!» — кричала она на своих детей, которые вчера еще были «брильянтовыми», и с тяжелым сердцем сунула им деньги для учителя, дала завтрак и вытурила вон, в хедер.

Эстер это было тяжело, но она вполне добросердечно сказала:

— Не понимаю. Если ты уж дала деньги, к чему нужно было ни за что ни про что терзать детей?

Тут Злата не совладала с собой и выпалила все разом. Она и сама знала, что дети здесь ни при чем. Но на сердце у нее и без того было тяжело, Ентл и Калмен ни на день не оставляли ее в покое, вот она и накинулась на дочь. Будь что будет, но нарыв должен прорваться! Ничего не поделаешь!

— Выслушай меня, дорогая доченька, милостивица моя! Ты заступаешься за детей? Тебе их жалко? Почему же не пожалеешь ты своей матери, горемычной вдовы, у которой трое детей да к тому же вот такая взрослая девица, слава тебе господи, которую давно пора под венец вести, а матери ее на старости лет испытать хоть каплю радости в жизни? Жалеешь их? Почему же ты меня не пожалеешь? Может, у меня сохнут мозги оттого, что я все раздумываю, как пристроить тебя, как обеспечить тебе хорошую жизнь, не дать засидеться в девках до пришествия мессии, чтобы люди не тыкали в меня пальцами. Отца твоего величали Лейви, сын реб Авремеле из Славуты. Но, признаюсь, я совсем не уверена, что по этому случаю мне поставят золотое кресло в раю. Пока я знаю лишь одно — страдаю, мучаюсь, надрываюсь, — всем врагам мою участь! — а в случае чего знатное происхождение только поперек горла становится. А в чем дело? Вот ходит следом вдовец, очень порядочный человек. Чего ему недостает? Чем он плохой для меня зять? Богат,

дай бог всякому, порядочен, ни детей, ни какой обузы на шее. Сватается, хочет замуж взять, сохнет по ней, а она тут выскакивает со своей жалостью! Ах, какая жалость — жемчуг, видите ли, для нее не густо в ожерелье нанизан! Слыхали вы эдакое?!

Злата еще долго шумела, чесала языком, распекая Эстер. А та, конечно, и слова не вымолвила в ответ. Только две ниточки слез потянулись по ее прекрасным щекам и медленно-медленно покатались вниз.

Злата отдала бы неведомо что, только бы не было того проклятого утра, когда она изругала ни в чем не повинную Эстер. Несколько недель подряд она потом заискивала перед дочерью, все заглядывала ей в глаза, стараясь заглядить память о том проклятом утре. Не раз Злата вставала среди ночи с постели и, подойдя к сладко спящей Эстер, долго стояла над ней, как над малым дитятей, стояла и шептала про себя:

— Пускай все твои горести падут на меня, душа моя, звездочка моя, зеница ока моего!

А Эстер уже давно забыла о неприятности, которую преподнесла ей мать в то противное утро. Да она и привыкла уже к таким утрам. Кроме того, голова у Эстер, как говорилось выше, была занята другими сокровенными думами, а сердце наполнилось иными страданиями. Что это за вдовец, кто этот приличный, честный человек, на которого намекала мать, она узнала у тети Ентл. Но Злата с дочкой об Алтере до времени не разговаривала, держала это про себя. Наконец наступило снова такое же «проклятое утро». Злата была сильно возбуждена и выпалила как из пушки; выложила Эстер все, что накопилось на сердце, уже без всякой дипломатии, совершенно открыто. Эстер это было более по душе, чем всякие там намеки. И вот так понемногу девушка начала свыкаться с мыслью, что ей придется идти за Алтера.

Злата долгое время боролась с собой. «Как это я стану спрашивать дочку? — говорила она себе. — Кто я, мать или не мать? Если я сказала, то так оно и должно быть! Не ей мне указывать! Она ведь не дочка аптекаря, которая шатается с парнями по улицам и может сказать: того хочу, этого не хочу! Нет, она, слава богу, не из таких. Она — внучка Авремеле из Славуты». А с другой стороны: «Почему бы не спросить ее? Может, ей все же Алтер не по душе? Как-никак — вдовец и в

летах! Не велико дело повести девушку к венцу, но к чему заживо хоронить дитя, губить ни за что ни про что, да еще такую милую, преданную дочь, долгие годы ей?» А чуть позже Злата снова начинала рассуждать по-иному: «Да чего с ней разговаривать, с ребенком! Ведь это ей на благо! Счастье, и только! Он богат, бездетен. Чего ей там будет не доставать? А у меня до чего она досидится? Как же, велико приданое, которое я ей смогу дать?! Белье, которое я ей справлю к свадьбе?! Кто ее, по нынешним временам, возьмет, бедную сироту? К тому же девушка в летах!» А тут еще Алтер Песин стал необычайно ласков, мягкосердечен.

Такую отзывчивость и доброту, какую Алтер начал вдруг проявлять к галантерейщице Злате, он еще никогда ни к кому не проявлял. Можно сказать, он сам навязывался ей с деньгами. «Жаль несчастную вдову», — сказал он как-то на людях. Это передали Злате, и она пришла в умиление от доброты Алтера. Разумеется, Злата не пойдет к нему домой просить деньги, Эстер подавно не пошлет. Вдовец все-таки, неловко. Но, встретившись с ним как-то на улице, она остановилась и излила перед ним душу.

— Вон как! — Алтер сердечно посмотрел на нее. — А я и не знал, что ты так стеснена в деньгах. Почему бы тебе иной раз не обратиться ко мне? С твоим Лейви, мир праху его, мы были большими друзьями. Ай-яй-яй, как же ты так! Ну, а что поделывают твои детки? У тебя их, кажется, трое?

— Трое, дай им бог здоровья, — ответила Злата. — Только радости от них пока маловато.

— Радости? — переспросил Алтер, дружески улыбаясь. — Больно ты спешишь. Иль, может быть, страдаешь оттого, что не находится жених для дочки? Чего-чего, а этого добра хватит. Говорят, у тебя замечательная девица?

— Грех жаловаться. Однако надо кое-что иметь в придачу к девице. Я говорю насчет звонких. Понимаете? Где их взять?

— Э, — протянул Алтер, — тоже мне забота!.. Ну, на всякий случай, Злата... В будущем, если тебе очень понадобятся деньги, присылай ко мне. Что ни говори, а мы все-таки старые друзья. Будь здорова!

С той поры Алтер частенько стал оказывать Злате всяческие услуги. То просто так даст ей деньги взаймы,

когда у нее нужда, то возьмет небольшой процент, но совести, как у своего человека. Эти услуги, однако, вскоре вышли ей боком. Тут-то Злата узнала, что такое услуга мазеповского ростовщика.

XXV

Эстер — гость у себя на помолвке

Бывает, заберется в дом нечистая сила, не к ночи будь сказано, или черт знает откуда взявшийся чужак, и пропал покой в семье, — все злятся, все шипят, все дуются друг на друга, хоть и сами не знают, за что и про что. Вот такой нечистый забрался в дом к галантерейщице Злате, и имя было ему Алтер Песин, ни дна ему, ни покрывки! К незажившим ранам, которые нанес Эстер Йоселе, прибавился целый ад терзаний, имя которому Алтер. Куда бы она ни ткнулась, куда бы ни повернулась, она всюду слышала: Алтер, Алтер и Алтер!

Однако ей было во много раз легче слышать в открытую от матери, что она желает этот брак с Алтером, нежели колкости и намеки от посторонних людей; легче было выслушивать долгие речи Златы насчет свадьбы, устройства своего будущего; разговоры о том, что пора ей стать хозяйкой в своем доме, взять мужа с деньгами — пить, есть, красиво одеваться, рожать мужу детей, жить в свое удовольствие, жить не так, как живет она, Злата, сноха Авремеле из Славуты, вынужденная надрываться как пшак, целую неделю ходить в упряжке, хотя дети все равно не имеют того, что полагается иметь детям.

— Э, дочь моя! — каждый раз со вздохом заканчивала Злата разговор. — Дай бог, чтобы ты была счастливее меня. Не будем гнаться за знатностью, как моя мамаша, которой обязательно хотелось, чтобы я стала снохою реб Авремеле.

— Лучше лот золота, чем пуд знатности, — поддерживала мать тетя Ентл, которая всегда была тут как тут.

Однажды утром Эстер осталась одна в доме, возилась по хозяйству. Злата ушла в лавку, а дети были в хедере. Внезапно на пороге появилась Ентл.

— Доброе утро, дорогая Эстер.

— Добрый день. Так рано, тетенька? Садитесь!

— Спасибо. Я сегодня уже вдоволь насиделась, да и немало набегалась. Даже охрипла от разговоров. И все с ней, все с ней.

— С кем же это, тетенька?

— С кем, спрашиваешь? С твоей маменькой. Ты не знаешь ее? И все из-за тебя!

— Из-за меня?

— Из-за кого же мне еще с ней ругаться, как не из-за тебя? Разве вообще-то я ругаюсь со своей сестрой? Нет, я это на самом деле говорю. Ведь печенка может лопнуть, когда видишь эдакое! У тебя одна дочь, и не такая уж она злосчастливая. Чего ж ты мечтаешь и вопишь: «Замуж! Немедленно замуж!» Ну, ладно, отдавай замуж, но за ровню! К чему тебе искать легкой удачи, упрямиться: «Хочу, чтобы моя дочь была обязательно богачкой»? Ну, что ты с ней поделаешь! «Не могу я больше, — говорит она. — Дела так плохи, что не только приданого, но даже рубахи я ей не могу справиться. Дитя растет, годы уходят. Нет, больше не могу...» Ну, что это такое? Говорить с тобой она не может, но очень хочет этого брака. И почему бы ей не хотеть? Не будем обманывать себя. Во-первых, это и впрямь для тебя большое счастье. А во-вторых, ведь говорят: около жирного горшка ходить, тощим не быть. Она спрашивает у меня, Злата: что я думаю на этот счет? А я знаю, что мне думать? С Эстер, говорю, нечего спешить, найдется охотник. «Где же он? — кричит она. — Где этот охотник? Поддай мне его сюда!» — «Не торопись, отвечаю, Злата, он сам явится». — «Ну да, отвечает, без денег, без одежды, без ничего, возьмет, разутую, раздетую, нищую и к тому же на выданье! Еще бы, ведь она знатного рода, внучка реб Авремеле! Шутка сказать!» — «Ну, говорю, если ему уж так хочется, — об Алтере говорю, — пускай чуточку подождет, над ним ведь не каплет». — «Нет, отвечает, он и так уже немало ждал. Кого попало он не возьмет». А тебя только потому, что ты есть ты, он вроде согласен взять как есть и озолотить — тебя, маму, всех, всех, до внуков и правнуков. «Я и гроша не дам за все эти посулы, говорю. Разве не бывает так, что дочь живет в роскоши, а отец и мать голодают, как им и положено?! Ого, дай бог столько счастья!» А она указывает мне на Блюминых детей. Они, мол, содержат свою мать,

горемычную вдову. «Но где же, спрашиваю, ты найдешь еще таких детей?!» — «Эстер, — отвечает она мне, — такая дочь, что жизнь отдаст за родных». Ты, — говорит она, — ради матери в огонь и в воду пойдешь. Все несчастье, говорит, в том, что она не может толковать с тобой о таких делах. «Ну, это уж глупости, отвечаю. Чего тут стыдиться? Кто еще ближе, чем собственное дитя? Ладно, пускай...»

Тут как раз в комнату вошла Злата, а немного погодя появился и Калмен. Втроем — Ентл, Злата и Калмен — они очень долго о чем-то разговаривали, убеждали друг друга, приводили всяческие примеры, сыпали пословицами, поговорками. В конце концов Злата расплакалась.

— Чем так жить, лучше уйти туда, куда до времени ушел мой Лейви. Говорю вам истинную правду — завидую ему, что не приходится ему видеть горе, какое обступило меня со всех сторон.

— Не грехи, сестрица, — заметила Ентл. — Скажи слава богу, что у тебя такие дети. Они понимают, что к чему, желают и себе и тебе добра и не перечат, как некоторые нынешние.

Что тут оставалось делать Эстер? Рассказать матери, что она дожидалась Иоселе, а он ее обманул? Но на что это будет похоже? Разве приличествует девушке такое говорить? Может, указать на недостатки Алтера? Но кто она такая, чтобы затевать с матерью спор о браке? Она и рот не посмеет раскрыть, чтобы вести разговоры о таких вещах. Ну, не Алтер, так будет какой-нибудь другой черт. О ее тяжелой доле ей нечего рассказывать, она сама прекрасно знает, что такое бедная невеста, а монастырей, как известно, у евреев нет. Но больше всего ее тронули мамины слезы, которых она никогда не могла переносить. И она отдалась целиком в руки тех, кто во что бы то ни стало хотел устроить ее жизнь, осчастливить ее, чтобы она помнила их веки вечные. Покорная, как овечка, она дала связать себя, разрешила делать с собой все, что им вздумается, не проронила ни звука, не сказала ни слова — все честь по чести, чинно, благородно.

А тут и Алтер показал себя перед родней с лучшей стороны — все расходы по помолвке он взял на себя. Алтер стал вдруг так мягкосердечен, так добр, так кроток!

— Хоть прикладывай его заместо пластыря к болячке! — говорила, бегая взад и вперед, страшно довольная, раскрасневшаяся Ентл, как будто она здесь сотворила невесть какое благое дело.

Злата разглядывала подарки, которые Алтер доставил невесте еще до обручения, много раз перебирала их, оценивала вместе с Брайной, Ентл и другими знатоками жемчуга и золота. Никогда еще Алтер не был так сговорчив; его покладистость превзошла все ожидания: свадьбу он взял на себя, наряды невесте — на себя, все расходы — на себя.

— Ну и повезло Злате, не сглазить бы! — говорили в городе и открыто завидовали ей.

Любой мазеповец желал бы себе такое счастье, такую удачу, какая выпала на долю Златы и ее дочери.

— Вы еще сомневаетесь, счастье ли это? — толковали мазеповцы. — Не каждый день бывает такое чудо. Взять девушку, как есть, одеть ее с ног до головы и ввести в дом хозяйкой! Вот это счастье! Это удача!

— Ох и счастье! Ох и удача!

На обручение к Злате пришла вся родня и просто добрые знакомые — мужчины, женщины. Писать брачный контракт взялся Шмулик. У Златы сердце оборвалось, когда она увидела, как горе состарило Шмулика за это время. У нее сил не хватило подойти и распрощаться с его о сыне. К тому же она была занята гостями.

Женщины затараторили так, как это бывает, только когда их соберется сразу много, и особенно на таком торжестве. Они говорили без умолку, каждая рассказывала свое, и все же каждая знала, о чем идет речь и на чем она остановилась. Мужчины, конечно, посмеивались над женским полом: «Глядите, ну прямо гусыни!» Но и сами они неплохо мололи языками, курили, выпивали, при этом желали Злате, Алтеру и всему народу и счастья и удачи, — все это со вздохом и с воздетыми к потолку глазами.

Шмулик поднял рюмку и, обращаясь к Злате, начал произносить какую-то здравицу: «Пусть бог пошлет...» И вдруг осекся. Из самой глубины у него внезапно вырвалось тяжелое: «Ох!» Злата хорошо поняла его, ответила «аминь» и поскорей отошла к другим, которые сидели с полными рюмками и ожидали, когда она подойдет и ответит, согласно обычаю, каждому на его пожелание. Лишь один Қалмен шагал по комнате,

заложив руки за спину, и, как человек, занятый серьезными делами, морщил лоб, качал головой и, по своему обыкновению, разговаривал сам с собой. Калмен никогда не отказывался от рюмочки, наоборот, «горькая капля» была ему всегда по душе. Но человек разумный должен знать, когда можно и когда не следует пить. На все свое время. На свадьбе — пожалуйста! Там реб Калмен разрешает себе напиться всласть и паясничать в свое удовольствие, ломать комедию. Но сейчас, во время обручения, когда предстоят переговоры и с той и с другой стороной насчет денег, когда нужно хорошенько подпоясаться, чтобы побольше выторговать себе за сватовство, — тут необходимо быть в здравом уме и при полном рассудке. Гости, конечно, могут наклюкаться, сколько влезет, но у Калмена должна быть чистая голова и ясный ум, ему надо полностью отдавать себе отчет в том, что делается вокруг.

Суэта в доме была так велика, что невесту вовсе не замечали. А Эстер сидела в укромном уголке в окружении пяти взрослых дочерей Брайны, не блиставших красотой, но вполне созревших для того, чтобы идти под венец. Все они говорили наперебой, визжали, гримасничали, смеялись, видимо, для того, чтобы развлечь невесту. Но, увы, невесту трудно было развлечь. Эстер была страшно рассеянна, и глаза ее смотрели куда-то вдаль. По ее взгляду можно было догадаться, что она почти ничего не слышит, ничего не видит перед собой. Как будто сидела она здесь не как невеста, а как гостья на чужом пиру, как совершенно посторонний человек.

Злата поднесла ей жемчуг, купленный женихом; показала и другие его подарки: дорогое ожерелье, не менее дорогую брошь, золотые часики с цепочкой, чудесные бриллиантовые серьги, два замечательных браслета и прекрасные кольца, правда, не новые, видать из заклада, но хорошие кольца. Эстер вместе со всеми разглядывала поларки Алтера, как совершенно посторонний человек, будто все это ее вовсе не касается и не к ней относится. Она смотрела на драгоценности отсутствующим взглядом, еще не понимая до конца, какой смысл приобретают они в ее девичьей жизни; не понимая, что она уже больше чем наполовину находится по ту сторону девичества; что она вот-вот выйдет из-под опеки матери и поступит в распоряжение властелина-мужа; что наступает конец ее грезам, тем зо-

лотым, счастливым грезам, в которые она погружена еще и по сию пору.

Надо правду сказать — хотя весь город и говорил о том, что Иоселе женился, Эстер не верила этому или хотела себя убедить, что это неправда, ложь, выдумки, одна из многих мазеповских сплетен. Ей все еще казалось, что вот-вот откроется дверь и на пороге появится Иоселе, тот самый Иоселе, каким он был когда-то, и тогда уж она никого не станет стесняться. Она сама расскажет матери, что они уже давно жених и невеста, что обо всем у них давно договорено. Отдавшись этим думам, Эстер вместе со всеми разглядывала подарки, которые ей преподнес жених. А Злата, стоя сбоку и посматривая на свою дочь, радостно шептала: «Слава тебе господи! Кажется, девочка довольна. Пошли ей бог счастливой жизни, много радости и утех в жизни!»

Меж тем Эстер чувствовала себя у себя на обручении совершенно чужим человеком, будто все происходящее здесь ее вовсе не касается. Только когда разбили тарелку и горшок, у нее будто сердце оборвалось. Подарки вывалились из рук, до нее дошел наконец смысл этого грохота; она поняла, что с этой минуты наступил конец ее вольной жизни, конец ее счастливым, милым, сладким снам, что она вступает в иной мир и ожидает ее теперь новая доля.

XXVI

Здесь приводится история дочери Иевфая Галаадского

Помните, что рассказывается в Библии о дочери Иевфая Галаадского?

И дал Иевфай обет господе, — так написано там. — И сказал: «Если ты отдашь в мои руки, боже праведный, врагов моих, сынов Аммона, то обещаю по возвращении домой с миром от Аммонитян первого вышедшего навстречу мне подарить тебе и вознести его на всесожжение!» Так оно и было. Иевфай разбил сынов Аммона, победил их в этой войне. А в родном городе, ликуя, навстречу ему с песнями вышла единственная его дочь: «Отец мой возвратился. Отец родимый!» Увидел ее Иевфай, и горько стало ему. Разодрал одежду свою и сказал: «Ах, дочь моя, ты сразила меня! Ты сделала

меня несчастным! Я дал обет господу принести в жертву первого, кто выйдет мне навстречу. Что же мне делать, дочь моя?» — «Если ты так обещал, родимый, — ответила дочь, — то должен свое слово сдержать пред богом, который сокрушил врагов твоих. Лишь об одном молю я, дорогой отец, — отпусти меня на два месяца, я пойду — взойду на горы и там с подругами сплачу юные годы мои». И отец отпустил ее на два месяца, дабы она взойшла на горы и там с подругами оплакала свои юные годы. А когда истекли два месяца, она вернулась к отцу своему, и Иевфай поступил с ней согласно своему обету. И с той поры вошло в обычай у евреев: девушки ежегодно уходят в горы скорбеть и оплакивать несчастную дочь Иевфая Галаадского.

Тот обычай давно забыт, у еврейских девушек нашлись иные обычаи. Речь идет здесь о девичниках — «предсвадебном» и «жениховом пире», которые справляют в Мазеповке накануне свадьбы у невесты в доме; здесь она прощается со своими подружками, танцует с ними в последний раз. Предсвадебный девичник устраивают в последнюю субботу перед венцом. Девушки поют и танцуют кадрили, лансье, шеры и польки; они играют песни, пляшут, щелкают орешки и развлекают невесту. Невеста прощается со своими девичьими годами, с подружками, — ведь она вот-вот станет женщиной и уже будет вращаться в ином кругу. То же самое происходит в день свадьбы, и опять-таки в доме невесты, Девушки считают богоугодным делом прийти потанцевать с невестой в последний раз. Женщины стоят в сторонке и прихлопывают танцующим в ладоши. Вот эти обычаи строго соблюдают в Мазеповке с давних пор. Понятно, на свадьбе у Эстер их тоже соблюли до самых мелочей.

Эстер танцевала свой последний девичий танец, и мазеповские девушки досыта не могли наглядеться на ее прекрасное лицо, хотя невеста и была бледна как смерть. Но это несущественно, невесте полагается быть бледной. Во-первых, это ей к лицу, во-вторых, у нее действительно есть о чем горевать. Кто этого не знает!

В последний раз тетя Брайна завила ее прекрасные черные волосы, просвещая одновременно насчет свадебных дел, подготавливая понемногу к обязанностям замужней женщины. Эти завитые волосы придали красивому

лицу девушки такую прелесть, что Брайна не удержалась и поцеловала ее в лоб.

— Право, грех покрывать такую головку, такое ясное чело. Но не горюй, Эстер, тебе повезло, ты попала в хороший дом. Ведь о положении твоей мамы нечего тебе рассказывать, ты знаешь его лучше меня. Любая мать мечтает о том, чтобы ее ребенок был счастлив. Немало нагорюется она, глаза на лоб полезут, пока наконец она поведет свое дитя к венцу. Бог даст, будешь матерью, сама испытаешь это. А твоя мать, поверь, вполне заслужила, чтобы ей при твоей помощи стало чуть легче жить, чтобы она наконец развязала себе руки... Лучше ходить за груженным возом, чем за порожним. У богачей, Эстер, всегда рождаются маленькие богатеи.

Еще много хороших слов наговорила тетя Брайна невесте, убирая ее волосы и подготавливая ко второму девичнику. После того как Эстер протанцевала свой последний девичий танец, тетя Брайна поднесла невесте свой молитвенник и указала, какие молитвы ей нужно прочитать и какие можно пропустить.

— Во время покаянной молитвы, дочь моя, поплачь! — говорила тетя Брайна. — Если невеста в это время поплачет, она вымолит у бога хорошую жизнь с мужем и славных детей. Сегодня у тебя, дочь моя, день суда, как бывает, к примеру, у нас у всех Судный день. Надо плакать перед богом, чтобы он смилостивился, начертал тебе счастливую долю и простил все прегрешения.

Эстер стала на предвечернюю молитву и молилась горячо, усердно, горько-горько плача при этом. Но не грехи заставили ее лить слезы, как представляла себе тетя Брайна, ибо знала, что она не грешила ни против бога, ни против людей. Плакала она потому, что в груди у нее открылся родник слез, и плакалось так хорошо, так легко. Но плакать ей было из-за чего: куда бы она ни кинулась, было плохо, тоскливо, горько, и ни на кого она не могла пожаловаться, никого не могла винить. Разве можно винить мать за то, что она пожелала иметь зятем Алтера? Как всякая мать, она всегда мечтала о том, чтобы дочка ее стала богатой хозяйкой. Разве Эстер пыталась когда-либо сказать матери, что она не хочет этого брака? Да и как смеет она сказать это ей? Эстер плачет потому, что счастье ее так быстро иссякло,

что доля ее безвозвратно сгинула, что Иоселе ее так бесстыдно обманул. Ну, кто мог сказать два года тому назад, что все это столь печально кончится?

Эстер, точно грешница, колотит себя кулаком в грудь, обливает молитвенник горячими слезами, поминая при этом не грехи свои, а своего Иоселе. Иоселе, в которого она так верила, на которого так надеялась, слово которого было для нее так дорого, так свято, обошелся с ней бессовестно: уехал, забыл! Написал бы хоть слово, попытался бы хоть оправдаться! Так бесстыдно поступить, как он поступил! Только теперь поняла она, как дорог, как мил он ей, как глубоко вошел в ее сердце. Эстер потому колотила себя в грудь, что признавалась самой себе в любви к нему. Она любила его все время, с малых лет, теперь же должна распрощаться с ним навеки, прогнать, вырвать из груди, забыть окончательно.

Потом мысли ее перескочили к Алтеру, и кровь в жилах у нее застыла. Вот этот человек, которого ненавидит вся Мазеповка только за то, что он есть Алтер, будет ее мужем! С ним должна Эстер коротать свои дни и годы, с ним она должна будет прожить долгую жизнь, с этим человеком она вынуждена соединиться навсегда, навеки. Алтер введет ее в свой дом, передаст ей ключи, и она станет хозяйкой. Он будет давать ей деньги на базар, и она будет закупать птицу, сажать ее в курятник, откармливать, чтобы она стала «капитально» жирной, а затем готовить для него бульон. Всю неделю она будет сидеть в четырех стенах, слушать, как люди вымаливают у него деньги под заклад; будет следить, чтобы все для него было сготовлено вовремя. Она встанет рано утром, отправится на базар, купит хорошей рыбы, жирного мяса с довеском, ногу для холодца. Зато в субботу она наденет шелковое платье, накинет бархатное пальто на лисьем меху, отправится в синагогу и там усядется на лучшее место, где когда-то сидела Фейга.

Вдруг Эстер пришли на память слышанные еще в детстве рассказы о том, как Алтер отправил на тот свет свою жену Фейгу. Эстер перебирала в уме все подробности, и у нее волосы дыбом встали. Рассказывали, что Алтер все гонял ее к врачам и к знахарям, чтобы она рожала ему детей. А мать Алтера, которая еще

тогда жива была, поступала с ней так, как не поступают с злейшим врагом: по целым дням парила ее в горячей воде, гнала из нее пот, поила хмелем. И вот так ее замучили до смерти.

Незадолго до свадьбы Эстер спросила у тети Энтл, правда ли то, что люди рассказывали про бедную Фейгу. И Энтл поклялась ей всеми известными клятвами, что все это сплошные враки, клевета, ложь, что нет здесь ни единого слова правды.

— Не знаешь разве, что в Мазеповке могут наплести! — сказала Энтл. — А отчего это вдруг стали трепать языками, будто я скоро Бейниша вгнюю в могилу? Что такое? Желала бы я, чтобы все мои друзья и близкие жили так, как мы с Бейнишем! И чего только в Мазеповке не наплетут! Удивительно, как это еще до сих пор про твоего жениха не говорят, что он собирается переменить веру. Чего только не выдумают эти бездельники?! В общем, это такой городок, что лучше б ему сквозь землю провалиться! День и ночь все плетут, наговаривают, выскивают все дурное, хотя сами-то хуже худшего, нет ни одного порядочного человека. И все же головы у них болят о соседе. Признаюсь, город этот опротивел мне донельзя, вот здесь он у меня, в печенках сидит. Тьфу, гадость, а не город! Представляешь, если уж могут выдумать такое про Фейгу, которая давно в земле лежит!.. Да и вообще, чего тебе беспокоиться? У тебя, слава богу, мать, жить ей до ста двадцати лет, которая присмотрит за тобой; волосу с головы не даст упасть. И родня у тебя, слава богу, тоже есть. Чего ж тут разговаривать? Ты еще совсем дитя, Эстер; козочка ты, право, дай тебе бог здоровья!

И как вспомнились Эстер все эти разговоры о первой жене Алтера, у нее кровь в жилах застыла. А как встала перед глазами сама Фейга, она чуть в обморок не упала. По комнате двигались люди, играли музыканты, танцевали женщины, а у Эстер кружилась голова, и ей казалось, она вот-вот упадет.

— Что это невеста бледна как смерть? — спросила какая-то женщина. — Видно, ей тяжело дается пост!

— Ничего, — отозвалась другая. — Пускай попостится, пусть вымолит у бога счастливую жизнь со своим мужем.

Еще один обычай есть в Мазеповке, он тоже касается невесты. Обычай этот соблюдают там почти как закон, — речь идет о сотворении молитвы над свечами перед венцом. Ничего, пускай невеста понемногу привыкает делать добрые дела! Пускай знает, что через несколько часов она станет женщиной и на ее долю придется три богоугодных дела*, предписанных религией женщине. И вкус одного из них пусть узнает уже сейчас, пусть помолится над свечами!

Тетя Ентл поднесла Эстер две свечи в серебряных подсвечниках, а тетя Брайна подсунула ей молитву, составленную «ученой женщиной, благочестивой Саррой, дочерью Товима, которая пожелала скрыть свое настоящее имя», и сказала очень ласково:

— Произнеси, дочь моя, прежде всего вот эту молитву, а после уже прочитаешь благословение царю вселенной, который дал им дожить до сего времени. Не вредно, доченька, в первый раз поплакать над свечами.

И Эстер принялась шепотом читать моление над свечами, не понимая ни единого слова из него:

«Ты господин всего мира и всей вселенной с небесными сводами сверху и глубочайшими безднами снизу снизойди со своего величия и возложи на слугу твою которая стоит здесь перед тобой вместе со всеми любимыми тобою детьми народа Израиля мы обязаны честно придерживаться во всем как король честно поддерживает свою королеву или как жених свою невесту потому что я твоя слуга уже возожгла свечи в первый раз две свечи которые твои мудрецы велели и обереги нас от всех случайностей и от всяких происшествий и эти мои свечи которые я возожгла пусть ясно и ярко горят чтобы прогнать злых духов чертей дьяволов происходящих от демона Лилит* чтобы они улетели а твоя слуга что стоит перед тобою чтобы удостоилась как наша прапра-мать Рахиль* которая когда евреев вели в изгнание их вели недалеко от могилы прапра-матери Рахили и когда они взошли на могилу в которой покоилась Рахиль и начали взывать мать мать как можешь ты спокойно

смотреть как нас ведут в изгнание праматерь Рахиль восстала к создателю с горькими воплями и так говорила создатель мира ведь ты милосерд и более добросердечен чем человек а все же я пожалела свою сестру Лию * которая плакала день и ночь чтобы ей не попасть в руки Исава * до тех пор пока глаза у нее не помутились от великого плача так тем более ты господь...»

Эстер припомнилась трагическая история Лии, которую ей читала мать по субботам из «Тайч-хумеша». Но теперь она плакала не над участью Лии, которая боялась попасть в руки Исава, а над своей горькой участью; плакала потому, что попала в руки Алтера. Отыскался-таки Исав на ее голову, который сгубит ее молодые годы! И она плакала, заливалась горькими слезами. Но кому какое дело до того, что она плачет? На то она и невеста, чтобы ей плакать перед «покрыванием». Играют музыканты, пляшут девушки, снуют мужчины и женщины, без конца шмыгают один за другим сваты. Брайна и Ентл — дружки. Они взяли Эстер под руки и, усадив посреди комнаты на стул, принялись, согласно обычаю, расплетать ей косы.

Невеста сидит в белом шелковом платье, с распущенными волосами, как принцесса. Вокруг нее толпятся женщины. Они берут волосы Эстер, ее золотистые волосы, в свои руки. Музыканты начинают традиционную печальную мелодию, и женщины плачут. Они глядят на расплетенные косы невесты, сморкаются в фартуки, трут глаза и плачут. Злата вовсе истекает слезами, сердце у нее болит за своего ребенка: бог весть в какие руки попадет ее дитя, ее дорогое дитя! О, горе, горе! Плачет и Ентл. Как ей не плакать, если дети у нее рано умирают?! Сколько раз она уже ездила к цадику, ничего не помогает. А Брайна плачет потому, что у всех девушки выходят замуж, только ее дочери сидят, дожидаются женихов, пять взрослых дев, — горе, горе великое! Молодушки, глядя на невесту и оплакивая ее, оплакивают и свою долю. Они-то хорошо знают, что значит «покрыть голову невесте», скрутить молодое создание, выдать девушку замуж; она уходит из-под опеки отца и попадает во власть мужа. Оплакивают Эстер те, кто хорошо знает жениха и помнит первую его жену — несчастную Фейгу; они понимают, что у мужа ей сладко

не будет. Другие плачут потому, что у них отец или мать умерли, при смерти ребенок, и его никак не спасти. А некоторые плачут просто потому, что музыканты играют грустную мелодию.

Плачут, в общем, все, но больше всех, конечно, Эстер. За всю свою жизнь она еще никогда так не плакала. Она прячет свое чудное, ясное лицо в платок, чтобы никто не видел ее слез. От поста, от тоскливой музыки, от рыданий вокруг, от мрачных мыслей у нее совсем помутилось в голове. Она чувствует, что силы покидают ее, и сейчас она богу душу отдаст. Вдруг у нее темнеет в глазах; мельтешат большие, маленькие, черные, желтые, красные, зеленые круги, а потом становится все светлей, светлей и в конце концов делается совсем легко и хорошо. Очень хорошо! Ей представляется гробница праматери Рахили; она раскрывается, и оттуда выходит скелет в саване и машет ей рукой, подзывая поближе. Эстер хочет крикнуть: «Шма-Исроел!»*, и не может. Ей чудится, что она умерла. Она лежит на земле, и на нее накинуто черное покрывало. Мама ломает руки, бьется головой о стену и оплакивает свою единственную дочь. Потом Эстер чувствует, как ее поднимают и несут по городу, мимо лавок, слышит, как бренчит кружка, известная всем жестяная кружка, и кто-то взывает: «Благодеение спасает от смерти!» И вот ее приносят на кладбище. Здесь над ее телом ставят черный венчальный балдахин, как это положено, когда умирает невеста. Затем ее опускают в могилу, и она слышит оттуда чей-то знакомый голос. Она хорошенько вслушивается, и ей сдается, что это поет Иоселе-соловей. Да, это он творит молитву по усопшему, и все отвечают «аминь». Эстер вслушивается в каждое его словечко и как ему отвечают хором. Вдруг кто-то падает на ее могилу, и люди принимаются кричать: «Заберите его! Отца заберите! Заберите отсюда отца!»

Эстер очнулась и увидела себя на том же стуле, где ее усадили к «покрыванию»; возле нее суетились женщины и мужчины, что-то кричали, брызгали ей в лицо водой, терли нос и уши; у нее расстегнули ворот, распустили корсет. А мать кричала:

— Эстер, дочь моя! Бог с тобой! Люди, невеста упала в обморок! Давайте начнем венчание! Ради бога, кончайте «покрывание».

— Не кричите так, Злата! Тише! — отозвалась какая-то женщина. — Не кричите, вон идут сваты. С ними и жених. Не кричите! Успокойтесь!

Алтер Песин приблизился, расфранченный, причесанный, праздничный, — из его раздутых щек вот-вот брызнет кровь; брюшко его округлилось, толстый загривок выбрит, а рот по-прежнему крепко зашнурован. По обеим его сторонам шли дружки — Бейниш и Мойше-Авром Зализняк; на плечах у них хрустящие накидки, а в руках по плетеной свече. Жених держал перед собой покрывало. Подойдя к невесте, он накиннул ей его на голову, а женщины осыпали жениха хмелем и овсом, крича при этом: «Поздравляем! Поздравляем!»

После венца музыканты рванули фрейлехс, женщины захлопали в ладоши, и Злата первая пошла плясать. Она была очень счастлива: господь сжалился над ней, довелось ей все-таки выдать дочку замуж. Злата, подболевшись, плясала фрейлехс, кружилась посреди комнаты, молотила каблуками и вся сияла, как, впрочем, и положено матери, выдающей замуж первую дочь. На нее глядя, за руки взялись Ентл и Брайна (две сестры уже три года не разговаривали между собой) и, встав против Златы, пошли притопывать. При этом Ентл напевала:

Гоп, Брайна, живей!
Дай ответ поскорей:
Не моя ты, ей-ей,
Как же быть мне твоей?

Музыканты играют, Злата, Ентл и Брайна кружатся, каждую минуту обнимаются, целуются, лобызуют друг дружку. Женщины, хлопая в ладоши, приплясывают на месте и вопят: «Живей! Живей!»

Внезапно в круг врывается реб Калмен, рукава у него завернуты до локтей. Подобрал полы сюртука, он пускается в пляс, выделяет замысловатые коленца, прыгает чуть ли не до потолка. Глядя на него, Бейниш ухватил Мойше-Аврома, и оба они принялись кружиться на еврейский лад — положили друг другу руки на плечи и, закрыв глаза, стали, вскинув голову, топать на месте. Не удержались и сынки Златы, озорные Менаше и Эфраим — ворвались в круг и давай дрыгать ногами, как молодые бычки: брык-брык-брык. Чем дальше, тем больше становится танцующих в кругу. Наконец все берутся за руки и устраивают еврейский хоровод, покрики-

вая при этом музыкантам: «Живее! Громче!» Все танцуют, прыгают, топают, хлопают. В комнате становится тесно, шумно, начинается настоящая кутерьма, ералаш какой-то, обычный, впрочем, на еврейской свадьбе.

XXVIII

Ямпольский извозчик передает Лейзеру диковинного пассажира

С той самой поры, как Лейзер-балагула возит путников из Мазеповки в Кашперов и из Кашперова в Мазеповку, ему еще никогда не попадался такой замечательный пассажир, как однажды в конце августа. Бог послал его Лейзеру через одного ямпольского извозчика. Ну, и спасибо!

Смазывая колеса, Лейзер обещался доставить пассажира совсем рано, еще до захода солнца. Пассажир может положиться на его лошадок, а баловать их в пути он не собирается, потому — раз нужно быстро, так ведь нечего разговаривать.

— Далибуг, панычу, то правда ест¹, — поддержал его ямпольский извозчик, обращаясь к пассажиру по-польски, и тотчас затараторил с Лейзером на родном языке: — Чего там лясы точить, реб Лейзер! Убил я вас жирной пампушкой! Хороша щучка! Тут-то вы уж пальчики оближете! Ведь у этих людей деньги — трын-трава. Где бы мне в обратную дорогу нащупать такого фраера?

— Помолчи, человек! К чему эти речения? — произнес Лейзер на смеси разговорного и библейского языков.

— А что такое?

— Что такое? Разве не видишь, что господинчик улыбается, как дохляк невымытый! Может, он каждое слово разумеет.

— Го-го! Хоть до завтра хлещи его кнутом! Понимает, как тот покойник. Когда минете черный ветряк, не постесняйтесь, реб Лейзер, попросить у него прибавки. Черт его не возьмет, выдержит! На дворе элул, до рога, простите, задрипанная. Боюсь только, как бы в пути у вас не было передряги, потому что вон та ваша пристяжная, сдается мне, собирается выкинуть какой-то фокус. Ну, езжайте в добрый час! И, реб Лейзер, не за-

¹ Честное слово, барин, это правда (польск.).

везите мой магарыч, потому как, понимаете ли, бог есть бог, а водка остается водкой... Бувайте здоровы, панычу! — Ямпольский извозчик приподнял картуз и махнул пассажиру рукой.

Выехав из Кашперова и свернув на Мазеповский тракт, Лейзер спросил у своего пассажира, не из семинаристов ли он часом, потому что прошлый год в эту пору он уже возил двух славных панычей, тоже из семинарии.

И вдруг он услышал, как кто-то сказал по-еврейски:

— Вы меня совсем не узнали, реб Лейзер?

Испуганный извозчик чуть не свалился с облучка, стал озираться по сторонам, кинул взгляд под повозку, задрал голову кверху, но так и не понял, откуда голос идет.

— Реб Лейзер, ха-ха-ха, вы меня не узнали? Вглядитесь получше! — повторил пассажир и громко захотал.

Извозчика охватила оторопь. Он остановил повозку и, выпучив глаза, принялся разглядывать своего пассажира.

— Хоть режь меня, хоть жги — не припомню! — сказал Лейзер. — Вроде личность знакомая, а все ж не знаю. Вы, случаем, не зятек Менаше-часовщика?

— Какой зятек? Какого часовщика? Я сын кантора Шмулика, Иоселе я — Иоселе-соловей.

— А-а-а... Как же ты поживаешь? Ну, здравствуй! А я, осел эдакий, стою и тарашу глаза, как телок. Вот голова! Как же ты поживаешь? Но-но, орлики мои! Двигайте ногами, дохлятины мои! Гость у нас! Гость! И какой гость! Значит, ты сынок Шмулика? Если б с меня шкуру содрали, и тогда не сказал бы, что ты еврей. Волосы у тебя длинные — вот и думал, что ты из семинаристов. Так это ты и есть Иоселе-соловей? Ну и ну! Дольше живешь — больше ешь! Я еще помню, как ты пел в Холодной синагоге. Так, значит, Иоселе? А я, скотина в образе осла, стою и моргаю, хоть картину с меня малюй! Но откуда мне знать? Он сказал: паныч. Пускай будет паныч. Поди догадайся, вот напасть! Правда ведь, Иоселе? Но, благородные мои! Но-но, дохлые мои!

Лейзер-балагула и Иоселе-соловей сильно обрадовались друг другу и сразу стали душу отводить. Иоселе взобрался к Лейзеру на козлы и принялся распрашивать его обо всем, что делается в Мазеповке. Лейзер

добросовестно отвечал на все его вопросы, ничего не тая. Рассказал даже о своих лошадаках, которых выменял в Кашперове на ярмарке. Надули его там лошадаки, мошенники эдакие.

— Таких негодяев, скажу я тебе, на всем белом свете не сыщешь. Закрутят, замутят, самого бывалого барышника обманут; так забывают голову, что очумеешь; взнуздают тебя — и ни тпру, ни ну! Хуже цыгана! Чтоб мне так жить, в тысячу раз хуже цыгана! Но! Чтоб вам подохнуть, холеры мои! Овса хотите? Горе я вам свое дам и нищету в придачу. Сгореть бы шкуре вашей!

— А что поделывает там наша соседка, галантерейщица Злата? — с бьющимся сердцем спросил Иоселе.

— А что ей поделывать? — ответил Лейзер. — Свадьбу справляет — вот и все дело...

— То есть как свадьбу справляет? Кого она женит?

— Дочку замуж выдает.

— Дочку? — переспросил Иоселе и рванулся к Лейзеру. — Как так? Где? Когда?

— Ну да, дочку замуж выдает, — ответил Лейзер. — Как ее там зовут? Забыл, как зовут. Кашперовская ярмарка и тамошние барышники совсем заморочили мне голову. Ну ничего не помню. Сгореть бы костям вашим, дохлятины мои! Но!

— Ее зовут Эстер. Значит, она выходит замуж? Когда? За кого?

— За... Как его зовут, вражину этого, процентщика? Черт его душу знает!

— Янкл, сын Меер-Пини? Берл, сын Мойше-Липы? Ицик, сын Аврома? А может быть, Симхе-Дон? Гецл-Менаше?

— Нет, — сказал Лейзер, почесывая кнутом загривок. — Ну, как его зовут, будь он неладен. Ведь вот вертится на языке! Еще богат он, черт его возьми, набит деньгами! Толстый, бездетный. Его дом, если знаешь, третий от Новой синагоги.

— Может, Алтер Песин?

— Алтер, Алтер, чтоб им всем подохнуть! Алтер! Да, да, Алтер!

— И что же, она выходит замуж за этого Алтера? Но как это возможно? Каким образом?

— А я знаю, каким образом? Тем образом или этим образом? Слышал, что он ее берет... Однако, говорят, ты женился и счастлив? Правда ли это, Иоселе-сердце?

Но, дохлые! Восемьдесят тяжких лет вам! Как думаешь, светлая будет сегодня ночь? Правда, сейчас вторая половина элула. Дай бог до рассвета добраться хотя бы до каменной корчмы.

— То есть как до рассвета? Ведь вы обещали доставить меня в Мазеповку к вечеру! Это что же такое, реб Лейзер?

— Я обещал?! Кажется, сам видишь, ни минуты не стоим. Все едем и едем.

— Так гоните, реб Лейзер, лошадей! Пусть идут быстрее. Прошу вас!

— Быстрее? Видать, вы, молодой человек, прибыли из быстрых краев. Легко другому сказать — скачи быстрее! Хотел бы я видеть, как бы ты, будучи лошадкой, скакал в гору.

— В какую гору? Горы еще и в помине нет. Даю вам, реб Лейзер, еще тройку, еще пятерку даю, только езжайте быстрее! Мне, понимаете ли, нужно как можно скорей.

— Тебе, видать, к спеху? Ну, что ж, я не прочь поскорей... Но, мои орлики! Еще пятерка, провалиться вам! Пошел! Пошел!.. Все будет ладно.

Лейзер погонял лошадей, полосовал их и кнутом и кнутовищем, в то же время сыпал проклятья на кашперовскую ярмарку и тамошних барышников. А Иоселе улегся под навесом в повозке, подпер голову руками и углубился в думы. Он не слышал проклятий Лейзера, посвист, которым он погонял свою животику, не слышал его печальной песенки без начала и конца, которую он напевал каким-то утробным голосом.

Иоселе-соловей, как вы знаете, еще с детских лет легко предавался мечтам, игре воображения, всяческим химерам; вечно витал в облаках, фантазировал, ткал золотые сны наяву. Вырвавшись на несколько дней из Бердичева, он в дороге рисовал себе, как въедет в родной город, как его там никто не узнает. Он прикажет везти себя к домику кантора Шмулика. Отец удивленно глянет на него. «Кого вам нужно?» — спросит он. «Папа, ты меня не узнал? Ведь это я», — ответит Иоселе и бросится отцу на грудь. Потом начнется кутерьма: «Иоселе приехал!» Мачеха, конечно, захочет сделать доброе дело и побежит известить Злату и Эстер: «Знаете, какой у нас гость? Наш Иоселе приехал!» Только

Иоселе не разрешит ей идти туда. Он сам отправится к соседкам и затеет с ними разговор, как совершенно незнакомый человек. Уж он найдет о чем поболтать! Он заговорит об Иоселе-соловье и будет смотреть при этом на Эстер. Потом он откроется им, как Иосиф Прекрасный своим братьям в Египте, и скажет: «Это я, Иосиф» *. Эстер покраснеет, и в глазах у нее выступят слезы. Позже, когда они останутся одни, он ей с глазу на глаз расскажет обо всем, что с ним приключилось за это время, откроет перед ней душу, ничего не утаит. Он расскажет ей все, все, и она простит его. Он расскажет, как все время рвался домой, а Гедаля-бас — чтоб ему пропасть! — не пускал его, тащил из одного города в другой, без конца откладывая поездку на родину. А потом, когда он уже совсем было собрался, на него свалилась эта напасть — мадам Переле; он попал в сети, очутился в каком-то аду, но спохватился уже слишком поздно. Он знает, как все это глупо, как позорно обошелся он со всеми, не посоветовался со старшими. Выкинуть такую штуку, не поговорив с отцом?! Он знает, до чего все это бессмысленно. Но что поделаешь, если разум приходит с годами? Он не станет врать Эстер. Да, отчасти сама Переле и ее игра на рояле, отчасти ее деньги вскружили ему голову. Но он совершенно не может понять, как мог он забыть любимых, дорогих ему людей. Как мог он променять Эстер на Переле? И чего ради? Из-за денег? Но зачем ему эти деньги? Иоселе расскажет Эстер, чего он перенес, сколько выстрадал за этот месяц; как трудно было ему вырваться домой; как Переле все хотела ехать с ним, и он еле отговорил ее, умолял, чтобы она отпустила его одного; как ему опротивела жизнь, как тесно и душно кругом, как тяжело живется на свете; как сердце его рвалось домой, к ней, к Эстер, и ради нее он готов на все, даже умереть. Пусть она все знает, пусть скажет, что ему делать, и он сделает. Он исполнит все, что она прикажет. Ради нее он готов идти в огонь и в воду, готов бежать с ней хоть на край света...

И Иоселе начинает рисовать себе, как он убежит с Эстер на край света.

На повозке у ямпольского извозчика Иоселе уснул и пробудился, лишь когда они въехали в Кашперов,

где произошла встреча двух извозчиков. Лейзер сообщил ему позже горькую весть об Эстер, и воображение Иоселе тотчас заработало в совершенно ином направлении.

XXIX

*Лейзер гонит лошадь вовсю,
но доставляет Иоселе домой только поздно ночью*

После того как Иоселе услышал недобрую весть о том, что Эстер выходит замуж за другого, за какого-то Алтера, в голове у него пошли бродить совсем иного рода мысли. Все его прежние мечты мгновенно разлетелись, исчезли. Он негодовал теперь на Алтера, на Злату и даже на Эстер. Все оказались виноватыми. Только не он. Ему и в голову не приходило спросить себя: «А может, я и есть главный виновник?» Он никак не мог дождаться минуты, когда наконец явится домой. Секунда казалась ему годом.

— Еще далеко? — спросил он, высунув голову из-под навеса и тронув Лейзера за рукав.

Лейзер буркнул что-то под нос и сплюнул. Видимо, он был не очень доволен тем, что потревожили лучший его сон. Да и лошади тихонько дремали; они еле перебирали ногами, хотя и делали вид, что бегут.

А в воздухе крепко пахло концом августа. Солнце уже заходило, и один край неба опоясался широкой красной полосой, точно кровью заливая весь запад. Прохладный ветерок забрался к Иоселе под навес, пошевелил его длинные, волнистые волосы, погладил щеку. Иоселе прислонился к краю повозки и стал дремать.

Поддувает легкий ветерок, поскрипывает навес, звенят колокольцы, лошадки помахивают хвостами, а Лейзер, позевывая, тянет ту самую тоскливую песенку, у которой нет ни начала, ни конца. Все это навеивает на Иоселе еще бóльшую тоску. И он засыпает.

Иоселе засыпает, и ему кажется, что он еще ребенок. Он в Мазеповке, стоит подле той самой горы, которая в детстве казалась ему невероятно высокой, чуть ли не до неба. Там, на вершине, рассказывали в хедере, растут душистые травы, благоухают цветы. И закопан там, на вершине, богатый клад; Мазепа схоронил его когда-то втайне от всех. Еще говорили в хедере, есть

там хрустальный дворец, а в том дворце живет провинившаяся царевна, одна-одинешенька. Каждую ночь, когда взойдет луна, она горько рыдает, зовет кого-то к себе печальным голосом филина. И тогда одному, без провожатого, страшно ходить. И вот ему кажется, что он взбирается на эту гору. Лезет, лезет, но до вершины все еще далеко; ползет на четвереньках, быстро-быстро, точно какой-то леший, карабкается все выше, выше, но до вершины все ж далеко. Вдруг он оборачивается, глядит вниз, и его охватывает оторопь: какой длинный путь он проделал! А до вершины все еще далеко. Тело его покрывается холодным потом — как высоко он забрался! Кругом ни души, ни жилья, и даже обыкновенной земли здесь нет — только камень да небо, небо да камень. Иоселе чувствует, что силы покидают его и он вот-вот упадет замертво.

Он просыпается, но скоро вновь засыпает, и ему чудится, будто он в густом лесу лежит на зеленой лужайке. В одной руке у него тарелка с праздничными маковыми пирогами, другой он гладит волосы Эстер. А она тихо напевает одну из песенок Гольдфадена* — из «Юной души», ту песенку, которую они вместе пели в детстве:

Была уже полночь, все спало,
Лежала кругом тишина,
Средь звездочек в небе гуляла
Совсем одиноко луна.

Вдруг он видит — к нему крадется большая белая кошка. Она тихо переступает своими мягкими лапами, подбирается к нему все ближе, ближе, наконец вонзает свои острые когти ему в горло и душит его. Иоселе чувствует, как внутри у него хрипит, клокочет; хочет крикнуть, но не в силах; глядит кошке в глаза, и ему кажется, что она смеется; всматривается и узнает в ней Переле; пытается кричать — не выходит... Над ним стоит черный кудлатый пес, тербит его, кусает; Иоселе вглядывается в него и узнает Гедалью, вырывается и кричит не своим голосом: «Ой, папа!»

— Ой, папа! — громко простонал Иоселе и проснулся сам не свой. — Тьфу, тьфу, тьфу! Где мы, реб Лейзер?

— спрашиваешь, где мы? — обиженно ответил Лейзер, шагая рядом с лошадьми и проклиная их на чем свет стоит. — Эге, мы уже достаточно далеко, чтоб выдохли, холеры эдакие! Уже одолели больше полгоры,

чтоб вас погибель взяла! Измаялся я с вами. Послушайка, сделай милость, слезь, прогуляйся вот здесь, сбоку, лошадам чуть полегчает, сгореть бы вашей шкуре!

— Ну, а город-то скоро, реб Лейзер? — жалобно протянул Иоселе.

— Скоро, скоро. Понятно, скоро. Вот здесь за горой пойдет песок, потом будет небольшой лес, за ним опять песок, а там уж и почтовый тракт прямо до города.

Ну, что поделаешь? Иоселе слез и скрепя сердце побрел вслед за повозкой. У него отяжелела голова, ноги подкашивались, комок подкатывал к горлу. Несчастные лошадки неохотно тащили возок в гору. Они остановились бы хоть сию минуту среди дороги, несмотря на проклятья, которыми беспрестанно осыпал их хозяин, но тот давал им понять кнутом, что надо идти вперед.

Луна, появившаяся у края горизонта, поднимается все выше. Ветер становится прохладней. А Иоселе уже шагает за повозкой довольно бодро, как человек, который примирился с постигшей его бедой.

— А теперь сделай милость, поезжай обратно в повозку, — сказал Лейзер, придерживая лошадей. — Не успеешь и глотка воды выпить, как будем дома.

Будто новую душу вдохнул в него Лейзер. Не стыдись Иоселе, он обнял бы его и расцеловал. И хотя поездка продолжалась еще довольно долго и за это время можно было выпить не один глоток воды, все же они в конце концов добрались до Мазеповки.

Никогда еще Иоселе не был так рад своему родному местечку, вонючим лужам, маленьким, мрачным заспаным домишкам. Он чувствовал себя вельможей, въезжающим в собственные владения, и радовался здесь всякой мелочи. Он не мог спокойно усидеть, высунул было нос из-под навеса, но вынужден был тут же зажать его. Иоселе подскакивал от радости, как малое дитя, и разговаривал сам с собой:

— Вот дом резника Залмен-Эли. Вот дом богача Цемеха. Это двор сапожника Арке. А вот и лавки! Ага, вон она, старая молельня, а там и дом Златы, где живет отец. Но отчего это там так светло? Реб Лейзер, посмотрите, пожалуйста, почему это там так светло? О, боже мой, да ведь там, кажется, горит!

— Что горит? Где горит? — переспросил Лейзер, зверски стегая лошадей. — Нигде ничего не горит. Еще чего выдумал!

— Но отчего же там так светло? Подождите, кажется, музыка играет. Ну да, бьет барабан, медные тарелки звякают. Что такое? Неужто свадьба? Реб Лейзер, вы слышите, это что же — свадьба?

Но Лейзер ни слова не проронил в ответ. Он безжалостно хлестал кнутом своих лошадок, которые и сами уже были рады тому, что добрались наконец домой и скоро смогут чуточку отдохнуть. Набегались вволю, хватит! Задрав хвосты, они неслись из последних сил и при каждом ударе недовольно качали головой, будто приговаривали: «Старый ты дурень! Чего ты нас хлещешь? Мы и сами понимаем, когда нужно мчаться, а когда и помедлить можно».

С громом, с треском остановилась повозка подле дома Шмулика, чуть не саданув дышлом в окно. Иоселе спрыгнул и подбежал к двери. На половине, где жил Шмулик, было темным-темно, и на дверях висел замок — значит, дома никого нет. Зато во второй половине, где обитала галантерейщица Злата, все окна ярко светились, там царило веселье: играла музыка, и слышно было, как пляшут, топают ногами и кричат: «Живей! Живей!»

У дверей толкался всякий люд. Любопытные щелкали семечки и смеялись.

Иоселе подошел поближе и спросил кого-то:

— Что здесь такое?

— Еврейская свадьба, — ответили ему весело, тыкая пальцем в двери.

Поработав локтями, Иоселе протиснулся внутрь и увидел картину, от которой у него потемнело в глазах.

XXX

Евреи веселятся поневоле, и Иоселе является в самый разгар веселья

«Поневоле живешь ты», — говорят наши мудрецы. Поневоле отбывает свою жизнь еврей, поневоле женит своих детей, поневоле веселится. Еврей, если он хочет гульнуть, выказать свою радость, должен заставить себя это сделать. «Братья! — взывает он тогда. — Братья, давайте веселиться!» И вот люди собираются и опрокидывают рюмочку-другую через силу, потому что не привык еврей выпивать. Если ж у кого душа не принимает,

такому насильно вливают в глотку, — на языке выпивох это называется «вогнать шарик», — и он становится веселеньким, хотя ему вовсе не весело; он танцует, хотя ему вовсе не до танцев.

Одно удовольствие смотреть, как свреи, собравшись на каком-нибудь торжестве, после первых двух «шариков» начинают хлопать в ладоши и напевать:

Будем все мы пить вино!
«Шарик» вгонят все равно.
Приказал нам ребе это —
Веселиться до рассвета.

И тут кафтан вдруг становится таким тяжелым, что его обязательно нужно сбросить с плеч долой и остаться, простите, в одних штанах и талескотне поверх рубахи. Тогда и танцуется совсем по-иному. Все берутся за руки и устраивают еврейский хоровод. Музыканты уже играют без нот, пиликают что-то несусветное. Люди прыгают, топочут ногами, задрав кверху голову и подняв глаза к потолку, совсем как на молитве, а не во время пляски. А кто упрется и не станет танцевать, того силою втянут в круг, и ему поневоле придется плясать, то есть кружиться вместе со всеми и выделять ногами кренделя.

Вот так плясал и кантор Шмулик на свадьбе Эстер. Кто не видал его в тот момент, тот ничего грустного не видывал в жизни. Ах, какой это был горестный танец! Шмулику хотелось плакать от той капли вина, которую ему влили в горло. Ему стало еще тоскливее, чем раньше. Злата была очень рада тому, что Шмулик танцует вместе со всеми. Заметив, что и он выделяет что-то ногами, она остановилась подле мужчин, на которых, простите, кроме штанов да рубахи, ничего не было. Но на свадьбе можно и распоясаться, не велика беда! Злата стала хлопать в ладоши и, уже совсем охрипшая, затянула:

Куглем называют,
В печке запекают,
В рот возьмешь — он тает.
Куглем называют,
В печке запекают,
В рот возьмешь — он тает.

Неизвестно, то ли оттого, что он глотнул лишнего, то ли от нескольких «шариков», которые в него насильно вогнали, а может, просто так, но на Шмулика нашел вдруг какой-то стих, и ему до того захотелось веселиться,

что он уселся со сватами и Калменом пить горькую. Но как пить? Напропалую, закусывая соленым огурцом, вернейшим средством от хмеля. Они так долго опрокидывали рюмки и закусывали огурцом, пока Шмулик не увидал перед собой двух Калменов. Калмен, в свою очередь, увидел перед собой двух Шмуликов. Да и все вещи двоились теперь у них в глазах. Это еще больше раззадорило Шмулика, и его подмывало без конца хохотать. Все казалось ему удивительно смешным. Он посмотрел на Злату, которая, приплясывая, пела: «Куглем называют, в печке запекают», — и так расхохотался, что Злата приостановилась и перестала петь. Буркнув что-то, она отступила в сторону. А Шмулик, держась обеими руками за живот, все еще продолжал хохотать. На него глядя, закатился реб Калмен, за ним — сваты, и всем стало до того весело, что они принялись меняться шапками и ермолками.

Резник Залмен-Бер добыл где-то шляпу, подвернул полы сюртука, подпоясался шнурком, а бороду (у него самая величественная борода в Мазеповке) повязал платком и пошел плясать «немца», подпевая:

Немцами зовемся,
Дружно пьем свой шланс.

Шмулик, реб Калмен, все гости хохотали до упаду.

Служку Элхонона тоже разобрало, и он вздумал показать свое уменье. Убрав за уши пейсы и надув щеки пузырем, он вылупил глаза и пошел «барыню», напевая русскую песню на еврейский лад.

Табачник Шимшн-Янкл вывернул веки, уселся на полу и, покручивая кистью талескотна, изобразил нищего слепца:

Ой був собі святий Лазарь¹.

Не выдержал и Калмен, он тоже показал себя: па-ясничая, надел юбку и изобразил роженицу.

В общем, люди веселились на свадьбе у Златиной дочки, кто как мог.

А Шмулик все лакал рюмку за рюмкой и не переставая хохотал.

Внезапно резник Залмен-Бер из немца преобразился в кантора, а Шмулик и все другие стали у него певчими.

¹ Ой, жил святой Лазарь (укр.).

Залмен-Бер накинул на себя, вместо талеса, белую шаль и, встав лицом к стене, грустно запел на мотив еврейской молитвы:

Ах, Алтер,
Пропал ты!
Ведь ты не знаешь,
Не можешь,
Не гош ты!
Чего же ты лезешь?
Чего берешься?

А Шмулик, Шимшн-Янкл, Калмен и служка Элхонон, жестикулируя, подтянули, как настоящие певчие; страшными голосами они зывали на мотив той же молитвы:

Ай-яй-яй-яй-яй!
Ой-ой!

Гости покатывались со смеху, глядя на них.

Иоселе-соловей стоял в толпе, наблюдая за всем, что здесь происходит, и все искал кого-то глазами. Но той, которую ему хотелось увидеть, уже не было здесь.

Гости были сильно на взводе, поэтому никто и не заметил Иоселе, который, приткнувшись в уголке, разглядывал каждого из них. Иоселе почувствовал, как у него горит лицо, стучит в висках; комната завертелась колесом, в глазах замелькало, забегало — вроде пошел золотой дождь. И он тут же ощутил, как острые кошачьи когти вонзились ему в горло и стали душить его. Схватившись за шею, Иоселе выбежал из комнаты. . . .

Ночь становилась все мрачней и мрачней. На небе клубились небольшие черные облака; время от времени они проглатывали луну и затем снова выплевывали ее. Поддувал прохладный ветерок, он тоскливо свистел, словно глубокой осенью. Становилось холодно. Но Иоселе было жарко, так жарко, что он ежеминутно отирал полою катившийся по лицу пот. Ему казалось, что кожа горит на нем.

Иоселе мчался со свадьбы во весь опор, чтобы не слышать музыки, топанья танцующих и песен, которые вливались отравой в его сердце и жгли адским огнем. Иоселе бежал, и его преследовал грустный молитвенный напев, сопровождаемый потешными словами. Закрыв руками уши, чтобы ничего не слышать, он бежал, как безумный, сам не зная куда и зачем.

Шмулик произносит семь славословий плаксивым голосом

Назавтра к обеду, посвященному шлейер-обряду, Злата принарядилась, как положено матери невесты. Подле нее вертелись ее сестры, всякие свойственницы, тоже разодетые в праздничные платья. Из мужчин пока никого не было. Свои пошли в синагогу молиться, а чужие, то есть званые гости, не особенно спешили и отправились тем временем на базар: «Может, перепадет что-нибудь! Может, господь пошлет какой-нибудь заработок!» Ничего, служба не хвор еще раз прийти за ними! Но близкие Злате женщины пришли помочь ей накрыть на стол, нарезать пряники и просто так посидеть, чтобы невесте было веселей. Ну, а раз здесь все свои, можно взять по рюмочке и закусить.

Женщины взяли по печенью и от всей души пожелали Злате:

— Дай вам бог, Златочка, чтобы дочка доставила вам много радости в жизни; чтобы никогда горя не знала; пусть старится со своим мужем в богатстве и чести. А через год не забудьте, Златочка, пригласить нас на рождение сына. Не беспокойтесь, мы мастера на почин! Всюду, где мы бываем на свадьбе, через год обязательно — сын. Такая уж у нас легкая рука!

— Аминь, дай бог! — произнесла Злата с благочестивой миной на лице.

Брайна глянула на Ентл, Ентл — на Брайну, а Злата — на них обеих. Три сестры объяснились между собой взглядами, лучше чем кто-нибудь языком. Они хорошо поняли друг друга.

Позже начали сходить гости. Они садились за стол, выпивали, чокались с женихом, с Златой и с разными свойственниками. Лицо у Алтера сияло под новой бархатной фуражечкой, и выглядел он совсем хватом, вроде даже помолодел на несколько лет. Совершенно иной вид был у невесты. Повязанная, разодетая, как какая-нибудь красивая барыня, она была очень невесела. В лице ее, слишком белом, даже с некоторым оттенком желтизны, не было ни кровинки. Черные глаза за длинными ресницами были холодны, тусклы, безо всякого огня, и почему-то казались больше обычного; щеки как будто впали. Новый повойник на голове, украшенный

жемчугом и брильянтами, походил на какой-то венец. В своем дорогом шелковом платье, отделанном бархатом и позументами, обвешанная с головы до ног драгоценностями, Эстер выглядела настоящей принцессой, — царевна, да и только. Живая, веселая Эстер вдруг притихла, стала степенной, уравновешенной и серьезной. «Вот это настоящая невеста!» — думали про себя гости, любуясь ее красивым, ясным лицом.

— Какой прекрасной панночкой выглядит она, не взглянуть бы! — прошептала женщина, указывая на невесту. — Чиста, как только что выпавший снег. Такая жена — украшение в доме, не правда ли? Полюбуйтесь, Фруме-Сора, дай вам бог здоровья!

Фруме-Сора охотно согласилась, что такая жена — украшение в доме. Гости тем временем принялись омыть руки. Они передавали друг другу большую медную кружку с двумя ручками и брали у своего соседа мокрое, уже успевшее почернеть полотенце.

В комнату вошел Шмулик.

— Здравствуйте, — радушно сказала Злата. — Отчего так поздно? Прошу вас, омойте руки и садитесь за стол. Видать, вы совсем забыли, что вам сегодня читать к трапезной молитве семь славословий. А где ваша жена, реб Шмулик? Какой-то вы сегодня развинченный. Что с вами?

— У меня гость, — сказал с кислой миной Шмулик. — Гость у меня. Сын приехал.

— Иоселе? — вскрикнули все разом. — Иоселе здесь? Пусть бог благословит вас и вашего гостя! Но где же он?

— Что значит где? Дома, — ответил Шмулик, не двигаясь с места. — Что-то заболел. Приехал еще вчера ночью, а домой явился на рассвете, то есть утром. Простудился, видно, все жалуется на боль в голове. Сейчас он чуть живой, весь горит. Мы уж прикладывали мокрые полотенца, терли ему виски. Ничего не помогает.

— Потеть! — изрекли сразу несколько человек. — Лучшее средство — пропотеть. Присядьте, реб Шмулик! Что вы так расстроились? Бывает, человека продует. Ничего, с божьей помощью пройдет.

Шмулик остановился возле Златы и что-то стал рассказывать ей. Злата, услышав, что приехал Иоселе, напрягла все силы, чтобы не свалиться под стол. Она была крепче железа, если сдержалась и не кинулась

с воплем: «Неужто Иоселе!» Эстер лишь тихо спросила Шмулика, и глаза ее зажглись своим обычным огоньком:

— Он приехал один?

— Один, — ответил убитый Шмулик, все еще стоя подле Златы и не зная, что ему надо делать.

Эстер взметнулась сразу, точно грянул гром, но тотчас опустилась на место. Она будто взмыла ввысь и вновь упала. Эстер осталась сидеть на том же месте во главе стола, белая как мел, а внутри у нее все точно отмерло. Эстер пережила в одно мгновение больше, чем иной за год. Дурная мысль мелькнула у нее в голове: вскочить, бросить гостей, свадьбу, все на свете и бежать к соседям, чтобы видеть Иоселе. Ее влекло туда с неимоверной силой. Туда, туда! Но все это длилось мгновение. Эстер взяла себя в руки: ведь она невеста, молодуха, мужняя жена!

Борьба, которую она выдержала, была выше ее сил. Два стремления боролись в ней. С одной стороны демон-искуситель нашептывал ей: «Глупая Эстер! Чего ты их слушаешь? Приехал Иоселе, лежит больной, конечно, он ждет тебя, а ты сидишь здесь. Зачем? Для чего? Послушай, Эстер! Ты молода, хороша собой. Живи! Живи! Живи!» С другой стороны она слышала иную речь: «Ты ведь порядочная девушка, внучка реб Авремеле из Славуты! Гм, любовь? Нет, ты уже невеста! Ты — посвящена, связана, скручена, жена своего мужа!» А демон-искуситель продолжал свое: «Кто же виноват во всем этом? Глупости! Тебя связали, скрутили. Но ты живой человек и должна жить. Послушай меня, Эстер!»

Эстер сидела за столом чинно, как и подобает невесте на свадебном обеде. И хотя она была мертвенно-бледна, без кровинки в лице, красота ее сияла из-под повойника, а украшения сверкали и переливались на ней, придавая ей особую прелесть. Женщины не могли налюбоваться ею и без конца хвалили красивую, светлую, милую невесту.

Печален, тосклив был голос Шмулика, когда он произносил семь славословий, и Эстер чудилось, что идет он из-под земли, доносится с того света. Какое это было горестное пение! Держа в одной руке бокал и другой прижимая кадык по обычаю старомодных канторов, Шмулик закинул голову, закатил глаза и повел старчески надтреснутым голосом славословие. А кончил он «да

возрадуются жених и невеста!» так грустно, что всех разобрало. Каждый вдруг закручинился, опечалился, не понимая и сам отчего. Так уж всегда от радости на торжестве у жениха и невесты евреи делаются печальными. Господи, да что ж это за пенне и музыка у евреев, что навевают такую тоску?! А женщины, стоя в сторонке и произнося традиционное «благословен бог, благословенно имя его», даже всплакнули, глядя на заливающуюся слезами Злату. Но то, что Злата плачет, никого не удивляло: все знали, какво матери, выдающей дочку замуж.

— И все же, — говорили прочувствованно женщины, — дай бог всем нам справлять свадьбы детей и ходить друг к другу на празднества!

— Дай бог, аминь! Дай бог, аминь!

Вот женщины встали, попрощались с Златой, расцеловались с невестой и пожелали ей дожить до свадьбы собственными детьми. А Эстер глядела на них удивленными глазами. Ее сердце, ее помыслы были далеко отсюда. Ей хотелось, чтобы все уж поскорей ушли, чтобы ей остаться одной и как следует выплакать свое горе. А женщины все лезли к ней с поцелуями и пожеланиями всяких благ.

Наконец-то господь помог, и гости понемногу разошлись. Эстер направилась к себе в комнату отдохнуть от гама, который стоял в доме весь этот день. Остались только родственники да шадхен Калмен. Как всегда после свадьбы, в комнатах царил кавардак. На длинном столе стояли пустые бутылки и рюмки кверху дном, лежали куски недоеденного пирога и обглоданные кости. На полу валялось несколько опрокинутых стульев. Трое нищих, опоздавших к обеду, вылизывали тарелки и засовывали за пазуху остатки пирога. А синагогальные служки, которые к концу уже хватили лишнего, стоя делились между собой капиталами, которые оставили гости на их жалких тарелочках; делили, несмотря на то что Злата, Брайна и Ентл торопили их поскорей уходить, чтобы можно было наконец привести в порядок дом.

Больше всех хлопотала по дому, конечно, Злата. Шелковый платок ее был повязан под самым подбородком, лицо пылало. Она до того охрипла, что услышать ее было очень трудно. И все же она не утихомирилась —

все обхаживала гостей, распоряжалась по дому, проводжала уходивших и прощалась с ними, правда, только жестами и взглядами, так как говорить она уже была не в состоянии. По виду Златы можно было подумать, что она здесь горы свернула, сотворила невесть какое доброе дело. Да вряд ли и сама Злата отдавала себе отчет в том, что сделала она со своей дочкой, со своей единственной, дорогой, любимой дочкой; кому отдала ее, с кем связала, кому сбыла с рук! Когда, однако, было ей обо всем этом думать? Ведь вот только что жених посватался, затем была помолвка, а тут уж и свадьба. Это ведь не шутка — справить свадьбу! А Злата, дочь Баси-оптовщицы, не справит лишь бы какую свадьбу! Она, слава богу, не из портняжек и не из сапожников. Пусть ее господь наказал, и она осталась вдовой, да к тому еще бедной вдовой, но ведь она как-никак сноха реб Авремеле Славутского! Как же она допустит, чтобы подвенечное платье у единственной дочери было не из шелка, а за свадебным столом, на удивление и пересуды всему городу, не было бы полным-полно гостей! «Боже мой, — думала Злата, — дожить бы только, — пускай у младшеньких свадьба будет не хуже!»

Между тем у мужчин шел крупный разговор, они о чем-то спорили, препирались. Реб Калмен предъявлял претензии жениху. Держа одной рукой Мойше-Аврома Зализняка за бороду и другой зажимая Алтеру рот, он сам кричал изо всех сил. Алтер, весь в поту, пытался что-то сказать, но Калмен не давал ему. «Позвольте! — кричал он. — Вот я кончу, потом и вы скажете свое, скажете». Мойше-Авром и Бейниш (оба шуряка) и другие родственники жениха старались примирить спорящих, но все было напрасно. Алтер был тверд как сталь, не гнулся — хоть режь его, хоть кроши на мелкие куски. «Вот скажите хоть вы, реб Шмулик, можно ли так обижать свата? Я спрашиваю вас!» Сидевший в сторонке, расстроенный, грустный Шмулик очень хотел бы помочь Калмену. Почему не помочь человеку? Только Калмен сам же помешал ему. Чуть только тот начал с привычного «что и говорить», сват затараторил: «Вот это и обидно! Договорились, понимаете ли, с самого начала договорились обо всем, чтобы все было как полагается. И что же в конце концов? Сплошное огорчение. Никак не думал, что придется опять разговаривать о вознаграждении. Эх, реб Алтер, реб Алтер!»

— Время читать предвечернюю молитву, — сказал Мойше-Авром, выглянув в окошко, где садилось солнце, и провел пальцем по потному стеклу.

Все встали, подпоясали платками сюртуки и принялись считать, наберется ли в комнате нужный для молитвы десяток человек. Тут жених, Шмулик, два шурина — Мойше-Авром и Бейниш, три родственника жениха, да еще Калмен и двое служек, — как раз десять человек. Все омыли руки, и Шмулик, став лицом к стене, принялся глухим, надтреснутым голосом читать молитву. Злата, Брайна и Ентл молча слушали его, — для женщин это ведь тоже добродетель.

Эстер, услышав из своей комнаты грустное чтение Шмулика, неторопливо подошла к двери и высунула голову. Здесь она увидела, как мужчины и женщины, приподнявшись на цыпочках, быстро шепчут: «Свят, свят, свят», — и не знала, как ей быть: ведь она теперь тоже женщина. На ней уже тоже лежит обязанность... Брайна подмигнула ей издали и показала пальцами на лоб, но Эстер не поняла, чего от нее тетка хочет, и покраснела. По окончании молитвы Брайна подошла к молодой, — оказывается, у нее выбился волосок из-под платка. Эстер надела другое платье, сняла повойник, все украшения, повязала голову шелковым платком, и тотчас девушка Эстер преобразилась в женщину Эстер. Она будто меньше стала, вся переменялась. На ее ясное, красивое лицо легло облачко, и теперь в этом платке она выглядела на несколько лет старше. Но ее лучистые глаза светились в темноте, как две звездочки в небе, и казалась она еще прекрасней, чем раньше.

— Если хочешь, — прохрипела Злата, — если у тебя есть время, зайдем к канторше проведать больного.

Выстрели тут пушка, Эстер не так всполошилась бы, как от этих нескольких слов. Лишь минуту тому назад она прикидывала, какой бы найти предлог, чтобы зайти к соседям взглянуть на Йоселе. И вдруг мать сама предлагает ей это. Однако лицо Эстер не выдало, как колотится ее сердце, как трепещет оно, готовое выскочить из груди. Эстер ответила матери тихо и совсем спокойно: «Что ж, сходим, если хочешь». На самом деле ей хотелось броситься матери на шею и расцеловать ее. «Мамочка! Сердце мое! Дорогая, дорогая мамочка!» — думала она, медленно проходя вместе с другими женщинами

по комнате, где мужчины стояли лицом к стене и раскачивались каждый по-своему. «Мамочка! Любонька!» — говорила про себя Эстер, чинно ступая за ней, хотя готова была лететь как на крыльях.

У Шмулика в доме было уже довольно темно, как бывает в сумерки, между днем и ночью. Света еще не зажигали. В углу на кровати, утонув во множестве подушек, лежал Иоселе-соловей, а возле него на стуле сидела мачеха.

— Ш-ш-ш, он спит! — прошептала она, когда женщины, громко разговаривая, вошли в дом.

— Нет, я не сплю, — сказал Иоселе и быстро сел в кровати. Сердце ему будто подсказало, что здесь недалеко стоит Эстер.

— Как себя чувствуешь? — пропели три женщины разом, разглядывая Иоселе на расстоянии.

— Не суждено мне, видно, быть у вашей дочери на свадебном обеде, — отозвалась канторша. — Поди знай, что свалится такая напасть! Не хватало забот! Такой гость приехал и ни с того ни с сего свалился. Присаживайтесь, Златочка! Брайна-сердце, Ентл-голубушка, садитесь! Садитесь же, прошу вас! Садись, Эстер! Чего ты стоишь?

Женщины сначала разглядывали Иоселе, качали головами, затем каждая из них указала на известное только ей единственное замечательное средство, которое спасает от головной боли, ломоты, сухоты и всякой иной хвори. После этого все уселись на скамье у окна, и вскоре у них завязалась дружная беседа, разумеется, о свадьбе, об ужине после венца, о свадебном обеде, о свадебных подарках от мужниной и жениной родни. И хотя Злата здорово осипла, она все же высказывалась с жаром, помогая себе жестами там, где изменял голос. Заломив руки, она негодовала по поводу того, что «представьте себе, Фруме-Сора... Вы знаете Фруме-Сору? Так вот эта Фруме-Сора осмелилась заявить, что на свадьбе у ее младшей дочери было вдвое больше гостей, а подарки, говорит она, были в тысячу раз лучше. Ну, как это можно стерпеть?».

— Да что вы, Златочка, говорите о Фруме-Соре! Я вам лучше расскажу, что Ципе-Рейзл сболтнула мне сегодня о своей младшей дочери. Господи, где только у меня есть враги!.. Милосердный боже!..

Разговор у женщин становился все завлекательней, говорили они все жарче и наконец вовсе забыли о больном.

А Иоселе сидел на кровати, голова его была повязана полотенцем, из-под которого выбивались длинные, волнистые волосы. Мертвенно-бледное лицо его отливало желтизной, и только глаза горели по-прежнему. Увидев вошедшую Эстер, он готов был соскочить с кровати, но тут же замер, будто его приковали к месту, не в силах слова вымолвить.

Эстер тоже долго стояла молча, разглядывая его. И лишь когда женщины очень уж заговорились, она подошла поближе и спросила:

— Как ты поживаешь?

Эти слова были произнесены так дружески, с такой теплотой, с такой любовью, как только сестра может сказать. Иоселе ничего не ответил, но его взгляд, его горькая усмешка достаточно сказали ей. Она подошла еще ближе и, точно это у них было заранее условлено, села возле него на стул, где до того сидела мачеха.

Эстер показала, что глаза Иоселе стали больше и смотрели они на нее менее приветливо, чем раньше.

— Как же ты поживаешь? — снова спросила Эстер.

— Эх, Эстер! — вздохнул Иоселе и схватился руками за голову.

В этих двух словах послышался стон человека, которого постигло большое горе, такое горе, что и словами не выскажешь. Эстер чувствовала, что ему худо, но отчего и почему — не знала. Она сама не заметила, как очутилась ее рука в его руке. Ее жжет, как огнем, она вся горит. Ее тянет к нему, как магнитом. И снова дурные, грешные мысли зашевелились у нее в голове. Опять в ней боролось две силы. Демон-искуситель шепнул в ухо, что пока еще есть время. Она еще может быть счастлива. Она молода, здорова, свежа и не смеет похоронить себя. Она должна жить, жить, жить! А другой голос твердил: «Ты ведь молодуха, невеста, только что из-под венца, Златина дочка, мужняя жена. Беги отсюда!» А рука все еще лежала в его руке, и ее нестерпимо жгло, палило огнем.

У Иоселе вдруг развязался язык. Он заговорил без удержу, но мысли его шли вразброд, слова, бессвязные и путаные, опережали друг друга. Каждую минуту он хватался за голову. Внезапно лицо его вспыхнуло, глаза

заблестели. Сорвав с головы полотенце, он придвинулся к Эстер и сказал ей с жаром, но так, чтобы никто не слышал:

— Все это, Эстер, чепуха — ты связана, я связан! Глупости это, Эстер! Ей-богу, глупости! Они говорят, что я болен. Да кто болен? Скажи мне только слово, что ты согласна, и я вскочу с постели совершенно здоровый, заберу тебя с собой, увезу из этой проклятой Мазеповки. Послушай меня, бежим, пока не поздно! Будет погоня? Ну и что же? Нам бы только выбраться отсюда — и мы свободны. А там уж все будет хорошо. Я увезу тебя далеко-далеко. И ты будешь моей. Навеки моей! Эстер! Ах, Эстер, Эстер!

У Эстер не было даже времени хорошенько подумать над его словами. Непонятная сила неодолимо влекла ее к нему, и она уже готова была отдаться в его руки и бежать с ним хоть на край света. Тот самый демон-искуситель явился ей теперь в образе ангела-избавителя и снова стал нашептывать: «Глупая, глупая Эстер! Вот оно, твое счастье, перед тобой, судьба твоя в твоих руках. Выбери! Либо райская жизнь, чудесная жизнь в просторном, вольном мире с милым, любимым другом, с ним, с Иоселе, на вечные времена, либо мрачное, горькое прозябание вот здесь, в этом болоте, с этим жирным, противным Алтером. Глупая, глупая Эстер!» Этот дух-искуситель со своими сладкими разговорами, с одной стороны, и Иоселе со своим пламенным взором и обжигающими речами, с другой, почти убедили ее. Никогда еще не хотелось ей так жить, быть счастливой, как теперь; никогда еще мир не казался ей таким прекрасным, как в эти минуты. Эстер вся дрожала. Она готова была бежать куда угодно, взлететь на небо, провалиться в преисподнюю, бросить, забыть всех и все, только бы быть с ним, с Иоселе. А Иоселе не переставая нашептывал ей пылкие речи. Его взгляд жег ее, пронизывал насквозь.

— Ах, Эстер, Эстер! — жарко вздохнул он. — Ах, Эстер, Эстер! — повторил он, склонился к ней и протянул руки, собираясь обхватить ее стан.

Ощувив его так близко, Эстер невольно отшатнулась, вскочила и нечаянно ухватила за голову, за свою покрытую голову. Как сон, мелькнули и отлетели греховные мысли; она мгновенно вспомнила об Эстер —

молодой жене, благочестивой женщине, и тут как раз увидела подле себя мать.

— Что ж, пошли? — сказала ей Злата. — Мы тут немало заболтались. Недаром про женщину говорят, что у нее слов девять коробов.

Перед уходом Злата посоветовала канторше еще несколько лекарств. А Брайна добавила, что, если б резник Шахне еще сегодня пошептал над Йоселе заговор от сглаза, было бы совсем хорошо.

Уже стоя на пороге, Эстер обернулась туда, где на кровати сидел Йоселе, и ей почудилось, что она видит огонек его глаз, которые умоляюще смотрят на нее. Сердце дрогнуло в ней, явилось новое чувство, чувство человека, который видел павшего и не протянул ему руку помощи. Ей казалось, он все еще сидит в той позе — с простертыми к ней руками, а в ушах все еще звучал его тоскливый призыв: «Ах, Эстер, Эстер!» Еще мгновенье задержалась она у порога. И опять то, дурное, мелькнуло в голове. Нечистый опять источал свои сладкие речи: «Назад, Эстер! Назад! Вот на этой минуте зиждется твой мир! Одно слово, наивное дитя! Только одно слово! Подойди и скажи ему это единственное слово, и вы счастливы навеки».

«Будь ты неладен, проклятый Асмодей! * — крикнул голос у нее в груди. — Прочь от меня! Не на ту попал! Еврейская девушка этого не позволит. Она скорей в жертву себя принесет, но не сделает этого... Да к тому же еще жена, замужняя женщина!. Беги отсюда, Эстер! Беги!»

Эстер собрала все силы, вырвалась из лап нечистого и зашагала за матерью в свой дом.

Пробираясь по залу, она снова увидела мужчин, сидевших за столом и урезонивавших Алтера.

— Погляди! — сказал один из жениховых родственников, показывая глазами на Эстер. — Погляди, Алтер, что это за товар! А ты торгуешься из-за каких-то паршивых пятидесяти целковых.

Точно по горячим угольям, пробежала Эстер комнату, ворвалась к себе в спальню и там на своей кровати, уткнувшись головой в белоснежную подушку, горячими слезами выплакала свое незапятнанное, свое невинное сердце чистой, очень хорошей, но очень несчастной девушки.

*Иоселе-соловей в незавидном состоянии,
а извозчик Лейзер философствует*

Три недели, три тяжких, страшных недели прожил Иоселе-соловей. Никто уж не думал, что он выживет. Шмулик не понимал, откуда у человека столько сил, как может он перенести столько мук, так неистово кричать.

«Уберите эту кошку! — вопил Иоселе. — Разве вы не видите ее?! Она подбирается к горлу, хочет меня задушить!» А другой раз он ни с того ни с сего кричал: «Отдайте мне мою Эстер! Она моя!» Шмулик отвечал ему: «И чего ты кричишь, глупенький? Вот она, Эстер. Стоит здесь вместе с нами». А он опять свое: «Эстер! Отдайте мне мою Эстер! Зачем вы пустили ее одну в лес? Там собака!» Иногда он начинал петь, выделявая всякие канторские штучки, или задира л голову к потолку и говорил: «Вы слышите? Вы слышите, как играют в костеле? В костеле замечательно играют, одно удовольствие слушать». Говоря так, он страшно метался на своем ложе. Только отец может снести такие муки, какие перенес Шмулик в эти три недели у постели своего сына. Он неотлучно сидел подле него, не спал ночей, без конца прикладывая лед к голове больного.

Лекарь Юдл, великий мазеповский специалист, объяснил, что это у Иоселе «такой огонь в голове, и по-докторски это называется воспаление мозга, и это опасная болезнь». Чего только не делал Шмулик! Постился, ходил на могилу Зелды, несколько раз собирал в синагоге людей читать псалмы. Наконец господь смиловившись, и больному стало чуть легче. Доктор Юдл сказал тогда: «Раз он все это перенес, значит, он уже человек, и можно сказать, больше чем наполовину на этом свете».

С радости Шмулик расплакался, как малое дитя, а на него глядя, и все в доме. Поднялся такой плач, точностряслась какая-то беда. Эстер, которая приходила навещать больного несколько раз на день, увидев Иоселе сидящим в постели, тоже не сдержалась, — слезы катились у нее градом, хотя лицо улыбалось.

Эстер уходила из дому каждый раз якобы к матери, проведать братиков, а там забегала к Шмулику на несколько минут и просиживала у постели боль-

ного, пока Алтер не посылал за ней. Один лишь бог знает, с каким сердцем она возвращалась домой.

— Эстерка, отчего ты не ешь? — улыбался ей Алтер. — Эстерка, отчего ты не пьешь?

Едва дождавшись утра, она рада была немедленно мчаться туда, а возвратившись домой, опять бежать обратно.

— Что-то ты, сердце мое, слишком частый гость у своей матери? — говорил Алтер с добренькой усмешкой, которая была для нее словно острый нож. — Частый гость, душенька, скоро приедается, хе-хе. Хозяюшка должна дома сидеть, за хозяйством следить, за хозяйством!

Но Эстер и не слышала этих речей, голова ее была занята только Иоселе. Лишь об одном молила она бога — чтоб Иоселе выздоровел. Сидя в субботу в синагоге над своим молитвенником, Эстер только и старалась выпросить у бога долгих лет Иоселе. Ночью, лежа в постели, Эстер с плачем молила: «Дай ему, боже, силы! Пошли ему, господи, долгую жизнь!» И бог внял ее мольбам — Иоселе начал поправляться, недомогание стало проходить, и можно было надеяться, что вскоре он окончательно выздоровеет. Эстер не знала, как благодарить всевышнего за его милость.

Придя домой, Алтер увидел, что Эстер вся сияет, лицо ее светится радостью, и он сразу ожил.

— Вот это мне нравится! — сказал он, заглядывая ей в лицо и ласково улыбаясь. — Такой и должна быть женушка спустя три недели после свадьбы. Красивенькая! Так, так!

Эстер наскоро проглотила обед, давась каждым куском, сидела как на иголках и, улучив подходящую минуту, снова убежала из дому.

С тех пор как Иоселе поправился и начал садиться в постели, от него не отступали ни на шаг. Друзья собирались вокруг него и все выпрашивали, как он себя чувствует и почему он все время кричал. Что он такое видел, что все говорил про птичек, про костел, о каких-то каретах, кошках и собаках? Но Иоселе ничего не отвечал. Был очень мрачен и смотрел каким-то странным, тупым взглядом.

— Оставьте его в покое! — бранился доктор и гнал всех прочь. — Оставьте его. Ему нужно «спокойствие», а вы морочите ему голову.

— Но что же мы особенного делаем? Только спрашиваем. Велика беда!

— Ну, что поделаешь с такими людьми! — сказал уже сердито Юдл. — Вот упрямы! Ведь вам говорят, что ему нужно «спокойствие», ну, как, к примеру, роженице. Будете говорить с ним после. Дайте ему лучше что-нибудь в рот — стаканчик чаю, немного бульону, каплю молока или еще чего-нибудь.

«Больной хочет есть!» Это была такая ошеломляющая новость, что все разом кинулись искать еду. «Что бы ему такое дать?» Канторша пошла по соседям занимать четверть курицы. Шмулик забежал по квартире, ища для больного что-нибудь повкусней. А Эстер помчалась к матери, разложила огонь в очаге и поставила варить бульон.

Стоя у шестка со сложенными на груди руками и глядя в пылающий огонь, вслушиваясь, как бурлит в горшке, Эстер замечталась. Ей припомнилось, как несколько лет назад она вот так стояла у шестка, а рядом с ней стоял Иоселе. Как все переменялось с той поры! Сколько за это время воды утекло, сколько дел переделано, сколько горя перенесла она за эти два с половиной года! Могла ли она тогда предположить во время разговора с Иоселе, что станет женой Алтера? Она припомнила, как Иоселе долго держал ее руку, крепко жал ее; на глазах у него блестели слезы, и он поклялся, что вечно будет все тот же. «Вечно тот же? — говорила себе Эстер. — Бог знает! Бог знает!» С тех пор как Иоселе приехал, она лишь теперь впервые задумалась над поведением Иоселе, над его поступками. Ни о чем другом не думалось ей до сих пор, как только о его болезни. Голова была занята лишь одним: как чувствует себя Иоселе? Как протекает его болезнь? Что говорит доктор? Какая у Иоселе температура? Сколько еще пройдет времени, пока он начнет потеть? И так дальше и тому подобное. Словом, ею владела лишь одна мысль: Иоселе болен! Этого было достаточно, чтобы прогнать все остальное из головы, тем более что и мать, и тетя Брайна, и тетя Ентл, и все другие бывалые люди говорили, что если, не дай бог, вовремя не будет перелома и Иоселе не пропотеет, он пропал. Когда Эстер слышала такие речи, ей трудно становилось дышать, ее охватывал озноб, темнело в глазах. И как же она была счастлива, когда узнала, что больной потеет!

— Еще как потеет, как потеет! — сказал доктор Юдл. — Вот подождите, и увидите, что значит потеть. Если у больного не сойдет три ведра поту, у меня это не называется потеть. Понимаете?

Вряд ли у Юдла был когда-либо больший доброжелатель, чем Эстер в те минуты. Тем более теперь, когда Иоселе сел в постели и попросил есть. «Благодарю тебя, боже! Благодарю, отец сердечный, милостивый, добрый!»

Вдруг дверь отворилась, и в комнату просунулась голова какой-то женщины в модной шляпке под вуалью.

— Здесь живет кантор Шмулик?

— Здесь. Только на второй половине, — ответила Эстер и, взяв горшок обеими руками, пошла к соседям. — Пойдемте, я иду туда.

— Как чувствует себя кантор Шмулик? — спросила женщина, идя рядом с Эстер.

— А как ему себя чувствовать? — ответила Эстер. — Слава богу, здоров. Живет, но и горя у него немало.

— Здоров? — переспросила удивленно женщина, разглядывая тем временем Эстер и думая про себя: «Какая она красивая!» — Но ведь Иоселе перед отъездом говорил мне, что отец очень болен, чуть ли не при смерти?

— Как? — вырвалось у Эстер. Она недоуменно посмотрела на пришлицу, и в голове у нее мелькнуло: «Кто эта женщина?» — Нет, вы ошибаетесь, это Иоселе, а не Шмулик, был опасно болен.

— Иоселе? — дико вскрикнула женщина.

Эстер попросила ее вести себя тише, так как здесь рядом, за дверью, лежит больной.

Эстер шла с горшком в руках, а впереди нее мчалась женщина с простертыми руками. Но, войдя в комнату, они обе мгновенно застыли как истуканы, не понимая, что здесь происходит. Иоселе-соловей сидел на кровати лицом к стене и пел, прижимая большим пальцем кадык, как это делали старомодные канторы. А все вокруг него стояли изумленные, потрясенные, растерянные.

Пел Иоселе очень странно. Пение это было чудесно до страшного и страшно тоскливо. Звуки вырывались из груди вместе с тяжким вздохом, обнимали слушателя всего, разили до мозга костей. Это было неслыханное,

ни на что не похожее пение: лились чудные звуки, необычайные, прекрасные, чистые, мягкие и вместе с тем какие-то нечеловеческие, дикие, сумасшедшие. Неожиданно Иоселе закончил свое пение страшным «кукареку» и диким хохотом. У всех волосы стали дыбом; оцепеневшие, они только переглядывались между собой.

— Вот! Вот она, кошка! Кошка явилась! — вскрикнул Иоселе, показывая на пришедшую с Эстер женщину (понятно, это была Переле). — Видите? Она опять здесь! Она опять здесь! Ловите ее! Гоните ее! Выбросьте вон! Она задушит меня! Что же вы стоите? Гав-гав-гав!

Иоселе соскочил, полюбнаженный, с кровати и хотел было кинуться к Переле, но та спряталась за Эстер и вцепилась обеими руками ей в плечо. Обе дрожали, как овечки. Но тут подбежал лекарь Юдл и, ухватив Иоселе за руки, потащил его обратно к постели. Иоселе упирался, отбивался изо всех сил. Наконец ему удалось вырваться из рук лекаря. В одно мгновение он подбежал к Эстер, выхватил у нее горшок с кипящим бульоном и выплеснул его на Юдла.

— Он с ума сошел! — закричал Юдл. — Что вы стоите как истуканы? Вяжите его! Скрутите его! Вы ведь видите, что он рехнулся!

Через несколько дней несчастный Шмулик вынужден был собственноручно связать своего сына или, как говорил доктор Юдл, «скрутить его» и отвезти в Макаровку к цадику. Кто не видел, как несчастный Шмулик в ситцевом халате, с зеленым шарфом на шее, держит обеими руками Иоселе, чтобы тот не выпрыгнул из повозки, — кто этого не видел, должен жить лишних десять лет.

— Да, человеку нечем кичиться! — говорили провожавшие этих двух несчастных.

Извозчик Лейзер никак не думал, что в той самой повозке, в которой он месяц тому назад доставил Иоселе целым и невредимым, он повезет его обратно в эдаком состоянии. Всю горечь своего сердца он изливал на ни в чем не повинных лошадок и, шагая рядом с Шмуликом в гору возле повозки, держал к нему целую речь, которую он закончил следующими словами:

— Вы слышите меня, реб Шмулик! Ведь это глупости! Вы, конечно, знаете наш извозчиный промысел.

Как говорится, насмотришься всяких людей. Бегут, едут, один туда, другой сюда, как на ярмарке. Клянусь вам, можете мне поверить, — ведь у меня уже внуки, дай бог им здоровья, дедушка я, — так вот, если хорошенько призадумаешься, то увидишь, что мир у нас сухой! Право же!

Эпилог

— Непонятно, почему моей Эстер все время неможется, — проговорила Злата, сидя с сестрицей Ентл на базаре в большом кругу лавочниц. — С тех пор как она вышла замуж, я еще ни разу улыбки на ее лице не видела. Выглядит она все хуже и хуже. Не пойму, что такое. Кажется, так жить, как она живет за своим мужем, не сглазить бы! Что бы это могло значить?

— Ну, что тут особенного? — отозвалась одна из женщин. — Все мы такие. Пока в девушках — всякая гарцует, как казак, а вышла замуж — конец, поблекла, завяла, тряпка тряпкой, грош цена.

— А я вам говорю, — заявила другая, — это беременность, и больше ничего. Моя младшая невестка, — помните, какие у нее были щеки? — как только затяжелела, сразу высохла, врагам не пожелаю! Уверю вас, это беременность.

— Ну и ну! — встала Ентл. — Из ваших уст да богу в уши! Хороша беременность! Когда увижу, тогда и поверю!

— Что ж тебе не верится? — перебила ее пожилая женщина. — Мы и не такое видали. Сидит молодуха годами — нет и нет детей, а бог поможет, и она пошла рожать, сыплет, как курочка. С божьей помощью, Злата, в будущем году будем у вас на рождении сына.

— Аминь! — ответила Злата. — Добрый человек благословляет — кошка моется.

Никто не знал, что с Эстер. Видели только, что она чахнет, худеет с каждым днем, тает как свеча. Алтер не жалел полтинника на лекаря. Доктор Юдл приходил, осматривал Эстер и говорил: «Она попросту нездорова. У нее болит сердечный «лист» и под ложечкой жмет»; велел ей пить рыбий жир, шалфей, липовый цвет и разные другие травы, советовал также не простужать кашля. «Если кашель простудишь, — говорил он, — это очень нехорошо». Юдл рекомендовал

ей пить побольше молока, есть много масла и иметь всегда под рукой хорошую настойку. Словом, не отказывать себе ни в чем. Эстер выполняла все его указы, но по-прежнему таяла как свеча. И никто не знал, что с ней.

Кантор Шмулик давно уже лежит на новом кладбище. В Мазеповке стало еще больше голодных — прибавилась одна вдова и несколько детишек. Конечно, о них пекутся: Брайна, старшая сестра Златы, и еще одна благодетельница отправляются с платком по городу и собирают пожертвования для канторши и ее потомства.

Переле осталась вдовой при живом муже, но живет ей, как говорят, не плохо. Денег у нее много, и она каждый год ездит в Франценсбад. Отцу ее, Мееру Зайчику, приходится туго, пока он не вырвет у нее сотнягу. «Как из пасти у собаки», — говорит жена его Малка.

У горничной Лейцы с любовью вышло неладно. Ее жених Лейви-Мотл, носивший длинные штаны и сапоги с калошами, бессовестно выманив у нее деньги, нашел себе другую невесту, без оспин. А несчастная Лейца, прослужив еще года три горничной, вышла за сапожника. Увлекательные «романсы» она уже давно забросила. Живется ей недурно — она сама себе хозяйка. Недостает ей только коровы. Она послала своей «мадам» обстоятельное письмо, где просила у бывшей хозяйки помощи. Но ответа от нее не получила и по сей день.

— Сходи-ка опять к писарю Гензлу, — говорит ей муж Генех. — Пускай напишет письмо подлинней. Может, то было слишком коротким.

Шадхен Калмен еще жив. Он очень стар и совсем глух. Но в голове у него все еще бродят мысли о свадьбах, помолвках, обручениях. Ему еще являются во сне засидевшиеся парни, перезревшие девицы, вдовы, разводки.

Гедалья-бас разъезжает где-то с седлецким кантором. Он все приглядывается, не пошлет ли ему бог опять какого-нибудь Иоселе-соловья. Однако чудеса нынче кончились, и такого соловья ему уж не найти.

Городок Стриц стоит на том же месте, а Берл-Айзик теперь состоятельный хозяин, владелец собствен-



ного дома и лавки. Зимой он носит шубу на лисьем меху, и в синагоге у него место у восточной стены. В местечке он — целая шишка. «Наш Берл-Айзик!» — говорят здесь о нем.

В местечке Макаровке много лет подряд можно было встретить на улице или в синагоге высокого, худощавого человека. Поверх расстегнутой рубахи он носил большой желтый талескотн, его редкие волосы покрывала странного покроя шляпа. Горло у него было всегда повязано теплым шарфом, глаза прикрыты синими очками, на одной ноге был ботинок, на другой сапог. Он заходил в первый попавшийся дом, не говоря ни слова, омывал руки и, сотворив молитву, садился за стол, ожидая, когда ему подадут что-нибудь поесть. А поев, он опять творил молитву, вставал и безмолвно уходил прочь. Очень редко он говорил с кем-нибудь. Но еще реже становился лицом к стене и начинал петь, но так чудесно, так замечательно, с таким чувством, так

мастерски, что прохожие бросали все дела и останавливались послушать, как «сумасшедший изображает кантора». Однако человек этот очень редко допевал до конца. На самом интересном месте, забравшись на самые верхи, рассыпавшись трелями, он вдруг, бывало, захохочет, начнет мяукать кошкой, лаять по-собачьи, а то захлопает в ладоши, как петух крыльями, и глуповато закричит — «кукареку!». Все прямо-таки мертвели при этом.

Женщины, глядя на него, качали головами и, утирая слезы, благочестиво говорили:

— Нечего сказать, — божье создание, грешный человек! Глядите, люди, что может стрястись! Такое дарование! И что же? Вселился в него злой дух, и все тут — да минует нас эдакая напасть! Горе отцу и матери его, где они там есть! Господи, покарай меня лучше смертью, чем эдакой казнью!

Мужчины относились к нему с большим состраданием — кормили, поили его, иной раз давали старую рубаху, какие-нибудь обноски, а то и грошик сунут. Страдания причиняли безумному только мальчишки, — тут уж на его долю приходился целый пуд лиха. Озорники гнались за ним ватагами, не давали ни минуты покоя, толкали, щипали, хватили за волосы, давали щелчки и кричали вслед во все горло:

— Соловей! Ты соловей, петух или аист? Спой нам что-нибудь, черногуз!

Но человек этот все хладнокровно сносил, даже не морщился, не вступал ни с кем в пререкания, только, высоко вскинув голову, шагал и шагал вперед, гордо поглядывая на окружающих сквозь синие очки, словно весь великий, неоглядный мир — его вотчина.

Всем, конечно, понятно, что это был Иоселе-соловей.

ШИМЕЈЕ

Рассказ

Мой брат Шимеле

Так и вижу его перед собой: широко открытые черные с огоньком глаза, круглая голова с глянцевыми, черными, как смоль, волосами ежиком, веселый, разговорчивый, подвижный. Ни на минуту не могу забыть его, несмотря на многие невзгоды и бесчисленные волнения, выпавшие на мою долю с тех пор. Кто знает, не находится ли уже душа его на том свете, не поросла ли уже его могила бурьяном?

О Шимеле говорю я, о моем брате Шимеле, моложе которого я лет на десять, о Шимеле, который помнится мне как сон, как ночное видение.

Шимеле-искоркой звали его, когда он был еще ребенком и учился в хедере. Шимеле-огоньком звали его, когда он превратился в подростка.

Но когда он женился и развелся и снова женился и опять развелся, все его стали называть Шимеле-озорником. Когда же он стал зло отшучиваться и кое-кому пришлось солоно от его острых словечек, его прозвали Шимеле-грубияном. Люди начали сторониться и побаиваться его, словно он стал всем поперек горла.

И кого они боялись, эти мелкие душонки? Можно подумать, что Шимеле на самом деле был страшилищем и мог кому-то причинить зло. Да такого доброго, простодушного, такого мягкосердечного и благородного человека я в жизни не встречал. Он готов был снять с себя последнюю рубаху, поделиться последней коркой хлеба, лишь бы не видеть у ближнего огорченного лица, подавленного настроения. Такого человека, как Шимеле, можно было только любить.

И все же он ни у кого не снискал доброго отношения. Почему? Отчего? По какой причине? Не понимаю.

— Ты хочешь быть таким, как Шимеле? Ты умрешь



скорее, чем станешь таким, как Шимеле. Я лучше похороню тебя, нежели позволю идти его дорогой! Слышишь, ты, выродок эдакий?

Такие обидные слова приходилось мне выслушивать от отца, когда он замечал, что я не испытываю особого желания учиться в хедере. (А кто из нас горел таким желанием? Для всех нас учение было как божья кара.)

— Что ты пристаешь к ребенку?— вступалась за меня мама.— Шимеле! Шимеле! Что ты его по-

прекаешь целые дни? Он, бог даст, не будет таким, как Шимеле. Наш бог милостив. Одной рукой он карает, другой исцеляет. Я уповаю на него, на вечно живущего, он меня убережет и защитит. Неужто я, не дай бог, так грешна, что даже не заслужила снисхожденья за добрые дела предков? Не покарай меня грешницу, милосердный!

— Злата, ты видишь? Ты понимаешь? Это же Шимеле, как две капли воды.

— О, было бы так! Он еще перещеголяет Шимеле, попомни мои слова, Ентл.

— Прошу тебя, Фрадл, не спорь с ним, разве ты не знаешь Шимеле.

— Чего ты так боишься Шимеле, Ципа?

— Знаешь, Брайндл, Ципа права, что она избегает его. С нашим братом Шимеле лучше быть подальше.

Так говорили между собой пять моих сестер: Злата, Ентл, Фрадл, Ципа и Брайндл, взрослые девушки, которым давно бы не мешало быть замужем. В городке их звали: дочери Цлофхода *. Вы ведь знаете, что в маленьком местечке каждый человек имеет прозвище, чтобы, упаси бог, не спутали порядочного человека с непорядоч-

ным и чтобы от этого не пострадал весь еврейский народ. Если, к примеру, в нашем городке есть три человека с одним и тем же именем Берл, — а по фамилии их никто и не знает, — то надо сделать какую-нибудь отметину, чтобы можно было людей отличить друг от друга. И вот наши обитатели и придумали средство: одного называли Берл-нос, так как он имел обыкновение всегда свистеть носом, — когда говорил и когда молчал, во время еды и во время сна; другого называли Берл-кот, потому что его седые усы торчали, как у кота; третьего — Берл-мойд¹, потому что голос у него был тихий и приятный, как у девицы. Слушая его речь из другой комнаты и не видя его, никто не поверил бы, что говорит мужчина, к тому же мужчина, которому уже давно перевалило за пятьдесят.

В устах обывателей нашего местечка имя моего брата Шимеле звучало как бранное слово, а для моих родителей оно было воистину наказанием божьим.

А спросите: отчего, почему, что он такое сделал? Может, он был вором, или утаил чужие деньги, или человека убил, или вел распутную жизнь?

Да что тут спрашивать и чему удивляться? Это было в те времена... во времена тяжелые и одновременно счастливые для евреев, в годы, когда, казалось, внешние бедствия и преследования на время прекратились и еврей мог перевести дыхание и хоть пару лет спокойно пожить, если бы не нашел себе, собственно говоря, детских болезней и забот. Другой заботы мои горожане тогда, как видно, не нашли себе, вот и стали заниматься моим братом Шимеле. Он, видите ли, тайком начитался светских книг и стал чрезмерно свободомыслящим. Многие еврейские обычаи ему не нравились, на старшее поколение он начал посматривать с пренебрежением, как на дикарей, на ослов, на глупые создания; он любил вступать в споры и доказывать отсталость старшего поколения, причем сыпал такими словами, как «гаскола», «толерантность», «фанатизм» и др. В своих суждениях он был столь независим, что осмеливался святотатствовать. Однажды в синагоге он разрешил себе сказать, что женщины не безмозглые существа, а люди, и любовь, горячился он, тоже не пустяк, любовь — дар небес. «Любовь» — понимаете? В те годы упомянуть про любовь, произнести слово «любовь»?!

¹ Мойд — девушка (еврейск.).

Но одного я по сей день не могу понять. Мой строгий отец, всегда наводивший неописуемый страх на всех домашних — мы дрожали перед ним, как перед неким пугалом, — сам побаивался Шимеле. За глаза он награждал его страшными проклятиями, желал ему смерти, а себе — увидеть поскорее холмик на его могиле, но при нем опускал глаза и помалкивал, не отчитывал его и вообще не говорил ему ни слова.

Я иногда думаю, что, быть может, между ними состоялся откровенный разговор, из которого отцу стало ясно, что он больше не должен связываться с Шимеле...

А мама? Как преданная мать, она всегда заботилась о Шимеле, ухаживала за ним, нередко тайно ото всех совала ему несколько копеек, оставляла ему от обеда самое лучшее, справляла ему новые брюки с белой рубашкой, проклиная при этом свою злосчастную судьбу и со слезами на глазах жалуясь на божью кару, ниспосланную на ее сына Шимеле, на Шимеле, который...

2

С Шимеле творятся чудеса

Только вдруг в жизни моего брата наступила перемена. Положение резко изменилось. Имя Шимеле, ранее произносимое с позором и насмешкой, внезапно стало уважаемым и почитаемым у всех наших горожан. О Шимеле теперь говорили целыми днями.

— Что пишет вам ваш сын Шимеле?

— Ну что вы сейчас скажете насчет сына вашего, насчет Шимеле?

— Ну, разве могли бы вы подумать? Ну, могло ли вам прийти в голову такое о Шимеле?

— Вот тебе и Шимеле... Ай, Шимеле, Шимеле, Шимеле!..

С такими словами каждый день обращались к моим родителям горожане, и всегда такой разговор был исполнен восторга, удовольствия и зависти, я думаю, в основном — зависти.

Впрочем, какая разница! В глазах обитателей нашего городка Шимеле поднялся так высоко, что многие жители, выбивавшиеся всю свою жизнь из сил, работая горбом, ломая себе шею, не могли допустить и мысли сравняться с ним.

Правда, в то время у нас в местечке прославились еще несколько человек, о которых не переставали судачить обитатели, но с нашим героем Шимеле они не шли ни в какое сравнение. Рядом с ним их победы казались ничтожными.

На всех улицах, во всех уголках, во всех синагогах только и слышно было что Скобелев *, Гурко *, Осман-паша *, Сулейман-паша *, Плевна, Стамбул, Шимеле. Имя Шимеле постоянно упоминалось среди этих имен.

Вы, конечно, понимаете, добрые люди, что речь идет о последней войне 1876—1877 годов. Войне могучей России с турками, в которой мой брат гораздо больше выиграл, нежели турки. Сыны Измаила * потеряли в этой злосчастной войне много областей, миллионы золота и серебра, десятки тысяч людей и скота, не говоря уже о позоре перед всем миром. А Шимеле с посохом перешел Дунай, и в скором времени дошел слух, что ему улыбнулось счастье. Шимеле приобрел большие капиталы, Шимеле обладает большим состоянием, Шимеле стал богачом, миллионером.

Да что слух?

От Шимеле стали приходиться очень приятные и веселые письма, в которых он сообщал отрадные новости, высылал он и небольшие деньги и подарки.

Скорей всего, Шимеле нашел там своего знакомого, служащего у комиссионера, а может, и комиссионера, служащего у подрядчика; наконец, возможно, он добился работы у самого подрядчика, стал у него управителем, потому что очень понравился хозяину, пока сам не сделался подрядчиком. О, он стал большим человеком! Начав с десятка-другого рублей, он дошел до сотен, тысяч, до десятков тысяч, сотен тысяч и, наконец, до миллиона.

Удача сопровождала его на каждом шагу. Куда бы ни направил он свои стопы, к чему бы ни прикоснулся, везде он загребал золото пригоршнями, лопатами и нажил себе невероятно большое состояние — целые мешки золота.

Но кто это золото видел? Куда оно девалось? Куда утекло? Куда улетело все это добро — знает только один бог!

...«Вернись домой, дорогой сын, — умолял его отец в письмах, — вернись домой, мой дорогой сын, мой любимый Шимеле, до каких пор быть на чужбине?.. Хватит, мой сын, хватит! Вернись в дом своего отца, со своим добром, которое бог подарил тебе. Поселись в своем родном городе, заведи себе подходящее дело, серьезную

торговлю, возьми себе жену по твоему вкусу, какую душа желает, которая бы тебе понравилась, и проживи сладостно жизнь со своей женой и детьми! Обрадуй печальное сердце твоего отца, сын мой! Утешь душу твоей матери, которая последние дни — не про тебя будь сказано! — не совсем здорова, покашливает, полеживает. Только всевышний может помочь. Он ведь большой целитель. Пусть он окажет нам свою милость, и чтоб мы вскоре увидели твое прекрасное милое лицо, и чтоб мы сподобились радости и утешения всех евреев... Аминь».

На это письмо отец получил от Шимеле большое письмо.

«Мои дорогие и милые родители, ваш голос дошел до меня в далекой стране на Балканских горах. Мое тело и душа переполнены вами, дорогие родители, тысяча вам благодарностей и лучших пожеланий. Мои глаза полны слез радости и тоски. Я готов исполнить вашу волю, так как ваши пожелания притягивают меня как магнит. Я жажду увидеть ваши ненаглядные лица. Обнимаю вас со слезами и поцелуями. Я проглядел свои глаза в ожидании того светлого дня, часа, минуты, когда на орлиных крыльях полечу к вам, обрадую ваши сердца, мои милые родители, буду радоваться вместе с вами в счастливый час, аминь.

Посылаю вам серебряные рубли и турецкую шаль для любимой матери. Присмотритесь хорошенько, и вы увидите, что она соткана из шелка с золотыми нитями и стоит... серебряных рублей. Отцу — турецкий халат и комнатные туфли с золотыми узорами. Такие туфли носят румынские богачи. Также пять шелковых красных платьев моим пяти сестрам: Злате, Ентл, Фрадл, Ципе, Брайндл. Подолы этих платьев и грудь затканы золотой бахромой и жемчугом, редкостно дорогая работа (такие платья носят черногорские светские дамы). Моему брату Шолему — писчее перо из высокопробного золота и дорогой перочинный ножик с золотой рукояткой. Я знаю, он любит такие игрушки. Посылаю вам также мою фотографию — я снят в турецкой одежде и в феске с золотой кистью. А вторая фотография изображает моего генерала, о котором я вам уже много раз писал в своих письмах.

Теперь наше войско находится в областях Балкан, и мы готовимся к дальнейшим маршам. Мы уверены и не боимся, так как наше войско, слава богу, вдвое больше вражеского. Крепости, завоеванные нами, — это капля в море по сравнению с тем, что мы собираемся с божьей

помощью завоевать. Это и высокие горы (боже мой, как страшно выглядят эти громадные горы со страшными вершинами) с редкостно крепкими и страшными башибузуками, которых мы встречаем на своем пути. Вообще мы не пугаемся их, мы их высмеиваем! И если бы нам только завоевать Плевну, для нас уже был бы открыт путь в Стамбул. Я уповаю на бога, что Стамбул тоже попадет в наши руки. И тогда, подобно орлу, что летит за своей добычей, я распушу свои крылья и полечу к вам, дорогие мои родители.

Пишите мне, что слышно у нас в местечке, и пишите мне хорошие новости о вашем здоровье и вашем положении. Передайте привет от меня моим дорогим сестрам Злате, Ентл, Фрадл, Ципе, Браиндл, моему брату Шолему и дяде Дону, а также дяде Айзику (как поживает его борода?), и дяде Герцлу (козы еще доятся?), и тете Добриш, и тете Нехаме (у нее и сейчас дрожат губы?), и дедушке с бабушкой, и всем нашим друзьям, и всем нашим соседям. И реб Мейеру Коту, и лекарю реб Монишу и его длинной бороде, и жене его язве, что дерется со всеми своими соседями, а также Рефоэлу-шамесу и реб Хаиму-Локшу. Им привет и всем евреям на белом свете, аминь».

3

Умолк Шимеле

То, что мы завоевали Плевну, — знает теперь каждый. Но куда девался Шимеле? Где Шимеле?

Правда, кое-какие слухи долетали до нас: в Румынии, на Балканском полуострове, Шимеле поразил всех: подрядчик... миллионы... быки... тощие... не приняли... процесс какой-то... Такими сведениями нас снабжали все, кто вернулся с фронта. Но удивительно другое: все слышали, что был Шимеле, однако кто Шимеле, что с Шимеле, где Шимеле — это оставалось тайной, и никто не мог дать нам ответа на эти вопросы.

Каждый человек на белом свете, тем паче еврей, имеет врагов. В каждом городе есть бездельники, лгуны, сплетники. Они хотят прославить себя на чужом позоре, для них чужое несчастье — радость. Поэтому нет ничего удивительного, что в нашем местечке изо дня в день стали пускать о Шимеле самые разнообразные слухи, побасенки, высосанные из пальца: Шимеле проиграл весь

свой капитал в карты, Шимеле крестился и вступил в брак с дочерью своего генерала, Шимеле вылетел в трубу и убежал в Америку и т. д.

Но узнать правду о Шимеле нам никак не удавалось. И все же мы не пали духом. Особенно отец. Он был спокоен. Он был уверен, что в конце концов Шимеле вернется. Не сегодня, так завтра, не завтра — так послезавтра, но вернется. И другого он не допускал. Шимеле вернется с полными чемоданами золота и мешками турецких лир. Но почему все же он так задерживается? Одно время отец впал было в сомнение, но потом, потрянув головой, произнес:

— Нельзя спешить, всему свое время.

— Что слышно о вашем сыне, о Шимеле?

— Что может быть слышно — ему, не взглянуть бы, везет, вы ведь, наверно, слышали? Он очень понравился генералу и с тех пор заворачивает большими делами. Ему во всем сопутствует удача.

— Да, но почему же он не возвращается домой, ведь уже пора?

— Начинается! Пора, пора... Была бы пора, он, верно, ни на минуту не задержался бы. Наверно, не окончились его счета с генералом... Счета за волов, за всякое барахло. Шутки сказать, генерал...

— Где?

— Там.

— Где там?

— На войне!

— Какая война?

— Где сейчас война.

— Уже давно никакой войны нет. Уже мир, а ему все мерещится война.

О, злые, кровожадные люди, вам доставляет большое удовольствие стоять и наблюдать, как другой обливается кровью, наблюдать, как его честь топчут ногами.

Я и по сей день считаю, что отец был уверен: Шимеле вернется домой, вернется с чемоданами, полными лир. Он не понимал насмешек честных и добродетельных людей, которые изо дня в день донимали его своими вопросами. Уверенность в счастье сына ослепила отца, и он не замечал, как за его спиной люди шушукуются, покачивают головами и, жалея его, вздыхают.

Счастливым отцом и несчастным человеком!

Однако совсем иной была моя мать. Она все хорошо

видела, слышала и понимала. Вера отца и его бесплодная фантазия мало занимали ее. Она попробовала с ним поговорить в надежде разрушить воздушные замки, которые он себе возвел. Но отец, услышав ее речи, вышел из себя и так обрушился на нее, что больше она не осмеливалась заговорить с ним о Шимеле.

— Что будет, наконец, с нашими детьми, с нашими дочерьми? — время от времени обращалась к нему мама, и глаза ее наполнялись слезами.

— Что будет? — отвечал папа на вопрос вопросом.

Он возлежал на диване в своем турецком халате и в румынских туфлях на ногах, погруженный в свои мысли о золотых рублях и о турецких лирах.

— Что ты спрашиваешь? Злата, Ентл и Фрадл уже в годах, им еще два года назад нужно было стоять под венцом. И Ципе и Брайндл тоже не мешало бы быть помолвленными. До каких же это пор? Доколе?

— Что же ты хочешь сейчас, хотелось бы мне знать?

— Что может хотеть такая мать, как я, мать взрослых девиц? Пять дочерей — одна старше другой!

— Что ты торопишь время? Подожди немного, вернется наш Шимеле! Тогда у нас развяжутся руки. И мы сыграем нашим дочерям свадьбы, какие нам подобают!

— Мы долго ждем, слишком долго! Горемычная моя доля!..

— Столько ждали, подождем еще немного! Ты слышишь? Но что говорить с женщиной, когда у нее глаза на мокром месте. О чем ты плачешь? Что себя изводишь? Перестань, ты хорошо знаешь, что я не люблю слез.

Мама уходила с припухшими и красными глазами, а папа растягивался на диване с папиросой в зубах, устремив взор на противоположную стену, на которой висели два портрета в золотых рамах. Один из них был Шимеле в турецкой феске с золотыми кистями на голове, на другой — «его» генерал с медалями и орденами на груди.

4

Отец взял новую жену

— Подойди, сын мой, подойди к моей постели, я обниму тебя перед смертью! Твоего старшего брата нету — бог его прибрал. Ты у меня остался один-единственный, кто будет читать по мне поминальную молитву!

С такими душераздирающими словами обратилась ко мне моя мать за несколько часов перед смертью, обливая меня горячими слезами.

Слезы, печаль, стенания! Мама умерла. Проводили ее к могиле! Прошла скорбная неделя, минул траурный месяц... Я присмотрелся к отцу и увидел, что на него внезапно надвинулась старость. Он сразу постарел лет на двадцать. Его черные, как смоль, голова и борода поседели, покрылись серебром, спина согнулась, круглое красивое лицо похудело и покрылось морщинами, нежные белые руки начали дрожать. Старик... А я даже не знаю, было ли ему тогда хоть сорок пять лет. Так страшно он опустился после смерти матери, которую любил как благочестивый муж и отец, хотя был с ней довольно строг... Прожили они душа в душу почти двадцать пять лет.

И все же спустя полгода после смерти подруги его юности отец женился вторично.

Торговля его между тем все ухудшалась, дела со дня на день становились все плачевнее, а мои сестры тянулись вверх и росли, так что можно было уже всех их вести под венец в один и тот же день. И если шадхен приводил в наш дом молодого человека смотреть невесту, жених терялся, не зная, на какую ему раньше смотреть. Так и уходил он из нашего дома смущенный и растерянный, чтобы никогда больше не возвращаться.

Так было с первым, со вторым, с третьим, с четвертым...

Все это огорчало моего отца. Немало страданий причиняла ему новая его жена. Она пилила его, она грызла его, как червь. Она буквально уничтожала его. Кроме того что она как мачеха мучила нас, она досаждала отцу, сокращала его жизнь всевозможными колкостями, часто напоминала ему о сыне-миллионере, который валяется в грязи или продает спички. Первое время отец не умел сдерживать себя, и мачехе доставалось по заслугам, но потом он свыкся со сварливой женой, смирился и на все ее шуточки не отвечал ни слова, не желая лишних ссор дома. Молча он нес свою горькую долю, поглядывая на стену, на которой висели две фотографии: Шимеле в своей турецкой феске с золотой кисточкой и «его» генерал с медалями на груди.

Помолвки

Поздравляем! Поздравляем! Мои две старшие сестры, Злата и Ентл, уже помолвлены. Вот они, их суженные, которые были предназначены небом моим сестрам еще за сорок дней до их рождения *.

Правду сказать, очень почтенные, приличные партии. Златин жених приказчик, подносчик в магазине, жених Ентл — музыкант.

Ох, уж и пищу для разговоров дали нашим горожанам эти женихи. На дни, недели, даже на месяцы. Судачили о них на базаре, на улице, в синагоге, в бане и, простите за сравнение, — в нашем хедере. «Если бы девочки не были сиротами, если бы мать их была жива, они, конечно, не достались бы таким женихам». И хотя я тогда был еще ребенком, учеником хедера, эти разговоры глубоко ранили мое сердце. Когда пришло время составления «тноим» * и я, празднично наряженный, сидел за столом, мне стало вдруг так не по себе, что я громко расплакался и никак не мог успокоиться.

— Что ты плачешь, сын мой? — начал успокаивать меня отец мягким, задушевым голосом. — Вот гляди, пряники и варенье на столе.

— Не хочу пряников, не хочу варенья!

— Что же ты хочешь?

— Отнесите его в кровать, он, верно, спать хочет, — подал голос молодой человек лет двадцати пяти с длинным носом и с большими потными и грязными руками.

— Уложите его в постель, он уснет, — добавил жених Ентл — музыкант, высокий парень с толстыми губами и всклокоченными волосами.

Услышав в свой адрес эти колкости и насмешки, я очень смутился. Мне стало ясно, что шутят они потому, что я сел за стол вместе со старшими. Не в силах больше сдерживать себя, я крикнул со злобой:

— Слуга! Трубац! — и, заплаканный, убежал из-за стола.

С этого вечера стена холодной вражды стала между мной и этими двумя женихами. Едва они переступали порог нашего дома, как я убежал от них, как от чертей, куда глаза глядят, — в синагогу, к ребе в хедер, на городскую площадь, лишь бы их не видали мои глаза.

Страдания моего отца, его злобу и безысходную скорбь я могу представить себе лишь теперь, так как тогда я был еще совсем мал. С каждым днем он все больше старился, сутулился, а его сердце все больше наливалось печалью. Он постоянно стонал, вздыхал, худел и постепенно угасал, время от времени молча поглядывая на стену, на которой висели два портрета...

Жениха Златы отец еще кое-как терпел. Это был рабочий человек, жил своим трудом и держал себя достойно. Он придерживался моды: носил крахмальные рубашки, золотые запонки на воротнике, перчатки на невероятно больших ручищах. Мою сестру он очень, очень любил. Прямо как кот сметану. В субботу, в праздник или иногда вечером, когда был свободен от своего тяжелого труда, он, не сводя с нее глаз, не переставал любоваться ею. Отцу моему он не оказывал того почтения, какое положено, почти с ним не разговаривал (собственно, о чем он с ним мог разговаривать?). В доме он был чужим. Впрочем, отца это мало задевало, — ведь он не мешал ему размышлять и давал возможность молча глядеть на то место, где висели фотографии Шимеле в турецкой феске с кисточкой и «его» генерала с медалями на груди.

Но второй — жених Ентл, с толстыми губами и всклокоченными волосами, — буквально отравлял ему существование, и скорбь отца росла, сокращая ему жизнь.

Этот музыкант играл не на скрипке и не на арфе, а на тромбоне. Ему, видно, на роду было написано играть на медном тромбоне. А так как у нас в местечке свадьбы играли два-три раза в году — в субботу после пятидесятницы, в субботу «Нахму» * и в начале месяца элул, музыкант целыми днями бездельничал, шатался по улицам...

Став женихом моей сестры, он целыми днями околачивался у нас в доме, засиживаясь до поздней ночи. И все время он только и делал, что гудел на своем тромбоне, оглушая и выводя нас из себя. Его «трели», звучавшие все громче и громче, обращали нас в бегство. Даже сестры мои, любившие слушать игру на скрипке, кларнете или флейте, разбегались, когда он начинал играть. Только человек с каменной душой и железными нервами мог спокойно смотреть на его толстые губы, надутые щеки, посиневшее лицо и красные глаза, готовые выскочить из орбит. Одна Ентл могла

это видеть, слушать и все сносить. В этом повинна была ее любовь. Толстые губы, надутые щеки, синее лицо с вытаращенными глазами, как у теленка, — все это казалось ей неотразимой красотой. Гудение тромбона звучало в ее ушах песней небесного хора — сладостной, захватывающей, радующей душу.

Каждый раз, когда мой отец замечал через окно приближение толстогубого жениха Ентл со всклокоченными волосами, с тромбоном под полой, кровь стыла у него в жилах, лицо его зеленело и желтело. Но он не убегал из дому, как мы. Он оставался и мирился со своим несчастьем, молча кляня свою судьбу. Отец был верующим евреем, благочестивым человеком, знатоком Библии, сведущим также в светских науках, обладал острым умом, был толковым человеком. Но ложная надежда сбила его с пути истины: надежда на Шимеле. При упоминании о Шимеле он становился истым фанатиком. Отец ни на минуту не переставал верить, что сын вернется к нему с чемоданами, полными золота, с мешками, набитыми червонцами и турецкими лирами, при медалях. Не проходило дня, чтобы он не осведомлялся у почтальона о письме. Ни одна колымага, ни один фаэтон, ни одна карета не могли проехать мимо, чтобы отец не выбежал взглянуть, нет ли там Шимеле, не едет ли он... Но Шимеле и не писал и не ехал. Только его портрет в турецкой феске с золотой кисточкой да портрет генерала с медалями на груди по-прежнему висели на стене. И вот на эти два портрета несчастный отец глядел с верой, упованием и надеждой. Почти вся наша мебель была уже распродана. Были распроданы деревянные, медные, серебряные и золотые вещи и даже подушки и перины. Остались только эти два портрета, одиноко висащие на стене.

6

Еврейский театр

Рыба лещ и рыба лещ
Так и плещутся, играя,
Ты любую штуку вынь,
Рыба свежая, живая...

.....
Гоцмах, милые, ослеп,
Трудно достается хлеб.

.....

Налетайте, шалуны,
На горячие блины,
Налетайте, ребяташки,
На оладушки, на пышки...

Цены знайте устно —
Дешево и вкусно.

Эти народные песни, которые вы, наверно, тоже слышали, были в те времена популярны среди всех евреев. Их слышали в каждом доме, на базаре, на улицах, в синагоге, у верстаков ремесленников, везде. Парни и девушки, стар и млад, напевали эти песенки знаменитых спектаклей: «Колдунья», «Два кунилема» * и т. п. Все евреи слышали о еврейском театре Авраама Гольдфадена.

Какое это было счастливое время! Со вздохом и тяжелым сердцем вспоминаются эти спокойные и счастливые годы. А тогда мы не ценили их, не дорожили ими.

Именно тогда очень одаренный народный поэт Авраам Гольдфаден нашел, что пришло время создать еврейский театр для своих братьев. Он извездил всю страну вдоль и поперек, и куда бы он ни приезжал, его принимали с большими почестями и благодарностью. Театр всегда был набит до отказа. Не только евреи, но и местные неевреи приходили в еврейский театр, желая узнать, что это такое. Только очень скоро театр распался на части, на крошки, на песчинки. Актеры разбежались во все стороны, каждый в отдельности собирал свою труппу. Однако эта труппа опять распадалась на более мелкие труппы, и так без конца, и к каждому шелудивому бездельнику, который мог кое-что спеть, сострить, приставали несколько парней-портных, несколько домашних слуганок, сбежавших от своих мадам, и разучивали песенку:

Налетайте, шалуны,
На горячие блины —

и т. д.

Потом они объявляли себя труппой актеров и разъезжали по всем городам и местечкам «играть театр» и петь «Налетайте, шалуны». Все они были бедняками с пустыми желудками. Едва эти несчастные люди появлялись в местечке, едва они слезали с подводы и переступали порог постоянного двора, как тут же, подобно стае голодных волков, набрасывались на еду. Даже за подводу балагуле, доставившему их на постоянный двор, вы-

нужден был платить хозяин этого двора. Кроме того, он вынужден был выкупать костюмы и декорации, которые они оставляли в залог хозяину постоянного двора другого местечка. Так второй хозяин выручал вещи, оставленные у первого, третий — оставленные у второго, а четвертый — у третьего и т. д., пока наконец голодная труппа в одну темную ночь не исчезала, никого не известив о своем новом местонахождении. И бедный хозяин постоянного двора оставался ни с чем. Но едва исчезала одна труппа, как тут же прибывала другая. И тот, кто не видел этих несчастных актеров, этих забитых, голодных, голых и оборванных субъектов, их босых ног, высохших зеленых лиц, — а среди актеров попадались порой довольно талантливые, способные, веселые люди, — тот не видел в своей жизни отчаянной бедности в ее неприглядном виде.

Первым делом эта бедная и веселая братия сводила дружбу с местными музыкантами, такими же бедняками, такими же забитыми и приниженными, как и они. Это было очень подходящее товарищество. Нет лучше друга для бедняка, чем другой бедняк, и нет таких настоящих и близких друзей, как среди бедняков. Совместно они проводили время в радости и удовольствии, хозяин постоянного двора варил им каждый день хорошие обеды, — другого выхода у него не было, — папиросы давал в долг лавочник, и труппа жила в свое удовольствие.

На всех улицах пестрели афиши: «Театр Гольдфадена». Во всех уголках только и слышно было: актеры, актрисы, театр, «Голдуния» (колдуныя), «Два кунилема», а парни и девицы распевали:

Рыба лещ и рыба линь
Так и плещутся, играя,
Ты любую штуку вынь,
Рыба свежая, живая...

7

Труппа актеров у нас в городе

В один прекрасный день влетел к нам в дом с тромбоном в руке жених сестры — толстогубый музыкант со всклокоченными волосами. Он влетел так стремительно, как будто за ним кто-то гнался, и принес нам радостную весть: труппа актеров прибыла в наш город, — четыре актера и две актрисы, — и еще вчера

ночью провела с музыкантами репетицию «Колдуньи». Не долго думая, он взял в свои толстые губы тромбон — лицо его посинело, глаза вылезли из орбит — и заиграл песни из «Колдуньи». Они проникали во все наше естество. Они доставляли нам такое большое наслаждение, приводили нас в такой восторг, что все мы окружили его и в один голос взмолились: «Дай нам билеты! Дostaнь нам билеты!» Услышав это, музыкант просиял, по его толстым губам пробежала улыбка, — вот, мол, и ему подвернулся случай что-то сделать для нашей семьи, — он тут же исчез, а через несколько часов принес нам четырнадцать билетов, которые получил у актеров бесплатно. Мы — это я, пять моих сестер: Злата, Ентл, Фрадл, Ципа, Брайндл, моя мачеха, ради театра празднично принарядившаяся, как молоденькая женщина, жених Златы со своими тремя товарищами — приказчиками в магазине, с двумя своими младшими братишками и со своей старой матерью, которой тоже на старости лет захотелось поглядеть театр; все мы — старые, молодые и дети — пошли смотреть «Колдунью».

Большой зрительный зал — это сарай хозяина постоянного двора Переца. На воротах сарая — два старых, заплатанных, прогнивших занавеса, сшитых из старых мешков. Внутри сарая, против ворот, у восточной стены, сооружена сцена из досок и чурок, по всей сцене — шерстяной занавес красного цвета, каким обычно занавешивают постель роженицы. В сарае расставлены скамьи из сбитых гвоздями досок, покоящихся на колодках. Под крышей сарая, на балке, нахохлившись, сидят несколько кур, вокруг сарая возятся озорные мальчишки, сорванцы. Они бросают камушки, сыплют песок и нападают, как собаки, на каждого прохожего. Тут же несколько солдат-инвалидов и несколько деревенских девушек; они щелкают орешки и лущат семечки, поминутно что-то выкрикивая и громко смеясь. Девушки повизгивают, солдаты передразнивают их, давая волю рукам. Вот картина театра.

Солнце садилось, и в театр повалил народ. Зрители заняли свои места. Они стояли голова к голове, опершись локтями один на плечи другого, на голову, на загривок. Каждый давил и толкал соседа то в бок, то в плечо. Они ссорились, проклинали и оскорбляли друг друга; разговаривали между собой так, что не слышать было игры музыкантов и даже тромбона, на котором играл наш жених. Повернув голову в сторону своей не-

весты и вытаращив на нее глаза, он все время глядел на нее, выдувая дикие звуки из своего инструмента. Его толстые губы и щеки надулись, приняли синий цвет и почернели, как обгорелый горшок. Мы думали, что вот-вот его хватит кондрашка. Но разве можно сравнить силу тромбона с барабаном?.. Барабанщик Мехчи разгулялся по барабану, как рыцарь на поле брани. Он с такой силой бил в тарелки, что даже пригнулся к земле. Его седой головы (Мехчи — молодой человек, но из-за какой-то истории он поседел, потому и звали его «Мехчи-паршивый») не видно, торчат только два плеча, они то поднимаются, то опускаются. Слабые нервы петухов и кур, сидящих на стропилах, не выдержали невероятного шума и галдежа. Захлопав крыльями, куры слетели на головы зрителей. Раздается взрыв хохота, будто пушка выстрелила под сводами сарая, то есть театра, поднимается крик: гу, га, га, гу... Кто знает, во что вылился бы этот шум, если бы не поднялся занавес... и не выступили...

Неужто читатель потребует у меня, чтобы я ему подробно обрисовал все детали спектакля?

Кто не слышал и не видал театра Гольдфадена? Кто не слышал его обворожительных напевов? Я и по сей день помню, что когда нам довелось впервые смотреть этот спектакль, мы пришли в такой восторг, что не знали, в каком мире находимся. Мы аплодировали как бесшестые, топали ногами, бушевали, шумели, разбрасывали камьи, и сарай, то есть театр, напоминал светопреставление. Даже спустя добрых полчаса после окончания спектакля мы продолжали орать изо всех сил: браво, бис, бис, Гоцмах, браво, Гоцмах...

8

Шимеле появляется и исчезает

Как только спектакль окончился, в сарае-театре стало немного посвободнее; публика разошлась по домам. Ушли мужья с женами, которым нужно вставать на заре, идти в мастерские на работу или на базар, покупать и продавать. Но нам, ребятам из хедера, озорникам, не так легко было оставить театр, не повидав актеров и актрис, — уж так хорошо они играли, так хорошо загримировались, перевоплотились. А главное, нам хотелось видеть слепого и горбатого скрипача, который пел:

Гоцмах, милые, ослеп,
Трудно достается хлеб.

Налетайте, шалуны,
На горячие блины.
Налетайте, вы, мальчишки,
На оладушки, на пышки.

Мы, озорники, не постеснялись вскочить на сцену и нырнуть под красный шерстяной занавес, где и увидели актеров и актрис, раздетых почти догола. Но больше всего мы были удивлены, увидев Гоцмаха, этого всеобщего любимца. Он снимал с себя верхнее платье, горб, бакенбарды, бороду...

— Видали, ребята?! — вскрикнули мы. — Ведь это Гоцмах.

— Гоцмах! Гоцмах! Гляди-ка, он снимает бороду и бакенбарды и становится похожим на облетевшее дерево. Борода и бакенбарды вовсе не его. Он, оказывается, бритый.

— Он бритый, Гоцмах! Гоцмах бритый!

— А что ты скажешь про его горб? Это вовсе не горб, это подушечка. О, Гоцмах, Гоцмах...

— Действительно, подушечка. Он надул нас!

— Ой, я лопну со смеху, глядя на него, на этого Гоцмаха. Ой, поддержите меня...

Впрочем, актеры не слышали наших реплик, не замечали нас — они были заняты дележом.

Старший из них пересчитал деньги и выдал каждому его долю.

— Что это, Шлайензен? Всего шестнадцать рублей, не больше? Все мои дурные сны на их головы! Тьфу!

— А ты что думал, Гехтнбейн? Это местечко всегда славилось своей скупостью, сгореть бы ему!

— О чем ты говоришь? Театр ведь был битком набит. Яблоку негде было упасть.

— Что вы скажете об этом мудреце, Вассеркопфе? У него очень тонкий ум, не сглазить бы! Прикидывается, будто ему неизвестно, что за билеты платил один из десяти, а остальные девять вошли бесплатно. Человек тридцать привел хозяин, человек двадцать сами вошли потихоньку, холера бы их задавила!

— Что за безобразие раздавать билеты бесплатно?! — возмутилась актриса с растрепанной головой, в незастегнутом корсете. В руке она держала парик.

— Спроси этого неудачника, Карпенкопа!

— А при чем тут я?

— Ты еще спрашиваешь, выродок! Разве не ты дал дочке хозяина — разведенке пять билетов? Что ты скалишь зубы?

— Ну, а если ты дал толстогубому тромбонисту четырнадцать билетов, разве тебя огрели за это по башке?

— А кто тебя огрел по башке? Возьми гребень и причешись.

— Пусть тебя черти причесывают!

— Что вы ссоритесь впустую? Дело прошлое. Не так уж и плохо мы заработали — по полтора рубля на человека. Кроме тех денег, что мы истратили на водку и булочки. Вот вам водка и вот булочки.

— Пейте, братишки, прямо из бутылки! За ваше здорье, и не принимайте все близко к сердцу.

— Смотрите, и Гоцмах уже присосался к бутылке, чего-чего, а водку он в одну минуту вылакает!

Перебрасываясь такими фразами, актеры вытолкнули из круга Гоцмаха с булочкой в руке. Он споткнулся и упал на нас. Мы рассмеялись и воскликнули в один голос.

— О, Гоцмах, верно, ослеп!..

Однако Гоцмах и не оглянулся на нас. Он делал свое дело: сидел на полу и уплетал булочку за обе щеки. Как видно, он не потерял аппетита, сохрани бог! Воздав должное булочке, он облокотился на колени и, подперев голову руками, молчал. Видать, о чем-то задумался. Наконец взглянул на нас своими черными с огоньком глазами, и в этом взгляде чувствовалась такая сила, что мы мгновенно притихли.

Черные с огоньком глаза и круглая голова с глянцевитыми черными, как смоль, волосами ежиком показались мне давно знакомыми. Но где я их видел? Когда? У кого?

— Слушайте, ребята, — обратился я к своим товарищам. — Могу поклясться, что Гоцмах — это Шимеле! Клянусь!

— Какой Шимеле? Ты что, спятил?

— Какой Шимеле? Мой брат Шимеле. Шимеле, который ушел на войну. Разве вы не знаете? Мой брат Шимеле, который прислал мне подарок — золотое перо.

Не успел я произнести эти слова, как Гоцмах вскочил и, оказавшись возле меня, уставился мне в лицо. Этого взгляда я, пока жив, никогда не забуду. В нем был и испуг и страдание. Но прежде чем я успел обратиться с мыслями, кинуться к моему брату, назвать его по имени, — а я уже видел, точно знал, что это мой

брат Шимеле, — его и след простыл. В эту темную ночь он исчез... и нет Шимеле!

Почему? Когда? Куда? О этом я ничего не знаю.

9

Приятная весть

Назавтра чуть свет я рассказал о Гоцмахе своей старшей сестре Злате. Злата поделилась с Ентл, Ентл с Фрадл, Фрадл с Ципой, а Ципа с Брайндл. А Брайндл была способна выболтать любую тайну. Она не удержалась и рассказала об этом нашей мачехе. Мачеха тут же кинулась в другую комнату. Там на диване возлежал отец. Он, как всегда, глядел на стену, где висели два портрета. Мачеха тут же сообщила ему приятную весть.

— Поздравляю! — воскликнула она, и в ее глазах загорелся мстительный огонек. — Поздравляю! С тебя причитается. Нашлась пропажа, твой дорогой сыночек вернулся! Поглядите-ка на него, как он вытаращил на меня глаза! Дубина! Ты слышишь, что я тебе говорю! Шимеле вернулся, нашлась твоя пропажа!

— А? Что? Кто? Шимеле? Шимеле?

Отец вскочил и, потирая руки, забегал по комнате. Он сбросил с себя халат, надел черный субботный сюртук, пригладил седые волосы, причесал бороду, поправил воротник рубашки и снова погладил бороду, словно готовясь к встрече с важной персоной.

Когда мы увидели эту душераздирающую сцену, наши сердца дрогнули, ноги подкосились, руки опустились. Холодный пот выступил у нас на лбу. Мы застыли, как каменные статуи. Даже мачеха, поняв, что она виновница случившегося, умолкла, побледнела, как стена, и застыла на месте. Придя в себя, она принялась успокаивать отца, пытаюсь объяснить ему, откуда возникла эта история. Она рассказала ему о театре, о Гоцмахе, которого я опознал. Однако до отца ее слова не доходили, казалось, эта длинная история его вовсе не касалась. Он все время расстегивал и застегивал свой сюртук.

— Вот видите, я предупреждал вас, просил, чтобы вы прибрали в доме. А вот и они сидят — Шимеле и генерал!

— Что с тобой, папа дорогой? Бог с тобой, разве ты не понимаешь, о чем идет речь?

— С чего бы это мне не понимать? Что я, глухой? Я очень хорошо слышу! Шимеле приехал. Шимеле со

своим генералом. Благодарю тебя, господи! Да прославлен будет господь мой. Ну, бегите же скорее... Внесите его вещи, чемоданы! Да присматривайте! Смотрите в оба! Они полны серебряных рублей, золотых червонцев и турецких лир. Для вас это пустяки? Славен будь господь мой, что творишь такие чудеса.

.....
.....
Черная туча опустилась на наш дом и заслонила окна. Потянулись черные дни, бессонные ночи, беспросветные месяцы. Дни — один хуже другого — сменяли друг друга. Завтрашний день казался страшнее вчерашнего.

Потянулись дни ужаса, страшных ожиданий, бедствий и страданий. Долгие, очень долгие дни. Мой несчастный отец так и не оправился от своего состояния. Так и не расстался он со своим черным субботним сюртуком, ожидая Шимеле с генералом! Не произносил ни звука, как агнец, ведомый на заклание, стоял он перед своими мучителями: врачами, праведниками, татарами, колдунами, святыми. Молча, не вскрикнув ни разу от нестерпимой боли, переносил он те адские муки, которым подвергали его эти палачи: кололи, жгли, лили холодную воду на голову, заставляли голодать, истязали... Отец не переставал дожидаться Шимеле и генерала.

И таким он остался до последних минут своей жизни, пока бог наконец не послал ему полное исцеление от мук и не прибрал его к себе из земной юдоли слез, горя и несчастья.



Печальный конец

Куда же исчез Гоцмах? Пропал, как в воду канул. На следующий день должны были еще раз ставить «Колдунью» или, как говорили наши горожане, «Голдуню». Но прокатился слух, что слепой горбатый неудачник Гоцмах ночью сбежал. И никто не знает куда. Без Гоцмаха, разумеется, спектакль не мог состояться, поэтому на вторую ночь исчезла и вся труппа, причинив этим большой убыток Перецу — хозяину постоянного двора. Он потерял из-за актеров больше двадцати рублей.

Всевозможные сказки и небылицы, которые потом разнеслись по местечку о Гоцмахе, о Шимеле и о нашей семье, не поддаются описанию. Они были бесконечны, и подробностей я уже не помню. Ну, а горя, причиненного нам сердобольными евреями местечка, этими соболезнователями, топтавшими наше человеческое достоинство, смешивавшими нас с грязью, я не хочу помнить. Пусть бог им это попомнит к добру.

Вот какой был конец веселого театра в нашем местечке, каков печальный конец моего веселого, жизнерадостного брата Шимеле!

Где ты сейчас, Шимеле? Где ты, брат мой? Куда унесли тебя волны бушующего моря? На ту сторону Атлантического океана? В новую страну? Ты опять там парень удалой? Или слоняешься голодный и продаешь спички? Или ты носильщик? А может, тебя нет и в живых, Шимеле!

Но, как бы то ни было, я должен уже с вами расстаться, мои дорогие читатели.

**РАССКАЗЫ,
НАПИСАННЫЕ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМОМ
ПО-РУССКИ**

МЕЧТАТЕЛИ

(Наброски карандашом)

Глава первая,

из которой читатель узнает сравнительно мало

В губернском городе... Но не лучше ли не называть город по имени? Ведь есть же на Руси такие города, местечки, даже села и деревни, где нашему брату еврею жить не дозволяется, почему же не допустить, чтобы ограничительная черта существовала и относительно пишущей братии, что о таком, дескать, городе писать можно, а об этаким нельзя и т. д.? Поэтому, во избежание всяких недоразумений, назовем место действия просто «одним губернским городом».

Итак, в одном губернском городе во время большой ярмарки у подъезда большого трехэтажного дома остановились извозчики санки, из которых выпрыгнул молодой человек среднего роста, крепкого сложения, необыкновенно широкий в груди и плечах, и твердыми шагами направился к парадным дверям, сильно рванув проволоку звонка.

Пока швейцару вздумается появиться на звонок посетителя, мы бросим взгляд на наружность последнего.

Старая медвежья шуба, шапка из бараньих смушек и тяжелые сапоги говорили в пользу его принадлежности к мещанскому званию, большие, мускулистые, мозолистые руки обнаруживали в нем неотъемлемые особенности ремесленника, а густые, черные, курчавые волосы и большие, темные, типичные глаза как нельзя более свидетельствовали о его семитическом происхождении.

— Дома господин губернатор? — спросил молодой человек у появившегося на пороге усача швейцара.

Швейцар бросил на посетителя уничтожающий взгляд, один из тех третирующих взглядов, которые отправляют к черту непрошеного гостя со всей нацией, представитель которой так дерзко тревожил покой ожившего привратника.

— Ты, никак, жид? — сказал швейцар и уже готов был захлопнуть дверь перед самым его носом, как вдруг отступил на два шага назад и чуть не пошатнулся, когда, к великому своему изумлению, услышал негромкий, но ровный и гордый ответ еврея:

— Я — Илья-пророк... Доложите обо мне господину губернатору.

Но прежде чем последовать за нашим причудливым героем в высокие чертоги господина губернатора, я должен рассказать благосклонному читателю, кто такой был этот странный молодой человек.

В местечке N в числе десяти тысячного населения насчитывается около двух тысяч евреев; между ними много ремесленников; между ремесленниками больше сапожников. Между сапожниками особенное внимание обращает на себя своими странностями один молодой сапожник по имени Эля, а по прозванию Тамоватый¹. Собственно, Тамоватый — его прозвище; в цеховой же управе он значится: «Эля Мееров сын Сандлер». Но добрые граждане местечка имеют обыкновение пускать в обращение вместо фамилий прозвища, которые нередко отличаются своей замысловатостью и подчас циничностью. Так, например, в записной книжке одного шадхена я случайно просмотрел таблицу, содержащую в себе всех более или менее выдающихся евреев местечка N, и должен сознаться — был повергнут в крайнее изумление от такой изобретательности и богатства прозвищ. В списке, между прочим, красовались следующие корифеи: Аврам Большой, Лейб Короткий, Хаим Черный, Берл Рыжий, Мендель Философ, Пинхус Эпикурец, Файтель Скряга, Меер Ботвина, Янкель Синий Нос, Мотя Врун, Велвл Бесстыдник, Рахмиль Кот, Шлема

¹ Придурковатый (*еврейск.*).



Индюк, Ривка Кошка, Эстер Развратница, Хава Тонкая, Гитель Пропавшая, Фейга Сиплява, Фейга Борода, Фейга-без-бороды, Хая Рогатая, Хая Свирепая, Хая Сумасшедшая, Хая Бархатная, Хая-с-петухом, Хая Бандур и т. д. Откуда берется такой неисчерпаемый источник стольких разнообразных прозвищ, я решить не берусь. По всей вероятности, они носят характер личный, местный и — отчего не допустить? — исторический. Ведь есть в истории Карл Лысый, Фридрих Барбаросса, Генрих Птицелов, Ричард Львиное Сердце, Иван Грозный и многие другие. Но не в этом суть. Возвратимся к нашему рассказу.

Эля Сандлер или, как мы его будем называть, Эля Тамоватый, в сущности, не был ни придурковат, ни глуп, а, напротив, даже поражал своим удивительно здравым

суждением, склонностью к мечтательности и непостижимым смиренномудрием. Но имя Тамоватый он нажил себе в корпорации сапожников благодаря своему кроткому нраву и еще одному весьма важному обстоятельству, а именно: Эля питал какое-то неизъяснимое отвращение ко всякого рода спиртным напиткам и при всяком удобном случае проповедовал своим братьям по ремеслу, что водка-де есть кровь сатаны, зелье ада, порождение дьявола, скорпион, стоглавый змей, Асмодей и прочее.

Читатель, вероятно, удивляется такой склонности к аскетизму в характере моего героя; но некоторые биографические подробности из его жизни должны выяснить ему причины.

Эля Тамоватый в молодости был парень очень веселый, бойкий, краснощекий и необыкновенно здоровый. Будучи еще подмастерьем, Эля однажды испытал прелести первой любви, залпом выпил чашу до дна, но тут же полатился своими боками, которые ему так поразмяли, что он должен был бежать со стыда и нашел себе убежище в местечке N, где после пережитого им такого горького разочарованья поступил на службу подмастерьем к одному сапожнику и предался размышлениям о суете мирской, весь ушедши в себя.

Быть может, при других условиях он предался бы пьянству со всем упорством своей флегматичной натуры; но на него вовремя подействовало успокоительно одно обстоятельство, направившее все его существо совершенно в противоположную сторону.

Дело в том, что его патрон, сапожник Перец Летучая Мышь (так прозвали его в местечке вследствие его наружности и юркости) был сапожник-философ. Во время работы он любил рассуждать о разных сверхъестественных явлениях и вообще о делах, касающихся религии, бессмертия души, загробной жизни, парения в небесах до вторичного рождения на свет божий и т. п. Перец по наружности действительно напоминал летучую мышь. Сам низенький, голова маленькая, лицо широкое и плоское, глазки миниатюрные, вечно движущиеся, рот широкий, зубки белые и острые, уши большие, подбородок лишенный растительности, руки непомерно длинные; прибавьте ко всему этому необычайную подвижность и юркость всей фигурки, и вы поймете, почему его прозвали летучей мышью. В самой религии, то есть в обря-

довой стороне ее, был он несколько вольнодумец, а ко вмешательству провидения в дела человеческие относился он критически, — смотря, впрочем, по обстоятельствам. Когда его мастерская была завалена работой, он говорил, что все зависит от человека, а ничуть не от бога, которому вовсе нет дела до того, имеет ли Перец работу или не имеет. Когда же работы не было и ему приходилось вместе с женою, детьми и рабочими сидеть на бобах, тогда он вздыхал, обращая свой взор ко всеблагому кормильцу, говоря, что только от того, кто заботится о пропитании могучего слона и ничтожного червячка, зависит кратковременное человеческое существование на земле.

Как все ученые, Перец Летучая Мышь любил пускаться в нескончаемые диспуты о «небесных делах» (так определял он астрономию и философию), и, хотя горячился и спорил до слез, однако он вовсе не требовал беспрекословного подчинения своему авторитету и даже бывал рад, когда ему подставляли целые баррикады глубокомысленных соображений для опрокидывания той или другой его смелой гипотезы.

Из всех подмастерьев наиболее склонным к рассуждениям и вообще участию в его философских дебатах оказался наш знакомый, Эля, так как остальные рабочие в большинстве случаев обнаруживали крайнее равнодушие и обидное безучастье к развиваемым Перцем теориям, что, разумеется, огорчало и раздражало его. «С вами рассуждать, — горячился Перец, — все равно что горохом в стену стрелять. Вам только работать и жрать; а чтобы, например, поразмыслить, откуда все это берется и куда оно уходит, так это не ваше дело: вам готовое подавай...»

То ли дело Эля.

Он не только внимательно выслушивал Перца, но даже не давал ему слишком увлечься и часто перебивал его каким-нибудь неожиданным вопросом, нередко прерывавшим главную нить разговора, что опять повергало Перца в гнев и сильную досаду.

Вот образец бесконечных словопрений Перца и Эли.

— Очень, очень может быть, чтобы дитя, например, еще в утробе матери могло все понимать, как и всякий живой человек, — рассуждает Перец как бы с самим собой, вырезывая пару подошв для сапог приходского

учителя, менявшего сапоги каждые три месяца больше из желания угождать поповской дочери, за которой ухаживал, чем из удобства для своих благородных ног, страдавших от мозолей.

— Но тогда ребенок не должен был бы родиться глухим, — возражает Эля, вколачивая гвозди в почтмейстерские полусапожки.

— Какое отношение имеет глухота к понятию ребенка? — раздраженно спрашивает Перец.

— А такое отношение, — хладнокровно отвечает Эля, рассматривая каблуки полусапожек, так как почтмейстер был большой охотник до высоких каблуков, — что если я стучу теперь молотком по каблуку, то звук, происходящий от этого постукивания, должен, я думаю, достигать до ушей ребенка.

— А если положить сапог в перину и тогда стучать сверху? — победоносно выезжает Перец, отложив одну подошву в сторону.

— Мало ли чего. А если снять луну с неба и спрятать ее в кувшин? — в свою очередь, шутливо спрашивает Эля.

— Ах, боже мой милосердный! — вспыхнул Перец. — Ты всегда что-нибудь такое скажешь, что ни разломать, ни разрезать...

— Вы напрасно сердитесь, реб Перец, — спокойно возразил ему Эля, лизнув языком отполированный каблук. — Вы лучше объясните мне, что такое луна?

Перец не без удовольствия плотнее усаживается на трехножном табурете, успокаивается совершенно, проводит ногтем большого пальца значок по краям подошвы и, ища глазами какой-то инструмент, рассуждает:

— Это уже другая статья. Дело по делам, а суд по форме. Видишь ли, при сотворении мира создатель долго раздумывал, что ему прежде сотворить: луну или солнце. Но солнце ведь дневное светило. А?

— Дневное, разумеется, дневное.

— Ну вот видишь. Сам понимаешь. Но ты, Эля, полагаешь, может быть, что звезды созданы богом одновременно с луною? Скажи, как ты думаешь?

— Я думаю, реб Перец, что это вещь невозможная, потому что, сами рассудите, ведь их тьма! Их не сочтешь даже...

— Что ж из того, что их тьма? Что Кракову до Лемберга?

— А то Кракову до Лемберга, что Краков и Лемберг, я так считаю, города, а звезды суть звезды.

— Ахти, господи отец мой! — горячится и дерет себе горло Перец. — Да что из того, что звезды?..

— Вы напрасно гневаетесь, реб Перец. Вы бы мне, кстати, объяснили, что такое звезды? Ведь вы знаете — я человек простой...

— А! — протягивает обезоруженный Перец, вытирая кулаком выступивший на лице пот. — Да ты бы прямо так и спросил, глупый парень. Этак мы с тобой до конца не дойдем. Но ты скажи мне прежде, понимаешь ли ты, отчего днем бывает день, а ночью — ночь, а? Говори!

Эля упирается своей могучей грудью в совершенно готовый каблук, наведя на него невероятный глянец.

— Да, верно, верно. Я много раз думал об этом: отчего это вдруг день, а потом вдруг делается ночь? То есть я понимаю, что солнце заходит. Но как это и каким родом то есть, — вот этого я действительно никак не придумую сам. А интересно бы знать все-таки...

— А? Интересно! То-то, друг мой любезный! — отвечает обрадованный таким оборотом Перец, глубоко-мысленно выкраивая другую пару подошв. — Взять отсюдова целый лампас, так не хватит для другой подошвы. Вырезать бы этот клинок — жаль мерку испортить... С угла тоже не годится, потому — нерезонно... А чтоб тебе весь мир так вертелся в твоих глазах, как мне голова кружится через твои проклятые башмаки. Полтинника набавить духу не хватило, свинья ты такая, а подошвы тебе режь из целого куска, чтоб тебя резало там, — тьфу... Насчет того, почему бывает день и почему ночь, я тебе объясню, Эля, как я сам до этого своим умом дошел. Ты слушай и не перебивай... Но вот как бы подошва проклятая не подкузьмила.

И узнал ли наконец Эля, почему ночь сменяет день и наоборот, — нам, признаться, неизвестно.

Но как ни разнообразно было влияние Переца Летучей Мыши на мыслительные способности Эли, последний смутно сознавал, что оно не только ничего ему не разъясняет, но даже путает его собственные мысли и производит одну только сумятицу в его голове; он готов был плюнуть на Переца и на его суемудрие и навсе-

гда остаться невежественным сапожником, но судьба решила иначе. Эля скоро нашел себе нового воспитателя в лице некоего талмудиста и мыслителя-самоучки Фишла Харифа.

Глава вторая,

*из которой читатель узнает,
как шло дальнейшее развитие моего героя*

Кто имел случай быть в N и не видал в лицо Фишла Харифа, тот терял время и расходы даром, ибо с таким редким экземпляром стоило познакомиться. Одно прозвание «Хариф» достаточно свидетельствует о высокой степени учености нашего субъекта. Кроме Талмуда и его многочисленных комментариев и толкований, в которых он чувствовал себя как бы в родном доме, где можно прогуливаться даже с закрытыми глазами, Фишл вдобавок имел солидные сведения в области философии, религии, астрономии, медицины, геометрии и проч., почерпнутые им из Талмуда же и других древнееврейских сочинений научного содержания. Вследствие своей многоточности Фишл всегда был до того рассеян, что нередко, возвращаясь из синагоги домой, он попадал либо в канцелярию станового пристава, либо в баню, и вместо своей он заезжал в чужую тарелку и мог даже напаялить на себя женин бурнус. Это, однако, не мешало ему владеть сокровищем, некогда вскружившим голову местному мировому судье, который сначала решил было на самоубийство, но потом, обыграв одного помещика в картах, раздумал и кончил тем, что купил себе беговые дрожки и отличного иноходца за триста пятьдесят рублей, с упряжью. Читатель догадывается, что дело идет о супруге Фишла... Да, читатель, вы можете похвалить эстетический вкус мирового судьи, потому что очаровательная Эстерка была так же грациозна, как и прекрасна, и так же чиста, как и мила. Но, не желая испортить безупречную репутацию благочестивой Эстерки, принесшей Фишлу в жертву за его ученую славу и свою семнадцатилетнюю молодость, и обаятельную красоту, и пятитысячный капитал, мы лучше не будем распространяться ни о ее красоте, ни о ее честности, потому что это едва ли ей пойдет впрок, так как красота богобоязненной еврейки есть только одна суета, а за чистоту

помыслов ручается ее благочестие, а главная ее добродетель — быть подальше от мирских толков. И потому возвратимся к Фишлу.

Судьбе угодно было свести моих героев — Элю и Фишла — следующим образом.

В местечко N невесть откуда приехал медоточивый маггид¹, выжимавший слезы из глаз у своих слушателей. Так как подобные проповеди произносятся преимущественно в субботу, то и ремесленный люд собрался в синагоге «послушать маггида». В толпе ремесленников можно было заметить подвижную фигурку Переца Летучей Мыши, который на этот раз держал свои глазки зажмуренными и вложил палец в нос, делая вид, что относится к проповеди знаменитого маггида критически, между тем как Перец, говоря по совести, ни одного слова не понял из этой казуистики на весьма запутанную тему из мидраша*, которая обещала быть разрешенной по окончании миров. В конце концов скучавший Перец решил-таки уйти из синагоги, более, впрочем, с видом человека разочарованного, нежели непосвященного профана, потому что на вопрос одного портного: «Зачем вы уходите, реб Перец?» — он только махнул рукой и лаконически ответил: «Знаем мы эту старую канитель!..»

Что же до Эли, то он был буквально очарован речью проповедника, глотая каждое его слово и пожирая его глазами, и хотя он также ничего не понял из того, что так энергически защищал ученый маггид, но его точно что-то пригвоздило к месту, и он впился глазами в горячившегося оратора.

Но внимание Эли было также обращено на одного молодого человека, высокого, тонкого, белобрысого, с серыми влажными глазами и очень приятным лицом. Это был Фишл Хариф, который с самого начала проповеди вскарабкался на перила кафедры, где качался во все стороны седовласый маггид. Лицо Фишла, прежде серьезное и сосредоточенное, стало мало-помалу проясняться, и на красивых устах его показалась улыбка, ироническая улыбка. И вдруг на самом, по-видимому, замысловатом месте, где оратор, казалось, готовился довершить свое здание, построенное могучей фантазией велемудрого оратора, заговорил Фишл тонким, но сильным фальцетом, ужасно жестикулируя руками и

¹ Проповедник (еврейск.).

доказывая пастве, что все это грандиозное здание построено оратором на песке и потому его доводы не выдерживают критики, и, подкрепив свой взгляд массой изречений разных ученых, Фишл разбил в пух и прах растерявшегося маггида. Последний стал было защищаться, но неугомонный Фишл победоносно, с глазами, метавшими молнии, наносил своему противнику один удар за другим, ссылаясь на Талмуд и его наиболее популярных комментаторов, называя ему даже отделы, страницы и параграфы; одним словом, разбил его наголову, так что побежденному проповеднику оставалось только положить оружие, тут же при всех назвать Фишла великим Харифом (ученым казуистом) и сойти со сцены... Шепот одобрения, пронесшийся, как электрический ток, по всей синагоге, стал мало-помалу усиливаться и возвышаться и перешел наконец в бесцеремонный шум, гам, гул и крик, что выражало восторг слушателей, обменивавшихся многозначительными возгласами: н-н-ну! Фишл Хариф! Н-н-н-ну...

Взволнованный своим успехом и растроганный одобрением и сочувствием народа, благочестивый Фишл, чтобы не дать воли своему высокомерию, матери многих пороков, еле протиснулся сквозь толпу и с опущенными долу глазами направился в боковую комнату синагоги, называемую «пулыш», желая подышать свежим воздухом и наедине предаться сладким размышлениям о своей блистательной победе. Но едва Фишл успел присесть на скамейку, как увидел перед собой дрожавшего, как в лихорадке, парня.

— Что вам нужно? Кто вы? — спросил его Фишл.

— Я... Эля, подмастерье сапожника Переца Летучей Мыши...

— Что же тебе надо от меня?

— Я слышал проповедь маггида, — сказал Эля дрожащим голосом, — и слышал также вашу речь, и хотя я ничего не понимаю, — я простой человек, — однако я все выслушал, а когда вы говорили, то мне казалось... Я сам не знаю что... Я не могу выразить... Я...

— Но ведь ты ничего не понял...

— Да, но мне так хорошо сделалось, когда вы начали спорить, и я предчувствовал, что вы выиграете. Теперь я так рад, так рад...

Фишл посмотрел на Элю и увидел на его глазах слезы.

— Хорошо, хорошо, только мне теперь некогда: я никак не могу теперь с тобою говорить. Приди сюда завтра, после утренней молитвы; тогда я свободен; тогда потолкуем.

— Но я работник, подмастерье, я не могу днем уходить с работы, — надтреснутым голосом молвил Эля.

— А! Я забыл, совсем забыл, — сказал Фишл с участием, — ну, так разве вечером, после минхе*.

— Да, да, да, вечером! — воскликнул Эля радостно и удалился.

С тех пор Фишл Хариф и Эля Тамоватый стали малопомалу сходитья и впоследствии окончательно привязались друг к другу неразрывными узами дружбы и любви. Сначала, разумеется, было не без натяжек, потому что все-таки один был ученый, а другой — сапожник. Но любознательность Эли была так велика, что заставила Фишла забыть различие, существовавшее между ними в умственном отношении: его увлекала роль учителя, которая пришлась ему как нельзя более по душе, а Эля обнаруживал бесконечное любопытство и глубочайшую жажду ко всему, что носило отпечаток науки. Метод преподавания Фишл избрал оригинальный. Так как Эля целые дни работал в мастерской Переца Летучей Мыши и бывал свободен только по вечерам, то это время употреблялось на учебные занятия, которых Фишл не систематизировал, а передавал запас своих сведений своему ученику как бог на душу положит, яснее говоря, Фишл не обучал, а развивал, образовывал молодого сапожника, передавая ему устно все, что знал, облакал свои лекции в форму рассказов, увлекательно развивая ту или другую мысль и уносясь вместе с восприимчивым и в высшей степени любознательным учеником в высшую область мышления. Он освободил Элю от элементарных мелочей, избавил его от казуистической техники, не заботился о том, достаточно ли грамотен Эля и узнает ли тот, где именно, когда и кто высказал то или другое изречение или предположение, — к чему ему это! Фишл отыскивал для него квинтэссенцию того, что знал он сам, и нельзя сказать, чтобы это преподавание было бесполезно и для самого учителя. Местом занятий служила им маленькая комнатка в квартире Фишла, и хотя это обстоятельство несколько шокировало его в глазах прекрасной Эстерки, которая не была особенно довольна тем, что ее знаменитый

хариф запанибрата с сапожником, но, привыкши смотреть на мужа с безотчетным благоговением, она и на этот раз покорилась ему и только издали наблюдала за ними, любуясь увлекательными речами мужа, конечно, на немецко-еврейском жаргоне, доступном для всякого.

Так прошло пять-шесть лет. Эля давно уже женился, сделался самостоятельным сапожником, открыл мастерскую, предварительно поссорившись с своим бывшим принципалом, Перецем Летучей Мышью, обменявшись мочеными подошвами и просто кулаками, причем в последнем обнаружилась его заячья трусость, тогда как Эля, напротив того, выказал особенную храбрость в наступательном движении, запечатлев два фонаря под глазами Переца. С тех пор их дружественные отношения прекратились совершенно и навсегда.

Почтенные обыватели местечка, хотя и знали, что Эля Тамоватый братается с известным ученым Фишлом Харифом, однако это нисколько не способствовало возвышению его умственного уровня в глазах его собратьев по вере: они приписывали эти интимные отношения между сапожником и ученым тому обстоятельству, что первый не больше как «тамоватый», — а про таких закон не писан, а второй — человек рассеянный, или, по-еврейски, — отдаленный от мира сего, которому безразлично, кто бы к нему ни привязался... Насколько это мнение ошибочно, можно было видеть из того, что Фишл целые дни и вечера проводил в мастерской Эли, беседуя с ним о таких вещах, которые приводили в ужас присутствовавших при этом подмастерьев, только глазами похлопывавших, не постигая, как это можно столько болтать черт знает о каких пустяках...

С течением времени научные беседы этих чудачков принимали все более и более широкие размеры, и по мере того увеличивался их умственный капитал, а выбор книг для чтения был самый разнообразный. Трудно определить и составить каталог тех книг, которые имелись в так называемой Старой синагоге под ведомством старого и глухого реб Лейбиша, бог весть когда и кем назначенного библиотекарем. Тут был Талмуд вавилонский и Талмуд иерусалимский, книги: мишна *, мидраш, мехильга, сифри *, Альфаси *, даже Зогар; далее, все сочинения Маймонида *, Ибн-Эзры *, Бахии, Ибн-Дауда * и многие другие; религиозная философия Саадии Гаона * и другие; сочинения Абарбанеля *, поэ-

зия всех эпох вплоть до XV—XVI веков; поддельная история Иосифа Флавия*, кабалистические и разные мистические сочинения; сочинения позднейшего времени, эпохи хасидизма и разные старые книжки с какими-то таинственными математическими исчислениями, загадочными геометрическими и географическими чертежами, бог весть когда, кем и для чего составленными. Одним словом, это была библиотека самого загадочного происхождения, и недаром реб Лейбиш никому не доверял ключа от этого хранилища, а сам выдавал требуемые книги, записывая их мелом на косяках дверей египетскими иероглифами.

Предоставляю моим читателям судить, какой сумбур стоял в мозгах моих героев от чтения без разбора всей этой груды печатной бумаги. Общими силами взялись они за отыскание своего собственного философского камня. Им, видите ли, хотелось решить следующую дилемму: когда наступит тот блаженный день, когда все народы, рассеянные по лицу земли, познают одного истинного бога, когда все люди, сколько их ни есть, подадут друг другу руки и заключат между собой братский союз, когда волк будет пастись с ягненком, тигр — с теленком, и воцарятся мир и гармония во вселенной, когда всеми народами будет править одна сила правды, мира, веры и любви и т. д. и т. д., как это столь часто говорилось священными устами вещей пророков и одновременно толковалось в Талмуде и позднейших сочинениях древнееврейской литературы.

Идиллическая картина, нарисованная в воображении этих юношей, была действительно прекрасна, величественна и поражала смелостью своих красок, своей дивной гармонией и вечной правдою.

Летом, бывало, увлекшись теплой беседой, сами того не замечая, забредут в лес, расположатся под густолиственным деревом на мягкой, пахучей траве, вперят свои взоры в лазоревую высь, всецело предавшись сладкому мечтанию вслух. И чудится им мир, прелестный мир, где все живет вечно, не умирая, где все зреет, не увядая, где все стремится вперед, смело, неотступно, где все наслаждается не теми наслаждениями, которые только опошляют наше существо, а высокими, чистыми, душевными наслаждениями, более достойными человеческого призвания. Вера, правда, любовь, братство — вот в чем состояло созерцание этих чудаков, — это был

именно тот идеал, который создал высокий полет их разыгравшейся фантазии, не ограниченный и не стесненный безотрадным знанием суровых фактов древней и новой истории человечества.

Глава третья,

из которой читатель узнает некоторые неожиданности

В одно прекрасное — именно прекрасное — утро Фишл ворвался в мастерскую Эли и, схватив его за руку, потащил за собой на двор.

— Куда ты меня тащишь? — взмолился Эля.

— Пойдем, пойдем туда! Я должен сообщить тебе кое-что очень важное, пойдем!

Напрасно умолял его Эля обождать хоть полчаса, пока он не распорядится работою на целый день; напрасно доказывал он ему, что, кроме философии, ему надо заботиться также и о куске хлеба для себя и для семейства своего.

— Эх, что семейство, — возразил Фишл, увлекая Элю все дальше и дальше. — До семейства ли нам теперь? Подумай, Эля, об одном... Но нет. Там я тебе все скажу... Идем!

Через полчаса юноши были уже в лесу. Утро было великолепное. Солнце приветливо заглянуло в зеленую листву и только начало обливаться ее своими яркими, теплыми лучами. Соловей запел свою чудную песнь, щедро рассыпав по лесу свои неподражаемые трели; он, казалось, упивался своей неограниченной свободой. Из-под куста осторожно выскочил заяц, постоял, повертел мордочкой туда-сюда, точно кумушка, на минуточку выбежавшая из дому поглядеть на проходящих мимо молодцов и кстати себя показать, — но через минуту быстро повернул налево кругом — и марш-марш. Там издали зеленели поля, бесконечные и необъятные, как мир. Стая диких гусей правильными рядами пронеслась высоко над их головами, скользя, словно лодка по гладкой зеркальной поверхности реки, качаясь то в одну, то в другую сторону. Славный, чудесный выдался день.

— Помнишь ли ты, Эля, одиннадцатую главу Исайи? Я ее тебе часто читал, — обратился Фишл к Эле, вынув из кармана маленький томик Ветхого завета,

отыскал одиннадцатую главу Исаяи и начал читать ее нараспев, переводя каждую фразу на жаргон, вдохновенно жестикулируя и качаясь, как маятник, то в одну, то в другую сторону, постепенно возвышая интонацию.

— Ну так что ж? — спросил Эля, когда Фишл кончил свою декламацию.

— Так я полагаю, что уже настало это время, — ответил Фишл торжественно.

Эля сделал большие глаза.

— То есть как это? Мессианское время? *

— Ну да: мессианское, — заключил Фишл, и в глазах его запылал огонь, какой Эля заметил в них тогда, когда Фишл победил знаменитого маггида.

Эля удивился несказанно; он долго не мог говорить; наконец решился спросить:

— Разве счет кончился?.. *

— Кончился, — тихо ответил Фишл и вздохнул свободней, передав товарищу все, что носил в душе несколько дней сряду.

— Ты высчитал? — спросил Эля взволнованно.

— Нечего считать, — ответил ему Фишл. — Что раз высчитано богом, того человек не сочтет. Он не считает. Для него не существует ни математических вычислений, ни времени. Он вне времени и пространства. Я тебе, кажется, не раз говорил и в книгах показывал тебе. Талмуд, рассуждая о пришествии мессии, тоже нигде не определяет ни места, ни времени. Тогда придет мессия, говорится в Талмуде, когда человеческий род в известную эпоху будет состоять или из одних праведников, или же из одних только грешников. Сомневаешься ли ты, Эля, что теперь гораздо больше бесчестных, чем честных людей?

— Ну, положим...

— Положим? Еще в другом месте сказано, что возрастание дерзости есть признак приближения мессианского времени...

— Так, так, понимаю! — воскликнул Эля, прояснившись. — Уж как дерзко и нахально нынче с нашим братом евреем обходятся, что и говорить.

— Да мало ли еще какие я имею доводы, — продолжал рассуждать Фишл, — всех не сочтешь, да и нечего считать-то: я в этом так же убежден, как и в том, что вот это земля, а вот это небо. — Он указал глазами на землю и на небо, опять открыл книгу и повторил стих: —

«И вырастет ветка из ствола Ишай», то есть дома Давидова. Вникни, Эля, в смысл этих слов.

Эля задумался, потом спросил:

— Что же, однако, из этого видно?

— А то, — молвил Фишл торжественно, — что тот человек (из ствола Ишай) стоит теперь пред твоими глазами...

Остолбенел Эля и потерялся окончательно. Одну минуту в его голове пронеслась мысль: «Не рехнулся ли Фишл?» Но он слишком благоговел пред своим ученым товарищем, которому, по мнению Эли, не было равного в целом мире и в котором он давно подозревал нечто гигантское, неземное, пророческое...

— Что ты смотришь на меня такими глазами? — сказал Фишл и приблизился к отступившему на два шага Эле. — Ты удивляешься?..

— Ты... мессия?! — мог только произнести Эля и задрожал всем телом.

— Да, — сказал Фишл гордо. — Я мессия... Я призван для того, чтобы снять с моего народа тяжелые оковы, которые наложили на него злые люди...

— Но ведь мессия должен быть из царственного дома Давида, — осмелился прервать его Эля.

— Как же ты можешь знать, что я не из этой династии? — сказал Фишл обиженно. — Метрику, ревизскую сказку *, что ли, тебе представить?

— Я против этого не спору, — поспешил Эля оправдаться. — Только мессия все-таки...

— Что мессия? Что все-таки? — огрызнулся Фишл. — Тебе чудеса нужны? Не тысячу ли раз я доказывал тебе, из книг тебе подтверждал, что мессия должен быть обыкновенным человеком, а вовсе не ангелом без плоти и крови! Только дух, действительно дух должен быть у него возвышенный, необыкновенный, который обнаружится в нем тогда, когда осенит его дух господний, как вещал о том боговдохновенный Исайя. Ну, понимаешь ли ты теперь? Эх, простота, простота. Тебе чудеса, сверхъестественность нужны. Забыл ты разве, что говорит об этом Маймонид? Он положительно отрицает то мнение, которого придерживается невежественное большинство наших евреев, будто пришествие мессии должно сопровождаться какими-то чудесами и сверхъестественными явлениями, что приехать он должен на белом осле, что земля палестинская будет производить гото-

вые платья из шелка, и прочее и прочее. О амгарацем¹, невежды, ханжи, фарисеи и прочий эреврав². Вы задерживаете, вы продолжаете голес³, вы...

Фишл все более и более воспламенялся и приходил в экстаз. Эля не на шутку перепугался.

— Извини меня, пожалуйста, — взмолился Эля, — я, право, не из тех; я хоть и не бог весть какой ученый, но я верю, всему верю... Я даже рад, что так случилось, что настал конец, право, рад. Только меня это смущает, что... ведь я, если сказать правду, не больше, как бал-мелохе — ремесленник, простой, то есть сапожник, а ты... ты сам мессия!..

— В том-то и дело, что ты, по скромности своей, считаешь себя ничтожеством, между тем как по-настоящему тебе следовало бы гордиться твоим завидным положением.

Эля смотрел на него во все глаза. Фишл опять раскрыл Ветхий завет, отыскал третью главу пророка Малахии и велел ему прочесть и перевести на жаргон двадцать третий стих. Эля громко читал: «Се я посылаю вам Илью-пророка пред наступлением дня божия великого и грозного».

Фишл спрятал томик Священного писания в карман, устремил на Элю испытующий взор и промолвил:

— Ну, что ты теперь скажешь, милый друг?

Мозги Эли сильно работали над этим вопросом. Его нервы и без того были ужасно напряжены. Что ему было сказать? Чудеса, да и только! Сказано — мессианское время. А впрочем. Нет...

— Что так долго думаешь? — накинулся на него нетерпеливый Фишл. — Не прикажешь ли разжевывать тебе каждое слово и в рот тебе класть? Как тебя зовут?

— Меня?.. Эля.

— Нет! По-древнееврейски?

— По-древнееврейски? Илья...

— Ну, теперь понял?

Друзья бросились друг другу в объятия.

Между ними тогда только завязалась горячая беседа.

О чем говорили они?

¹ Неучи (*еврейск.*).

² Полчища неверных (*еврейск.*).

³ Изгнание (*еврейск.*).

Спросите небо, землю, лес и птиц.

Когда они выходили из лесу, то солнца уже не было, и чудная ночь, сгущаясь, стала надвигаться, как туча окутывая землю своею мглой и высыпая на небе одну за другою свои брильянтовые звезды.

В застывшем воздухе сильно пахнуло сыростью, пронизавшей наших юных мечтателей, которые возвратились домой уже поздно вечером, один — мессией, а другой — Ильей-пророком...

Глава четвертая,

из которой читатель узнает начало и конец рассказа

Тяжелое время — время бедствий и испытаний настало для наших героев-самозванцев.

Фишла, как и следовало ожидать, приняли за сумасшедшего, и даже не особенно удивлялись этому, так как и раньше некоторые близкие ему люди считали его маньяком, судя по его рассеянности и странностям. Но прежде говаривали, что у него «открытые мозги»*. Теперь же не подлежало сомнению, что несчастный Фишл свихнулся, так как с пришествием настоящего мессии воздух должен наполниться трубными звуками — «бекойл-шойфор», кости покойников должны совершить подземное путешествие в Святую землю («гилгул ац-мойс»), мертвые должны воскреснуть («тхияс-гаем-сим») и еще многое другое. А тут какой-то хариф все-народно объявляет себя мессией, богомазанным спасителем евреев. Так-то мы тебе, братец, на слово и поверим? Как же-с! Держи карман... Напрасно сражался с ними Фишл, ораторствуя, показывая им массу изречений Священного писания и Талмуда, в иступлении цитируя им вещей пророков, называя своих протестантов и фарисеями, и амгарацами, и невеждами, и бог весть чем. Собравшаяся толпа евреев только головами покачивала, соболезнуя рыдавшей от горя Эстерке, а еврейки помогали ей плакать навзрыд.

«Несчастливая Эстерка, — говорили они, захлебываясь слезами, — бедная Эстерка. Ее муж, ее хариф, золотая голова, ученый Фишл — тронулся...»

Через несколько часов Фишла, несмотря на все его протесты, насильно снарядили в путь-дорогу. На двор

подкатила светло-серая буда реб Лейзера, прочная и просторная, с перетянутыми грубым холстом обручами, со множеством бубенчиков и других металлических побрякушек, производивших оглушительный шум во время прыганья буды по ухабистой мостовой, и, наконец, с тремя тощими, мохнатыми клячами, с величайшим нетерпением дожидавшимися, пока их выпрягут и подсыпят им малую толику душистого овса. Уже реб Лейзер вскарабкался на высочайшие козлы, нахлобучил на голову, несмотря на летнюю пору, баранью шапку и принялся выжидать своих «паршейндлах», то есть пассажиров, высчитывая по пальцам, сколько пойдет на сено, сколько на овес, сколько на собственный корм и сколько останется ему чистого капитала от этого рейса. Он, по-видимому, остался недоволен балансом, потому что угрюмо повернул своими свинными глазами, сплюнул в сторону и стегнул совершенно неповинную пристяжную, которая только что собиралась вздремнуть маленько.

Наконец вынесли на руках бившегося и метавшегося Фишла, положили его со связанными назад руками в буде на подушки. За ним полез туда же здоровенный парень, в качестве усмирителя умалишенного, и плотно уселся у Фишла на ногах. За ним села рыдавшая Эстерка, закутанная множеством зимних и летних платков, предварительно расцеловавшись со всеми сердобольными бабами, из которых одна так впилась ей в губы, что подумали: «Не собирается ли она проглотить несчастную Эстерку?..» Мужчины, более набожные, стали благословлять путников, а женщины в сотый раз, кланяясь, кричали: «Форт гезунд»¹. И бог весть сколько это могло бы продолжаться, если бы к толпе не подошел Эля Тамоватый. Успокоившийся Фишл, выбившись из сил, лежал поперек буды с устремленным вдаль взором. Заметив приближавшегося Элю, он собрался с последними силами, рванулся к отверстию, служившему для пассажиров окном, и отчаянным голосом произнес:

— Прощай, Эля! Прощай, друг мой! Не унывай, брат, что видишь меня в таком положении. Это ничего; это необходимое испытание, ниспосланное мне свыше. Не теряй веры. Еще немножко пострадаем за него. Но скоро-скоро настанет его грозный час... Тебе дадут знать, Эля, или я сам приду. Эти железные оковы, которые ты

¹ Счастливого пути (*еврейск.*).

видишь на мне, что они значат против одного его слова? Эля, не теряй веры. Жди меня. Ты мой посланец. Ты возведишь Иакову великий час свободы... Ты...

Толпа была потрясена этим торжественным воззванием лжемессии, подействовавшим на нее зажигающим образом, и никто не решался прервать его речь. Но один старичок накинулся на толпу, упрекая ее в богохульстве, ибо никто не препятствует умалишенному произносить имя господне всуе. Толпа гикнула на реб Лейзера, что пора, мол, тронуть. Реб Лейзер еще сильнее нахлобучил шапку, втянул в нос солидную порцию табаку, потянул вожжи, стегнул лошадей; с криками: «Вью, вью», — экипаж тронулся и с быстротою черепашого бега скрылся в густой трехсаженной пыли.

Мое слабое перо не берется описать, что перенес Фишл в продолжение семи месяцев мыканья по разным цадикам, знахарям и другим шарлатанам доморощенной медицины. С непостижимым терпением переносил он всевозможные пытки, душевные и физические, не теряя надежды, что настанет время, когда люди образумятся и единогласно признают его настоящим мессией.

В не менее критическом положении находился и Эля. Его грызло сомнение в действительности своего и Фишла призвания. «Если, — рассуждал он, — мессия явился в лице Фишла, то неужели он не мог бы освободиться от власти каких-нибудь невежественных упрямец? За него должен был бы заступиться сам бог». На все вопросы любопытных, пожелавших узнать подробности происшествия с Харифом, Эля оставался нем как рыба. Он уже начал терять веру в высокое назначение Фишла, а тем более в свою священную миссию. «Какой я Илья-пророк, — думал Эля и терзал себя мысленно. — Дурак я — вот что! Надо мной подшутила судьба, а я, простофиля, зазнался. Знай сверчок свой шесток...»

Местечко N спало крепким сном. На дворе стояла зимняя январская ночь! Небо вызвездилось и сыпало изумрудом по хрустевшему снегу. Мороз налегал на землю, леденя воду и расписывая причудливые узоры на окнах домов. Нигде не видно было огня. Только в избе сапожника светилось. Над раскрытой Библией сидел Эля, но взор его не был устремлен в книгу, а блуждал в пространстве, а мысли его еще дальше. В нем

происходила реакция. Трудно отрешиться разом от того, во что прежде верил глубоко, искренне...

Эле вдруг почудилось, что к нему стучатся в дверь. Он стал прислушиваться: точно. «Кто бы мог быть этот поздний посетитель?» — подумал Эля и направился к двери. Пред ним предстал человек в жалкой шинелишке, в калошах на босу ногу и с теплым платком на голове вместо шапки. Он постоял с минуту и бросился к Эле на шею.

То был Фишл Хариф...

Первые слова, которыми он встретил своего друга, были: «Будь ты проклинаем, а не проклинающим», — сказано в Талмуде. «Будь ты из тех, которые преследуются, а не из преследующих. Кто смиренно принимает обиду, кто делает добро из любви, кто утешает себя в горе — все эти друзья бога, и о них говорит Писание, что они будут блистать подобно солнцу в его блеске...»

Незаметно прошла для них ночь в бурной беседе о пережитых страданиях и приветливо улыбающейся будущности.

Когда наступило утро, Эля собрался в путь.

Вот план, обдуманый ими для начала своих действий.

Так как в губернском городе, где произошло описываемое мною событие, предстояла большая ярмарка, на которую обыкновенно съезжается масса евреев со всех мест их оседлости*, то сюда и откомандировал Фишл своего адъюнкта для распространения мессианства, а сам спрятался от своих преследователей в доме Эли, дожидаясь его возвращения оттуда с вестями, какое впечатление произвело на их единоверцев радостное известие о пришествии мессии... И таким образом мы приблизились к самому началу рассказа, к тому моменту, когда Эля стоял визави с грозным швейцаром г-на губернатора.

Добился ли Эля свидания с губернатором и успел ли он убедить начальника губернии в том, что пришло мессианское время, — неизвестно. Только об одном последствии этого шага Эли мы умолчать не должны: Фишл опять очутился в доме «нищих духом».

Фишл Хариф пробыл две недели в доме умалишенных и умер. Не выдержала его хилая натура столько

физических и душевных испытаний.. Это было невообразимым ударом для Эли, которого через несколько дней после смерти Фишла нашли в сарае повесившимся. Его жену и двоих детей приютил у себя бывший принципал и учитель, а впоследствии конкурент покойника — реб Перец Летучая Мышь, который, как говорят, сделался еще более склонным к мечтательности, а в последнее время стал впадать в мистицизм.

ТИПЫ «МАЛОЙ БИРЖИ»

«СТО ТЫСЯЧ»

I

«В настоящее время благодаря спросу на наши фонды за границей рубли значительно повысились в цене, вследствие чего на так называемой «малой бирже» замечается давно небывалое оживление. Называют имена наживших порядочные деньги. Особенно много говорят о некоем N, который в течение трех-четырех дней выиграл на разнице в курсе не больше и не меньше, как сто тысяч рублей. Таким образом, по воле слепой фортуны вчерашний биржевой заяц, легши бедняком, сегодня проснулся Крезом...»

Эта краткая заметка, извлеченная нами из одной черноморской газеты, в свое время произвела в городе Черноморске большой фурор и глубокую сенсацию. Не было дома, где бы в тот день не говорилось о стотысячном выигрыше; не было человека, который не интересовался бы счастливым избранником судьбы: кто он такой? Откуда? Некоторые даже искали случая познакомиться с ним поближе; добрые люди намеревались служить ему своими практическими советами, каким образом надлежит ему распорядиться капиталом, дабы он был употреблен с пользою и для него самого, и для общества. «Подумайте, ведь это сто тысяч, черт побери...» Одним словом, какой-то никому не ведомый господин N вдруг становится героем дня, волнует умы и сердца честных обывателей, между тем как сам герой...

Здесь автор чувствует необходимость прервать нить своего рассказа в самом начале для того, чтобы почтительнейше представить нашего героя просвещенному вниманию благосклонного читателя.

Итак, «наш герой» был низенький, толстенький, с чрезвычайно подвижным лицом, уже не молодой, холостяк, лет сорока или пятидесяти, смотря по обстоятельствам: если дела его шли хорошо, он становился на десять лет моложе; при неудачах же он не казался уже таким молодцом, хотя живости лица не терял никогда, а на устах его всегда играла жизнерадостная улыбка. К чести его характера надо сказать, что, несмотря на многочисленные разочарования, испытанные им в жизни, несмотря на все удары, которые наносила ему много раз коварная судьба своей беспощадной рукой, он сумел сохранить полное равновесие духа, никогда не впадая в совершенное отчаяние и ни на минуту не теряя надежды и веры в свою счастливую звезду. Волею судеб и своими когда-то многосложными деловыми операциями занесенный в Черноморск, где и застрял, наш герой испробовал все средства скорого обогащения, которых, кстати сказать, в этом городе немало, и в конце концов должен был отдать пальму первенства истинному «золотому руну», которое называется здесь «малой биржей» и которое привлекает к себе всякий раз все новых аргонатов. Сначала он, разумеется, как игрок-любитель, только наблюдал, как играют другие, любясь этой в высшей степени забавной игрой, которая заключается будто бы в купле и продаже мифического «Лондона», то есть реально не существующих английских фунтов стерлингов, и которая, в сущности, есть самая азартная и бессмысленная игра, может быть, с меньшими шансами, чем знаменитая рулетка в Монте-Карло. Нет ничего удивительного в том, что наш герой, видя, как другие иногда случайно наживаются, позволяя себе от времени до времени рисковать некоторыми суммами, и не его вина, конечно, что «Берлин» чаще всего шел наперекор его мнениям относительно устойчивости или неустойчивости нашей валюты. Подобные попытки, правда, обходились ему не совсем дешево. Они доводили его постепенно до разорения; но наш герой, по свойственному ему оптимизму, объяснял свои неудачи чисто случайными препятствиями.

Таким образом он продолжал столь заманчивую и соблазнительную игру до тех самых пор, пока он, в одно прекрасное для всего человечества и вовсе не прекрасное для него утро, не убедился воочию, что последний рубль, который еще болтался в его кармане, вдруг «взял да улетел», подобно птичке из рук несчастного охотника, оставив своего обладателя в таком недоумении и в таком дурацком положении, которого нельзя пожелать даже самому отъявленному глупцу в мире.

Весьма возможно, что другой на месте нашего героя после столь блестящих успехов в биржевой игре впал бы в самое глубокое уныние и, «по зрелом обсуждении вопроса», бросился бы, как это принято в богоспасаемом граде Черноморске, со Строгановского моста вниз головою, или, если это человек со смекалкой, плюнул бы и на биржевую игру, и на «Берлин», и на «Лондон», и зажил бы чем бог послал. Но не таков был наш герой. Скрестив на груди руки и вытянувшись, с откинутой назад головой и с закрытыми глазами, на старом истрепанном диване, он в таком трагическом положении просидел около получаса времени, надо полагать, в самом глубоком раздумье, потом вдруг вскочил на ноги и стал шагать взад и вперед по своей убогой комнатке с быстротою человека, которого осенила гениальная мысль, откровение свыше. Однако такое шагание, насколько нам известно из практики, не может привести человека ни к каким положительным результатам, если бы оно продолжалось даже целую вечность, и потому, захватив с собою палку — свою неизменную спутницу, наш герой со всех ног пустился бежать. Неизвестно, имел ли он какое-либо преднамерение, или ноги, в силу привычки, сами понесли его, но он очутился, как и всегда, на «малой бирже» среди тех же дельцов, что и всегда, и первым его вопросом было, как и всегда: «Каково положение?»

«Положение» оказалось, однако же, настолько обостренным, что могло внушить истинным жрецам биржи и страх и надежду. Выражаясь языком «малой биржи», в воздухе отдавало «слабостью», то есть можно было предвидеть падение золота, иностранной валюты. Эта весть точно кипятком обдала нашего героя, который, надо отдать ему справедливость, уже несколько лет подряд предсказывал всем и каждому неминуемое понижение заграничных ценностей, и, следовательно, всякий,

кому жизнь мила, должен был идти на повышение нашего рубля. Если же его предсказание немножко опоздало, то не надо забывать, что пророков нынче везде очень мало.

Однако, что прикажете делать с одним только «предсказанием», хотя бы и драгоценным, простите за откровенность, без копейки денег в кармане?

«Денег бы теперь побольше, денег!» — вот что думал наш герой, роясь во всех карманах, и, разумеется, напрасно.

II

Итак, нашему герою предстояло быть свидетелем того, что люди будут загребать золото лопатами, а он...

«Нет, этому не бывать!» — воскликнул он в сердцах, и сейчас же ему пришла счастливая мысль обратиться к кому-нибудь из так называемых на бирже *privatiers*, то есть вольнопрактикующих или «временных» дельцов, надеясь убедить их в том, что если они действительно желают себе добра, в чем он несколько не сомневается, то должны именно сегодня начать игру заодно с ним таким образом, что они вкладывают в общее дело свои деньги, а он — свой ум. Но этот проект, несмотря на несомненную выгоду, которую он равномерно сулил обеим заинтересованным сторонам, почему-то был встречен многозначительными улыбками со стороны вольнопрактикующих биржевиков и самым безжалостным образом отклонен ими на том-де основании, будто они уже знают цену всем этим предсказаниям разных молодцов, потерявших все свои капиталы и оставшихся при одном только уме.

Потерпев фиаско среди своих, наш герой бросился к чужим. Вспомнив, может быть совершенно случайно, по какой-то ассоциации идей, что хозяин занимаемой им квартиры — купец очень богатый и человек весьма почтенный, наш неунывающий герой испросил у него аудиенции «по весьма важному делу». Это был действительно почтенный человек, с бороδοю патриарха и вообще внушительной наружности. Пригласив своего гостя сесть, хозяин приготовился выслушать «важное дело». Но гость, вместо того чтобы прямо приступить к делу, под-

нялся со своего стула, запер дверь на ключ и, осведомившись предварительно о том, что их никто не слышит, обратился к хозяину со следующей краткой речью:

— Извините меня, почтеннейший, за нескромный вопрос, который я намерен предложить вам сейчас. Но вы, если я не ошибаюсь, немножко озадачены, даже как будто перепуганы.

— Ничего, ничего, — отвечал хозяин, действительно озадаченный и напуганный странным поведением своего квартиранта. — Говорите, я рад вас выслушать, даже очень рад.

— В таком случае, скажите мне по совести, вы ведь, говорят, богатый человек. То есть я хотел бы знать, сколько у вас, например, денег?

— Денег?

— Да, денег. Пожалуйста, не стесняйтесь.

Такой неожиданный оборот речи, весьма натурально, мог уже не на шутку напугать почтенного купца, который бросил безнадежный взгляд за запертую дверь и поспешил ответить:

— Денег? Кто вам сказал, будто у меня есть деньги, горе у меня есть, вот что, дом с банковым долгом, если хотите знать. Да-с.

— То-то, почтеннейший. А между тем стоит вам только захотеть — и у вас их пропасть — пятьдесят тысяч, сто тысяч! Смотрите, вот, вот они перед вашими глазами!

Успокоившись несколько от напрасной тревоги, почтенный купец, вытирая пот с лица, изо всех глаз смотрел впереди себя, но никаких денег не видал. Он видел лишь пылавшее лицо своего собеседника, которого, признаться, он принял за полупомешанного или, пожалуй, и за окончательно помешанного, а потому счел благо-разумным ничего ему не возражать. Мнение почтенного патриарха было истолковано нашим героем в наиболее благоприятном смысле, а потому он принялся с еще большим жаром описывать перед ним все те блага, которые ожидали всякого благомыслящего человека в тот именно момент, когда... и т. д. Каково же было его удивление, когда почтенный хозяин, узнав наконец, что речь идет о «Лондоне», «Берлине» и «малой бирже», разразился таким неистовым смехом, что казалось, точно сам сатана поселился в его горле.

— Нельзя ли узнать, почтеннейший, причину вашего столь веселого расположения духа и что именно так расшемило вас? — спросил гость.

— Вы еще спрашиваете? — отвечал хозяин, чуть ли не задыхаясь от нового приступа смеха. — Ха-ха-ха. Биржа? «Лондон»? Нет, увольте. Ха-ха-ха. Я стар, но, слава богу, еще в здравом уме. Ха-ха-ха!

Подобный инцидент мог огорошить хоть кого, но не нашего многотерпеливого героя, который, не падая духом, принялся убеждать своего собеседника с удвоенной силой, доказав ему как дважды два — четыре, что теперь самый благоприятный момент для того, чтобы сразу сорвать куш, и тогда — прощай биржа! Что же? Разве он виноват в том, что до сих пор все не было благоприятного момента, курсы все колебались, то вверх, то вниз, вытянув таким образом из него все жилы, высосав все соки, все, как есть? И неужели теперь, когда он может в один день все с лихвой вернуть, не найдется ни одной доброй души, которая пожалеет человека, когда-то, быть может, не раз выручавшего брата из беды?..

Неизвестно, лицо ли нашего героя было настолько жалко в эту минуту, или в его словах чувствовалась святая правда, но почтенный купец подумал: «Отчего бы в самом деле не испробовать счастья и мне на старости лет? Двести — триста рублей не ахти какая сумма, да и человека жаль».

— Ладно, — сказал хозяин, — даю вам триста целковых. Только не забудьте условия: весь выигрыш пополам.

— Пополам, почтеннейший, пополам, клянусь вам честью. До свидания, я ведь могу опоздать...

III

Кондитерское заведение и кофейня, что на Е-ской улице в Черноморске, там, где обыкновенно собирается большинство деятелей «малой биржи» и где, собственно, и совершаются все биржевые операции, давно уж не запомнит такого волнения среди своих вечно возбужденных посетителей, как в тот день, когда в местной печати появилась сенсационная заметка, приведенная в самом начале нашего невывмышленного рассказа.

Еще с самого утра можно было заметить необыкновенное движение среди маклеров и дельцов всех рангов, сновавших взад и вперед по широким тротуарам широкой улицы, горячо между собой разговаривая, ужасно жестикулируя и с беспокойством оглядываясь на городского стража, поставленного для соблюдения порядка в этом беспокойном месте.

Все находились в крайне нервном возбуждении. У всех на языке вертелись одни и те же отрывистые фразы, совершенно для непосвященного непонятные, вроде, например, следующих: «Десять тысяч фунтов с моим гох'ом (hoch'ом)... послушаем, что скажет Петербург... угостили Тработти котлетою на ультимо (ultimo)... Сделать со стеллажа два бесса... Перевернулся а-ля гаусс (a la Hausse)...» — и тому подобное. Все были заняты одной мыслью: чем кончится эта жестокая борьба между повышателями и понижателями, которая ведется вот уже четвертый день, и какая партия возьмет верх? Здесь, как и там, в высших биржевых сферах, мнения разделились: одни стояли горой за наш рубль, другие, напротив того, предсказывали скорое наступление неминуемого кризиса. Но наиболее ярого сторонника и защитника своих интересов наша русская валюта нашла в лице нашего героя, который в течение трех дней с честью и храбростью истинного воина выдержал натиск неприятеля и вышел из побоища увенчанным славой победителя, к удивлению и зависти всех тех, которые раньше никак не подозревали в нем обширных талантов. Никого поэтому не должно удивлять, что наш герой сделался предметом внимания и самой трогательной заботливости со стороны своих соратников, относившихся раньше к нему с явным пренебрежением. Один очень крупный и очень дельный представитель банкирского дома даже нашел возможным поделиться с ним взглядами на биржу вообще и на нынешнее состояние денежного рынка в особенности...

В описываемый нами достопримечательный день мы застаем нашего героя, словно отдыхающим на лаврах победы, в отличном мебелированном номере одной из первоклассных гостиниц города. На нем — шелковый халат, вышитые золотом сафьяновые туфли и бархатная ермолка, кокетливо надвинутая набекрень. На покрытом белоснежной скатертью столе, возле которого весело шипит самовар, в поэтическом беспорядке нагромождены

разные предметы, завернутые в бумагу и распространяющие довольно приятный запах гастрономических припасов и консервов, из которых грациозно выглядывает обнаженное горлышко бутылки с благородным напитком. Сам же счастливый обитатель этого маленького рая сидит у изящного письменного стола и с лихорадочной быстротой строчит письмо, которое мы позволяем себе передать здесь с буквальной точностью.

IV

Вот что писал наш герой в письме к своим родным:

«Вчера я уже писал вам, мои дорогие, что дела мои поправились настолько, что плюю на весь мир. Сегодня же могу вам сообщить, что в здешних газетах пропечатали про меня, что я выиграл на бирже сразу сто тысяч, и хотя это вранье, но не совсем далеко от правды тоже, потому что если только «Берлин» захочет поддержать меня сегодня и завтра, как вчера и третьего дня, то, с божьей помощью, будет и сто тысяч и более. Хотелось бы мне показать всем здешним фанабериям, что они таки ни черта не смыслят в этих делах. Со мною даже один банкир советовался в делах, и я его убедил, что это дело надо понимать. Но что об них толковать? Лучше потолкуем о вас, мои друзья. Как живете-можете? Получили ли вы денежки, которые я вам выслал? Приезжайте ко мне, все равно бобылем живу. Об этом вспомнил сегодня один сват, пришедший ко мне с предложением самой блестящей партии. Говорит: красавица девушка из очень знатного дома здешней высшей аристократии. Но я его прогнал: какой же я жених для молодой девушки! А вот когда у меня будет миллион, тогда подумаем. Так я ему и сказал, честное слово! И не думайте, что я шучу. Я верю в свое счастье, у меня будет миллион. Раз я себе дал слово, так быть по сему. А я, как вам известно, умею сдерживать свое слово. Ах, как бы мне хотелось теперь обнять вас, мои милые, да продлит господь бог ваши лета. Еще я забыл вам сообщить, что...»

В этом месте письмо нашего героя прерывается, и биограф его с сокрушением сердца констатирует тот печальный факт, что никогда это письмо не было уже



окончено и даже не отправлено по назначению вследствие нижеописанных причин.

В то время, когда наш герой заканчивал при такой счастливой обстановке свое любвеобильное послание, к нему в номер постучались, и, не ожидая его приглашения войти, ворвался какой-то высокий, но тонкий господин с длинной вытянутой шеей, которую он старался вытягивать еще больше, для чего и носил высокий стоячий воротник.

— Ну что? — сказал высокий, но тонкий господин, не то смеясь, не то плача. — Что я вам сказал?

— А что вы мне сказали? — спросил наш герой.

— Неужели вы забыли? А вот теперь будете знать, когда капут.

— Что капут? Кто капут? — удивленно спросил наш герой, выпустив перо из рук и встав на ноги.

— Все капут, — ответил тот, — и вы, и я, и все решительно, все. Пожар, потом светопреставление, прости господа.

— Да что же, что случилось?

— Да ничего; говорят, банкротство за границей, какой-то грандиозный крах, а наш рубль...

И высокий, но тонкий господин ткнул пальцем вниз, что означало большой ужасный кризис. Тогда наш герой, в одно мгновение ока переменяя платье, стремглав кинулся на биржу, представлявшую собою, по словам летописца, не многошумный храм Мамона *, а мрачное глухое поле, усеянное трупами несчастных жертв спекуляции, павших в этом жарком финансовом побоище, от которого обеим сторонам досталось-таки на орехи...

Читатель! Если вы житель Черноморска, то вам должна быть известна одна улица, сплошь украшенная чайными домами, кафе-ресторанами и трактирами, которые всегда кишмя кишат народом, принадлежащим к благородному сословию дельцов «малой биржи». В одном из этих наиболее посещаемых биржевиками заведений, не отличающихся особенной чистоплотностью, вы во всякое время можете отыскать нашего героя в обществе ему подобных, за чайным прибором или за шахматной доской. Он, конечно, сильно изменился, постарел; платье на нем также состарилось, поизносилось. При первом с вами знакомстве он спросит: «Нет ли у вас покурить?» Его все еще подвижное лицо, бесспорно, вызывает жалость, но, ради бога, не думайте высказать ему это, вы рискуете обидеть человека. Действительно, превратности судьбы поразительны. Но как счастье, так и несчастье изменчиво, а зло, как и добро, не бывает вечно. Наш герой, видите ли, еще ни на минуту не утратил веры в свою звезду, которая не сегодня, так завтра должна взойти на мрачном горизонте его жизни с такою яркостью и с таким блеском, как никогда.

СТИХОТВОРЕНИЯ

НАШЕМУ ПОЭТУ

Лето наступило — ясная пора —
Чистый, свежий воздух, солнышко с утра,
Землю устилая, зеленели травы,
Зацвели деревья, пышны и кудрявы,
А в саду тенистом звонкий соловей
Сладостную песню пел среди ветвей.

Но уходит лето. Холод и туманы.
Дерево рыдает, лист летит багряный...
Маленькая птаха в поисках тепла
Прячется от стужи в глубине дупла...

Сколько мне досталось горестей и муки,
Взаперти сижу я, с близкими в разлуке...
Я бы этой жизни хоть десяток лет
С радостью бы отдал, дорогой поэт,
Чтоб твои напевы снова зазвучали,
Чтоб слезой омыли все мои печали...

Я твоих далеких песен не забыл,
Не остыл поныне слов горячих пыл.
Этими словами были мы согреты.
Где же ты сегодня? Мы не знаем, где ты.

Ах, как ты нам нужен в этот горький час!
Ты не отвечаешь, ты забыл о нас,
В трудную годину ты покинул братьев,
Мы живем без песен, мужество утратив.

Где ты? Встань скорее! Пусть издалика
Нам подарит радость мудрая строка.
Что еще нам надо? Только б слышать снова
Песню утешенья, сладостное слово.

1884

ДОЧЬ ЕВРЕЯ¹

Еду я ночью, и видится мне
Всюду твой образ, печальный и ясный.
Сидя с раздумием наедине,
Вижу лицо твое, образ прекрасный.

Бедная Хана! Как сердце болит!
Милым твоим был студент, а в итоге
Мужем твоим стал постылый хасид,
Вечно сидит он в своей синагоге.

Знаю: ты часто рыдала, скорбя
(Но от меня свои слезы скрывала),
В горе никто не утешил тебя,
Хоть благодетелей было немало.

Будет ли муж твой тебя уважать,
Дома не думали — так было проще.
Снился папаше повыгодней зять,
Мать же мечтала: скорее бы в тещи!

Важен твой Мендель — прославлен их род:
Все там — кто цадик, кто в сани раввина.
Набожный муж твой почти что весь год
Не говорил со своей «половиной»...

¹ Это стихотворение можно петь той же мелодией, что стихи Некрасова «Еду ли ночью по улице темной...». (Прим. автора.)

Все ж ты исправной женою была:
Мужу то сына, то дочку дарила,
За восемь лет восьмерых родила.
Нынче болезнь тебя не пощадила.

Мендель решил, что ему ни к чему
Годы с больною женою возиться,
К ребе однажды пошел, к самому,
Ребе ему разрешил разводиться...

Брошена ты. За душой ни копыя.
Угол чужой да голодные дети.
Ведома родичам участь твоя,
Каждый сулит тебе рай на том свете.

Грустный удел. И рассказ мой — таков
Многим он горечью сердце растравит.
Бедная Хана, твоих стариков,
Может быть, этот рассказ позабавит.

ЕВРЕЙСКИЕ КРЮЧКОТВОРЫ

И станут резать справа, и останутся голодны; и пожрут слева, и не насытятся; каждый будет пожирать плоть мышцы своей.

Исайя, IX, 20

Голодно, странничек, голодно,
Холодно, родименький, холодно!

Некрасов

I

Ночью в лютый мороз одинокий еврей
Мчится — полы вразброс — все быстрей
и быстрей.
Тащит что-то в мешке, и видать по всему:
Горе гонит его в эту зимнюю тьму.

С водовозом Михоэлом кто не знаком?
Все сдружились и с бочкой его, и с конем.
Но скончался отец у него, и бедняк
Своего старика не схоронит никак.

Отыскал он на сеннике ветхий мешок
И в него затолкал впопыхах все, что мог:
Одеяло, две тощих подушки жены,
Свой молитвенник старый, худые штаны,

И Псалтирь, и какие-то календари,
Кнут ременный и простыни — две или три,

Лапсердак, весь протертый, в нашлепках заплат,
И субботнюю шапку, и белый халат,

За который заплачено было — дай бог!..
Наконец положив рукавицы в мешок,
В драный талес все это связал водовоз,
К местечковому старосте на дом понес.

Был не рад Авром-Хаим, что старостой стал,
Все он больше о царстве небесном мечтал...
— Кто меня пожалеет? Я сам не богач.
Восемнадцать рублей разве деньги?

Хоть плачь.

Верь, Михоэл!.. Ты знаешь и сам, старина,
Что за люди у нас, как община бедна.
Неужели забыл ты, как люди вопят:
«Хлеба нет! Дети мерзнут!» Ну разве не ад?

В кассе нет ни гроша, в богадельне — развал,
Даже баню закрыли... Что делать? Скандал!
Люди голод и холод терпели всегда,
Но бывало ли так, чтоб зимой в холода
Наши женщины шли омываться к реке?
Шутки? Баня три месяца как на замке!

Принял староста вещи, все в книгу занес,
И расписку тотчас получил водовоз
С разрешеньем нести на погост мертвеца
И свершить наконец погребенье отца...

II

Дело сделано, надо к раввину идти...
Здесь не примут залог, здесь монета в чести.
И герой наш без шапки ступил на порог
(Благо — служка Рефоэл советом помог).
— Уважаемый ребе, берите, что есть...
— Рубль мне мало... В нужде я...

Детишек не счесть.

Холод. Нечем топить, да и нечего есть
(Люди, бедствуя, гордость теряют и честь),
Мы неделями корки не видим сухой,
Впору смерти желать нам от жизни такой!

Я не в силах уже обучать мелюзгу,
Беспреданно Талмуд толковать не могу,
Я от этой работы родимчик схвачу,
А другая работа мне не по плечу.
— Уважаемый ребе! Вот — рубль, но тотчас
Пару курочек я раздобуду для вас!

* * *

Прослезилась раввинша, но кур приняла,
И записку раввин накатал у стола
С разрешеньем нести на погост мертвеца
И свершить наконец погребенье отца.

III

Служки молвили: «Мы не из важных персон,
Водку ставь нашей братии и закусон.
Мы не много возьмем — по рублю нам гони».
— По полтиннику дам вам, а больше — ни-ни!
«Что ты, братец, — так служка Рефоэл сказал, —
По полтиннику нам? Да ведь это скандал!
Слава богу, ты жил здесь не год и не пять,
Если ты не дурак, должен сам понимать,
Что недостатков у нас не бывало и нет,
А проклятый реб Шнейер, богач-мироед,
Тянет соки из нас... Он как бочка без дна...
Камни жрем — непомерна на мясо цена.
Разве в хедер мы можем детей не водить?
Вот и трудимся вечно, чтоб как-нибудь жить.
А бывает, — о господи, кара твоя! —
Целый год за душой ни гроша, ни копя,
Ни полушки. Куда же деваться от бед?
Хоть в петлю! Лишь однажды за несколько лет
Над несчастными сжалится бог наконец:
Выпадает нам счастье — богатый мертвец».
— Хватит шуток, Рефоэл! За дело пора!
Надо мне схоронить старика до утра.

* * *

Поздно вечером из дому шел наш герой,
На рассвете вернулся с погоста домой.

НОВОГОДНЕЕ

(Нашей пишущей братии)

Хотелось бы за год проверить итоги,
Теперь подвести бы черту,
Но наши враги к нашим слабостям строги,
Все это у них на счету.

Итак, мы хвалиться не будем! Не будем!
Жаль тратить бумагу не впрок...
К чему эту скуку навязывать людям,
Когда Новый год недалек?

Уж лучше, друзья, подсчитали бы смело
Потери за прожитый год.
Какого еще не свершили мы дела?
Чего у нас недостает?

Иные над нашей судьбой причитают,
Но что нам до пролитых слез,
Когда нас не слушают и не читают
И жизнь наша — вечный вопрос?

Печалей не в силах избыть мы слезами.
Поможет ли в бедствиях смех?
Мы сами должны что-то делать, мы сами...
И нам ли страшиться помех?

«Что делать? Что делать?» — вопрос
постоянный,
Но разве мы стали глупей?

Поныне в нас бродят какие-то планы
И множество всяких идей...

Но люди? Где люди? И взять их откуда?
Нас мало, чтоб мрак побороть.
Пошли нам людей, соверши это чудо,
Умножь наши силы, господы!

Вновь год пролетит, как минувшие годы...
Мы будем писать и писать.
Гонения ждут нас, удары, невзгоды...
Надежды нас будут питать.

1884

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

(Издателям газеты «Идише фолксблат»)

Вы мне писали? Очень лестно.
Стихи нужны вам? Я готов.
К чему мне хвастать? Скажем честно:
Навалом у меня стихов.

Хотите новых? Накропать я
Могу стихов невпроворот.
«Но что за праздник нынче, братья?
Йом-кипур? Пурим? Новый год?»

Так вас читатель спросит строго
(И что ж? Он будет прав стократ).
А я?.. Я помолчу немного,
Пускай другие говорят.

У всех народов менестреля
Поэтом и певцом зовут,
У нас же: бадхен — пустомеля,
Писака, рифмоплет и шут.

Ему народ увеселять бы,
Смешить до колик на пиру,
На стол влезать во время свадьбы,
Рифмуя всякую муру.

Пусть вирши я пишу плохие,
Но и в шуты я не гожусь.
Бросаю к дьяволу стихи я,
С певучей лирой развожусь.

Отныне я прозаик рьяный
И рифмами не тешу свет,
Пишу рассказы и романы,
Порой смешные, чаще — нет.

И все ж я верен музе старой,
Она вся в черном с давних пор,
Мы с нею бродим грустной парой,
И слезы музе застыт взор.

Вы слышите? Она смеется,
Свои рыдания глуша,
Пока слезами не зальется, —
Так изливает боль душа...

Порою смехом святотатца
Бичую слабости людей.
Но разве мне легко смеяться?
Но разве сердцу не больней?

Вам ясно? Что мне лезть в поэты!
Милее написать рассказ,
Чем к празднику строчить куплеты
И зваться «бадхеном» у вас.

ЗИМА

Дни веселья отзвучали,
Настает пора печали.
Лету вслед приходят снова
Ветры осени суровой.

Сыро в комнате, уныло,
Стужа к окнам подступила.
Сердцу грустно. Дни короче,
Всё длинней, всё глуше ночи.

За спиной твоей со злостью
Машет ребе длинной тростью,
Мрачный ребе, твой учитель.
Будь он проклят — твой мучитель!

Но, исполненный задора,
Ребе лупит без разбора,
Бьет нас до крови, но что-то
Нам учиться неохота.

О катке мечтаем чаще,
Там снежок и лед блестящий,
Гладкий лед — ах, что за чудо!
Нет! Зубри строку Талмуда!

Невтерпеж читать трактаты.
Лупит, лупит нас проклятый...
Учимся до поздней ночи,
Тяжко, больше нету мочи.

Клонит в сон, ворчанье в брюхе,
Но к страданьям нашим глухи,
Только палке вдоволь воли.
Как солдат, нас учат в школе.

Повелел наставник строго
Петь молитву, славить бога.
Петь не хочется кому-то?
Что же, с ним поступят круто.

Добредешь домой без силы,
Спишь — и снова он, постылый,
Ребе лишних слов не тратит:
«Добрый день. Поспал — и хватит.

Подымайся-ка, паскуда!
Раскрывай-ка том Талмуда!
Что там сказано о споре
Мудрецов?» Не скажешь — горе!

Снова — в хедер на рассвете.
Ах, как дни унылы эти!
Плетка хлещет нас, но что-то
Нам учиться неохота.

* * *

Снова радостное солнце
Светит в тусклое оконце.
Сердцу весело. А ночи
Всё короче и короче.

Дети, дети! Прочь унынье!
Верьте в будущее ныне!
Вера в лучшее на свете —
Путь к победе вашей, дети!

Лучшие наступят годы,
В прошлое уйдут невзгоды.
Пусть пока зима сурова,
Дни весны наступят снова.

ПРОГРЕСС-ЦИВИЛИЗАЦИЯ

(Поэма)

I

В каком году — не ведаю,
Но было лето, помнится,
А вторник или пятница —
Не важно. Что за разница?
Известно: в некий день
Покинули Мазеповку
И за ее окраиной
Решили погулять.
В блаженном настроении,
Как после знатной трапезы,
Три друга, три приятеля,
Три славных просветителя,
Три тощих добрых молодца,
Три бледных мудреца:
То Гершеле из Тятровки,
То Лейбеле из Ямполя,
Велвл из местечка Стрищ.
За мельницы далекие
Ушли они, беседуя,
Как у евреев водится —
Посредством быстрых рук,
То разом тараторили,
То каждый по отдельности,
То снова хором все.

Неистовые, шумные,
Они так рьяно спорили
Всерьез о всякой всячине:
О школе, о политике,
О мировых событиях,
И даже не заметили,
Что перед ними лес.
Хитро им улыбается
Густой прекрасный бор.

«Ша, братцы, — молвил Гершеле, —
Оставим споры праздные.
Что волноваться зря?
Взгляните лучше на́ небо,
Оно такое синее!
Как воздух чист! Как дышится!
Приволье! Речка! Лес!
Глядите-ка: алмазами
Блестят, переливаются,
Горят лучи горячие.
Здесь место благодатное,
Ну, прямо божий рай!
Вы чувствуете запахи,
Гвоздикдыханье пряное?
Здесь так свежо, так празднично,
Не жизнь, а удовольствие,
Мир, прямо неземной!
Вот что скажу, приятели,
Прочь лапсердаки тесные!
Приляжем здесь под кустиком,
На травке отдохнем».
— Что за мудрец наш Гершеле! —
Обрадовался Лейбеле,
С ним согласился Велвеле:
— Ай, Гершеле, ты прав.
И впрямь здесь место дивное,
И запахи здесь райские,
Так мило, так свежо!
Сияет в небе солнышко,
Щебечут пташки божие.
Прекрасно все вокруг! —
Вмиг лапсердаки скинули,
Затем присели путники,

Потом втроем под кустиком
На травке разлеглись,
На мир взирая радостно,
На это небо синее,
На речку и на лес.
Дышали чистым воздухом,
Вбирали в ноздри, нюхали,
Вдыхали, опьяненные,
Гвоздик благоухания
И всех других цветов.
Лежали молча, слушали,
Как в чаще заливается,
Задорно сыплет трелями,
Насвистывает сладостно
Влюбленный соловей.
Здесь так свежо, так весело,
Чудесно так и празднично,
Так дышится легко.
И к высям поднимаешься,
Паришь, паришь... и хочется
В простор... и клонит в сон,
И снятся и сплетаются
Мечты, порывы светлые,
И ангелы летят,
Качаются и кружатся,
Взмывают в небо синее,
Поют напев возвышенный,
Псалмы поют священные,
Поют хвалу всевышнему,
Слагают гимн творцу.
И снится и мерещится
Мир истинный, мир сотканный
Из духа и из вечности,
Где злобы нет и лжи,
Где нет ни мук, ни хитростей,
Нет слабых, сильных, суетных,
Нет слез и крови нет...

— Ребятки, — молвил Гершеле,
Вперяя в небо взор,
То охая, то ахая, —
Выходит, есть вселенная,
Великая, открытая,

Есть светлый мир познания,
Так что ж мы здесь сидим?
Когда повсюду слышится:
Прогресс, цивилизация,
Наука, просвещение.
Повсюду сеют свет
Созвездья путеводные —
Издатели, писатели,
Газетчики, редакторы,
Прекрасные издания
На древнем языке:
Вот «Проповедник» — в Пруссии,
А вот «Рассвет» Слонимского,
«Заступник» Цедербаума,
Вот сборники Гуревича,
И Соколова славного,
Равницкого и Гребера,
Их всех и не сочтешь.
Печатают на идише
«Фолксблат» с «Библиотекою»,
«Хойзфрайнд» и — наконец — «Восход»
На русском языке.
О, мудрецы, писатели,
Поэты, сочинители,
Прозаики и критики,
Газетчики, политики,
Ученые, историки,
Великие умы!
Леванда, Мейзах, Лиленблюм,
Фруг, Динезон и Дубзевиц,
И Шацкес, и Багров,
Бухбиндер, Фришман, Вайсенберг,
Готлобер, Шомер, Егалел,
Блоштейн, Зингер, Каминер,
Гаркави, Спектор, Бекерман,
Гордон и Якнегоз.
А Гольденфодем и Рейцзон,
Замошин, Рейфман, Кулишер,
Смоленский и Цитрон...
А Шульман, Гамзу и Тавьёв;
А Манделькерн и Давидзон,
И Грец — творец истории,
И Бердичевский тож...

Кипит, бурлит, — что деется! —
Хватают, пишут, сердятся,
Злорадствуют, ругаются,
Работают вовсю.
О, сколько в мире славного!
Свет, разум, просвещение,
Прогресс, цивилизация!
Что ж прозябаем здесь?

— Вот новость! — молвил Лейбеле,
Ему поддакнул Велвеле. —
Прогресс? Цивилизация?
Какую ты Америку
Нам, Гершеле, открыл!
А мы-то что? Нездешние?
А мы-то что? Не ведаем
О всяческих делах?
А мы-то что? Бездельники?
Да подтверди ж ты, Велвеле!
Неужто не читали мы
Ни книжек, ни газет?
Трудились мы, читали мы,
Все наизусть запомнили... —
Вдруг в чаще раздалось:
«Ха-ха!» — и появляется
Какой-то человек.

Покатываясь со смеху,
Он за животик держится,
Глядит, хитро прищурившись,
Бубнит себе под нос:
«Прогресс, цивилизация,
Свет, разум, просвещение —
Все наизусть запомнили?!
Что скажете? Ха-ха!
Привет! Как поживаете,
Братишки просветители?
Чего еще вам надобно:
Холеры, лихорадки ли?
Иль боли головной?
Что вы глаза тарашите?
Иль никогда не видели
Еврея из Литвы?»

— Ха-ха! — смеется Гершеле,
Хохочет также Лейбеле,
Им громко вторит Велвеле,
Хохочут все втроем.
— Нежданно вы, нежданно
Нас напугали до смерти.
Присядьте, уважаемый,
О жизни нам поведайте.
Что здесь в лесу вы делали?
Еврей — и вдруг в лесу!
«Ба! — им литвак отвечает. —
Еврей — ну и публика!
Все сразу им выкладывай,
Все надобно им знать.
Вы сами объясните мне,
О чем кричите, спорите?
И почему так яростно
На весь шумите лес?
Зачем еврею надобно
Расстаться с синагогою,
С женою и детишками
И забираться в лес?
К чему кричать без усталы,
К чему так спорить истово?
О свете и о разуме,
Прогрессе, просвещении
И о цивилизации
Зачем шуметь в лесу?»

Уселся с ними рядышком
Литвак и приготовился
Внимательно их выслушать.
Речь первым начал Гершеле
Посредством быстрых рук.
Потом вмешался Лейбеле,
Им громко вторит Велвеле,
Все вновь шумят втроем.

Но мы, как все писатели
И как издревле принято,
Должны героя главного
Обрисовать подробнее
И раньше прочих лиц.

Богатой биографией
Герой наш не похвалится,
Зовут героя Берл.
Он дамским был учителем,
Потом стал сочинителем,
А в нашем тихом городе
Зовется «литваком».
Силен литвак наш разумом,
Талмуд на память знает он,
Со светскими науками
Знаком — и с геометрией,
А также с арифметикой
И русским языком
(Дозволенным цензурою)...
Изрядно образованный!
Что говорить? Литвак!
Развелся он с супругою,
Забросил он учительство
(Какой храбрец еврей!),
Всем насолил в местечке он,
Со всеми перецапался
И, наплевав на все,
Ушел себе бродяжничать.
Куда? Кто знает? Странствует
Он года полтора.
Хотите знать обличие
Его? Ну что ж, пожалуйста,
Могу нарисовать!
Рост мал, движенья быстрые,
Глаза всегда горящие,
Лицо сухое, тощее
И желтое, как воск,
У носа форма странная,
Вдобавок — в черных пятнышках,
Посмотришь — схож с картошкой,
До плеч свисают волосы,
Очки, бородка редкая,
Костюм до дыр протерт,
И шляпа вся изношена —
Смесь котелка с ермолкою,
Черна рубашка старая
И галстук, набок сдвинутый, —
Ну вот вам и портрет.

Теперь, когда вы знаете
В лицо героя нашего,
Вы возвратиться можете
Со мною вместе в лес...
Посмотрим-ка, послушаем,
Что говорят приятели,
Что делают они...

Конец первой главы.

1892

Я БОЛЕН

Дома я сижу, больной,
Жив, но словно — под плитой.
Лежу во тьме — а на уме:
«Грешный человек,
Если кончится твой век
И уйдешь ты в мир иной,
Что с еврейским языком будет? Слышишь?
Кто рассказ напишет, если ты
не напишешь?
Кто напишет фельетон смешной?
Кто же вызовет у всех
Смех,
Чтобы публика смеялась,
Чтоб валялась,
Чтоб держалась за бока,
Хоть пока
Не догадалась,
Что смеется над собой,
Кто под праздники, детишки,
Хедер вам опишет в книжке?
Кто расскажет сказку вам,
Если богу душу я отдам?
Мой Менахем-Мендл вскоре
Без меня зачахнет в горе.
Жаль и Тевье. Бедный мой,
Будет мыкаться с нуждой.
Кто опишет ваши драки,
Ваши сборища, писаки?
Киев бросить не могу,

Перед ним я весь в долгу,
Не обязан же, собратья,
Всю планету опекать я?
Что — планета! Ну ее!
Каждому, друзья, — свое!»
Вот о чем писатель хворый
Думает в полночный час.
Но покуда я покину вас,
Приходите. Не о деньгах поведем мы
разговоры, —
О Варшавском *, о его стихах,
О писательских делах.
Заболтаемся мы поздно,
Чуть шутя, чуть-чуть серьезно.
Дело доброе — побыть с больным.
Много ли мы добрых дел творим?

1900

СПИ, АЛЕША ...

1

Спи, Алеша, спи, прекрасный,
Спи, наследник мой!
Спи, сыночек, светик ясный!
Спи, не плачь, родной!

2

Вырастай. Получишь, славный,
Сундуки с казной,
Будешь царь ты, самый главный
Надо всей страной.

3

Будешь самый умный в мире,
И меня умней,
Всей России и Сибири
Лучший из царей.

4

Даст тебе господь палаты,
Злато — все, что есть, —
Храмы, тюрьмы, казематы,
Кабакон не счесть.

5

Всем жандармам и казакам
Твой покой беречь,
Этим доблестным рубакам
Всех рубить и сечь.

6

Поумней воюй с японцем,
Никогда не трусь!
Есть пока что царь под солнцем,
Есть Москва и Русь!

7

Долг платить придется годы,
Тише, мой малыш!
Обещай сперва свободы,
После выдай шиш.

8

Пусть шумят социалисты,
Пусть чего-то ждут,
Пусть стреляют анархисты.
Душу отведут.

9

Прячься в спальне от угрозы
Как и твой отец.
Кровь пускай течет и слезы,
Будь здоров, малец.

10

Пусть вопят себе газеты —
Это праздный труд.
Публицисты и поэты
Тоже пусть орут.

11

Грохот бомб и револьверов
Не впервой для нас.
Всяких революционеров
Переловим враз.

12

Полицейские повсюду,
Сыщики стоят.
Плеток я еще добуду,
Тюрем и солдат.

13

Чтобы сгнула крамола,
Чтоб стоял дворец...
Спи. Я — твой отец Никола...
Вот и все. Конец.

1905

НАШИ СТАРОСТЫ

1

Наши старосты — красавцы
В бородах густых,
Идиоты и мерзавцы —
Смерти нет на них!

Скорчит вас, как при изжоге,
Просто зло берет:
Исер, служка синагоги, —
Главный верховод.

2

Наши старосты — красавцы
В бородах густых,
Идиоты и мерзавцы —
Смерти нет на них!

С горя плюнь себе под ноги,
Просто зло берет:
Исер, служка синагоги,
Стал важней господ.

3

Наши старосты — красавцы
В бородах густых,

Идиоты и мерзавцы —
Смерти нет на них!

От тоски протянешь ноги,
Зло берет народ.
Исер, служка синагоги,
Мзду за все берет.

4

Наши старосты — красавцы
В бородах густых,
Идиоты и мерзавцы —
Смерти нет на них!

Корчит нас, как при изжоге,
Оторопь берет:
Исер, служка синагоги,
Что ни день, то пьет.

1905

ПРИМЕЧАНИЯ

Первый том настоящего Собрания сочинений Шолом-Алейхема объединяет новеллы и романы, напечатанные в 1883—1892 годах, и стихотворения, опубликованные в 1884—1905 годах.

Среди ранних опытов Шолом-Алейхема были произведения, написанные им на древнееврейском языке. В данном томе публикуется один из таких рассказов — «Шимеле» (1888).

С самого своего появления на литературной арене Шолом-Алейхем много писал по-русски. Из его произведений, написанных на русском языке, здесь помещены «Мечтатели» (1884) и «Типы «малой биржи» (1892) в том виде, в каком они появились в свет при жизни автора, без каких-либо стилистических изменений.

Первый рассказ Шолома Рабиновича на языке идиш — «Два камня» — был опубликован в газете «Фолксблат» в 1883 году. В том же году появился второй его рассказ — «Выборы», подписанный псевдонимом Шолом-Алейхем. «И, представь себе, — писал Шолом-Алейхем своему другу И. Х. Равницкому, — «Фолксблат» ухватила за меня, и редактор Цедербаум собственноручно написал мне письмо, в котором просил (понимаете — просил!), чтобы я писал еще. С того времени я стал помещать фельетоны в «Фолксблат», и чем больше я писал, тем чаще меня просили присылать свои фельетоны».

В последующие годы Шолом-Алейхем считал недостойным переиздания многое из того, что было создано им в молодости. Так, в частности, о «Двух камнях» он в письме 1913 года сообщил Равницкому: «Фельетон («Два камня» — рассказ) не входит в мои сочинения, так как я многое выбрасываю, а то, что сохраняю, сильно перерабатываю».

В течение 1886—1887 годов Шолом-Алейхем опубликовал цикл «Зарисовок». Этот цикл проникнут подлинной народностью и страстным гуманизмом. В зарисовках намечена тема жизнеспособности народа, которая затем была глубоко разработана и получила свое яркое воплощение в многогранных рассказах о делах и думах неунывающих тружеников маленьких местечек, обобщенных Шолом-Алейхемом в его знаменитой «Қасриловке».

К 80-м годам прошлого столетия относятся первые его романы: «Сендер Бланк и его семейка», «Стемпеню» и «Иоселе-соловей».

Одновременно с прозой Шолом-Алейхем пишет и стихи. Они составляют незначительную часть его литературного наследства. Однако в них уже просматриваются некоторые общие черты творчества Шолом-Алейхема: живой интерес к народу, горечь и боль за человека, страдающего от социального зла, глубокая вера в победу социальной справедливости.

Стихотворения сложились под прямым влиянием поэзии Н. А. Некрасова. Они трактуют тему еврейской нищеты. И «нет ничего удивительного в том, — писал Шолом-Алейхем, — что тема нищеты так занимает и наших народных писателей, ибо не всюду вы встретите столько бедняков, угнетенных... как у евреев».

В настоящий том входят стихотворения, которые были напечатаны во втором томе (Москва, 1948) Собрания сочинений Шолом-Алейхема на еврейском языке.

К МОЕЙ БИОГРАФИИ

Впервые напечатано в качестве приложения к книге Шолом-Алейхема «С ярмарки» в 1916 году (Нью-Йорк, газ. «Вархайт»).

К моей биографии. — Справка, написанная Шолом-Алейхемом на языке идиш в 1903 г. и отправленная И. Х. Равницкому в связи с подготовлявшимся к изданию Собранием сочинений писателя на еврейском языке.

Как нам стало известно, в этом же году в связи с задуманной М. Горьким антологией произведений еврейских писателей (в издательстве «Знание») Шолом-Алейхем отправил И. Х. Равницкому для Горького автобиографическое письмо, написанное по-русски. Из-за ссылки М. Горького царским правительством антология не была издана, а письмо осталось у Равницкого. Лишь несколько лет тому назад оно, за исключением утерянной первой страницы, было обнаружено сыном И. Х. Равницкого в архиве отца и передано им зятю Шолом-Алейхем, писателю И. Д. Берковичу, который впервые опубликовал его в «Вестнике Израиля» (1959, № 6).

Воспроизводим его с небольшими сокращениями.

«[...]. Сам же я мечтал быть резником или музыкантом, хотя между этими двумя профессиями, как известно, нет ничего общего. Почему я хотел быть именно резником или музыкантом, я объяснить не могу. Может быть, оттого, что в самом раннем детстве я учился у резника, который, кстати сказать, порол своих учеников, как только может пороть резник, то есть самым беспощадным образом, и я почему-то проникся к этому разбойнику глубочайшим благоговением. Что же касается до музыки, то я с детства питал пагубную страсть к скрипке, и не только к скрипке, но и ко всякому, игравшему на скрипке. Я назвал эту страсть

пагубной, потому что несколько раз принимался — тайно, конечно, — учиться игре на скрипке и всякий раз был избит отцом за «дурные наклонности». Однако я втайне сохранил симпатию к этому инструменту, к которому я остался неравнодушен и по сей день.

Наступили важные перемены в жизни нашей семьи (умерла мать, дела пошатнулись), и в воззрениях моего отца произошел резкий поворот: он, вопреки взглядам и протестам всей родни, решил определить меня в русскую школу, а именно в приходскую, а оттуда уже и в уездное училище для получения «настоящего» образования. И вот я, пятнадцатилетним юношей, почти «женихом», как говорилось в нашей семье, принялся за букварь, а вслед за ним и за географию. Я упоминаю о географии, потому что именно она — вследствие ее учения о шаровидности Земли и ее движению вокруг Солнца — не пришлась по вкусу одному из моих дядей, особенно возмущившемуся и энергично восставшему против столь вредной теории, прямо вразрез со Священным писанием, в котором ясно сказано, что Иисус Навин приказал Солнцу остановиться в Гивеоне...

Не легко, однако, давалось мне учение, и не сладки были для меня годы моего отрочества. Дело в том, что после смерти матери отец немедленно обзавелся мачехой для своих детей, которых она преследовала всячески, заставляла нас исполнять всякую черную работу...

Таким образом, чтение чередовалось с разного рода черной работой, но «наука в лес не идет» — говорит пословица. Я не только успешно переходил из класса в класс с похвальным листом и наградой «за примерное прилежание и отличные успехи», но много занимался и еврейским языком, и другими еврейскими предметами, дабы подготовиться к поступлению в раввинский (учительский) институт в Житомире.

К этому времени я отношу свой первый труд по части литературы, мой первый опыт в стихах, конечно, на священном древнееврейском языке, который отец очень любил, стараясь привить и мне эту любовь.

Вообще — в отношениях отца ко мне произошла значительная перемена. Он стал относиться ко мне с уважением, защищать и ограждать меня от влияния мачехи и совершенно отстранил меня от всякой черной работы и домашних дряг. Упомянутое произведение в стихах, вздорное по содержанию, чрезвычайно льстило его отцовскому самолюбию, и он пророчествовал мне писательское дарование, талант. Он не раз после этого напоминал мне о том, какая слава ждет меня в будущем и какая честь будет ему, отцу, когда я выступлю всенародно в качестве певца на нашем прекрасном священном языке Библии и пророков. Однако судьбе было

угодно решить иначе. Не на прекрасном языке Библии и пророков и не стихами вовсе я дебютировал в родной литературе, а на простом разговорно-еврейском диалекте, называемом жаргоном, я стал излагать свои буднично-прозаические мысли. Не знаю, кому я обязан открытием, что с народом надо говорить на том языке, который он лучше всего понимает, но в 1883 году, когда после погромов народился первый еженедельный журнал на жаргоне («Еврейский народный листок»), я выступил с первым моим рассказом и вскоре занял в нем положение постоянного фельетониста и рассказчика, почти вплоть до закрытия журнала и до основания мною (в 1888 г.) моего собственного журнала — сборника («Еврейская народная библиотека»). Замечательно, что и отец, столь ревностный поклонник священного языка, вскоре согласился с моими доводами в пользу живого разговорного языка, подкрепив свою мысль на всякий случай цитатой из Екклесиаста на том же священном языке: «Лучше живая собака, нежели мертвый лев»...

К чести «мертвого льва» следует, однако, заметить, что в течение моей почти двадцатилетней литературной деятельности, посвященной нашему народу на родном языке, я не переставал интересоваться и той аристократической литературой, которая пишется и печатается, хотя и для ограниченной аудитории, на священном языке; да я и сам от времени до времени подписываю на нем, принимая участие в некоторых изданиях, печатающихся на древне-еврейском языке. [...]

Таким образом, выступив в 1883 году, в мае месяце, с первыми незначительными трудами, я принимал и принимаю участие во всех решительно изданиях на жаргоне, печатающихся здесь и за границей, писал и пишу фельетоны, повести, рассказы, критические статьи и большие романы, и лишь в нынешнем году предпринято первое издание полного собрания моих сочинений в нескольких томах.

Что же касается до содержания большинства моих сочинений, то, не преследуя каких-нибудь особенных тенденций, я лишь старался отразить в них действительную жизнь моего народа в той затхлой атмосфере, которую создала так называемая «черта», жизнь, которая дорога мне со всеми ее светлыми и темными сторонами, отрадными и грустными явлениями. Если Вас удивляет всегда веселый тон моих писаний, то я должен Вам сказать, что тон этот сообщается мне самою жизнью моего причудливого народа, с его причудливым, донельзя уморительным диалектом, не поддающимся никакому переводу. Впрочем, некоторые из моих более крупных беллетристических произведений переведены и переводятся на немецкий, польский и русский языки, теряя, конечно, очень много в колоритности и яркости, находящихся в зависимости от самого

языка. Такова сила еврейского языка, именуемого, и, как мне кажется, не совсем верно — жаргоном. Существует, по-моему, только один язык, на котором можно вполне художественно, реально и правдиво изображать жизнь евреев в наших краях. Это — жаргон. С удовольствием отмечаю здесь, что литературную карьеру я начал почти одновременно с жаргонным писателем-народником¹ М. Спектором, с которым мы почти все время шли рука об руку, вплоть до настоящего времени. Далекий по жанру и по манере писать, этот симпатичный писатель близок мне по стилю и по своей беззаветной любви к простому, для всех понятному жаргону.

Вот, в общем, итог моей литературной деятельности за период времени с 1883 по настоящее время, то есть почти за 20 лет. Что же касается до моей частной жизни, от которой я несколько уклонился в сторону литературы, то, заканчивая письмо, я должен лишь заметить Вам, что если человеческая жизнь вообще, а жизнь писателя в особенности, заключает в себе мало сладости, то жизнь еврейского писателя есть настоящая неремедида, сплошной мартиролог, какая-то злая ирония судьбы. Начав свою жизненную карьеру, как Вы видите, столь невесело, я прошел затем все градации общественной лестницы. Я был и учителем, и купцом, и казенным раввином, и банкиром, и сотрудником газет и журналов, и биржевым дельцом, и редактором-издателем, и посредником по части купли и продажи имений. Имею также... Но это неинтересно. Гораздо интереснее для Вас будет то, что мои надежды ранней юности сделаться когда-либо резником или музыкантом не оправдались, как не оправдались многие мои надежды в жизни, как, впрочем, не оправдывается большинство наших лучших надежд на земле. До свидания.

Будьте здоровы.

Шолом-Алейхемъ.

Стр. 32. *Реб* — в смысле господин. Произносится при обращении к старшему или знатному.

Филистимляне, здомитяне и моавитяне — древние племена, упомянутые в Библии.

Хедер — начальная еврейская религиозная школа.

Стр. 34. *Хасид* — приверженец хасидизма, религиозно-мистического движения среди евреев, возникшего на Украине в конце 30-х годов XVIII в.

Казенный раввин (в отличие от духовного раввина) — чиновник, который избирался общиной и утверждался губернатором, вел

¹ В смысле народный. (Ред.)

записи актов гражданского состояния еврейской общины, приводил к присяге солдат-евреев и выполнял другие подобные функции.

«Хамейлиц» («Заступник») — газета, печатавшаяся на древне-еврейском языке, выходила в Одессе, затем в Петербурге с 1860 по 1904 г.

Стр. 35. *Цедербаум* Александр (1816—1893) — журналист, редактор газет «Хамейлиц» и «Дос юдишес фолксблат» («Еврейская народная газета»). Основана в 1881 г. с целью «проведения в еврейскую среду основ еврейской культуры».

Менделе Мойхер-Сфорим (Менделе — книгоноша) — псевдоним Ш. Я. Абрамовича (1836—1917), основоположника еврейской литературы на языке идиш.

Спектор Мордхе (1858—1925) — еврейский писатель, современник и друг Шолом-Алейхема.

«Восход» («Книжки Восхода») — ежемесячный литературно-публицистический журнал, выходил в Петербурге с 1881 по 1906 г. Основателем его был А. Е. Ландау (1842—1902) — еврейский буржуазный публицист и издатель.

Дубнов С. М. (1860—1941) — буржуазный еврейский историк, публицист и критик.

РАССКАЗЫ

ВЫБОРЫ

Впервые напечатано в «Дос юдишес фолксблат». СПб. 1883. № 38.

Стр. 39. *Талмудтора* — начальная религиозная школа, содержалась на средства общины, где бесплатно обучались дети бедноты.

Стр. 40. *Мигназия* — искаженное «гимназия».

Тора — Пятикнижие (пять книг Моисеевых), первая глава Библии.

Меламед — учитель в хедере.

Ребе — здесь: глава паствы хасидов.

Стр. 41. ...*ходит с непокрытой головой* — признак вольномыслия, так как иудейская религия запрещает верующим показываться без головного убора.

Коробочный сбор — налог на кошерное мясо (дозволенное иудейской религией к употреблению), сдавался царским правительством на откуп, а откупщик выколачивал этот налог из еврейской бедноты.

Стр. 42. *Кантор* — священнослужитель, читающий нараспев молитвы у аналоя во время синагогального богослужения.

ТАЙБЕЛЕ

Впервые напечатано под названием «Наташа» в приложении 1884 г. к «Дос юдишес фолксблат». Шолом-Алейхем думал продолжить рассказ о судьбе главной героини Наташи, однако замысел свой не осуществил.

Стр. 49. *Бармицве* (буквально: «Сын заповедей»). — Так называли мальчика, достигшего совершеннолетия (тринадцати лет), и самый обряд его вступления в число полноправных членов еврейской религиозной общины.

Талмуд — многотомный памятник еврейской религиозной литературы, сложившейся с III в. до н. э. по IV в. н. э.

Даен — помощник раввина.

Стр. 50. *Шамес* — служка в синагоге или при каком-либо братстве.

Ману Авраам (1807—1867) — автор романов, печатавшихся на древнееврейском языке, преимущественно на библейские темы.

Шульман Калмен (1819—1899) — еврейский писатель-просветитель.

«Хамагид» («Проповедник») — первая ежедневная газета на древнееврейском языке, выходила в Лыке (Пруссия) в 1856—1890 гг.

«Кол-Мевассер» («Вестник») — еженедельник на еврейском языке; выходил в качестве приложения к «Хамейлицу» в Одессе с 1864 по 1871 г.

«Теуда» и *«Зрубовел»* — книги еврейского просветителя И. Б. Левинзона (1788—1860), пользовавшиеся славой вольнодумства.

«Эфес дамим» («Нет крови») — произведение И. Б. Левинзона, направленное против кровавых наветов и других злобных измышлений антисемитов.

Стр. 54. *«Кетер», «Галел», «Вейезсоу»* — наименования иудейских молитв.

Стр. 59. *«Зогар»* — одна из основных книг еврейской кабалы, религиозно-мистической философии, возникшей в средние века.

...когда читают *«Болок»* — обычай публичного чтения в синагогах по субботам глав Пятикнижия, названия глав соответствуют их первоначальным словам. Болок — Валак, моавитянский царь, согласно Библии — враг древнееврейских палестинских племен.

Стр. 60. *Иче-Бер.* — Имеется в виду писатель И. Б. Левинзон.

Стр. 61. *...ангел... дал... щелчок под нос.* — Согласно талмудической легенде, над головой человеческого зародыша горит свет, а эмбрион видит от одного конца мира до другого и постигает все науки. Однако в тот момент, когда он появляется на свет, ангел ударяет его по устам и заставляет забыть все, что тот знал.

Гемара — см. Талмуд.

ВЫСШИЙ И НИЗШИЙ

Впервые напечатано в приложении 1884 г. к «Дос юдишес фолксблат». В 1903 г. Шолом-Алейхем основательно переработал новеллу и включил ее в Собрание сочинений, посвященное двадцатилетию его литературной деятельности.

Стр. 76. *Миква* — бассейн для ритуальных омовений.

Стр. 77. *Шадхен* — посредник при заключении браков у евреев.

Стр. 85. *Авраам, Исаак, Иаков* — библейские патриархи, легендарные родоначальники еврейского народа.

Шестьсот тринадцать заветов — по подсчетам еврейских богословов (талмудистов), число предписаний (248 повелений и 365 запретов), содержащихся в Пятикнижии.

Пророки — второй раздел Библии.

...война с турками. — Имеется в виду русско-турецкая война 1877—1878 гг.

Стр. 89. *«Притчи Соломоновы»* — одна из библейских книг.

«Когелет» (Екклезиаст) — библейская книга. Традиция приписывает ее царю Соломону (X в. до н. э.). Тема книги — философские размышления о вечности законов природы и тщете человеческой жизни.

НА БЕРДИЧЕВСКОЙ УЛИЦЕ

(Зарисовки)

Впервые напечатано в «Дос юдишес фолксблат»: «Улица» (1886, № 2), «Банкрот» (1886, №№ 7, 8 и 9), «Свадьба» (1887, № 10), «Реб Михл-Михозл Искуситель» (1887, № 12), «Подрядчик Меер-Бер — канун пасхи» (1887, № 13), «Домой» (1887, № 45), «В болоте сплетен» (1887, № 45), «Читатели этой улицы» (1887, № 52).

Стр. 94. *Раши* — рабби Шлойме Ицхаки (1040—1105) — богослов, комментатор Библии и Талмуда.

Мезуза — кусок пергамента, на котором написаны стихи из Библии. Свернутый свиток помещается в деревянный или металлический футляр и прикрепляется к косяку дверей, служит магическим средством, способным, по представлению верующих, уберечь их от злых духов.

«Чудеса Балшемтова» — книга Бера бен Самуила (впервые издана: Копысь, Белоруссия, 1814), служит главным источником для биографии Бешта (аббревиатура слов «баал», «шем», «тов», то есть «обладатель доброго имени, чудодей»), основателя хасидизма.

Стр. 95. *Лилиенблум М. Л.* (1843—1910) — прогрессивный общественный деятель, еврейский писатель.

Стр. 95. *Тишебов* — девятый день одиннадцатого месяца аб (соответствует июлю — августу), день поста и скорби в память разрушения Иерусалимского храма.

Стр. 97. *...беднягу Титуса*. — Тит (Титус) Флавий — римской император, покоривший Иудею и разрушивший в 70 г. н. э. Иерусалимский храм. Талмудическая легенда повествует о том, что в наказание бог поместил у него под теменем тарантула, причинявшего ему ужасные муки.

Стр. 100. *...вызывали к чтению торы*. — Во время субботнего и праздничного богослужения в синагогах читают главы Пятикнижия (торы). Присутствовать на амвоне при этом обряде считается у верующих евреев честью и благодеянием.

Содом — город, согласно библейской легенде, разрушенный богом за грехи его жителей.

Стр. 101. *Сборщик таксы* — сборщик налога на кошерное мясо.

Стр. 105. *...гасит... субботние свечи, топит в субботу печку*. — Эти и другие мелкие работы выполняли люди неиудейского вероисповедания, так как иудейская религия объявила субботу «днем покоя» и запретила верующим в субботу работать.

«Мусаф» — молитва, которая исполняется по субботам и в праздники и обычно состоит из девяти славословий.

Стр. 108. *«Гаскола»* (вернее: гаскала — просвещение) — просветительское движение еврейской буржуазной интеллигенции Германии, Польши, России в XVIII—XIX вв.

...в субботу носит с собой вещи — признак вольномыслия, так как иудейская религия запрещает верующим в субботу носить вещи, разворачивать платок, раскрывать зонтик, заводить будильник и т. п.

Стр. 110. *...пуститься за ними в погоню*. — Иудейская религия не разрешает верующим в субботу куда-либо выезжать или за кем-либо гнаться.

Стр. 111. *Миньен* — необходимый кворум (десять мужчин в возрасте старше тринадцати лет) для совершения синагогального обряда.

Стр. 112. *Мафтир* — последнее по очереди лицо, вызываемое к чтению торы для громкого произношения заключительных стихов главы торы и отрывка из Пророков — второго раздела (после Пятикнижия) Библии.

Стр. 117. *Бадхен* — шут на свадьбах.

Стр. 118. *«Виваты»* — поздравительные мелодии, которые музыканты играли в честь невесты, жениха и их родичей.

Стр. 120. *Литвак* — литовско-белорусский еврей; у украинских и польских евреев «литвак» вызывал чувство неприязни.

Стр. 123. *Пятидесятница* (швуэс, шебуот) — древний еврейский земледельческий праздник, отмечался на пятидесятый день после пасхи (отсюда его русское название). В более позднее время справлялся в память о легендарном вручении торы пророку Моисею на горе Синае.

Куци — древний осенний праздник жатвы. Впоследствии справлялся в память о легендарном сорокалетнем странствовании древних евреев после исхода из Египта по пустыне и проживании в шалашах (куцах).

Стр. 124. *Цадик* — праведник, глава хасидской паствы (ребе).

Ханукальная лампада — зажигается в праздник ханука, который ежегодно справляется в течение восьми дней (приблизительно в декабре) в память освящения Иерусалимского храма и освобождения Иудеи от греческого владычества во II в. до н. э.

Стр. 131. «*Гакофес*» («Кружение») — синагогальный ритуал в праздник торы, когда прихожане со свитками торы в руках семь раз обходят амвон.

Стр. 135. *Гицель* — живодер.

Стр. 138. *Дрепер* Джон Уильям (1811—1882) — американский буржуазный историк культуры.

Бокль Генри Томас (1821—1862) — английский буржуазный историк и социолог.

Стр. 139. *Спасович* В. Д. (1829—1907) — известный русский адвокат, профессор уголовного права в Петербургском университете.

НАДЕЖДА

Впервые напечатано в «Дос юдишес фолксблат», 1887, № 5.

ПАСХАЛЬНОЕ ВИНО

Впервые напечатано в «Дос юдишес фолксблат», 1888, №№ 11—12.

Стр. 148. *Пурим* — весенний иудейский праздник, отмечается, согласно библейскому сказанию, в честь избавления древних евреев от козней злого Амана во времена персидского царя Артаксеркса.

СЕНДЕР БЛАНК И ЕГО СЕМЕЙКА

(Роман без романа)

Впервые напечатано в приложении 1888 г. к еженедельнику «Дос юдишес фолксблат». Писатель задумал трилогию, в которой с нарочитой сатирической эксцентричностью стремился вывернуть наизнанку притворство и фальшь поклонников золотого тельца.

В письме к историку и критику С. Дубнову 2 сентября 1888 г. он сообщил: «Забыл предупредить Вас, что «Реб Сендер Бланк» есть, собственно, 1-я часть. 2-я часть — «Маркус Бланк» — у меня заканчивается в рукописи, а 3-ю — «Последний из Бланков» — я лишь напишу со временем, когда лучше и подробнее, всесторонне познакомлюсь с нашим юным поколением, достойным серьезного изучения. Вы видите, что я задался мыслью Э. Золя при составлении его бессмертного труда «Карьера Ругонов».

Вторая и третья части романа никогда не были опубликованы. В 1903 г. Шолом-Алейхем первую часть романа основательно переработал, сократил, внес значительные стилистические изменения. Новый вариант романа был назван «Сендер Бланк и его семейка. Роман без романа».

Стр. 168. *...из-за курицы и петуха будет разрушен такой большой город, как Бетар...* — В древней Палестине существовал обычай: жениха и невесту после венчания встречать с петухом и курицей. Согласно талмудической легенде, римские легионеры однажды забрали петуха и курицу у новобрачных. Возмущенные евреи напали на солдат. В отместку римское войско осадило город Тур-Малка (Шолом-Алейхем ошибочно указал Бетар) и разрушило его.

Талесник — тот, кто изготавливает талесы. Талес — молитвенное облачение: четырехугольное полотнище из шерсти или шелка белого цвета с синими или черными полосами и прикрепленными к углам кистями из шерстяных ниток (цицес).

Стр. 173. *Говоря языком «чрезвычайно интересных романистов»...* — Имеются в виду бульварные романы Шомера, против которых Шолом-Алейхем вел непримиримую борьбу.

Стр. 180. *Танай* — законоучитель Талмуда.

Рыжая корова. — Имеется в виду предписание библейской книги Числ о рыжей корове: кто ее сжигает и собирает ее пепел, становится «нечистым», однако этот пепел очищает «нечистых» (оскверненных).

Стр. 181. *«Род уходит, и род приходит, а Земля пребудет во веки...»* — стих из библейской книги Екклезиаст.

Стр. 190. *...дать ему... квитанцию.* — Речь идет о так называемых «зачетных рекрутских квитанциях», владельцы которых, согласно законам царского правительства, освобождались от воинской повинности.

Стр. 192. *Капорес* — магический обряд, совершаемый в ночь накануне Судного дня и состоящий в том, что мужчина вертит над своей головой три раза петуха (женщина — курицу), произнося трижды молитву: «Это да будет искуплением, жертвой моей и моей

заменой. Сей петух (сия курица) пойдет на смерть, а я обрету счастливую, долгую и мирную жизнь».

Стр. 204. *Катлонис* (убийца). — Так Талмуд называет женщину, которая похоронила третьего мужа.

Стр. 212. *...называющих себя авторами, писателями, романистами!*.. — Эти слова, как и вся вводная часть девятой главы, направлены против Шомера.

Стр. 214. *Ламед-вовник* — один из тридцати шести тайных праведников. Согласно легенде, каждое поколение имеет тридцать шесть тайных праведников, которые скрываются под видом скромных ремесленников. Они являются излюбленными героями народных сказок.

Стр. 215. *Курит в субботу* — признак вероотступничества, так как иудейская религия запрещает курить по субботам.

...дочери... не носят париков — признак вольномыслия, так как иудейская религия запрещает замужним женщинам показываться на людях без париков.

Стр. 216. *Саббатянец* — приверженец Саббатая Цеви (1626—1676), мистика и авантюриста; в 1665 г. объявил себя мессией и царем иудейским. Аскетическое подвижничество Саббатая послужило притягательной силой для угнетенных и забытых еврейских масс.

С Д О Р О Г И

Впервые напечатано в «Дос юдишес фолксблат», 1888, №№ 28 и 43, 1889, №№ 2, 3.

Шолом-Алейхем, надо полагать, задумал большую серию новелл «С дороги», но опубликовал только три. В них он страстно защищает передовых еврейских писателей, которые резко критиковали религиозный фанатизм и приверженцев средневековья.

В 80-х годах в еврейской буржуазной среде возникает палестинофильское течение. Шолом-Алейхем в рассказе «С дороги» идею возврата «в землю обетованную» назвал глупостью; «благодетелям» народа он отвечает: «Голоден ваш народ, вы слышите: голоден, голоден! А вы делаете ему одолжение — кормите его побасенками и стишками...»

Стр. 229. «*Хозфрайнд*» («Друг дома») — еженедельник, издававшийся в Варшаве Мордхе Спектором с 1888 по 1896 г.

Линецкий Иоэл (1839—1915) — прогрессивный еврейский писатель, современник Шолом-Алейхема.

Стр. 230. *...с которым я познакомил вас еще во дни нынешней пасхи.* — Шолом-Алейхем имеет в виду свой рассказ «Пасхальное вино». См. наст. том, стр. 147—152.

Стр. 230. *Медаль* — искаженное «медаль».

Стр. 235. *Грец* Генрих (1817—1891) — выдающийся еврейский историк.

Стр. 241. *Талескотн* (арбаканфес) — маленький талес, надеваемый религиозными евреями под верхнюю одежду.

Кусайте глубже... так вы и творог найдете. — Газета «Дос юдишес фолксблат» в примечании к этой фразе писала: «Уважаемый автор господин Шолом-Алейхем выражается несколько аллегорически, намеком, читателю это место может остаться непонятным. Потому считаем своим долгом объяснить: автор имеет в виду свое произведение «Реб Сендер Бланк», которое подвергли критике, не дожидаясь окончания, появления второй части под названием «Марк Бланк второй», где Шолом-Алейхем намеревается исправить недостатки первой части... Поэтому автор пишет: «Кусайте глубже... так вы и творог найдете», то есть это намек на то, что о целом нельзя судить по его отдельной части».

Стр. 244. *Шойфер* (шофар) — бараний рог, из которого извлекают звуки при религиозных церемониях.

Бойберик. — Имеется в виду дачная местность Боярка неподалеку от Киева.

Стр. 246. *...покачиваясь... как лулев.* — Лулев — пальмовая ветвь, перевязанная тремя миртовыми и двумя ветками вербы. Во время молитвы в дни осеннего праздника кущей (суккот) лулев держат в правой руке, а эсрог (особый сорт лимона) в левой, и ими машут в воздухе, что, по представлению верующих, служит магическим средством для вызова ветра и дождя.

Фруг С. Г. (1860—1916) — еврейский поэт, творчество которого пронизано библейскими и талмудическими мотивами.

С Т Е М П Е Н Ю

Еврейский роман

Впервые напечатано в сборнике «Ди юдише фолксбиблиотек», («Еврейская народная библиотека», Киев, 1888), основанном Шолом-Алейхемом. Этим романом открывается серия его произведений о народных талантах. В письме к С. Дубнову он сообщил: «Для моего сборника я пишу «еврейский роман» под названием «Стемпеню». Это имя принадлежит личности до известной степени исторической... Стемпеню был не кто иной, как замечательный маэстро, скрипач в Бердичеве... Типов, то есть я хотел сказать *характеров*, во всем романе лишь три. Стемпеню — художник, поэт и пр. в еврейском смысле, его супружница — особа мелочная, жадная, жестокая, и, наконец, еврейская Лаура — идеал чистоты, кротости, красоты и чувства».

Шолом-Алейхем регулярно трудился, чтобы ускорить завершение этого романа. 11 января 1889 г. он пишет Дубнову: «...посылаю Вам заказной бандеролью мое новое произведение «Степеню», *первый мой роман*, давно обещанный мною Вам. «Степеню» есть произведение *художественное*, и от его успеха зависит вся дальнейшая судьба моей литературной деятельности. Задавшись мыслью написать еврейский роман для *народа*, я спустился к нему, к народу, заимствовал у него прекрасные легенды об этой, так сказать, исторической личности. Степеню действительно личность, существовавшая в нашем крае, а в Бердичеве (где он родился), Житомире и других городах Волыни и Украины нет того еврея-старожила, который бы не знал если не самого Степеню, то, по крайней мере, массу анекдотов, историй и легенд о нем. Для этой цели я поехал в Бердичев, вошел в переписку и личные отношения с «клезмерами» (музыкантами. — М. Б.), которые отчасти раскрыли предо мной душу этого человека; остальное же досоздала моя творческая фантазия».

Стр. 256. *...во всей глупской округе.* — Глупск — вымышленный город в произведениях Менделе Мойхер-Сфорима.

Егупец. — Так именуется Киев в произведениях Шолом-Алейхема.

Стр. 263. *«Покрывание»* — свадебный обряд, который состоит в усаживании невесты на особое кресло в обществе женщин и покрытия ее головы фатой; жених, окруженный шаферами, приходит и закрывает фатой лицо невесты.

Стр. 264. *Постытятся.* — Согласно обычаю, жених и невеста в день свадьбы до окончания обряда венчания ничего не едят.

Стр. 275. *К «шлейер»-обеду.* — Согласно обряду, замужняя женщина на следующий день после венчания должна быть коротко острижена, а голова ее одета в парик и обмотана повойником. В честь обряда устраивался торжественный обед.

Стр. 297. *«Папе»* — детское название хлеба.

Стр. 298. *Эул* — двенадцатый месяц еврейского календаря (соответствует августу — сентябрю).

Стр. 303. *Самсон на коленях у Далилы.* — Согласно библейской легенде, Самсон — судья израильский, богатырь, совершавший многие подвиги. Далила — коварная филистимлянка, к которой Самсон воспылал страстью. Узнав, что могущество Самсона в его волосах, она обрезала их, лишив таким образом его источника силы, что позволило филистимлянам захватить богатыря в плен.

Стр. 327. *Тайч-хумеш* — Пятикнижие для женщин, перевод пяти книг Моисеевых на язык идиш, уснащенный комментариями средневековых еврейских богословов.

Стр. 327. *Бехас*. — Имеется в виду Бахья бен Иосиф ибн Пекуда (известен также под именем Бехай), еврейский богослов и философ XI в., автор популярного в религиозной среде этического трактата «Ховот халеваот» («Обязанности сердца»).

Стр. 343. *В Мазеповке есть раввин, речка тоже есть, — можно развестись*. — Согласно иудейской религии, развод дает раввин и только в той местности, где имеется река.

И О С Е Л Е - С О Л О В Е Й

Роман

Впервые напечатано во втором сборнике «Еврейской народной библиотеки», Киев, 1889.

Первый, кому Шолом-Алейхем сообщил о своем новом произведении, был Менделе Мойхер-Сфорим. В письме к Менделе 26 июня 1888 г. Шолом-Алейхем, касаясь романа «Иоселе-соловей», писал: «Дорогой Дедушка¹. Так как я пишу для «Библиотеки» роман, к тому же еврейский роман, как вы того хотите... хотелось бы, чтобы Дедушка его видел раньше и высказал свое мнение!»

Шолом-Алейхем работал над романом «Иоселе-соловей» шесть месяцев. Написал «повесть «Переле»², — сообщил он 18 июля 1889 г. Дубнову, — которая стоит мне полгода труда и, кажется, нескольких лет жизни». О художественных особенностях своего нового произведения Шолом-Алейхем в этом же письме говорит следующее: «Характер нового моего романа — лирический; при всей моей склонности к веселому юмору у меня при нынешнем нашем социальном положении не хватает духу юродствовать, тем более что в жизни, которую я описываю, я нахожу, откапываю такие перлы, как *Regele* или *Rochele* в «Степню».

В «Степню» и «Иоселе-соловей» Шолом-Алейхем рисовал черты характера людей искусства, их исполинский труд и несгибаемое упорство, показал судьбу еврейских женщин, которые почувствовали свободу от сковывавших их традиций. Пафосом независимости человеческой личности овеяны герои этих романов.

Стр. 349. *О. М.* — Ольга Михайловна, жена Шолом-Алейхема.

Стр. 351. «*Волехл*» — мелодия, на которой сказалось влияние песенных мотивов Валахии (Румынии).

¹ Дедушкой еврейской литературы называл Шолом-Алейхем Менделе Мойхер-Сфорима.

² Первоначальное (в рукописи) название романа «Иоселе-соловей».

В дни покаяния. — Первые десять дней первого месяца иудейского календаря тишири (сентябрь — октябрь), с Нового года (рош-гашана) по Судный день (йом-кипур) включительно.

Стр. 354. *Виленский Молодожен.* — Имеется в виду Иоэл-Довид Левенштейн, или Страшунский (1816—1850), талантливый исполнитель и композитор синагогальных мотивов, герой народных легенд (одну здесь приводит Шолом-Алейхем), автор нескольких пьес и поэтических произведений; его женили в четырнадцать лет и прозвали Молодоженом.

Стр. 355. *Лемберг* — немецкое название города Львова.

Стр. 356. *Грозные дни* — иудейские праздники рош-гашана и йом-кипур. Согласно представлениям верующих, в эти дни на небесах предопределяются судьбы людей на год вперед.

Стр. 357. *...как некогда жена Потифара — Иосифа Прекрасного.* — Египетскому вельможе Потифару, согласно библейской легенде, был продан в рабство Иосиф Прекрасный (одиннадцатый сын патриарха Иакова). Красота Иосифа пленила жену вельможи. Однажды когда они остались дома наедине, она «схватила его за одежду и сказала: «Ложись со мною». Иосиф отверг предложение, бежал от нее, оставив свою одежду в ее руках.

Стр. 371. *...что море посохом рассечь* — то есть чрезвычайно трудно. Поговорка сложилась в соответствии с библейской легендой о том, как пророк Моисей своим чудодейственным посохом рассек Черное (Красное) море, давая возможность древнееврейским племенам благополучно завершить свой исход из Египта.

Стр. 375. *Кидеш* — молитва, произносимая над бокалом вина перед началом субботней или праздничной трапезы.

Стр. 376. *«Песнь Песней»* — одна из библейских книг; ее автор равнодушен к религии. Сюжет его книги составляет страстное влечение юноши к пастушке Суламифи. Любовь объявляется единственной ценностью жизни.

«Поучение отцов» — талмудический трактат, в котором собраны изречения и афоризмы религиозно-правственного характера.

Стр. 377. *Левиты* — греческое название библейского колена (племени) Левиина, которое служило при святилищах и храме, исполняя функции жрецов.

Стр. 383. *Филактерии* (тефили) — коробочки, к которым прикреплены ремни. В коробочках, разделенных перегородкой на две части, помещены написанные на пергаменте ветхозаветные тексты. Во время утренней молитвы в будние дни верующие евреи надевают их на лоб и на левую руку.

Стр. 390. *«Шалахмонес»* — подарки, преимущественно сласти, которые евреи посылали друг другу в праздник пурим. Посыльными

обычно были дети бедноты, получавшие небольшое денежное вознаграждение.

Стр. 398. *Кугл* — субботняя бабка (запеканка).

Стр. 410. *...сейчас почти праздник — как-никак новолуние.* — Обычай праздновать начало месяца, когда луна впервые появляется на горизонте, был широко распространен среди древних народов, которые считали время по фазам луны. Новолуние верующие евреи отмечают религиозными обрядами и пиршествами.

Стр. 416. *...жрет тrefную колбасу...* — такую, которая, согласно иудейской религии, запрещена к употреблению.

Стр. 418. *Кабалисты* — приверженцы средневекового религиозно-мистического учения кабалы.

«Дедушка из Шполы» — глава хасидской паствы местечка Шпола (Киевской губернии) Арье-Лейб (1725—1812), биография которого стала легендарной.

Стр. 419. *Братья акцизники* — в царской России должностные лица, которые взыскивали налог на вино-водочные изделия.

Стр. 431. *Благословен вошедший* — приветственная формула при появлении гостей.

Стр. 474. *...на ее долю придется три богоугодных дела.* — Согласно иудейскому вероучению, женщине необходимо исполнять всего три завета, один из них — зажигание субботних и праздничных свечей, сопровождаемое чтением молитвы.

Лилит — согласно Талмуду, демон женского пола, прама мать всех чертей, в народном воображении рисуется ночным демоном, летающим в образе совы и похищающим маленьких детей.

Рахиль, Лия — библейские легендарные прама матери древнееврейских племен, жены патриарха Иакова.

Стр. 475. *Исав* — библейский персонаж, старший брат патриарха Иакова, негодный богу.

Стр. 476. *«Шма Исроэл!»* («Слушай, Израиль!») — начальные слова одноименной молитвы, произносятся в качестве призыва о помощи.

Стр. 482. *Это я, Иосиф...* — Имеется в виду Иосиф Прекрасный, который стал в Египте вторым лицом после фараона. Когда братья Иосифа прибыли из Палестины в Египет покупать зерно, они его не узнали. Он же тотчас узнал их и некоторое время играл роль чужака, затем открылся им, воскликнув: «Это я, Иосиф».

Стр. 484. *Гольдфаден* Авраам (1840—1908) — основатель еврейского театра, поэт, выдающийся драматург, актер и режиссер.

Стр. 499. *Асмодей* — царь чертей в еврейской демонологии.

Ш И М Е Л Е

Рассказ

Впервые напечатано в сборнике «Хаасиф», издававшемся на древнееврейском языке, Варшава, 1889.

Стр. 512. ...дочери Цлофхода. — Имеется в виду библейский персонаж Салпаад, у которого не было сыновей, а только пять дочерей.

Стр. 515. Скобелев М. Д. (1843—1882) — русский генерал, участник русско-турецкой войны 1877—1878 гг.

Гурко И. В. (1828—1901) — русский генерал.

Осман-паша (Осман-Нур-паша; 1837—1900) — турецкий генерал, с 1878 по 1885 г. военный министр.

Сулейман-паша (ок. 1840—1892) — турецкий генерал, в период русско-турецкой войны 1877—1878 гг. главнокомандующий в Боснии и Герцеговине.

Измаил — по Библии, побочный сын патриарха Авраама, согласно преданию, родоначальник магометанских народов, в том числе турок.

Стр. 521. ...за сорок дней до своего рождения. — Согласно талмудической легенде, за сорок дней до рождения ребенка божий глас провозглашает имя того, с кем ему суждено сочетаться браком.

Тноим — письменное соглашение при помолвке, в котором оговаривается сумма приданого, количество подарков и т. п.

Стр. 522. ...суббота «Нахму» — суббота утешения, отмечается в первую субботу после «тишебов», поста в память разрушения Иерусалимского храма.

Стр. 524. «Колдунья», «Два кунилема» — популярные комедии А. Гольдфадена.

РАССКАЗЫ, НАПИСАННЫЕ ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМОМ ПО-РУССКИ

МЕЧТАТЕЛИ

Впервые напечатано в журнале «Еврейское обозрение», СПб. 1884. В рассказе Шолом-Алейхем высмеивает мессиянство, укоренившуюся веру в приход небесного избавителя, разоблачает фанатизм в еврейской религиозной среде.

Стр. 543. Мидраш — сборники толкований библейских стихов, назидательных сказаний и легенд.

Стр. 545. Минхе — предвечерняя молитва.

Стр. 546. Мишна — древнейшая часть Талмуда.

Мехильта, Сифри — сборники, близкие к Талмуду.

Стр. 546. *Альфаси* Исаак (1013—1103) — средневековый еврейский богослов.

Маймонид (Моисей бен Маймон; 1135—1204) — выдающийся еврейский философ и богослов.

Ибн-Эзра Авраам бен Меир (1102—1169) — еврейский поэт, рационалистический критик Библии.

Ибн-Дауд Авраам (1110—1180) — еврейский философ и историк.

Саадия Гаон (892—942) — еврейский философ и богослов.

Абарбанель (Абрабанель Исаак; 1437—1508) — еврейский теолог, комментатор Библии.

Стр. 547. *...поддельная история Иосифа Флавия*. — Имеется в виду книга «Иосиппон», которая была написана в X в., однако автор, рассказывая о древней истории евреев, отождествляет себя с историком Иосифом Флавием, который жил в I в.

Стр. 549. *Мессианское время* — время пришествия мессии, мифического избавителя еврейского народа.

Счет кончился — то есть наступило время пришествия мессии.

Стр. 550. *Ревизская сказка* — в царской России именной список крепостных крестьян, подлежащих рекрутской повинности и обложению подушной податью.

Стр. 552. *«Открытые мозги»* — еврейское идиоматическое выражение, означающее «быстрая хватка», «недюжинный интеллект».

Стр. 555. *...мест их оседлости*. — Имеется в виду «черта оседлости». Царское правительство по религиозным и политическим мотивам установило для евреев «черту оседлости»: им разрешалось проживать лишь в строго определенных губерниях России, число которых в разное время колебалось от пятнадцати до двадцати пяти.

ТИПЫ «МАЛОЙ БИРЖИ»

Впервые напечатано в газете «Одесский листок», Одесса, 1892.

Стр. 566. *Мамон* — бог богатства у древних сирийцев.

СТИХОТВОРЕНИЯ

На русский язык переведены впервые.

НАШЕМУ БРАТУ

Впервые напечатано в «Дос юдишес фолксблат», 1884, № 11. Датировано автором: Белая Церковь, 26 февраля 1884 г.

ДОЧЬ ЕВРЕЯ

Впервые напечатано в «Дос юдишес фолксблат», 1884, № 42.

ЕВРЕЙСКИЕ КРЮЧКОТВОРЫ

Впервые напечатано в «Дос юдишес фолксблат», 1884, № 45.

НОВОГОДНЕЕ

Впервые напечатано в «Дос юдишес фолксблат», 1884, № 51.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Впервые напечатано в «Дос юдишес фолксблат». 1887, № 18.
Датировано автором: апрель 1887.

ЗИМА

Впервые напечатано за подписью Шалмиел в первом томе «Еврейской народной библиотеки», Киев, 1888.

Сохранилось авторское указание, что стихотворением «Зима» открывается цикл стихотворений под общим названием «Песни из хедера». Однако, кроме «Зимы», никаких других стихотворений из этого цикла Шолом-Алейхем не написал.

ПРОГРЕСС-ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Впервые напечатано в проспекте «Еврейской библиотеки» в 1892 г. Поэма осталась незаконченной.

Я БОЛЕН

Это стихотворение взамен письма Шолом-Алейхем отправил в 1900 г. своему другу И. Розету.

Стр. 591. *Варшавский* М. М. (1845—1909) — народный поэт и композитор, по совету Шолом-Алейхема выпустил сборник своих песен.

СПИ, АЛЕША...

Написано в 1905 г., исправлено автором в 1908 г., впервые напечатано в «Шолом-Алейхем-бух», Нью-Йорк, 1926.

НАШИ СТАРОСТЫ

Написано в 1905 г.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Микола Бажан. Слово светлой веры в человека</i>	5
<i>К моей биографии. Перевод Р. Рубиной</i>	31

Рассказы

<i>Выборы. Перевод Е. Аксельрод</i>	39
<i>Тайбеле. Перевод М. Бахрех</i>	44
<i>Высший и низший. Перевод Л. Фрухтмана</i>	76
<i>На Бердичевской улице (Зарисовки). Перевод М. Дубинского.</i>	
I. Улица	92
II. Банкрот	95
III. Красавица Переле	103
IV. Свадьба	115
V. Реб Михл-Михоэл Искуситель	118
VI. Подрядчик Меер-Бер в канун пасхи	122
VIII. Домой!	126
IX. В болоте сплетен	133
X. Читатели этой улицы (Последние штрихи)	137
<i>Надежда. Перевод Е. Аксельрод</i>	143
<i>Пасхальное вино. Перевод Е. Аксельрод</i>	147

Сендер Бланк и его семейка. Роман без романа. Перевод М. Лещинской.

Глава первая. Занавес поднят — представление начинается	155
Глава вторая. Актеры играют отлично	162
Глава третья. Несколько объемистая, поскольку в ней описывается много лиц и обсуждаются различные вещи	168
Глава четвертая. Трактует только об одном Маркусе	178

Глава пятая. Родня Сендера понемногу съезжается	183
Глава шестая. Ревекка и ее приключение, Осип Земель и его наследство	192
Глава седьмая, в которой читатель знакомится с двумя второстепенными персонажами нашего романа	203
Глава восьмая. Сытый голодного не разумеет. Здоровые забывают о больном и еще кое о чем	207
Глава девятая. Тут только начинается настоящее представление, а актеры могут показать все свое искусство	212
Глава десятая, в которой наша история принимает совсем иной оборот	219
Глава последняя. Занавес опускается, представление кончилось	225
С дороги. <i>Перевод Л. Фрухтмана</i>	229

Стемпеню. Еврейский роман. *Перевод Я. Слонима*

Моему дорогому дедушке Меиделе Мойхер-Сфориму	255
I. Родословная Стемпеню	258
II. Стемпеню и его оркестр	260
III. Приготовления Стемпеню	263
IV. Скрипка Стемпеню	265
V. Первая встреча Стемпеню с Рохеле	267
VI. После свадебного пира	270
VII. Рохеле не спится	272
VIII. К «шлейер»-обеду	275
IX. Прошлое Рохеле и роман Хае-Этл	279
X. Еще о Рохеле	284
XI. Снова Рохеле	286
XII. Рохеле поет	291
XIII. Письмо от Стемпеню	294
XIV. От «героини» снова к «герою»	297
XV. Неожиданный брак Стемпеню	300
XVI. Самсон на коленях у Далилы	303
XVII. Еще не все кончено	308
XVIII. Любовь разгорается	311
XIX. Рохеле покупает ожерелье у жены Стемпеню Фрейдл	312
XX. Опять об ожерелье	316
XXI. Трудная ночь	319
XXII. Пламя разгорается	325

XXIII. Огонь вспыхнул и тут же погас	329
XXIV. Рохеле возвращается на путь истинный	333
XXV. Год спустя	336
XXVI. Муки ада	340

Иоселе-соловей. Роман. Перевод Л. Юдкевича.

Дорогой, любимый друг!	349
I. Иоселе до смерти хочется петь	350
II. Шмулик рассказывает разные истории про канторов, а Иоселе внимательно слушает	354
III. Как Шмулик познакомился со своей соседкой, галантерейщицей Златой и как их дети сблизились между собой	359
IV. Галантерейщица Злата и ее дочка Эстер	362
V. Иоселе шатается без дела, и его влечет все «туда»	369
VI. Он находит свой рай, но его с позором изгоняют оттуда	372
VII. Иоселе кается и попадает в новую беду	375
VIII. Эстер делает все, что в ее силах, и Иоселе уезжает в Тетеревец	378
IX. Кантор Мици слушает пение Иоселе и приходит в восторг	382
X. Новое место, новые люди, новые беды	386
XI. Иоселе приезжает домой, и Мазеповка дивится: «Как большой город может изменить человека!»	390
XII. Иоселе поет в Холодной синагоге и приводит людей в восторг	394
XIII. Горожане поздравляют кантора с гостем, а соловей заливается всюю	397
XIV. Гедалье-бас вывозит Иоселе в большой, светлый мир	403
XV. Как Иоселе несколько раз прощался с Эстер	407
XVI. Уехал — и поминай как звали	410
XVII. Иоселе-соловей поразил весь мир и сделался шалопаем	413
XVIII. Мадам Переле собирается покинуть Стрищ, но ради Иоселе она остается	418
XIX. Появляется новый персонаж Берл-Айзик, и Иоселе катит в карете	427
XX. Он попадает в сети, но замечает это слишком поздно	432

XXI. Мазеповка судачит, а бедная Эстер горюет	438
XXII. Алтер Песин — вдовец, и шадхен Калмен из кожи вон лезет	443
XXIII. У Алтера губа не дура, и тетя Энтл при- нимается за дело	448
XXIV. Энтл старается изо всех сил, и Алтер стано- вится необычайно покладистым	452
XXV. Эстер — гость у себя на помолвке	464
XXVI. Здесь приводится история дочери Иевфая Га- лаадского	469
XXVII. Бедной невесте тяжело дается пост	474
XXVIII. Ямпольский извозчик передает Лейзеру ди- ковинного пассажира	478
XXIX. Лейзер гонит лошадь вовсю, но доставляет Иоселе домой только поздно ночью	483
XXX. Евреи веселятся поневоле, и Иоселе является в самый разгар веселья	486
XXXI. Шмулик произносит семь славословий плак- сивым голосом	490
XXXII. Иоселе-соловей в незавидном состоянии, а из- возчик Лейзер философствует	500
Эпilog	505

**Шимеле. Рассказ. Перевод с древнееврейского В. Гоф-
штейна.**

1. Мой брат Шимеле	511
2. С Шимеле творятся чудеса	514
3. Умолк Шимеле	517
4. Отец взял новую жену	519
5. Помолвки	521
6. Еврейский театр	523
7. Группа актеров у нас в городе	525
8. Шимеле появляется и исчезает	527
9. Приятная весть	530
10. Печальный конец	532

Рассказы, написанные Шолом-Алейхемом по-русски.

Мечтатели

Глава первая, из которой читатель узнает срав- нительно мало	535
Глава вторая, из которой читатель узнает, как шло дальнейшее развитие моего героя	542

Глава третья, из которой читатель узнает некоторые неожиданности	548
Глава четвертая, из которой читатель узнает начало и конец рассказа	552
Типы «малой биржи»	557

Стихотворения. Перевод А. Ревича

Нашему поэту	569
Дочь еврея	571
Еврейские крючкотворы	573
Новогоднее	576
Открытое письмо	578
Зима	580
Прогресс-цивилизация (<i>Поэма</i>)	582
Я болен	590
Спи, Алеша...	592
Наши старосты	595
Примечания М. Бельского	599

ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ

Собрание сочинений, том 1

Редактор *Г. Фальк*. Художественный редактор *Г. Кудрявцев*.
Технический редактор *О. Ярославцева*. Корректоры *Г. Асланянц*
и *Н. Гористова*

Сдано в набор 21/1 1971 г. Подписано к печати 31/V 1971 г.
Бумага типографская № 1 84×108¹/₃₂—19,5 печ. л.—32,76 усл. печ л.
32,48 + 1 вкл. = 32,52 уч.-изд. л. Тираж 100 000 экз. Заказ № 957.
Цена 1 р. 35 к.

Издательство «Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Ордена Трудового Красного Знамени
Ленинградская типография № 2 имени Евгении Соколовой
Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров
СССР. Измайловский проспект, 29